Литературный отдел „Екатеринбургской недели"

1892 г.

№ 1658197

84(0)
Е 45
04
ПР.-48

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОТДѢЛЪ

„ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ НЕДѢЛИ“

1892 Г.

ЕКАТЕРИНБУРГЪ.
Типографія „Екатеринбургской Недѣли“.
1892.

Б 178536

ОГЛАВЛЕНІЕ.

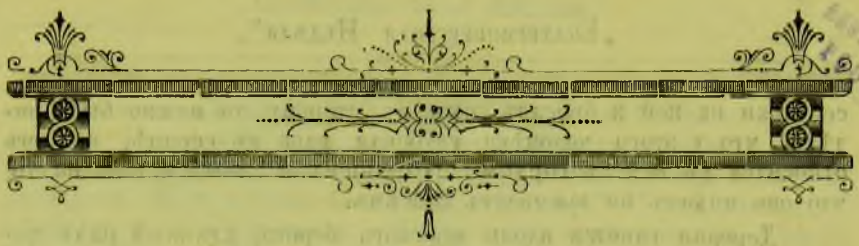
Стран.

1. Тильда Эверсъ. (Рождественская картинка Эрнеста Циля). Перев. съ нѣмецк. **А. С.** - - - - - - - - 1
2. Полночь. (Съ франц.) Стих. **Порфирія Павловича** - - - 9
3. Пусть она хороша... Стих. **А. Туркина** - - - - - 10
4. Вчера въ промерзлое окно. Стих. **Его-же** - - - - „
5. Теща. (Романъ въ трехъ главахъ). **Е. О. Дубровиной** - - - 11
6. Музыкантъ. (Отрывокъ). **А. Туркина** - - - - 21
7. Скелетъ. Стих. (Отрывокъ). **Ф. Филимонова** - - - - 24
8. Докторъ Гертруда Аштонъ. (Разск. Р. Риса. Переводъ съ англійск.). **Валерія Идельсона** - - - - - - - 25
9. Изъ письма. Стих. **Ф. Филимонова** - - - - 32
10. Горе нечужки. (Разсказъ). **Н. П. Стахевичъ** - - - - 33
11. Профессорскій экспериментъ. (Разск. M-r Stockley). Съ англійск. **Л. А. Мурахиной** - - - - - - - - 39
12. Катерина Алексѣевна. (Изъ разск. старыхъ людей) **А. А. Кирпищиковой** - 55
13. Тепло и уютно въ каморкѣ моей.. Стих. **Августа** - - - 84
14. Надсадился. (Очеркъ съ натуры Октава Мирбо). Перев. съ нѣмецк. **Валерія Идельсона** - - - - - - - 85
15. На жизнь съ тревогой не гляди... Стих. **Ф. Филимонова** - - 90
16. Идемъ куда-то мы... Стих. **Его-же** - - - - - „
17. Старый огневщикъ. (Эскизъ). **А. Г. Туркина** - - - - 91
18. Голубки. Стих. **Порфирія Павловича** - - - - - 96
19. Вечеръ въ страстную субботу. (Набросокъ). **Ивана Дятлова** - - 97
20. Подъ напѣвы бури... Стих. **Ф. Филимонова** - - - - 102
21. Вѣрь тоска какъ туманъ разойдется... Стих. **Мих. Ольгина** - - „
22. Ночь въ Колизеѣ. (Съ датскаго). Пер. **Л. А. Мурахиной** - - 103
23. Есть люди—душа ихъ... Стих. **Н. Севастьянова** - - - 113
24. Сходятъ тѣни ночи молчаливой... Стих. **Его-же.** - - - 116
25. Усталый. (Разсказъ). **П. М. Сивкова** - - - - - 117
26. Настя. (Этюдъ). **А. Г. Туркина** - - - - - - 131
27. Посмотри, какъ надъ краемъ далекихъ небесъ... Стих. **А. Туркина** - 134
28. Бузиновые цвѣты. (Разск. Осипа Шубина). Съ нѣм. **Вл. С—ва** - 135
29. Звѣздочки искрятся въ ясной синевѣ... Стих. **А. Туркина** - - 144
30. Уладилось. (Разсказъ). **Н. В. Казанцева.** - - - - - 145
31. Безгрѣшный. (Очеркъ). **А. Туркина** - - - - - 181
32. О, если, мой другъ, ты бороться не въ силахъ... Стих. **Ф. Филимонова** - 183
33. Въ грезахъ видѣлъ я, что будто... Стих. **А. Туркина** - - - 184
34. Пѣснь объ опалѣ. (Разсказъ М. Е. М. Дэвисъ). Съ англійск. **Е. В.** - 185
35. Черезъ Ангарскіе пороги съ караваномъ чаевъ. (Изъ записной книжки туриста). **П. Карымскаго** - - - - - - 207
36. Осень. Стих. **Василія Миляева** - - - - - - 307
37. Родимый сѣверъ. Стих. **Ив. Бѣлоусова** - - - - - 308
38. Микробъ профессора Бакермана. (Разсказъ Шарля Эфейра, изъ будущихъ временъ). Съ французскаго. Перев. **Л. А. Мурахиной** - - 309

Государственная публичная библиотека им. В.Г. Белинского г. Свердловск

А 165197

39. Чтобъ мириться съ ложью вѣчною... Стих. **Ф. Филимонова** - - 328
40. Призъ. (Эпизодъ изъ крейсерства у восточныхъ береговъ Кавказа). **М. Би-р-ва** - - - - - - - - 329
41. «На волю». Стих. **Василія Миляева** - - - - - 332
42. Первая невзгода. (Разсказъ). **А. Подосеновой** - - - - 333
43. Призывъ. Стих **Ив. Бѣлоусова** - - - - - - 340
44. Новый секретарь. Съ англ. **Валерія Идельсона** - - - - 341
45. Чары шамановъ. (Разсказъ). **П. П. Инфантьева** - - - - 347
46. Вьюга. Стих. **О. И—на** - - - - - - - 360
47. «Рѣшенье прочитали». (Разсказъ). **А. Г. Туркина** - - - 361
48. Вѣткою увядшей пахнущей сирени... Стих. **А. Туркина** - - - 365
49. Ты не пой мнѣ пѣсенъ нѣжныхъ... Стих. **О. И—на** - - - 366
50. Красная герань. Съ англ. **Л. А. Мурахиной** - - - - 367
51. Сирота. (Изъ Отрана). Стих. **Порфирія Павловича** - - - 380
52. Ефимъ Петровичъ и Никаноръ Титычъ. (Очеркъ). **Степана Алексѣева** - 381
53. «Прощайте, Петръ Ивановичъ!». (Рождественскій разсказъ). **Н. В. Казанцева** - - - - - - - - 393
54. Наканунѣ Рождества. (Разсказъ) **И. А—ва** - - - - 399
55. Зимней ночью. Стих. **А. Туркина** - - - - - 404
56. В. А. К. Стих. **П. Сивкова** - - - - - - „



ТИЛЬДА ЭВЕРСЪ.

(Рождественская картинка Эрнеста Циля).

Перев. съ нѣмецкаго А. С.

Это было давно, давно.

Море на далекомъ разстояніи, на цѣлую милю отъ берега, было сковано блестящей, сверкающей ледяной корой. Высоко надъ нимъ, въ безоблачномъ ночномъ небѣ, стояли крупныя, чистыя звѣзды. Изъ деревни, изъ небольшой осиротѣлой церкви, мѣрно, ударъ за ударомъ, доносился по чистому воздуху дрожащій колокольный звонъ.

Ни малѣйшаго движенія—на морскомъ берегу и дюнахъ все тихо. Но вотъ заскрипѣлъ снѣгъ на узкой тропинкѣ отъ приближающихся шаговъ и изъ обледенѣлаго кустарника, скудно пробивавшагося на каменистомъ берегу, выпорхнула испуганная береговая птичка и своими длинными крыльями разсѣкла холодный зимній воздухъ. Одинокій странникъ, закутанный въ грубый, косматый костюмъ моряка, съ опущенной головой медленно перешелъ дорогу. Это была высокая, крѣпкая нормандская фигура. Въ мужественныхъ чертахъ его суроваго лица, проглядывала какая-то гнѣвная боль, но это была не страстная и жгучая боль, а глухая и ноющая, которая, казалось, поросла травой многихъ лѣтъ. Движенія молодого человѣка были торопливы и нетверды, хотя онъ скорѣе плелся, нежели шелъ. Онъ, повидимому, совершилъ далекій путь, потому что его всклокоченная борода вся заиндевѣла и обмерзла; когда онъ быстрымъ движеніемъ сердито обрывалъ

сосульки на ней и бросалъ ихъ въ сторону, то можно было видѣть, что у этого человѣка глубокая рана въ сердцѣ, но онъ относится къ ней съ гордымъ презрѣніемъ и злится только на то, что она никакъ не заживаетъ совсѣмъ.

Деревня тянется вдоль морского берега, длинный рядъ домовъ вытянулся въ одну линію: всѣ окнами обращены къ морю; суровый незнакомецъ сюда направилъ свои шаги. Чѣмъ опечалили его свѣтлыя окна этихъ домовъ, въ которыхъ горѣли зажженныя елки? Мрачный, съ опущенными въ землю глазами, зашагалъ онъ впередъ, стараясь припомнить что-то изъ давно минувшаго времени. Среди деревни стоитъ маякъ,—потрескавшаяся высокая башня. Разбитые челны и заржавленные якоря, спутанныя снасти и изорванные паруса образовывали вокругъ башни какую-то пеструю массу, а по бокамъ пригорка, на который поднялся незнакомецъ, были развѣшаны для провѣтриванія рыбацкія сѣти. Здѣсь онъ нѣсколько замедлилъ свои шаги, поднялъ смуглое лицо и устремилъ голубые глаза на старую башню, а потомъ перевелъ ихъ на обломки разбитаго корабля у своихъ ногъ.

— Это было 30 лѣтъ тому назадъ,—задумчиво проговорилъ онъ самъ себѣ.—Мы оба были дѣтьми. Здѣсь, на пустыхъ окнахъ башни мы часто сидѣли, вполнѣ довольные, счастливые и любовались далеко разстилающейся передъ нашими глазами пустыней воды и волнъ. Она была милымъ ребенкомъ и когда доносившійся съ моря вѣтеръ развѣвалъ ея золотистые кудри по лицу и она начинала зябнуть, я бралъ ее на руки, утѣшалъ и разсказывалъ страшную, но въ то-же время любимую ею, исторію о бѣдномъ Ульрихѣ—Ульрихѣ изъ сказки,—который отправился путешествовать въ море и уплылъ въ далекую далекую страну, и какъ онъ тамъ тосковалъ о потерянной родинѣ. Слушая мою монотонную рѣчь, она начинала плакать, но вотъ съ моря снова набѣгалъ вѣтерокъ и осушалъ ея глаза.—Онъ смолкъ на минуту. —Ахъ, тоска по родинѣ!—тихо простоналъ онъ.—Вильгельмъ, Вильгельмъ, гдѣ тѣ дни!—Вдругъ онъ ударилъ ногой о землю и засмѣялся надъ своей глупой нѣжностью.—Свѣтъ не стоитъ этого. Стыдись и ступай впередъ!...

Медленно прошелъ онъ мимо мола, устроеннаго для защиты небольшой гавани отъ морскихъ приливовъ, и направился вдоль улицы. Здѣсь рядъ домовъ дѣлалъ небольшой поворотъ и дорога вела къ базару; дома судьи и священника лежали нѣсколько въ сторонѣ, а между аптекой и куренемъ, куда загибаетъ узкая улица, виднѣется церковь съ занесенною снѣгомъ крышею, старая церковь съ низенькой колокольней, съ желѣзными рѣшетками въ окнахъ и тяжелою, неуклюжею дубовою дверью.

—, О я помню еще,—прошепталъ незнакомецъ,—этотъ рынокъ, съ веселыми домиками позади. Здѣсь я видѣлъ ее по воскресеньямъ, шедшую въ церковь съ молитвенникомъ въ рукахъ. Каждому кланялась она такъ дружелюбно, невинно; тогда была она ребенкомъ. Какъ хорошо было тогда,—а теперь?—Тяжелый вздохъ вырвался у него изъ груди.—Кому могло придти это въ голову? Ее всѣ любили, а у меня замирало сердце при встрѣчѣ съ ней. Тильда была моя. Наступило, наконецъ, воскресенье и мы стояли предъ алтаремъ женихомъ и невѣстой... О, если-бы она осталась вѣрною мнѣ! ..

Еще нѣсколько шаговъ и онъ остановился у небольшого, низенькаго домика, одного изъ всего ряда, окна котораго не были освѣщены по праздничному.—Здѣсь было это, здѣсь!—невольно срывалось съ его губъ;—дома-ли она теперь?—и съ осторожностью вора, стараясь, чтобы снѣгъ не скрипѣлъ подъ ногами, онъ проползъ въ тѣни къ небольшимъ зеленымъ ставнямъ.—Все покрыто мракомъ, гдѣ когда-то я былъ счастливъ, и это въ рождественскій сочельникъ?! Богъ наказалъ ее.

Слабый вѣтерокъ съ моря зашумѣлъ голыми вѣтвями липы у дверей дома. Путникъ тихо вздохнулъ, какъ будто тяжело вздохнула и липа.—Развѣ она переѣхала изъ этого дома?—разсуждалъ онъ самъ съ собой и притаилъ дыханіе, прислушиваясь, не шелохнется-ли что въ вымершемъ домикѣ. Все по прежнему тихо! Онъ облокотился на подоконникъ и опустилъ на руки усталую голову,—или можетъ быть умерла?—Рождественскій колокольный звонъ какъ-бы сочувствовалъ его горю; вотъ теперь колокола звонятъ также, какъ и въ былые годы, и будятъ въ немъ пріятныя воспоминанія, уносятъ его въ давно минувшіе, счастливые дни. И вотъ ему чудится, что нѣжная рука касается его пылающаго лба; ему чудится, что нѣжныя руки обнимаютъ его и шепчутъ: „Вильгельмъ, Вильгельмъ!“ Онъ покоенъ, измученная душа его забыла всякое горе... но вдругъ онъ очнулся какъ-бы отъ глубокаго сна,—и все по старому: та-же ноющая боль въ сердцѣ, и онъ вглядывается въ отдаленное море, стараясь заглушить ее. Нѣкоторое время онъ стоялъ въ раздумьи и, очнувшись, еще разъ проговорилъ въ отчаяніи:—О, сынъ мой! хотя еще разъ взглянуть на тебя, одинъ только разъ!... Онъ все-таки мой, мой!...

— Она опять придетъ, Яковъ?—проговорилъ чей-то хриплый голосъ рядомъ съ нимъ, такъ что онъ невольно вздрогнулъ.

— Вѣроятно,—отвѣтилъ другой и два пожилыхъ господина въ высокихъ сапогахъ и матросскихъ костюмахъ сошли на дорогу. —Вотъ уже теперь шесть лѣтъ каждый сочельникъ мы видимъ ее здѣсь. Должно быть, придетъ и сегодня. Она странная женщина!—сказалъ первый.

— Несчастія и бѣдность дѣлаютъ людей странными, Николай,—возразилъ послѣдній.—Но, чтобы ни говорили люди, она все-таки хорошая женщина, потому что такъ чтитъ память умершаго, хотя это доходитъ у нея до смѣшного. Какъ ты думаешь?

— Я думаю тоже самое,—отвѣтилъ спрошенный,—хорошая, не смотря на всѣ злые слухи и странности, но посмотри, Яковъ, —поспѣшно сказалъ онъ, указывая на ледяную поверхность,—она уже тамъ.

На сверкающей бѣлой поверхности блеснула небольшая полоска желтаго свѣта, колеблющаяся отъ вѣтра,—потомъ заблестѣла еще свѣтящаяся точка, еще и еще; и вотъ на льду стояла елка.

— Николай,—это она. Видишь, вотъ она зашевелилась,—это она зажгла свѣчи. Сейчасъ опустится на колѣни.

— Дѣйствительно, я вижу ее, и рядомъ съ ней ея мальчикъ. Бѣдняжка,—онъ прячетъ отъ морозу въ карманы свои закоченѣлыя рученки.

— Вотъ она беретъ его на руки и сейчасъ они вмѣстѣ опустятся на колѣни.

— Кто становится на колѣни?—Разговаривавшіе обратились назадъ и увидѣли предъ собою незнакомца, который до тѣхъ поръ стоялъ около дома; онъ подошелъ къ нимъ и тихо, хладнокровно спросилъ:—что дѣлаетъ женщина?

— Она молится,—отвѣтилъ одинъ изъ нихъ.

— За своего мужа,—пояснилъ другой.

— Уже болѣе 7 лѣтъ тому назадъ онъ утонулъ, не знаю въ какомъ углу океана. Наканунѣ рождества, вы знаете, мы ставимъ елки на могилахъ нашихъ покойниковъ. Море—тоже великая могила.

— А какъ зовутъ женщину?—разспрашивалъ незнакомецъ. Онъ прикрылъ глаза рукой и сталъ вглядываться вдаль.

— А, вы, должно быть, издалека,—былъ ему отвѣтъ,—что не знаете Тильды.

— Тильды?

— Ну-да, Тильды,—Матильды Эверсъ.

Какъ орелъ, завидѣвшій на небѣ что-нибудь необычное, какую-нибудь исполинскую звѣзду или метеоръ, стремглавъ опускается внизъ, такъ бросился и незнакомецъ. Чрезъ груды снѣга, чрезъ валуны морского берега, какъ сумасшедшій бросился онъ впередъ.

— Тильда, дорогая моя Тильда, ты молишься за меня, ты все еще любишь меня.

Разговаривавшіе съ удивленіемъ смотрѣли на него.

— Это можетъ быть только онъ, проговорили они и недовѣрчиво покачали головой. Мертвецы оживаютъ! Съ этими слова-

ми они поспѣшили въ деревню, чтобы разсказать о случившемся.

— Вильгельмъ, доносилось до нихъ со льда,—Вильгельмъ, возможно-ли, ты живъ?

Вся деревня сильно перепугалась, узнавъ о случившемся. Всѣ встали изъ-за праздничныхъ столовъ и поспѣшили къ берегу, и то, что они увидѣли было почти сказочно: всѣ трое стояли на колѣняхъ, на освѣщенномъ льду. Мужчина съ закрытымъ руками лицомъ глубоко задумался, женщина нагнулась къ нему и ея длинные, бѣлокурые волосы развѣвались по воздуху, а мальчикъ поднялъ свои сложенныя руки къ небу. Всѣ трое не шевелились. Наконецъ, они какъ бы ожили, и медленно, занятые каждый своими мыслями, пошли впередъ рука объ руку, а мальчикъ несъ впереди ихъ зажженную елку и чистымъ дѣтскимъ голосомъ пѣлъ:

— „О, ты, блаженная, о, ты, радостная, благодарная рождественская ночь“!

Никто не сказалъ имъ ни слова, только по толпѣ пронесся тихій шепотъ удивленія. Все замолкло въ какомъ то благоговѣніи, какъ передъ святыней, къ которой никто не смѣлъ прикоснуться. Кто могъ теперь помѣшать ихъ любви, которая сама собой вернулась при первомъ ихъ пробужденіи. Они двигались, какъ безмолвные, набожные пилигримы. Вотъ подошли они, къ маленькому домику, дверь заскрипѣла и чрезъ нѣсколько времени всѣ трое исчезли.

На дворѣ все еще гудѣлъ торжественный колокольный звонъ, а внутри тѣсной, небольшой комнатки раздавалось тихое рыданіе—были ли это слезы радости? Мрачный, блѣдный мужчина держалъ на рукахъ рыдавшую жену, и ея слезы текли по его густой бородѣ.

— Вильгельмъ, ты опять съ нами, шептала она, обнимая мужа. О, Боже, для чего ты такъ надолго разлучалъ насъ?

Онъ боролся съ собою—голосъ отказывался служить ему, его взоръ съ упрекомъ и въ тоже время съ безконечною любовью покоился на дрожащей женщинѣ. Наконецъ, холодно и жестоко, какъ бы изъ груди умирающаго, у него вырвалось: „Адамъ Юрссъ“!

— Къ чему это имя въ этотъ часъ?—спокойно спросила она.— Это давно забытая исторія. Ты знаешь, я сказала тебѣ „да“ въ тотъ же самый день, въ который отказала ему, богатому, хитрому хозяину корабля.

— Я знаю это, глухо отвѣтилъ онъ,—но это не то.—Онъ устало опустился на бѣдную скамейку, на которой нѣкогда былъ такъ счастливъ.

— Это не то,—мрачно повторилъ онъ и притянулъ Тильду къ себѣ.—Восемь лѣтъ тому назадъ я былъ штурманомъ на „Памятной звѣздѣ“: Мы стояли въ Калькуттѣ, собираясь отплыть въ

Ріо Жанейро. Капитанъ съ матросами устроили на кораблѣ нѣмецкую елку. Я получилъ два письма: одно отъ тебя; ты была здорова и купила сынишкѣ первые панталончики, но нужда стучалась въ дверь: присланныя мною въ послѣдній разъ деньги вышли всѣ. Другое письмо было отъ Адама Юрсса. Чертъ бы его побралъ! Онъ лилъ въ мои жилы расплавленный свинецъ. Онъ писалъ мнѣ, въ качествѣ друга, что не хорошо, если мужа долго дома нѣтъ, и что всякая жена непостоянна...

— Это онъ тебѣ написалъ?—перебила его Тильда и устремила на него свои голубые, ясные, невинные, широко раскрытые отъ удивленія глаза. Написалъ, что...

— Что ты раскаиваешься теперь въ сдѣланномъ ему отказѣ, —продолжалъ Вильгельмъ,—что ты дѣлала ему намеки, намеки...

— Возможно ли это? И ты могъ ему повѣрить?

— Я не вѣрилъ его словамъ, но червь сосалъ мое сердце. И самое лучшее, что могъ бы я тогда сдѣлать—это уѣхать съ первымъ же кораблемъ въ Европу, но такова уже несчастная моя судьба!—Я напялся въ Нью-Іоркъ и долженъ былъ ѣхать туда. Что было дѣлать? Я собралъ послѣднія свои деньги и послалъ письмо своему старому другу Францу Олериху,—ты, вѣдь знаешь его,—фогту нашей деревни, и просилъ его написать мнѣ подробно, какіе ходятъ о тебѣ слухи и слѣдить за тобою. Въ Ріо Жанейро я ждалъ отъ него отвѣта. О, Тильда, ты не можешь и представить себѣ, какъ я страдалъ всю дорогу до Ріо. Прибывъ туда, я первымъ долгомъ отправился на почту. На мое имя прислано было два письма: одно отъ Адама Юрсса, другое отъ фогта. Вотъ что я прочиталъ въ письмѣ послѣдняго, которое безъ сомнѣнія было написано вполнѣ откровенно и просто: правда, твоя жена—женщина честная, но въ деревнѣ ходятъ злые толки объ Адамѣ и тебѣ, онъ у тебя и днюетъ и ночуетъ.

— О, негодные, низкіе люди! сорвалось съ губъ Тильды, у меня не было въ домѣ ни куска хлѣба, такъ какъ заработокъ былъ слишкомъ скуденъ; никто не пожалѣлъ меня, а между тѣмъ ребенокъ плачетъ, проситъ ѣсть. Какъ разъ въ это время пришелъ Адамъ,—я какъ сейчасъ смотрю на его лицемѣрное лицо,—онъ увѣрялъ, что всегда любилъ меня, много говорилъ о своихъ корабляхъ и большомъ доходѣ, который получаетъ отъ нихъ. И Вильгельмъ, я не удержалась воспользоваться его помощью: ребенокъ просилъ хлѣба, у меня переворачивалось сердце. Адамъ сталъ бывать у меня, какъ не просила я его избѣгать этихъ посѣщеній, отлично зная, что по деревнѣ пойдутъ разные, нелѣпые толки. О, клянусь, Вильгельмъ, сердце мое было чисто, и только ради нашего ребенка....

— Слушай дальше! перебилъ Вильгельмъ. Затѣмъ прочелъ

я письмо Адама. О, ужасъ! Мой портретъ единственный портретъ, тотъ самый, который я подарилъ тебѣ, еще будучи женихомъ, и который такъ часто видѣлъ на твоей шеѣ въ медальонѣ, Тильда, —мой портретъ выпалъ изъ листковъ письма. Онъ вынулъ его изъ медальона и онъ лежалъ предо мною, какъ сейчасъ въ моей рукѣ, смотри!

Онъ вынулъ изъ кармана записную книжку и подалъ ей свою фотографическую карточку.

— Даже и это! сказала она, всхлипывая.—Да, Вильгельмъ, онъ взялъ его у меня, какъ залогъ въ моемъ долгу, какъ выразился онъ тогда, льстя мнѣ; онъ не хотѣлъ никакого другого ручательства и я со слезами на глазахъ должна была согласиться.

— Но ты сама навязала ему портретъ,—проговорилъ дрожащимъ отъ внутренняго волненія голосомъ, поблѣднѣвшій мужъ,—сама, писалъ онъ. Я долженъ былъ поспѣшить къ тебѣ на помощь, я долженъ былъ предупредить тебя, Тильда. Гмъ, но развѣ онъ не зналъ, что я нанялся до Нью-Іорка? Я не отвѣтилъ ничего. Но кровь во мнѣ такъ кипѣла, что я боялся смерти отъ удара. Путь былъ длиненъ. А тамъ—что нашелъ я въ Нью-Іоркѣ? Не письма, Тильда, нѣтъ, а только небольшую коробочку. Адресъ былъ написанъ его рукой. А въ ней что? Ни клочка бумаги, ни слова, нѣтъ,—въ ней было... въ ней было... это...

Съ этими словами онъ выпулъ что то изъ бокового кармана и бросилъ на столъ, что-то зазвенѣло и покатилось.

— Мое кольцо, вскрикнула она, мое вѣнчальное кольцо! и невольно нахлынувшія слезы оборвали ея голосъ.—Онъ выманилъ у меня его хитростью, Вильгельмъ, выманилъ обѣщаніями и угрозами. О, нужда, голодъ, ребенокъ! Она бросилась къ его ногамъ Повѣрь мнѣ, Вильгельмъ, повѣрь во имя всего того, что свято для тебя.

— Ну оставимъ это,—уговаривалъ ее мужъ, поднимая съ пола, и черта доброты и кротости отразилась на его блѣдномъ, суровомъ лицѣ. И такъ я былъ въ Нью-Іоркѣ, продолжалъ Вильгельмъ, послѣ короткой паузы, теперь я былъ свободенъ и могъ, вернуться на родину въ Европу. *Вернуться на родину?* У меня не было больше родины, все разбито, все! Мое сердце умерло. Я роптал на Бога, проклиналъ весь свѣтъ, людей; проклиналъ тебя, проклиналъ нашего ребенка. Я нанялся на чужеземный корабль въ Китаѣ. И такъ побывалъ у береговъ Гвинеи и въ водахъ Тихаго океана. Такъ проходили года за годами, Тильда—и нотка нѣжной, затаенной грусти послышалась въ его словахъ,—годы неслись и приносили на своихъ крыльяхъ утѣшеніе. Часто, когда я въ лунную южную ночь сидѣлъ на палубѣ и всматривался въ глубину неба, въ глубинѣ души поднималась жгучая, мучитель-

ная тоска по родинѣ... О, ты не знаешь ее, Тильда, нѣтъ? Онъ провелъ рукой по глазамъ, какъ будто свѣтъ отъ маленькой елки, стоящей у ихъ ногъ на земляномъ полу убогой комнатки, ослѣплялъ его. Теперь я съ вами,—сказалъ онъ послѣ нѣкотораго молчанія, —теперь я могу, я долженъ еще разъ посмотрѣть на моего мальчика, на моего Ганса!...—и съ этими словами онъ посадилъ къ себѣ на колѣни и горячо прижалъ къ своей груди небольшого мальчугана, который во время ихъ разговора оставался незамѣченнымъ, прижавшись въ углу комнаты. Ребенокъ своими маленькими рученками обвилъ шею отца. Картина была трогательная—и вся печаль, все горе столькихъ лѣтъ вдругъ разрѣшились: крѣпкій мужчина заплакалъ.

— Мой мальчикъ, мой Гансъ, мой сынъ...—И здѣсь твоя жена! какъ то робко проговорила Тильда, стоя въ сторонѣ отъ нихъ и съ этими словами искренно обняла мужа. Что-то страшное, невысказанное стояло на ея лицѣ.

— Прости! сорвалось неожиданно съ ея губъ. Вильгельмъ спустилъ съ рукъ мальчика и притянулъ къ себѣ жену.

— Столько лѣтъ ты оставалась мнѣ вѣрной Тильда, и я вѣрю тебѣ, вѣрю и потому, что видѣлъ тебя молящейся за своего умершаго мужа.

— О, добрый, милый! .

Наступило продолжительное молчаніе. Все было тихо въ маленькой комнаткѣ, только иногда легкій вѣтерокъ Святой ночи врывался въ плохо притворенную дверь, да сухія вѣтви липы время отъ времени ударяли въ окно.

— А, Адамъ?

— Ищи его на кладбищѣ, отвѣтила Тильда, въ углу, гдѣ нѣтъ даже креста, а только безъ надписи камень! Буря разбила его корабли и его нашли съ пулею въ сердцѣ.

— Богъ наказалъ его,—проговорилъ Вильгельмъ. Затѣмъ онъ поднялъ небольшую зажженную елку съ полу и поставилъ ее среди стола.

— Неужели это рождественскій сочельникъ!—взволнованно прошепталъ онъ и, положивъ правую руку на голову мальчика, лѣвою обнялъ свою жену: будемъ вѣрить, будемъ работать, останемся добрыми до конца.

Между тѣмъ по улицѣ со звономъ и пѣніемъ тянулась толпа жителей, которая, слѣдуя примѣру своихъ дѣдовъ, встрѣчала Рождество обходомъ чрезъ всю деревню. Вильгельмъ открылъ окно и ставни, и, когда толпа съ зажженными свѣчами и еловыми вѣтвями въ рукахъ приблизилась, онъ запѣлъ вмѣстѣ со всѣми своимъ яснымъ и сильнымъ голосомъ среди ночной тишины. И издалека со льда доносилось „благодарите всѣ Бога!“

ПОЛНОЧЬ.

(*Съ французскаго*).

Эй, не ходи, не ходи, ненаглядная,
Вечеромъ поздно изъ дому гулять!
Не говори: что за ночь непроглядная,—
Какъ въ ней пріятно и жутко мечтать!
Полночь лицомъ берегись повстрѣчать!
Полночь—царица, короны лишенная,
Страхомъ таинственнымъ вся окруженная;
Призракъ нелѣпый,—какъ смерть, роковой—,
Молча бродящій средь ночи глухой.
Полночь—принцесса, вся мракомъ покрытая,
Грудь у нея, изъ металла отлитая,
Холодомъ дышетъ, росой ледяной.
Полночь, мой другъ, привидѣнье угрюмое,
Темнаго царства исчадье безумное,
Грозно, безтрепетно ходитъ оно
По суху, по морю, всюду—равно.
Полночь—воззванье къ убійствамъ кровавое,
Это чудовище злое, стоглавое
Сонъ у тирановъ тревожитъ давно.
Полночь—старуха, суровѣе мстителя
Ловитъ во мракѣ она обольстителя;
Это безмолвный судья-чародѣй,
Передъ которымъ трепещетъ злодѣй;
Это змѣя, тихо въ совѣсть ползущая,
Голосомъ мрачнымъ къ сознанью зовущая,—
Жалитъ она прямо въ сердце людей!

Не ходи, не ходи, уже ночь настаетъ!
Поскорѣе въ постель, моя радость, ступай;
Свои ясныя очи закрой, засыпай;
Часъ урочный придетъ,—
Звонко жаворонокъ надъ тобой пропоетъ:
— Эй, красавица,—утро! вставай!

Порфирій Павловичъ.

*

* * *

Пусть она хороша, эта зимняя ночь,
Съ милліонами блесткъ, пусть она такъ ясна,
Но не въ силахъ тоски я моей превозмочь
И не въ силахъ найти я покоя и сна!

Больно мнѣ потому, что ни блескомъ свѣтилъ
И ни чарами тихо разсыпанныхъ грезъ—
Эта ночь не усыпитъ надорванныхъ силъ,
Не осушитъ безвинно пролившихся слезъ...

Вотъ зачѣмъ—если близится солнца закатъ—
Плачу я безъ конца и тревожно молюсь...
Я скорблю за тебя, мой поруганный братъ!
Безпріютный мой братъ, за тебя я боюсь!...

А. Туркинъ.

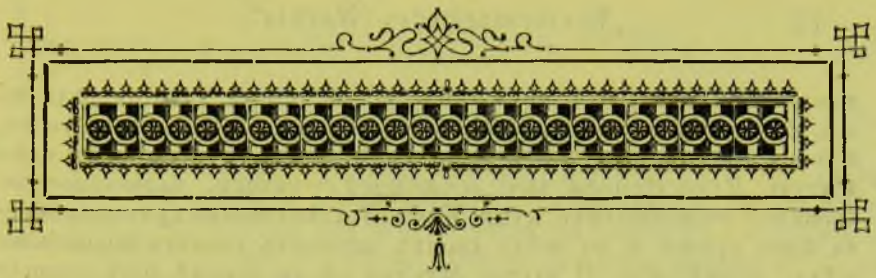
---

* * *

Вчера въ промерзлое окно
Мнѣ солнце въ комнату прокралось,
Но какъ безжизненно оно
Въ холодномъ блескѣ улыбалось!

И все-же въ сердцѣ задрожали,
Какъ встарь, задумчивые сны,
Какъ будто призракъ увидали
Цвѣтами сыпавшей весны...

А. Туркинъ.



ТЕЩА.

(Романъ въ трехъ главахъ).

Е. О. Дубровиной.

ГЛАВА I.

Благія намѣренія.

Яркое солнце ударило въ глаза Елизаветѣ Андреевнѣ Вольяновой въ утро 30 августа и заставило ее проснуться. Потянувшись въ своей мягкой постелькѣ, она вспомнила, что нарочно не спустила наканунѣ штору, чтобъ не проспать—и быстро вскочила съ постели. Это былъ день именинъ ея мужа, полковника Вольянова и она дала себѣ слово съ этого именно дня начать новую жизнь и прекратить всѣ ссоры и недоразумѣнія, которыя разлучили ихъ на цѣлыя пять недѣль.

Елизаветѣ Андреевнѣ было уже тридцать лѣтъ, но на видъ никто бы не далъ и двадцати пяти. Это была хорошенькая женщина, съ густыми, каштановыми косами и большими, милыми глазами сине-зеленаго цвѣта, „цвѣта морской волны", какъ выражался ея мужъ, умѣвшій опоэтизировать въ ней рѣшительно все, даже такую прозу, какъ всѣ ея капризы, сцены, придирки и требованія. Сегодня она особенно сильно чувствовала всѣ свои вины передъ мужемъ и, желая загладить ихъ какъ можно скорѣе, быстро одѣлась, спустилась въ садъ и начала рвать съ куртины красивыя алыя розы, перемѣшивая ихъ съ зеленью и комбинируя въ красивый, пышный букетъ. Ея бѣлыя ручки искусно справлялись со своей задачей, а въ красивой головкѣ, задрапированной бѣ-

лымъ газомъ, вихремъ кружились новыя мысли, еще никогда въ ней не являвшіяся; ей самой онѣ были пріятны, какъ новые гости, и она съ интересомъ слѣдила за тѣмъ, какъ онѣ смѣняли одна другую. Единственная дочь обожавшей ее матери, балованное сокровище обожавшаго ее мужа, Елизавета Андреевна привыкла всегда быть правой и во всѣхъ своихъ ошибкахъ считать виноватыми всѣхъ, кромѣ себя. И вдругъ сегодня ей въ первый разъ пришло въ голову, что въ ссорѣ съ мужемъ, ужасной ссорѣ, тянувшейся длинныхъ пять недѣль, виновата *она одна*.

Тонкіе пальчики лихорадочно рвали цвѣты, а нѣжныя щеки разгорались такимъ густымъ румянцемъ, что еще немного—и сами розы стали бы имъ завидовать. Чего она требовала отъ своего труженика-мужа? Чтобы онъ былъ ея cavalier galant, сопровождалъ ее всюду, ухаживалъ за нею, читалъ ей вслухъ, слушалъ ея пѣніе, словомъ, чтобъ онъ отдавалъ ей весь свой день. А вмѣстѣ съ тѣмъ, ей хотѣлось быть одѣтой лучше другихъ, имѣть красивую квартиру, ложу у итальянцевъ, мѣсто на скачкахъ и хорошенькій шарабанъ, въ который можно бы было запречь ея караковаго, породистаго „Манфреда“. Все это и было у нея, благодаря тому, что мужъ ея, кромѣ своихъ служебныхъ занятій, дававшихъ ему четыре тысячи жалованья, имѣлъ еще массу литературной работы, хорошо сбывавшейся и оплачиваемой по сту рублей листъ. Перомъ Александръ Михайловичъ заработывалъ тысячъ восемь,—десять въ годъ, но за то ему приходилось сидѣть не разгибаясь весь вечеръ и часть ночи.

— Какъ могла я упрекать его!—думала Елизавета Андреевна подъ наплывомъ искренняго раскаянія. Вѣдь для меня же онъ работалъ какъ волъ. Мама не знала ничего этого; я должна была сказать ей, остановить ее.

Ей невольно подумалось, что добрая половина ея винъ передъ мужемъ ложилась на совѣсть этой „несравненной мамы“. Но она тотчасъ же прогнала эту мысль, какъ недостойную: мама вовсе не заставляла ее ссориться съ мужемъ; она только удивлялась, какъ мало вниманія онъ отдаетъ женѣ, всюду отпуская ее одну, и смѣялась надъ тѣмъ, что у нея, избалованной и требовательной, совершенно пропало не только самолюбіе, но даже чувство обыкновеннаго женскаго достоинства.

— Смотрю на тебя, Лизочка, и не узнаю въ тебѣ мою властную царевну,—говорила дочери Марья Петровна Красова. Александръ Михайловичъ совершенно поработилъ твою волю. Знаешь, милая, мужчины не любятъ этого рабства въ женщинѣ, и я нисколько не удивляюсь, что ему скучно съ тобой. Какая нибудь баронесса Шеллингъ, его старая любовь, всегда будетъ ему инте-

реснѣе тебя, потому что она отъ него не зависитъ. Посмотри, онъ перерождается въ ея присутствіи.

Елизавета Андреевна смотрѣла и находила, что мама права, что Саша, точно, „перерождается“. А баронесса, какъ нарочно, стала встрѣчаться съ ними, и звала ихъ къ себѣ, и сама безпрестанно заѣзжала къ нимъ. Правда, она была больше съ хозяйкой, чѣмъ съ хозяиномъ, и отношенія ея къ Александру Михайловичу походили на отношенія старыхъ друзей,—но Марья Петровна, женщина умная и опытная, говорила дочери, что во-первыхъ „старая любовь не ржавѣетъ“, а во-вторыхъ, что „эти старыя кокетки любятъ все прикрывать дружбой“.

— Мама шутила,—думала Елизавета Андреевна, завязывая голубою ленточкой свой оконченный букетъ. Вольно же было мнѣ придать этому серьезное значеніе и пять недѣль дуться на Сашу. Я одна, одна во всемъ виновата!

Полная самыхъ великодушныхъ чувствъ, она вернулась въ свою комнату, поставила букетъ въ красивую голубую вазу, заготовленную еще наканунѣ, присоединила къ своимъ подаркамъ вышитую закладку девятилѣтней Вари и стихи, переписанные для папы семилѣтнимъ Мишей и, пройдя на цыпочкахъ по темному корридору, скользнула въ кабинетъ, гдѣ спалъ ея мужъ, пять недѣль тому назадъ удаленный изъ ихъ общей комнаты.

Поставивъ вазу съ букетомъ на ночной столикъ, Елизавета Андреевна осторожно положила на подушку приношенія дѣтей и, наклонившись надъ спящимъ мужемъ, тихонько поцѣловала его въ лобъ. Онъ продолжалъ спать, сладко всхрапывая. Въ это время сердито зашипѣли стѣнные часы, изображающіе миѳологическую группу, и выбили пять громкихъ, медленныхъ ударовъ. Спящій зашевелился, полуразбуженный шумомъ. Елизавета Андреевна быстро отодвинулась за ширмы и, легкая какъ тѣнь, скользнула за дверь.

ГЛАВА II.

Именинникъ.

Еще два раза прошипѣли и пробили часы, когда Александръ Михайловичъ проснулся наконецъ и сразу почувствовалъ себя въ великолѣпнѣйшемъ настроеніи духа, посмотрѣвъ въ раскрытое окно своего кабинета; сама природа, казалось, была вмѣстѣ съ нимъ именинницей: солнце собрало всѣ свои уходящія силы и разсыпало съ своей лазурной высоты такіе обильные дары тепла и свѣта, какъ будто это было не осеннее, а весеннее солнце. Изъ оконъ кабинета Александра Михайловича открывался великолѣпный видъ на лучшую часть роскошнаго Павловскаго парка и де-

ревья, слегка тронутыя позолотой осени, были такъ ярко освѣщены, такъ густы, красивы и пышны. Въ просвѣты ихъ густой листвы сквозило голубое, какъ бирюза, небо. Зеленыя вѣтви липы, образующей палисадникъ, тянулись къ окну и трепетали кудрявыми узорами прихотливыхъ тѣней по стѣнамъ, полу и мебели. Утренняя роса сверкала радужными бликами на зеленой полянѣ. Все блестѣло, искрилось, заражало невольнымъ весельемъ, какъ хмель, кружило голову и Александръ Михайловичъ Вольяновъ, обыкновенно неохотно покидавшій постель, вскочилъ съ нея такъ быстро, какъ будто ему было не тридцать семь, а двадцать семь лѣтъ, и на плечахъ его лежалъ чинъ прапорщика, а не полковника.

Въ комнатѣ пахло розами и сиренью,—любимые духи его жены. „Неужели она была здѣсь“?—подумалъ онъ съ радостнымъ замираніемъ сердца, напомнившимъ ему ихъ лучшіе, медовые дни. „Вчера она такъ ласково смотрѣла, такъ мило говорила со мной.“

Взглядъ его упалъ на голубую вазу съ пышнымъ букетомъ и сразу схватилъ и книжную закладку, съ вышитой по серебряной канвѣ надписью: „дорогому папѣ“, и крупный почеркъ маленькаго Миши на почтовомъ листкѣ съ цѣлующимися голубками. Улыбка удовольствія освѣтила лицо именинника. Онъ взялъ листокъ и, все съ той же счастливой улыбкой, прочелъ его:

„Папочка, милый! Прими
Ты поздравленье отъ сына.
Нынче твои именины:
Крѣпче меня обними!“

— Лизочка сама сочинила,—догадался счастливый именинникъ, весело смѣясь надъ комической безъискуственностью стиховъ.—Воображаю сколько времени сидѣла за этими четырьмя строчками! Значитъ уже совсѣмъ перестала сердиться. Какое однако счастье, что теща догадалась уѣхать наконецъ. Спасибо Ванѣ!

Ваня былъ братъ Елизаветы Андреевны, недавно женившійся и пригласившій мать жить у него, чтобы избавить отъ хлопотъ по хозяйству его молодую жену. На минуту у Александра Михайловича явилось было опасеніе, что если Марья Петровна окажется такою же свекровью, какъ была тещей, то Ваня, схожій съ нею характеромъ, не станетъ долго ее терпѣть. Но онъ не хотѣлъ думать сегодня ни о чемъ непріятномъ и поспѣшилъ одѣться, чтобы прогнать свои опасенія, что теща снова явится къ нимъ.

— Нѣтъ, Господь избавитъ меня отъ этакаго несчастія,—подумалъ онъ, набожно перекрестился, взглянувъ на образъ, и, подойдя къ двери, дернулъ шелковый шнурокъ отъ проведеннаго въ людскую колокольчика.

— Барыня встала?—спросилъ онъ вошедшаго слугу.

— Были встамши, ваше—скородіе, только что опять легли, Марѳуша сказываетъ.

— Ну да, значитъ она сама приходила ко мнѣ,—рѣшилъ Александръ Михайловичъ и на душѣ у него стало еще веселѣй. Эти пять недѣль ихъ ссоры были для него очень тяжелы; онъ нѣсколько разъ хотѣлъ объясниться съ женой, но вначалѣ его останавливало присутствіе ненавистной тещи, а потомъ, когда теща уѣхала, гордость мѣшала ему подойти къ женѣ, продолжавшей дуться на него и видимо избѣгавшей всякихъ объясненій. Только за послѣдніе дни онъ увидѣлъ улыбку на лицѣ жены и нѣсколько заискивающій тонъ въ ея обращеніяхъ къ нему. Тогда уже онъ рѣшилъ ждать, пока она подойдетъ сама, надѣясь что такое примиреніе будетъ прочнѣе.

— Покрайней мѣрѣ не будетъ смотрѣть на меня какъ на какую то тряпку; увидитъ, что у меня есть воля и, что я не легко прощаю ея капризы. Женщины не цѣнятъ снисхожденія къ ихъ слабостямъ и доброту мужчины называютъ безхарактерностью. Можетъ быть я бы выигралъ въ глазахъ Лизы, еслибъ прогналъ ея мать послѣ первой нашей ссоры.

Онъ вспомнилъ, какъ ему хотѣлось сдѣлать это и какъ онъ струсилъ угрозы жены—бросить его и уѣхать вмѣстѣ съ матерью. Марья Петровна знала силу своего вліянія на дочь и не стѣснялась выражать свою непріязнь зятю, увѣренная, что дочь будетъ всегда на ея сторонѣ. Постепенно, терпѣливо, какъ капля воды точащая камень, Марья Петровна достигла того, что Лиза стала рѣзка и требовательна съ мужемъ, не прощая ему ничего, ставя всякое лыко въ строку. Домашняя жизнь обратилась въ какой то адъ. Уходилъ онъ изъ дому,—его подозрѣвали въ какихъ-то интригахъ, дѣлали намеки на баронессу Шеллингъ, его стараго друга, искренно преданнаго и ему, и его семьѣ; сидѣлъ онъ дома,—его точили укорами, что онъ забываетъ жену за „дурацкими“ бумагами, и говорили, что еслибъ все его вѣдомство провалилось сквозь землю, такъ Россія не потеряла бы ничего. Съ нимъ говорили сквозь зубы, бросая слова сердито и отрывисто. Онъ слышалъ вѣчно ворчливый тонъ, видѣлъ надутыя, недовольныя лица. Даже дѣти начинали, какъ будто, чуждаться его. Словомъ, онъ вѣчно чувствовалъ дома присутствіе врага,—и дышалъ свободно только внѣ дома.

И вотъ—насталъ наконецъ праздникъ и на его улицѣ: Марья Петровна уѣхала къ сыну. Александръ Михайловичъ такъ обрадовался ея отъѣзду, что простился съ нею почти ласково и даже отправился ее провожать на вокзалъ. Съ ея отъѣздомъ атмосфера его домашняго очага поднялась сразу на нѣсколько градусовъ—и начала подыматься съ каждымъ днемъ все выше и выше. А се-

годня, въ утро своихъ именинъ, онъ дѣйствительно почувствовалъ себя именинникомъ—и пріятная теплота разлилась по его тѣлу, согрѣвая и оживляя его.

Быстро одѣвшись, Александръ Михайловичъ рѣшилъ идти купаться, чтобы успѣть вернуться къ общему чаю. Надѣвъ круглую соломенную шляпу, онъ перекинулъ черезъ плечо полотенце и направился къ двери, когда она отворилась—и въ кабинетъ вошла его жена. Одѣтая въ его любимый капотъ изъ бѣлаго кашемира, съ пунцовыми розами въ волосахъ, свѣженькая, благоухающая и веселая, она быстро подошла къ мужу и молча прижалась головой къ его груди.

— Милая! Какой подарокъ!—нервно сказалъ Александръ Михайловичъ, крѣпко обнимая ея стройный станъ, еще не утратившій упругость молодости.

— Съ пяти часовъ жду твоего пробужденія, Саша; такъ хотѣлось поздравить тебя первою, пока дѣти еще спятъ.

Все было забыто въ эту счастливую минуту. Они не возвращались къ тяжелому времени ссоры, ничего не вспоминали, не спрашивали и не упрекали одинъ другаго, боясь спугнуть то счастіе, котораго они такъ долго ждали, и которое вернулось къ нимъ наконецъ.

— Купаться идешь, милый? Иди, иди; мнѣ надо приказать хорошенько прибрать комнаты и вынести отсюда кровать и ширмы. Гости будутъ, нехорошо такъ оставить: кабинетъ совершенно испорченъ.

Цѣломудренная, какъ дѣвушка, она краснѣла, говоря это и смотрѣла въ сторону. А когда Александръ Михайловичъ вернулся съ купанья, кабинетъ уже утратилъ характеръ спальной и счастливый именинникъ понялъ, что ихъ жизнь снова пойдетъ какъ прежде, до пріѣзда тещи.

— Дай Богъ, чтобы она ужилась у Вани,—еще разъ помолился онъ, выходя въ столовую, гдѣ жена уже сидѣла за самоваромъ и поила чаемъ дѣтей.

Начались поцѣлуи, поздравленія, смѣхъ, болтовня. Видя оживленіе родителей, дѣти тоже разболтались, а хитрая Варюша, тонко улыбаясь, сказала отцу:

— Папочка, а вѣдь у насъ безъ бабушки веселѣе, чѣмъ при ней?

— Какой ты вздоръ говоришь, Варя,—краснѣя, остановила ее мать.—А еще большая,—Мишѣ примѣръ должна подавать.

ГЛАВА III.

Пріятный сюрпризъ.

Праздничное настроеніе хозяевъ, веселыя личики дѣтей, бли-

стающая красота дня, все это дѣйствовало заразительно и на гостей, начавшихъ съ утра съѣзжаться въ домъ радушнаго именинника. Елизавета Андреевна, одѣтая какъ модная картинка, была такъ хороша, весела и любезна, что мужъ не сводилъ съ нея глазъ и сознавалъ, что въ сердцѣ его воскресаютъ всѣ чувства и ощущенія блаженнаго медоваго мѣсяца.

— Десяти лѣтъ какъ не бывало,—страстно шепталъ онъ женѣ, улучивъ минутку, когда гости, занятые другъ другомъ, не обращали на нихъ вниманія.—Ты моя невѣста, моя желанная!

Она отвѣчала ему горячимъ взглядомъ, краснѣя какъ дѣвочка, и кокетничая какъ настоящая невѣста.

За обѣдомъ, когда пили здоровье именинника, кто-то замѣтилъ, что „вино—горько“. Супруги охотно приняли вызовъ и поцѣловались такъ горячо, что къ нимъ начали приставать съ повтореніями. Вино оживило еще больше и такъ оживленное общество. Изъ комнатъ перешли въ садъ, разостлали ковры на траву, подали фрукты, кофе и замороженное шампанское. Одна изъ пріятельницъ Елизаветы Андреевны сѣла за рояль—и въ открытыя окна полились нѣжные звуки Шопеновскаго „Ноктюрно“. Одинъ изъ подчиненныхъ Александра Михайловича согласился спѣть, и прекрасно выполнилъ густымъ, мягкимъ баритономъ „Лѣсного царя“ и „Двухъ гренадеровъ“.

Свѣтъ шипящей ракеты напомнилъ пирующему обществу, что ихъ ждетъ еще удовольствіе: оркестръ Лаубе и великолѣпная иллюминація, съ цвѣтистыми фонтанами и блестящимъ фейерверкомъ. Дамы ушли переодѣваться, мужчины закурили сигары и заговорили о политикѣ, надѣясь серьезнымъ направленіемъ мыслей прояснить туманъ, оставшійся въ ихъ умныхъ головахъ отъ сближенія фривольной вдовы „Клико“ съ благочестивымъ „Бенедиктиномъ“. Но и политика не сладила съ этой трудной задачей и, когда черезъ полчаса вереница экипажей потянулась отъ дачи Вольяновыхъ къ вокзалу, откуда уже неслись величавые аккорды народнаго гимна,—лица господъ, сидящихъ въ этихъ экипажахъ, представляли странное зрѣлище: ихъ какъ будто разбудили отъ крѣпкаго сна и отяжелѣвшія вѣки усиленно просили хорошихъ подпорокъ, чтобъ не закрыться совсѣмъ. При этомъ цвѣта этихъ лицъ подтверждали, что бабье лѣто ничуть не холоднѣе дѣвичьяго.

Было уже далеко за полночь, когда супруги Вольяновы, проводивъ гостей и сдѣлавъ туръ по парку въ своемъ комфортабельномъ шарабанѣ, возвращались домой. Усталая головка жены нѣжно прижалась къ плечу мужа. Онъ обнялъ ее, прислонился освѣженной щекой къ ея шелковистымъ, каштановымъ волосамъ, и шепталъ ей въ розовое ушко ласковыя рѣчи, значенье которыхъ

Государственная публичная библиотека им. В.Г. Белинского г. Свердловск

Ф. 1658/97

„темно и ничтожно“ для всякаго, кромѣ тѣхъ, кому говорится и кѣмъ говорится.

— Посмотри, милуня, какъ хорошо выдрессирована наша прислуга,—сказалъ Александръ Михайловичъ, когда экипажъ подъѣхалъ къ ихъ дачѣ,—Почти два часа ночи, а насъ ждутъ съ чаемъ, и домъ освѣщенъ, какъ для бала. Мой Спиридонъ сообразилъ, что у насъ праздникъ не только въ домѣ, но и въ сердцахъ, и рѣшилъ встрѣтить насъ полнымъ освѣщеніемъ. Ты устала, птичка моя?

— Да, я устала, Саша, но мнѣ просто жаль закончить сегодняшній день,—такъ онъ чудно прошелъ. Милый! Какъ я люблю тебя! Я смотрѣла сегодня нарочно на всѣхъ мужчинъ и нашла, что красивѣе, изящнѣе и лучше тебя никого нѣтъ. Какъ могла я такъ долго дуться на тебя...

— Тсъ... зачѣмъ вспоминать, портить день?

— Нѣтъ, это нужно, милый. Какая я гадкая, злая! А ты, добрый мой, все забылъ, все простилъ мнѣ. Знаешь, я тебѣ скажу, пожалуй, что тутъ мама во многомъ виновата: она разожгла мою ревность къ этой противной Шеллингъ. Скажи, ты былъ влюбленъ въ нее?

— Былъ, пятнадцать лѣтъ тому назадъ.

Елизавета Андреевна слегка отстранилась отъ мужа и спросила дрожащимъ голосомъ:

— Отчего же ты не женился на ней?

— Она не любила меня и отказала мнѣ для своего теперешняго мужа.

— Стало быть... на мнѣ ты женился faute de mieux?

Вольяновъ крѣпко прижалъ къ себѣ жену, какъ будто не замѣчая, что она старается вырваться изъ его объятій.

— Я былъ увлеченъ баронессой Шеллингъ, а тебя полюбилъ какъ безумный, какъ и теперь люблю.

Онъ крѣпко поцѣловалъ въ губы жену—и ледъ растаялъ. Вынувъ ее изъ экипажа, онъ на рукахъ понесъ ее домой, донесъ до ярко освѣщенной столовой, отворилъ дверь и...

Еслибъ молнія упала къ ногамъ его, онъ былъ бы пораженъ меньше и, главное, *сраженъ* меньше: на диванѣ, за кипящимъ самоваромъ, сидѣла *она*, его ехидная теща и смотрѣла на нихъ съ ядовитой усмѣшкой на тонкихъ губахъ.

— Maman!—едва выговорилъ несчастный.

— Мама! Мамочка!

Елизавета Андреевна бросилась на шею къ матери.

— Здравствуйте, мои милыя дѣти. Нарочно торопилась къ Вашимъ именинамъ, mon cher ami. Теперь я ужъ къ вамъ совсѣмъ; ваня пришился къ юбкѣ своей вѣтреницы—жены и мать ему не

нужна. А вы, кажется, воркуете, какъ въ медовый мѣсяцъ, мои голубки? Лизочка, добренькая моя! Все простила ему, моя умница? Ну ужъ жену вамъ послалъ Господь, Александръ! Какъ собачка какая-то: помани только, она ужъ тутъ какъ тутъ; и хвостикомъ вертитъ, и въ глаза смотритъ. Въ кого у тебя такая рабская натура, Лизочка?

— Мама, зачѣмъ ты такъ говоришь?—негодующимъ тономъ перебила ее дочь.—Мы любимъ другъ друга, мы счастливы.

— Ахъ ты простушка, простушка моя!

Вольяновъ вышелъ, сердито хлопнувъ дверью: ему невыносимо было смотрѣть на ужимки и кривлянья тещи, накрашенной старухи, съ черными, какъ смоль, волосами и приторнымъ выраженіемъ слишкомъ розовыхъ губъ.

— Какъ онъ милъ!—пустила она въ догонку зятю.

— Зачѣмъ ты его сердишь, мама?

— Ахъ, вотъ какъ! Извини, пожалуйста... Я сейчасъ уѣду, чтобъ не смущать вашего счастія. Очень натурально, что мнѣ нѣтъ мѣста у дѣтей, которымъ я все отдала. Пора поступать въ богадѣльню... лишняя стала... всѣмъ мѣшаю... Король Лиръ—не новость въ наше эгоистичное время... Состарилась мать, обнищала, изъ ума выжила... гоните ее, въ шею гоните!

Она зарыдала. Елизавета Андреевна опустилась предъ нею на колѣни и, цѣлуя ея руки, молила успокоиться, не принимать такъ дурно ея словъ. Въ это время дверь снова растворилась и Александръ Михайловичъ вошелъ въ столовую. Брови его были сердито сдвинуты.

— Лизочка, это ты распорядилась, чтобъ кровать снова перенесли въ мой кабинетъ?—сурово спросилъ онъ.

— Я? Нѣтъ, милый... я ничего не говорила.

— Простите, это я приказала оставить все, какъ было раньше,—заговорила Марья Петровна, вытирая сухіе глаза.—Только сегодня не разлучайте меня съ Лизой: мнѣ столько надо разсказать ей, спросить ея совѣта...

— Да, голубчикъ,—робко взмолилась жена,—ты ужъ лягъ сегодня въ кабинетѣ; мама больна, разстроена, я не могу оставить ее одну. Завтра мы устроимъ тебѣ отличную отдѣльную комнату, мамочка, а сегодня я буду съ тобою.

Марья Петровна бросила на зятя торжествующій взглядъ и сказала кроткимъ тономъ:

— Завтра я поищу себѣ комнату, чтобъ не стѣснять никого, и публикую въ „Новомъ Времени“, что беру на домъ работу: шитье, вязанье, переписка, я все это могу, хотя глаза начали болѣть за послѣднее время. Да, не умѣла ничего оставить себѣ на черный день... Все раздала...

— Полно, мамочка, какъ тебѣ не стыдно такъ говорить? Что есть у насъ, то есть и у тебя. Какіе же счеты могутъ быть между нами? Саша, что-жъ ты молчишь?—накинулась Лиза на мужа.

— Что-жъ мнѣ говорить? Maman сама не вѣритъ тому, что говоритъ...

— О, конечно, для васъ я всегда была лгуньей и лицемѣркой, Александръ Михайловичъ! Извольте, я избавлю васъ отъ себя, избавлю, избавлю,—повторяла Марья Петровна, повышая тонъ, съ истерической дрожью въ голосѣ.—Вамъ не можетъ быть пріятно мое присутствіе... я это хорошо понимаю... Вы привыкли, что около васъ ютятся слѣпые люди, а я все вижу, я—зрячая...

Онъ вышелъ, снова хлопнувъ дверью и услыхалъ фразу, брошенную ему вслѣдъ:

— Видишь, какъ онъ меня ненавидитъ, Лиза!

— Мамочка, успокойся, не плачь. Завтра я поговорю съ нимъ... Онъ усталъ сегодня, раздраженъ...

Александръ Михайловичъ тяжело вздохнулъ: онъ зналъ, чѣмъ начнется и что поведетъ за собою это „завтра“!

Спиридонъ внесъ ему въ кабинетъ стаканъ чаю и поставилъ на столъ.

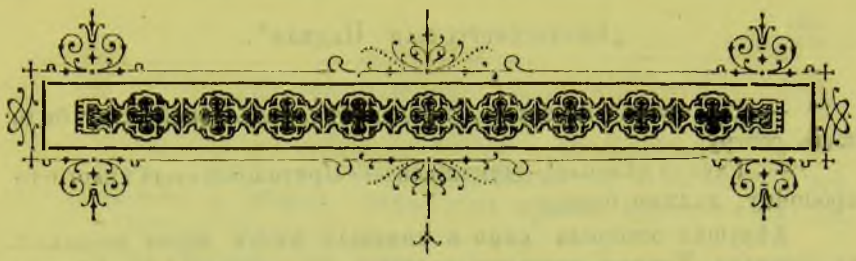
— Барыня еще въ столовой?

— Никакъ нѣтъ-съ; съ мамашей въ спальную ушли.

— Даже проститься не зашла,—вздыхая, подумалъ бѣдный именинникъ, укладываясь на свое одинокое ложе.—Какимъ пріятнымъ сюрпризомъ закончился день!

Онъ заснулъ тяжелымъ сномъ и во снѣ видѣлъ... *тещу*.

Хорошо начавшійся день, въ самомъ дѣлѣ, скверно закончился.



МУЗЫКАНТЪ.

(ОТРЫВОКЪ).

А. Туркина.

Въ маленькой комнаткѣ, освѣщенной послѣдними лучами догорающаго весенняго солнца, метался въ постели больной, красивый юноша, лѣтъ двадцати, съ тонкими чертами лица и вьющимися темными волосами. Его страшно исхудалое лицо, прозрачныя руки—говорили о неизбѣжномъ, печальномъ концѣ...

— Боже мой, Боже мой!—метался онъ.—Какъ мнѣ хочется жить!... Я жить хочу, люди, сытые, здоровые люди!...

— Гриша, Гриша... услыхалъ онъ шепотъ.

Юноша съ трудомъ открылъ глаза и увидалъ юное, прекрасное лицо сестры, склонившееся надъ нимъ.

— Чего тебѣ, Оля? раздраженно спросилъ больной.

— Не сердись, милый... я привела тебѣ музыканта... ты такъ любишь музыку...

Она посторонилась и молодой человѣкъ увидѣлъ маленькаго, сморщеннаго старичка, съ слезящимися, воспаленными глазками. Шея старичка была плотно обвязана неопредѣленнаго цвѣта шарфомъ. Подъ мышкой онъ держалъ футляръ со скрипкой.

Юноша поморщился.

— Онъ, говорятъ, хорошо играетъ... прошептала сестра, умоляюще смотря на брата.

— Ну, пусть играетъ... тихо отвѣчалъ больной. Ему было жаль сестру.

— Глупая дѣвочка!—думалъ онъ.—Притащила сюда какого-то пронойцу, должно быть...

Дѣвушка отворила окно и кипящая жизнь весны ворвалась въ комнату. Тысячи птичьихъ голосовъ ликовали и пѣли. Людскіе голоса и грохотъ экипажей доносились съ улицы. Это былъ благословенный праздникъ весны.

— Какъ хорошо, какъ хорошо!—простоналъ больной.—А я не могу, не имѣю права жить... тихо прибавилъ онъ съ злой усмѣшкой.

— Ты выздоровѣешь... робко сказала сестра.

— Безъ легкихъ не живутъ, Олечка... Что ты тамъ не говори, какихъ микстуръ и утѣшеній не преподноси, а безъ легкихъ еще никто не жилъ... Я умру... Ну, пусть играетъ твой доморощенный виртуозъ... я всегда любилъ музыку. Она примиряла меня съ людьми...

Дѣвушка сдѣлала знакъ. Старикъ кашлянулъ въ руку, вытащилъ изъ футляра старенькую, какъ онъ самъ, скрипку, настроилъ ее... Его сморщенное лицо вдругъ сдѣлалось строгимъ, а воспаленные глазки приняли странное выраженіе... Онъ посмотрѣлъ вокругъ себя и заигралъ...

Губы больного сложились въ ироническую улыбку. Боже мой, Боже мой! Ну, не смѣшно-ли это? О, глупая дѣвочка! По ея милости онъ долженъ выслушивать скучнѣйшіе пассажи старичка! Однако... что это! Точно въ какомъ-то заколдованномъ снѣ, точно изъ тумана, какъ вереница серебряныхъ стройныхъ видѣній, въ комнатѣ плывутъ, плача и звеня, дивные, какъ сама жизнь, звуки... Что это? Неужели сама весна принесла умирающему свою сладкую мелодію?! Неужели она, этой мелодіей, хочетъ примирить его съ неизбѣжнымъ концомъ, когда ему такъ страстно хочется жить. И зачѣмъ они, эти звуки, безъ его вѣдома, залетаютъ въ его измученную душу и все, что онъ считалъ теперь поконченнымъ, все, что онъ хотѣлъ такъ горячо забыть—все это вдругъ воспрянуло въ какомъ-то лучезарномъ блаженствѣ...

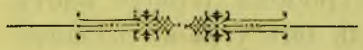
Точно въ сказкѣ... Плывутъ и блещутъ старые дорогіе образы... Здравствуйте, здравствуйте, милые призраки!... Вотъ поля, всѣ залитыя горячимъ солнечнымъ блескомъ, со всею ихъ кипящею разнообразною жизнью... Онъ слышитъ неумолкаемый крикъ перепеловъ и коростелей, видитъ неподвижныя точки ястребовъ, парящихъ въ чистомъ, какъ кристаллъ, воздухѣ... А вотъ рѣка, вся потонувшая въ ракитовыхъ кустахъ. На берегу ея стелется родное село, со старенькой церковью, верхушка которой ярко горитъ на солнцѣ... Родина, милая родина!

Ближе... ближе... чье это лицо склоняется надъ нимъ? Чей голосъ ласково и нѣжно, какъ сама музыка, вливается ему въ душу?... Наташа! Наташа!

О, онъ живетъ... въ этомъ нѣтъ никакого сомнѣнія и вся его болѣзнь, та страшная болѣзнь, которая хотѣла взять его молодую жизнь, теперь является какой-то безсмысленной, неправдоподобной исторіей, тяжелымъ сномъ какимъ-то... Онъ вполнѣ здоровъ и счастливъ. Онъ идетъ рядомъ съ прекрасной дѣвушкой... Смуглое личико улыбается ему, дорогой голосъ ласково звучитъ... Онъ восторженно говоритъ ей и она, вся отдавшись обаянію, слушаетъ его. Онъ говоритъ ей о своей любви, онъ говоритъ ей, что на свѣтѣ много лжи и позора... Посмотри, дорогая! Сколько кругомъ насъ вопіющей бѣдноты, сколько несчастныхъ!... И мы посвятимъ, моя радость, всѣ наши юныя силы, наше здоровье, на защиту этихъ обездоленныхъ созданій! О, какъ онъ хорошо говоритъ и какъ она восторженно слушаетъ... Они поклялись всю жизнь идти рука объ руку и въ тишинѣ догорающаго вечера прозвучалъ первый чистый поцѣлуй... Но... что это? Мягкія волны лучезарнаго свѣта подхватили его, небо раскрылось, міръ потонулъ въ безконечной синевѣ...

. . . . . .

Скрипка оборвала свою чудную мелодію... послѣдній аккордъ дрожитъ въ полумглѣ... Дѣвушка подошла къ больному. Онъ лежалъ, судорожно вытянувшись... Молодое лицо сіяло восторженнымъ свѣтомъ, а на блѣдныхъ устахъ застыла блаженная улыбка...



СКЕЛЕТЪ.

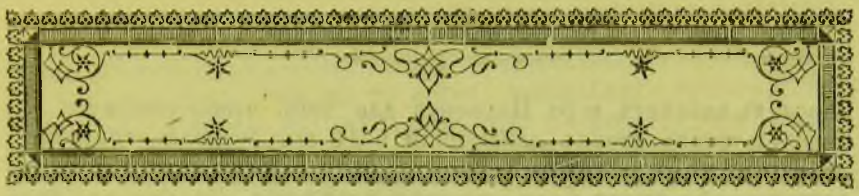
(Отрывокъ).

Какъ дитя, какъ наивный поэтъ,
Очарована чудными снами,
Ты любуешься, страшный скелетъ
Разукрасивъ живыми цвѣтами.
И вся полная радужныхъ грезъ,
Вдохновленная чарами лѣта,
Обвила ты гирляндами розъ
Обнаженныя кости скелета

. . . . . .

Иногда вспоминается мнѣ
Міръ иной, міръ, заснувшій глубоко.
... Отъ большихъ городовъ въ сторонѣ
Пріютилось село одиноко.
Тамъ ни грезъ, ни надежды тамъ нѣтъ!
Тамъ трудятся въ борьбѣ непосильной;
Тамъ стоитъ тотъ-же страшный скелетъ,
Остовъ жизни съ улыбкой могильной...
Онъ костлявой рукою грозитъ,
Улыбаясь улыбкою змѣя,
Онъ заснуть поскорѣе велитъ,
Умереть онъ велитъ поскорѣе.
Съ мужикомъ раннимъ утромъ встаетъ,
Съ бѣдной бабой онъ вмѣстѣ рыдаетъ,
Онъ за гробомъ угрюмо идетъ,
Колыбель онъ угрюмо качаетъ.
Въ этомъ мірѣ печали и слезъ,
Нѣтъ ни счастья, ни радостной грезы...
Вотъ туда бы, туда-бъ я унесъ
Поскорѣй твои чудныя розы.

Ф. Филимоновъ.



ДОКТОРЪ ГЕРТРУДА АШТОНЪ. *)

Разсказъ Р. Риса.

Переводъ съ англійскаго Валерія Идельсона.

Въ просторной, изящно меблированной спальнѣ, представлявшей настоящій идеалъ всякаго комфорта и въ тоже время картину артистической красоты и проникнутой изысканнымъ вкусомъ роскоши, на снѣжно-бѣломъ фонѣ отороченныхъ кружевами подушекъ покоилась очаровательная молодая женская головка, которая могла-бы привести въ восхищенное волненіе любого художника-портретиста—и при томъ не только чуднымъ, чистымъ цвѣтомъ лица, напоминавшимъ майскія сливки, но и задумчивыми большими темными глазами, и густыми черными бровями, и длинными рѣсницами, и, особенно, роскошными золотистыми косами, падавшими волною почти до ковра на полу, когда больная отодвигала ихъ въ сторону своею утомленною блѣдною рукою.

Уже такъ много длинныхъ, скучныхъ мѣсяцевъ пролежала она въ этой комнатѣ, и ей не только не становилось лучше, но, напротивъ, съ каждымъ днемъ она дѣлалась все слабѣе и все нервнѣе, хотя ея и не покидали ни ея обычный добрый характеръ, ни терпѣніе съ покорностью судьбѣ.

День изо дня подъѣзжала коляска д-ра Грассмира къ богатому дому. День изо дня знаменитый практикъ внимательно изслѣдовалъ больную и, сдѣлавъ соотвѣтственныя предписанія, направ-

*) Предлагаемый читателямъ разсказъ только что появился въ рождественскомъ номерѣ крайне распространеннаго лондонскаго еженедѣльнаго журнала „Tit-Bits". Авторъ—м-ръ R. Rees, Корнуэльскій священникъ, получилъ за него премію въ пять гиней. *Прим. переводчика.*

*

лялся въ кабинетъ м-ра Нэджента для того, чтобы сообщить ему о результатахъ своихъ наблюденій надъ его больной супругой.

И тѣмъ не менѣе м-съ Нэджентъ и не думала обнаруживать какіе-бы то ни было признаки улучшенія. На умномъ лицѣ д-ра Грассмира выраженіе унынія и тревоги въ концѣ концевъ сдѣлалось совершенно хроническимъ.

— Слушайте, Гарри,—сказалъ онъ въ одинъ прекрасный день, усаживаясь въ кабинетѣ м-ра Нэджента:—я положительно недоумѣваю, чѣмъ можно было-бы объяснить себѣ такое изумительное упорство заболѣванія вашей жены. Я просто готовъ былъ бы отдать половину своего состоянія, если бы мнѣ удалось снова поставить ее на ноги. Признаюсь по чистой совѣсти, Гарри, мое личное искусство и смѣкалка совершенно исчерпаны. Абсолютно не знаю, что можно было-бы еще подѣлать. Пичкать ее дальше всякими лекарствами рѣшительно безполезно. Право, дружище, я въ конецъ обезкураженъ... Г-мъ...—прибавилъ онъ послѣ нѣкоторой паузы,—знаете, что я вамъ скажу или, вѣрнѣе, о чемъ я васъ хочу попросить?—только вы не пугайтесь изъ-за этого: добудьте-ка себѣ другого доктора.

М-ръ Нэджентъ уставился на него глазами въ величайшемъ изумленіи.—Другого доктора!?—воскликнулъ онъ, точно не вѣря своимъ ушамъ.

— Да, любезный другъ,—другого доктора. Моя опытность, повторяю, испробована до конца, и всѣ мои старанія оказались безуспѣшными. Я искренно убѣжденъ, что благо вашей жены настоятельно требуетъ перемѣны врача... И вотъ еще о чемъ я попрошу васъ: пригласите-ка теперь не мужчину, а женщину-врача. Между бабами, знаете, есть такая особенная симпатія, которая можетъ оказаться полезною какъ разъ въ нашемъ случаѣ.

— Женщину-врача?!—освѣдомился м-ръ Нэджентъ съ все возрастающимъ удивленіемъ.

— Ну да, женщину. У меня есть одна на примѣтѣ—могу всячески рекомендовать ее вамъ... Толковая, искусная и при этомъ крайне пріятная дѣвочка. Вашей женѣ она, навѣрное, очень понравится и ея вліяніе на Нэлли скажется болѣе ощутительнымъ манеромъ, нежели мое... Прошу васъ, Гарри, сдѣлайте это—уполномочьте меня прислать къ вамъ доктора Гертруду Аштонъ сегодня же вечеромъ. Я повидаюсь сейчасъ-же съ нею и разскажу ей всю исторію болѣзни. Разумѣется, я буду присматривать за всѣми вами—даю клятвенное обѣщаніе... Сдѣлаемъ еще одну попытку, отчаянную попытку,—спасти жизнь Нэлли...

Какъ само собою разумѣется, д-ру Грассмиру удалось тутъ же заручиться потребнымъ полномочіемъ. Четверть часа спустя его можно было-бы найти уже на квартирѣ миссъ Аштонъ погружен-

нымъ съ нею въ продолжительную и обстоятельную бесѣду, а въ четыре часа пополудни, въ то время, когда Гарри сидѣлъ у постели своей супруги, служанка доложила о прибытіи д-ра Аштонъ.

Черезъ минуту въ комнату вошла стройная, граціозная дѣвушка, лѣтъ 22 или 23,—дѣвушка „съ самымъ миловиднымъ и умнымъ лицомъ на свѣтѣ", какъ порѣшилъ про себя м-ръ Нэджентъ. Даже и больная Нэлли, которая относилась къ всему окружающему съ безучастіемъ и апатіею, была, видимо, пріятно поражена красотою большихъ смѣющихся сѣрыхъ глазъ новаго доктора, представлявшихъ куріозный контрастъ или рѣзкое противорѣчіе съ серьезностью, достоинствомъ и степеннымъ самообладаніемъ, выражавшимся ея красиво очерченнымъ ртомъ съ плотно сжатыми алыми губами.

М-ръ Нэджентъ всталъ съ привѣтливымъ поклономъ.

— Докторъ Аштонъ, не правда-ли?—сказалъ онъ съ живостью. —Очень пріятно Вотъ и наша больная,—моя жена, м-съ Нэджентъ.

Начался длинный рядъ врачебныхъ вопросовъ, смѣнившійся кое-какими врачебными наставленіями. Затѣмъ завязался оживленный и непринужденный разговоръ на общія темы, въ которомъ особенно дѣятельное участіе принимали м-ръ Нэджентъ и хорошенькій докторъ. Въ заключеніе миссъ Гертруда дружески распрощалась съ своею паціенткой, пообѣщавъ ей непремѣнно принести завтра-же новую книгу, о которой они только что говорили, послѣ чего она направилась въ сопровожденіи супруга больной къ своему изящному, маленькому фаэтону, съ грумомъ въ ливреѣ на запяткахъ, ожидавшему ее у дверей дома.

— Прежде, чѣмъ пожелать вамъ добраго вечера, м-ръ Нэджентъ,—заговорила она въ полголоса, уже усѣвшись въ фаэтонъ— я хотѣла бы сказать вамъ словечко насчетъ вашей супруги. Я глубоко убѣждена, что въ сущности у нея нѣтъ никакой болѣзни, которую нельзя было-бы устранить силою воли, ея собственной воли. Весь упадокъ силъ у нея и вся нервность обусловливаются только тѣмъ, что она такъ упорно лежитъ въ постели. Она не хочетъ вставать, и между тѣмъ ее необходимо, такъ или иначе, заставить встать—непремѣнно нужно заставить. Я настаиваю на этомъ такъ горячо просто потому, что иначе м-съ Нэджентъ можетъ умереть изъ-за прямого упрямства—изъ-за того, что она не хочетъ выздоровѣть...

На красивомъ лицѣ Гарри, стоявшаго возлѣ экипажа, появилось выраженіе крайняго безпокойства, смѣшаннаго съ растерянностью.

— Тоже самое говорилъ мнѣ и д-ръ Грасемиръ—заявилъ онъ. —Конечно, ей слѣдовало-бы встать съ постели, но что и какъ тутъ подѣлаешь? Доставить ей какое-нибудь сильное потрясеніе,

въ родѣ испуга? Но будетъ-ли это для нея полезно вообще, въ другихъ отношеніяхъ?

— Потрясеніе? испугъ?—отозвалась д-ръ Аштонъ, превращаясь въ истинное воплощеніе профессіональнаго искусства.—Конечно, это никуда не годится. Пожарная тревога и тому подобныя вещи могутъ, пожалуй, просто убить ее. Нельзя, конечно, безусловно отрицать, что могутъ и излѣчить—въ медицинѣ все возможно; но, во всякомъ случаѣ, рисковать намъ не слѣдуетъ. Въ сущности, м-ръ Нэджентъ, дѣло стоитъ слѣдующимъ образомъ. Ваша супруга вполнѣ искренно увѣрена, что она слишкомъ тяжело больна для того, чтобы ей когда-либо оправиться; а вамъ не хуже меня извѣстно, какое изумительное вліяніе можетъ оказывать на общее состояніе тѣла то или другое душевное настроніе. Ну-съ, для спасенія ея жизни—и такое спасеніе вполнѣ возможно—мы должны поднять ее съ постели и дать ей возможность самолично увѣдиться фактически, что она *можетъ* встать и ходить. Именно для достиженія этой цѣли д-ръ Грассмиръ и попросилъ меня взять на себя веденіе этого дѣла. Мы уже обсудили съ нимъ одинъ планъ дѣйствій въ этомъ направленіи. Онъ переговоритъ съ вами о всѣхъ подробностяхъ. Я лично не сомнѣваюсь, что м-съ Нэджентъ начнетъ поправляться въ самомъ непродолжительномъ времени. До свиданія!

Нѣсколько дней спустя, д-ръ Грассмиръ нашелъ м-съ Нэджентъ полуприподнятою въ постели при помощи многочисленныхъ кружевныхъ подушекъ. Она была попрежнему очень блѣдна и худа, но и попрежнему мягко-сердечна и терпѣлива.

— Ну, м-съ Нэлли, какъ поживаете съ вашимъ новымъ докторомъ?—освѣдомился онъ весело.—Положительно, вы выглядываете теперь лучше! Или, точнѣе сказать, чувствуете себя лучше. Великолѣпная погода для выздоровленія!—прибавилъ докторъ ободрительно, держа въ своей большой рукѣ ея маленькую холодную ручку и ласково поглаживая и перебирая ея прозрачные пальчики, точно играя съ ребенкомъ.

— Я, дѣйствительно, чувствую себя довольно сносно, докторъ, —отозвалась она томнымъ, слабымъ голосомъ.—И это все, что можно было-бы ожидать отъ меня. Я очень рада, что вы опять заглянули къ намъ. Какъ обрадуется Гарри! Неправда-ли, ему было-бы уже пора вернуться домой къ завтраку?

Д-ръ Грассмиръ посмотрѣлъ на часы.

— Да пора... Гмъ, даже болѣе чѣмъ пора, пожалуй... Гмъ... была у васъ сегодня д-ръ Аштонъ? Я надѣялся повидаться съ нею...

Нэлли потупила глаза и начала вертѣть на худенькомъ пальцѣ обручальное кольцо, единственное кольцо, украшавшее ея руки.

— Мы ее очень любимъ...—сказала она задумчиво.—Она такая красавица и такая... привлекательная... Гарри страшно весело съ нею; они все хохочутъ и болтаютъ взапуски.

Нэлли закончила свои замѣчанія легкимъ вздохомъ.

— Вы хотите сказать, что Гарри пріударяетъ за нею?—спросилъ докторъ съ лукавыми огоньками въ глазахъ.—Надѣюсь, не больше, чѣмъ слѣдуетъ? или какъ?

Нэлли быстро взглянула на него съ озадаченнымъ видомъ. По ея блѣдному лицу внезапно разлился румянецъ—въ первый разъ послѣ этихъ мѣсяцевъ недомоганія.

— Не больше, чѣмъ слѣдуетъ?!... Что вы хотите этимъ сказать, докторъ Грассмиръ?! ..

Въ пріятномъ, изумленномъ голоскѣ больной слышалась довольно горячая нотка.

Отъ отвѣта на ея вопросъ д-ру Грассмиру пришлось воздержаться, такъ какъ въ этотъ моментъ раздался стукъ въ дверь, а за нимъ—въ комнатѣ появилась служанка съ завтракомъ для м-съ Нэджентъ, состоявшимъ изъ яйца въ смятку, кусочка жареной перепелки, въ столь-же крошечномъ ломтикѣ хлѣба съ масломъ, и пары персиковъ. Сверхъ того, на серебряномъ подносѣ лежало письмо въ искомканномъ, вскрытомъ конвертѣ, разорванномъ, очевидно, чьею-то спѣшною рукою.

— Ага! письмо для васъ, м-съ Нэджентъ!—замѣтилъ докторъ, надѣвая очки и приступая къ разрѣзыванію кусочка перепелки на еще болѣе мелкіе кусочки.

Его человѣколюбивое занятіе было внезапно прервано слабымъ восклицаніемъ, вырвавшимся у Нэлли, которая, взявъ письмо съ подноса, адресованное женскою рукою на имя „м-ра Гарри Нэджента“, поспѣшно выхватила раздушенный листокъ почтовой бумаги и впилась въ него глазами. Письмо начиналось словами: „Дорогой душечка, Гарри!“ и кончалось: „на вѣки вся твоя Гертруда“.

— Откуда вы это взяли?—спросила она у горничной, почти задыхаясь.

— Да вотъ тутъ, въ корридорѣ нашла, сударыня,—заявила служанка.—Шла къ вамъ съ завтракомъ, вижу на полу валяется, ну я и подняла, дай, думаю, барынѣ подамъ: все лучше будетъ, чѣмъ въ корридорѣ ему лежать...

Но Нэлли уже больше не слушала ея разъясненій. Нервно отодвинувъ маленькій столикъ съ завтракомъ, объятая возбужденіемъ и ужасомъ, она теперь приподнялась на локоть въ постели и пожирала это убійственное письмо, изъ котораго она узнала, что ея мужъ, наконецъ, усталъ отъ ея инвалидничанія и хныканія, что онъ порѣшилъ дать себѣ временный отпускъ для отдохновенія, что онъ умолялъ д-ра Гертруду Аштонъ доказать на дѣлѣ ея

любовь къ нему, въ которой она его такъ часто увѣряла, и что д-ръ Аштонъ уступила его мольбамъ: она согласилась бѣжать съ нимъ, согласилась встрѣтиться съ нимъ въ Кларендонскомъ отелѣ сегодня, ровно въ полдень, и уговориться окончательно о деталяхъ побѣга.

Дочитавъ потрясающія строки, Нэлли откинулась на подушки. Ей сдѣлалось дурно на нѣсколько секундъ. И въ то время, когда она лежала тамъ въ полусознаніи, д-ръ Грассмиръ пробѣгалъ письмо, трясясь отъ едва сдерживаемаго хохота.—„Душечка Гарри“—великолѣпно!— „на вѣки твоя“— чудесно! Молодецъ дѣвочка —Право, я и самъ не смогъ-бы лучше написать... Кларендонскій отель... гмъ... Держу пари, что Нэлли поправится, заглянувъ туда на минуточку.

Едва открывъ глаза, Нэлли вдругъ сѣла на постели.

— Докторъ, прошу васъ распорядиться насчетъ кареты!— сказала она рѣшительнымъ тономъ.—Только скорѣе! Пошлите ко мнѣ Полину! Я должна встать какъ-нибудь, во что-бы-то ни стало! О, докторъ, подумайте только—мой Гарри....

Она подавила подступившія къ горлу слезы и прибавила: „Если только я доберусь до нихъ,—до нея... О, пожалуйста, бѣгите скорѣе, какъ можно скорѣе!“

И едва успѣла затвориться дверь за широкою спиною доктора, какъ Нэлли уже очутилась на ногахъ по срединѣ комнаты. Правда она была, видимо, слаба и дрожала всѣмъ тѣломъ; тѣмъ не менѣе все существо ея было теперь охвачено горячкой ревности, заставлявшей ея облѣнившееся сердечко работать съ благодѣтельною энергіею и дѣятельно разсылать животворную кровь по всѣмъ жиламъ и жилочкамъ.

При содѣйствіи изумленной Полины, она быстро одѣлась и закуталась въ шаль, а затѣмъ еще быстрѣе стала спускаться по давно забытой лѣстницѣ, опираясь на руку д-ра Грассмира, почему-то улыбавшагося во весь ротъ, можетъ быть, потому, что онъ замѣчалъ, какъ съ каждымъ шагомъ поступь ея становилась все тверже и увѣреннѣе.

До Кларендонскаго отеля имъ пришлось ѣхать довольно долго: совершенно некстати „глупому кучеру вздумалось сбиться съ дороги“ и поѣхать въ противоположную сторону,—по крайней мѣрѣ такъ объяснилъ, сгоравшей нетерпѣніемъ Нэлли, д-ръ Грассмиръ. Во всякомъ случаѣ, когда они, наконецъ, остановились у подъѣзда великолѣпнаго отеля, никто не призналъ-бы въ м-съ Нэджентъ той самой женщины, которая какихъ-нибудь два часа назадъ валялась блѣдная и совершенно безпомощная, среди груды подушекъ, на одрѣ болѣзни, который она не покидала въ теченіе столь продолжительнаго времени.

Отведя ее въ дамскую комнату, д-ръ Грассмиръ отправился дѣлать рекогносцировку. Вскорѣ онъ вернулся, взялъ ее подъ руку, поднялся съ нею на элеваторѣ въ одинъ изъ верхнихъ этажей и остановился у одной изъ ближайшихъ дверей.

— Ну, Нэлли, дорогое дитя,—сказалъ онъ съ торжественностью, не вполнѣ гармонировавшею съ веселыми искорками, прыгавшими въ его глазахъ,—чувствуете-ли вы себя готовою встрѣтиться съ однимъ сюрпризомъ? Увѣрены-ли вы, что будете въ состояніи выслушать сейчасъ кое-какія неожиданныя вещи?

Нэлли сначала подняла головку съ выраженіемъ негодованія, затѣмъ внезапно опустила ее отъ прилива страха и пробормотала: „что-жъ... для меня теперь все кончено... сердце мое разбито... Гарри измѣнилъ“...

Д-ръ Грассмиръ проворно отворилъ дверь номера, обнялъ одною рукою станъ спутницы и почти втащилъ ее въ пустую пріемную.

— Гарри, дружище!—радостно закричалъ онъ.—Смотрите—вотъ она! Намъ удалось таки вытащить ее,—сама встала. Полюбуйтесь только, каково теперь она выглядываетъ!

При этихъ словахъ изъ сосѣдней комнаты выскочилъ Гарри, который бросился со всѣхъ ногъ къ Нэлли и схватилъ ее въ свои объятія.

Полуиспуганная, полуозадаченная м-съ Нэджентъ оглядывалась во всѣ стороны съ вопросительнымъ видомъ.

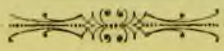
— Но... но.. гдѣ-же она... гдѣ д-ръ Аштонъ?—справилась Нэлли, прижимаясь къ Гарри.

Д-ръ Грассмиръ залился задушевнымъ хохотомъ. Засмѣялся и м-ръ Нэджентъ.

— Признаюсь, милая дѣточка!—сказалъ онъ, ласково поглаживая ее по щекѣ.—Мнѣ сначала не особенно понравился этотъ способъ заманить тебя сюда, но д-ръ Грассмиръ былъ такъ увѣренъ—и, какъ видишь, онъ не ошибся—ну, я и согласился... Ты простишь намъ всю эту невинную шутку, Нэлли,—неправда-ли?

Съ этой самой минуты выздоровленіе м-съ Нэджентъ пошло неуклоннымъ путемъ. Въ тотъ-же день вечеромъ всѣ три заговорщика собрались въ ея гостиной посмѣяться надъ примѣненнымъ ими героическимъ методомъ леченія ея упорнаго недуга.

— Конечно, вамъ удалось вылечить меня,—замѣтила Нэлли, задумчиво посматривая въ сторону д-ра Гетруды Аштонъ,—а все-таки я никогда не стану рекомендовать хорошенькихъ женщинъ-докторовъ....



Изъ письма.

Не до „плѣнительныхъ созвучій“
Намъ было... тягостно жилось,
Когда надъ нами, черной тучей,
Былое горе пронеслось.

„Иное“ встрѣтивши „теченье“,
Друзья тогда въ бою легли...
И за „порывы увлеченья“
Мы расплатились, какъ могли.

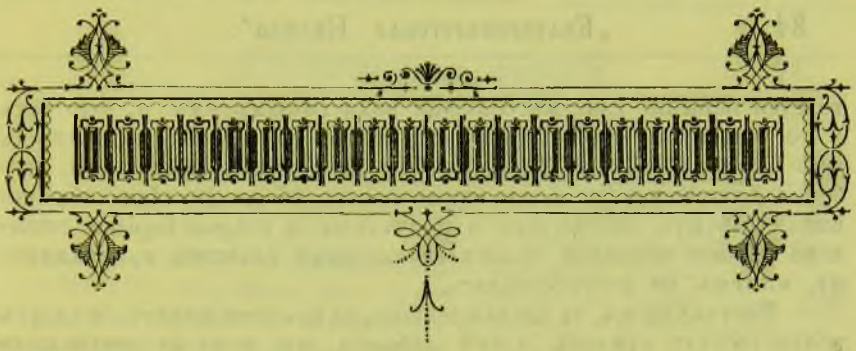
И вновь, прислушиваясь къ грому
Чрезъ много лѣтъ, въ борьбѣ иной
Я и теперь къ тому, къ былому,
Не отнесусь съ насмѣшкой злой.

Тамъ было все: порывъ безъ мѣры—
Вполнѣ „безумныя“ дѣла,
Палящій лучъ горячей вѣры,
Протестъ горячій противъ зла,

Нѣмой укоръ и жажда мщенья,
Всему хорошему привѣтъ,
Любовь, проклятье и прощенье,
Безумный подвигъ, жизнь и свѣтъ.

Къ чему-жъ обидныя улыбки...
Оставь, былого не тревожь!
Тамъ были, можетъ быть, ошибки,
Но не сознательная ложь...

Ф. Филимоновъ.



ГОРЕ ПИЧУЖКИ.

(Разсказъ).

Н. П. Стахевичъ.

Быстро несется поѣздъ; быстро бѣгутъ мимо мосты, телеграфные столбы, сторожки, стрѣлочники, водокачки... А тамъ дальше, за полотномъ дороги, стелется печальная картина:—среди мелкой поросли чернѣютъ толстые пни вѣковыхъ деревъ, жалкіе остатки когда-то прекраснаго лѣса! И давно-ли, давно-ли, кажется, тутъ пролегала почтовая дорога, а по сторонамъ ея высились густыя стѣны почти непроходимаго лѣса... Бѣжитъ, бывало, бѣжитъ почтовая тройка, а лѣсу и конца нѣтъ: тянется и тянется, дремучій, цѣлые десятки верстъ! Вынырнетъ, бывало, изъ чащи одинокая почтовая станція, либо убогая жидовская корчма, а тамъ опять--лѣсъ и лѣсъ...

— Станція такая-то! Столько-то минутъ!—отчетливо и громко произноситъ кондукторъ, и въ тотъ же мигъ мысли мои принимаютъ иное направленіе. Я вспомнилъ, что пересѣлъ изъ III класса во II съ цѣлью хорошенько отдохнуть, такъ какъ организмъ мой, измученный дальней дорогой и разбитый кашлемъ, настоятельно требовалъ отдыха. Оглянувшись кругомъ, я къ великой радости увидалъ, что вагонъ былъ почти пустъ: на одномъ диванѣ спалъ долговязый гимназистъ, на другомъ возсѣдала старая,

52279.00

толстая барыня. Еще къ большей радости замѣтилъ я, что тутъ я не услышу почти неизбѣжныхъ въ дорогѣ и такъ надоѣвшихъ мнѣ: „откуда“? „куда“? „зачѣмъ“? и такъ далѣе: гимназисты, особенно долговязые, т. е. въ возрастѣ отъ 16 до 20 лѣтъ, обыкновенно бываютъ застѣнчивы и молчаливы, а старая барыня слишкомъ лѣниво поводила своими заплывшими глазками и, повидимому, ничѣмъ не интересовалась.

Растянувшись, съ наслажденіемъ, на мягкомъ диванѣ, я вдругъ почувствовалъ приливъ такой доброты, что меня не раздражали ни носовой свистъ крѣпко спавшаго гимназиста, ни щелканье орѣховой скорлупой, хотя барыня и очень шумно грызла орѣхи, не опрятно бросая скорлупу прямо на полъ.

— Ну, что-жъ, пощелкаетъ да и перестанетъ, а я все-таки прекрасно высплюсь!—благодушествовалъ я, поддаваясь сладостной дремотѣ. Но,—l'homme propose, Dieu dispose!—только что я сталъ забываться, какъ дверь съ трескомъ распахнулась и впустила въ вагонъ двухъ дамъ —одну пожилую, другую совсѣмъ молоденькую. Въ необыкновенно нарядныхъ и, вѣроятно, очень модныхъ костюмахъ, и въ какихъ-то остроконечныхъ шляпочкахъ, дамы эти не вошли, а, именно, какъ-то по-птичьи впорхнули и тотчасъ же защебетали. Старая барыня оказалась ихъ знакомой и послѣ шумныхъ объятій да поцѣлуевъ посыпались перекрестныя восклицанія:

— Марья Семеновна! Вотъ не ожидала!..

— Софья Петровна! Откуда? На долго-ли? И съ Варей! Что, она кончила?...

— Ахъ, какъ это хорошо, что мы встрѣтились! и т. д. и т. д.

Такимъ образомъ я, волей—не волей, узналъ, что птицеобразныя дамы—мать и дочь, что первую зовутъ Софьей Петровной, а вторую—Варей, а старая барыня носитъ имя Марьи Семеновны. Говорили дамы громко, не щадя, или вѣрнѣе, не замѣчая ни меня, ни гимназиста; но я еще не терялъ надежды уснуть: уже вечерѣло, но было еще рано, и вѣроятно къ ночи дамы успѣютъ выболтаться. Однако прошло не мало времени, а разговоръ продолжался. Старая барыня подробно разсказывала о томъ, какъ она хворала, какъ ей посовѣтовали ѣхать къ такой-то знаменитости, что ей сказалъ такой-то врачъ, что она отвѣтила такому-то. И пошла и пошла,—откуда что бралось.

— И неужели же,—думалось мнѣ,—неужели же этому длинному повѣствованію о ея бронхитахъ да плевритахъ, объ осложненіяхъ да воспаленіяхъ, конца не будетъ?

А барыня, между тѣмъ, продолжала, такъ сильно увлекаясь самовосхваленіемъ, что, въ концѣ концовъ, только и слышно было: „я, я, я...“ Я, дескать, то, я—другое, я—третье и т. д. до безконечности.

— Да ты же, ты, ты!—повторялъ я мысленно: ты—ума палата, ты—перлъ, ты—геній, ты, наконецъ, все, все, что тебѣ угодно! Только помолчи хоть малость, только уймись хоть на короткое время, только дай мнѣ уснуть покрѣпче, а тамъ и трещи себѣ на доброе здоровье, хоть до скончанія вѣка!...

Но вотъ она стала, какъ будто, спадать съ голоса, стала давать себѣ передышки, а наконецъ и умолкла. Легко вообразить, какъ я обрадовался. И опять таки—увы!—обрадовался напрасно! Послѣ небольшой паузы заговорила Софья Петровна и, судя по началу, нельзя было надѣяться на скорый конецъ... Софья Петровна ѣдетъ съ дочерью къ бабушкѣ... Старуха скупа, ворчлива, подозрительна и вообще не симпатична, но у ней все-таки состояніе... Ближайшіе наслѣдники—настоящіе шалопаи! Бабушка ихъ не любитъ, такъ что, быть можетъ, Варя... Конечно, еще ничего неизвѣстно, но очень можетъ быть... Варя такое милое, доброе дитя!... Она нынче кончила первой. Самая молоденькая изъ всего выпуска,—ей только семнадцать,—и вдругъ—первая! Сколько было зависти, косыхъ взглядовъ!... Онѣ пробудутъ у бабушки мѣсяца два—три и, разумѣется, не легко будетъ ладить съ неуживчивой старухой... Но,—Богъ мой!—чего не сдѣлаетъ мать для своего ребенка! А она, Софья Петровна, кажется, имѣетъ нѣкоторое право считаться хорошей матерью... Да, она надѣется, что имѣетъ это право! Быть можетъ это слишкомъ смѣло съ ея стороны, но это такъ! Развѣ она съ молодыхъ лѣтъ не отдалась вся заботамъ о дочери? Развѣ она не дѣлала для нея все, что могла и что находила лучшимъ?.. Правда, воспитаніе Вари стоитъ дорого, даже очень дорого, но Софья Петровна не жалѣла издержекъ и не раскаивается въ этомъ: что дала-бы дѣвочкѣ гимназія?—Ни манеръ, ни выправки,—рѣшительно ничего! Между тѣмъ, какъ языки и музыка... Варя очень мило играетъ! Не артистически, конечно, о, далеко нѣтъ! Софья Петровна не изъ числа слѣпо-любящихъ матерей, но все-таки, положа руку на сердце, можетъ сказать, что дѣвочка играетъ прелестно! У ней такое пріятное touché, это всѣ, всѣ говорятъ!... Но главное—манеры. Посмотрите, какъ она держится!—добавила Софья Петровна, указывая торжествующимъ взоромъ на дочь. Варя стояла у окна. Взглянувъ на нее, приходилось сознаться, что мать, съ ея точки зрѣнія, права. Блестящіе результаты строгой дрессировки были на лицо: плечики—назадъ, локотки—къ таліи, головка—немного на сторону; словомъ, дѣвушка походила на картинку моднаго журнала. Но и при всемъ томъ въ ней было что-то милое, симпатичное. Нѣжненькая такая, маленькая, съ невиннымъ птичьимъ взглядомъ,—ну просто хорошенькая пичужка. Мнѣ очень хотѣлось получить хоть нѣкоторое понятіе о ея міровоззрѣніи, но, по всей вѣроятности, я такъ и остался-бы при одномъ желаніи, если

бы къ намъ не прибылъ новый пассажиръ. Это былъ молодой красивый щеголь, занявшій мѣсто какъ разъ противъ дивана, гдѣ сидѣли рядомъ Софья Петровна и Марья Семеновна. Спустя недолго, онъ досталъ портсигаръ прекрасной ажурной работы и учтиво обратился къ дамамъ съ обычнымъ—„позволите“, послѣ чего между франтомъ и дамами завязался разговоръ. Больше, впрочемъ, говорилъ молодой человѣкъ. Онъ разсказывалъ о своихъ заграничныхъ поѣздкахъ; хвалилъ заграничные порядки, обычаи; разсмѣшилъ дамъ не новымъ, но очень приличнымъ анекдотомъ; слегка затронулъ, было, даже политику, но, не встрѣтивъ поддержки во взорахъ собесѣдницъ, тотчасъ же догадался свернуть на другое. И все это такъ ловко, съ нѣсколько фамильярной, но очень красивой улыбкой, которая все чаще и чаще появлялась на его лицѣ, въ особенности когда онъ обращался къ Варѣ. Видно было, что она ему очень нравится, и что онъ старается понравиться ей: каждый разъ, какъ только она взглядывала на него,—то улыбался ей, то отвѣчалъ ей такимъ восхищеннымъ взглядомъ, что дѣвушка тотчасъ же опускала вѣки.

— Вотъ такъ ловкачъ,—размышлялъ я, разглядывая его фигуру и его лицо, съ тщательно выхоленными, стрѣлковидными усиками и остренькимъ клочкомъ темныхъ волосъ подъ нижней губой.—Вотъ такъ ловкачъ! Немножко-бы поменьше этого „съ иголочки“ да капельку поубавить-бы этой, нѣсколько излишней, для перваго знакомства, развязности, и вотъ этихъ красивыхъ, но какъ будто не своихъ привычныхъ, а позаимствованныхъ у кого-то на короткое время, жестовъ, и вышелъ-бы молодой человѣкъ—хоть куда! Дамы относились къ нему очень любезно и всѣ его розсказни слушали съ большимъ вниманіемъ. Купивъ на одной изъ большихъ станцій нѣсколько номеровъ газетъ и двѣ какихъ-то брошюрки на французскомъ и нѣмецкомъ языкахъ, франтъ еще больше возвысился въ глазахъ дамъ. По крайней мѣрѣ, воспользовавшись его короткимъ отсутствіемъ на слѣдующей станціи, онѣ обмѣнялись такими словами:

— Очень умный и образованный молодой человѣкъ.

— Да... И притомъ хорошо воспитанный!

— О, да! Это, вѣдь, сейчасъ видно!

— Вообще пресимпатичный. А какъ онъ поглядываетъ на Вареньку! Поздравляю, милочка, съ побѣдой!

Варя стыдливо потупила глазки и, кажется, что-то возразила, но что именно,—не могу сказать: какъ разъ въ это время внезапно проснувшійся гимназистъ, схвативъ свою подушку и узелокъ, шумно ринулся къ выходу и стукнулъ при этомъ дверью такъ, что дамы даже взвизгнули отъ испуга.

Спустя недолго, возвратился и франтъ. Вмѣсто газетъ и

брошюръ, которыя онъ, выходя изъ вагона, захватилъ, въ рукахъ у него былъ пакетъ съ фруктами. Онъ тотчасъ предложилъ ихъ дамамъ и снова началась громкая бесѣда. Но усталость мало-помалу взяла свое и къ полуночи я крѣпко уснулъ. Не знаю, спали ли мои спутники, нѣтъ-ли, но проснувшись поутру, довольно впрочемъ поздно, я засталъ ихъ всѣхъ бодрствующими. Полная барыня, перекидываясь отрывистыми фразами съ Варенькиной маменькой, собирала свои вещи; франтъ сидѣлъ молча, но почти не сводилъ глазъ съ Вари; она, казалось, еще похорошѣла и чаще вчерашняго, и, очевидно, не случайно, останавливала свои сіяющіе глазки на его лицѣ. Но вотъ и станція. Молодой человѣкъ торопливо распростился съ барынями, нѣсколько дольше удержалъ въ своей рукѣ ручку Вари и вышелъ первый. Потомъ медленно выплыла полная барыня, а за ней выпорхнули Варя съ матерью. На платформѣ дамы дружески разцѣловались и, насказавъ одна другой многое множество всевозможныхъ „не забудьте“, „передайте“, „пишите“ и т. п.—разстались. Полная барыня засуетилась около вещей, а Варя съ матерью, прогуливаясь взадъ и впередъ, о чемъ-то весело и оживленно разсуждали. Вдругъ онѣ обѣ разомъ умолкли и, уставившись въ одну точку, глядѣли съ какимъ то страннымъ недоумѣніемъ, почти испугомъ. Я оглянулся по направленію ихъ взглядовъ: изъ вагона I класса вылѣзалъ какой-то дряхлый подагрикъ, а нашъ великолѣпный франтъ, какъ-то особенно изогнувшись, бережно поддерживалъ старика подъ локоть. Едва передвигая ноги, подагрикъ долго переходилъ платформу. Онъ все время что-то ворчалъ, сердито косясь на франта, покуда тотъ, не возражая ни единымъ словомъ и все также почтительно изогнувшись, не довелъ старика до коляски. Усадивъ барина и укутавъ его ноги нѣсколькими пледами, франтъ, съ необычайными ловкостью и быстротой, вскочилъ на козлы и занялъ мѣсто рядомъ съ кучеромъ. На Варю онъ ни разу не оглянулся. И хорошо сдѣлалъ! Случись иначе, она, кажется, не устояла-бы на ногахъ: на бѣдной дѣвушкѣ, какъ говорится, лица не было. Мать что-то прошептала ей и обѣ поспѣшно юркнули въ вагонъ.

— О, мама! Вѣдь это ужасно!—воскликнула Варя, опускаясь на диванъ.

— Конечно, непріятно! Къ счастію, никто не узнаетъ.

— А что, если эта противная Марья Семеновна...

— Избави Богъ! Она бы, разумѣется, всѣмъ разболтала. Да нѣтъ, она не видала ничего!

Какъ бы въ отвѣтъ на эти слова—откуда ни возьмись Марья Семеновна. Рискуя остаться на поѣздѣ, такъ какъ уже данъ былъ второй звонокъ, она довольно таки ироворно—откуда и прыть взялась!—вскарабкалась и торопливо затараторила.

— Каково?! Какъ вамъ это нравится! Видѣла я, какъ это васъ поразило! Да и еще бы! Вѣдь это такое... такое нахальство!...

Варя закусила губу, видимо съ трудомъ сдерживая подступавшія слезы; мать совсѣмъ растерялась: она силилась улыбнуться, кажется, хотѣла что-то сказать, но слова не шли съ языка, а вмѣсто улыбки вышла какая-то кислая гримаса. Еще въ моментъ появленія Марьи Семеновны все лицо ея внезапно покрылось красными пятнами, а теперь, взглянувъ на дочь, она вся побагровѣла. Должно быть ей очень было больно за Варю. А толстуха, между тѣмъ, продолжала:

— Какъ хотите, а это такое нахальство, что просто ужасъ! это просто—чортъ знаетъ что!...

По просьбѣ Софьи Петровны—говорить потише, старуха нѣсколько поубавила тонъ, но все-таки сыпала и сыпала: „она только на минутку... едва вырвалась, даже багажъ на извозчикѣ оставила, а все-таки не утерпѣла, чтобъ не предупредить милую Софью Петровну, что тамъ въ N. *объ этомъ* никому не надо говорить. Ей то самой, какъ старухѣ, конечно—ничего, но имъ, особенно, Варѣ... Какъ хотите, все же для молодой дѣвушки“... и проч. Наконецъ она распростилась. Но, и вышедши, пріотворила таки дверь и еще разъ прошептала тѣмъ выразительнымъ шепотомъ, который слышнѣе обыкновенной рѣчи въ полголоса:

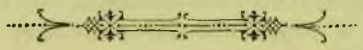
— На меня можете положиться: никто, рѣшительно никто не узнаетъ!

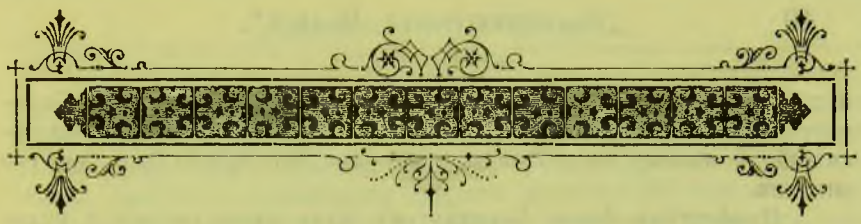
— Узнаютъ, всѣ узнаютъ!—простонала Варя, закрывая лицо руками.

Мать, взглянувъ въ мою сторону, заговорила по французски. Она успокоивала дочь тѣмъ, что, можетъ быть, Марья Семеновна и не разболтаетъ; что все это забудется, пока она будетъ гостить у бабушки и, наконецъ, тѣмъ, что Марья Семеновна извѣстна, вѣдь, всѣмъ, и ей никто изъ порядочныхъ людей не повѣритъ.

— Напротивъ, повѣрятъ! Еще и какъ!—по французски же возразила Варя и прибавила:—хоть бы никто не узналъ, что мы ѣли его виноградъ и груши!... Быть можетъ остатки отъ ужина его господина! Тутъ она припала лицомъ къ подушкѣ и зарыдала. Рыданій, впрочемъ, не было слышно, но за то видно было. какъ вся ея миніатюрная и гибкая фигурка судорожно вздрагивала. Замѣтивъ, что стали прибывать новые пассажиры, мать старательно укрыла ее платкомъ.

Бѣдная Варя! Какъ ни смѣшно твое крошечное горе, но для тебя оно велико, и причиняетъ тебѣ такую же боль, какъ и всякое другое!





ПРОФЕССОРСКІЙ ЭКСПЕРИМЕНТЪ.

Разсказъ M-r Stockley.

(Переведено съ англійскаго Л. А. Мурахиной).

Изъ всѣхъ наукъ, когда-либо смущавшихъ умы людей, особенно привлекала ученаго профессора фонъ-Баумгартена та, которая занимается вопросами психологіи и старается выяснить связь между духомъ и матеріею. Будучи превосходнымъ анатомомъ и химикомъ, онъ съ наслажденіемъ примѣнялъ въ часы досуга свои обширныя познанія къ изслѣдованію туманной области духовныхъ и душевныхъ явленій. Когда онъ впервые, еще во времена студенчества, началъ ознакомливаться съ тайнами месмеризма, то увидѣлъ предъ собою нѣчто въ родѣ первобытнаго хаоса, изъ котораго лишь тамъ и сямъ выступалъ какой-нибудь одинокій, крайне загадочный фактъ.

Съ теченіемъ же времени, по мѣрѣ того, какъ накоплялись знанія профессора, многое изъ того, что вначалѣ казалось ему непонятнымъ и страннымъ, стало казаться вполнѣ естественнымъ и цѣлесообразнымъ. Понемногу онъ ознакомился съ новыми законами мышленія и сталъ открывать такіе пути изысканій, о которыхъ до него никто и понятія не имѣлъ, безконечный рядъ опытовъ, совершенный имъ въ продолженіе болѣе двадцати лѣтъ, образовалъ такой прочный фундаментъ, что на немъ смѣло можно было-бы воздвигнуть гигантское зданіе, въ составъ котораго входили-бы месмеризмъ, спиритуализмъ и родственные имъ „измы". Особенно помогало ему въ его изысканіяхъ точное знаніе той части животной физіологіи, которая трактуетъ о нервной системѣ и

о дѣятельности мозга. Нужно сказать, что Алексисъ фонъ Баумгартенъ былъ профессоромъ физіологіи при Кайнплацкомъ университетѣ, и потому имѣлъ подъ рукою все, что нужно было для его опытовъ.

Профессоръ фонъ- Баумгартенъ былъ очень высокъ и худощавъ, съ длиннымъ, угловатымъ лицомъ и съ блестящими, замѣчательно проницательными, глазами стального цвѣта. Постоянное усиленное мышленіе избороздило его высокій лобъ глубокими морщинами и стянуло его густыя брови. Вслѣдствіе этого, онъ казался угрюмымъ и сердитымъ, хотя на самомъ дѣлѣ онъ былъ удивительно общительнаго нрава и мягкосердеченъ. Онъ пользовался большою популярностью между студентами, которые всегда наполняли его аудиторію и внимательно ловили каждое слово его странныхъ теорій. Онъ часто приглашалъ изъ ихъ среды желающихъ помочь ему въ совершеніи какого-нибудь опыта, и такимъ образомъ, не было почти ни одного студента, который не былъ-бы хоть разъ погруженъ профессоромъ въ месмерическій сонъ.

Самымъ восторженнымъ его слушателемъ и поклонникомъ былъ безспорно Фрицъ фонъ-Гартманъ. Казалось очень страннымъ, что „дикій, безразсудный“ Фрицъ, какимъ онъ слылъ между всѣми знавшими его, проводитъ цѣлыя ночи напролетъ надъ чтеніемъ различныхъ, непонятныхъ простому уму, сочиненій и охотнѣе всѣхъ помогаетъ профессору при его странныхъ опытахъ. Это положительно не вязалось съ его характеромъ и тѣми воззрѣніями, которыя высказывались имъ въ началѣ пребыванія его въ Кайнплацкомъ университетѣ. Ключъ къ этой загадкѣ заключался въ томъ, что Фрицъ влюбился по уши въ голубоокую и златокудрую Элизу, дочь профессора фонъ-Баумгартена. Хотя ея розовыя губки и не разъ уже шепнули ему, что онъ пользуется взаимностью, онъ тѣмъ не менѣе не дерзалъ открыто искать ея руки Ему было бы очень трудно добиться доступа въ профессорскій домъ, если-бы онъ не постарался изъявить Алексису фонъ-Баумгартену свою полную и всегдашнюю готовность быть его помощникомъ при экспериментахъ. Профессоръ съ радостію воспользовался его готовностью къ услугамъ и сталъ приглашать его къ себѣ въ домъ чуть-ли не каждый день. Фрицъ, дѣйствительно, охотно позволялъ продѣлывать надъ собою всевозможныя штуки, лишь-бы только увидать свою возлюбленную, или даже только услышать изъ сосѣдней комнаты ея звонкій голосокъ.

Фрицъ фонъ-Гартманъ былъ красивый малый. Къ тому же онъ былъ единственнымъ наслѣдникомъ очень и очень кругленькаго состоянія, и потому могъ по справедливости считаться завиднымъ женихомъ. Не смотря на это, госпожа профессорша всегда была противъ его появленія въ домѣ и не разъ выговаривала

своему ученому супругу, что онъ напрасно допускаетъ кровожаднаго волка бродить вокругъ невиннаго ягненочка. Это предубѣжденіе профессорши противъ Фрица фонъ-Гартмана объяснялось тѣмъ, что онъ пользовался дурной славой. Не было ни одной разгульной попойки, ни одного ночного скандала, наконецъ,—ни одной дуэли, въ которыхъ онъ не фигурировалъ бы въ качествѣ главнаго зачинщика. Никто не былъ такъ невоздержанъ на языкъ, какъ онъ, никто не пилъ такъ много, не игралъ столько въ карты и не былъ такъ праздненъ. Поэтому и не удивительно, что почтенная профессорша питала противъ него злобу и всячески старалась оберегать отъ него свою прелестную дочь. Что же касается самого профессора, то онъ слишкомъ былъ занятъ своими изслѣдованіями и опытами, чтобы обращать вниманіе на нравственныя свойства своего усерднаго помощника. Уже много лѣтъ, какъ въ его голову вгнѣздилась одна мысль, отъ которой онъ никакъ не могъ отдѣлаться. Всѣ его теоріи и эксперименты имѣли основаніемъ эту мысль. По крайней мѣрѣ сто разъ въ день профессоръ спрашивалъ себя,—возможно-ли человѣческому духу просуществовать нѣсколько времени отдѣльно отъ тѣла и потомъ снова возвратиться въ него? Когда этотъ вопросъ представился ему въ первый разъ, онъ отпрянулъ отъ него почти въ ужасѣ; слишкомъ ужъ не согласовался этотъ вопросъ съ предвзятыми идеями ученаго мужа и съ общепринятыми научными выводами. Но по мѣрѣ того, какъ профессоръ шелъ все далѣе и далѣе по новому, самостоятельно избранному имъ самимъ, направленію, онъ стряхивалъ съ своего ума всѣ прежнія оковы и сталъ приходить къ выводамъ, которые легко могли примирить противорѣчивые факты. Такимъ образомъ, у него, наконецъ, сложилось положительное убѣжденіе, что духъ можетъ существовать отдѣльно отъ тѣла, и ему стало казаться, что вопросъ этотъ можетъ быть окончательно разрѣшенъ однимъ смѣлымъ, оригинальнымъ опытомъ.

„Несомнѣнно“, писалъ онъ въ своей знаменитой статьѣ, „о духовныхъ явленіяхъ“, напечатанной въ „Кайнплацкомъ медицинскомъ еженедѣльникѣ“ и удивившей весь міръ, „несомнѣнно, что при нѣкоторыхъ условіяхъ духъ можетъ отрѣшиться на время отъ тѣла. Когда человѣкъ находится въ состояніи месмеризма, тѣло каталепсировано, потому что духъ покинулъ его. Вы можете возразить, что духъ вовсе не отсутствуетъ, но только обрѣтается въ состояніи спячки. Отвѣчу, что это не вѣрно, такъ какъ иначе не чѣмъ объяснить ясновидѣніе, фактъ котораго невозможно отрицать, хотя онъ и дискредитированъ плутнями негодяевъ. Мнѣ самому не разъ приходилось получать отъ сензитивныхъ субъектовъ самыя точныя описанія того, что происходило въ данное время въ другомъ домѣ. Въ самомъ дѣлѣ, какою еще гипо-

тезою можно объяснить этотъ фактъ, какъ не тѣмъ, что духъ усыпленнаго субъекта покинулъ тѣло и виталъ въ пространствѣ? Призываемый голосомъ экспериментатора, онъ возвращается на мгновеніе, чтобы разсказать о видѣнномъ имъ, и потомъ опять улетаетъ отъ тѣла. Такъ какъ духъ по свойству своему невидимъ для насъ, то мы и не можемъ видѣть его ухода и прихода, но замѣчаемъ его присутствіе или отсутствіе по состоянію тѣла: то оно лежитъ совершенно неподвижно, точно мертвое, то внезапно оживляется и начинаетъ сообщать о впечатлѣніяхъ, которыхъ оно не могло никакъ получить естественнымъ путемъ. Я вижу только одинъ способъ, какимъ можетъ быть демонстрированъ этотъ фактъ. Хотя мы, облеченные плотью, и не можемъ видѣть духовъ, но разобщившись съ тѣломъ, нашъ духъ ясно будетъ видѣть другъ друга. Въ виду этого, я намѣренъ привести въ месмерическое состояніе одного изъ моихъ слушателей, а затѣмъ месмеризую и самого себя извѣстнымъ мнѣ и давно мною практикуемымъ способомъ. Такимъ образомъ, если моя теорія вѣрна, я добьюсь того, что мой духъ и духъ моего слушателя, освобожденные отъ тѣла, будутъ безпрепятственно сообщаться другъ съ другомъ. Я надѣюсь, что буду въ состояніи сообщить результатъ этого интереснаго эксперимента въ одномъ изъ слѣдующихъ номеровъ этого уважаемаго журнала“.

Когда профессоръ, наконецъ, исполнилъ свое обѣщаніе, описавъ все происходившее при опытѣ, разсказъ его, по своей необычайности, былъ встрѣченъ общимъ недовѣріемъ. Тонъ комментарій нѣкоторыхъ изъ газетъ и журналовъ былъ такъ оскорбителенъ, что возмущенный ученый далъ слово никогда болѣе и не заикаться о своемъ экспериментѣ; это слово онъ добросовѣстно и сдержалъ.

Зная, однако, изъ достовѣрныхъ источниковъ, что все сообщенное имъ въ „Кайнплацкомъ медицинскомъ еженедѣльникѣ“, относительно сдѣланнаго имъ „рѣшительнаго“ опыта, вѣрно до мельчайшихъ подробностей, мы позволяемъ себѣ пересказать читателю всю эту исторію съ начала до конца.

Вышло все слѣдующимъ образомъ. Однажды вечеромъ, вскорѣ послѣ сообщенія о задуманномъ экспериментѣ, профессоръ фонъ-Баумгартенъ задумчиво шелъ домой изъ лабораторіи, въ которой провелъ почти весь день. Въ это время ему попалась на встрѣчу шумная ватага подвыпившихъ студентовъ, только что вышедшихъ изъ пивной. Во главѣ ихъ шелъ Фрицъ фонъ-Гартманъ. Онъ больше всѣхъ горланилъ и отчаянно размахивалъ руками по воздуху. Профессоръ сдѣлалъ было видъ, что не замѣчаетъ этой толпы и хотѣлъ пройти мимо, но Фрицъ смѣло подошелъ къ нему и заговорилъ, не много заплетающимся, языкомъ:

— А! это вы, дорогой учитель! Мнѣ надо кое-что сказать вамъ, а сказать это, кое-что, удобно только въ настоящемъ моемъ состояніи, когда у меня шумитъ въ головѣ.

— Въ чемъ дѣло, Фрицъ?—мягко спросилъ профессоръ, съ изумленіемъ глядя на молодого человѣка.

Фрицъ безцеремонно оттащилъ профессора за рукавъ въ сторону.

— Я слышалъ,—отвѣтилъ онъ,—что вы намѣрены произвести удивительный опытъ: хотите попробовать отрѣшить отъ тѣла духъ какого-нибудь субъекта и потомъ снова возвратить его обратно. Правда это?

— Правда, Фрицъ.

— А подумали-ли вы, дорогой профессоръ, что вамъ не легко будетъ найти субъекта для такого рискованнаго опыта? Примите въ соображеніе возможность, что духъ, разъ очутившись на свободѣ, не захочетъ возвратиться назадъ,—вѣдь, это будетъ скверная штука. Кто захочетъ рисковать такимъ образомъ?

— Ахъ, Фрицъ, Фрицъ!—воскликнулъ фонъ-Баумгартенъ, поражденный этими замѣчаніями своего всегдашняго помощника по части экспериментовъ,—я разсчитывалъ именно на ваше содѣйствіе въ этомъ случаѣ. Неужели вы покинете меня въ критическій моментъ? Неужели васъ не прельщаютъ слава и честь, ожидающія того, кто будетъ участвовать въ моемъ опытѣ?

— Ну, это одни пустыя слова!—досадливо воскликнулъ молодой человѣкъ.—Честью и славою не вознаградятъ меня за то, что я могу потерять... Знаю я эти штуки! Не я ли стоялъ битыхъ два часа на изолирующей стеклянной подставкѣ, пока вы пропускали сквозь меня электричество? Не вы ли раздражали до послѣдней возможности мои нервы и испортили навсегда мое пищевареніе, пропуская токъ вокругъ моего желудка? Тридцать четыре часа я находился по вашей милости въ месмерическомъ снѣ,—а что я выигралъ этимъ? А теперь вы, вдобавокъ ко всему, еще хотите вынуть изъ меня духъ, какъ вытаскиваютъ механизмъ изъ часовъ. Это ужъ слишкомъ!

— Дорогой мой, вы совершенно правы!—съ грустью сознался профессоръ,—я объ этомъ и не подумалъ. Но, можетъ быть, вы имѣете въ виду что-нибудь, чѣмъ бы я могъ вознаградить васъ,—повѣрьте, я готовъ сдѣлать все, зависящее отъ меня...

— Такъ слушайте же!—торжественно проговорилъ Фрицъ.—Если вы дадите мнѣ слово, что не станете препятствовать вашей дочери стать моей женою, тогда я съ удовольствіемъ готовъ помочь вамъ для совершенія вашего рискованнаго опыта; если же вы не дадите этого слова—я вамъ болѣе не помощникъ. Вотъ вамъ и все.

— А что скажетъ на это моя дочь?—спросилъ профессоръ, придя въ себя отъ изумленія.

— Элиза будетъ въ восторгѣ,—убѣжденно отвѣтилъ студентъ. —Мы давно уже любимъ другъ друга.

— Въ такомъ случаѣ она будетъ вашей,—рѣшительно объявилъ знаменитый физіологъ.—Вы человѣкъ съ превосходною душею и къ тому еще—самый превосходный субъектъ для опытовъ... т. е. когда вы не находитесь подъ вліяніемъ алкоголя... Экспериментъ мой назначенъ на четвертое число слѣдующаго мѣсяца. Будьте въ тотъ день въ аудиторіи ровно къ одиннадцати часамъ... Опытъ будетъ крайне интересенъ и надѣлаетъ шуму во всемъ ученомъ мірѣ. Изъ Іены пріѣдетъ фонъ-Грубенъ, а изъ Базеля—Хихтерштейнъ. Будутъ такимъ образомъ присутствовать главнѣйшіе представители науки южной Германіи!

— Я буду въ назначенное вами время,—коротко проговорилъ студентъ и, по возможности, почтительно раскланялся съ профессоромъ.

Фонъ-Баумгартенъ продолжалъ путь, все обдумывая подробности предстоящаго великаго опыта. Фонъ-Гартманъ же вернулся къ своимъ товарищамъ, мечтая о своей голубоокой Элизѣ и о... странномъ торгѣ, заключенномъ имъ съ ея отцомъ.

Профессоръ былъ совершенно правъ, говоря, что задуманный имъ психо-физіологическій экспериментъ надѣлаетъ шуму въ ученомъ мірѣ. Задолго еще до назначеннаго часа аудиторія была полнымъ-полна всевозможными знаменитостями. Пріѣхалъ даже изъ Лондона Лёрчеръ, прославившійся замѣчательнымъ трактатомъ о мозговыхъ центрахъ. Явились и представители спиритуалистическаго общества да еще одинъ изъ послѣдователей Сведенборга, который разсчитывалъ, что предстоящій опытъ поможетъ разъясненію туманныхъ доктринъ Розоваго Креста.

Появленіе профессора фонъ-Баумгартена и Фрица фонъ-Гартмана было встрѣчено громкими рукоплесканіями.

Лекторъ, въ короткой, но сильной рѣчи, объяснилъ, какія цѣли преслѣдуются имъ и какимъ путемъ онъ намѣренъ достичь ихъ.

— Я придерживаюсь того мнѣнія,—говорилъ онъ между прочимъ,—что во время месмерическаго транса субъекта духъ его отрѣшенъ отъ тѣла, чѣмъ только и нахожу возможнымъ объяснить фактъ ясновидѣнія. Я увѣренъ, что когда я и мой молодой другъ, котораго вы здѣсь видите, будемъ находиться оба въ месмерическомъ трансѣ, духи наши будутъ сообщаться другъ съ другомъ въ то время, какъ тѣла наши будутъ лежать въ состояніи полной нечувствительности къ внѣшнимъ вліяніямъ. По истеченіи извѣстнаго времени природа захочетъ взять свое—духи наши возвра-

тятся въ принадлежащія имъ обиталища, и все будетъ попрежнему.

По окончаніи этой рѣчи раздались новыя рукоплесканія, и затѣмъ ужъ въ аудиторіи воцарилась гробовая тишина,—всѣ съ напряженнымъ вниманіемъ стали ждать, что будетъ.

Нѣсколькими быстрыми пассами профессоръ усыпилъ молодого человѣка, который вытянулся въ креслѣ блѣдный и неподвижный, какъ трупъ. Затѣмъ фонъ-Баумгартенъ досталъ изъ кармана толстый стеклянный шаръ, устремилъ на него пристальный, не мигающій взглядъ, сдѣлалъ себѣ усиленное мысленное внушеніе и—черезъ нѣсколько минутъ самъ впалъ въ трансъ. Странно было видѣть рядомъ почтеннаго старика и полнаго силъ молодого человѣка въ одинаковомъ состояніи полной каталепсіи. Куда же улетѣлъ ихъ духъ? Вопросъ этотъ невольно представлялся каждому изъ присутствующихъ.

Прошло пять минутъ, потомъ десять, потомъ пятнадцать и еще пятнадцать—профессоръ и студентъ все лежали, какъ мертвые. Въ продолженіе этого времени ученое собраніе не издало ни одного звука и не сводило взгляда съ блѣдныхъ лицъ экспериментаторовъ, сторожа первые признаки возвращающагося сознанія. Такимъ образомъ прошелъ почти часъ. И вотъ на щекахъ профессора фонъ-Баумгартена показался легкій румянецъ—духъ его возвратился и занялъ снова свою земную квартиру. Еще черезъ нѣсколько мгновеній онъ вытянулъ свои длинныя руки, точно пробуждаясь отъ сна, потомъ сталъ протирать глаза, затѣмъ вскочилъ съ кресла и изумленно началъ оглядываться.

— Тысячи чертей!—воскликнулъ онъ громовымъ голосомъ, и вслѣдъ затѣмъ выпустилъ такое проклятіе, что вся аудиторія пришла въ недоумѣніе, а сведенборгіанецъ такъ прямо возмутился душею.

— Что за чортъ!—продолжалъ профессоръ.— Гдѣ же это я, наконецъ, нахожусь и что со мной случилось?... О, теперь вспомнилъ: надо мною продѣлали безсмысленный месмерическій опытъ, Но опытъ этотъ остался безъ всякаго результата, такъ какъ я ровно ничего не помню съ момента потери мною сознанія. Значитъ, вы, ученые друзья мои, напрасно потеряли время, сидя здѣсь и можете отправиться домой ни съ чѣмъ.

Тутъ почтенный профессоръ физіологіи разрѣшился самымъ безшабашнымъ хохотомъ и разъухабисто ударилъ себя по бедрамъ.

Зрители были такъ непріятно поражены необычайнымъ поведеніемъ знаменитаго профессора, что только съ ужасомъ переглядывались. Нѣкоторые даже поднялись было, чтобы уйти отъ такого непристойнаго зрѣлища, но тутъ привлекъ къ себѣ общее вниманіе Фрицъ фонъ-Гартманъ, который тоже очнулся отъ своей

летаргіи. Мѣрными шагами подойдя къ самому краю эстрады, онъ ровнымъ, яснымъ голосомъ проговорилъ:

— Мнѣ очень грустно видѣть, что мой другъ, въ началѣ опыта относившійся такъ серьезно къ дѣлу, вдругъ превратился въ обыкновеннаго забіяку, объясняю это тѣмъ, что онъ находится еще подъ вліяніемъ месмерической реакціи и потому неотвѣтственъ за свои слова и поступки. Что касается самаго эксперимента, то не должно считать его не удавшимся. Очень вѣроятно и возможно, что нашъ духъ сообщался между собою въ пространствѣ, пока тѣла наши находились въ состояніи каталепсіи. Къ сожалѣнію, память человѣка не зависима отъ его духа, и вслѣдствіе этого мы не можемъ вспомнить, что сейчасъ происходило. Я теперь приложу всѣ свои силы къ тому, чтобы допытаться, какимъ путемъ можно заставить духъ припомнить то, что происходило съ нимъ во время свободнаго состоянія и надѣюсь, что когда я разрѣшу эту задачу, то буду имѣть удовольствіе снова увидѣть васъ всѣхъ въ этой аудиторіи и демонстрировать предъ вами результатъ моихъ трудовъ.

Эта рѣчь со стороны молодого студента поразила слушателей не менѣе неприличной выходки фонъ-Баумгартена. Одни положительно почувствовали себя оскорбленными „неумѣстнымъ важничаньемъ молокососа“. Другіе же стали смотрѣть на него, какъ на многообѣщающаго молодого человѣка. Выходя изъ аудиторіи, почтенное собраніе строило всевозможныя догадки насчетъ удивительной серьезности студента и не менѣе изумительной веселости профессора, не перестававшаго все время хохотать, вмѣсто того, чтобы сокрушаться о неудачѣ опыта.

Однако, въ то время, какъ ученые мужи были того убѣжденія, что они не видѣли ничего достойнаго вниманія,—на самомъ дѣлѣ предъ ихъ глазами произошло величайшее чудо въ мірѣ. Профессоръ фонъ-Баумгартенъ, на основаніи своей теоріи, дѣйствительно добился того, что духъ его и духъ студента на время отрѣшились отъ ихъ тѣлъ. Но при этомъ случилось очень странное осложненіе. Возвращаясь изъ своего странствованія, духъ Фрица фонъ-Гартмана вошелъ въ тѣло Алексиса фонъ-Баумгартена и на оборотъ,—духъ послѣдняго помѣстился въ тѣло перваго. Такимъ образомъ и понятно, что съ устъ профессора срывались вульгарныя выраженія и грубый хохотъ, а безпечный студентъ заговорилъ серьезнымъ тономъ авторитета, знающаго себѣ цѣну. Это былъ совершенно непредвидѣнный случай и никто не догадывался о немъ—меньше всего тѣ, до которыхъ онъ преимущественно касался.

Тѣло профессора выскочило на улицу въ состояніи крайне

радостнаго возбужденія, такъ какъ поселившаяся въ немъ по ошибкѣ душа Фрица торжествовала при мысли о возлюбленной, которую молодой повѣса надѣялся въ скоромъ времени назвать своею. Первымъ его побужденіемъ было пойти повидаться съ обворожительною Элизою, но потомъ онъ сообразилъ, что лучше будетъ подождать, пока госпожа профессорша будетъ приготовлена своимъ супругомъ къ имѣющемуся совершиться важному событію —обрученію ея прелестной дочери съ Фрицомъ фонъ-Гартманомъ. Въ силу этого разсужденія онъ отправился прямо въ трактиръ, подъ названіемъ „Зеленаго человѣка“, служившій любимымъ мѣстомъ сборища наиболѣе отчаянныхъ студентовъ.

Бомбою влетѣлъ онъ въ трактирную залу, гдѣ уже возсѣдали Шпиглеръ, Мюллеръ и другіе его собутыльники, и загорланилъ во всю мочь:

— А! ребята! Такъ и зналъ, что найду васъ тутъ... Пейте сегодня, сколько въ кого влѣзетъ—я за все плачу!

Если-бъ „Зеленый человѣкъ“, изображенный на вывѣскѣ надъ входною дверью, вдругъ вошелъ въ залу и заказалъ бы себѣ дюжину вина, то студенты не изумились бы такъ, какъ при этомъ неожиданномъ появленіи своего профессора. Они были поражены до такой степени, что въ теченіе нѣсколькихъ минутъ только таращили глаза въ нѣмомъ изумленіи, не будучи въ состояніи ничего отвѣтить на соблазнительное предложеніе лектора.

— Громъ и молнія!—снова завопилъ профессоръ.—Что это съ вами случилось, ребята? Чего вы глазѣете на меня, подобно стаду загипнотизированныхъ поросятъ?... Говорите скорѣе, въ чемъ дѣло?

— Неожиданная честь... пробормоталъ было Шпиглеръ.

— Честь,—вздоръ!—перебилъ профессоръ.—Неужели вы думали, что я возгордился и не захочу болѣе знаться съ старыми друзьями отъ того только, что далъ собранію ископаемыхъ древностей даровое представленіе месмеризма? Напрасно!... Ну-ка, Шпигель, пусти меня на свое кресло, потому что теперь я буду предсѣдательствовать. Заказывайте же, кто чего хочетъ: пива, вина, водки!

Никогда еще не бывало такого пира въ трактирѣ подъ вывѣскою „Зеленаго человѣка“, какъ въ этотъ день. Кружки пѣнящагося пива и бутылки золотистаго рейнвейна опустошались съ замѣчательною быстротою. По прошествіи получаса студенты совершенно освоились съ присутствіемъ профессора и стали такими развязными, какъ будто его и не было вовсе.

Что же касается до него самого, то онъ хохоталъ, пѣлъ, вопилъ, свисталъ, скакалъ на одной ногѣ, балансировалъ на кончикѣ носа свою громадную трубку и изъявлялъ охоту хорошенько побоксировать съ кѣмъ-нибудь. Кельнеры и прислужницы

только удивленно и многозначительно покачивали головами и перешептывались, глядя на необычайныя продѣлки старшаго и знаменитѣйшаго профессора древняго Клайнплацкаго университета. Ученый мужъ окончательно сбилъ ихъ съ толку, перещелкавъ кельнерамъ лбы и перецѣловавъ прислужницъ.

Потомъ онъ сѣлъ и залпомъ осушилъ подъ рядъ двѣ бутылки рейнвейна, пробарабанилъ что-то кулаками по столу, всталъ и, балансируя на кончикахъ двухъ пальцевъ старинный бокалъ, заговорилъ:

— Братья-товарищи! Хочу теперь сообщить вамъ причину этого пира...

— Слушайте, слушайте!—закричали студенты, стуча своими кружками и бокалами по столу.—Намъ хотятъ сказать рѣчь—слушайте рѣчь!

— Дѣло въ томъ,—продолжалъ профессоръ, обводя всѣхъ сквозь очки осовѣлыми глазами,—что я надѣюсь скоро жениться!

— Жениться?!—крикнулъ одинъ изъ студентовъ, посмѣлѣе другихъ.—Развѣ супруга господина профессора скончалась?

— Какая супруга?

— Да, разумѣется, госпожа фонъ-Баумгартенъ.

— Ха, ха!—расхохотался профессоръ.—Вижу, что вамъ ужъ извѣстны всѣ мои прежнія затрудненія.—Нѣтъ, она не умерла еще, но я тѣмъ не менѣе имѣю причины надѣяться, что она болѣе не будетъ противиться моей женитьбѣ.

— Это очень любезно съ ея стороны,—замѣтилъ другой студентъ.

— Да, я даже увѣренъ,—продолжалъ профессоръ,—что она теперь *охотно* поспособствуетъ моей женитьбѣ. Вы знаете, что мы съ нею до сихъ поръ не очень-то долюбливали другъ друга, но въ настоящее время все улаживается и когда я женюсь, то она будетъ жить у меня.

— Какая счастливая семья!—воскликнулъ кто-то.

— Да, конечно,—подтвердилъ профессоръ.—Приглашаю васъ всѣхъ къ себѣ на свадьбу... Предлагаю тостъ за здоровье моей милой невѣсты, не называя ея имени!

— За здоровье неизвѣстной невѣсты!—хоромъ закричали хохочущіе студенты.—Да здравствуетъ она!

Тутъ поднялся такой шумъ и гамъ, что стѣны задрожали.

Въ то же самое время въ другомъ концѣ города происходила сцена еще болѣе интересная.

По окончаніи опыта, или вѣрнѣе сказать, когда всѣ посторонніе разъѣхались, Фрицъ фонъ-Гартманъ съ важнымъ, сосредоточеннымъ видомъ прошелъ въ лабораторію, осмотрѣлъ,—все-ли тамъ въ порядкѣ, и потомъ тихо и степенно вышелъ изъ универси-

тета и пошелъ по направленію къ профессорскому дому, находившемуся немного за городомъ. Увидавъ невдалекѣ впереди себя фонъ-Альтгауза, профессора анатоміи, онъ прибавилъ шагу и догналъ его.

— Вотъ вы, фонъ-Альтгаузъ,—сказалъ онъ, слегка ударивъ его по плечу,—недавно спрашивали меня относительно мозговыхъ артерій, и я теперь нашелъ, что...

— Чертъ возьми!—воскликнулъ фонъ-Альтгаузъ, извѣстный своею раздражительностью и рѣзкостью.—Это что за дерзость такая?! Я за это подвергну васъ университетскому суду, милостивый государь!

Съ этими словами онъ повернулся и стремительно зашагалъ впередъ.

Фонъ-Гартманъ былъ очень изумленъ такимъ отношеніемъ къ нему фонъ-Альтгауза.

— Гмъ! Это должно быть такъ взбѣсила его неудача моего опыта,—рѣшилъ онъ и, немного успокоенный этимъ, степенно продолжалъ путь.

Однако, ему предстояли и не такіе еще сюрпризы. Черезъ нѣсколько времени его догнали двое студентовъ. Эти юноши, вмѣсто того, чтобы снять свои фуражки или выказать другіе знаки почтенія, испустили при видѣ его радостный крикъ, подбѣжали къ нему, схватили за руки и потащили съ собой.

— Господи, Боже мой!—крикнулъ фонъ-Гартманъ.—Что значитъ это возмутительное оскорбленіе? Куда это вы меня тащите?

— Выпить съ нами бутылочку вина,—отвѣтили студенты.—Идите, не упирайтесь; до сихъ поръ вы никогда не отказывались отъ подобнаго предложенія...

— Никто никогда такъ не оскорблялъ меня во всю мою жизнь!—кричалъ фонъ-Гартманъ, отбиваясь отъ нихъ.—Пустите мои руки!... Я исключу васъ за это... Пустите же, говорятъ вамъ!

— Ну, если вы въ такомъ отвратительномъ расположеніи, то можете убираться, куда хотите!—сказали студенты, выпуская его,—обойдемся и безъ васъ.

— Я знаю васъ и отплачу вамъ!—гнѣвно проговорилъ фонъ-Гартманъ и пошелъ дальше въ сильномъ недоумѣніи насчетъ этого инцидента; тутъ ему припомнилась и встрѣча съ фонъ-Альтгаузомъ, которая теперь получила болѣе серьезное значеніе, чѣмъ сначала.

Профессорша фонъ-Баумгартенъ сидѣла у окна, дожидаясь супруга, который такъ непростительно долго не являлся. Увидавъ вмѣсто него подходящаго къ дому Фрица фонъ-Гартмана, она была непріятно поражена. Раньше ужъ было сказано, что она чувствовала къ нему сильную антипатію и что онъ вошелъ въ домъ

лишь по желанію самого профессора. Можно представить себѣ ея негодованіе, когда ненавистный студентъ позвонилъ у подъѣзда самоувѣренно и властно, точно онъ хозяинъ, а никто другой! Она едва вѣрила своимъ глазамъ и ушамъ и, вооружившись достоинствомъ матери и хозяйки, поспѣшила въ переднюю, чтобы не дать ему проникнуть далѣе.

Кстати нужно замѣтить, что и Эльза видѣла изъ окна своей комнаты приближеніе возлюбленнаго и теперь, съ бьющимся сердцемъ, ожидала свиданія съ нимъ.

— Здравствуйте, сударь!—сурово сказала профессорша „наглому пролазу“, съ величественнымъ видомъ остановившись предъ нимъ въ дверяхъ.

— Прекраснѣйшая погода сегодня, Марта,—замѣтилъ тотъ, не понимая ея маневровъ.—Что эго ты стоишь, точно Юнона въ живой картинѣ? Вели-ка лучше поскорѣе подать обѣдъ, а то я просто умираю отъ усталости и голода.

— Марта?... Обѣдъ?!... взвизгнула профессорша, близкая къ обмороку.

— Да, Марта, обѣдъ вели подать, обѣдъ!—закричалъ фонъ-Гартманъ, начиная выходить изъ терпѣнія.—Что же въ томъ удивительнаго, что мужъ требуетъ обѣда?... Да дай же мнѣ пройти въ столовую... Если обѣдъ не готовъ почему-нибудь или испорченъ, то дай холодной закуски. Есть же у насъ въ домѣ постоянные запасы... Да что это, наконецъ, съ тобою? Приросла ты, что-ли, къ полу?!

Эго послѣднее замѣчаніе побудило госпожу фонъ-Баумгартенъ сорваться съ мѣста и броситься въ кухню, гдѣ она разразилась истерическими рыданіями.

Это дало возможность фонъ-Гартману войти въ столовую, гдѣ онъ, внѣ себя отъ душившаго его гнѣва, упалъ на стулъ.

— Эльза!—заревѣлъ онъ на весь домъ;—скверная дѣвченка, иди сюда!... Эльза, слышишь!

Изумленная этимъ грознымъ окликомъ своего милаго, Эльза вошла въ комнату, но, увидѣвъ его, подбѣжала къ нему, обвила руками его шею и нѣжно прошептала:

— Дорогой мой! Я поняла, что все это дѣлается изъ-за меня же. Это, навѣрное, какая нибудь *хитрость*, чтобы увидать меня, да?

Невозможно описать негодованія фонъ-Гартмана при этомъ новомъ оскорбленіи его особы. Онъ долго не былъ въ состояніи произнести ни-слова, а только весь побагровѣлъ и судорожно сжалъ кулаки. Когда же онъ, наконецъ, немного оправился, то разразился такимъ потокомъ брани, что молодая дѣвушка съ испугомъ отскочила отъ него въ противоположный уголъ.

— Ну, ужъ выдался же денекъ!—кричалъ фонъ-Гартманъ, яростно топая ногой о полъ.—Никогда ничего подобнаго со мною не бывало... Мой опытъ не удался. Фонъ-Альтгаузъ оскорбилъ меня. Два студента вздумали тащить меня въ трактиръ, напавъ на меня на улицѣ. Моя жена почти упала въ обморокъ, когда я заговорилъ объ обѣдѣ, а дочь моя облаяла меня, точно пьяный медвѣдь!

— Милый мой, что это съ тобой?—говорила Эльза сквозь рыданія.—Ты совсѣмъ не въ себѣ сегодня... Даже не поцѣловалъ меня!

— Да никогда болѣе и не сдѣлаю этого!—отвѣтилъ фонъ-Гартманъ.—Удивляюсь, какъ тебѣ не стыдно!... Отчего ты не приносишь моихъ туфель и не поможешь накрыть на столъ?

— Неужели я лучшаго не заслужила за мою горячую любовь?—всхлипывала Эльза.—Цѣлыхъ десять мѣсяцевъ я любила тебя такъ горячо и беззавѣтно, и вдругъ... О-о-о!... И ради такого грубаго человѣка я пренебрегала гнѣвомъ матери,.. О, ты разбилъ мое сердце... навѣрное разбилъ!

— Нѣтъ! это ужъ черезчуръ!—зарычалъ фонъ-Гартманъ въ новомъ припадкѣ бѣшенства.—Больше терпѣть я не въ силахъ!... Что это ты за вздоръ болтаешь?... Что это за горячая и беззавѣтная любовь, которой ты упрекаешь меня? И интересно знать, почему это ты полюбила меня только десять мѣсяцевъ тому назадъ... Разъ ты такъ любишь меня, то постаралась бы, чтобы меня скорѣе накормили чѣмъ-нибудь... Пошла вонъ, негодная! Зови сюда мать, прислугу!

— Ненаглядный ты мой!—проговорила молодая дѣвушка съ вновь просіявшимъ лицомъ.—Вѣдь, ты и вправду только шутишь надъ твоею бѣдною Эльзою...

И она снова кинулась къ нему на грудь.

Случилось такъ, что за стуломъ, на которомъ сидѣлъ фонъ-Гартманъ, находился большой акваріумъ съ водою, въ которомъ плавали рыбы, служившія профессору для нѣкоторыхъ опытовъ. Когда Эльза такъ стремительно налетѣла на своего возлюбленнаго, онъ подался назадъ вмѣстѣ со стуломъ и мгновенно очутился головою въ акваріумѣ, при чемъ ноги его безпомощно болтались по воздуху. Это было послѣднею каплею, переполнившею мѣру. Съ усиліемъ освободившись отъ своего неудобнаго положенія, онъ издалъ нѣсколько звуковъ, походившихъ на львиное рыканіе, выбѣжалъ въ переднюю и, не смотря на всѣ уговариванія и упрашиванія Эльзы, схватилъ пальто и шляпу и, какъ былъ, мокрый и взлохмаченный, выбѣжалъ на улицу съ намѣреніемъ отправиться въ какой-нибудь ресторанъ, гдѣ надѣялся найти все то, чего ему въ этотъ злополучный день не хотѣли дать дома.

И вотъ, когда духъ фонъ-Баумгартена, заключенный въ тѣло Фрица фонъ-Гартмана, спѣшилъ обратно въ городъ, негодуя на непріятности, приключившіяся ему въ этотъ день, онъ замѣтилъ, что ему на встрѣчу идетъ какой-то пожилой человѣкъ, показавшійся ему на первый взглядъ пьянымъ. Фонъ-Гартманъ съ любопытствомъ глядѣлъ на этого субъекта, покачивавшагося изъ стороны въ сторону и хриплымъ голосомъ горланившаго какую-то студенческую пѣсню. Сначала его заинтересовало только то обстоятельство, что человѣкъ съ такою почтенною наружностью находится въ такомъ неприличномъ состояніи, а потомъ, по мѣрѣ уменьшенія разстоянія между нимъ и подгулявшимъ джентльмэномъ, у него возникло убѣжденіе, что тотъ ему знакомъ,—а кто именно—онъ никакъ не могъ припомнить. Духомъ фонъ-Гартмана овладѣло какое-то особенное волненіе. Онъ заставилъ тѣло фонъ-Баумгартена подойти въ упоръ къ незнакомому знакомцу и пристально взглянулъ на него.

— Что за дьявольщина?!—воскликнулъ онъ.—Гдѣ и когда это я раньше видѣлъ васъ? Я чувствую, что знаю васъ, какъ самого себя, но не припомню... Говорите, кто вы такой?

— Я профессоръ фонъ-Баумгартенъ,—отвѣтилъ студентъ.—Но кто вы такой? Мнѣ ваши черты лица тоже удивительно знакомы.

— Напрасно вы такъ дерзко лжете, молодой человѣкъ,—сказалъ другой.—Вы не профессоръ фонъ-Баумгартенъ: онъ старый, высохшій грибъ,—а вы—молодой и красивый юноша, полный жизни и силъ. Что-же касается меня самого, то я Фрицъ фонъ-Гартманъ къ вашимъ услугамъ...

— Этого не можетъ быть!—запротестовало тѣло фонъ-Гартмана.—Вы, можетъ статься, его отецъ, но никакъ не онъ самъ.... Однако, сударь, что же это значитъ, что на васъ мои запонки и моя часовая цѣпочка?

— Громъ и молнія!—кричалъ другой своимъ пьянымъ голосомъ.—Если на васъ не мои панталоны, изъ-за которыхъ портной бѣгаетъ за мной, какъ тѣнь, то я во всю жизнь свою никогда болѣе не выпью ни одной капли пива!

Въ это время тотъ, въ которомъ сидѣлъ духъ профессора фонъ-Баумгартена, окончательно ошеломленный всѣми странностями, совершавшимися съ нимъ въ теченіе послѣднихъ часовъ, схватилъ себя за голову обѣими руками и отчаянно замоталъ ею. При этомъ взглядъ его нечаянно упалъ на широкую лужу, образовавшуюся ночью отъ дождя посреди дороги. Онъ положительно оцѣпенѣлъ на нѣсколько времени, разсмотрѣвъ, что у него молодое и красивое лицо, что онъ одѣтъ по студенчески и вообще представляетъ собою прямой антитезъ пожилой и важной

фигурѣ, въ которой привыкъ обитать его духъ. Затѣмъ въ головѣ его внезапно прояснилось...

— Праведное небо!—воскликнулъ онъ, всплеснувъ руками.—Теперь я все понялъ!... Наши духи ошибкою попали въ непринадлежащія имъ тѣла. Я—вы, а вы—я. Теорія моя оправдалась,—но какою цѣною!.. Возможно-ли самому просвѣщенному духу во всей Европѣ пребывать въ такомъ не соотвѣтствующемъ ему жилищѣ? О, труды всей моей жизни пропали въ одно мгновеніе и я обреченъ на неслыханнѣйшія муки!

И онъ съ отчаянія ударилъ себя кулакомъ въ грудь такъ, что она чуть не затрещала.

— Я,—заговорилъ изъ тѣла фонъ-Баумгартена духъ фонъ-Гартмана,—вполнѣ соглашаюсь съ справедливостью вашихъ замѣчаній, но разбивать себѣ изъ-за случившагося свои кости вовсе не намѣренъ... Вы, вотъ, получили ихъ цѣлыми и невредимыми и напрасно такъ дурно обращаетесь съ ними... Вообще вы человѣкъ, какъ видно, очень неаккуратный... Вотъ какъ измяли и залили пивомъ мою сорочку, на что это похоже!

— Да что толковать о такихъ пустякахъ,—грустно замѣтилъ другой.—Главная бѣда въ томъ, что мы съ вами перемѣшались и теперь должны остаться такими до самаго конца нашей жизни... Да, теорія моя оправдалась блестящимъ образомъ, но заплатилъ я за это торжество слишкомъ дорого!

— Если нельзя этого измѣнить, то, дѣйствительно, дѣло плохо,—сказалъ духъ студента.—Что мнѣ дѣлать съ этимъ старымъ, никуда не годнымъ тѣломъ, и какъ увѣрю я Эльзу, что я не ея отецъ?... Но, нѣтъ, я увѣренъ, что эта ошибка поправима... Знаю даже, какимъ именно путемъ можно поправить ее.

— Какимъ-же?—спросилъ обрадованный духъ профессора.

— Да путемъ повторенія опыта,—очень просто. Освободите еще разъ нашихъ духовъ, и тогда они навѣрное войдутъ снова въ принадлежащія имъ тѣла.

Ни одинъ утопающій не можетъ съ такою надеждою отчаянія ухватиться за соломенку, съ какою уцѣпился духъ профессора за мысли студента. Съ лихорадочною поспѣшностью онъ усадилъ прямо на землю *свое* тѣло и усыпилъ его месмерическими пассами, а потомъ, посредствомъ все того же стекляннаго шара, находившагося въ карманѣ его платья, привелъ самого себя въ то же состояніе...

Нѣсколько проходившихъ студентовъ и другихъ людей были очень изумлены, видя почтеннаго профессора и знаменитаго забіяку фонъ-Гартмана сидящими рядышкомъ на землѣ въ совершенно безсознательномъ состояніи. Конечно, всѣ эти прохожіе остановились возлѣ нихъ, принялись обсуждать это необычное яв-

леніе и единодушно порѣшили, что оба пьяны до послѣдней степени и потому ихъ надо отправить куда-нибудь для вытрезвленія, Но прежде, чѣмъ успѣли привести это намѣреніе въ исполненіе профессоръ открылъ глаза. Нѣсколько мгновеній онъ глядѣлъ вокругъ себя безсмысленнымъ взглядомъ человѣка, еще не пришедшаго въ сознаніе, но затѣмъ взоръ его прояснился, онъ вскочилъ, замахалъ своими длинными руками по воздуху и вскрикнулъ:

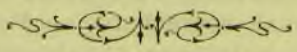
— Слава Богу, я опять—я самъ! Я чувствую, что опять сталъ самимъ собою!

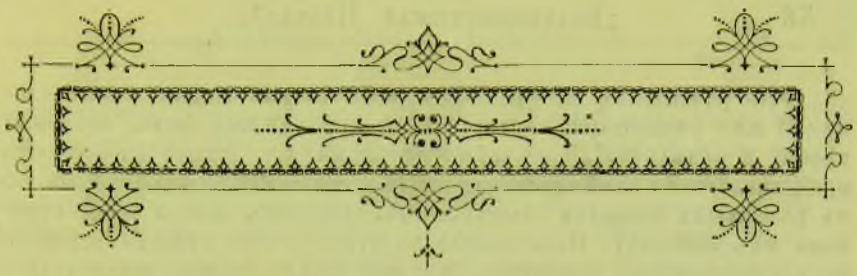
Въ это время очнулся и студентъ. Придя въ свою очередь въ полное сознаніе, онъ съ восклицаніями радости и восторга бросился къ профессору, обхватилъ его и продѣлалъ съ нимъ, къ великой потѣхѣ зрителей, преуморительное pas de deux.

Исторія эта распространилась и общество долго послѣ того смотрѣло на обоихъ героевъ ея, какъ на сумасшедшихъ. Когда профессоръ помѣстилъ описаніе своего эксперимента въ „Медицинскій Еженедѣльникъ“, ему прямо намекнули, что если онъ напишетъ еще что-нибудь подобное, то прямо угодитъ въ домъ умалишенныхъ.

Возвратившись, наконецъ, домой въ своемъ настоящемъ, нормальномъ состояніи, профессоръ былъ встрѣченъ далеко не радушно. И жена и дочь энергично выговаривали ему за излишнее поклоненіе Бахусу, приведшее къ такимъ печальнымъ результатамъ—слезамъ, истерикамъ и обморокамъ домашнихъ.

Долгое время еще на него дома смотрѣли съ недовѣріемъ, а еще болѣе прошло времени, пока было снова дозволено Фрицу фонъ-Гартману переступить порогъ этого дома. Но, настойчивость и упорство преодолѣваютъ всѣ препятствія; посредствомъ этихъ прекрасныхъ свойствъ и молодой „забіяка“ понемногу снова вошелъ въ милость своей возлюбленной, а потомъ пріобрѣлъ и благосклонность госпожи профессорши, которая, по окончаніи имъ курса наукъ, собственноручно благословила его въ качествѣ жениха прелестной Эльзы. Говорятъ, почтенный профессоръ фонъ-Баумгартенъ все еще продѣлываетъ разные месмерическіе и спиритическіе опыты, но только старается держать ихъ въ тайнѣ, и видѣть болѣе не можетъ „Медицинскаго Еженедѣльника“.





КАТЕРИНА АЛЕКСѢЕВНА.

(Изъ разсказовъ старыхъ людей).

А. А. Кирпищиковой.

Прежде чѣмъ начать предлагаемый читателямъ разсказъ, мнѣ хочется познакомить ихъ, хотя отчасти, съ своеобразной личностью старушки-няни, со словъ которой онъ былъ записанъ. Въ то время, когда я узнала ее, Арина Алексѣевна, такъ звали няню, была уже преклоннаго возраста, но еще очень бодра, жива и подвижна. Она доживала свой вѣкъ у своихъ послѣднихъ господъ, гдѣ вынянчила троихъ дѣтей, пользуясь любовью и уваженіемъ всѣхъ живущихъ въ домѣ за свой хорошій характеръ, всегда веселый и ровный, и за свою готовность на всякую услугу. Услуживала она безъ той приниженной, рабской угодливости, которую такъ непріятно видѣть, часто даже съ ворчаньемъ, но такимъ добродушнымъ и ласковымъ, что сердиться на нее, или не принять ея услугъ не было никакой возможности. Любили ее всѣ и за мастерство, съ какимъ она разсказывала сказки и бывальщины, за то, какъ живо представляла выводимыхъ въ сказкахъ лицъ, иллюстрируя ихъ собственными поясненіями, а нерѣдко отъ себя присочиняя краткую, но вѣрную и яркую характеристику того или другого дѣйствующаго въ сказкѣ лица. Иногда она проводила параллель и дѣлала остроумныя и мѣткія сравненія сказочныхъ лицъ съ тѣми, или другими знакомыми своихъ слушателей, а иногда и съ ними самими, что всегда вызывало взрывы веселаго, искренняго смѣха.

Въ разсказахъ же разныхъ событій изъ жизни, свидѣтельницей или участницей которыхъ ей приходилось быть, она была проста и правдива. Необычайно ясная память, живая способность представленія и замѣчательная наблюдательность, выказываемыя ею въ разсказахъ разныхъ бывальщинъ, конечно, много способствовали ихъ интересу. Переданные на бумагѣ, они отчасти теряютъ тотъ своеобразный характеръ, который имѣли, передаваемые устно; но все-таки интересъ были и правдивости останется за ними, и, можетъ быть, читатель не поскучаетъ заглянуть въ добрые, старые годы, которые, притомъ, еще не слишкомъ отдаленны, и воспоминаніями о коихъ еще полно наше время.

I.

„Это давно уже было, лѣтъ сорокъ, а пожалуй и съ хвостикомъ, прошло съ той поры, а помню я все такъ хорошо, какъ будто вчера было. Было мнѣ тогда всего пятнадцать годковъ и выглядѣла я еще совсѣмъ дѣвченкой, подросткомъ малымъ. Тихо я росла, съ истуги, мужчины меня тогда еще и во вниманье не брали, ну, а я-то на нихъ ужъ поглядывала. Страсть какая я была,—востроглазая, да востроносая! Все, бывало, унюхаю, все усмотрю, за кѣмъ только заведется что,—ужъ я все узнаю. А для чего узнавала,—и Богъ вѣсть! Такъ, изъ любопытства больше,—очень я любопытная была. Ну, а чтобъ наябедничать на кого, али доказать, ни,—Боже, избави! не было этого за мной; и мать меня на это не благословляла. „Если и узнаешь что-нибудь, говорила она, мотай себѣ на усъ да молчи, а ябеды да ссоры въ домѣ не заводи, тебѣ-же худо будетъ отъ нихъ“. Такъ я и дѣлала. Жила я въ то время, не то чтобъ въ горничныхъ, а такъ, на побѣгушкахъ, у дочери главнаго управляющаго всѣми вотчинами графа N. N., самаго большого изъ всѣхъ помѣщиковъ нашей губерніи. Самъ баринъ въ своихъ помѣстьяхъ на моихъ памятяхъ и не бывалъ; всѣмъ этотъ управляющій завѣдывалъ и правилъ. Всю полную власть имѣлъ отъ барина и жилъ въ имѣніи, въ селѣ Воскресенскомъ, гдѣ главное вотчинное управленіе находилось, какъ самъ помѣщикъ, пышно да важно! У Катерины Алексѣевны, такъ дочку его звали, старшая горничная изъ Москвы была вывезена. Она у ней замѣсто модистки была и замѣсто парикмахера: и платья шила, и головушку въ локоны убирала, когда случай того требовалъ. Я-же, спервоначалу, только такъ туда-сюда металась: то принести, то вынести, то въ кухню съ утюгами, то посуду вымыть, пыль вытерсть, постели убрать; дѣла много, а дѣло пустяшное, какъ разъ по моему возрасту. Услуживала я и барышнѣ и тетенькѣ ихной, что жила у нихъ замѣсто компаньонки, али

вмѣсто матери. Родная мать у Катерины Алексѣевны давно померла и Алексѣй Игнатьичъ, папенька ея, на второй былъ женатъ, да и та тоже померла, и въ то время вдовѣлъ онъ ужъ нѣсколько лѣтъ. Вотъ второй-то его жены сестра, тоже вдовая и бездѣтная, и жила у него. Такъ, пустяшная это была особа, жила просто для виду только, что будто человѣкъ въ домѣ есть, а пользы отъ нея никому ни на грошъ. Катерина Алексѣевна вертѣла ей то въ ту, то въ другую сторону, какъ только ей надо, и ни чуточку не боялась. Самовластная была дѣвица, а родителя своего все-же побаивалась; и ежели, бывало, не смѣетъ что сказать ему, то и настроитъ свою тетеньку, напоетъ ей въ уши,—ну, та и трещитъ, какъ заведенная машина. Да что! вѣдь, и сама потомъ увѣрится, что это все она отъ себя, и барина увѣрять начнетъ. Баринъ ей однако не вѣрилъ,—усмѣхнется, бывало, на ея рѣчи, да и скажетъ только:

— Это все твои выдумки, Катя.

Ну, а что только можно, все ей дозволитъ, очень ее любилъ, даже, можно сказать, души въ ней не чаялъ. Умнѣйшій былъ онъ господинъ и всякаго человѣка насквозь видѣлъ. Это чтобъ обмануть его, ни—Боже мой! ни одинъ служащій не рѣшался. Глаза у него были какъ два ножа вострые, такъ тебя насквозь и пронзятъ. Ежели же кто и провинится въ чемъ, такъ лучше кайся прямо,—скорѣй проститъ, а начнетъ кто лгать, да вилять, какъ разъ запутается, и потомъ ужъ всегда на худомъ счету будетъ. Строгій былъ баринъ, и всѣ его боялись, а вотъ дочь родная не побоялась и обманула, да еще какъ,—только дивиться надо!

II.

И, вѣдь, какая строгая и гордая была наша барышня, вся въ отца характеромъ; изъ себя красивая, да видная, и думала о себѣ очень высоко. Жениховъ въ нашей округѣ по ней и не было, ждали ихъ изъ губерніи. Только женихи позамѣшкались что-то: ужъ двадцать третій годокъ шелъ нашей барышнѣ, а сурьезныхъ жениховъ не бывало. Жилъ Алексѣй Игнатьичъ широко, на барскую ногу, хлѣбосольствомъ гремѣлъ на всю округу; и изъ губернскаго города гости почасту у насъ гащивали, а также и самъ онъ съ дочерью въ городъ ѣзжалъ, ну, а все-таки дочка въ дѣвицахъ засидѣлась. Если взять по нонѣшнему времени, такъ что это за года, можно сказать что самые молодые, а тогда барышни шестнадцати—семнадцати лѣтъ ужъ вчастую замужъ выходили. Катерина Алексѣевна еще въ столичномъ пансіонѣ обучалась и, по выходѣ изъ него, съ годъ въ Москвѣ жила у родной

тетки, бариновой сестры, да померла тетенька, баринъ и привезъ дочку домой. Спервоначалу она у насъ очень скучала, хотя и не показывала виду родителю, къ нему она ласковая была, ну, а намъ замѣтно было. Да и онъ примѣчалъ, конечно. Надо и то сказать, какое у насъ ей могло быть веселье, али удовольствіе въ нашемъ Воскресенскѣ. Хоть село это было и большое, и торговое, и домовъ хорошихъ много было и церковь богатая, для насъ то оно и не вѣсть какимъ богатымъ да хорошимъ казалось, ну, а ей послѣ столицъ и поглядѣть, поди, было не на что. Одно только удовольствіе и пришлось ей по вкусу,—это театръ. Онъ у насъ съ издавна велся и въ ту пору, какъ она пріѣхала, постоянно былъ. Представляли въ немъ приказные изъ вотчиннаго управленія, и очень хорошо, и занятно представляли. Были даже и совсѣмъ особенные актеры, за то только имъ и жалованье платили, что они въ театрѣ играли да кулисы расписывали. Актерокъ же настоящихъ спервоначалу не было, а ежели дѣвицу или даму надо изобразить, такъ помоложе который служащій и изображалъ. Катерина Алексѣевна театръ очень любила, сказывала, что и сама у тетеньки на домашней сценѣ игрывала и у насъ бы, пожалуй, охотно поиграла, да компаніи ей подходящей не было. Со своими же служащими, а они, вѣдь, крѣпостные были, папенька ей играть не позволялъ. Учить-же, какъ должны актеры и актерки ту или другую рѣчь сказать, не запрещалъ, и даже очень доволенъ былъ, что она театромъ занялась. Онъ и самъ театръ любилъ и почасту въ немъ бывалъ. Передъ каждымъ представленіемъ, бывало, и соберутся всѣ актеры у насъ внизу и все передъ ней проговорятъ, что кому полагается. Она ихъ поправляетъ, учитъ, какъ то али другое слово сказать, гдѣ стать, гдѣ сѣсть, съ которой стороны войти и какъ поклониться. Я, бывало, все время тутъ же верчусь, потому безпрестанно съ свѣчей снимать требовалось, лампъ въ то время не водилось и свѣчи жгли все сальныя, то и дѣло онѣ нагорали. У Алексѣя Игнатьича за свѣчами смотрѣлъ казачекъ, только онъ завсегда при немъ и находился, въ его покояхъ. Домъ у насъ былъ барскій, очень обширный: въ низу было восемь комнатъ да въ верху десять, и комнаты были огромныя. Самъ Алексѣй Игнатьичъ жилъ постоянно въ верху, только обѣдать сходилъ въ нижнюю столовую, а барышня жила въ низу, и тетенька съ ней рядомъ.

Сказала я, что актерками у насъ все молодые люди были, которые изъ себя покрасивѣе да поразвязнѣе, ну, вотъ, и попалъ въ ихъ число одинъ молодой вьюношъ, такъ годовъ девятнадцати, али двадцати. Звали его Василій Бобровъ, отечества не припомню. Выѣхалъ онъ съ матерью изъ Петербурга; мать его любимая была у графини горничная, ну, и выпросила она сына съ со-

бой, когда ее графиня по старости и по болѣзни на покой отпустила въ вотчину и пенсію ей положила. Въ Петербургѣ онъ состоялъ при конторѣ, и у насъ, въ Воскресенскѣ, въ правленіе опредѣлился. Какъ только пріѣхалъ онъ, въ первую же осень въ актерки попалъ, потому изъ себя ужъ очень красивъ былъ. Лицо такое бѣлое да чистое было у него, и носикъ пряменькой, небольшой, а руки и ноги такъ и вовсе маленькія. Обращеніе и манеры совсѣмъ господскія имѣлъ: развязный да ловкій такой и въ женскомъ платьѣ совсѣмъ барышней выглядѣлъ. Больше всего мнѣ у него глаза понравились: такіе хорошіе да свѣтлые—глядитъ на тебя, точно говоритъ ими, безъ словъ у него все поймешь. Волосы были у него темные, волнистые, носилъ ихъ длинными для того, чтобъ ловчѣе было къ длиннымъ волосамъ косу приплетать и женскую прическу устраивать. А бывало, что и парикъ надѣвалъ, и парики у насъ водились, и костюмы всякіе.

III.

Увидала его въ первый разъ Катерина Алексѣевна и говоритъ:

— Вотъ это актерка будетъ хорошая, надо только его немножечко отполировать, а то онъ все, какъ будто, лакеемъ пахнетъ. И съ перваго же вечера, какъ собрались къ намъ на репетицію, принялась его муштровать—какъ войти, и какъ выйти, и поклониться, али раверансъ сдѣлать, али по-тогдашнему книксенъ,—все ему покажетъ. Бывало, даже раскраснѣется вся, до того его вертитъ туда и сюда. Опять-же и тому обучала, какъ какую рѣчь говорить. Всему этому обучала она въ компаніи съ режиссеромъ, чинъ такой былъ у одного изъ актеровъ. Звали этого актера Васильемъ Ивановичемъ и всѣмъ онъ въ театрѣ завѣдывалъ и заправлялъ, и о многомъ съ Катериной Алексѣевной совѣтовался. Человѣкъ онъ былъ ужъ пожилой и семейный. и самъ разныхъ благородныхъ стариковъ не разъ игрывалъ. Охоту къ театру большую имѣлъ, и хотя службу несъ хорошую, а и театромъ улучалъ время заниматься.

Съ осени это дѣло пошло у насъ, театры эти, и всю зиму шло очень хорошо. Главный актеръ, Гурасовъ, по фамиліи, очень у насъ хорошъ былъ, только запивалъ сильно, а игралъ великолѣпно. Каждую недѣлю по два раза въ театрѣ играли, въ воскресенье и въ четвергъ, и народу всегда въ театрѣ много бывало, даже изъ сосѣднихъ селъ и заводовъ съѣзжались смотрѣть. Говорили про Гурасова, слыхала я, что если бы онъ не крѣпостной былъ, такъ и на городской бы сценѣ могъ играть. Ну и Боброва одобряли очень, и Василья Иваныча тоже. Только разъ, слышу я,

говоритъ Катерина Алексѣевна тетенькѣ про Боброва:

— Портиться стала наша актерка.

— Что такъ?—спрашиваетъ та,—неужто запиваетъ?

— Нѣтъ, не то. Борода расти начала, голосъ грубѣетъ да и платья всѣ коротки и узки становятся.

А тетенька хохочетъ.

— Ужъ я замѣтила,—говоритъ,—одно слово скажетъ басомъ, а другое дишкантомъ, очень забавно выходитъ.

Къ масленицѣ уѣхалъ Алексѣй Игнатьичъ съ дочерью въ городъ, а великимъ постомъ театръ прекратили, на пасхѣ еще поиграли немного, а потомъ роздыхъ дали актерамъ на все лѣто. Лѣтомъ Катерина Алексѣевна на два мѣсяца въ гости уѣзжала, а меня домой къ матери отпустила. Пріѣхала она домой передъ Иваповымъ днемъ, вотъ что двадцать девятаго августа бываетъ, и тогда же за мной послала. Она когда веселая бывала, такъ всегда со мной разговаривала и почасту учила меня и поправляла, если я что неправильно скажу. Такъ и въ этотъ разъ стала разспрашивать, что я дѣлала у матери, гдѣ бывала, да нѣтъ-ли чего новаго на селѣ. Ну, я, конечно, сперва все про себя выложила: и что дѣлала, и какъ страдовали, и въ лѣсъ по ягоды и грибы ходили, и про всѣхъ другихъ, какія новости знала, все разсказала. Сказала, что было, да стала разсказывать и то, что и впередъ будетъ: какой женихъ какую невѣсту сватать хочетъ. Катерина Алексѣевна смѣется.

— Ну это еще неизвѣстно, кто за кого посватается,—говоритъ она. Я то увѣряю, что вѣрно знаю, что всѣ люди говорятъ.

— Вотъ и про Боброва, говорю ей, вѣрно знаю, что на Копровой Лизанькѣ хочетъ жениться; все съ ней вмѣстѣ гуляетъ и у нихъ часто бывалъ, сказываютъ, что и на сценѣ съ ней вмѣстѣ играть будутъ. Вы его и не узнаете, барышня, такой онъ сталъ высокой да тонкой, какъ жердочка; изъ лица похудѣлъ немного и усики черненькіе появились. Красивой сталъ, съ Лизанькой они парочка будутъ: она тоже хорошенькая.

А Лизанька Копрова была дочь того музыканта, что музыкой всей заправлялъ въ театрѣ. Ничего мнѣ на это Катерина Алексѣевна не сказала и распрашивать больше ни о чемъ не стала.

Въ первое же воскресенье послѣ этого Алексѣй Игнатьичъ и говоритъ за обѣдомъ дочери:

— А что, Катя, не поѣдемъ ли сегодня въ театръ, тамъ тебѣ сюрпризъ подготовили. Труппа у насъ новыми актерами пополнилась.

— Вѣроятно на женскія роли кто-нибудь поступилъ, папа,—отвѣчаетъ Катерина Алексѣевна.—Старая-то актриса у насъ, сказываютъ, въ усахъ щеголяетъ, да и вытянулась не въ мѣру. Я

ужъ думала, что надо кого-нибудь пріискивать изъ молодыхъ людей на женскія роли.

— Да, ты думала, а мы уже сдѣлали, пріискали, обучили и на сцену выпускаемъ сегодня. Василій Ивановичъ все лѣто трудился, чтобъ тебѣ угодить.

— Спасибо ему, онъ знаетъ чѣмъ мнѣ угодить. Кого же это онъ нашелъ, папа?

— Да Копровъ дочь свою предложилъ, испробуйте, говоритъ, —большую охоту и способность имѣетъ моя Лиза къ театру; дурного въ этомъ я ничего не нахожу, и самъ всегда въ театрѣ бываю,—будетъ при моихъ глазахъ. Ну я и согласился. И Василій Ивановичъ хвалитъ, вотъ и поѣдемъ сегодня, посмотримъ его выборъ.

— Посмотримъ, посмотримъ,—повторила Катерина Алексѣевна.

— А Бобровъ нынче будетъ у насъ за перваго актера, потому что Гурасовъ совсѣмъ спился осипъ, обрюзгъ, ну да и не молодъ ужъ сталъ. Пусть стариковъ играетъ.

— Это правда,—сказала Катерина Алексѣевна,—только справится-ли Бобровъ со всѣми Гурасовскими ролями? Тотъ, вѣдь у насъ былъ актеръ хорошій. Ну да посмотримъ, что будетъ.

Вечеромъ одѣлась Катерина Алексѣевна и уѣхали съ папой и тетенькой въ театръ. Воротились домой веселые и довольные. Понравилось.

Съ той поры опять и пошло все постарому; какъ играютъ что игранное, такъ къ намъ не собираются, а какъ новое что вздумаютъ, то непремѣнно у насъ вечеромъ репетиція бывала, а то и двѣ. Иногда, послѣ репетиціи, чаемъ угощала Катерина Алексѣевна актеровъ, а когда, опять, и такъ уходили. Алексѣй Игнатьевичъ очень любилъ все сурьезное, то, что драмой называется, а водевили эти, такъ онъ и не смотрѣлъ: все, бывало, уѣдетъ. Ну, а Катерина Алексѣевна завсегда оставалась до конца. Я тоже все ужъ, бывало, выпрошусь, хоть на ногахъ гдѣ постою да только ужъ все высмотрю, и дома потомъ кухаркѣ и Варварушкѣ, такъ старшую горничную звали, все разскажу и въ лицахъ представлю. Катерина Алексѣевна, бывало, изъ-за двери и подслушаетъ, какъ я представляю, хохочетъ потомъ надо мной. А, бывало, ляжетъ рано спать и не поспится ей, она и заставитъ меня представлять, не то сказки сказывать; до слезъ иногда хохочетъ надо мной. Говорила я въ ту пору очень смѣшно. Учитъ, бывало, примется меня, какъ то али другое слово сказать, а я не могу. Вотъ „всадникъ“ слово—все, бывало „свадникъ“, говорю, али „обыкновенно“ —все „обпаковенно“ скажу. А иное слово мудренѣе, такъ и не могла научиться говорить.

IV.

Помню я, какъ сейчасъ вижу, сыгрывались разъ актеры у насъ въ домѣ, вторая ужъ репетиція шла; Катерина Алексѣевна сидѣла въ креслѣ и молча слушала. Все шло хорошо и правильно. Только и пришлось Боброву свою любовь Лизѣ Копровой изъяснять, а она знатную даму разыгрывала, на колѣни онъ сталъ передъ ней, руки у ней цѣлуетъ и такъ-то хорошо и складно говоритъ, что, инда, за сердце защемило. Взглянула я на Катерину Алексѣевну, а она сидитъ, насупившись, и даже не смотритъ. Что, думаю, такое? развѣ что не правильно вышло, али можетъ голова у ней разболѣлась, бывало и это: кататься тогда съ тетенькой ѣздили а то и со мной, али съ Варварой. Кончилась репетиція, стали актеры расклаиниваться и уходить. Василій Ивановичъ и спрашиваетъ,—хорошо-ли, понравилось-ли ей?

— Все хорошо,—говоритъ,—чего же лучше надо, а сама такая пасмурная въ креслѣ сидитъ, голову на руку опустила. Ну, вѣрно, что голова разболѣлась. Стала я свѣчи гасить да взглянула на двери, а Бобровъ стоитъ у дверей да съ Катерины Алексѣевны глазъ не сводитъ. Что, думаю, надо ему? попросить, развѣ, чего хочетъ, можетъ въ костюмѣ что не достаетъ у него? Костюмъ у него былъ мудреный, иностранный, съ картинки взятъ и самъ-то онъ въ немъ точно картинка.

Встала, наконецъ, Катерина Алексѣевна, хрустнула такъ руками и повернулась къ двери. Увидала Боброва, вздрогнула вся и даже въ лицѣ измѣнилась, и таково гордо говоритъ ему:

— Что вамъ нужно? Зачѣмъ вы остались?

А онъ ей отвѣчаетъ:

— Желалъ бы я знать, довольны-ли вы моей игрой.

— Да, вѣдь, я сказала Василью Ивановичу, что довольна, что все хорошо.

— Это вы про всѣхъ, а моя роль особенная, большая. Играю въ первый разъ и боюсь, что въ иныхъ мѣстахъ у меня не натурально выходитъ.

А она усмѣхнулась на это этакой особенной усмѣшечкой да и говоритъ:

— Нѣтъ, это вы напрасно боитесь; въ иныхъ мѣстахъ такъ даже ужъ черезчуръ натурально выходитъ. И хочетъ сама изъ комнаты выйти. А Бобровъ ей дерзко такъ дорогу заступаетъ, а самъ говоритъ.

— Сдѣлайте милость, одну только сцену прослушайте у меня еще разъ, и если что не хорошо, скажите.

— Да, вѣдь, и суфлеръ ушелъ,—сказала Катерина Алексѣевна и плечиками сама передернула, какъ будто не довольна.

А тотъ неотступно проситъ: наизусть, говоритъ, это мѣсто знаю. Вернулась Катерина Алексѣевна, сѣла и ждетъ. Подошелъ онъ, всталъ передъ ней, сначала все только вздыхаетъ, а потомъ и началъ то самое мѣсто, гдѣ Лизѣ Копровой свою любовь изъяснялъ. И такъ это онъ хорошо сказалъ, что лучше нельзя. И хочетъ, будто, Катерину Алексѣевну за руку взять и не смѣетъ; смотритъ на нее, словно на Бога, точно молится. Она взяла да и подала ему свою руку. Схватилъ онъ ея руку, цѣлуетъ ее, къ сердцу жметъ, а самъ ей въ глаза такъ и заглядываетъ. И Катерина Алексѣевна ему въ лицо такъ пристально смотритъ, сама въ лицѣ разгорѣлась, какъ маковъ цвѣтъ. Да вдругъ какъ вскочитъ съ кресла, выдернетъ руку, и была такова. Такъ Бобровъ и остался на колѣняхъ передъ пустымъ кресломъ. Положилъ на него голову, да какъ зарыдаетъ, зарыдаетъ.... Мнѣ, инда, страшно сдѣлалось,— я, возьми, да и убѣжи. Прихожу къ Катеринѣ Алексѣевнѣ въ комнату, а она у зеркала стоитъ да на свое разгорѣвшееся лицо платкомъ машетъ. Стаканъ воды налила и выпила за одинъ духъ, на часы взглянула, знаетъ, что въ это время пора ей у папеньки быть чай наливать, а сама все не можетъ себя успокоить, все у зеркала стоитъ и на свое лицо смотритъ. И точно, будто, лицо у ней другое стало: и моложе и красивѣе. Пудрой, наконецъ, себѣ щеки присыпала, вѣеръ взяла, помахалась еще и хочетъ идти кверху.

— А я, говорю, тамъ свѣчи-то не всѣ погасила.

— Почему?

— Да Бобровъ тамъ остался, положилъ голову на кресло да плачетъ, плачетъ...

— Молчи, говоритъ, сходи и погаси тамъ свѣчи,—и пошла изъ комнаты. А сверху ужъ казачекъ летитъ, сломя голову, папенька гнѣвается, что долго Катя нейдетъ.

Катерина Алексѣевна только взглянула на меня да чуть такъ бровями пошевелила, а я ужъ поняла, что не болтай, значитъ, а сама, словно птичка, кверху вспорхнула. Раньше того и не видала я, чтобъ она когда бѣгомъ бѣгала. Заглянула я въ залу: вижу свѣчи тамъ погашены и никого нѣту, я къ тетенькѣ въ комнату, она завсегда въ это время послѣ обѣда отдыхала, доложила ей, что чай готовъ, и сама въ верхную столовую пошла, можетъ, подать что потребуется. Алексѣй Игнатьичъ только что изъ кабинета вошелъ и совсѣмъ не гнѣвный, а веселый, сѣлъ къ столу и говоритъ:

— Ну, Катя, смотри—не ударь лицомъ въ грязь со своимъ театромъ, къ святкамъ у насъ гости изъ города будутъ.

— Кто такіе, папа?—а сама ему чай подаетъ, лимонъ придвигаетъ, ромъ ставитъ поближе.

— Женихи, говоритъ, будутъ, цѣлыхъ два жениха, выбирай

любого,—а самъ смѣется и весело таково ее по спинѣ похлопываетъ.

Усмѣхнулась и она, да и говоритъ:

— Надоѣла я, что-ли тебѣ, папа, что ты меня замужъ выпроваживать хочешь. А мнѣ, папочка милый, отъ тебя никуда уходить не хочется.

Придвинулась къ нему со своимъ стуломъ и головушку къ его плечу приклонила.

— Хорошо, хорошо,—говоритъ Алексѣй Игнатьичъ,—это я знаю; всѣ дѣвушки эту пѣсню поютъ, а потомъ и промѣняютъ старика-отца на чужого молодца. Да, время, ужъ время, тебѣ, Катя, женихахъ подумать. Я не хочу, чтобъ ты у меня старой дѣвой осталась.

— Да ты мнѣ скажи, папа, что за женихи такіе, кто они?

Тетенька въ это время поднялась снизу, тучная она была, задохлась немножко, на лѣстницѣ сѣла, а услыхала объ женихахъ, тотчасъ уши навострила.

— Гдѣ женихи? Какіе женихи?—спрашиваетъ.

— А! любопытно стало. Погодите, будетъ время, скажу,—смѣется Алексѣй Игнатьичъ. Такъ въ тотъ вечеръ и не сказалъ ничего. Тетенька, было, и того, и другого называла, однако отгадать не могла. И вечеромъ еще къ Катеринѣ Алексѣевнѣ въ комнату зашла объ женихахъ поговорить, а та и разговаривать не стала.

— Вотъ, очень нужно объ нихъ безпокоиться; сказали,—пріѣдутъ, такъ увидимъ. Я ими не интересуюсь нисколько.

И точно-что объ женихахъ она не думала, а театромъ съ той поры еще больше интересоваться стала. Выпросила у папеньки позволеніе на репетиціи въ театръ ѣздить. Сначала тетеньку съ собой таскала, только той скоро это надоѣло, спать она привыкла въ это время.

— Да поѣзжай одна, Катя,—скажетъ, бывало,—Аришу возьми съ собой, а то Варвару.

А Катеринѣ Алексѣевнѣ это и на руку.

— Аришу лучше, говоритъ, Варварѣ шить нужно.

И точно что, она у насъ всегда за шитьемъ сидѣла, большая мастерица была и все приданое Катеринѣ Алексѣевнѣ ея руками изготовлено было. А все-таки барышня ее не любила и не довѣряла ей.

V.

Былъ у насъ возочекъ этакій махонькой, съ дверцами и со стеклами въ нихъ, вдвоемъ только сидѣть было можно въ немъ. Вотъ въ этомъ то возочкѣ всегда, бывало, и ѣдемъ на репетицію. Изъ дому ѣдемъ, меня съ собой посадитъ, а изъ театра ѣдемъ,

такъ ужъ все мнѣ причиталось съ кучеромъ на козлахъ сидѣть, а съ собой Боброва посадитъ и иногда больше часу катаемся; и катались не по улицамъ, а по тракту: гонимъ версты три, али четыре, а потомъ назадъ повернемъ. Меня, бывало, своимъ пуховымъ платкомъ укутаетъ Катерина Алексѣевна, чтобъ не познобилась; и какъ Боброва высадитъ, то велитъ мнѣ въ возокъ пересѣсть и настрого закажетъ, чтобъ ничего дома не сказывала, никому ни слова. Да еслибъ и не заказывала, такъ я бы и сама пикнуть никому не смѣла, потому что хошь и молода была, и глупа, а все-жъ понимала, что дѣло это не спроста дѣлается.

Такъ-то и прошло у насъ время до святокъ, а къ святкамъ, и точно, гостей много понаѣхало: двѣ барышни пріѣхали изъ сосѣдняго завода, тоже дочери управляющаго, да изъ городу одна пріѣхала и съ маменькой. Ну, тутъ ужъ съ Бобровымъ кататься нельзя стало, пришлось гостей занимать да веселить. Въ самые святки и кавалеры изъ городу понаѣхали. Трое ихъ было, и молодые все люди. Остановились они въ пріѣзжемъ домѣ,—особый такой домъ былъ, гдѣ наѣзжающіе изъ городу чиновники останавливались: исправникъ и прочіе тамъ разные, изъ губернскаго управленія, которые нужные люди. Бывали въ томъ числѣ такіе, что жалованье имъ постоянное даже платилось отъ помѣщика нашего. У барышенъ, конечно, тотчасъ промежъ себя разговоры пошли про молодыхъ людей; принялись ихъ разбирать по косточкамъ,— и носъ, и глаза, и волосы, и какъ говорятъ, и какъ ходятъ. Одинъ изъ нихъ имъ всѣмъ особенно понравился. Изъ себя красивый, и въ танцахъ ловкій, а на рѣчахъ бойкій да веселый; такъ одна бѣда, говорили—чинъ на немъ самый маленькій и званія, слышь, простого, канцелярскаго какого-то служителя сынъ. Правда, говорили, что у губернатора онъ въ канцеляріи служитъ и губернаторъ его любитъ и передъ другими отличаетъ, а все-жъ Катерина Алексѣевна его забраковала. „Никакого еще онъ положенія не имѣетъ,— сказала она какъ-то про него въ разговорѣ съ барышнями,—и Богъ знаетъ, когда еще онъ свою карьеру сдѣлаетъ“. Барышни смѣются,—„мы, говорятъ, замужъ за него выходить не собираемся, а только бы намъ потанцовать“. И Катерина Алексѣевна смѣется: „ну для этого-то онъ годится“,—говоритъ. Другіе же двое, хотя, и чиновнѣе были, да за то изъ себя-то ужъ очень не приглядны. Даже намъ, прислугѣ, не понравились, а барышни съ перваго вечера ихъ на смѣхъ подняли и прозвища имъ смѣшныя надавали. Одного „бабаемъ“ прозвали, другого „Лукашкой“; и такъ на смѣшкахъ ихъ держали, что тѣ примѣтили это, обидѣлись и ходить къ намъ перестали. Папенька за столомъ Катеринѣ Алексѣевнѣ даже выговоръ сдѣлалъ за нихъ.

— Эти „бабаи“ да „Лукашки“ нужные намъ люди,—сказалъ,

и обходиться съ ними надо повѣжливѣе; да и прозвища вы имъ придумали не умныя.—О прозвищахъ, должно быть, тетенька ему пересказала. Катерина Алексѣевна только разсмѣялась на это, а барышни сконфузились. За то ужъ и ублажали-же чиновниковъ этихъ тамъ, въ пріѣзжемъ домѣ: и винами, и наливками, и закусками всякими! Особый человѣкъ былъ отряженъ для услугъ имъ, а угощеніе все изъ нашего дому шло.

На третій день Рождества еще гость къ намъ пожаловалъ, и этотъ ужъ прямо у насъ и остановился. Алексѣй Игнатьичъ его съ большимъ почтеніемъ принялъ, и Катерина Алексѣевна обошлась съ нимъ очень любезно, любезнѣе чѣмъ съ молодыми. Гость этотъ былъ пожилой уже человѣкъ, на вискахъ сѣдина пробивалась, и, какъ видно, чиновный, потому держалъ себя сановито да важно. Ростомъ изъ себя не очень великъ былъ, ну да и не малъ, и кругленькой такой животикъ впередъ выдавался; изъ лица полный да губастенькой, а ничего, не дуренъ собой, не противенъ.

Вечеромъ въ этотъ день балъ у насъ устроился; всѣ служащіе въ правленіи съ семействами приглашены были. Званы были и изъ молодыхъ людей, которые повиднѣе должности занимали, ну, а Боброва не было, не пригласили. Изъ чиновниковъ, что раньше пріѣхали, только красивый-то и пришелъ, а другіе два не пришли. Человѣкъ сказывалъ, что упились очень. Катерина Алексѣевна съ молодежью мало занималась и танцовала, только все упрашивала ихъ, чтобъ они веселились, и танцы, и игры всякіе устраивали, а сама все больше съ этимъ пожилымъ гостемъ и сидѣла, и ходила, и разговаривала. На другой день послѣ бала съ нимъ и кататься ѣздила, и въ театрѣ рядомъ сидѣла. Театромъ нашимъ онъ очень доволенъ остался и актеровъ много хвалилъ. И точно на отличку, въ эту зиму актеры наши хорошо играли, такъ что Алексѣй Игнатьичъ имъ даже награду къ Новому Году выдать приказалъ. Еще очень богатой балъ былъ у члена правленія, такъ тамъ, сказываютъ, Катерина Алексѣевна даже вовсе танцовать не стала, а сѣла въ карты играть съ Валерьяномъ Николаевичемъ, такъ пожилого гостя звали. Барышни послѣ шушукались промежъ себя и Катерину Алексѣевну осуждали. Изъ антересу, де, это она все дѣлаетъ, и все притворно, а на самомъ дѣлѣ онъ ей ни чуточки не нравится. Ну, а что она то ему понравилась, такъ это было даже и очень видно. Все-то онъ около нея увивается, ножками такъ сѣменитъ, ручки цѣлуетъ, и, то и дѣло, въ глаза ей засматриваетъ. Встрѣтили Новый Годъ у насъ и на другой день гости всѣ поразъѣхались, а Валерьянъ Николаевичъ остался у насъ еще дня три и въ это время Катеринѣ Алексѣевнѣ предложеніе сдѣлалъ. И барышня наша приняла предложеніе

это, и дали они съ папенькой слово Валерьяну Николаевичу и по рукамъ ударили, а форменный сговоръ порѣшили весной сдѣлать, а свадьбѣ быть подъ осень. Женихъ, было, просилъ, чтобы весной и свадьбу сдѣлать, да Катерина Алексѣевна не согласилась,—съ приданымъ-де не управиться, ну, и онъ потомъ разсудилъ, что такъ лучше будетъ, что къ осени у него свой новый домъ поспѣетъ устроиться и отдѣлаться, и порѣшили на томъ, что ужъ въ новомъ домѣ свадьбу справятъ. Условились обо всемъ и уѣхалъ женихъ, съ Катерины Алексѣевны слово взялъ не забывать его и пріѣхать на сырную недѣлю въ городъ.

VI.

Только проводили жениха, на другой же день Катерина Алексѣевна за Васильемъ Ивановичемъ посылаетъ; захотѣлось ей что-то новое на сцену поставить. Сговорилась съ нимъ и въ назначенный день опять на репетицію поѣхала. Раньше того, бывало, катались мы съ Бобровымъ, а тутъ стали къ нему въ квартиру заѣзжать изъ театра. Меня-то, бывало, посадятъ въ возокъ и велятъ кучеру катать. Ну, и возитъ онъ меня, что ни на есть, по самымъ глухимъ и забіеннымъ улицамъ, либо къ себѣ домой заѣдетъ, а я сижу у воротъ, жду. Однова въ сугробъ меня завезъ и возокъ опрокинулся, кое-какъ мы изъ снѣгу выкарабкались; долго тутъ провозились и кучеръ испугался, думалъ, выговоръ будетъ отъ Катерины Алексѣевны, а она и словечка не сказала, словно какъ и не замѣтила, что долго мы проѣздили. Послѣ узнала я, что въ это время матери у Боброва дома не было, уѣзжала она въ гости въ другой заводъ на мѣсяцъ, али болѣе, и Катерина Алексѣевна времячко проводила съ милымъ дружкомъ, значитъ, съ глазу на глазъ. Ну, конечно, имъ въ ту пору часы за минуты казались.

Пролетѣло времячко это у насъ такъ-то быстро, что и оглянуться не успѣли. Смотримъ,—ужъ сырная недѣля подошла; папенька зоветъ барышню въ городъ, а ей и не хочется. Отговаривалась, было, однако къ послѣднимъ днямъ масленой уѣхала въ городъ и больше недѣли тамъ оставалась—наряды закупала и шила. Пріѣхала домой, и на другой же день меня за Бобровымъ посылаетъ.

— Скажи, говоритъ, что Катерина Алексѣевна васъ звали часу въ четвертомъ къ себѣ и чтобъ непремѣнно пришелъ.—Живо я слетала и отвѣтъ принесла, что непремѣнно будетъ.

— Хорошо, говоритъ мнѣ, ты его дождись на заднемъ крыльцѣ, какъ время подходить будетъ, и проведи въ ту залу, гдѣ репетиціи бывали, пусть тамъ меня подождетъ. А какъ проведешь,

такъ приди и тотчасъ мнѣ знать дай.—Только что пообѣдали и разошлись Алексѣй Игнатьичъ съ тетенькой по своимъ комнатамъ, чтобъ отдохнуть послѣ обѣда, какъ я ужъ выскочила на крылечко и торчу тамъ, дожидаюсь, съ ножки на ножку попрыгиваю: время хотя и къ веснѣ близилось, а все-таки еще холода стояли. Немного подождала и вижу—идетъ онъ. Машу ему рукой, чтобъ скорѣе, онъ живо на крылечко взбѣжалъ, а тамъ и въ сѣни, и корридоромъ въ залу пробрался. Я бѣгу барышнѣ сказывать, а она ужъ навстрѣчу идетъ; мнѣ велѣла въ корридорѣ посматривать и, если тетенька встанетъ, али пріѣдетъ кто, тотчасъ себѣ доложить, а сама Боброва увела въ кабинетикъ,—маленькая такая комнатка отъ залы направо была,—и тамъ съ нимъ затворилась.

— Ты, говоритъ, мнѣ только въ двери пальцемъ постучи, если что случится.

Такъ-то я ихъ и караулила. И неоднократно это дѣло бывало. Середи бѣлаго дня и при всей прислугѣ ходилъ Бобровъ, и всѣ видъ такой дѣлали, что будто не замѣчаютъ, али будто такъ тому дѣлу и быть надобно. Ходила въ ту пору къ намъ женщина одна бѣлье стирать,—матери моей она подружка была. Узнала она про это дѣло, отозвала меня этакъ въ уголочекъ и говоритъ:

— Смотри, дѣвка, не попади въ бѣду. Вѣдь, ты неладно дѣлаешь. Сама попадешься да, пожалуй, и мать подъ отвѣтъ подведешь. Какъ, говоритъ, только не боитесь вы съ барышней? А ну, какъ папенька узнаетъ? Сама головой качаетъ, руками хлопаетъ: вотъ, говоритъ, бѣда-то гдѣ, вотъ хлопота-то съ вами, съ грѣховодницами! Ужъ ты на меня не погнѣвайся, я матери твоей скажу.

— Что-жъ, говорю, скажи,—я, вѣдь, ни въ чемъ невиновата. Мнѣ что велятъ, то я и дѣлаю. И точно,—матери сказала. На Пасхѣ какъ-то мать и пришла ко мнѣ, будто бы въ гости, а на самомъ дѣлѣ,—чтобъ Катерину Алексѣевну увидать. Взошла слѣдомъ за мной къ ней въ комнату, меня вонъ выслала, а я только за двери вывернулась да тутъ и остановилась—все въ щелку и слышу, и вижу. Подошла она къ Катеринѣ Алексѣевнѣ и стала меня домой просить жить: очень-де нужна она дома мнѣ по весеннему времю.

— На что вамъ ее?—спрашиваетъ Катерина Алексѣевна:—какая такая у васъ работа стала за ней? А сама такъ строго на нее смотритъ. Мать у меня робкая да смирная была женщина, опять-же вдова, окромя меня еще двое малолѣтковъ было у ней. Пенсіонъ небольшой получала она и больше всего, конечно, боялась, какъ бы пенсіону ее не лишили. Оробѣла она и тихо такъ говоритъ:

— Да, вотъ, огородъ садить надо будетъ да и кросна ткать хочу ее учить.

— Ну это пустяки, говоритъ ей Катерина Алексѣевна, огородъ посадитъ я вамъ пошлю женщину отъ себя, а кросна ткать еще научится. Я къ Аришѣ привыкла и пока замужъ не выйду, до тѣхъ поръ ее отъ себя не отпущу. Да и ты глупо дѣлаешь, что теперь ее домой хочешь взять, черезъ это она многаго лишиться можетъ.

— Да это понимаю я, говоритъ мать, только очень я боюсь какъ бы съ дѣвкой какого худа не вышло.

— Какое же можетъ худо выйти?—спросила Катерина Алексѣевна, а сама даже съ мѣста встала и такъ строго матери моей въ лицо смотритъ.

Та и больше еще заробѣла.

— Да вотъ насчетъ прислуги я сомнѣваюсь очень, говоритъ мать, какъ бы не избаловалась дѣвка. А больше всего боюсь, какъ бы барину не донеслось чего,—Боже упаси!—Сама подперла щеку рукой да такъ и улилась слезами.

Вся въ лицѣ вспыхнула Катерина Алексѣевна и скоро такъ по комнатѣ заходила. Потомъ подошла къ матери и сказала ей:

— Не понимаю я, чего ты боишься и какого худа ждешь. Одно скажу, что ничего тебѣ худого не будетъ, а Аришу я теперь не отпущу. Иди домой и ничего не бойся. Потомъ подошла къ камоду, вынула и дала матери сколько-то денегъ, повернула ее этакъ легонечко за плечи да и выпроводила изъ комнаты. Такъ я и осталась тутъ. Мнѣ, конечно, по молодости и глупости моей остаться и хотѣлось на это время, чтобъ свадьбу прожить и подарки получить со свадьбы.

Какъ стала вечеромъ Катерина Алексѣевна спать ложиться и спрашиваетъ у меня, что такое я матери насказала и какъ осмѣлилась. Я божиться принялась, что слова никакого не говаривала, всѣхъ святыхъ собрала и крестъ изъ пазухи выдернула, цѣлую да божусь, что ничего не говаривала и знать не знаю.

— Если ты не говорила, такъ кто же ей сказалъ?

— Не знаю, говорю, развѣ, можетъ, кухарка, али прачка.

— Пошли ко мнѣ кухарку сейчасъ-же, приказала мнѣ.—Что она съ ней говорила, я не знаю, потому что у дверей не слушала, а въ кухнѣ ужинала въ то время.

VII.

На эту весну вплоть до Петровокъ у насъ театръ продолжался, только вмѣсто двухъ разъ въ недѣлю по одному разу играли. Сговоръ у Катерины Алексѣевны въ началѣ весны былъ, гос-

тей съѣзжалось много, а барышни нѣкоторыя такъ и остались гостить у насъ на все лѣто. Катерина Алексѣевна имъ и не очень-то рада была, да дѣлать то ужъ нечего было, папенька ихъ самъ пригласилъ. Былъ у насъ при господскомъ домѣ садъ обширный и бесѣдка въ немъ нарядная. Вотъ и придумали въ бесѣдкѣ этой танцы устраивать, музыку театральную играть туда опредѣлили по вечерамъ. Кавалерами въ танцахъ служащіе въ правленіи были и Бобровъ въ томъ числѣ бывалъ. Народу собиралось на гулянья эти очень много, которые танцовали, которые только на танцы глядѣли. Очень весело и многолюдно было. Случалось, опять, въ поле ѣздили на длинныхъ этакихъ дрогахъ большими компаніями, ну словомъ, такъ веселились въ это лѣто, какъ никогда прежде. А все-таки примѣчала я, что скучаетъ Катерина Алексѣевна. Негдѣ стало ей съ Бобровымъ видѣться. Только въ саду, бывало, встрѣтятся, и походятъ по саду, и поговорятъ между собой. Свадьбу у насъ отложили до сентября, сказывали, что губернаторъ по губерніи ѣздилъ и Валерьяна Николаевича съ собой возилъ, да и домъ его новый не поспѣлъ ко времю, такъ онъ и не бывалъ у насъ все лѣто. Только письма отъ него съ каждой почтой приходили. Въ концѣ іюля и барышни у насъ разъѣхались по домамъ,—наряды себѣ къ свадьбѣ готовить. Гулянье въ саду прекратилось, потому что августъ мѣсяцъ стоялъ дождливый да холодный. Тихо этотъ мѣсяцъ прожили. Раньше этого завсегда я у Катерины Алексѣевны въ комнатѣ спала на кушеточкѣ у дверей, а тутъ она меня изъ своей комнаты выслала и велѣла мнѣ спать въ корридорѣ. По вечерамъ все себѣ въ комнату закусить что-нибудь велитъ подать и бутылку вина, али наливки, поставить велитъ. И стала я примѣчать, что поставлю на подносъ одну рюмку, а утромъ все двѣ убираю и изъ обѣихъ пито. Что, думаю, за чудо такое, никто не бывалъ и тетенька никогда не заходила. Она, обыкновенно, съ бариномъ вверху ужинала и потомъ ужъ прямо спать шла. Садилась съ ними и Катерина Алексѣевна, только кушала мало, что-то она въ это время прихварывать стала. Старушка въ это время къ намъ похаживать стала, кружевницей сказывалась, все въ узелочкѣ кружева носила, а на самомъ дѣлѣ она лекарка была и повитушка. Ну, да и кружевами торговала, это точно, только не своими, а чужими, и лекарства и снадобья разныя давала отъ многихъ болѣзней. Чуть-ли Катерина Алексѣевна у нея не лечилась. Разъ, какъ-то, плохо мнѣ ночью спалось и почудилось мнѣ, что кто-то въ корридорѣ ходитъ, взглянула я, а Варвара къ барышнинымъ дверямъ крадется, въ одной юбкѣ и босая. Подняла я голову, гляжу и вижу—изъ-подъ двери свѣтъ видѣнъ. А Варварушка—то ухо къ двери приложитъ, то глазъ, потомъ быстро такъ отпрыгнула и бросилась бѣжать по корридору бѣ-

гомъ. Только она убѣжала, а Катерина Алексѣевна дверь отворила, да со свѣчей и вышла въ корридоръ, осматривается. Увидала, что я не сплю и спрашиваетъ: кто тутъ былъ? Я вскочила съ постели, подбѣжала къ ней и шепотомъ говорю, что Варвара была, у двери слушала и подсматривала. Сказала это, да какъ-то и глянула къ Катеринѣ Алексѣевнѣ въ комнату, а тамъ Бобровъ стоитъ.

— Точно ты видѣла, что это она?—спрашиваетъ Катерина Алексѣевна, а сама въ дверяхъ со свѣчей стоитъ.

— Хоть побожиться—она, говорю,—босикомъ и въ одной юбкѣ прибѣгала,—а сама дрожу вся, стою, испугалась, что Боброва увидала. Думала я, что ужъ оставила его Катерина Алексѣевна, такъ какъ время къ свадьбѣ приближалось, а выходитъ, что нѣтъ, не оставила, и лазилъ къ ней милой другъ въ окошечко, благо—ночки темныя подошли.

Сколько времени прошло послѣ этого, хорошо я не помню. Должно быть, такъ, въ началѣ сентября случилось у насъ происшествіе. Убили члена вотчиннаго управленія Казарина, убили его дорогой, въ то время какъ ѣздилъ онъ по селамъ собирать оброки да недоимки старые и вновь раскладку дѣлать на крестьянъ. Человѣкъ онъ былъ жадный, несправедливый, большой лихоимецъ былъ, ну и порѣшили его крестьяне своимъ судомъ. Сказывали, что давно они до него добирались и даже записки ему не разъ подбрасывали, только онъ, видно, не вѣрилъ, не опасался ихъ. Ѣздилъ одинъ, только съ ямщикомъ. Послѣ ямщикъ и разсказывалъ, какъ дѣло было. Возвращался онъ уже домой изъ поѣздки, ну, и порядочно съ нимъ было добра нагружено: и медку, и индюшекъ въ передкѣ тарантаса наложено, да и въ карманѣ было не пусто. На дорогахъ было спокойно да тихо въ ту пору, ну, и ѣхали поэтому безо всякой опаски. Не доѣзжая до Воскресенска пятнадцати верстъ, есть гора крутая и длинная, да еще идетъ изгибомъ этакъ, и лѣсъ густой по обѣимъ сторонамъ. Вотъ тутъ-то, въ изгибѣ этомъ, когда усталая тройка шажкомъ тащила по грязной дорогѣ тяжелый экипажъ, а Казаринъ дремалъ, ничего не подозрѣвая, и наскочили на нихъ трое мужиковъ. Одинъ справа вскочилъ на подножку, другой слѣва, а третій лошадей подъ узцы схватилъ. Ямщикъ и видѣлъ, какъ они изъ лѣсу на дорогу выбирались, да и вниманія не обратилъ на нихъ,—мало-ли ихъ по осени за охотой ходитъ. Какъ вскочили на подножки, Казаринъ очнулся отъ дремы и закричалъ: „Что за люди? Чего нужно?“—„Разсчитаться съ тобой“!—сказалъ одинъ изъ нихъ да и выстрѣлилъ ему въ високъ, чуть не въ упоръ, а затѣмъ соскочили, да и были таковы. Ямщикъ и опомниться не успѣлъ, какъ это дѣло сдѣлалось, перепугался до смерти, думалъ, грабить будутъ и его убьютъ, а они и синь по-

роха не тронули изъ того, что съ Казаринымъ было. Такъ онъ его и привезъ со всей поклажей въ Воскресенскъ. А въ ту пору, какъ убійцы въ лѣсъ убѣжали, началъ онъ кричать со страху: сперва Казарина звалъ, думалъ, что живъ еще, потомъ „караулъ“ кричалъ, а тутъ ни жилья близко не было, ни людей никакихъ не случилось, никто его и не услышалъ. Принялся потомъ лошадей нахлестывать, а дорога грязная, глинистая и въ гору,—какъ ихъ не хлещи, онѣ скорѣе шагу не идутъ. Погода стояла ненастная, съ утра небо все заволокло тучами и день-то былъ темный, какъ сумерки, вечеромъ же и вовсе темно стало.

— Вѣкъ не забуду, говорилъ потомъ ямщикъ, какъ я темной ночью съ мертвымъ тѣломъ отъ угору этого до Воскресенска шагомъ тащился.

Христомъ Богомъ заклинался онъ, и неоднократно присягу принималъ въ томъ, что ничего объ этомъ дѣлѣ не зналъ и не знаетъ, и подозрѣній ни на кого не имѣетъ. Разсмотрѣть убійцъ въ лицо онъ не могъ, только и видѣлъ, что мужики были въ лохматыхъ шапкахъ, въ полушубкахъ и мужицкихъ бахилахъ; двое съ ружьями, а третій съ топоромъ. Рожи снизу платками замотаны, и были ли они бородатые, али безбородые, сказать не умѣлъ. Начальство, однако, ему не повѣрило и долго его, бѣднаго, по острогамъ таскали, да и кромѣ его народу много перебрали, а настоящихъ убійцъ такъ и не отыскали.

VIII.

У насъ въ этотъ вечеръ всѣ въ гости ѣздили и, уѣзжая, заказали, что ужинать домой будутъ. Ну и ждемъ ихъ, на столъ вверху накрыли,—въ послѣднее время все тамъ и обѣдали, и ужинали. Пріѣхали домой часовъ въ одиннадцать, побѣжала я сказать, чтобъ кушанье подавали, и тотчасъ вернулась. Катерина Алексѣевна съ тетенькой сидятъ за столомъ и обѣ зѣваютъ, спать захотѣли, а Алексѣй Игнатьевичъ у себя въ кабинетѣ у письменнаго стола стоитъ и какую-то бумажку читаетъ. Подали кушанье, а онъ все нейдетъ, все читаетъ. Катерина Алексѣевна и пошла къ нему въ кабинетъ.

— Чѣмъ это ты зачитался, папа?—спрашиваетъ у него;—что тебя такъ заняло, что и ужинать не идешь.

— Да вотъ эта бумажка заняла,—говоритъ ей и показываетъ бумажку,—такъ маленькая и бумажка-то, полъ-листика всего.—Доносъ кто-то написалъ да вотъ тутъ безъ меня и положили. Какъ ты думаешь, Катя, кто-бы это могъ быть?—Самъ руки ей на плечо положилъ и смотритъ въ лицо. Катерина Алексѣевна протянула руку къ бумажкѣ и проситъ:

— Покажи, папа, что за доносъ? на кого?

Только не успѣлъ онъ отвѣтить, какъ вошелъ въ кабинетъ полицмейстеръ, перепуганный, блѣдный, даже губы трясутся. Алексѣй Игнатьичъ какъ взглянулъ на него, такъ и понялъ, что происшествіе случилось.

— Что такое, спрашиваетъ,—съ какими вѣстями, такъ поздно?

— Охъ, Алексѣй Игнатьичъ, съ худыми вѣстями, и сказать страшно.

— Да ну, не томите, говорите скорѣе, что у васъ тамъ стряслось?

А самъ бумажку, что въ рукахъ держалъ, сунулъ съ столъ, да и заперъ ключикомъ.

— Убійство, Алексѣй Игнатьевичъ,—Степана Николаича Казарина убили дорогой. Ямщикъ привезъ его въ правленье ужъ мертваго.

Алексѣй Игнатьичъ даже отшатнулся въ ужасѣ.

— Какъ? неужели-жъ совсѣмъ убили? можетъ быть живъ еще? гдѣ онъ теперь?

— Въ больницѣ; домой везти не смѣли, не знаемъ, какъ супругѣ его сказать. Докторъ говоритъ, что моментальная смерть была.—Тутъ полицмейстеръ и разсказалъ все, что отъ ямщика слышалъ. Выслушалъ Алексѣй Игнатьичъ, взялъ шапку со стола и пошелъ въ переднюю. Катерина Алексѣевна къ нему:

— Папа, ты бы не ѣздилъ!

— Нельзя, Катя, нужно самому взглянуть и къ женѣ Казарина тоже надо самому ѣхать.

И уѣхалъ тотчасъ на полицмейстерскихъ лошадяхъ, своихъ ужъ послѣ ему подали.

Тетенька ахаетъ, руки ломаетъ, изъ-за стола выскочила, по комнатѣ бѣгаетъ, съ Катериной Алексѣевной говоритъ; а та отозвала меня въ сторонку да и шепчетъ мнѣ:

— Сбѣгай внизъ, принеси мнѣ маленькіе ключики на колечкѣ, знаешь гдѣ лежатъ?

— Знаю, говорю,—а сама ужъ бѣгу. Мигомъ слетала, принесла и подаю. Она взяла, сама тетеньку успокоиваетъ разговорами, за столъ усаживаетъ. Потомъ прошла въ кабинетъ, прибрала ключикъ и отворила столъ. Бумажка тутъ, и лежала сверху. Взяла ее, прочитала, повертѣла въ рукахъ, положила обратно и столъ заперла.

Долго мы въ тотъ вечеръ спать не ложились, всѣмъ чего-то страшно сдѣлалось, все про убійства разныя толковали. Я и спать къ барышнѣ въ комнату выпросилась, боюсь въ корридорѣ лечь да и только.

Стали ложиться спать, барышня и спрашиваетъ у меня:

*

— Кто безъ насъ на столъ накрывалъ?

— Варварушка, говорю я,—и я помогала.

— А Васька гдѣ былъ?—это про казачка.

— Онъ въ кухнѣ спалъ.

— Не видала ты,— ходила Варвара къ папѣ въ кабинетъ, али не ходила?

— Не видала. Она сперва одна кверху ушла.

— Ну, такъ въ то время она и положила это письмо. Только кто бы могъ его написать? Она, вѣдь, неграмотная. Смотри, Ариша, если папа тебя спрашивать будетъ насчетъ Боброва, говори, что ничего не знаешь.

Я такъ и затряслась вся.

— Ну, думаю, бѣда моя приходитъ. Такъ вотъ какой доносъ, насчетъ Боброва! Господи! спаси и помилуй!

Утромъ боюсь и смотрѣть на барина; думаю,—вотъ спроситъ, а онъ ни слова—ни мнѣ, ни дочери. Происшествіе это очень его заняло въ то время. Пріѣхалъ исправникъ, чиновники съѣхались слѣдствіе производить; народу страсть сколько къ допросамъ перетаскали, а ничего не открыли. Потомъ Казарина хоронили, наши всѣ на похоронахъ были. Одно только распоряженіе въ это время Алексѣй Игнатьичъ по дому сдѣлалъ: велѣлъ внизу зимнія рамы всѣ до одной вставить, и каждый вечеръ, какъ всѣ спать улягутся, сталъ самъ обходить всѣ комнаты со свѣчей въ рукѣ и смотрѣть, всѣ-ли двери на запорѣ. А раньше того вчастую двери запирать къ ночи забывали, такъ и спали, ничего не опасаясь,—ни воровства, ни убійства. Еще сказывалъ казачекъ, что ящикъ съ заряженными пистолетами около кровати стали къ ночи ставить. Сталъ и Алексѣй Игнатьичъ злыхъ людей опасаться. Да и какъ не опасаться было. Вся власть надо многими тысячами народу въ его рукахъ была, угодить же каждому, вѣдь, и справедливой человѣкъ не можетъ. Стали жить поосторожнѣе, и нельзя стало Катеринѣ Алексѣевнѣ къ себѣ Боброва принимать, и видалась-ли она съ нимъ въ это время, не знаю. Выѣзжала она иногда въ сумеречкахъ къ кружевницѣ этой, къ Пахомовнѣ старухѣ, и меня съ собой не брала.

— Что тебѣ, скажетъ, подъ дождемъ мокнуть, сиди дома.

Ненастье тогда стояло чуть не цѣлый мѣсяцъ,—то дождь, то слякоть да съ вѣтромъ холоднымъ. Болѣзни даже пошли въ народѣ, докторъ пріѣзжалъ Алексѣю Игнатьичу доложить, что тифозная горячка появилась. Велѣлъ мѣры принимать противъ ея.

Время стало къ свадьбѣ близиться, стали гостей поджидать. Разъ, какъ-то, послѣ обѣда и говоритъ мнѣ Катерина Алексѣевна:

— Ариша, выдь на крыльцо и подожди Боброва: онъ скоро придетъ, ты и проведи его въ кабинетикъ. Это ужъ въ послѣдній

разъ будетъ, завтра гости пріѣдутъ.— Я накрылась платкомъ, выскочила, а вѣтеръ такой холодный,—постояла не много, продрогла и назадъ повернулась уходить, а Бобровъ въ ворота.

— Ариша, стой! куда мнѣ пройти?—Я бѣгу впередъ, ему показываю, онъ пальто свое мокрое мнѣ на руки бросилъ, а самъ живо въ кабинетъ прошмыгнулъ по знакомой дорожкѣ. Я пальто унесла въ кухню сушить, вернулась и въ корридорѣ похаживаю на караулѣ, и слышу—Алексѣй Игнатьичъ вверху у лѣстницы откашливается и огня себѣ требуетъ. Опрометью бросилась я къ кабинету, стучу въ дверь кулакомъ; отворили мнѣ.

— Что такое?

— Папенька не спятъ, чуть-ли не сюда идутъ.—Катерина Алексѣевна выскочила изъ кабинета, а меня туда втолкнула и пошла изъ залы. И точно, онъ внизъ шелъ, въ корридорѣ съ нимъ и встрѣтилась.

— Что съ тобой, папа? что ты не спишь? Здоровъ-ли?

— Такъ, не спится что-то. Посовѣтоваться съ тобой иду, какъ и гдѣ мы гостей размѣстимъ, не надо-ли перестановки какія-нибудь сдѣлать, кроватей прибавить?—А самъ обхватилъ ее за талію да и ходитъ съ ней по залѣ мимо самыхъ дверей, за которыми я стою ни жива, ни мертва, да въ щелку выглядываю. Взглянула на Боброва, а и онъ не лучше меня, тоже у дверей стоитъ, наровитъ, ежели двери отворятъ, за ними спрятаться,—а самъ весь трясется, рукой за грудь схватился, съ трудомъ отъ кашля удерживается. Вотъ, думаю, бѣда-то, какъ закашляетъ.

Походили они по залѣ, Катерина Алексѣевна и повела папеньку въ другія комнаты.

— Пойдемъ, говоритъ, въ тѣ комнаты и посмотримъ вмѣстѣ,— какія тамъ перемѣщенія сдѣлать нужно. Какъ только они вышли изъ залы, такъ Бобровъ изъ кабинета выскочилъ да въ корридоръ. И вѣдь, надо же было такъ случиться, что выходитъ онъ изъ этихъ дверей, а изъ другихъ, на другомъ концѣ корридора, тетенька выходитъ, да со свѣчей въ рукѣ. Такъ бы лицомъ къ лицу и столкнулись, да на этомъ концѣ-то была дверь въ чуланъ холодный отворена, кухарка тамъ что-то прибиралась. Бобровъ и заскочилъ туда. Кухарка какъ закричитъ съ перепугу,—потомъ узнала его, погрозила кулакомъ, вышла изъ чулана и дверь за собой на ключъ заперла. Тетенька спрашиваетъ, чего она кричала: —а то, говоритъ, что Аришка-дура ее испугала. И тетенька къ барину съ барышней прошла и всѣ вмѣстѣ по комнатамъ ходятъ, разсуждаютъ, какъ чему быть. Самоваръ потребовали въ нижнюю столовую,—чего ужъ давно не бывало,—и чай тутъ пить расположились. Послѣ чаю, когда уже всѣ на верхъ поднялись, тогда я у кухарки ключъ выпросила да Боброва выпустила. Посинѣлъ

даже весь отъ холоду, а кухарка еще смѣется надъ нимъ:—таковскій былъ, говоритъ, не ходи, куда не слѣдуетъ.

IX.

И что-бы вы думали, захворалъ, вѣдь, послѣ этого Бобровъ: тутъ-ли простылъ, раньше-ли того что было, только сдѣлалась у него горячка. Каждый день къ Алексѣю Игнатьевичу старшій фельдшеръ съ докладомъ являлся,—сколько больныхъ въ больницѣ, сколько по домамъ, кто умеръ, кто вновь заболѣлъ, все это рапортовалъ. Вотъ и о Бобровѣ онъ доложилъ, что сильно боленъ. Василій Ивановичъ приходилъ тоже объ этомъ докладывать, что играть некому,—а какъ разъ хотѣли представленія въ театрѣ начинать. Рѣшили отложить немного; барышни досадуютъ, въ театръ имъ хотѣлось: Боброва всѣ жалѣютъ. Разговоровъ объ немъ много было, особенно потому, что Лиза Копрова совсѣмъ къ Бобровымъ переселилась, чтобъ помогать его матери за больнымъ ухаживать. Одни ее осуждали за это, говорили, что неприлично это дѣвицѣ, другіе тѣмъ оправдывали, что актриса она, да и Бобровъ будто ей женихъ былъ. Катерина Алексѣевна говорила папенькѣ,—нельзя-ли Боброва въ больницу взять, чтобы ходили тамъ лучше за нимъ, да и матери облегченье сдѣлать. Онъ ей отвѣтилъ, что и самъ хотѣлъ это сдѣлать, да мать его не согласилась сына въ больницу отпустить, сама за нимъ ходить пожелала. Меня Катерина Алексѣевна частенько посылала узнавать объ его здоровьѣ, а тетенька разъ даже банку варенья со мной послала къ нимъ. Какъ самоё старуху встрѣчу, такъ все кланяться прикажетъ господамъ и благодарить за вниманіе, а какъ Лизаньку увижу, такъ та съ сердцемъ скажетъ, бывало:

— Ну, чего шатаешься каждый день? Что еще вамъ съ барышней надо отъ него? и такъ ужъ чуть живъ по ея милости.—Я пришла домой да такъ все и бухнула Катеринѣ Алексѣевнѣ. Она только руками хрустнула, повернулась къ окну и говоритъ про себя:

— Ненавижу эту дерзкую дѣвку. Легче мнѣ его мертвымъ видѣть, нежели на ней женатымъ.

За Васильемъ Ивановичемъ послала въ тотъ же день и проситъ его, чтобъ хоть какой-нибудь спектакль устроили.

— Постараюсь,—отвѣчалъ онъ,—только врядъ-ли что хорошее выйдетъ,—еще одинъ актеръ у насъ заболѣлъ, да и Копрова наотрѣзъ отказалась играть, пока Бобровъ не выздоровѣетъ.

— Ну, ее и принудить можно,—говоритъ барышня; сказать ей, что вспоможенія ей не выдадутъ, если играть не станетъ.

— Она этимъ не подорожитъ и ничѣмъ ее не принудишь, ничего она не побоится: ни толковъ, ни сплетенъ. Говоритъ, что и на сцену только для Боброва поступила,—сказалъ Василій Ивановичъ и самъ руками развелъ.

— Ну хоть „Филатку и Мирошку“ поставили бы,—сказала Катерина Алексѣевна,—хоть что-нибудь, только смерть мнѣ барышенъ моихъ надоѣло занимать.

— Хорошо,—говоритъ Василій Ивановичъ,—устроимъ. И точно, устроилъ: на другой же день афишу принесли. Барышни въ восторгѣ,—въ театръ отправились, а мы съ Катериной Алексѣевной Боброва провѣдать поѣхали.

Въ сѣняхъ у нихъ темно было, едва дверь нащупали. Входимъ, а мать его сидитъ у стола въ первой комнатѣ да плачетъ, плачетъ. Лизанька стоитъ возлѣ ея, руку свою къ ней на плечо положила, уговариваетъ ее, утѣшаетъ, а у самой по щекамъ слезы такъ и катятся, капля за каплей. Поднялась старушка къ намъ на встрѣчу, еле на ногахъ держится.

— Что,—спрашиваетъ у нея барышня,—каково ему?

— Плохо ему, милому, плохо,—отвѣчаетъ старушка;—вѣрно Господь не услышалъ мои молитвы; приготовить докторъ его посовѣтовалъ, ждемъ сейчасъ священника, отложить до утра боимся, врядъ-ли эту ночь переживетъ.

Выслушала Катерина Алексѣевна и молча къ нему въ комнату пошла. Старушка за ней идетъ.

— Не ходили бы вы лучше, матушка моя,—совѣтуетъ Катеринѣ Алексѣевнѣ.—Болѣзнь измѣнила его страшно, вамъ и не узнать его теперь.

А Копрова имъ вслѣдъ говоритъ:

— Ничего, пусть посмотритъ, полюбуется,—это, вѣдь, ея рукъ дѣло.

Отъ больного изъ комнаты вышла Катерина Алексѣевна какъ мертвецъ блѣдная. На Копрову и не взглянула, прошла мимо, да и та стоитъ, какъ столбъ, и не кланяется.

Пріѣзжаемъ домой, а Алексѣй Игнатьичъ насъ въ нижнемъ корридорѣ и встрѣтилъ.

— Гдѣ это ты была, Катя? въ театръ не поѣхала, больной сказалась, а сама рыщешь въ такую дурную погоду.—А Катерина Алексѣевна на это такъ и сказала прямо:

— Я у Боброва была, папа, онъ умираетъ.

Алексѣй Игнатьичъ схватилъ ее за руку, подвелъ къ свѣту и говоритъ:

— Я вѣрить не хочу, Катя, что у тебя съ Бобровымъ было что-нибудь? Если было, говори прямо, я не хочу быть подлецомъ передъ Валерьяномъ Николаевичемъ.

— Ничего у меня съ Бобровымъ не было, а просто мнѣ жаль его, сказала она;—и съ чего ты взялъ подозрѣвать меня? поди, выпей холодной воды и успокойся.—Выдернула у него руку, ушла къ себѣ въ комнату и заперлась. Постоялъ онъ тутъ, по корридору прошелся, въ дверь къ ней стукнулъ, не отворила, такъ и ушелъ къ себѣ въ кабинетъ.

На другой день, по утру, слышимъ—и точно Бобровъ кончился. Алексѣй Игнатьичъ даже на литіи былъ у него. Вечеромъ передъ чаемъ, какъ всѣ собрались въ столовой, подошелъ къ Катеринѣ Алексѣевнѣ и говоритъ ей:

— Ну, Катя, забудемъ всѣ непріятности и печали; сейчасъ нарочный пріѣхалъ съ письмомъ, завтра къ обѣду жди жениха, а послѣ завтра и обрученье сдѣлаемъ. Медлить нельзя, время не позволяетъ.

— Хорошо, папа,—отвѣтила она, подошла къ отцу и поцѣловала у него руку. Обхватилъ онъ ее рукой, увелъ въ залу и долго тамъ ходили и разговаривали.

Утромъ другого дня, пока всѣ спали, мы съ Варварой бѣгали на мертваго Боброва посмотрѣть. Какой онъ страшный сталъ: гораздо страшнѣе убитаго Казарина,—исхудалъ, глаза ввалились, лицо пошло пятнами темными, куда вся красота дѣвалась. Проснулась барышня, я ей и разсказываю, она молчитъ, только губки слегка покусываетъ. Плакала-ли она объ немъ, не знаю, я слезъ не видала. Стала ей разсказывать о томъ, какой хорошенькій Боброву гробъ дѣлаютъ, какъ его Лизанька Копрова сама украшаетъ, а Катерина Алексѣевна какъ закричитъ на меня:

— Да замолчи ты, дурища!—я такъ и онѣмѣла.

Въ тотъ же день женихъ нашъ пріѣхалъ и какіе-то баринъ и барыня съ нимъ. Остановились въ особой квартирѣ,—нарочно для нихъ приготовлена была, и только къ обѣду къ намъ пожаловали. Женихъ, конечно, радость свою изъявляетъ, руку у невѣсты цѣлуетъ; очень озаботился, что сильно въ лицѣ она похудѣла. Она усмѣхается, его успокоиваетъ, ничего-де, все пройдетъ. Весь вечеръ съ нимъ просидѣла, али по комнатамъ ходятъ, все разговариваютъ.

Пришла спать къ себѣ въ комнату и стала съ себя наряды срывать и бросать.

— Господи, говоритъ, какая мука! Ариша, расшнуруй меня скорѣе. И сколько еще дней придется эту муку терпѣть.

Расшнуровала я ее, раздѣла, улеглась въ постель и говоритъ мнѣ:

— Завтра, какъ встанешь, тотчасъ сбѣгай за Пахомовной и приведи ее ко мнѣ пораньше, пока всѣ спятъ. Да смотри, не проспи.

Какъ велѣла, я такъ и сдѣлала. Рапехонько утромъ Пахо

мовна ужъ у ней была, и весь день она у ней за ширмами возлѣ кровати просидѣла; я ей туда и обѣдать приносила. А барышня, какъ изъ комнаты выйдетъ, такъ и дверь на ключъ запретъ, будто сторожится, чтобъ не покрали что изъ комода изъ дорогихъ вещей. И точно, что бабъ въ кухнѣ, помогающихъ, много набралось, и беречься не мѣшало.

Утромъ въ этотъ день Боброва похоронили,—а у насъ приготовленія къ балу шли. Съ обѣда съ самаго барышни одѣваться стали, прически устраивать, пукли припекать, локоны завивать. Около десятка ихъ гостило у насъ, всѣмъ надо было помочь одѣться, а кому еще и платья погладить. Обѣ съ Варварой мы надъ ними хлопотали, а потомъ приспѣло время невѣсту одѣвать. Барышни, было, къ ней въ комнату набрались, да она ихъ выпроводила вонъ, съ одной Варварой одѣвалась. Она ей и голову убрарала, и подбѣлила, и подрумянила; большая она на это искусница была.

Долго она одѣвалась, ужъ всѣ гости собрались, музыканты и пѣвчіе пріѣхали, священникъ съ дьякономъ, наконецъ и женихъ со своими поѣзжанами явился, во фракѣ и при орденѣ,—а невѣста все не выходитъ. Тетенька два раза стучалась къ ней, барышни около двери шмыгаютъ, перешептываются: недовольны, что невѣста ихъ изъ комнаты выгнала. Наконецъ отворилась дверь, и вышла невѣста совсѣмъ ужъ одѣтая. Барышни тотчасъ ее обступили, платье ея хвалятъ, прическу, а пуще всего ее самоё

— Интересная, говорятъ, ты какая сегодня, глаза горятъ и румянецъ въ лицѣ играетъ. Красавица ты!

Благословилъ ее Алексѣй Игнатьичъ иконой и тетенька съ нимъ замѣсто матери благословляла. И повелъ ее за руку въ залу къ жениху и гостямъ. Какъ только помолились Богу, тотчасъ шампанское подали и пѣвчіе концертъ загремѣли. Послѣ того музыка началась; спервоначалу всѣ попарно, и старики и молодые, по всѣмъ комнатамъ прохаживались, а потомъ ужъ одна молодежь танцовать стала, а пожилыя барыни въ гостиной усѣлись и десертомъ занялись. Стояла я, стояла въ передней, заглядѣлась на танцы да и вспомнила, что надо идти постели приготовить. Ключъ отъ барышниной комнаты у меня въ карманѣ былъ. Вошла къ ней, а Пахомовна лежитъ на диванчикѣ, свою шубенку въ головы подложила да похрапываетъ. Удивилась я, думала, она ужъ давно ушла, а она все тутъ.

Проснулась, нивца попросила:—такъ-бы, говоритъ, я домой и ушла, да боюсь, барышня ночевать велѣла.

Приготовила я постель да и сѣла за ширмы въ креслицѣ, —такое тамъ низенькое стояло, на которомъ барышня всегда раздѣвалась,—и какъ только сѣла, такъ и задремала. Очень ужъ я

въ тотъ день притомилась, хоть и молода была, и прытка, а все-жъ устала. И не только задремала, а, надо быть, что и соснула порядочно. И слышу я сквозь сонъ,—какъ будто, кто-то стонетъ, будто бѣгаетъ кто-то, суетится, хлопочетъ о чемъ-то, кто-то тихонько говоритъ. Слышу все, а очнуться не могу. Однако-жъ очнулась, выглянула изъ-за ширмъ да такъ и обмерла на мѣстѣ.

Стоитъ Катерина Алексѣевна у комода, обѣими руками за него держится, а на полу у ея ногъ крохотный ребеночекъ лежитъ.

Пахомовна по комнатѣ мечется, губы и руки трясутся; то схватитъ и броситъ, другое схватитъ и броситъ; перепугалась, не знаетъ, что и дѣлать. Видно, не ждала она такого случая. Только причитаетъ шепотомъ:

— Что мы дѣлать-то будемъ, матушка ты моя?—погибли мы, погубили свои головы!

— Полно причитать, старуха, убрать эго надо скорѣе,—говоритъ ей Катерина Алексѣевна, а у самой въ лицѣ мука страшная.

— Да куда убрать-то, куда? научи ты меня, глупую?

— Куда хочешь убери,—домой унеси, въ рѣку брось, въ землю зарой, только убери сегодня же ночью. Денегъ тебѣ надо, бери, я тебѣ показала, гдѣ онѣ лежатъ. Только убирай скорѣе.

Наклонилась Пахомовна къ ребеночку да и шепчетъ въ ужасѣ:

— Господи, да онъ, вѣдь, живъ! хоть и недоносокъ онъ, а водиться съ нимъ, такъ онъ бы ожилъ; дыханье въ немъ есть. Воля твоя, Катерина Алексѣевна,—я душу губить не согласна.

Поглядѣла на нее Катерина Алексѣевна такъ-то-ли мрачно, только на одинъ шагъ подвинулась и наступила ребенку ногой на горлышко. Я, гдѣ стояла, такъ на томъ мѣстѣ и присѣла, ноги подо мной со страху подогнулися. Опомнилась немного и подлѣзла подъ кровать тихонечко. Лежу тамъ, боюсь и выглянуть. Что онѣ дѣлали, какъ Пахомовна барышню оправляла, ничего не видала я, слышала только, что въ дверь къ ней то та, то другая подружка стучатся, и кверху зовутъ; что женихъ объ ней соскучился, сказываютъ ей, и папенька ее требуетъ, а она имъ крикнетъ:

— Сейчасъ приду,—а сама не выходитъ.

Долго мнѣ это время показалось, страсть долго, а на самомъ-то дѣлѣ время немного прошло.

Тетенька, наконецъ, звать пришла:

— Катя, иди скорѣе,—и папа, и Валерьянъ Николаевичъ безпокоятся, да и ужинъ сейчасъ подавать будутъ.—Тогда слышу, зашуршало платье на ней и двери хлопнули,—ушла, значитъ. Вылѣзла я изъ-подъ кровати, къ Пахомовнѣ бросилась:

— Что мы дѣлать-то будемъ, бабушка,—вѣдь, засудятъ насъ?!

— А ты, дурья голова, молчи,—матери родной слова пикнуть не смѣй, не то-ли что кому другому. Помоги мнѣ прибраться, воды неси.—Принесла я воды, помогаю, а у самой и руки, и ноги дрожатъ, и зубъ на зубъ не попадаетъ. Прибрались,—одѣлась Пахомовна въ свою шубейку, взяла сверточекъ маленькой, въ старомъ платьѣ завернутой, подъ полу, да и давай Богъ ноги. И я слѣдомъ за ней выскочила и комнату запереть забыла. Какъ этотъ вечеръ кончился, плохо я помню. Помню только, что какъ балъ кончился, такъ женихъ невѣсту до дверей ея комнаты провожалъ и барышни всѣ около нихъ шли. Варвару я послала ее раздѣвать, а сама и глядѣть на нее боялась. И на другой день, весь день, меня лихорадка трясла; нѣтъ, нѣтъ да такъ вся и задрожу. Барышни даже замѣтили, думали, что простудилась я, али отъ усталости это со мной. Конфетъ мнѣ надавали, яблоковъ, печенья, а я и ѣсть не могу. Кое-какъ этотъ день скоротала; Катерина Алексѣевна его весь въ постели пролежала, встала ужъ вечеромъ, какъ къ вѣнцу одѣваться. Папенька къ ней два раза въ комнату заходилъ провѣдать. Успокоивала его все, увѣряла, что къ вечеру поправится.

И точно, оправилась. Бодрая такая встала, одѣвалась въ нижней залѣ при всѣхъ барышняхъ, и при всѣхъ подбѣлилась и подрумянилась.—Это, говоритъ, для вечерняго освѣщенія необходимо нужно.—Послѣ ужъ, много спустя, Пахомовна мнѣ сказывала, что когда ее Варвара одѣвала къ обрученью, такъ покаялась ей, что письмо это она подложила, а дала ей письмо Лиза Копрова. Очень прощенья просила, впередъ вѣрой и правдой служить обѣщалась и въ городъ просила съ собой взять. И точно, ее Катерина Алексѣевна простила и въ городъ съ собой взяла.

X.

Пышная свадьба у насъ была, такой раньше ни у кого не бывало. Иллюминацію зажигали и у церкви, и у дому, и вензель въ окнѣ былъ выставленъ. Какъ къ вѣнцу ѣхали, немного дождикъ шелъ, а потомъ разгулялась погода. Люди говорили, что къ добру это.

Послѣ вѣнчанья танцевъ не было, а только ужинъ богатый да пѣвчіе пѣли въ перемежку съ музыкой весь вечеръ. Барышни только поздравили новобрачныхъ, шампанскаго выпили и тотчасъ всѣ разъѣхались,—кто домой, кто въ гости къ знакомымъ. Ужинъ рано подали, утромъ назначено было пораньше въ городъ отправляться, чтобъ засвѣтло черезъ рѣки переправиться, и къ вечеру въ городѣ быть. Что лошадей было заготовлено по дорогѣ,

что народу согнано къ перевозамъ,—по рѣкамъ ужъ, сказываютъ, ледъ шелъ.

Тетенька съ Варварой всю ночь укладывались, и я помогала. Къ утру только кончили и рады были до постелей добраться. Только уснули и опять вставать надо. Еще не проснулась я, какъ слѣдуетъ,—слышу, казачекъ бѣжитъ сверху, воды умываться велитъ нести къ молодымъ въ комнату. Варвара заспалась, и пришлось мнѣ съ кувшиномъ кверху бѣжать. Вхожу, а Катерина Алексѣевна сидитъ въ креслѣ и что-то изъ стклянки нюхаетъ. Валерьянъ Николаичъ въ бархатномъ халатѣ около ея суетится, хлопочетъ, платокъ въ водѣ намочилъ, ей на лобъ положилъ. Она его за руку взяла и посылаетъ въ залу:—поди, говоритъ, успокой папу, а я сейчасъ одѣваться буду.—Варвара пришла, меня и выслали изъ комнаты. Вышла я, а въ залѣ ужъ столъ накрытъ, самоваръ поданъ и поваръ пришелъ спросить, не пора ли кушанье подавать,—и Алексѣй Игнатьичъ, совсѣмъ одѣтый, всѣмъ самъ распоряжается. Вышелъ Валерьянъ Николаевичъ изъ спальни, обхватилъ его рукой и повелъ въ кабинетъ, а самъ въ тревогѣ такой разсказываетъ, что Катерина Алексѣевна всю ночь не спала, очень ей не здоровилось; только приляжетъ на постель, тотчасъ дурно сдѣлается, такъ и просидѣла все время на креслѣ И Алексѣй Игнатьичъ омрачился, ходятъ по кабинету, оба встревоженные. Тѣмъ временемъ молодая живо одѣлась по-дорожному и идетъ къ нимъ.

Алексѣй Игнатьичъ къ ней навстрѣчу:

— Что ты, Катя? что съ тобой?

— Ничего, папа, отвѣчаетъ она,—теперь мнѣ лучше, а поѣдемъ, такъ на воздухѣ и совсѣмъ моя дурнота пройдетъ. Это отъ того со мной сдѣлалось, что вчера я постилась весь день, а послѣ вѣнца много шампанскаго выпила: оно же всегда на меня дурно дѣйствуетъ. Однако, чтожъ ты меня не поцѣлуешь, папа? али мужъ на меня пожаловался?—А сама смѣется и смотритъ на Валерьяна Николаевича.

— Какъ-же на тебя не жаловаться, говоритъ ей Алексѣй Игнатьичъ,—развѣ прилично новобрачной хворать? смотри, какъ ты своего мужа измучила.

Катерина Алексѣевна выпустила отцовы руки, подошла къ мужу и взяла его обѣими руками за щеки.

— Стыдно, стыдно хмуриться на больную жену; иди, одѣвайся скорѣе, ужъ завтракъ поданъ, а ты въ халатѣ.—Поцѣловала его въ губы и проводила до дверей. Потомъ подошла къ столу и открываетъ ящикъ, гдѣ у Алексѣя Игнатьевича пистолеты лежали.

— Не трогай, Катя, кричитъ онъ ей,—пистолеты, вѣдь, заряжены!

— Заряжены? ну, вотъ это хорошо; ты одинъ дай мнѣ съ собой на дорогу, а то я бояться буду, если съ нами никакой обороны не будетъ.—Взяла одинъ и кладетъ его въ особый такой маленькой ящичекъ.

— Вамъ бояться нечего, говоритъ ей Алексѣй Игнатьичъ, — на васъ никто не нападетъ. Ты, вѣдь, съ нимъ обращаться не умѣешь, отдай, по крайней мѣрѣ, его мужу, а то еще поранишь себя какъ-нибудь.

— А онъ его и въ руки-то взять боится, засмѣялась Катерина Алексѣевна;—я и не скажу ему, что съ нами пистолетъ есть, а то еще бояться будетъ, какъ бы онъ не выстрѣлилъ.—Обернула ящичекъ платкомъ и унесла къ себѣ въ комнату.

Какъ только отзавтракали, тотчасъ прощаться стали. Алексѣя Игнатьича и тетеньку къ себѣ зовутъ. Обѣщанье далъ онъ, что завтра же выѣдетъ, а тетеньку съ Варварой и поваромъ слѣдомъ за ними отправитъ. Валерьяну Николаевичу очень нашъ поваръ понравился и выпросилъ онъ его къ себѣ на недѣлю.

Проводили молодыхъ, а на другой день и Алексѣй Игнатьичъ слѣдомъ за ними укатилъ. Прогостили въ городѣ всего двое сутокъ, дольше оставаться—распутицы забоялись, и вернулись домой веселые и съ подарками. Тетенькѣ зять матеріи на платье подарилъ, а Алексѣю Игнатьевичу золотые часы съ репетиціей. Ну, да и стоило: тетенька сказывала, что онъ за Катериной Алексѣевной двадцать тысячъ денегъ далъ, окромѣ приданаго. Конечно, можно было почитать и уважать такого тестя.

Меня наградили и отпустили домой. Все-жъ таки я къ нимъ въ домъ ходила и про Катерину Алексѣевну вѣсти доходили до меня. Слыхать было, что хорошо жила она съ мужемъ, уважалъ онъ ее и слушался. Въ одномъ только ей Богъ счастія не далъ, дѣтей у нея не было. Ни одного живого ребенка не родила она, все выкидывала. Знать, Богъ ее наказывалъ за старый грѣхъ. Слышала я потомъ, ужъ черезъ много лѣтъ, отъ Варвары, что сперва жизнь у ней съ мужемъ сильно не ладилась, что долго она у себя въ комодѣ пистолетъ заряженный держала и все мужа стращала, что застрѣлится, если онъ хоть слово какое-нибудь скажетъ ея отцу.

— Ты самъ наказывай меня, какъ хочешь, будто-бы говорила она мужу,—а отцу не говори ни слова, онъ ни въ чемъ не виноватъ.—Такъ Алексѣй Игнатьичъ и не узналъ исторію эту. Да и никто не узналъ; я то говорить боялась, матери даже не сказывала долго, а съ Пахомовной когда-то заговорила, такъ она отперлась даже отъ всего.

— Не мели пустяковъ, сказала мнѣ,—во снѣ это все тебѣ приснилося, и лучше про такіе сны ничего не разсказывать. Вотъ какъ.

Меня мать той же зимой замужъ выдала, да не долго я съ мужемъ ножила, всего два года,—и овдовѣла. Съ той поры довелось мнѣ мыкаться по чужимъ людямъ въ прислугахъ. Живала и горничной, и кухаркой, и прачкой, а больше всего жила няней. Во всѣхъ должностяхъ переслужила, и насмотрѣлась на своемъ вѣку всякихъ людей. Въ мірѣ, какъ въ морѣ,—всего много: и добра, и зла.

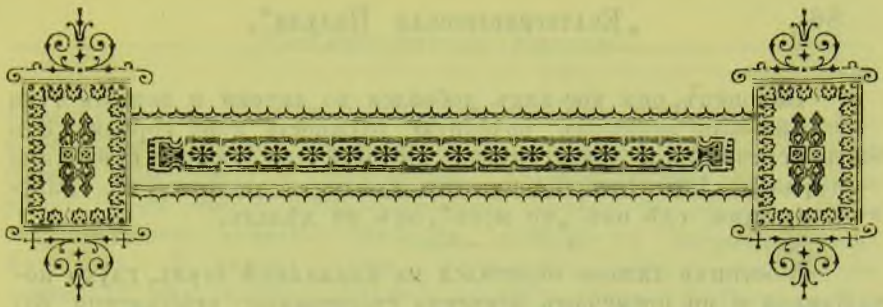
* * *

Тепло и уютно въ каморкѣ моей,
Ты снова со мной, дорогая...
Звучитъ твоя рѣчь все нѣжнѣй и нѣжнѣй,
Отъ страстной любви замирая.
Забыта размолвка, намъ кажется сномъ
Минувшее время невзгоды;
Мы счастливы снова... А тамъ, за окномъ,
Тамъ шумный разгулъ непогоды!

Мы счастливы! Да, мы смѣяться не прочь,
Мы все позабыть ужъ готовы...
А сколько людей лишены въ эту ночь
Тепла и надежнаго крова?!
А сколько обиженныхъ злою судьбой
Безумныя шепчутъ проклятья?...
О, милая! Мы веселимся съ тобой,
Когда, можетъ быть, гибнутъ братья!

Но нѣтъ! заглушимъ этотъ праздный нашъ смѣхъ,
Прогонимъ рой грезъ легкокрылыхъ,
Помолимся Богу, родная, за всѣхъ
Больныхъ, угнетенныхъ, унылыхъ...
За всѣхъ, кто не знаетъ родного угла,
Чья жизнь вѣчный стонъ и тревога...
Нѣтъ милостямъ Божьимъ границъ и числа,
И все здѣсь во власти у Бога!

Авгуръ.



НАДСАДИЛСЯ.

Очеркъ съ натуры

Октава Мирбо (Mirebeau).

Перевелъ съ нѣмецкаго (изъ Arbeiterstimme)

Валерій Идельсонъ.

Шелъ снѣгъ; было холодно, очень холодно. Для обладателей шубъ и теплыхъ пальто это обстоятельство, пожалуй, было довольно безразлично и, можетъ статься, даже не лишено извѣстной пріятности. Но такихъ счастливцевъ въ маленькомъ французскомъ городкѣ N* обрѣталось немного. Большинство обывателей спѣшило по возможности скорѣе забраться домой и расположиться поудобнѣе передъ весело пылающимъ каминомъ, или около теплой печки.

На опустѣвшей главной улицѣ городка вскорѣ остался только одинъ прохожій. Это былъ человѣкъ лѣтъ подъ пятьдесятъ, одѣтый въ затасканную и заплатанную холщевую работницкую блузу —сгорбленный, блѣдный, какъ смерть, человѣкъ, едва волочившій ноги и останавливавшійся на каждомъ шагу, чтобы перевести духъ и отдохнуть. Несмотря на то, что его, болѣе чѣмъ скудная, одежонка представляла крайне плохую защиту отъ суроваго мороза, по его осунувшемуся и измученному лицу то и дѣло скатывались крупныя капли пота.

Наконецъ, онъ кое-какъ добрался до аптеки и вошелъ туда Аптекарь занималъ почетную должность мэра городка. Это былъ отличнѣйшій гражданинъ, который—по общему признанію—старался дѣлать добро „повсюду, гдѣ онъ только могъ“. Разумѣется, тамъ, гдѣ онъ „не могъ“, онъ не дѣлалъ.

Работникъ тяжело опустился на ближайшій стулъ, глухо покашливая и по временамъ испуская сдержанные, отрывистые, болѣзненные стоны. Черты его лица были искажены невыразимымъ страданіемъ.

— Что вамъ угодно, любезный?—обратился къ нему ласково аптекарь.

— Ахъ, г. мэръ—отозвался работникъ—я надсадилъ себѣ спину... Ужасъ какая боль—моченьки нѣтъ...

Онъ говорилъ, очевидно, съ трудомъ. Его слабый голосъ обрывался на каждомъ словѣ.

Мэръ изъявилъ желаніе ознакомиться обстоятельно съ подробностями дѣла.

— Видите-ли, г. мэръ,—заговорилъ больной:—я, по ремеслу, каретникъ... Работаю у разныхъ хозяевъ, то тамъ, то тутъ—гдѣ, значитъ, работишка перепадетъ... Эти четыре послѣднихъ мѣсяца работалъ я у каретныхъ дѣлъ мастера Блондо,—вы, конечно, хорошо его знаете, г. мэръ... Ну-съ, работалъ я у него за квартиру и харчи, и, кромѣ того, давалъ онъ мнѣ по 50 сантимовъ въ сутки наличными... Маловато это, конечно, при работѣ по 14 часовъ въ день; да и квартира плохая, а харчи и того хуже—но, какъ никакъ, все-таки лучше, чѣмъ ничего... Особливо теперь, когда работишку такъ трудно раздобывать нашему брату-каретнику... Такъ вотъ, вчера велѣлъ мнѣ хозяинъ, значитъ, насадить на телѣжное колесо тяжелый-претяжелый желѣзный ободъ...

Работникъ вдругъ остановился и съ короткимъ стономъ схватился за грудь. У него появился пароксизмъ судорожнаго кашля, заставившій его поднести край блузы ко рту. На блузѣ вскорѣ образовалось алое пятно.

— Ну-съ—заговорилъ онъ снова, освободившись отъ кашля,—набивать-то ободъ пришлось, конечно, на дворѣ, а у насъ тамъ страсть какъ скользко—такая гололедица, что не приведи Богъ... И вотъ, только что я началъ орудовать молотомъ, вдругъ—и самъ не знаю, какъ это случилось—поскользнулся я на этомъ самомъ льду, колесо падаетъ на меня, я шлепаюсь назадъ и попадаю поясницей какъ разъ на бревно... Угораздило же его на землѣ, тутъ же, валяться... Пробую встать—не могу... Увидала меня г-жа Блондо—наша хозяйка, значитъ,—помогла кое-какъ подняться и добраться до моей каморки на чердачкѣ... Здорово расшибся...

Вотъ тутъ эта дьявольская боль сидитъ—спины просто не разогнешь... А къ вечеру въ жаръ бросило—лежу и какъ головешка горю... Приходитъ ко мнѣ хозяинъ. „Ну—говоритъ—какъ твои дѣла? Лучше тебѣ?"—Какое—говорю—лучше! Въ сто разъ хуже стало!—Нечего сказать, отличную исторію ты устроилъ!—ворчитъ онъ.—Я, кажись, сломалъ себѣ ребро...—Этого бы еще не доставало, неуклюжій ты болванъ этакій,—кричитъ.—Господи, Боже мой!—говорю ему:—не по моей же винѣ это случилось.—А онъ еще пуще разорался:—Никакого мнѣ дѣла нѣтъ до этого! Во всякомъ разѣ, даромъ держать и кормить тебя не стану! Завтра же выбирайся изъ моего дома!—Да, какъ же такъ,—спрашиваю,—куда же я пойду? куда я дѣнусь? вѣдь, я и ходить то не могу...—Ну, ужъ это твое дѣло, меня оно не касается.—Сказалъ и ушелъ. Думалъ я—до утра онъ передумаетъ и гнѣвъ на милость переложитъ. Не тутъ-то было—ужъ другого работника на мое мѣсто взялъ, а мнѣ прямо велѣлъ сейчасъ убираться... Такъ вотъ, г. мэръ, я и пришелъ къ вамъ попросить совѣта, какъ тутъ быть.

Мэръ выслушалъ это повѣствованіе не только терпѣливо, но даже внимательно.

— Препростѣйшая исторія, любезнѣйшій! препростѣйшая!—заговорилъ онъ ободрительнымъ, почти веселымъ тономъ;—вѣдь, вы получили поврежденія при отправленіи обязанностей, возложенныхъ на васъ вашимъ хозяиномъ,—не правда-ли, милѣйшій? Такъ-съ? Превосходно. Въ такомъ случаѣ, хозяинъ обязанъ выдать вамъ вознагражденіе за увѣчье и, сверхъ того, уплатить всѣ издержки, навлекаемыя лѣченіемъ вашего заболѣванія. Вотъ и все. Таково предписаніе и требованіе закона,—понимаете,—за-ко-на!—добавилъ аптекарь съ чувствомъ, толкомъ и разстановкою, приподнимая кверху правый указательный перстъ.

— Такъ-то такъ, г. мэръ—отозвался работникъ,—но хозяинъ не хочетъ дать мнѣ ни гроша.

— Не хочетъ?—повторилъ мэръ съ полупрезрительною ноткою въ голосѣ.—Хозяинъ не хочетъ!? Какъ будто, кто-нибудь станетъ спрашивать его,—угодно-ли ему удовлетворить требованіямъ закона или нѣтъ! Онъ долженъ, милѣйшій! Понимаете-ли, *долженъ!* Слушайте теперь, что я вамъ скажу. Отправляйтесь-ка сейчасъ же къ нашему общинному врачу и попросите его изготовить вамъ свидѣтельство о болѣзни. Поняли? Послѣ этого, съ этимъ документикомъ въ рукахъ, мы предложимъ m-r Блондо мировую сдѣлку—покончить все миромъ и добромъ. Естественнымъ образомъ, онъ не пойдетъ на это. Посему, черезъ восемь дней по полученіи его отказа, мы пригласимъ m-r Блондо къ судебному разбирательству, которое, всеконечно, можетъ кончиться для него только однимъ путемъ—присужденіемъ отвѣтчика къ уплатѣ закон-

наго вознагражденія истцу. Разумѣется, m-r Блондо обратится затѣмъ къ гражданскому суду, но вы выиграете и этотъ процессъ, почтеннѣйшій,—въ этомъ не можетъ быть ни малѣйшаго сомнѣнія. Вѣдь, для этого именно и существуетъ на свѣтѣ законъ: правосудіе не дозволитъ никому посягнуть на ваше неотъемлемое право. Правда, дѣло, пожалуй, можетъ нѣсколько затянуться, но, въ концѣ концевъ, вы восторжествуете.

— Благодарю васъ, г. мэръ,—печально пробормоталъ работникъ;—но... но что-же мнѣ дѣлать теперь, въ теченіе всего этого времени?... Куда мнѣ дѣться?.. У меня нѣтъ ни гроша, ни на ѣду, ни на ночлегъ... Вѣдь, мнѣ придется, значитъ, ночевать сегодня на улицѣ или въ полѣ... Въ этотъ холодъ... Съ этою чертовскою болью и тутъ, и тамъ... Лучше ужъ прямо наложить на себя руки!

Онъ закусилъ себѣ задрожавшія губы и провелъ рукою по глазамъ.

— Г. мэръ!—прибавилъ онъ затѣмъ умоляющимъ голосомъ, —прикажите принять меня въ больницу...

— Къ сожалѣнію, любезнѣйшій, это абсолютно невозможно!—заявилъ мэръ, пожимая плечами.—Вы, вѣдь, гражданинъ изъ другой общины, и, на придачу, еще не имѣете 60 лѣтъ отъ роду, а въ нашу больницу принимаются лишь граждане нашей общины, и изъ пришлыхъ—только лица не моложе 60 лѣтъ. Таковы условія, поставленныя человѣколюбивымъ жертвователемъ, на средства котораго, отказанныя по духовному завѣщанію, была устроена, и теперь содержится, наша больница. Какъ вы сами хорошо понимаете,—мы не имѣемъ никакого права нарушать эти условія благотворителя—мы нравственно обязаны уважать его волю.

Работникъ низко понурилъ голову и уставился глазами въ полъ комнаты.

— Это очень печально, г. мэръ—простоналъ онъ тихо,—всякой собакѣ лучше живется на свѣтѣ, чѣмъ нашему брату...

Разговоръ временно прервался: пришла какая-то дама за флакономъ „Violettes de Parme“, а за нею—тучный Curé за порціей касторового масла.

Рабочій все сидѣлъ, не отрывая глазъ отъ паркетнаго пола и, видимо, не обращая ни малѣйшаго вниманія на происходившее вокругъ него. Къ рѣжущимъ и колющимъ боллмъ въ поясницѣ и груди, и жгучему жару во всемъ тѣлѣ, теперь прибавилось у него ошеломляющее чувство безъисходной безпомощности, сознаніе безпросвѣтной отчаянности его положенія. На улицѣ валилъ густыми хлопьями все усиливавшійся снѣгъ, а студеный вѣтеръ все энергичнѣе разметывалъ сугробы.

Проводивъ посѣтителей до дверей и оставшись снова tête-à-tête

съ работникомъ, аптекарь-мэръ почувствовалъ необходимость сказать ему пару дѣльныхъ и наставительныхъ словъ.

— Разумѣется, любезнѣйшій,—произнесъ онъ, дружески дотрогиваясь до его плеча,—все это очень печально для васъ; вашему положенію никто не можетъ позавидовать, но—и въ голосѣ мэра послышался мягкій упрекъ—но зачѣмъ-же вы ничего не откладывали на черный денекъ? Зачѣмъ вы расходовали всегда весь свой заработокъ вмѣсто того, чтобы уэкономливать тамъ или тутъ маленькія сбереженьица?

Работникъ быстро поднялъ голову.

— О, г. мэръ!—сказалъ онъ съ изумленіемъ—вѣдь, весь мой суточный заработокъ наличными былъ не болѣе 50 сантимовъ! И потомъ—вѣдь, бывали у меня такія времена, когда нельзя было пріискать никакой работишки, хоть лопни!

— Да, да, возможно, что сберегать было не особенно легко... Но, не правда-ли,—если-бы время отъ времени вы воздерживались отъ лишняго стаканчика вина или водки и откладывали эту сумму въ копилку, то вы не очутились-бы теперь въ такомъ печальномъ положеніи и имѣли-бы возможность защитить себя отъ голода и холода?

— Отъ лишняго стаканчика вина? Ахъ, г. мэръ, повѣрьте —куда какъ мало этихъ лишнихъ стаканчиковъ у нашего брата-рабочаго! И если мы вообще пьемъ вино или водку, то это большею частью потому, что у насъ нечѣмъ набить желудокъ—не на что купить достаточно хлѣба,—про меня нечего и толковать... Да и то сказать: выпьешь стаканчикъ, согрѣешься малость, и пріободришься немного—легче станетъ на душѣ...

Онъ внезапно остановился, словно опомнившись.

— Однако, г. мэръ,—пробормоталъ онъ снова упавшимъ, глухимъ голосомъ,—что-же теперь со мною будетъ?...

Мэръ молчалъ, смотря куда-то въ сторону.

— Значитъ, такъ-таки и издыхать на улицѣ, какъ какой-нибудь скотинѣ?

Мэръ, молча-же, развелъ руками и пожалъ плечами, а затѣмъ направился къ стойкѣ.

— Въ такомъ случаѣ, простите, г. мэръ, за безпокойство!— хрипло прошептэлъ больной каретникъ, съ усиліемъ отдѣляясь отъ стула, и вышелъ, пошатываясь, на улицу, гдѣ его скоро скрыла отъ глазъ мэра разбушевавшаяся метель.

* * *

На жизнь съ тревогой не гляди:
Въ ней, какъ и въ истинѣ, все ясно;
Ни дней ненастныхъ впереди,
Ни вѣчныхъ зорь не жди напрасно.
Не шли упрековъ „злой судьбѣ“,
Кляня суровое ненастье,—
Ты самъ—„Судьба“,—въ самомъ тебѣ
Твое и счастье, и несчастье...
Коль факелъ правды засвѣтя,
Ты будешь чистымъ, какъ дитя,—
Тебя не тронутъ жизни грозы...
Но если ты посѣешь ложь,—
На нивѣ жизни ты пожнешь
Плоды той лжи—тоску и слезы...

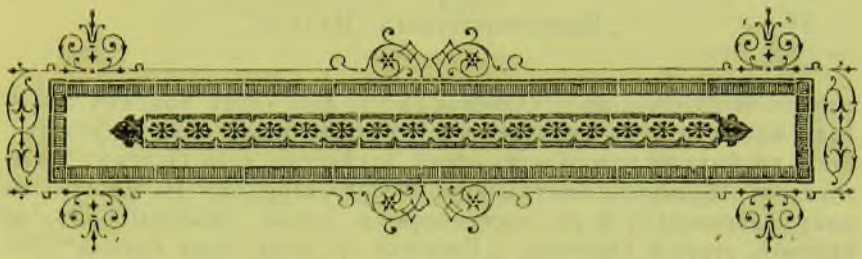
Ф. Филимоновъ.

---

* * *

Идемъ куда-то мы, томимы жаждой счастья..
И близко ужъ оно... вдругъ загрохочетъ громъ,
И среди мглы, средь бури и ненастья,
Дорогу потерявъ, мы молимъ объ одномъ,—
О томъ, чтобъ громъ умолкъ надъ нашей головою,—
И шлемъ мольбы суровымъ небесамъ...
И рады мы тогда мгновенному покою,
И тотъ покой замѣнитъ счастье намъ.
Замѣнитъ, да. Но вновь душа проснется
И мы поймемъ, открывъ свои глаза,
Что мы идемъ туда, куда гроза несется,
Куда несутъ насъ жизни паруса;
Что жалки наши сны, порывы и мечтанья,
Что не свершить намъ въ жизни ничего...
А въ мірѣ нѣтъ страшнѣй, ужаснѣе сознанья,
Сознанія безсилья своего...

Ф. Филимоновъ.



Старый огневщикъ.

(Эскизъ).

А. Г. Туркина.

Онисимъ задумчиво сидѣлъ у порога лѣсной избушки. У ногъ старика, въ травѣ, копошился его девятилѣтній внукъ Митька. Былъ чудный майскій вечеръ. Кто живетъ въ городахъ, тотъ не имѣетъ ни малѣйшаго понятія о такихъ вечерахъ въ лѣсу, въ глухихъ, далекихъ мѣстечкахъ Урала. О, какіе это вечера! Смолистый воздухъ нѣжитъ и ласкаетъ грудь. Старыя, вѣковыя сосны не шелохнутся и послѣдній лучъ заходящаго свѣтила покрываетъ ихъ мягкимъ, золотистымъ цвѣтомъ. Безконечно-синее небо раскинулось надъ этой массой хвойнаго лѣса. Вонъ, вдали виднѣются чистые контуры пирамидальныхъ горъ, вершины которыхъ точно плаваютъ въ бездонной синевѣ неба... А сколько жизни, сколько звуковъ несется со всѣхъ сторонъ, начиная съ рѣзкаго, непріятнаго крика чернаго дятла и кончая нѣжнымъ, похожимъ на голубиное, воркованіемъ тетеревовъ. Чудная жизнь! И весь этотъ громадный сказочный лѣсъ, съ кипящею внутри его безконечно разнообразною жизнью, вызванною весенними ласками, представляетъ такое упоительное, умиротворяющее цѣлое, что долго, долго, даже проживши десятки лѣтъ, не забудешь дорогихъ и отрадныхъ минутъ, проведенныхъ въ такомъ лѣсу...

Подслѣповатые глаза стараго Онисима съ любовью скользили по деревьямъ. Каждое деревцо, каждый кустикъ старикъ оглядывалъ ревнивымъ, оберегающимъ взоромъ, точно кто собирался по-

хитить его сокровище. Онисимъ нѣсколько лѣтъ подрядъ оберегалъ одинъ и тотъ-же участокъ и счастье везло ему: въ его участкѣ не бывало напольныхъ огней, вслѣдствіе чего Онисимъ пользовался репутаціей бдительнаго лѣсного сторожа. Начальство къ нему благоволило и съ наступленіемъ весны отводило ему, по просьбѣ, старый участокъ. „Избушка у меня тамъ годная“...— оправдывался Онисимъ передъ начальствомъ, когда оно спрашивало его, отчего, дескать, не желаешь взять для охраны какой нибудь другой участокъ. На самомъ дѣлѣ старика влекла къ старому мѣсту не избушка, а безсознательная, нѣжная любовь къ своему другу-бору, съ которымъ онъ подружился какъ съ человѣкомъ. Здѣсь у старика были свои любимцы и свои недруги. „Ишь ты, матушка“...— говорилъ, обыкновенно, старикъ, обходя участокъ и останавливаясь передъ исполинской сосной—„впередъ подаешься... ну, рости, рости, голубушка“...— И старый огневщикъ, нѣжно потрепавъ по корѣ своей любимицы, отправлялся дальше. „И куда ты лѣзешь, каряга этакая... право, каряга... и какъ это ты попала не въ свое мѣсто... согрѣшилъ я съ тобой“...— Эти слова относились къ черемухѣ. Бѣдная черемуха, дѣйствительно, попала не въ свою тарелку... Здѣсь было хвойное царство, а она, пышная, дѣвственно-нѣжная, въ своемъ бѣломъ, какъ у невѣсты, нарядѣ, распуская вокругъ себя удушливый ароматъ, напрасно силилась пробиться на встрѣчу солнечнымъ лучамъ, окутанная со всѣхъ сторонъ непроницаемой массой сплотившихся хвойныхъ вѣтвей. . И Онисимъ всей душей скорбѣлъ за бѣдное дерево. Старый, наивный Онисимъ! Ему и въ голову никогда не приходило, что пройдутъ еще, быть можетъ, десятки лѣтъ и всегубящая рука человѣка сдѣлаетъ свое дѣло: застонутъ и задрожатъ подъ топоромъ вѣковыя сосны, жалобно заскрипитъ молоденькая стройная ель, рухнетъ душистая черемуха и дивный непочатый уголокъ, гдѣ природа для очерствѣлаго въ будничной жизни человѣка, какъ въ тайникѣ, сберегла столько поэзіи, столько волнующейся, копошащейся жизни—погибнетъ навсегда!... О, безжалостный, жалкій въ своемъ варварствѣ, человѣкъ!... . . . . .

. . . . . .

— Дѣдушка, дѣдушка!—кричалъ Митька—птички-то какъ поютъ...

— Ну, и пусть поютъ.

— А зачѣмъ они поютъ, дѣдушка?—не унимался Митька.

— Господа-Бога славятъ, миленькій—отвѣчалъ старикъ.

— Дѣдушка!—опять звенитъ голосъ мальчика.—Вонъ сосна-то какая большая...

— Старая она... я давно ее помню... Яшкина могилка подъ ней...

— Какого Яшки, дѣдушка?

— А конокрадъ былъ... повѣсили его, да подъ этой сосной и схоронили. Охъ, грѣховное дѣло было!...

Митька въ нѣсколько прыжковъ очутился около старика, сѣлъ рядомъ и, широко раскрывъ свои голубые глазенки, умоляюще прошепталъ:

— Разскажи, дѣдушка!

— Ну, теперь не радъ, что и сказалъ табѣ, баловень... бояться станешь.

— Нѣтъ, дѣдушка, ей-Богу нѣтъ!... горячо увѣряетъ Митька.

— Ну, ладно... чуръ не бояться только...—Старикъ помолчалъ немного и началъ:

— Давненько это было... я тогда тоже здѣсь былъ огневщикомъ и только што пришелъ въ избушку... Этакъ же вотъ было хорошо: солнышко закатывалось и птицы на разные голоса пѣли. Только слышу—кричитъ кто-то не своимъ голосомъ: „братцы! отпустите душу на покаяніе! братцы мои родные! не погубите“.. Я ошалѣлъ. И въ голову мнѣ не приходило, што это Яшку тиранятъ... Онъ, разбойникъ, у меня у самого со двора лошадь упятилъ, а, все-таки, тогда ровно-бы душу отдалъ, только-бы онъ цѣлъ остался...

Всталъ я и пошелъ тихонько туда. Подошелъ, спрятался за сосну и смотрю: стоитъ Яшка—рожа вся въ крови и руки связаны назади. Около него стоятъ двое изъ нашихъ, изъ заводскихъ... ребята слыли смирными. И слышу я—говоритъ Яшка:

— Братцы! отпустите, ради Бога... больше ни въ жисть не стану...

— Нѣтъ, братъ, шалишь... говоритъ одинъ изъ мужиковъ, Степкой звали,—раззорилъ ты насъ, окаянный, ну, и помирай собачьей смертью!..

— Братцы!—говоритъ опять Яшка, а у самого слезы...—Вѣдь у меня дочка есть маленькая, Настей зовутъ... съ голоду пропадетъ безъ меня...

— Богъ, да добрые люди не бросятъ... опять говоритъ Степанъ;—пожалуй, я Настю возьму, а ты, все-таки, околѣвай... Давай, Иванъ, вожжи!...

Иванъ подалъ вожжи, а Степка началъ петлю дѣлать... У меня захолонуло... Никакъ вѣшать хотятъ, окаянные! Яшка побѣлѣлъ. „Братцы, ребятушки мои родимые! не дайте собачьей смертью околѣть!“ Упалъ предъ мужиками на колѣни и реветъ... У меня у самого поджилки ходенемъ-ходятъ. Ну-ка самъ, Митька, посуди: человѣка, да ишшо православнаго—вѣшать! Ну, положимъ, што много онъ нагадилъ, а все-же дѣло вышло грѣховное...

Сдѣлалъ Степка петлю, надѣлъ Яшкѣ на шею... а Ванька

потупился и въ землю смотритъ... Не вытерпѣлъ я и выскочилъ... „Што вы,—кричу—разбойники, дѣлаете!“ Они попятились, а Яшка, какъ маленькій, уцѣпился за меня и плачетъ: „дѣдушка, дѣдушка!“... Первой узналъ меня Стенка. Смотрю—подходитъ ко мнѣ, весь помушнѣлъ и губы трясутся... „Ежели—говоритъ—ты, старикъ, отсюда не уйдешь, то...“ и кажетъ мнѣ ножъ... „Да ежели, —говоритъ опять—ты донесешь, то не бывать тебѣ живому“... Ну, што-бы я сталъ съ ними дѣлать: одинъ, въ лѣсу, ихъ двое... Отцѣпилъ я отъ себя Яшку и говорю:—дѣлайте, робя, какъ знаете... я вамъ не судья, пусть Богъ разсудитъ. А тебѣ, Яша, мою лошадку прощаю...—Сказалъ и побѣжалъ, што есть мочи, въ избушку. Слышно было, какъ кричалъ Яшка,—охъ, какъ кричалъ!...

— Такъ, они повѣсили его, дѣдушка?—упавшимъ голосомъ спросилъ Митька.

— Повѣсили, родимый, да тутъ, подъ сосной, и схоронили. Я много разъ слыхалъ, какъ онъ стонетъ, а на могилѣ, нѣтъ-нѣтъ, да и огоньки забѣгаютъ...

Митька прижался къ дѣду.

— Я говорилъ, што забоишься... Пойдемъ-ка ужинать да и спать пора...

Поужинавъ, Онисимъ съ Митькой легли спать. Въ избушкѣ наступила тишина, прерываемая по временамъ потрескиваніемъ угольевъ въ неостывшемъ еще „чувалѣ“. Митька давно спалъ, но старикъ долго ворочался съ боку на бокъ, бормоча молитвы. Какое-то тяжелое чувство давило ему грудь. Вдругъ глухой шумъ донесся до него. Онисимъ поднялъ голову и прислушался. Шумѣлъ лѣсъ. „Ишь, разыгрался, родимый“...—любовно прошепталъ старикъ. Спавшій Митька тревожно заметался на нарахъ и тихо простоналъ. Старикъ заботливо ощупалъ внука и одѣлъ его.

— Яшка стонетъ, дѣдушка!—вдругъ проговорилъ мальчикъ.

— Што ты, родимый... Спи, Господь съ тобой!...

— Охъ, стонетъ, дѣдушка!—опять заметался Митька и приподнялся на нарахъ.—Дѣдушка, смотри-ка въ окно-то!...

Старикъ взглянулъ и задрожалъ всѣмъ тѣломъ. Яркій свѣтъ прорѣзалъ царившую за избой мглу и ворвался въ окно, освѣтивши старика и мальчика. Обезумѣвшій Онисимъ выскочилъ изъ избушки и остановился, какъ вкопанный. Старый, дорогой для него, боръ горѣлъ...

То было суровое и величавое зрѣлище. Стройныя сосны, еще такъ недавно улыбавшіяся потокамъ солнечнаго свѣта, точно лавой, были залиты всепожирающей безжалостной стихіей. Красные языки вырывались изъ тысячи мѣстъ, погасали на мгновеніе, опять вырывались и, вдругъ соединясь въ одинъ ужасающій огненный потокъ, безпощадно пожирали растительность. Воздухъ застоналъ

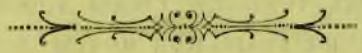
отъ треска сучьевъ, отъ грома подгорѣвшихъ, падающихъ гигантовъ, отъ крика обезумѣвшаго пернатаго населенія... Нѣсколько оленей, какъ безумные, промчались мимо Онисима, чуть не сбивши его съ ногъ. Что-то тяжело грохнулось около избушки,—это былъ глухарь со полуобгорѣлыми крыльями. Массивная птица безпомощно билась на мѣстѣ, стараясь подняться...

Онисимъ бросился въ избушку, схватилъ помертвѣлаго Митьку и опрометью кинулся къ протекавшей подъ горой рѣчкѣ...

Утромъ, какъ и наканунѣ, великолѣпное солнце вышло изъ-за горъ и залило блескомъ землю... Но на встрѣчу ему, въ это утро, сосны не задрожали вѣтвями, птицы не привѣтствовали его жизнерадостными голосами... Счастливое и веселое солнце освѣтило выжженную и мрачную, въ своемъ безмолвіи, равнину...

— Дѣдушка, дѣдушка!—боязливо лепеталъ Митька, держась за плечо старика, сидѣвшаго на обгорѣлыхъ бревнахъ избушки,—лѣсъ-то, дѣдушка, какъ сгорѣлъ... Это отъ Яшкиной могилки, дѣдушка!...

Старый огневщикъ упорно смотрѣлъ на выжженную равнину. Его лицо судорожно подергивалось, а по морщинистымъ щекамъ градомъ текли слезы...



ГОЛУБКИ.

Угрюма нѣмая тюрьма, какъ могила...
Все глухо кругомъ, а запоры крѣпки.
Одно утѣшеніе узнику было:
Летали къ нему на окно голубки.

Онъ сыпалъ имъ крошки обычной порою,—
Остатки отъ трапезы скудной своей;
Потомъ, опершись о рѣшотку, съ тоскою
Смотрѣлъ на своихъ сызокрылыхъ друзей.

И кротко ему голубки ворковали
О волѣ, цвѣтахъ, о зеленыхъ лѣсахъ,
О чудной, въ туманѣ синѣющей, дали,
О радостномъ днѣ въ голубыхъ небесахъ...

Внимая имъ, узникъ душою живился,
На мигъ забывалъ о неволѣ лихой,
И въ даль изъ темницы своей уносился
Онъ съ ними на крыльяхъ мечты золотой.

И видѣлъ онъ дѣтства счастливые годы,
Родныя поля и отеческій кровъ,
И горе, и радость минувшей свободы,
И ясное солнце, и звѣздный покровъ!

Тогда, подъ наплывомъ мечты шаловливой,
Въ немъ первая вновь воскресала любовь,
Лицо озарялось улыбкой счастливой,
И бурно кипѣла горячая кровь!...

Порфирій Павловичъ.

ВЕЧЕРЪ ВЪ СТРАСТНУЮ СУББОТУ.

(Набросокъ)

Ивана Дятлова.

Посвящается Л—скимъ.

Канунъ Пасхи. Надъ уставшимъ городомъ уже повисла темная, морозная ночь—совсѣмъ не апрѣльская. Тускло мерцаютъ звѣзды, гдѣ-то далеко, въ темно-синей безднѣ, брезгливо посматривая на землю, обагренную когда-то кровью Того, Кто далъ намъ примѣръ высокаго самопожертвованія и любви... Жалобно пищитъ подъ ногами пѣшеходовъ только что выпавшій снѣгъ. Шаловливый весенній вѣтренникъ присмирѣлъ, не играетъ больше посѣдѣвшими верхушками голыхъ березъ. Сквозь щели закрытыхъ ставней лѣниво тянутся многочисленные огоньки въ темную улицу и въ ней засыпаютъ... Сонъ коситъ людей. Тихо... Какъ будто, обремененный недугами, дряхлый міръ къ чему-то прислушивается, ждетъ чего-то ..

И, дѣйствительно, ждетъ... ждетъ обновленія, ждетъ той торжественно-умилительной минуты, когда люди, забывая обуревающія ихъ животныя страсти, проникаются духомъ единенія и братской любви и, заключивъ другъ друга въ объятія, не лицемѣря говорятъ: „обымемъ другъ друга и ненавидящіе насъ простимъ“... „безъ любви нѣтъ прощенія“... „нѣтъ жизни“...

Высоко-поэтическое настроеніе охватываетъ душу человѣка въ такіе моменты и кажется тогда, что міръ дѣйствительно обновился, очистился отъ нависшихъ надъ нимъ тучъ, и нѣтъ боль-

ше въ немъ ни злобы, ни ненависти, ни клеветы... Повсюду миръ и благоволеніе...

Смѣется доброе солнышко, отогрѣвая своими горячими лучами замерзшую землю. Весело щебечутъ птички, кружась въ чистомъ весеннемъ воздухѣ, точно радуясь воскресшему въ человѣкѣ человѣку... И хорошо чувствуется, и привольно!... Но пройдетъ очарованіе, разсѣется иллюзія и на душѣ останется горькій осадокъ несбывшихся надеждъ и упованій... И загруститъ опять человѣкъ, и заноетъ его изстрадавшееся сердце, и больно, больно тяжело ему станетъ... А счастье въ его рукахъ, но не умѣетъ онъ владѣть имъ...

Вотъ, надъ ушедшимъ въ ночную мглу городомъ, пронеслись робко-протяжные звуки заунывнаго колокола—знакъ, что „читаютъ страсти“—и спокойно умерли въ ночной тишинѣ. Да гдѣ-то въ небѣ, турлыкая, пролетѣли журавли... и опять все тихо, какъ въ опаленной зноемъ пустынѣ... Вхожу въ церковь,—въ ней ни души. Отдаленная свѣчка едва мигаетъ надъ плащаницей—гробомъ Христа—разливая вокругъ нея сѣрый полусвѣтъ, въ которомъ глазъ чуть различаетъ предметы... Лохматый, невзрачный дьячекъ бережно развернулъ на аналоѣ книгу, сдѣлалъ земной поклонъ, и, трижды крестясь, затянулъ мало-понятныя ему слова славянской рѣчи...

Въ воздухѣ, пропитанномъ ароматомъ пихтъ, среди торжественной тишины безлюднаго храма, окутаннаго въ полумракъ, медленно плыветъ—„что есть истина?“—монотоннаго чтенія дьячка, и, повторяясь подъ высокими сводами, какъ отдаленное эхо криковъ разъяренной еврейской толпы, рѣжетъ непривычное ухо и потомъ высоко, высоко исчезаетъ... Жутко становится отъ этихъ звуковъ... Невольно заглядываешь въ свое прошлое... „Что есть истина?“—чей-то отдаленный шепотъ касается моего уха... Смотрю... никого нѣтъ. Только уставшій чтецъ, перелистывая священную книгу, что то бормочетъ про себя... Что это значитъ?... Неужели такъ болѣзненно разстроено воображеніе? думается мнѣ. А въ храмѣ все также царствуетъ безмолвіе... Вотъ скрипнула церковная дверь: кто-то еще пришелъ,—легкій шорохъ шаговъ, идущихъ по застланному кошмами и пихтой полу, едва долетѣлъ до слуха... Дьячекъ отдохнулъ, и началъ читать... „ра-а-с-пни! распни“!... „Не обрѣтаю въ немъ вины!“... Явственно слышатся крики озлобленныхъ евреевъ и отвѣтъ Пилата, пробующаго защитить Невиновнаго, и двукратное эхо пустующаго храма вторитъ имъ подъ куполомъ.

— Сережа, слышалъ ты, что прочелъ сейчасъ дьячекъ?—раздался около меня чей-то старческій голосъ... Я оглянулся... На-

зади стоялъ высокій, еще довольно стройный, какъ дубъ, старецъ и съ нимъ хорошенькій, лѣтъ шести, мальчикъ.

— Слышалъ, отвѣчалъ мальчикъ:—это евреи требуютъ отъ Пилата, чтобъ онъ распялъ Христа, а онъ не хочетъ. Какіе они злые!...

— Нѣтъ, дѣточка, они не злы: они не понимали, что дѣлали. Слушай! слушай!...

„Не вѣдятъ бо, что творятъ", продолжалъ дьячекъ, громко откашливаясь. Мальчикъ повторилъ и, обращаясь къ дѣду, спросилъ, что значатъ эти слова.

— Не вѣдятъ—по нашему—не знаютъ, творятъ—дѣлаютъ, объяснялъ ему дѣдъ. Не знаютъ, что дѣлаютъ—это Христосъ сказалъ про евреевъ, когда они Его били и ругались надъ Нимъ. Развѣ ты не помнишь, что я тебѣ разсказывалъ сегодня вечеромъ, передъ тѣмъ, какъ идти сюда?—спросилъ онъ.

— Помню,—размышляя о чемъ-то, отвѣчалъ мальчикъ и какъ-то особенно посмотрѣлъ на дѣда, по лицу котораго пролетѣло въ это время облачко затаенной печали.

— Дѣдо! а, дѣдо! хорошо любить людей?—шептало дитя, нетерпѣливо дергая раздумавшагося старца за полу казакина.

— Хорошо.

— А прощать ихъ, поди, еще лучше?

Дѣдъ, считая-ли неудобнымъ отвѣчать на поставленный вопросъ, или просто желая заставить внука самого додуматься до его рѣшенія, промолчалъ.

Мальчикъ понялъ, что дѣдъ не отвѣтитъ и подумалъ: „вѣрно, кто любитъ, тому и прощать некого", и сталъ вслушиваться въ слова дьячка, который читалъ теперь о томъ, какъ Петръ во дворѣ у Пилата, передъ народомъ, трижды отрекся отъ Христа, прежде чѣмъ „три краты возгласилъ пѣтелъ", и, какъ онъ потомъ, вспоминая слова божественнаго Учителя—„ты трижды отречешься отъ Меня, прежде чѣмъ три краты возгласитъ пѣтелъ"—горько зарыдалъ, уходя отъ шумящей и глумящейся надъ Христомъ толпы...

Трагическая-ли картина отрекшагося и плачущаго Петра, или иное что представилось воображенію ребенка, только мысль его пробудилась и маленькая дѣтская головка начала усиленно работать... движеніе мысли отразилось и на блѣдномъ умномъ личикѣ и въ карихъ, не по дѣтски блестѣвшихъ, глазахъ... Не хорошо отрекаться,—говорили эти глаза... Я не буду такъ дѣлать, —можно было прочитать въ нихъ...

— Дѣдо! а, дѣдо! вѣдь, у тебя тоже было много учениковъ? —снова заговорилъ внукъ.

— Такъ что-жъ?

— А были у тебя вотъ такіе, какъ Іуда?

— Не помню—уклончиво отвѣчалъ дѣдъ, стараясь не смотрѣть на внучка.

— А не хорошіе это люди?—не унимался пытливый ребенокъ.

— Не хорошіе,—и, подумавъ немного, дѣдъ добавилъ:—вѣрнѣе, несчастные, жалкіе люди: вотъ какъ тѣ, закованные въ цѣпи, что ты видѣлъ недавно въ тюрьмѣ,—пояснилъ онъ.

— И ты ихъ прощалъ, простилъ?—допытывался мальчикъ.

— Да, если-бы были такіе, простилъ-бы,—какъ-то глухо, груднымъ шопотомъ, произнесъ старецъ эти слова и тяжело вздохнулъ.

Нелегко, должно быть, прощать?...

Мальчикъ задумался и пошелъ отъ него въ ту сторону, откуда былъ виденъ образъ Христа... Задумался и старый дѣдъ, вспоминая, быть можетъ, годы своего дѣтства, или долгое прожитое время, богатое страданіями, лишеніями, измѣнами друзей... Богъ знаетъ, о чемъ онъ думалъ...

Только мысль бѣгала по его старчески добродушному лицу. Онъ весь преобразился и походилъ скорѣе на апостола, чѣмъ на дѣда Сережи. Длинные сѣдые волосы, обрамлявшіе его умное, сіяющее любовью, лицо, свѣсились надъ высокимъ, выпуклымъ лбомъ, который время уже избороздило глубокими морщинами. Бѣлѣющая, широкая, какъ у апостола, борода спокойно лежала на его впалой широкой груди. Онъ весь ушелъ въ себя и, какъ очарованный необычайной картиной художникъ, стоялъ неподвижно на мѣстѣ, точно приросъ къ нему...

Мальчикъ подошелъ къ образу Спасителя. Ласково и любовно смотрѣлъ изъ кіота Христосъ на приблизившагося къ Нему ребенка и рука Его, точно крестя, протягивалась къ этому, жаждущему правды и любви, отроку, какъ бы благословляя его на трудный, жизненный подвигъ...

Что-то будетъ съ тобой, милое дитя?—раздумался я...

Долго, неподвижно стоялъ Сережа, смотря на кроткій, дышащій невозмутимымъ спокойствіемъ и добротой, ликъ Спасителя. Долго и прилежно всматривался онъ въ божественные черты Великаго Учителя, словно стараясь навсегда запечатлѣть ихъ въ своей непорочной, чистой душѣ, и потомъ тихо, тихо зарыдалъ... Я нервно вздрогнулъ, услышавъ въ таинственной полутьмѣ эти рыданія...

„Не мироносицы-ли пришли ко гробу Спасителя и плачутъ, не найдя Его въ немъ?—пронеслось въ уставшемъ мозгу...

Нѣтъ... это подсказало мнѣ разгоряченное воображеніе,—сообразивъ, разсудилъ я... То рыдалъ малютка, склонивши свою пылающую голову на кучу пихтъ, лежащихъ у подножія тяжелой

колонны, поддерживавшей образъ Христа... О чемъ онъ плачетъ? —спрашивалъ я себя, и не находилъ отвѣта...

Когда подошелъ къ внуку, очнувшійся отъ забытья, дѣдъ, —мальчикъ, отирая рукавомъ блузы бѣгущія по лицу слезы, соскочилъ съ пола и бросился къ нему на шею, и, нѣжно, нѣжно цѣлуя старика, какъ умѣютъ это дѣлать только дѣти, восторженно шепталъ ему: „милый мой, дорогой дѣдо! Я буду, буду любить всѣхъ людей! Буду все имъ прощать! Буду“... но онъ не докончилъ.

Растроганный до слезъ дѣдъ сжималъ уже его въ своихъ судорожныхъ объятіяхъ и отъ волненія едва могъ вымолвить: „о, мой дитю! о, мой дитю!“...

Подобно элекрической искрѣ, перебѣгающей отъ одного проводника къ другому, волненіе, охватившее двухъ нѣжно любящихъ другъ друга существъ, сообщилось и мнѣ...

Я уже больше ничего не слышалъ и не видѣлъ... и не знаю, думалъ-ли я тогда о чемъ-нибудь... навѣрно, думалъ...

Когда я пришелъ въ себя—ни старика, ни его внука уже не было,—и въ церкви попрежнему носилось унылое, монотонное чтеніе дьякона, наводящее грусть...

Я вышелъ изъ храма, думая, что люди нескоро еще проникнутся любовью другъ къ другу... И долго еще сильный будетъ давить слабаго, а богатый—эксплоатировать бѣднаго... Долго, долго еще надъ бѣдной землей не смолкнутъ стоны милліоновъ страждущихъ и угнетенныхъ людей.....

* * *

Подъ напѣвы бури сладко ты заснула;
Буря въ дверь стучалась, разбудить хотѣла.
Съ сердца горе птичкой весело вспорхнуло
И, взмахнувъ крылами, въ поле улетѣло.

Улетѣло въ поле, въ полѣ разсказало
Ивѣ придорожной, обо всемъ прошѣла;
Слыша пѣсню птички, головой качала
Ива въ чистомъ полѣ и тебѣ велѣла

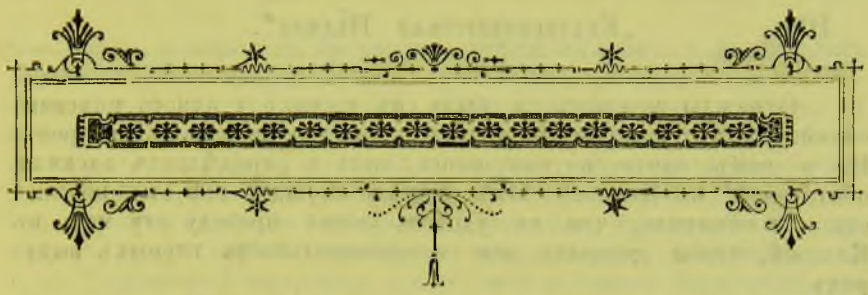
Разсказать, что буря далеко умчалась,
Въ дальнемъ синемъ морѣ горе потопила...
Чтобы ты, проснувшись, бури не боялась,
Чтобы ты, проснувшись, больше не грустила...

Ф. Филимоновъ.

* * *

Вѣрь—тоска какъ туманъ разойдется
И томленье не будетъ терзать,
Если въ душу младую вольется
Безпредѣльной любви благодать...
Вмѣсто осени сумрачной, хладной
Для тебя, вѣрь, настанетъ весна;
Цѣль желанная жизни отрадной
Будетъ, словно лучъ солнца, ясна!...
Всѣ желанья, мечты обновятся
Свѣтлымъ чувствомъ глубокимъ, святымъ,
Божій міръ тебѣ будетъ казаться
Безпредѣльно-прекраснымъ, роднымъ!...
Твое каждое, вѣрь мнѣ, желанье
Будетъ новаго чувства полно—
Какъ весны благодатной дыханье
Оживлять тебя станетъ оно!...
И отдашься ты всею душею
Этой страсти невольно во власть,
И сіять будетъ яркой звѣздою
Надъ тобой эта жгучая страсть!...

Мих. Ольгинъ.



НОЧЬ ВЪ КОЛИЗЕѢ.

Изъ путевыхъ воспоминаній Бергзе

(Съ датскаго)

Перев. Л. А. Мурахиной.

Это было во дни папы Григорія, котораго народъ прозвалъ „длинноносымъ". Римъ въ то время еще не былъ тѣмъ благоустроеннымъ, но скучнымъ постоялымъ дворомъ, какимъ онъ является намъ въ настоящее время. Тогда это былъ городъ, полный поэзіи и романтизма; не было той прозаической безопасности, какъ нынѣ, когда нужно ѣхать до самой Осціи, чтобы встрѣтить настоящаго разбойника.

Особенно славился въ то время Колизей въ качествѣ убѣжища всевозможныхъ бандитовъ и бродягъ, ютившихся въ его полуразрушенныхъ стѣнахъ. Послѣ захода солнца рѣдкій римлянинъ отваживался проходить подъ аркою Тита, опасаясь нападенія, а въ самый Колизей никто не пошелъ бы ни за какія блага міра.

Полиція была совершенно безсильна, и потому невѣжественное духовенство придумало множество сказокъ на тему проказъ нечистой силы, яко-бы хозяйничавшей въ древнемъ амфитеатрѣ Флавіевъ. Увѣряли, что можно спастись отъ этой адской силы, только усѣвшись къ подножію громаднаго желѣзнаго креста.

Однажды вечеромъ я былъ въ гостяхъ у одного римскаго семейства, къ которому принадлежало двое молодыхъ патеровъ. Ни о чемъ почти не говорилось, какъ о „продѣлкахъ адскихъ обитателей“ въ Колизеѣ. Мнѣ надоѣло слушать всѣ эти нелѣпости и я объявилъ, что съ удовольствіемъ проведу эту ночь въ Колизеѣ, чтобы доказать всю несостоятельность глупыхъ выдумокъ.

Всѣ пришли въ ужасъ отъ моего „безумнаго“ предложенія и употребляли всю силу краснорѣчія, чтобы отговорить меня отъ такого рискованнаго предпріятія, но я твердо стоялъ на своемъ. Кончилось это тѣмъ, что патеры и ихъ отецъ согласились немедленно проводить меня до Колизея и ждать тамъ, возлѣ наружной стѣны, до полуночи.

Было десять часовъ. Вечеръ былъ свѣжій и ясный, но дулъ такой сильный вѣтеръ, что съ насъ посрывало шляпы.

Когда мы дошли до самаго Колизея, мои спутники заявили мнѣ, чтобы я не разсчитывалъ на ихъ помощь, въ случаѣ, если со мною произойдетъ что-нибудь скверное и я закричу.

— Эхъ, вы, суевѣрные трусы!—подумалъ я, завертывая въ одинъ изъ боковыхъ корридоровъ, ведущихъ прямо на арену.— Куда же вамъ до насъ, хладнокровныхъ, разсудительныхъ и смѣлыхъ скандинавцевъ!

Я вошелъ на арену, сѣлъ къ кресту—не потому, чтобы я тамъ чувствовалъ себя безопаснѣе, но въ силу того обстоятельства, что мнѣ съ этого пункта можно было обозрѣвать всю арену —положилъ возлѣ себя заряженный карманный пистолетъ, закурилъ сигару, завернулся въ плащъ и прислонился спиною къ кресту. Не будь рѣзкаго холода, я чувствовалъ бы себя такъ же хорошо, какъ дома.

Вся арена была ярко освѣщена луною; лишь изрѣдка, когда мимо нея проходило облако, трепетали тѣни, отбрасываемыя сводами и колоннами. Понемногу число этихъ бродящихъ облаковъ начало увеличиваться, воздухъ сдѣлался мягче, почти теплымъ, камни увлажнились, и я замѣтилъ, что приближается сирокко. Это было очень непріятно, такъ какъ послѣ него обыкновенно слѣдуетъ проливной дождь.

Потянулся безпрерывный рядъ облаковъ—одни все гуще и темнѣе другихъ,—вѣтеръ усилился, съ Кампаніи надвинулся туманъ; не прошло и получаса, какъ заревѣлъ такой сирокко, какого я еще и не переживалъ въ Римѣ. Арена теперь выглядѣла далеко непривѣтливой. Сквозь темно-сѣрыя тучи едва просвѣчивалъ багровый кругъ луны, вѣтеръ съ жалобными стонами гулялъ по темнымъ корридорамъ и срывалъ съ верхняго карниза громад-

ные куски, которые съ грохотомъ летѣли на арену и разбивались вдребезги.

Сквозь полукруглыя окна и отдушины входилъ туманъ, то образуя длинныя полосы, подобно разодраннымъ облакамъ, то скатываясь въ гигантскіе клубки, то свертываясь фантастическими фигурами, которыя снова распадались и исчезали, когда вѣтеръ врывался сквозь арки и со свистомъ перетасовывалъ ихъ вмѣстѣ, чтобы затѣмъ перебросить назадъ черезъ края стѣнъ.

Иногда мнѣ слышался сквозь ревъ и свистъ бури точно полузаглушенный шумъ множества шаговъ, какой-то странный шепотъ, а по временамъ—и одиночный, отрывочный крикъ ужаса. Но такъ какъ я зналъ, что развалины служатъ постояннымъ пріютомъ множества воронъ, галокъ, совъ и летучихъ мышей, то я имъ и приписалъ всѣ слышанные мною звуки.

Однако мнѣ начинало становиться не по себѣ. Мракъ понемногу такъ сгустился, что я не могъ ужъ различить ничего на разстояніи десяти шаговъ, а въ этомъ мракѣ невообразимо ревѣло, стонало, свистало и выло. Я пожалѣлъ, что пошелъ сюда, но все-таки мнѣ и въ голову не приходила мысль встать и убѣжать. Я взялся пробыть тутъ до тѣхъ поръ, пока колоколъ монастырской церкви Санта-Франческа-Романа не пробьетъ двѣнадцати часовъ, и не могъ даже представить себѣ что захочу удалиться раньше. Въ то же время я не былъ избавленъ отъ опасенія, что вотъ-вотъ на меня наскочитъ какой-нибудь бандитъ, замѣтившій мое присутствіе, когда арена еще была освѣщена, — и закричитъ стереотипное: „кошелекъ или жизнь!“

Я размечтался было на эту интересную тему, когда вдругъ услышалъ за собою вопль,—вопль полный такого отчаянія, такой нечеловѣческой муки, что у меня застыла кровь въ жилахъ и я быстро обернулся. Ничего не было видно. Вокругъ меня было пусто, но все-таки я чувствовалъ, что не буду болѣе въ состояніи повернуться спиною къ тому мѣсту, откуда раздался этотъ ужасный вопль.

Я крѣпче надвинулъ шляпу, плотнѣе завернулся въ плащъ и сѣлъ по другую сторону креста, съ томленіемъ и страхомъ ожидая повторенія страшнаго вопля, но и съ твердымъ намѣреніемъ выдержать добровольный искусъ до послѣдней минуты.

Между тѣмъ кровь съ силою застучала въ моихъ вискахъ. Меня то прохватывалъ ознобъ, то всего обдавало жаромъ. Когда буря особенно свирѣпствовала, я становился спокойнѣе, потому что тогда для меня уменьшалась возможность услышать снова тотъ неестественно-мучительный звукъ, еслибъ онъ повторился.

Вдругъ—именно въ тотъ моментъ, когда я прислонился затылкомъ къ холодному желѣзу креста—вопль, дѣйствительно, повто-

*

рился. На этотъ разъ казалось, что онъ изшелъ сверху изъ трехъ пикъ, украшающихъ крестъ, съ электрическою силою прошелъ сквозь желѣзо и проникъ во всѣ изгибы моего мозга.

Я вскочилъ съ крикомъ, гулко отразившимся въ нѣсколькихъ мѣстахъ массивныхъ сводовъ арены. Но мракъ былъ такъ густъ, туманъ, окутавшій всю арену однообразною сѣрою пеленою, такъ непроницаемъ, что не было никакой возможности разсмотрѣть что-либо. Я дрожалъ съ головы до ногъ и только съ трудомъ могъ вытащить часы и заставить ихъ прорепетировать. Оказалось, что до полуночи оставалось всего четверть часа. Сердце страшно колотилось, и въ это время я почувствовалъ страстное желаніе убѣжать. Удержала только боязнь насмѣшекъ со стороны ожидавшихъ меня знакомыхъ.

Но сѣсть опять возлѣ креста я уже не рѣшался. Одна мысль, что я еще разъ могу услышать загадочный, оцѣпеняющій звукъ, готова была свести меня съ ума. Взявъ пистолетъ въ руки, я началъ ходить вокругъ креста, намѣреваясь выстрѣлить туда, откуда опять можетъ послышаться измучившій меня звукъ.

Окруживъ крестъ нѣсколько разъ, я, къ великому своему изумленію, замѣтилъ, что очертанія его, до сихъ поръ еще выдѣлявшіяся во мракѣ, вдругъ скрылись въ туманѣ. Я хотѣлъ приблизиться къ нему, но не могъ уже найти его. Я шелъ взадъ и впередъ, спотыкался и падалъ, наткнувшись на обломки карниза и колоннъ, но крестъ точно исчезъ. У меня явилось такое непріятное и странное ощущеніе, какъ будто пространство вокругъ меня расширяется и я брожу по громадной степи, покрытой непроницаемо-густымъ сѣрымъ туманомъ. Я сталъ искать выходовъ—ихъ не было; я старался достичь корридоровъ—они точно разсѣялись по воздуху; я опять поворотилъ по направленію къ кресту, который долженъ былъ стоять на самой срединѣ арены, но я только напрасно описывалъ громадные круги, путался въ лабиринтѣ облаковъ и тумана. Наконецъ, мнѣ показалось, что весь колоссальный амфитеатръ перевернулся къ верху дномъ, и вотъ, посреди этого хаоса, я услышалъ въ третій разъ душу раздирающій, вопящій крикъ.

Едва помня себя отъ ужаса, я обернулся и выстрѣлилъ. При красноватомъ блескѣ огонька я замѣтилъ, что попалъ въ одинъ изъ маленькихъ алтарей, съ передней стороны котораго пристально смотрѣла на меня художественно исполненная фигура монаха, окруженнаго сіяніемъ. Выстрѣлъ прогремѣлъ съ сверхъестественною силою по сводамъ и повторился тысячью отголосковъ съ элиптическихъ стѣнъ амфитеатра.

Вспугнутая выстрѣломъ стая птицъ поднялась вверхъ и съ хриплыми криками закружилась надъ моею головою. Пара

громадныхъ летучихъ мышей пролетѣла такъ близко отъ меня, что я могъ бы схватить ихъ руками.

Въ это мгновеніе раздался первый ударъ двѣнадцати часовъ, и мнѣ послышалось, что меня зовутъ по имени за стѣною арены. Вообще выстрѣлъ и сопровождавшій его моментальный свѣтъ точно вырвали меня изъ того дремотнаго, полубезсознательнаго состоянія, въ которомъ я находился послѣдній часъ. Я ясно увидалъ предъ собою выходъ и бросился къ нему, обрадованный тѣмъ, что такъ легко отдѣлался отъ дѣйствительно глупой шутки.

Но едва я достигъ перваго корридора, какъ со мною снова приключилось нѣчто, наполнившее меня ужасомъ. Не ревъ и свистъ бури слышались мнѣ теперь—нѣтъ,—но тихій, глухой шепотъ, бормотаніе и жужжаніе, точно я былъ окруженъ неисчислимою толпою; въ то же время я чувствовалъ, какъ эта невидимая толпа надвинулась на меня, подняла меня и понесла куда-то. Я чувствовалъ вокругъ себя страшную давку и толкотню, подобно тому, какъ бываетъ на Пасхѣ въ соборѣ Св. Петра.

Но въ то мгновеніе, когда меня точно поднимало на невидимую лѣстницу, я вдругъ какимъ-то образомъ высвободился изъ увлекавшей меня массы тоже невидимыхъ существъ и очутился въ другомъ корридорѣ. Ошеломленный и перепуганный до-нельзя, я кинулся къ какому-то входу и снова попалъ на арену. На ней теперь царилъ неопредѣленный сумракъ. Четырнадцати алтарей ея уже не было; не было и креста, на мѣстѣ котораго слабо отсвѣчивала большая лужа полусвернушейся, зловонной крови. Я съ изумленіемъ оглянулся. Изъ вомиторій тянулись безпорядочныя массы бѣлаго тумана, спускались кольцеобразными слоями къ террасамъ и тамъ располагались правильными рядами.

Я хотѣлъ перейти черезъ арену къ противоположному выходу, но не успѣлъ сдѣлать и двухъ шаговъ, какъ предо мною вдругъ точно выросъ изъ-подъ земли высокій, худощавый капуцинскій монахъ. Скрестивъ на груди костлявыя руки, онъ глядѣлъ на меня въ упоръ.

— Ты забылъ кое-что, сынъ мой,—проговорилъ онъ сухимъ, надтреснутымъ голосомъ.—Возьми же обратно, что тебѣ принадлежитъ.

Съ этими словами онъ досталъ изъ складокъ своей рясы какой-то небольшой, тяжелый и сплющенный предметъ, который сунулъ мнѣ въ руку—это была пистолетная пуля, еще носившая на себѣ слѣды живописной краски того изображенія святого на алтарѣ, въ который она попала.

Въ свою очередь и я пристально всмотрѣлся въ монаха. Онъ удивительно походилъ именно на то изображеніе: то же выраженіе лица, та же осанка, тотъ же строгій и пытливый взглядъ.

— Ты раненъ?— спросилъ я сдавленнымъ голосомъ.

— Это ничего не значитъ, сухо—отвѣтилъ онъ.—Я ношу на своемъ бренномъ тѣлѣ пять священныхъ язвинъ Господа моего Іисуса Христа, и охотно прощаю тебѣ то, что ты совершилъ подъ вліяніемъ злыхъ силъ мрака.

Въ его впалыхъ глазахъ, осѣненныхъ густыми бровями, вспыхнулъ дикій, фанатическій огонекъ.

— Кто ты?—вырвался у меня вопросъ.

— Слуга Господень, явившійся вырвать изъ священнаго сердца Рима кровавые плоды язычества. Мое имя—Телемахъ Сиріецъ. Пѣшкомъ прибрелъ я изъ Антіохіи, чтобы увидать императора Гонорія, говорить съ которымъ побуждаетъ меня Духъ Святой.

Необъяснимо странное чувство овладѣло мною. Это худощавое лицо съ рѣзкими, осунувшимися чертами, эти глаза, сверкавшіе изъ глубокихъ впадинъ фосфорическимъ блескомъ, длинная всклокоченная борода и сухія, костлявыя руки—все это, въ соединеніи съ его необычайною рѣчью, заставило меня предположить, что я наткнулся на сумасшедшаго, вѣроятно, избравшаго одну изъ уцѣлѣвшихъ келій этихъ мрачныхъ развалинъ своимъ мѣстопребываніемъ.

Я молча хотѣлъ уйти отъ него, но онъ схватилъ меня за полу плаща и спросилъ дрожащимъ отъ фанатическаго рвенія голосомъ:

— Скажи мнѣ, послѣдовалъ-ли за императоромъ изъ медіоланскаго лагеря въ Римъ Стиликій, это исчадіе ада? Вѣдь, это онъ заставляетъ нашего молодого императора придерживаться языческихъ обычаевъ; по его настоянію устроенъ этотъ кровавый пиръ, на который теперь со всѣхъ сторонъ сбѣгается народъ. Я охотно прощаю тебѣ, что ты выстрѣломъ изорвалъ мою одежду и пронзилъ мою грудь, но та кровь, которая сейчасъ прольется здѣсь, вѣчно будетъ вопить къ небу о мщеніи... Скажи, можетъ-ли Гонорій допустить оскверненія Креста Господня богомерзкими игрищами?

— Я не понимаю тебя, святой отецъ,—возразилъ я, стараясь освободиться отъ него.—Императоръ Гонорій, о которомъ ты говоришь, умеръ уже много вѣковъ тому назадъ, а что касается Стилихія, то я даже не знаю его имени. Не знаю я также—о какомъ пирѣ и какихъ игрищахъ ты говоришь. Эти древнія развалины давно заброшены, и развѣ только въ первый день Пасхи устроятъ тутъ иллюминацію, во время которой погибнетъ нѣсколько птицъ... Пусти меня. Теперь уже полночь, и я спѣшу домой.

Монахъ еще крѣпче вцѣпился въ мой плащъ и крикнулъ своимъ глухимъ, могильнымъ голосомъ:

— Стой! Развѣ ты не слышишь, какъ стекается со всѣхъ сторонъ народъ? не видишь развѣ, какъ онъ вваливается въ вомиторіи, подобно стаямъ кровожадныхъ ястребовъ? Неужели не видишь классиріевъ, спѣшащихъ растянуть навѣсы, и не слышишь звуковъ трубы, вызывающихъ гладіаторовъ изъ „лудуса магнуса“ и „мамертинуса“? Не видѣлъ ты, какъ сомкнутымъ рядомъ промчались по форуму колесничные бойцы и не слышалъ, что сегодня будетъ по старинному обычаю состязаніе пращниковъ и гладіаторовъ? Все это дѣлается по совѣту Стилихія и для гибели народа.

— Нѣтъ, я слышу только вой вѣтра и крики совъ и не вижу рѣшительно ничего того, о чемъ ты говоришь, —сказалъ я, придумывая, какъ бы удобнѣе избавиться отъ этого непріятнаго собесѣдника.

— Такъ прозри же, ослѣпленный человѣкъ!—воскликнулъ онъ, проводя рукою по моимъ глазамъ.

Я невольно отскочилъ назадъ; мнѣ показалось, что на меня наложила руку сама смерть.

Въ ушахъ грохотало и гудѣло, изъ глазъ сыпался дождь яркихъ искръ. И вотъ громадныя массы тумана точно начали густѣть и превращаться въ опредѣленные образы. Не успѣлъ я опомниться, какъ уже вся арена блистала въ своемъ прежнемъ, сказочномъ великолѣпіи. Высоко-высоко вздымались гигантскія стѣны амфитеатра и на той сторонѣ, гдѣ на ярко-синемъ небѣ сіяло во всемъ своемъ блескѣ солнце, тянулся пурпуровый навѣсъ, тихо колыхавшійся подъ дуновеніемъ вѣтерка.

Вдоль арены красовалась роскошная мраморная баллюстрада, выложенная драгоцѣннѣйшими каменными породами; надъ нею возвышалась бронзовая рѣшетка, столбы которой были тоже изъ блестящаго мрамора. Посреди этой баллюстрады виднѣлся императорскій „пульвинарій“, украшенный массивными серебряными статуями и колоссальными орлами изъ золоченной бронзы, поддерживавшими своими когтями шелковый пологъ, осѣнявшій цесарскую ложу. На бѣлыхъ мраморныхъ ступеняхъ лежали мягкія, шелковыя, протканныя золотомъ, подушки, а въ глубинѣ я замѣтилъ отрядъ центуріоновъ, оружіе которыхъ сверкало на солнцѣ.

На противоположной сторонѣ была такая же ложа, только менѣе роскошная, и та часть баллюстрады, которая соединяла обѣ ложи, была сплошь занята сенаторами въ бѣлыхъ тогахъ съ пурпуровыми краями. Потомъ слѣдовалъ рядъ ступенекъ, съ которыхъ глядѣли загорѣлыя, суровыя лица римскихъ рыцарей.

Выше помѣщалась пестрая, смѣшанная толпа, лицъ и одеждъ которой я не могъ различить, а надъ нею тянулся еще рядъ ступенекъ, густо усаженныхъ людьми, казавшимися мнѣ, по причи-

нѣ громаднаго разстоянія, немного больше муравьевъ. Еще выше находилась колоссальная колоннада, изъ блестяще отполированнаго гранита, въ которой укрывались полузакутанныя женщины.

Вездѣ сверкали мраморъ и бронза. Нагіе, коротко остриженные, рабы, съ низкими лбами и широкими бронзовыми кольцами вокругъ шеи, усердно усыпали арену бѣлымъ пескомъ. Отъ времени до времени слышно было, какъ возились въ виваріи львы и тигры, и когда раздавалось ихъ рычаніе, собравшіеся зрители поднимали такой крикъ и шумъ, что все заглушалось ими, исключая только пронзительныхъ, точно металлическихъ голосовъ слоновъ.

А народу все прибывало и прибывало, пока во всемъ громадномъ амфитеатрѣ не оставалось ни одного мѣстечка, куда бы можно было яблоку упасть. Жужжало и гудѣло, какъ въ гигантскомъ ульѣ. По временамъ я слышалъ стукъ оружія и мѣрные шаги легіоновъ, разстанавливаемыхъ у выходовъ.

Хотя мы съ монахомъ стояли посреди самой арены, но казалось, что насъ никто не замѣчаетъ, что мы невидимы для того міра, который былъ такъ ясно виденъ намъ.

Вдругъ раздались звуки трубъ и оглушительные крики. „Императоръ идетъ! императоръ!“ пронеслось подобно урагану снизу вверхъ, и вслѣдъ затѣмъ вошла въ роскошную ложу невзрачная, худая фигурка молодого человѣка съ сверкающею зубчатою короною на тщательно причесанныхъ кудряхъ и съ такимъ выраженіемъ во взглядѣ, точно онъ вовсе не привыкъ къ восторженнымъ встрѣчамъ толпы.

За императоромъ шелъ высокій, плотный воинъ въ золоченыхъ доспѣхахъ и съ такимъ энергичнымъ лицомъ и взоромъ, какъ будто владыкою полміра былъ онъ, а не тотъ слабый, изнѣженный юноша, который такъ небрежно развалился на шелковыхъ подушкахъ.

— Это Гонорій! —шепнулъ мнѣ мой собесѣдникъ.—А за нимъ стоитъ его искуситель, надменный Стилихій. Горе обоимъ, если они не послушаются моихъ словъ! Я хочу искоренить эти беззаконныя игрища и возвратить сердце народа Господу Богу. Месть принадлежитъ Ему, а я только слабое орудіе въ Его десницѣ. Если я буду сокрушенъ, имя мое внесется въ книгу святыхъ мучениковъ.

Глаза его опять разгорѣлись мрачнымъ огнемъ фанатика-страстотерпца. Схвативъ за руку, онъ потащилъ меня къ выходу съ арены, гдѣ мы укрылись подъ выступомъ. Перекрестивъ лобъ, грудь и ротъ, онъ прошепталъ:

— Господи, въ руцѣ Твои предаю духъ мой! Подкрѣпи Своего слугу, чтобы онъ могъ исполнить волю Твою!

Вслѣдъ затѣмъ растворилась въ глубинѣ арены бронзовая рѣшетка и предъ жадными глазами многотысячной толпы появился рядъ сѣрыхъ колоссовъ, размахивая длинными, гибкими хоботами, хлопая громадными ушами и испуская такой ревъ, что задрожали даже стѣны. Неуклюжею рысцою побѣжали они вокругъ арены, управляемые сильными, обнаженными нубійцами съ острыми, сверкающими пиками, и выстроились въ рядъ предъ императорскимъ пульвинаріемъ. Это были тѣ самые дикіе африканскіе слоны, которые когда-то обратили въ бѣгство, привыкшіе къ побѣдамъ, римскіе легіоны, а теперь сами сдѣлались игрушкою, забавою празднаго народа.

Наступила мертвая тишина. Взоры всѣхъ обратились на живую сѣрую стѣну, сдерживаемую лишь мускулистыми руками нѣсколькихъ рабовъ.

Раздался рѣзкій, пронзительный сигналъ. Съ грохотомъ опустилась тяжелая подъемная рѣшетка и на арену вылетѣли нѣсколько индійскихъ тигровъ и африканскихъ львовъ.

Въ одно мгновеніе ока сѣрая стѣна разсыпалась во всѣ стороны, образуя громадный кругъ.

Одинъ изъ тигровъ наскочилъ было на слона, но тутъ же съ раздробленною спиною покатился на песокъ, оглашая воздухъ страшнымъ ревомъ.

Казалось, это быстрое пораженіе совершенно обезкуражило остальныхъ звѣрей. Столпившись въ кучу, они съ опущенными головами и поджатыми хвостами кинулись назадъ къ виварію. Но рѣшетка была снова поднята и вепаторы своими сверкающими пиками погнали ихъ обратно на средину арены.

Слоны съ высоко поднятыми хоботами ожидали новаго нападенія.

Но бой не разгорался. Львы старались спрятаться подъ выступомъ подіума и съ рычаніемъ оскаливали зубы каждый разъ, когда къ нимъ приближался одинъ изъ пятнистыхъ тигровъ.

По густымъ рядамъ зрителей пронесся глухой ропотъ, начиная съ сенаторскихъ сѣдалищъ и, поднимаясь все выше и выше, кончая чернью, которая выражала свое разочарованіе насмѣшливыми восклицаніями.

Блѣдный Гонорій лѣниво приподнялся на локтѣ и кивнулъ Стилихію, который съ выраженіемъ гнѣва шепнулъ что-то близъ стоящему центуріону.

Черезъ нѣсколько секундъ явились на краю подіума нѣсколько юркихъ рабовъ съ смоляными вѣнками въ обнаженныхъ по плечо рукахъ. Въ слѣдующее затѣмъ мгновеніе вѣнки вспыхнули

и замелькали въ высотѣ, откуда падали на арену, на головы и спины несчастныхъ звѣрей.

Свирѣпѣя отъ испуга и боли, четвероногіе бросились другъ на друга—и начался такой ожесточенный бой, что весь амфитеатръ дрогнулъ отъ восторженнаго рева толпы.

Арена покрылась облаками пыли, дыма и ручьями крови. Львы и тигры, вцѣпившись одинъ въ другого, катались по песку. Слоны падали, сбрасывали съ себя своихъ вожаковъ, снова поднимались и сослѣпу кидались куда попало, разбивая хоботами все, что попадалось подъ нихъ. Удары ихъ грохотали такъ, точно ударяли громадными желѣзными молотками по пустымъ бочкамъ. Ревъ, стоны, хрипѣніе, рычаніе и радостные крики кровожадной толпы составляли концертъ до того ужасный, что кровь застывала въ жилахъ.

Наконецъ стало понемногу утихать. Изъ гордыхъ обитателей пустыни и горъ остался цѣлымъ и невредимымъ только одинъ —самый сильный и громадный слонъ. И вожакъ его сидѣлъ на немъ, точно приросшій къ нему. Въ знакъ побѣды, онъ замахалъ копьемъ по воздуху и былъ за это награжденъ громомъ рукоплесканій.

Опять загремѣли подъемныя рѣшетки. Раненыхъ, истекающихъ кровью, слоновъ ударами пикъ согнали съ арены, а растерзанные трупы остальныхъ звѣрей были стащены длинными желѣзными крючьями.

Я обернулся къ моему спутнику. Онъ былъ блѣденъ, какъ смерть, и стоялъ съ закрытыми глазами, беззвучно шевеля губами.

Онъ вдругъ открылъ глаза, пристально взглянулъ на меня и проговорилъ:

— Время настало! Готовъ-ли ты?

— Къ чему?—спросилъ я тихо, съ невольнымъ содроганіемъ.

— Каждый, слѣдующій за мною, долженъ умереть!—шепнулъ онъ.—Готовъ ты отдать свою жизнь ради Господа?

Я хотѣлъ отвѣтить, но мнѣ помѣшалъ новый взрывъ рукоплесканій и восторженныхъ криковъ, которыми зрители встрѣчали гладіаторовъ.

Нѣкоторые изъ нихъ были обнажены и натерты масломъ. Въ правой рукѣ они держали сѣть, въ лѣвой—остро наточенный блестящій трезубецъ.

Сомкнутымъ рядомъ прошли они мимо ложи императора, котораго привѣтствовали громкими криками и маханіемъ трезубцами.

Затѣмъ они стали на противоположной сторонѣ арены. За ними слѣдовала другая толпа гладіаторовъ, вооруженныхъ щитами, мечами и одѣтыхъ въ брони, позолота которыхъ сверкала въ лучахъ солнца.

— Умирая, привѣтствуемъ тебя, цезарь!—хоромъ крикнули бойцы, разстанавливаясь другъ противъ друга.

По амфитеатру пронесся гулъ одобренія.

Императоръ поднялся; на его блѣдныхъ щекахъ вспыхнулъ лихорадочный румянецъ и онъ нетерпѣливо махнулъ рукою. Въ тотъ же мигъ грянули звуки трубъ и бойцы бросились другъ на друга съ сверкающими мечами и трезубцами.

Но тутъ раздался голосъ моего спутника, незамѣтно ушедшаго отъ меня.

— Гонорій!—кричалъ онъ—безумный императоръ! Развѣ ты забылъ свой собственный приказъ? Забылъ и Великаго Константина, который первый возжегъ свѣточъ на алтарѣ христіанства? Останови эту отвратительную бойню! Не допусти священной Ромѣ уподобиться вавилонской блудницѣ, чтобы не была отсѣчена ея глава и члены ея не были разсѣяны по вѣтру! Братья! Именемъ Господа повелѣваю вамъ: бросьте оружіе и оставьте это, кровью пропитанное, мѣсто, и безъ того насквозь оскверненное мерзостями язычниковъ!

Гробовая тишина наступила послѣ этихъ словъ, произнесенныхъ съ такою силою, что изъ-за нихъ не стало слышно никакихъ другихъ звуковъ. Вся масса зрителей поднялась, бойцы опустили свое оружіе и нерѣшительно смотрѣли на блѣднаго, босоногаго монаха, который, высоко поднявъ правою рукою крестъ, пробрался къ самой ложѣ цезаря.

Всталъ и Гонорій. Лицо его опять было покрыто смертельною блѣдностью. Онъ хотѣлъ заговорить, но, казалось, его смутила суровая фигура и угрожающая поза монаха, а потому онъ только пробормоталъ нѣсколько непонятныхъ словъ и снова безсильно опустился на свое мягкое сидѣнье.

Поднялась затѣмъ воинственная фигура Стилихія. Не обращая вниманія на императора, онъ подошелъ къ краю ложи, поднялъ закованную въ панцырь руку и крикнулъ:

— Гладіаторы! Схватите этого сумасшедшаго, который осмѣливается поносить нашего державнаго императора и весь римскій народъ! Изловите его вашими сѣтями, какъ бѣшеную собаку, и прикажите ликторамъ бичевать его, пока онъ не придетъ въ себя! Долой его! А вы, гладіаторы, продолжайте бой!

Рѣчь Стилихія прогремѣла подобно раскатамъ грома, но сила ея не подѣйствовала. Одинъ изъ сѣтоборцевъ приблизился къ отважному монаху, но, спокойно отраженный крестомъ, отступилъ назадъ и опустилъ сѣть. Пользуясь этимъ, монахъ вырвалъ у него трезубецъ, замахалъ имъ по воздуху и снова закричалъ:

— Будь проклятъ тотъ, кто осмѣлится поднять руку на брата, носящаго на своемъ тѣлѣ священныя язвы Господа! Будь

проклятъ тотъ, кто поддерживаетъ въ нашемъ молодомъ императорѣ духъ язычества! Трижды проклятъ будь Стилихій, желающій снова ввести въ Римѣ нравы и обычаи язычниковъ! Господь отвратилъ отъ него лицо свое; Господь навсегда отвергъ его! Евнухъ нанесетъ ему смертельный ударъ!

И, продолжая размахивать трезубцемъ, онъ погналъ съ арены гладіаторовъ, точно стадо барановъ.

Наступило всеобщее смятеніе. Послышались проклятья и угрожающіе крики. Гонорій съ усиліемъ всталъ и, поддерживаемый рабами, неровными шагами удалился изъ ложи. По его уходѣ опять поднялся Стилихій и, вытянувъ сжатый кулакъ къ аренѣ, загремѣлъ:

— Римляне! Неужели вы допустите безумному монаху нарушить ваше удовольствіе? Развѣ мало приложилъ я стараній, чтобы устроить вамъ эти игры? Развѣ не дожидаются своей очереди самниты и крупелярцы? Развѣ я не приказалъ призвать ѳракійцевъ? И развѣ вы не желаете видѣть, какъ борятся съ завязанными глазами андабаты? Неужели вы стали такими жалкими трусами, что нищій-монахъ можетъ вырвать у васъ изъ рукъ мечъ и безнаказанно оскорблять того, котораго вашъ императоръ избралъ своимъ совѣтникомъ? Отомстите за себя, если только вы хотите и можете! Если же нѣтъ, то идите домой и разскажите вашимъ женамъ и дѣтямъ, что, спятившій съ ума, монахъ выгналъ васъ изъ амфитеатра Флавіевъ.

Эти язвительныя слова послужили сигналомъ къ настоящей бурѣ. Народъ заволновался, точно море. Когда послѣдній гладіаторъ, бросивъ оружіе, скрылся съ арены, толпа пришла въ неистовую ярость. Поднялся невообразимый шумъ и вдругъ сверху полетѣла огромная глыба мрамора, которая при паденіи на арену разлетѣлась на тысячи осколковъ.

— Онъ поноситъ императора! Убейте его!—крикнуло нѣсколько голосовъ.

— Убить его! убить!—заревѣли другіе, и на арену посыпался ужъ цѣлый дождь мраморныхъ глыбъ, швыряемыхъ тысячами рукъ.

Еще два-три мгновенія стоялъ монахъ неподвижно, высоко держа крестъ и устремивъ безстрашный взглядъ на десятки тысячъ палачей, окружавшихъ его со всѣхъ сторонъ.

Я хотѣлъ поспѣшить къ нему на помощь, но посыпался новый дождь камней—монахъ упалъ, обливаясь кровью и я самъ былъ сбитъ съ ногъ. Мнѣ казалось, что стѣны обрушились и земля разверзлась...

Очнулся я въ госпиталѣ ди-Санто-Спирито. Меня нашли лежащимъ безъ чувствъ и въ крови въ одномъ изъ нижнихъ кор-

ридоровъ Колизея. На моей головѣ зіяла рана, причиненная мнѣ сорвавшимся во время бури кускомъ карниза. Болѣе недѣли пролежалъ я безъ сознанія, а совсѣмъ оправился не ранѣе трехъ мѣсяцевъ,—такъ дорого обошлось мнѣ ночное посѣщеніе амфитеатра Флавіевъ.

* * *

Есть люди—душа ихъ
Сначала стремится
За братьевъ несчастныхъ
Съ врагами сразиться,
Но гаснутъ мгновенно
Святые порывы
И жизнь ихъ уходитъ
На зло и наживы.

А. Н. Севастьяновъ.

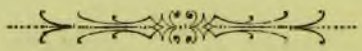
* * *

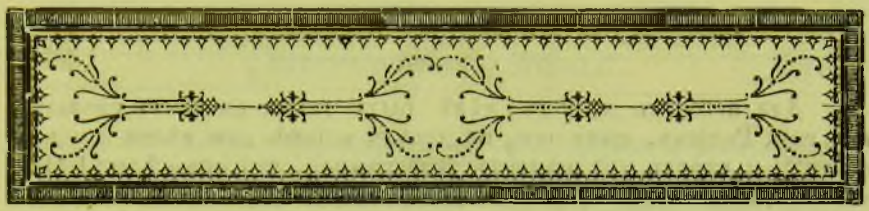
Сходятъ тѣни ночи молчаливой,
Садъ заснулъ въ волшебномъ упоеньи;
Я сижу подъ дремлющею ивой
Съ тайной думой—въ мрачномъ настроеньи.

Есть въ душѣ какая-то забота,
Страстно умъ восторженный пылаетъ.
И съ тоской, невѣдомой, кого-то
Сердце этой ночкой поджидаетъ.

Грустно мнѣ и больно почему-то...
Грудь щемятъ чарующіе звуки,
И невольно тянутся къ кому-то
Въ тьмѣ ночной пылающія руки.

А. Н. Севастьяновъ.





УСТАЛЫЙ.

(Разсказъ)

П. М. Сивкова.

I.

— Телеграмма!

— Кому? Мнѣ?

— Должно быть, вамъ.

— Откуда?

— Не знаю.

Тотъ, кому принесли телеграмму, въ недоумѣніи приподнялъ голову и глаза его встрѣтились съ недоумѣвающимъ лицомъ жены.

— Ужъ не отъ Родіона-ли?—сказали они оба заразъ.

— Распишитесь,—предложилъ почталіонъ.

— Ну, такъ и есть—отъ Родьки!—вскричалъ мужъ, когда телеграмма была прочитана.

— Слушай, слушай, Маня, что пишетъ: „выѣхалъ въ Пещеринскъ. Родіонъ". Телеграмма изъ Петербурга. Каково?

— Въ три-то года нашелъ чѣмъ обрадовать,—кисло замѣтила жена.

— Папа! такъ Родіонъ къ намъ ѣдетъ?—спросила дѣвочка-подростокъ.—Вотъ это хорошо!—прибавила она, не дождавшись отвѣта. Папа былъ углубленъ въ чтеніе телеграммы; казалось, онъ хотѣлъ разгадать какую-то тайну, заключавшуюся въ этихъ короткихъ словахъ: „выѣхалъ въ Пещеринскъ".

Для него въ самомъ дѣлѣ была тайна въ этихъ словахъ: три года Родіонъ, сынъ его, не давалъ о себѣ „ни вѣсти, ни повѣсти“, и вдругъ увѣдомляетъ телеграммой, что онъ ѣдетъ! Нечего сказать, то-то обрадовалъ родителей! Ужъ не хочетъ-ли онъ разыграть роль блуднаго сына? Ну, они, конечно, съ Маней не такіе дураки, чтобы повѣрить. Наголодался, видно, и про родителей вспомнилъ; ничего, что родитель „чиновникъ“—„полицейскій“.

Какая-то жгучая, злобная радость разлилась въ груди отца Родіона. По гладко выбритымъ щекамъ его, по густымъ, сросшимся надъ носомъ, бровямъ его, по всему оффиціально-безразличному лицу его, можно было судить объ этой великой радости.

— Василій Ивановичъ!—прервала молчаніе жена:—онъ больше ничего не пишетъ въ телеграммѣ-то?

Василій Ивановичъ опять приподнялъ голову, прищурилъ и безъ того узкіе глазки и какъ-то насмѣшливо сжавъ тонкія губы, отвѣчалъ, тщетно стараясь впасть въ ироническое настроеніе:

— Гдѣ ужъ тамъ! Довольно, молъ, имъ, дуракамъ, и этихъ словъ! Пусть, молъ, высылаютъ на ближнія станціи тройки, пироговъ къ пріѣзду напекаютъ! Фу ты, Боже мой! Какая особа ѣдетъ: либералъ! нигилистъ! атеистъ! Это ли не чины? Приличны-ли у нашего чиновника штаны-то? Ты бы тамъ посмотрѣла—нѣтъ-ли у меня какихъ неистасканныхъ, ненужныхъ мнѣ? А то, вѣдь, у нихъ мода на все на мужичье. Я не позволю тоже, чтобы въ моемъ домѣ дегтемъ, али еще чѣмъ похуже пахло! Да-съ!—отчеканилъ Василій Ивановичъ ужъ совсѣмъ злобно и нижняя губа его судорожно искривилась.

— Вотъ тоже выдумалъ наѣхать! У меня дѣти... Довольно и одного такого безбожника! А гдѣ тутъ убережешься? Вы смотрите у меня,—нахмуривъ брови, обратился Василій Ивановичъ къ дочери-подростку, Вѣрочкѣ, съ крайнимъ удивленіемъ прислушивавшейся къ рѣчи отца,—чтобы съ нимъ ни слова не говорить, а то я васъ на хлѣбъ и на воду!...

Сцена принимала тяжелый, невыносимый оборотъ. Точно душно стало въ чистенькой, въ мѣщанскомъ вкусѣ прибранной комнаткѣ; самый воздухъ казался спертымъ, какъ въ знойный день передъ грозою. Гроза еще не разразилась, но глухіе, зловѣщіе раскаты грома раздаются гдѣ-то не далеко. Чистенькій, прилизанный разсадникъ съ нѣжными, выхоленными цвѣточками гроза могла размыть, обезобразить, даже въ конецъ испортить, и, безсильный бороться съ грозой, садоводъ въ гнѣвѣ поднимаетъ недовольное лицо къ небу.

Василій Ивановичъ очень напоминалъ теперь этого безсильнаго садовода,—онъ не боялся за себя, но дрожалъ за свои, съ такимъ трудомъ доставшіяся ему, опрятныя комнатки, съ неоперив-

шимися птенцами: четырнадцатилѣтней Вѣрочкой и девятнадцатилѣтнимъ Колей. Да, за своихъ дѣтищъ боится отецъ, боится вреднаго вліянія на нихъ: вѣдь, всѣ эти „измы“ такъ заразительно дѣйствуютъ на молодыя натуры! Нѣтъ, довольно съ него и одного вѣтрогона!

— Папа,—рѣшилась спросить Вѣрочка,—развѣ Родіонъ сдѣлалъ что-нибудь дурное, что вы сердитесь на него?

— Не смѣй спрашивать объ этомъ!—приказалъ папа, сдвигая брови,—и знай, что если ты осмѣлишься разговаривать съ нимъ, когда онъ пріѣдетъ, то я тебя отдамъ въ монастырь!

— Но,—робко замѣтила жена,—можетъ быть онъ совсѣмъ не такимъ сталъ, какимъ уѣхалъ.

— Дай Богъ! Всебезконечно былъ бы благодаренъ за его исправленіе Господу!

Было еще утро и Василію Ивановичу нужно идти въ канцелярію: онъ служилъ секретаремъ полицейскаго управленія. Такъ какъ благодушное настроеніе было испорчено содержаніемъ телеграммы, то, естественно, Василій Ивановичъ безъ малѣйшаго аппетита напился чаю, до котораго, кстати сказать, былъ большой охотникъ. Озабоченный и недовольный отправился онъ на службу. Злобная радость, охватившая его вначалѣ, какъ-то стушевалась; выдвинулся жгучій для отца вопросъ,—какъ сохранить святость семейнаго очага отъ вѣтрогона? О, хорошо еще, что Родіонъ телеграфировалъ: за недѣлю, пока онъ ѣдетъ, можно кое-что обдумать. Вѣдь, не дураки же они съ Маней; слава Богу, вѣкъ доживаютъ, а въ какихъ тоже перепалкахъ не доводилось бывать?!

— Мама!—спросила Вѣрочка, когда отецъ ушелъ на службу, —отчего папа не любитъ Родю?

— Ой, да отвяжись ты, вотъ пристала!—прикрикнула на нее мать:—точно смола прилипла: отчего да отчего? Да оттого же—зачѣмъ отца съ матерью не слушаетъ?

Но Вѣрочка была неудовлетворена: она дожидалась брата, который ушелъ изъ дому до полученія телеграммы. Вѣрочка надѣялась добиться отъ него болѣе обстоятельнаго отвѣта на внезапно заинтересовавшій ее вопросъ.

— Онъ, навѣрное, знаетъ,—думала она:—папа его любитъ и все ему разсказываетъ.

Дѣвочка хотѣла еще что-то спросить у матери, но, подмѣтивъ въ ея лицѣ что-то озабоченное, хмурое, недовольное, не осмѣлилась. Присѣвъ къ окну, она принялась за долбленіе исторіи: на завтра былъ назначенъ изъ нея экзаменъ.

Чудный майскій день былъ великолѣпенъ. Изъ окна Вѣрочка видѣла широко разлившуюся рѣку, одѣтый свѣжей, нѣжной зеленью лѣсъ, весь залитый яркимъ свѣтомъ. До нея доносился

неопредѣленный шумъ, названный поэтомъ „зеленымъ шумомъ“... Какимъ смутнымъ, неяснымъ волненіемъ отвѣчало ея сердце этому „зеленому шуму“.

Какъ хорошо бы бросить скучную книжку, пойти бы вонъ на ту гору, что видна за рѣкою, лечь подъ березу! какъ славно тамъ! Трава такая мягкая, душистая, небо синее, безъ единаго облачка... Съ горы виденъ весь городъ, и рѣка, и ближнія пашни! Какъ хорошо тамъ, и какъ скучны эти давнишнія битвы и войны, о которыхъ повѣствуетъ учебникъ. Глаза Вѣрочки противъ воли отрывались отъ книги, задумчиво и безъ всякой цѣли смотрѣли на смѣющійся, полный жизни, весенній пейзажъ.

По рѣкѣ тихо ползли плоты; скрыпя рулемъ, плыли тяжело нагруженныя барки; у пристани пароходъ, готовый въ путь, немилосердно застилалъ воздухъ ѣдкимъ, чернымъ дымомъ.

— Вотъ и Родя, можетъ быть, пріѣдетъ на этомъ пароходѣ —мелькнуло въ Вѣрочкиной головкѣ. И вдругъ, какъ живой, предсталъ предъ нею образъ брата, какимъ она видѣла его три года назадъ. Что-то было такое неуловимое во всей его фигурѣ, что располагало ея маленькое сердце къ нему.

— Совсѣмъ, совсѣмъ Родя не похожъ на Колю: Коля такой широкій, краснощекій, а Родя высокій, худой! Коля шалунъ и всегда меня обижалъ, а Родя помогалъ мнѣ рѣшать задачки и объяснялъ, чего я не понимаю. Родя никогда ни на кого не кричалъ; онъ все больше читалъ, а папа его не залюбилъ, и все бранилъ за что-то. За что? я, право, не знаю. Родя былъ такой смирный... Развѣ за то, что Родя получалъ маленькое жалованье? Онъ куда-то ходилъ, училъ кого-то и писалъ что-то. Къ нему приходили какіе-то мужики, крестьяне, и папа бранился и даже не велѣлъ пускать ихъ. Родя все молчалъ и не спорилъ съ папой, когда папа бранилъ его. А потомъ уѣхалъ куда-то и не писалъ намъ; теперь онъ хочетъ пріѣхать и папа бранится, не велитъ мнѣ говорить съ Родей. Я, право, ничего не понимаю. Непремѣнно выспрошу все у Коли: онъ, навѣрное, все знаетъ!

II.

Пароходъ уже далъ два свистка. Пассажиры высыпали на палубу, съ берега имъ махали платками и зонтиками,—на пристани стоялъ невообразимый шумъ и гвалтъ. Каждый былъ занятъ своей особой и тѣмъ, что близко и такъ или иначе дорого его особѣ. Газетчики старались навязать отъѣзжающимъ пассажирамъ №№ газетъ, булочники и колбасники—снабдить обильнымъ съѣстнымъ отъѣзжающихъ и, наконецъ, родственники и знакомые награждали ихъ всяческими пожеланіями, —„отъ благополучнаго

пути до скораго свиданія“ включительно. Легко могло статься, что скорое свиданіе настанетъ чрезъ много лѣтъ въ другомъ, еще неизвѣстномъ намъ, живымъ, свѣтѣ...

Пароходъ далъ третій свистокъ и снялъ причалокъ.

— Прощай, Родя!—выкрикивалъ густымъ басомъ съ берега здоровый, плотнаго сложенія дѣтина.—Пиши, какъ тамъ устроишься, а коли чего—ко мнѣ прямо! Прощай, братъ!

Родя, блѣдный и худой молодой человѣкъ, лѣтъ двадцати пяти, съ усталымъ, болѣзненнымъ лицомъ, махнулъ ему въ отвѣтъ шляпой, грустно, до боли грустно, улыбаясь.

— Прощай жизнь!—тихо выговорилъ онъ. За шумомъ никто не разслышалъ этихъ словъ.

Да, юноша сознательно ѣхалъ умирать на родину. Другъ его, врачъ, высчиталъ, сколько еще дней осталось жить больному...

„Хорошо умереть—тяжело умирать“,—какъ это неумолимо ясно теперь для него. Какъ не хотѣлось-бы умереть и оттого, между прочимъ, что „тьма густая надъ землей еще виситъ“, и оттого, что страстно хотѣлось дождаться „первыхъ истины лучей“. О, не вѣчно-же царство тьмы, взойдетъ-же, наконецъ, надъ бѣдной землей солнце!

„Умереть, думалъ юноша,—когда природа возрождается къ жизни. Первая зелень—послѣдняя для меня!—„Лопухъ будетъ расти,—говорилъ Базаровъ.—Мой умъ такъ устроенъ, что мнѣ пріятно отрицать—и баста!“ Тоже искусство для искусства... А впрочемъ, ничего-то мнѣ теперь не надо: моя пѣсня спѣта и къ чему мнѣ теперь все это? Впереди безвременная могила—и кончено! „Жизнью пользуйся, живущій!“ и буду пользоваться,—благо, это не можетъ надоѣсть: конецъ близокъ. Какъ тоскливо!“

Юноша съ любопытствомъ скользнулъ глазами по разношерстнымъ пассажирамъ третьяго класса: почти всѣ они были заняты чаепитіемъ. Толстая баба, очевидно торговка, грызла кедровые орѣхи. Ея скамейка приходилась какъ разъ напротивъ скамейки Родіона. У бабы карманъ былъ биткомъ набитъ орѣхами. Родіонъ съ отвращеніемъ слѣдилъ, какъ за заплывшими жиромъ щеками исчезали маленькія ядрышки кедровыхъ орѣховъ; извѣстно, какъ непріятно дѣйствуетъ и на здоровыхъ людей громкое чавканье; тѣмъ больнѣе отозвалось оно на юношѣ.

Перемѣнить мѣсто невозможно: всѣ скамейки заняты; оставалось—уйти жариться на верхнюю палубу.

Родіонъ такъ и сдѣлалъ. Но видъ полей и многоводная Волга опять навѣяли „старыя думы“. Странное дѣло, менѣе всего онъ думалъ о встрѣчѣ съ родными, гдѣ его телеграмма вызвала такой переполохъ.

Четыре дня, проведенные Родіономъ на пароходѣ, страшно

утомили его больное тѣло. Къ физическимъ страданіямъ присоединилась острая, жгучая боль отъ сознанія полной личной безпомощности и безполезности, что жизнь прожита такъ, „ни за грошъ“, что не было ни одной счастливой минуты, ни одного мгновенія. Припоминались безумные порывы, холодныя, затхлыя конуры, горячіе споры и унизительное выпрашиваніе—даже хуже,—съ бою взятой, отбитой у такихъ-же холодныхъ бѣдняковъ,—работы. И чѣмъ кончилось? О, думалъ-ли онъ, когда, три года назадъ, полный вѣры въ свѣтлое будущее, ѣхалъ въ столицу, думалъ-ли онъ, что такъ прозаически кончится вся эта идиллія? Даже въ родимомъ Пещеринскѣ онъ больше могъ-бы сдѣлать для общаго дѣла, чѣмъ тамъ, „въ пышномъ бѣдномъ городѣ“. Погоня за кускомъ хлѣба подорвала здоровье и, главное, поколебала вѣру въ свѣтлое будущее.

А жить все-таки хочется.

„Хочется видѣть, какъ солнце сіяетъ, какъ пташка щебечетъ, дубрава шумитъ“, жить „безъ счастья и воли“, въ этой „безконечной ночи“. На свѣтѣ жить тяжко, но какъ весело жить!

Ахъ, скорѣе-бы ужъ доѣхать, а то эти безконечныя, разнообразныя дорожныя думы не даютъ покоя! Тамъ, на родинѣ, онъ погрузится въ глубокій сонъ и въ этомъ снѣ умретъ, убаюканный неласковымъ пѣніемъ нелюбимой семьи.

Въ N—скѣ онъ пересѣлъ на маленькій пароходикъ, съ великимъ трудомъ перетаскивающій по мелководной рѣчушкѣ десятка два пассажировъ въ Пещеринскъ. На совершеніе этого послѣдняго пути потребовалось еще часовъ двѣнадцать.

Было теплое, майское утро, когда пароходъ подходилъ къ Пещеринску. Василій Ивановичъ сидѣлъ у окна въ халатѣ, углубясь въ чтеніе „Московскихъ Вѣдомостей“. Онъ любилъ весною вставать поутру рано и у раскрытаго окна, если погода была хорошая, внимательно прочитывать вчерашнюю почту. Домъ Василія Ивановича стоялъ на самомъ берегу рѣки, на поворотѣ ея, и изъ оконъ далеко можно было замѣтить приближающійся пароходъ, дающій знать о себѣ рѣзкимъ свисткомъ. Василій Ивановичъ вздрогнулъ при этомъ свисткѣ, бросилъ „Московскія Вѣдомости“ и не безъ волненія дожидался, когда пароходъ поровняется съ его домомъ.

„Сегодня долженъ пріѣхать,“ думалъ Василій Ивановичъ — и сердце его какъ-то тоскливо замирало отъ этой мысли.

Родіонъ сидѣлъ на верхней палубѣ и тоже не безъ волненія смотрѣлъ на родительскій домъ—свою могилу. Онъ замѣтилъ у окна отца и приподнялъ шляпу, отецъ махнулъ ему газетой: они узнали другъ друга.

„Бородой обросъ“,—подумалъ отецъ.

„Все тотъ-же“,—мелькнуло въ головѣ сына.

Василій Ивановичъ, самъ не зная, какъ это вышло у него, вдругъ поднялъ всѣхъ на ноги и заторопилъ самоваръ.

— Родіонъ пріѣхалъ! Родіонъ пріѣхалъ!—повторялъ онъ, волнуясь.

— Папа! Мы побѣжимъ съ Колей на пристань! Папочка, отпусти насъ!—просилась Вѣрочка, едва успѣвъ умыться.

— Ступайте. Да не успѣете, вѣдь!...

— Я не хочу, ступай одна,—отозвался Коля, очень недовольный, что ему не дали выспаться.

Вѣрочка его и не упрашивала. Съ лихорадочной поспѣшностью одѣвшись, она стрѣлою вылетѣла на улицу, и бѣгомъ, безъ передышки, добѣжала до пристани, вся запыхавшаяся, съ разгорѣвшимся личикомъ, и странно блестящими глазенками.

Пароходъ только что причалилъ и пассажиры начинали выходить. Вѣрочка протолкалась впередъ. Маленькое сердце болѣзненно билось въ груди и отъ волненія, и отъ усталости. Родіонъ скоро вышелъ. Глаза ихъ встрѣтились.

— Родя!—выкрикнула Вѣрочка дрогнувшимъ голоскомъ.

— Вѣрочка, милая!—Онъ крѣпко обнялъ и поцѣловалъ ее прямо въ губы.

— Родя, Родя!—повторяла она, задыхаясь отъ радостныхъ слезъ.

„Что я ей?“—мелькнуло въ головѣ брата. „Какая славная!“

Крѣпко держась за руки, они сошли съ конторки на берегъ.

— Ты одна?—спросилъ братъ.

— Одна.... Коля не захотѣлъ... Я одна прибѣжала...

Разсчитавшись съ носильщикомъ, вынесшимъ съ парохода чемоданъ, они взяли извозчика.

— Родя, Родя, какой ты большой выросъ!—повторяла дорогой сестра, спѣша и волнуясь.—Я тебя по глазамъ узнала, Родя! Я тебѣ все разскажу, только ты не сердись. Папа, какъ получилъ твою телеграмму, сердился все и мнѣ не велѣлъ говорить съ тобой, Родя,—но это только сперва. Потомъ папа говорилъ, что ты навѣрное другимъ сталъ, и не бранился больше. Родя, я видѣла тихонько, онъ о чемъ-то плакалъ. Я знаю, что о тебѣ, но я только ничего не понимаю! Ахъ, Родя, не уѣзжай отъ насъ больше!

— Я не уѣду, Вѣрочка! Какая ты славная! Одна только ты меня встрѣтила!

— Не сердись, Родя: Коля лѣнтяй, а папа и мама не успѣли-бы добѣжать до пристани... Но какъ-же хорошо, что ты больше отъ насъ не уѣдешь! Родя, я часто о тебѣ думала... Родя,—только ты не сердись,—отчего ты мнѣ никогда не писалъ?

— Тебѣ!?

— Да. Ты думалъ, что я все такая же маленькая, но я, Родя, ужъ совсѣмъ, совсѣмъ большая стала! Но только отъ меня все скрываютъ, все думаютъ, что я маленькая. Родя, знаешь, что я скажу тебѣ? ты какъ-нибудь не серди папу и мы-бы стали съ тобой всегда вмѣстѣ. Хорошо, Родя?

— Хорошо, Вѣрочка. Мы будемъ друзьями.

— Но для этого не надо сердить папу, а то онъ не позволитъ. Вотъ мы и пріѣхали. Видишь—всѣ наши вышли встрѣчать тебя.

„Мертвые люди вышли встрѣчать живого мертвеца",—думалъ Родіонъ, холодно и равнодушно всматриваясь въ родныхъ, столпившихся у воротъ дома въ ожиданіи его пріѣзда.

III.

Все устроилось, какъ нельзя лучше для Родіона. Онъ съ нѣсколько грубоватою откровенностью заявилъ отцу, что неизлѣчимо боленъ, и пріѣхалъ на родину умереть, такъ, примѣрно, мѣсяцевъ черезъ восемь, и что если онъ, Родіонъ, не стѣснитъ этимъ семейныхъ, то былъ-бы чувствительно благодаренъ за оказанную милость—дожить послѣдніе дни подъ родительской кровлей. Само собою разумѣется, больной приметъ всѣ мѣры предосторожности, чтобы не заразить другихъ. Что же касается убѣжденій, то, извѣстно, что умирающему не до убѣжденій. Въ концѣ Родіонъ объявилъ, что въ Петербургѣ онъ сконилъ что-то около пятидесяти рублей, которые и вноситъ впередъ за хлѣбы; послѣ его смерти, все его имущество перейдетъ также къ отцу; правда, это имущество заключается, главнымъ образомъ, въ книгахъ, содержаніе которыхъ нетерпимо отцемъ, но, послѣ смерти владѣльца, книги можно болѣе или менѣе выгодно продать, вернувъ, такимъ образомъ, затраченныя на содержаніе Родіона деньги. Самъ же Родіонъ не будетъ ровно ничего дѣлать, кромѣ необходимѣйшаго: ѣсть, спать и ходить на прогулку въ хорошую погоду.

Повторяю, все это было высказано умышленно грубовато, день на третій послѣ пріѣзда.

— Такъ въ самомъ дѣлѣ безнадежно?—спросилъ отецъ, молча выслушавшій „исповѣдь" сына.

— Да. Врачъ, осматривавшій меня, довольно опытенъ въ распознаваніи чахотки; это, такъ сказать, его любимый конекъ.

— Я не упрекаю тебя, Родіонъ, но, согласись, что если бы ты слушался моихъ совѣтовъ и выбросилъ пораньше изъ головы дурь, ничего бы этого не было.

— Не будемъ говорить о прошломъ. Вы согласны на мое предложеніе?

— Богъ съ тобой, Родіонъ! Ты считаешь меня извергомъ... Тебѣ будетъ дана особая комната и ты воленъ дѣлать, что хочешь. Я, кромѣ того, поговорю съ докторомъ...

— Безполезно,—перебилъ сынъ,—никакого леченья для меня не нужно. Повторяю, что болѣзнь неизлечима. Вотъ, позвольте вамъ передать деньги.

— Богъ съ тобой! Я не возьму твоихъ денегъ.

— Прошу васъ, возьмите; онѣ мнѣ совершенно не нужны, а вамъ пригодятся. Къ тому же, отнынѣ я вашъ нахлѣбникъ.

— Ты слишкомъ жестокъ, Родіонъ,—сказалъ отецъ съ глубокимъ вздохомъ, пряча деньги въ боковой карманъ

— Само собой разумѣется, если тебѣ понадобятся, ты всегда можешь взять у меня эти деньги.

— Такъ въ чемоданѣ, говоришь, все книги?—спросилъ отецъ, косясь на задвинутый подъ диванъ чемоданъ.

— Да, книги. Не безпокойтесь, изъ нихъ нѣтъ ни одной нелегальнаго содержанія.

— Я совсѣмъ не для того спросилъ; можешь имѣть какія угодно книги, конечно, съ нѣкоторой осторожностью.

— Благодарю. Я не намѣренъ брать въ руки ни одной книги.

— Что такъ?

— Такъ.

— Какъ знаешь. Ты такъ убѣжденъ, что умрешь—это не хорошо! Какъ знать, если-бы ты захотѣлъ полечиться!... Вѣдь, и ученые могутъ ошибаться!

— Можетъ быть, но отказываюсь отъ леченья.

„И что онъ за мной ухаживаетъ“, злился Родіонъ. „Пріѣзжай я такимъ же краснощекимъ, какъ мой братецъ, такъ ужъ навѣрное-бы ворчалъ и бранился. Даже и у этихъ закоренѣлыхъ крѣпостниковъ смягчается сердце, при видѣ чужого страданія“.

Родіону и въ голову не приходило, что онъ совсѣмъ не чужой Василію Ивановичу.

И вотъ потянулись убійственно однообразные для Родіона дни. Утромъ его отпаивали чаемъ... Матушка, узнавъ отъ мужа о чахоткѣ у сына, была твердо увѣрена, что спасетъ Родю обильнымъ питаніемъ; потому за чаемъ Родѣ предлагались вкусные пироги, сдобныя булки, варенье, густыя сливки; въ двѣнадцать часовъ готовили завтракъ изъ жирной зажареной говядины, въ три часа обѣдъ, по крайней мѣрѣ, изъ пяти блюдъ, въ шесть часовъ опять чай съ тѣмъ же печеньемъ и вечеромъ ужинъ.

— Родя! Отчего ты не кушаешь? чѣмъ тебя такимъ въ Пе-

тербургѣ кормили, что ты нашего ничего и ѣсть не хочешь?—шутила мать, боявшаяся показать, что знаетъ о болѣзни сына.

— Родя, хочешь, я для тебя состряпаю пирожки съ вареньемъ?—предлагала Вѣрочка.—Ты такихъ въ Петербургѣ не видалъ даже.

— Поди ты! Въ Петербургѣ только птичьяго молока не достанешь,—авторитетно заявлялъ Коля.—Такъ вѣдь, Родя?

— Не знаю. Я, дѣйствительно, не ѣдалъ никакихъ пирожковъ съ вареньемъ.

— Ну, вотъ, видишь, я говорила! Погоди, Родя, завтра я состряпаю—просто объѣденье!

Но у Роди не было аппетита ни до какихъ пирожковъ. Какъ ни старался онъ забыться „мертвымъ сномъ“, мысли его нѣтъ-нѣтъ да и возвращались къ „проклятымъ вопросамъ“. Многое, что наблюдалъ изъ своего окна Родя, наталкивало его на эти „вопросы“. Но такъ было только на первыхъ порахъ. Каждый день впечатлѣнія были все тѣ-же и мало-по-малу скука бездѣйствія, скука мертвящей тишины уѣзднаго города, не раздражала, а точно усыпляла больные нервы.

Волей-не-волей, Родіону пришлось перезнакомиться кое съ кѣмъ изъ городской аристократіи. Въ уѣздномъ, захолустномъ городкѣ молодой человѣкъ, жившій въ Петербургѣ, интересуетъ всѣхъ, мнящихъ себя интеллигенціей.

— Ну, что какъ тамъ, въ Питерѣ?—спрашиваютъ они съ любезной улыбочкой.—Не по-нашему?

Родіона крайне бѣсили эти любопытные, но отдѣлаться отъ нихъ онъ никакъ не могъ. Чѣмъ грубѣе и раздражительнѣе относился онъ къ нимъ,—они становились любезнѣе...

У брата Коли было много пріятелей и всѣ они считали „долгомъ“ познакомиться съ Родіономъ. Это были, по большей части, тупоголовые, франтоватые юноши, съ большой претензіей на образованность и остроуміе. Дома еще можно было отъ нихъ отдѣлаться, сказавшись больнымъ, но стоило только Родіону показаться на улицѣ, какъ къ нему, Богъ вѣсть откуда, подлеталъ какой-нибудь франтъ.

— Родіонъ Васильевичъ! Здравствуйте! Прогуляться вышли? Позвольте съ вами за компанію.

Родіонъ молчалъ, а юнецъ начиналъ изощряться въ остроуміи надъ богоспасаемымъ Пещеринскомъ, попутно сообщая сплетни о друзьяхъ-пріятеляхъ.

Считавшіе себя болѣе солидными, затаскивали Родіона къ себѣ на квартиру, и такъ какъ гость не потреблялъ никакого вина, то старались налить его чаемъ Родіонъ былъ въ отчаяніи, не зная, какъ отдѣлаться отъ друзей.

— Даже умереть не дадутъ, навѣрное, помѣшаютъ! И сколько у этого Кольки знакомыхъ—весь городъ! И чего имъ отъ меня надобно?—удивлялся Родіонъ Васильевичъ.

Съ братцемъ Колей Родіонъ, конечно, не могъ сойтись. Веселой компаніи, безпечальнымъ кутежамъ и увеселеніямъ посвящалъ свой досугъ девятнадцатилѣтній Коля, служившій гдѣ-то письмодителемъ. Потребность въ умственной пищѣ проявлялась лишь въ чтеніи „Шута“ или „Будильника“, въ рѣдкомъ случаѣ—„забористаго“ романа. Натурально, братьямъ не о чемъ было разговаривать и они сторонились другъ друга.

Родители относились къ Родіону съ умильной снисходительностью, какъ къ человѣку неизлѣчимо больному и тѣломъ, и духомъ, и дни котораго сочтены. Оставалась сестра Вѣрочка. Братъ захотѣлъ сойтись съ ней поближе. На первыхъ порахъ онъ совсѣмъ было забылъ объ ея странномъ желаніи „быть всегда вмѣстѣ“, высказанномъ при первой встрѣчѣ, и вспомнилъ объ этомъ, когда ему до тошноты надоѣли Колины пріятели. Сама Вѣрочка не рѣшалась „навязываться“ брату, и даже обидѣлась, что онъ забылъ ее, считаетъ, какъ и другіе, за маленькую дѣвочку.

— Вѣрочка,—сказалъ однажды Родіонъ, собираясь на прогулку,—хочешь пройтись со мною?

— Сейчасъ, Родя! Только одѣнусь!

— Куда-же мы направимся, Вѣрочка?—спросилъ братъ.

— О, пойдемъ на гору, вонъ тамъ, въ лѣсъ! Какъ хорошо тамъ, Родя!

— Но, вѣдь, это не близко?

— Ну, такъ что? Мы прійдемъ къ ужину, а чай прогуляемъ.

— Развѣ ты не боишься устать?

— Нисколько. Я бѣгомъ поднимусь на гору и не задохнусь.

Родіонъ не могъ похвастаться своими легкими, но согласился идти на гору. Къ счастію, ни одинъ изъ „общихъ знакомыхъ“ не увязался сопровождать ихъ въ прогулкѣ. Они прошли весь городъ, упиравшійся южной частью въ подошву холма, и по узкой тропѣ стали подниматься. Подъемъ былъ довольно крутъ и утомителенъ для Родіона. Вѣрочка, не знавшая о болѣзни брата, весело подсмѣивалась надъ его частыми передышками.

— Какой ты старикъ, Родя! Какъ скоро устаешь!

Наконецъ, они взобрались на вершину и расположились подъ березой. День клонился къ вечеру. Съ горы виденъ былъ весь городъ и рѣка, красивой, широкой лентой разсѣкавшая его на двѣ части. Вдали за городомъ тянулись пашни, казавшіяся зеленымъ ковромъ.

— Хорошо здѣсь, Родя?

— Хорошо, Вѣрочка! Но тамъ, подъ горой, не хорошо.

— Почему?

— Тамъ копошатся скучные, глупые и злые люди.

— Какъ ты знаешь, что они такіе?

— А по твоему они хорошіе люди?

— По моему? Я не знаю. Я никогда объ этомъ не думала. Родя! разскажи мнѣ, какъ ты жилъ въ Петербургѣ?

Такъ разговаривая, засидѣлись они долго. Совсѣмъ ужъ смерклось, когда Родіонъ вспомнилъ, что пора домой.

— Знаешь, Вѣрочка,—сказалъ Родіонъ, смѣясь,—для меня мука разговаривать съ кѣмъ-бы то ни было десять минутъ, а съ тобой я, кажется, проговорилъ-бы цѣлую ночь, и не наговорился-бы досыта!

IV.

Дни приходили и уходили, безцвѣтные, безцѣльные для Родіона. Утромъ онъ просыпался съ тосклинымъ сознаніемъ, что ровно ничего не нужно дѣлать днемъ, а вечеромъ повторялъ: „день прожитъ,—къ могилѣ ближе“. Бездѣлье, на которое самъ себя добровольно обрекъ юноша, становилось съ каждымъ днемъ тягостнѣе. Совсѣмъ не такъ легко было умирать подъ отцовской стрѣхой, какъ ему казалось въ далекомъ Питерѣ. Надо что-нибудь дѣлать, чѣмъ-нибудь заняться. Но чѣмъ же? Онъ не знаетъ никакого ремесла. Помогать отцу или брату составлять и переписывать какія-то бумаги съ туманнымъ содержаніемъ или, вѣрнѣе, безъ содержанія? Но, вѣдь, это совсѣмъ не работа, по крайней мѣрѣ, для него она будетъ также скучна, какъ и бездѣлье. Хотѣлось посвятить остатокъ дней своихъ „живому дѣлу“, по какому? Надъ этимъ вопросомъ тщетно ломалъ себѣ голову Родіонъ.

„Есть доброе дѣло,—думалъ онъ,—посѣять въ Вѣрочкиномъ сердцѣ доброе сѣмя. Но какъ это я сдѣлаю? какъ я передамъ ей, подростку, на словахъ то, что было когда-то для меня всего дороже? Я не съумѣю этого сдѣлать ужъ потому одному, что я плохой психологъ и ничего не смыслю по части воспитанія.“

„Какъ-бы посмѣялись надо мной мои петербургскіе друзья, когда увидѣли-бы меня на покоѣ!“

Такъ, сколько онъ не думалъ, не могъ остановиться ни на какомъ живомъ дѣлѣ, на служеніе которому такъ страстно хотѣлось „отдаться до конца“.

Вынужденное бездѣлье продолжалось вплоть до осени. Одиночество (душевное) и скука скрашивались только болтовней Вѣрочки...

А жизнь уѣзднаго города шла обычнымъ порядкомъ. Тишь и гладь, или, какъ выражался Родіонъ, мертвящая скука, совсѣмъ

не привилегія уѣзднаго города. Нѣтъ, подъ этой гладью ключемъ кипѣли „человѣческая кровь и слезы“...

Надвигалась осень; короче и холоднѣе становились дни. У Родіона сжималось сердце—въ осени онъ чуялъ вѣяніе смерти. Онъ рѣже сталъ выходить на прогулки, и, точно повинуясь таинственному повелѣнію, припоминалъ всю свою жизнь.

Въ его воображеніи проносилось дѣтство, „съ торопливыми радостями и быстрыми печалями“, потомъ молодость, первые зародыши къ самопознанію... Припоминались и они, товарищи школьныхъ лѣтъ... Гдѣ они? Куда и какъ разнесла и разсѣяла ихъ жизнь? Какъ это было все недавно, но какъ много имъ пережито за эти пять лѣтъ!

— Только пять лѣтъ! О, жизнь, жизнь, какъ ты меня обманула!—съ горькимъ упрекомъ шептали его губы.—Чѣмъ она подарила меня? Какая малость! Все мелкое, недостойное, и ни одна капля счастія не смочила моихъ горячихъ губъ! Не было ни одной лучезарной улыбки, ни одного свѣтлаго взгляда! Къ чему теперь позднія, не нужныя слезы? О, сердце! Чего ты жалѣешь, чего хочешь? Забудь прошлое, пріучайся къ смиренію. „Не оглядывайся назадъ, не стремись туда, гдѣ свѣтло, гдѣ смѣется молодость, гдѣ надежда вѣнчается цвѣтами весны, гдѣ голубка радостно бьетъ лазурными крыльями, гдѣ любовь, какъ роса на зарѣ, сіяетъ слезами восторга; не смотри туда, гдѣ блаженство и вѣра, и сила—тамъ не наше мѣсто!“ Какъ подходитъ это трогательное Тургеневское прощаніе съ жизнью ко мнѣ!

Любовь сіяетъ слезами восторга,—
Я не былъ любимъ, и не любилъ...

Такъ думалъ Родіонъ, стоя у окна въ слегка морозный сентябрьскій день. Большія, сѣрыя облака плыли по небу такъ низко надъ землею, что, казалось, вершины лѣса задѣнутъ ихъ.

И что я выдумалъ—умирать съ комфортомъ?—начиналъ волноваться Родіонъ.—Развѣ это не подло, не говоря ужъ о томъ, что это совсѣмъ глупо. И для чего я медлю? Точно ужъ такъ тяжело ускорить развязку? Чего мнѣ ждать—я самъ могу разбить „драгоцѣнный сосудъ“.

Эта идея—самому разбить „сосудъ“,—крѣпко засѣла въ его мозгу. Онъ всячески обдумывалъ ее и пришелъ къ странному выводу.

Родіонъ Васильевичъ выпросилъ у отца денегъ на дорогу, сказавъ, что онъ намѣренъ провести зиму „у товарища, который жилъ на югѣ, гдѣ климатъ не такъ суровъ, какъ въ Пещеринскѣ“.

— Можетъ быть и въ самомъ дѣлѣ ошибся докторъ, и я поправлюсь,—говорилъ Родіонъ.

— Дай Богъ, дай Богъ!—утѣшалъ отецъ, снабжая его деньгами

— Родя, ты опять уѣзжаешь отъ насъ?

— Да, Вѣрочка, мнѣ надо. Прощай, милая! Мы долго, долго не свидимся съ тобой. О чемъ ты плачешь, глупенькая?

— Родя, не уѣзжай, останься!

— Нельзя, Вѣрочка, мнѣ нужно... Не забывай меня, и когда выростешь, читай вотъ эти книги—я тебѣ дарю ихъ всѣ: мнѣ онѣ не нужны больше.

— Пиши мнѣ, Родя!

— Нѣтъ, Вѣрочка, я не могу писать тебѣ... Не проси меня объ этомъ.

— Ахъ, Родя, какъ хорошо-бы было, если бы ты остался.

Это прощанье съ сестрой очень растрогало Родіона.

„Что я ей? За что она полюбила меня? Одну только мнѣ ее жалко!“

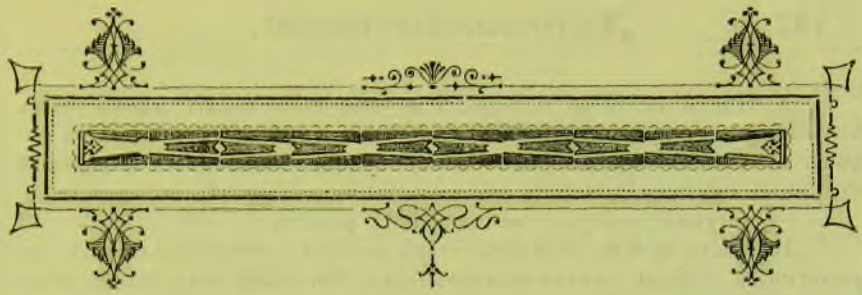
И вотъ Родіонъ опять на пароходѣ. Съ грустью слѣдитъ онъ какъ исчезаетъ изъ виду родимый Пещеринскъ, гдѣ оставилъ онъ, эту милую, славную Вѣрочку!

— Прощай, прощай—навсегда!—повторялъ онъ уныло, и слезы приступали къ горлу, голова кружилась, въ глазахъ стоялъ туманъ...

Въ N—скѣ онъ пересѣлъ на другой пароходъ, потомъ гналъ на лошадяхъ, самъ не зная куда, гналъ, пока не вышли всѣ деньги, и очутился, дѣйствительно, на югѣ, въ глуши, безъ копейки въ карманѣ. Тогда Родіонъ спустилъ за безцѣнокъ всю свою „барскую одежду“, смѣнивъ ее какимъ-то рубищемъ. Послѣднимъ его дѣломъ было сжечь паспортъ...

— Ну, теперь меня никто не узнаетъ... Конецъ!.. Провалъ моей жизни...

Вскорѣ въ ближнемъ лѣску былъ „усмотрѣнъ“ трупъ повѣсившагося, или удавленника, и долго послѣ этого робкія бабы боялись поздно вечеромъ проходить мимо рощи, гдѣ задавился какой-то нищій...



НАСТЯ.

(Этюдъ)

А. Г. Туркина.

Когда она выходила на работу, съ беззаботною веселостью, свойственной молодости, напѣвая пѣсенку, то рабочіе невольно заглядывались на нее и дѣвушка не разъ слыхала пущенное ей въ слѣдъ восклицаніе:

— Славная, чортъ побери, дѣвка!

Дѣйствительно, это была очень хорошенькая 15-ти-лѣтняя дѣвушка. Ея свѣжее, молодое лицо, съ горячимъ румянцемъ во всю щеку, съ ясными карими глазами, ея дѣвственность, еще не тронутая развратомъ заводской жизни—невольно привлекали къ себѣ. Заводскіе ловеласы не разъ пускали въ ходъ свои игривыя преслѣдованія, но неиспорченная дѣвушка инстинктивно сторонилась отъ грязныхъ ласкъ, не обѣщавшихъ ей ничего хорошаго.

Когда она приходила въ контору за разсчетомъ, то обращала на себя вниманіе и счетоводовъ. Перья отбрасывались въ сторону, щелканье счетъ прекращалось и начинались безцеремонныя шуточки:

— Аппетитная штучка!

— Гм... интересная статья...

— Вотъ-бы на счетъ...

Дѣвушка краснѣла, брала свою разсчетную книжку и, получивъ деньги, торопливо выбѣгала изъ конторы.

У Насти не было матери. Ей было еще десять лѣтъ, какъ мать ея умерла. Отецъ прокормилъ ее до пятнадцати лѣтъ, а потомъ въ одинъ прекрасный день, вѣрный обычаямъ заводской старины, сказалъ дочери:

— Ступай робить... меньше тебя робятъ...

И Настя пошла. Архипъ—такъ звали ея отца—пользуясь заработкомъ дочери, началъ пьянствовать. Это былъ маленькій, невзрачный мужиченко, съ впалой грудью и рыжей, клинообразной бородкой, позволявшей видѣть тонкія, почти безкровныя, губы. Онъ любилъ свою покойную жену и когда напивался, то горько всхлипывалъ:

— Аннушка, Аннушка! зачѣмъ ты меня спокинула!

Когда-же отрезвлялся, то дѣлался сосредоточеннымъ и угрюмымъ. Заводскія кумушки поговаривали, что къ Архипу частенько полетываетъ его покойная жена, а одна изъ сплетницъ даже клялась и божилась, что она своими глазами видѣла, какъ Архипъ съ женой вылетѣли изъ трубы, сидя на палкѣ, и, покружившись нѣкоторое время въ пространствѣ, исчезли за горой, сопровождаемые блескомъ разсыпающихся отъ нихъ искръ.

Однако, нѣкоторыя изъ кумушекъ, подавленныя чрезвычайностью подобнаго происшествія, сомнительно покачали головами. Тогда оскорбленная свидѣтельница чуда подняла руки къ небу и торжественно провозгласила:

— Вотъ на самомъ-же этомъ мѣстѣ исполопайтесь мои глазаньки, ежели я соврала!

Послѣ такого непобѣдимаго аргумента, репутація Архипа окончательно провалилась, какъ человѣка, знакомаго съ нечистой силой.

Это крайне его раздражало и въ минуты припадка злости онъ колотилъ ни въ чемъ неповинную Настю. Дѣвушка терпѣливо переносила и старалась только угождать отцу.

Однажды, вечеромъ, послѣ сильнаго перепоя, Архипъ сидѣлъ въ своей избѣ мрачный до послѣдней степени, а Настя пряла. Дверь въ избу вдругъ отворилась и вошла маленькая женщина, съ расплюснутымъ носомъ и наглыми подслѣповатыми глазами. Эта женщина слыла на заводѣ подъ именемъ „Лѣшачихи“ и пользовалась громкой, вполнѣ заслуженной, славой содержательницы притона разврата, хотя она всѣхъ и каждаго увѣряла, что это распустили про нее совсѣмъ напрасно. Ея появленіе крайне удивило Архипа.

Лѣшачиха долго молилась на икону.

— Здоровенько-ли живете? - начала она заискивающимъ, тонкимъ голоскомъ.

— Ничего, слава Богу... отвѣтилъ Архипъ, мрачно покосившись на гостью.

— Ой, батюшка, Архипъ Иванычъ! Да ты никакъ все

хвораешь!... Экое ты горюшко, прости Господи! Иду я мимо васъ, а мнѣ и сказываютъ: „хвораетъ Архипъ-то Иванычъ"... Дай, думаю, зайду, навѣщу его, голубчика... Люди-то толкуютъ: „Лѣшачиха, да Лѣшачиха"... Нѣтъ, Архипушко, у Лѣшачихи не каменное сердце-то... Охо-хо-хоченьки!...

— Спасибо.. процѣдилъ сквозь зубы Архипъ, замѣтивъ, что гостья пошатывается.

— И никто его, родного, не поправитъ... Эхъ ты, чадышко... Накося, пей на здоровье! ..

Тутъ Лѣшачиха вынула изъ кармана бутылку водки и поставила на столъ.

Архипъ просіялъ, хотя и удивился.

— Да съ чего это ты, Анисья Митревна?...

— Пей, знай!... Покойной-то мой, вѣдь, съ похмѣлья замучился. Вотъ я теперь всякому и вѣрю... Кушай на здоровье ..

Архипъ жадно накинулся на водку, а съ нимъ выпила и Лѣшачиха. Началась дружеская бесѣда, кончившаяся полнѣйшимъ опьяненіемъ Архипа.

— А, вѣдь, я къ тебѣ, Архипушко, съ большей докукой... начала гостья снова.

— А што?

— Да отпусти ты ко мнѣ ночевать Настю... Сынъ-то у меня уѣхалъ... Одна-одинешенька... Намедни, слышь, у Орины-то воры были...

— Ну?

— Выйди, душенька! Боюсь спать одна, просто страсть какъ боюсь... Отпусти, Архипъ Иванычъ ..

— Мнѣ што.. бормоталъ Архипъ, ложась на лавку.- Настя, ступай, потому ежели Анисья Митревна сдѣлала мнѣ одолженіе... Ступай, Настя!

Дѣвушка чуяла что-то недоброе, но не посмѣла ослушаться пьянаго отца и, взявъ пряху, покорно вышла за Лѣшачихой.

Когда Настя пришла къ Лѣшачихѣ, то, къ удивленію своему, увидала на столѣ шипящій самоваръ и тарелку съ пряниками и орѣхами.

— Это для кого?—спросила она.

— А вотъ отъ скуки побалуемся чайкомъ... Давай-ко, Настинька, пей: не все горе приплакать, не все притужить... лепетала полупьяная Лѣшачиха, украдкой косясь на запертую дверь сосѣдней комнаты.

Настя выпила чашку чая и черезъ нѣсколько минутъ почувствовала странное головокруженіе. Чай показался ей довольно горькимъ на вкусъ, но дѣвушка не обратила на это особеннаго вниманія. Ей сдѣлалось весело. Лѣшачиха наливала чашку за чаш-

кой и зорко посматривала на Настю. Черезъ полчаса Настя вдругъ ни съ того ни съ сего затянула пѣсню и бросилась цѣловать Лѣшачиху.

— Ступай-ко, отдохни... ласково толкнула ее Лѣшачиха въ сосѣднюю темную комнату.

Смѣясь и пошатываясь, Настя натолкнулась на стоявшую здѣсь кровать и только что собиралась лечь, какъ чьи-то сильныя руки схватили ее. Настя хотѣла закричать, но та-же чужая рука зажала ей ротъ, а пьяный, захлебывающійся голосъ шепталъ ей на ухо:

— Голубка ты моя...

Робкій полусвѣтъ сѣренькаго зимняго дня проникнулъ въ окна. Лѣшачиха тихо встала съ своей постели и, крадучись, подошла къ сосѣдней комнатѣ. Послушавъ немного, она отворила дверь и глазамъ ея представилась странная картина. Настя въ одной рубашкѣ неподвижно сидѣла на кровати, съ обнаженной, почти полудѣтской, грудью. Глаза ея тупо и безсмысленно смотрѣли въ пространство. Когда Лѣшачиха подошла къ ней и тихо тронула за голое плечо—дѣвушка упала лицомъ на кровать и по избѣ разнесся отчаянный, надрывающій душу крикъ:

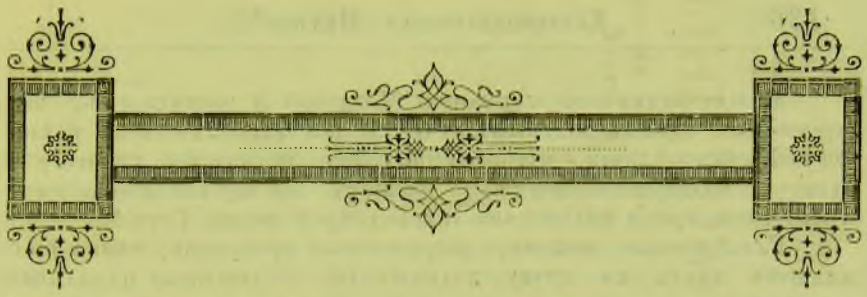
— Господи! што я надѣлала!...

* * *

Посмотри, какъ надъ краемъ далекихъ небесъ
Тихо гаснетъ румянецъ зари золотой,
Потемнѣлъ и умолкъ расцвѣтающій лѣсъ
И клубится туманъ надъ заснувшей рѣкой.
Эта вешняя ночь незамѣтно пройдетъ,
Чутко спитъ, упоенная лаской, земля...
Завтра яркое солнце лучами зальетъ
Пробудившійся лѣсъ и цвѣты, и поля.

Я люблю эту пору и грезъ, и тепла...
Но не вѣрю, весна, я улыбкѣ твоей:
Слишкомъ много кругомъ непроглядного зла
Подъ нарядною маской цвѣтовъ и лучей!
Много силъ полегло въ безысходной борьбѣ,
А борьба безъ исхода ужъ слишкомъ грустна...
Ахъ, зачѣмъ-же я раньше такъ вѣрилъ тебѣ,
Въ твои пѣсни и сны, дорогая весна!

А. Туркинъ.



БУЗИНОВЫЕ ЦВѢТЫ.

Разсказъ Осипа Тубина.

Пер. съ нѣмецкаго Вл. С—въ.

Большіе, неуклюжіе, буднично расположенные одинъ подлѣ другого въ рядъ дома, окрашенные въ свѣтло-зеленый, розовый или желтый цвѣтъ, жалкія мелочныя лавочки, въ которыхъ легіоны старыхъ сапогъ и башмаковъ, старыхъ брюкъ, шляпъ, а иногда и костей, выставленныхъ на продажу,—вонючія мясныя и зеленныя лавки съ несвѣжимъ мясомъ и вялыми овощами, запертыя, непріятно тихія, подозрительнаго вида лачужки, кое-гдѣ случайно открытыя ворота, чрезъ которыя можно видѣть рембрандтовски мрачный лабиринтъ, ко всему этому—страдающее англійской болѣзнью, барышничающее, картавое, отчасти іудейское, отчасти христіанское населеніе, атмосфера чеснока, плохого мяса и нездоровыхъ испареній,—въ общемъ циническая лѣнь квартала, въ которомъ всеобщность нужды освобождаетъ каждаго стыдиться и скрывать свою спеціальную нужду—вотъ іудейская часть города Праги, теперь, конечно, давно уже, подъ вліяніемъ современной гуманности, переименованная въ „Josephstadt“.

При такой отчасти спокойной, отчасти отвратительной обстановкѣ расположено здѣсь знаменитое іудейское кладбище, серьезное и страшное, какъ старая легенда, нашедшая себѣ мѣсто въ романѣ одного современнаго реалиста.

Между задумчиво журчащей Молдавой и госпиталемъ, выстроеннымъ однимъ знатнымъ іудеемъ для больныхъ безъ различія вѣроисповѣданій, отгороженное отъ неуклюжей синагоги и пустого, подозрительнаго дома—лежитъ это прохладное, зеленое мѣсто мира среди болѣзненно-лихорадочной жизни Гетто!

Разъѣденные мохомъ, разрушенные временемъ, тѣсно прижавшись другъ къ другу, поднимаются надгробные памятники надъ изумруднымъ дерномъ, подъ которымъ покоятся несмѣтныя генераціи своимъ послѣднимъ сномъ.

Дикій крыжовникъ склоняется въ ласковой задумчивости надъ старыми монументами, а черноствольныя бузиновыя деревья простираютъ надъ ними граціозно свои вѣтви. Другія изъ нихъ лежатъ поверженными бурей на землю, нетронутыя здѣсь ничьей заботливой рукой. Говорятъ, бузина насажена была здѣсь изъ гигіеническихъ видовъ—вбирать въ себя испаренія изъ могилъ и запахомъ своихъ цвѣтовъ въ жаркій іюньскій мѣсяцъ изгонять міазмы, которыя прежде вредно разносились съ кладбища.

Семью рядами покоятся здѣсь мертвые—одинъ надъ другимъ, такъ какъ по іудейскому обычаю человѣческіе останки не могутъ выкапываться изъ земли, которой разъ преданы. Кто поступалъ противнымъ образомъ, навлекалъ на себя гнѣвъ Іеговы, и со стороны земныхъ судей его преступленіе страшно наказывалось, какъ оскорбленіе религіи.

Цвѣты можно собирать на кладбищѣ даромъ, но ни одно, даже малѣйшее, украшеніе не оскверняетъ окаменѣлой суровости мѣста. Видно, что страданія живыхъ не нарушаютъ болѣе мира этихъ забытыхъ могилъ, такъ какъ кладбище стоитъ совершенно разобщеннымъ съ міромъ.

Только одна есть здѣсь могила, мимо которой проводникъ не безъ содроганія проводитъ чужестранца. Это—могила Липмана Бекка, который похороненъ здѣсь послѣднимъ въ 1784 г.

Могила стоитъ противъ дѣтскаго кладбища; она выдѣляется среди двухъ старыхъ монументовъ своимъ остро конечнымъ фронтономъ памятника. Сломанная бузина лежитъ возлѣ, непріятная мрачность окружаетъ это мѣсто, такъ какъ страшное событіе связано съ этой могилой,—мрачное, отъ котораго вѣетъ и отвратительной гнилью и поэтической прелестью, такъ какъ фантазія окончательно пытается смести слѣды истины. Поднимемъ только на одно мгновеніе спущенную завѣсу, а затѣмъ поспѣшно спустимъ надъ совершившимся, отворотимся и будемъ стараться забыть исторію Есѳири Блюмеле.

Какъ красива была Есѳирь Блюмеле! Ея золотистые волосы и голубые глаза славились среди всего черноглазаго, кудряваго населенія

іудейскаго квартала и даже многіе изъ христіанскихъ кварталовъ заходили иногда въ Гетто полюбоваться на красивую жидовку. Одѣтая постоянно въ бархатъ и атласъ, она держала себя, какъ принцесса. Въ комнатахъ ея можно было подивиться многимъ драгоцѣннымъ бездѣлушкамъ. Онѣ блестѣли отъ флорентійскихъ золотыхъ приборовъ, венеціанскихъ и французскихъ зеркалъ и люстръ и всевозможнаго рѣдкаго саксонскаго фарфора. Отецъ Есѳири, Соломонъ Блюмеле, былъ богатѣйшимъ человѣкомъ іудейскаго города и дочь свою любилъ безмѣрно. Какимъ образомъ пріобрѣлъ онъ богатства, не зналъ никто; говорили, что съ его золота капаютъ слезы и кровь.

Онъ жилъ въ небольшомъ домѣ, плотно прилегавшемъ къ кладбищу, высокомъ и узкомъ, какъ башня, украшенномъ изящнымъ балкономъ изъ кованаго желѣза. На окнахъ, выходившихъ на кладбище, часто цѣлыми часами просиживала Есѳирь и мечтала, особенно въ жаркіе іюньскіе дни, когда бузиновыя деревья стояли въ цвѣту и ароматъ ихъ, казавшійся такъ непріятнымъ для большинства, производилъ на нее какое-то очарованіе. Волнуя и вливая сладкую отраву, проникалъ онъ въ ея душу и сердце и навѣвалъ на нее сладкое усыпленіе. Если въ это время показывалась луна, на нее находило какое-то безпокойство, и часто ночью подымалась она съ окна и ходила вдоль выступовъ стѣны, спускалась иногда на кладбище и долго бродила между могилами. Казалось, она искала среди мертвыхъ какое-то таинственное счастіе.

Пробуждаясь на слѣдующее утро, она ничего не знала о своихъ ночныхъ путешествіяхъ, только чувствовала сильную головную боль и утомленіе. Доктора совѣтовали остерегаться безпокоить ее внезапно въ такихъ случаяхъ. Со временемъ это болѣзненное нервное разстройство должно было само собою пройти.

По причинѣ ея блѣдности и, можетъ быть, питаемой ею привязанности къ бузиновымъ цвѣтамъ, Есѳирь звали въ Гетто „бузиновымъ цвѣткомъ“.

Да, это было рѣдкое созданіе, какъ рѣдокъ былъ и видъ ея красоты! Станъ ея былъ высокъ и тонокъ, шея длинная, красиво сформированная, руки нѣсколько худощавыя. Ея богатые бѣлокурые, съ золотистымъ оттѣнкомъ, волосы красиво обрамляли продолговатое блѣдное лицо, изъ котораго выдѣлялись пунцовыя, рѣзко очерченныя, губы. Ея голубые съ золотистыми рѣсницами глаза, подъ изящно выведенными бровями, неподвижно были всегда устремлены въ даль.

Чистая и холодная, какъ хлопья снѣга, она напоминала собою ангела, какъ нарисовалъ его Ботичелли въ извѣстномъ образѣ, возлѣ трона Божіей Матери, съ лиліей въ рукѣ.

*

Если въ душу такого существа закрадывалась какая-нибудь мечта, отъ нея трудно было отдѣлаться; а если любовь коснется такого сердца, оно волнуется и бьется, какъ въ лихорадкѣ, и нѣтъ для него спасенія—оно умираетъ.

Есѳирь Блюмеле полюбила!

Предметъ ея любви былъ никто другой, какъ Липманъ Беккъ, кассиръ въ одномъ изъ богатыхъ банкирскихъ домовъ, изъ котораго еще и теперь можно видѣть могилу съ высокимъ остроконечнымъ памятникомъ.

Это былъ пустой человѣкъ, у котораго презрительное легкомысліе брало верхъ надъ занятіями, но знатнаго происхожденія и красивой наружности. Говорятъ, и Липманъ самъ часто съ удивительнымъ хвастовствомъ подтверждалъ, что отецъ его былъ дворяниномъ, влюбился въ дѣвушку іудейскаго происхожденія, бурно проводилъ свою брачную жизнь и, оторванный отъ своего общества, нуждающійся и задолжавшій, нашелъ себѣ убѣжище въ Гетто, гдѣ скоро и умеръ.

Изъ-за своего отца презиралъ Липманъ все окружающее его и былъ за то обвиняемъ въ разныхъ продѣлкахъ и ненавидимъ іудеями. Но женщинамъ нравился его высокомѣрно-презрительный видъ, его умѣнье скрывать въ своемъ модномъ костюмѣ желтые іудейскіе позументы. Но онъ во всемъ Гетто не обращалъ ни на кого вниманія, кромѣ Есѳири Блюмеле—„бузиноваго цвѣтка“.

Ея отецъ не хотѣлъ ничего и слышать о такомъ родствѣ. Онъ доказывалъ ей, что Липманъ ведетъ разгульную жизнь, что онъ остановился на ней не изъ-за сердечнаго влеченія, а отъ усталости, что онъ разобьетъ ея сердце своей грубостью и холодностью. На все это она не отвѣчала ни слова, только съ покорностью склоняла свою головку.

Съ каждымъ днемъ становилась она все блѣднѣе и блѣднѣе, цѣлыя ночи ходила безпокойно взадъ и впередъ, приложивши руку къ сердцу, останавливалась у окна и смотрѣла на кладбище.

Старикъ Блюмеле умеръ.

Есѳирь искренно горевала. Три мѣсяца спустя она была обручена съ Липманомъ Беккомъ.

Въ Гетто раздался глухой ропотъ негодованія. Только одно несчастіе, говорили, можетъ произойти изъ такого безразсуднаго начала. Представители квартала отвернулись отъ Есѳири.

А она находилась въ блаженномъ упоеніи, рядилась сама и украшала свою квартиру, въ которой должна была поселиться съ женихомъ.

Цѣлые дни прогуливалась она по разукрашеннымъ комнатамъ, задумчивая, погруженная въ упоительную мечту.

Наступилъ полдень понедѣльника іюньскаго дня 1784 года.

Есѳирь ждала жениха въ своей комнатѣ. Она была прекрасно одѣта въ шелковое платье стального цвѣта, съ свѣтло-желтымъ покрываломъ на головѣ. Вся обстановка комнаты терялась въ надвинувшихся сумеркахъ лѣтняго дня; только тамъ и сямъ можно было едва разобрать блескъ бронзовыхъ люстръ и золотыхъ украшеній.

Вдругъ на лѣстницѣ раздался шумъ, страшный, предвѣщающій бѣду шумъ! Есѳирь положила руку на сердце и прислушивалась. Дверь отворилась, толпа вломилась въ комнату, наполнившуюся тотчасъ и воплями, и злорадствомъ. Каждый хотѣлъ опередить другого сообщеніемъ Есѳири печальной вѣсти.

Часъ тому назадъ Линманъ Беккъ былъ найденъ съ ножемъ въ груди въ одной улицѣ, пользовавшейся дурной славой, предъ игорнымъ домомъ.

Есѳирь вскрикнула и затѣмъ осталась какъ-бы окаменѣлой съ распростертыми руками.

Ни одна слеза не выкатилась изъ ея глазъ, но у людей, видѣвшихъ ее, замерло сердце въ груди.

Она ничего не слышала и съ глухимъ стономъ, какъ смертельно раненый звѣрь, ринулась чрезъ толпу къ выходу.

— Куда?—спрашивали ее.

— Къ нему, посмотрѣть на него еще разъ, послѣдній разъ, —шептала она.

Окружающіе удерживали ее, стараясь всячески утѣшить. Между тѣмъ Есѳирь какъ будто сразу лишилась разсудка; какъ-бы покорная слову утѣшенія, она безсильно опустилась на мѣстѣ.

Когда она очнулась, воспоминаніе ея о случившемся было темно и сбивчиво.

Трупъ одѣли въ бѣлый саванъ, положили въ носилки изъ простыхъ навощенныхъ досокъ, въ которыхъ и бѣдныхъ, и богатыхъ іудеевъ отвозятъ на кладбище, и похоронили противъ дѣтскаго кладбища,—тамъ, гдѣ еще и теперь стоитъ могильный памятникъ.

Есѳирь стояла у окна своего узкаго, высокаго дома, бросавшаго длинную тѣнь на кладбище, и глядѣла.

Объ отцѣ она плакала много и искренно, но о женихѣ не проронила ни одной слезы. Всѣ ея мысли и чувства были направлены на прошедшее. Она грезила о пріятно проведенныхъ вмѣстѣ часахъ и улыбалась.

Быстро пришелъ и день, въ который была назначена ихъ свадьба.

Страшное безпокойство овладѣло ею. Она жестикулировала, какъ сумасшедшая, бродила изъ одной комнаты въ другую и ломала руки. Поднималась она и въ помѣщеніе, приготовленное

для ихъ новой жизни. Позднѣе видѣли ее стоящей у окна съ жаднымъ взоромъ, устремленнымъ на кладбище.

Здѣсь она простояла до поздней ночи.

На дворѣ стояла душная лѣтняя ночь, луна ярко свѣтила, бузина цвѣла.

Въ ближайшій день оказалось, что Есѳирь въ истекшую ночь остригла свои волосы, по іудейскому обычаю невѣсты въ день свадьбы, и стала носить на головѣ платокъ, какъ замужняя женщина,

Говорятъ, что горе по умершему лишило ее разума...

Вскорѣ послѣ этого, въ домахъ, сосѣднихъ съ домомъ Есѳири, разразилась страшная чума; доктора думали найти причину ея въ дурныхъ испареніяхъ, разносившихся съ кладбища, хотя съ того времени, по императорскому приказанію, ни одинъ мертвецъ болѣе не хоронился на старомъ кладбищѣ.

Прошли года... Въ соотвѣтствіи съ новыми требованіями быстро стала измѣняться старая архитектура іудейскаго квартала. Одинъ домъ поднялся вверхъ, другой—расширился; только домъ, съ изящнымъ желѣзнымъ балкономъ, возлѣ кладбища, остался нетронутымъ, по крайней мѣрѣ, человѣческой рукой, но время и непогода наложили на него свою разрушительную печать. Штукатурка почти отвалилась, кое-гдѣ выглядывалъ синій или красный кирпичъ. Изящно выдававшіеся каменные выступы, по которымъ прогуливалась по ночамъ Есѳирь, искрошились; окна были покрыты скользкими, слизистыми наростами и плѣсенью. Почти тоже было и внутри дома—мертвенно-тихо, бѣдно и жалко. Въ душные іюньскіе дни, когда бузина стояла въ цвѣту, часто можно было видѣть у окна худую женщину въ плохомъ коричневомъ платьѣ съ темнымъ платкомъ на головѣ, изъ-подъ котораго виднѣлось страшно блѣдное лицо, съ непріятно неподвижными, какъ у статуи, глазами. Но черты ея мало измѣнились: изящный обликъ лица сохранился вполнѣ, только выраженіе его было подавленное и бездушное. По временамъ по нему пробѣгала непріятная улыбка.

Старики разсказывали своимъ дѣтямъ про эту странную, бѣдно одѣтую женщину, что она была когда-то богатѣйшей и красивѣйшей дѣвушкой во всемъ Гетто.

Что-то таинственное отпечатлѣвалось на лицѣ безумной,—народная молва распространила по этому поводу злую басню.—Есѳирь не безумна, говорили они, она притворяется, чтобы лучше скрывать дьявольскую мудрость. Время отъ времени къ ней пріѣзжаетъ всадникъ съ косой въ рукахъ и по іудейскому кварталу распространяется страшная заразительная болѣзнь, такъ какъ

Есѳирь прокляла Гетто за смерть своего жениха!—Этотъ нелѣпый слухъ въ свое время испортилъ много крови и служилъ поводомъ даже къ народному волненію. Со временемъ забыли и о прежней красотѣ Есѳири, и о потерянномъ богатствѣ.

Но куда-же дѣлось громадное состояніе Соломона Блюмеле? Съ Есѳирью жила старуха, поселившаяся въ домѣ еще при жизни Соломона. Сара Катцъ замѣняла собою всю прислугу у одинокой Есѳири. Она была лѣтъ на пять старше хозяйки: у нея было желтое лицо, съ острыми, какъ у хищной птицы, чертами и глазами холодными и темными, какъ открытая могила. Она осталась незамужней, не изъ презрѣнія къ брачной жизни и не отъ несчастной любви, а потому, что была бѣдна и не могла ничѣмъ прельстить жениха. Всѣмъ сердцемъ привязалась она къ своему брату и его дѣтямъ, изъ которыхъ обожала хромого, съ черными кудрями, Игнатія.

Каждый день вечеромъ, лишь сумерки спускались на землю и нужда Гетто выползала изъ своихъ норъ, лишь показывались въ комнатахъ слабые огоньки и шумъ рѣки позади кладбища ясно разносился по іудейскому кварталу,—къ воротамъ дома Блюмеле осторожно подкрадывался хромой мальчикъ. Когда онъ выходилъ изъ дому, спускалась уже темная ночь.

Мальчикъ быстро выросъ. Онъ стоялъ уже во главѣ богатѣйшаго въ Гетто дѣла, имѣлъ красивую жену и хорошенькихъ дѣтей. И сердце старой Сары билось отъ радости!

Прошло много лѣтъ; Прагу посѣтила опять чума. По улицамъ леталъ побѣдоносный ангелъ смерти, повелительно стучалъ въ двери, никого не щадя—ни стараго, ни малаго, ни богатаго, ни бѣднаго. На улицѣ люди вдругъ падали на землю, корчились съ хрипѣньемъ въ мукахъ, съ странными симптомами внезапнаго зараженія. Иные умирали тутъ-же, другіе—спустя нѣкоторое время; трупы ихъ дѣлались черными.

Смерть настигала и въ церкви—у ступеней алтаря, гдѣ молили Всевышняго о защитѣ, и въ вагонахъ, куда забирались, чтобы уѣхать подальше отъ мора, и за обѣдомъ, которому предавались иные съ излишествомъ, чтобы забыть о страшной болѣзни. И постящіеся, и пирующіе, и молящіеся—всѣ одинаково и всюду были поражаемы. Никто не зналъ хорошенько болѣзни, доктора давали ей иностранное названіе.

Въ узкихъ улицахъ Гетто царилъ страхъ и ужасъ. Только Игнатій Катцъ стоялъ выше этого дѣтскаго страха. Онъ надѣлъ себѣ и своимъ дѣтямъ на шею металлическія вещицы, какъ предохранительные амулеты.

Былъ вечеръ субботы. Іудеи сидѣли въ своихъ молитвенныхъ

мантіяхъ въ синагогахъ и молили Іегову о состраданіи къ Израильскому народу, просили отвратить отъ нихъ заразу.

Душный лѣтній воздухъ наполнялъ улицы іудейскаго квартала. Низко нависли облака. Время отъ времени пролеталъ слабый горячій вѣтерокъ и снова замиралъ. На улицахъ въ этотъ часъ можно видѣть только женщинъ и дѣтей. Однѣ шли поодиночкѣ, низко опустивъ голову; по временамъ останавливались на мѣстѣ, какъ будто спѣшили домой и вмѣстѣ съ тѣмъ боялись того, что ихъ тамъ ожидаетъ. Нѣкоторыя проходили парами, разсказывая другъ другу о событіяхъ дня. Тамъ и сямъ виднѣлись группы. Къ запаху вялыхъ овощей и специфической вони этого бѣднаго уголка Праги примѣшивался запахъ сжигаемыхъ травъ и разныхъ куреній. Изъ нѣкоторыхъ домовъ доносились до улицы горячія молитвы, изъ другихъ—стоны умирающихъ.

Вдругъ сдѣлалось замѣтнымъ необычное волненіе. На улицѣ показалась старуха въ черномъ платьѣ, съ сѣдыми волосами, выбивавшимися изъ подъ чернаго чепца и падавшими на желтое лицо. Она охала, задыхалась, рвала на себѣ платье.

— Кто это?—спрашивали проходящіе другъ друга,—кто это?

— Сара Катцъ!

— Съ Есфирью что-нибудь случилось?

— Сохрани Богъ! Нѣтъ, у Игнатія умерло сегодня ночью двое дѣтей; говорятъ, онъ самъ лежитъ больнымъ. Вотъ старуха и потеряла голову. Она любила его, какъ зѣницу ока. Но куда она спѣшитъ? Въ аптеку? Сара!

Сара не слышала. Она бѣжала, шатаясь, къ дверямъ синагоги.

Іудеи выходили изъ дома молитвы, слабый красный свѣтъ виднѣлся сквозь открытыя двери. Старики вели раввина подъ руки. Онъ прошелъ мимо нея.—Выслушай меня, ради Бога, выслушай! Я могу тебѣ довѣрить страшную тайну... Останься, слушай: преступленіе, страшное преступленіе случилось... Выслушай!

Ее можно было принять за помѣшанную. Никто сначала не обратилъ вниманія на ея слова. Раввинъ еще разъ пытался отдѣлаться отъ нея, но она вцѣпилась въ него своими руками.

— Вы знаете, или, можетъ быть, не помните, такъ какъ это было давно,—начала она,—у Есѳири былъ женихъ, Липманъ Беккъ, найденный потомъ убитымъ на улицѣ и похороненный противъ дѣтскаго кладбища. Но могила его пуста, слышите, пуста! Ночью, въ которую должна была быть ихъ свадьба, Есѳирь не имѣла нигдѣ покоя, призывала его имя, подходила къ окну, простирала руки къ кладбищу и затѣмъ... надѣла свадебное платье и спустилась на кладбище, бросилась на могилу, цѣловала ее, рыла руками землю... Могильщикъ былъ подкупленъ, но на слѣдующій день былъ найденъ мертвымъ отъ укушенія змѣи.

До сихъ поръ ея рѣчи не придавали особой важности, но вотъ изъ толпы раздался голосъ старика:

— Это правда, я припоминаю. У мертваго могильщика нашли два золотыхъ браслета и тяжелую золотую цѣпь.

Толпа сдѣлалась внимательной. Глаза Сары блестѣли, какъ раскаленные уголья, губы дрожали отъ волненія и страха.—Есѳирь вырыла его изъ земли и я помогала ей въ этомъ. Мертвецъ внесенъ былъ въ домъ; онъ ничуть не испортился и былъ также хорошъ, какъ прежде. Есѳирь обнимала его и покрывала поцѣлуями...—Раввинъ взялъ ее за руку.—Пойдемъ отсюда,—сказалъ онъ тихо и хотѣлъ увести,—пойдемъ, ты не знаешь, что говоришь..... Это ужасный бредъ,—сказалъ онъ, обратившись къ толпѣ,—вѣдь, невозможно это.

Напряженіе толпы достигло крайней степени. Всѣ хотѣли слушать и раввинъ не могъ противиться требованію толпы. Сара продолжала.

Слова лились у нея горячимъ потокомъ. Когда трупъ сталъ разлагаться, паническая безпомощность овладѣла несчастной невѣстой мертвеца; трупъ былъ снесенъ въ подвалъ, гдѣ и сгнилъ; скелетъ еще и теперь можно найти на старомъ мѣстѣ. Все это разсказывала Сара Катцъ въ дверяхъ синагоги. Толпа затаила дыханіе. Раздался крикъ: „назадъ, назадъ!“

Стоявшіе прислонились къ стѣнѣ, давая мѣсто носилкамъ съ больнымъ, накрытымъ холстомъ.

Носилки пронесли. . Какъ порывъ бури—сначала тихій, затѣмъ все усиливающійся и, наконецъ, бушующій,—такъ раздался по улицамъ вопль мести возмущеннаго іудейскаго населенія!

У окна узкаго дома возлѣ кладбища стоитъ блѣдная, старая женщина и улыбается, смотря на цвѣтущія бузины.

Волнующаяся толпа съ крикомъ и проклятіемъ поднималась по лѣстницѣ. Въ комнатѣ раздался страшный крикъ.

Когда вошли,—все было пусто. Есѳирь услышала приближеніе толпы и скрылась. Толпа бросилась изъ комнаты въ комнату. .

Сара вела себя, какъ помѣшанная...—Тамъ... тамъ!—торжественно воскликнула она, указывая на полуоткрытый шкафъ. Въ глубинѣ его виднѣлась потаенная дверь—входъ въ подвалъ, гдѣ Соломонъ Блюмеле хранилъ контрабандные товары.—Свѣту, свѣту!

Толпа ринулась по скользкой лѣстницѣ въ подвалъ, а впереди всѣхъ съ свѣчей въ рукѣ Сара Катцъ.

Отвратительный, гнилой воздухъ охватилъ входившихъ. Свѣча потухла. Сквозь темное окно съ рѣшеткой пробивался слабый свѣтъ.

— Тамъ... да, тамъ... раздался въ подвалѣ звучный голосъ.

Въ углу, прижавшись къ стѣнѣ, лежала мертвая Есѳирь. Возлѣ нея—закутанный въ полуистлѣвшія лохмотья—человѣческій скелетъ.

Прошло нѣсколько лѣтъ съ того времени. Домъ Есѳири былъ сравненъ съ землею; все, что только напоминало объ ея винѣ, было уничтожено.

Но бузина еще цвѣтетъ надъ тихими могилами стараго кладбища и, о чудо, не смотря на грязь, нужду и излишекъ населенія, іудейскій кварталъ теперь считается вполнѣ здоровою частью Праги!

Чума прекратилась.

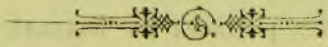
* * *

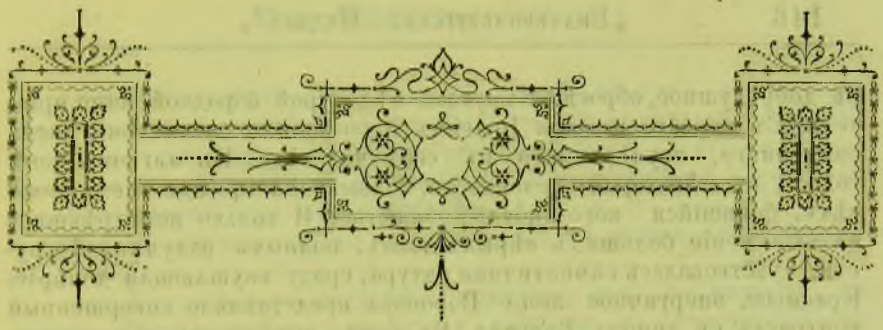
Звѣздочки искрятся въ ясной синевѣ,
Имъ въ отвѣтъ росинки свѣтятъ на травѣ;
Тихо плещетъ сонная рѣка.
Звукъ-ли, замиравшей въ сторонѣ, свирѣли,
Иль аккордъ послѣдній соловьиной трели
Долетитъ, порой, издалека.

Вѣтерокъ-шалунъ, жаркій, какъ лобзанье,
Изрѣдка нарушитъ сна очарованье:
Онъ неслышно взялся въ сторонѣ,
Пролетѣлъ украдкой, гладь рѣки взволнуя,
Да листочки дружно, точно негодуя,
Въ слѣдъ ему лепечутъ въ полуснѣ...

И опять все тихо... Спи, моя родная,
Мать природа! Тихо замирая,
Вонъ алѣетъ зорька впереди...
Ты воспрянешь и въ величьи гордомъ
Загремишь торжественнымъ аккордомъ
Дивной пѣсни жизни и любви!

А. Туркинъ.





УЛАДИЛОСЬ.

(Разсказъ)

Н. В. Казанцева.

Тотъ намъ чужой, кто съ нами не страдалъ,
Кто не дѣлилъ ни радости, ни горя,
Кто въ челнокѣ намъ плыть не помогалъ
Средь грозъ и бури жизненнаго моря.

I.

Къ крыльцу небольшого деревяннаго дома, находящагося въ одной изъ отдаленныхъ улицъ города N—ска, подъѣхала извозчичья пролетка. Изъ нея вышелъ, одѣтый въ щегольское лѣтнее платье, средняго роста брюнетъ и позвонилъ у крыльца.

Дверь отворила пожилая женщина и на вопросъ: „дома-ли Федоръ Ивановичъ Брагинъ?"—отвѣчала пріѣзжему: „дома, пожалуйте". Гость сбросилъ верхнее пальто и, войдя въ небольшую, свѣтлую комнату, направился къ сидѣвшему у стола человѣку.

— Здравствуй, Федоръ!—громко сказалъ онъ.

Хозяинъ быстро обернулся и, увидавъ гостя, растерялся отъ неожиданности.

— Вороновъ!

— Не ожидалъ? Ну, здравствуй, дружище!—громко заговорилъ Вороновъ, крѣпко пожимая руку и внимательно вглядываясь

въ добродушное, обросшее круглой бѣлокурой бородкой, лицо пріятеля. Съ перваго взгляда Брагинъ производилъ впечатлѣніе очень смиреннаго, неувѣреннаго въ себѣ человѣка. Въ мягкомъ тонѣ голоса, въ нѣкоторой неловкости, сказывался прежде всего человѣкъ, боявшійся кого-нибудь обидѣть... И только всмотрѣвшись въ выраженіе большихъ сѣрыхъ глазъ, полныхъ задумчивой грусти, чувствовалась симпатичная натура, сразу внушающая довѣріе. Красивое, энергичное лицо Воронова представляло совершенный контрастъ съ лицомъ Брагина. Въ немъ выражалась и непоколебимая увѣренность въ себѣ съ сознаніемъ своего превосходства.

— Надолго?—спросилъ Брагинъ послѣ небольшого молчанія.

— Нѣтъ! Я пріѣхалъ за ней,—нервно заговорилъ Вороновъ. —Говори скорѣе—здорова она?

Брагинъ покраснѣлъ и нѣсколько секундъ не могъ отвѣтить.

— Да говори-же скорѣе! Я рѣшилъ прежде всего увидаться и переговорить съ тобой, а потомъ уже идти къ ней... Говори-же: я, вѣдь, ничего не знаю.

— Это отъ тебя зависѣло,—тихо, не смотря на Воронова, отвѣчалъ Брагинъ,—ты больше года не писалъ ни ей, ни мнѣ и даже не поинтересовался узнать, что здѣсь происходитъ.

— Въ письмахъ ничего нельзя было объяснить... Я каждый день рвался пріѣхать...

— Долго-же продолжались твои порывы...

— Я вовсе не такъ виноватъ, какъ ты думаешь. Да говори-же: здорова она?

— Она здорова.

— Слава Богу! О, если-бъ ты зналъ, какъ я проклиналъ каждый день дѣло, по которому уѣхалъ!.. Ты знаешь, что я хотѣлъ вернуться сюда, устроивши себѣ прочное положеніе. Добившись этого, я и вернулся къ любимой женщинѣ. Неужели, Федоръ, ты думалъ, что я негодяй?

Послѣднія слова были сказаны грустнымъ тономъ.

— Нѣтъ, Василій Николаевичъ! я этого никогда не думалъ, но оставить на два слишкомъ года любимую дѣвушку и оставить ее въ такомъ положеніи...

— Гдѣ ребенокъ?... Живъ, здоровъ?

— Здоровъ.

— Ты знаешь, что, уѣзжая отсюда, я не подозрѣвалъ, что могу быть отцомъ... Вернуться и бросить все,—значило погубить результаты годового труда. Впрочемъ, я бы и вернулся, если-бъ не зналъ, какому вѣрному, дорогому другу я поручилъ мою будущую жену и моего ребенка...

Федоръ Ивановичъ покачалъ головой и укоризненно замѣтилъ:

— За мишурой ты гнался!... Очень ей было нужно твое обезпеченное положеніе! За что ты заставилъ ее столько страдать?

— А ты думаешь,—я не страдалъ? Знай я, что она беременна, я бы обвѣнчался до отъѣзда. Все это время я работалъ для будущности ея и моего ребенка.

— Не понимаешь ты ея! Да развѣ ей нужно обезпеченное положеніе?

— Федоръ! я не могу такъ идеально, какъ ты, смотрѣть на вещи... Разсказывай-же скорѣе: ея мать ничего не подозрѣваетъ?

— Нѣтъ. Мы уѣхали въ М—скъ, тамъ она родила и вернулась сюда... Ребенка я привезъ потомъ къ себѣ... По поводу ея поѣздки ходили сплетни, но правды не узналъ никто... Помогло счастливое стеченіе обстоятельствъ: мать Ольги заболѣла ревматизмомъ и не могла пріѣхать къ ней... Словомъ—туча прошла мимо.

— Гдѣ-же мой мальчикъ?

— У меня. Теперь его унесли гулять. Ольга Ивановна приходитъ сюда каждый день.

— И это никому не бросается въ глаза?

— Сплетни, конечно, есть. Впрочемъ, она бываетъ у меня подъ предлогомъ урока, который даетъ дочери моей хозяйки.

— Федоръ, ты удивительный человѣкъ!—вскричалъ Вороновъ, обнимая его,—ты все такъ умно, такъ ловко устроилъ... Ты спасъ ея репутацію... словомъ, ты такой другъ, у тебя такое сердце!...

— Перестань, пожалуйста!

— Ну, а что-же говорилось по поводу ребенка?

— Что онъ мой. Когда я ѣхалъ въ М—скъ, я заранѣе разсказывалъ, что ѣду за ребенкомъ.

— Плохо, я думаю, вѣрили?

— Да, смѣху надо мной было довольно. О матери я сказалъ, что она умерла.

— Умница ты! Въ письмахъ ты только сообщалъ мнѣ въ общихъ чертахъ... Ну, а еще что?

— Ничего больше. Она здорова, сынишка твой тоже, ходить начинаетъ, говорить. Прелесть—мальчишка!

— Федоръ, поѣдемъ сейчасъ къ ней!

— Не лучше-ли тебѣ встрѣтиться съ ней у меня?... Черезъ полчаса она придетъ... я думаю,—тебѣ лучше переговорить съ ней здѣсь, чѣмъ у нихъ дома.

— О, конечно!—Еслибъ ты зналъ, какъ я скучалъ, мучился эти годы.

— Ну, она побольше твоего мучилась!...

— Ну, а ты какъ поживалъ это время?—спросилъ Вороновъ

послѣ небольшой паузы.—Попрежнему работаешь за гроши и позволяешь другимъ загребать жаръ твоими руками?

— Вовсе этого нѣтъ, а практичности во мнѣ столько-же, сколько было и раньше.

— А пора-бы, Федоръ. Тебѣ ужъ за тридцать перешло.

— Такъ что-жъ? Мнѣ моего заработка и такъ дѣвать некуда.

— Да, вѣдь, не вѣчно-же ты будешь бобылемъ? Неужели въ тебѣ нѣтъ потребности личнаго счастья?

Брагинъ ничего не отвѣтилъ и въ свою очередь спросилъ Воронова:

— А ты теперь большіе оклады получаешь?

— Шесть тысячъ гарантированнаго жалованья и паи въ дѣлѣ... Не даромъ-же я три года мыкался, чортъ знаетъ, по какимъ трущобамъ.

Вороновъ всталъ и нервно заходилъ по комнатѣ.

— Скоро она придетъ?—спросилъ онъ, взглянувъ на часы.

— Обыкновенно она приходитъ въ пять.

— Еще десять минутъ до пяти.

— Ты хочешь, можетъ быть, взглянуть на мальчика?

— Да, но сначала я хочу видѣть ее.

Въ эту минуту послышался звонокъ.

— Она?—вскричалъ Вороновъ.

— Да; подожди, ее нужно предупредить,—торопливо сказалъ Брагинъ, уходя въ переднюю.

Но онъ опоздалъ: дверь въ переднюю осталась не затворенной и со словами: „А Вася въ саду?“—въ комнату вошла молодая женщина.

Всѣ трое такъ и остались на своихъ мѣстахъ. Молодое, красивое лицо вошедшей, красивое той внутренней красотой, которую оставляетъ по себѣ бодро перенесенное горе, поблѣднѣло отъ неожиданности; каріе, вдумчивые глаза стали еще больше: въ нихъ отразился не то испугъ, не то недоумѣніе.

— Ольга! Дорогая моя!—бросился къ ней Вороновъ.

Брагинъ всталъ и тихо вышелъ изъ комнаты, плотно затворивъ за собой двери.

— Ольга! наконецъ-то я снова съ тобой!—говорилъ Вороновъ, цѣлуя ея руки.

Она подняла на него глаза и, тихо освободивъ свои руки, проговорила:

— Три года!...

Легкое головокруженіе заставило ее въ безсиліи опуститься на стулъ.

— Ольга, прости меня!—говорилъ Вороновъ, опускаясь предъ ней на колѣни,—я пріѣхалъ вымолить у тебя прощеніе.

— Прощеніе?

— Да, за то, что оставилъ тебя страдать одну. Но, дорогая моя, за это время я успѣлъ создать прочное положеніе; я работалъ для моей жены и нашего ребенка... Ольга, ты мнѣ его покажешь?

Молча сидѣла молодая женщина, опустивъ глаза, и только румянецъ, вспыхивающій на щекахъ, выказывалъ внутреннее волненіе.

— Оля, ты молчишь? Да говори-же! Неужели ты не рада мнѣ?—спросилъ онъ, вставая.

— Не знаю, я ничего не могу понять, ничего не соображу, —отвѣтила она, точно про себя.

— Да что-же тутъ соображать, Оля? Я здѣсь, я пріѣхалъ за тобой, моя милая... Остается только повѣнчаться...

— Повѣнчаться?—вздрогнувъ, повторила она

— Конечно... Оля, да посмотри-же на меня, скажи, что любишь, что рада мнѣ,—говорилъ онъ, обнимая рукой ея талію.

— Василій Николаевичъ!—заговорила она,—мы такъ давно не видали другъ друга.

— Оля! это зло! Неужели ты могла подумать, что я забылъ тебя?

— Я все могла думать, не получая семь мѣсяцевъ ни одного письма...

— Прости меня! я каждый день рвался къ тебѣ и все откладывалъ писать... Притомъ, у меня была такая масса дѣла, что не оставалось свободной минуты... Впрочемъ, я телеграфировалъ Федору мѣсяца три назадъ, что я скоро выѣзжаю.

— Никакой телеграммы онъ не получалъ.

— Это вышла несчастная случайность—телеграмма затерялась, и я узналъ объ этомъ всего за два дня до отъѣзда... Но, Оля моя, я не зналъ, что ты придаешь такое значеніе моимъ письмамъ.

Ольга съ удивленіемъ посмотрѣла на него.

— Какъ? Ты не понимаешь, что я только и жила ими? Наконецъ, я не знала—живъ-ли даже ты?

— Вотъ вздоръ какой! До этого времени ты не могла пожаловаться на мою неаккуратность.

— Да, разъ восемь въ годъ я получала отъ тебя по одному листу бумаги.

— Ну, прости мнѣ, моя дорогая! Для меня писать—чистое наказанье. Теперь разлука кончена, я навсегда твой.

И съ этими словами Вороновъ хотѣлъ ее обнять.

— Я и до сихъ поръ не могу понять,—говорила она, отклоняясь отъ его поцѣлуя,—зачѣмъ и для чего нужна была эта долгая разлука.

— Для прочности нашего счастія. Конечно, я бы не уѣхалъ, зная, что ты будешь матерью... Прости-же меня за все, моя Оля! Хотя ты и послала мнѣ твое дорогое прощеніе въ письмѣ, но я хочу услышать его еще разъ лично отъ тебя.

— Зачѣмъ еще разъ повторять то, что уже сказано?

— Оля, неужели ты не рада мнѣ? Ты даже не поздоровалась со мной. Дорогая, вѣдь я люблю тебя, больше, сильнѣе, чѣмъ прежде!—задушевно говорилъ Вороновъ, привлекая къ себѣ Ольгу.

Она склонилась къ нему на плечо головой, не отвѣчая на поцѣлуи, и Вороновъ увидалъ слезы на глазахъ любимой женщины; но это не были слезы радости послѣ долгой разлуки.

— Какъ ты не привѣтлива, какъ холодна ко мнѣ!—вырвалось у Воронова.—Ты мнѣ совсѣмъ не рада!

Ольга что-то хотѣла сказать, но въ это время въ комнату вошелъ Брагинъ, ведя за руку краснощекаго, здороваго двухлѣтняго ребенка.

— Мама! мама!—заговорилъ тотъ, протягивая рученки къ молодой женщинѣ.

Ольга быстро схватила его на руки и стала цѣловать.

— Правда,—подумалъ въ эту минуту Брагинъ, снова уходя изъ комнаты,—что нѣтъ ничего красивѣе молодой матери съ ребенкомъ на рукахъ.

Обнявъ шею Ольги, ребенокъ что-то сообщалъ ей на своемъ особомъ языкѣ, который такъ понятенъ сердцу матери.

Вороновъ молча смотрѣлъ на эту картину. Если-бъ спросили его, что онъ чувствовалъ въ эту минуту, онъ затруднился-бы отвѣтить.

— Вася, смотри: это папа!—говорила ребенку Ольга, указывая на Воронова.

Ребенокъ внимательно и серьезно посмотрѣлъ на отца и, отвернувшись, отвѣтилъ, указывая на дверь:

— Папа тамъ.

— То дядя, а это папа.

— Папа тамъ,—повторилъ ребенокъ.

Вороновъ быстро наклонился и поцѣловалъ ребенка нѣсколько разъ. Тотъ капризно отвернулся, спряталъ лицо въ складкахъ платья матери и пролепеталъ, забавно коверкая слова:

— Чужой!

— Вотъ и говорите послѣ этого о голосѣ крови!—вырвалось у Воронова.

— Вася! не хорошо! Фи, какой капризный мальчикъ! Это папа пріѣхалъ. Онъ Васю любитъ... Поцѣлуй его, мой мальчикъ!

— Чужой!... упрямо твердилъ ребенокъ.

— Неужели ему никогда не говорили обо мнѣ?—съ горечью спросилъ Вороновъ.

— Всегда говорили. Что же вы хотите отъ ребенка, который видитъ васъ въ первый разъ?... Осмотрится—узнаетъ. Онъ ласковый ребенокъ.

— Мама, пойдемъ тпруа. Папа тамъ,—говорилъ Вася, слѣзая съ колѣнъ матери.

— Да, мы пойдемъ гулять. А теперь посиди здѣсь.

— Вася къ папѣ...

— То дядя Федя, а вотъ папа. Онъ тебя любитъ, игрушекъ тебѣ привезъ.

— Вася, иди ко мнѣ!—говорилъ отецъ, протягивая къ нему руки.

Ребенокъ отрицательно покачалъ головой и спрятался за платье матери.

— Характеръ есть,—замѣтилъ недовольно Вороновъ.

— Онъ не капризный и не упрямый,—говорила мать,—онъ очень ласковый ребенокъ и чрезвычайно любитъ Федора Ивановича.

— Папа Тедя, ахъ!—говорилъ мальчикъ.

— Это что-же значитъ на его жаргонѣ?

— Что Федоръ Ивановичъ хорошій. Онъ, вмѣсто дяди Феди, всегда зоветъ его папа „Тедя“. Онъ и меня меньше любитъ, чѣмъ Федора Ивановича... Впрочемъ, оно и понятно: я вижу его всего часъ или два, и то не каждый день,—съ грустью добавила Ольга.

— Теперь этого не будетъ. Какъ только мы обвѣнчаемся, ты сейчасъ-же возьмешь его къ себѣ... Я понимаю, какъ было тебѣ тяжело не видѣть его постоянно возлѣ себя.

— Дальше я была не въ силахъ выносить подобное положеніе!... Ты представь, что я должна была перечувствовать, когда онъ заболѣлъ!...

— Бѣдная ты моя! Какъ много ты вынесла!... Но теперь, Оля, все это кончено. Пойдемъ сейчасъ къ твоей матери... Ахъ, кстати—какъ ея здоровье?

— Слабѣетъ моя старушка,—со слезами на глазахъ выговорила Ольга.

— Пойдемъ-же къ ней и скажемъ, что мы хотимъ вѣнчаться... Я думаю, моя Оля ничего не имѣетъ противъ того, чтобъ сдѣлать это какъ можно скорѣе?

Вася, сидѣвшій смирно на колѣняхъ у матери, снова сталъ просить, чтобъ его повели гулять.

— Пойдемте въ садъ,—сказала Ольга, уводя ребенка.

Увидавъ Федора Ивановича, задумчиво сидѣвшаго на скамьѣ подъ густой липой, ребенокъ вырвалъ рученку и довольно бойко побѣжалъ къ Брагину, крича:

— Папа Тедя, папа Тедя!

Федоръ Ивановичъ взялъ его на руки и унесъ въ глубину сада.

— Отчего ты все молчишь—заговорилъ Вороновъ, садясь рядомъ съ Ольгой на скамью.

— Я все еще не могу придти въ себя отъ неожиданности.

— А я думалъ,—грустнымъ тономъ замѣтилъ Вороновъ,—что ты меня ждала и больше мнѣ обрадуешься.

Ольга ничего не отвѣтила. Только складка на лбу показывала, какъ напряженно работаетъ мысль молодой женщины.

— Милая моя!—заговорилъ нѣжно Вороновъ,—я понимаю, что мой пріѣздъ взволновалъ тебя и пробудилъ много тяжелыхъ воспоминаній... Но, клянусь, что я съумѣю загладить прошлое. Обвѣнчавшись, мы уѣдемъ, и новая обстановка, и моя любовь залѣчатъ старое горе.

— Василій Николаевичъ!—заговорила Ольга рѣшительно,—я не могу оставить мать.

— Мы можемъ прожить здѣсь около мѣсяца...

— Да, но потомъ все-таки придется уѣхать, а я не могу.

— Оля, такъ какъ-же ты думаешь сдѣлать?—тревожно спросилъ Вороновъ.

— Ахъ, я право не знаю,—тоскливо отвѣтила Ольга.

— Такъ вотъ о чемъ ты тревожишься, моя родная? Если такъ, то мы увеземъ ее съ собою.

— Да развѣ это возможно въ ея положеніи?

— Навѣрно, возможно. Мы будемъ жить въ Харьковѣ. Тамъ и климатъ лучше, и доктора.

— Я говорила раньше съ докторомъ, который лѣчилъ маму, онъ положительно увѣряетъ, что ей не проѣхать и ста верстъ.

— Ну, много они знаютъ, здѣшніе эскулапы!

— Годъ назадъ это бы еще можно сдѣлать, а не теперь.

— Да вздоръ-же это, Оля! Мы окружимъ ее всевозможными удобствами. Не безпокойся, голубушка, ты увидишь, какъ я все это отлично устрою... Ахъ, да! я еще не переговорилъ съ Федоромъ, какъ устроить относительно усыновленія ребенка.

— Развѣ ты забылъ, что это сдѣлано? Федоръ Ивановичъ тогда-же усыновилъ его...

Вороновъ нѣсколько смѣшался.

— Да, вспомнилъ... Очень жаль, что вы поторопились... это очень непріятно! Впрочемъ, мы это какъ-нибудь устроимъ.

Въ эту минуту послышался звонкій смѣхъ ребенка, бѣгущаго къ матери. Брагинъ шелъ за нимъ.

— Мы желаемъ видѣть маму,—сказалъ онъ, подходя.

— Федоръ,—обратился къ нему Вороновъ,—у насъ будетъ

къ тебѣ еще одна просьба: устроить поскорѣе все, что нужно для нашей свадьбы; я ничего не знаю въ этихъ дѣлахъ.

— Тутъ и хлопотъ никакихъ не нужно,—слегка поблѣднѣвъ, отвѣчалъ Брагинъ—всѣ нужныя бумаги, навѣрно, найдутся и у тебя, и у Ольги Ивановны.

— Такъ ужъ ты, пожалуйста, устрой все.

Ольга, занимавшая Васю, взглянувъ на часы, торопливо сказала:

— Мнѣ пора. Нужно домой.

— Ну, и отлично! Такъ мы всѣ и отправимся къ твоей мамѣ. Федоръ, ты, конечно, съ нами?

— Нѣтъ!—рѣшительно сказала Ольга,—я пойду одна... А вы приходите завтра часовъ въ одиннадцать.

— Но почему-же? Лучше сегодня-же все объяснить твоей матери.

— Нѣтъ... Я прошу оставить это до завтра,—говорила Ольга, торопливо прощаясь съ ребенкомъ.

— Не смѣю настаивать. Но, по крайней мѣрѣ, я провожу тебя.

— До завтра, мой другъ,—сказала Ольга, крѣпко пожимая руку Брагина.

— Оля,—говорилъ дорогой Ворсновъ,—я не узнаю тебя. Ты такъ холодна со мной. Наконецъ, я вижу, что ты имѣешь что-то противъ меня и не хочешь высказаться.

— Завтра переговоримъ обо всемъ,—уклончиво отвѣчала Ольга.

За нѣсколько шаговъ отъ дома она остановилась и, подавая руку, сказала:

— До завтра!... Не провожайте дальше.

Вороновъ недовольно пошелъ обратно.

II.

Оставшись одинъ, Брагинъ позвалъ няню и, передавъ ей ребенка, сѣлъ на скамью и глубоко задумался. Грустное выраженіе глазъ и нервное подергиванье губъ показывали, что не веселыя думы бродятъ въ головѣ Федора Ивановича. Онъ даже вздрогнулъ слегка, когда вернувшійся Вороновъ сѣлъ рядомъ съ нимъ.

— Федоръ!—заговорилъ онъ, чертя своей изящной тросточкой фигуры на пескѣ аллеи,—объясни мнѣ, что такое съ Ольгой? Неужели она могла сомнѣваться въ моемъ возвращеніи?

— Согласись, что если и такъ,—отвѣтилъ Брагинъ,—она имѣла на это полное право.

— Дѣло не въ томъ—имѣла-ли право, а въ томъ—думала-ли она это? Федоръ, мнѣ необходимо знать.

— Прямо она не высказывалась... Только разъ, въ послѣднее время, она сказала, что если ты живъ,—а мы могли сомнѣваться и въ этомъ,—такъ, вѣроятно, дѣла задержатъ тебя еще на годъ или на два.

— И вы могли это думать? Неужели она не вѣрила моей любви? Да, наконецъ, въ честности моей вы не могли сомнѣваться...

— Въ ней-то она никогда и не сомнѣвалась. Но ты забываешь,—вѣдь она могла думать, что именно только обязанность могла вернуть тебя сюда.

— Это жестоко!

— А не жестоко оставить болѣе полугода въ неизвѣстности любимую женщину, мать своего ребенка?

— Федоръ! И ты это говоришь, ты, такой добрый, такой снисходительный къ людямъ!... Ты говоришь такимъ раздраженнымъ тономъ...

— Подумай, Василій Николаевичъ! пока ты разъѣзжалъ по далекимъ окраинамъ, составляя себѣ состояніе,—на моихъ глазахъ три года страдала эта женщина. Думалъ-ли ты, при какихъ условіяхъ она жила все это время? Съ одной стороны больная, умирающая мать, съ другой стороны ребенокъ, котораго она видитъ одинъ разъ въ день... Сплетни, двухсмысленное положеніе... Эхъ, Василій Николаевичъ! да развѣ такъ любятъ!—съ горечью закончилъ Брагинъ.

— Да, ты правъ отчасти... Но развѣ я не мучился и не страдалъ?

— Извини: кто страдаетъ, тотъ понимаетъ чужія страданія. Нѣтъ, Василій Николаевичъ, ты слишкомъ легко и эгоистично смотрѣлъ на все.

— Что-же я долженъ былъ дѣлать по твоему?

— Да тутъ и спрашивать нечего. Узнавъ, въ какомъ она положеніи, вернуться и обвѣнчаться.

— Да развѣ я могъ увезти беременную женщину въ глушь Средней Азіи?

— Да она пѣшкомъ бы за тобой пошла! Да, наконецъ, тогда бы она, если-бъ даже ты и не взялъ ее съ собой, не была-бы разлучена съ ребенкомъ! Ты даже имени-то ему не далъ! Вспомни, какъ я уговаривалъ тебя вернуться...

— Твои письма доходили до меня черезъ два-три мѣсяца... Я и хотѣлъ вернуться, но не могъ вырваться...

— Ну, понятно—дѣла!

— Не иронизируй. Ты всегда витаешь въ эмпиреяхъ, а я живу въ реальномъ мірѣ. Я считалъ своей нравственной обязан-

ностью создать независимое положеніе для моей жены и моего ребенка. Ну, довольно объ этомъ. Я не оправдываюсь, но и не могу обвинять себя вполнѣ...

Наступило молчаніе.

— Меня больше всего безпокоитъ теперь, какъ мы увеземъ отсюда мать Оли?—заговорилъ Вороновъ.

— Увезти? Объ этомъ нечего и думать! Она едва-ли дотянетъ до осени.

— Но какъ-же быть? Дольше мѣсяца я не могу здѣсь оставаться.

— Но ты, надѣюсь, понимаешь, что не можетъ-же она уѣхать съ тобой.

— Это ужасно непріятно! Во всякомъ случаѣ надо переговорить съ докторами и, если есть хоть малѣйшая возможность,— увезти ее съ собой.

— Заранѣе говорю, что это не возможно.

— Но, вѣдь, болѣзнь можетъ затянуться!

— Да... годъ и больше...

— Это было-бы ужасно!

Брагинъ посмотрѣлъ на пріятеля.

— Няня!—громко закричалъ онъ,—сыро становится. Пора домой.

Няня, пожилая женщина съ добродушнымъ лицомъ, привела Васю.

— Прощайся съ папой,—сказала она.

Ребенокъ обѣими рученками обнялъ и поцѣловалъ Федора Ивановича.

— Прощайся и съ дядей,—сказалъ онъ.

Ребенокъ нехотя позволилъ себя поцѣловать.

— Какъ это все непріятно!—раздражительно замѣтилъ Вороновъ, когда няня унесла Васю.

Равнодушіе ребенка какъ-то невольно волновало Воронова. Онъ всталъ и большими шагами заходилъ по аллеѣ.

— Нѣтъ, надо скорѣе все кончить. Глупое положеніе—не смѣть назвать себя отцемъ своего ребенка.

— Ты одинъ день только испытываешь ложность этого, а она два года.

Вороновъ ничего не отвѣтилъ и разговоръ больше не возобновлялся на эту тему. Пріятели просидѣли еще часъ въ саду, изрѣдка перекидываясь нѣсколькими словами.

— Пойдемъ ко мнѣ, Федоръ,—сказалъ, вставая, Вороновъ,— скоротаемъ вечеръ вмѣстѣ.

— Отчего не у меня?

— Нѣтъ, мнѣ нужно быть дома.

Черезъ полчаса они сидѣли въ большомъ номерѣ гостиницы, въ которой остановился Вороновъ. Разговоръ не вязался и, посидѣвъ часовъ до двѣнадцати, Брагинъ собрался уходить.

— Такъ я завтра зайду за тобой,—сказалъ Вороновъ, провожая его.

— Я полагаю, что тебѣ лучше одному идти.

— Нѣтъ, пожалуйста, пойдемъ вмѣстѣ.

— Хорошо,—согласился, уходя, Брагинъ.

Вернувшись домой, онъ тихонько заглянулъ въ комнату Васи. При свѣтѣ лампадки, горѣвшей у образа, темно-русая курчавая головка ребенка красиво оттѣнялась на бѣломъ полотнѣ подушки.

— Давно спитъ,—сказала няня.

Федоръ Ивановичъ долго смотрѣлъ на ребенка.

— Увезутъ скоро,—больно кольнуло его въ сердце. И онъ, тихо притворивъ двери, ушелъ въ свою комнату.

— Увезутъ... Она уѣдетъ... Опять одинъ,—думалъ онъ, отворяя окно.

И горькое чувство охватило Федора Ивановича. Присѣвъ на стулъ, онъ сталъ смотрѣть въ садъ. Ночной вѣтерокъ пахнулъ на него ароматомъ цвѣтущей липы. Тихо шептались листья деревьевъ, да издали доносились звуки музыки, игравшей въ лѣтнемъ помѣщеніи клуба. Вспомнилось Федору Ивановичу его прошлое, цѣлая жизнь—одинокая съ дѣтства, полная невзгодъ и усидчиваго упорнаго труда. У него не было опредѣленной профессіи и дипломнаго образованія, но, разъ взявшись за какое-нибудь дѣло, онъ работалъ усидчиво и доводилъ его до конца. Деньги онъ называлъ печальной необходимостью и, благодаря такому взгляду, заслужилъ репутацію младенца въ практическомъ смыслѣ. Онъ зналъ, что его беззастѣнчиво эксплоатируютъ, но никогда не сердился на это. При скромныхъ потребностяхъ, его заработка хватало не только на себя, но и для другихъ. Знакомые и пріятели, хотя, и подтрунивали надъ его добротой и излишней деликатностью, но относились къ нему съ невольнымъ уваженіемъ. Что-то дѣтски чистое было въ этомъ чудакѣ и невольно привлекало къ себѣ. Горе, нужда-ли встрѣтится кому-нибудь изъ знакомыхъ, —шелъ онъ къ Брагину, зная, что всегда найдетъ и сочувствіе, и помощь, и практическій, дѣльный совѣтъ. Знакомство у него было во всѣхъ слояхъ общества, начиная съ скучающихъ дамъ мѣстнаго beau monde'а, съ помощью которыхъ онъ устраивалъ благотворительные спектакли и концерты въ пользу учащихся бѣдняковъ, и кончая городской голытьбой, которой онъ находилъ работу. То онъ пристраиваетъ какую-нибудь учительницу, очутившую-

ся безъ мѣста, то выходитъ защищать въ судахъ мужиковъ. Въ судѣ такъ его и звали „крестьянскимъ адвокатомъ."

— Удивительный вы чудакъ,—говорилъ ему одинъ знакомый присяжный повѣренный,—да если-бъ у меня была такая практика, я бы въ нѣсколько лѣтъ составилъ себѣ хорошее состояніе.

— Да на что оно мнѣ?—совершенно серьезно спрашивалъ Брагинъ и знакомый по тону вопроса понималъ, что Федору Ивановичу не нужно никакого состоянія.

— Чудакъ,—пожимая плечами, говорили про него знакомые.

Знакомство съ Вороновымъ началось у Федора Ивановича еще съ гимназіи. Талантливый, способный, знающій себѣ цѣну, Вороновъ съ первыхъ-же шаговъ на жизненномъ пути нашелъ твердую почву и, разъ намѣтивъ себѣ дорогу, пошелъ по ней, не сворачивая въ сторону. Лѣтъ пять тому назадъ онъ пріѣхалъ въ N—скъ по дѣлу и обратился съ просьбой къ Брагину помочь ему, Тотъ, конечно, согласился и они цѣлый годъ жили вмѣстѣ на одной квартирѣ, въ домѣ Александры Васильевны Смирновой, вдовы одного чиновника, жившей съ единственной дочерью Ольгой. Молодая дѣвушка только что кончила курсъ въ мѣстной гимназіи. Живая, вдумчивая, съ пытливымъ умомъ, она въ послѣдніе два года находилась подъ вліяніемъ Федора Ивановича, жившаго задолго до пріѣзда Воронова въ ихъ домѣ.

Красивый, самоувѣренный, Вороновъ представлялъ рѣзкій контрастъ съ тихимъ и застѣнчивымъ Федоромъ Ивановичемъ и сразу произвелъ на молодую дѣвушку сильное впечатлѣніе, а жизнь въ одномъ домѣ и постоянныя встрѣчи докончили остальное. Ольга полюбила его со всей силой молодого неиспорченнаго сердца, а Вороновъ, влюбившійся еще раньше въ симпатичную и красивую дѣвушку, убѣдился, что это его первая серьезная любовь. Весь этотъ романъ происходилъ на глазахъ Федора Ивановича и онъ даже былъ отчасти его причиной. Онъ такъ много говорилъ Ольгѣ о своемъ пріятелѣ, къ которому чувствовалъ всегда какую-то особенную симпатію, что молодая дѣвушка съ первыхъ дней знакомства стала видѣть въ Вороновѣ человѣка, цѣлой головой переросшаго окружающихъ. Воронову онъ говорилъ про Ольгу, что это одна изъ тѣхъ рѣдкихъ натуръ, въ которыхъ сердце и умъ легко уживаются вмѣстѣ.

Невольно вспомнилъ Федоръ Ивановичъ, какъ больно защемило у него сердце, когда онъ узналъ, что Вороновъ и Ольга любятъ другъ друга. Его какъ-то вдругъ пришибло и только черезъ нѣсколько дней чудакъ понялъ, что онъ любитъ, не какъ сестру, эту дѣвушку.

— Мы рѣшили такъ съ Ольгой,—разсказывалъ ему Воро-

новъ,—я, кончивши здѣсь дѣло, поѣду на годъ въ Среднюю Азію и, вернувшись оттуда, женюсь на ней.

— Это что-то по-англійски. Почему не обвѣнчаться теперь? —спросилъ Брагинъ.

— Мы хотя и очень любимъ другъ друга,—замѣтилъ Вороновъ,—но настолько практичны, что собразуемся съ жизнью. Черезъ годъ я прочно стану на ноги, и тогда мы смѣло можемъ пользоваться нашимъ счастьемъ.

— И она отпускаетъ тебя на цѣлый годъ?

— Мы вѣримъ другъ другу, а годъ времени покажетъ, насколько прочны наши чувства.

Брагинъ не нашелся ничего возразить. Съ этого дня въ немъ началась мучительная борьба: онъ старался подавить свою любовь и не могъ; онъ чувствовалъ невольную зависть къ счастливому Воронову и, чтобы не мучиться, рѣшилъ уѣхать. Предлогомъ оказалось окончаніе того дѣла, надъ которымъ они работали съ Вороновымъ, и воротился, только вызванный телеграммой Воронова.

— Гдѣ ты запропалъ?—встрѣтилъ онъ Федора Ивановича,— я завтра долженъ ѣхать.

Здороваясь съ Брагинымъ, Ольга какъ-то смутилась и покраснѣла. Онъ внимательно посмотрѣлъ на дѣвушку и изумился. Въ ея лицѣ онъ прочелъ какое-то новое, совершенно незнакомое выраженіе. Ольга похудѣла и поблѣднѣла.

— Эхъ, зачѣмъ ты ее оставляешь здѣсь?—вырвалось у него.

— Это ужъ рѣшено.

Вечеромъ, сидя втроемъ въ комнатѣ Брагина, Вороновъ сказалъ ему:

— Федоръ, ты такъ любишь насъ, что я смѣло оставляю мою дорогую Олю на твое попеченіе... Я ѣду спокойный, зная, что ты съумѣешь сберечь ее не хуже меня.

На другой день, рано утромъ, Вороновъ уѣхалъ.

III.

Два мѣсяца, проведенные вдали отъ города, успокоили Федора Ивановича: онъ воротился примиренный съ своей грустной судьбой, и съ жаромъ принялся за новую, подвернувшуюся работу. Прошло мѣсяца два съ отъѣзда Воронова и онъ сталъ замѣчать, что съ Ольгой происходитъ что-то особенное: она, какъ будто, боялась оставаться съ нимъ вдвоемъ и избѣгала всякихъ разговоровъ.

— Неужели она догадалась?—испугался онъ и продолжалъ наблюдать за Ольгой.

Черезъ нѣсколько дней онъ сообразилъ, что причина отчужденія Ольги—тоска о любимомъ человѣкѣ. Черезъ два мѣсяца получилось письмо отъ Воронова; онъ сообщалъ, что здоровъ, скучаетъ объ Ольгѣ, заваленъ по-горло работой и просилъ не ждать отъ него часто писемъ, а ему писать чаще.

— Слава Богу,—подумалъ Брагинъ,—бѣдняжка теперь успокоится.—Но вечеромъ въ тотъ-же день, увидавъ Ольгу, онъ даже испугался.

— Голубушка, что съ вами? вы больны?—тревожно спросилъ онъ, глядя на ея блѣдное, измученное лицо.

— Да, мнѣ не здоровится.

— А я васъ сегодня думалъ радостной встрѣтить.

— Да, Вася прислалъ такое хорошее, теплое письмо,—съ грустной улыбкой замѣтила Ольга,—хотите прочесть?

Понятно, что Федоръ Ивановичъ отказался, но недоумѣніе его усилилось еще больше, когда вечеромъ, за чаемъ, мать Ольги сказала ему:

— Уговорите хоть вы эту сумасшедшую посовѣтоваться съ докторомъ. Вѣдь, на ней лица нѣтъ!

— Ни за что! Я здорова!—съ раздраженіемъ возразила Ольга и ушла въ свою комнату.

— Вотъ будетъ горе-то,—печалилась Смирнова,—если и она расхворается. Я-то все хвораю, а тутъ съ ней что-то случилось.

— Но что именно?—спрашивалъ себя Федоръ Ивановичъ и не могъ дать отвѣта.

Въ тотъ-же вечеръ, часовъ около десяти, Ольга пришла къ нему въ комнату. Съ перваго взгляда онъ понялъ, что сейчасъ все объяснится.

— Голубушка, да говорите-же, наконецъ, что съ вами?—вскричалъ онъ, глядя на ея измученное лицо.

— Федоръ Ивановичъ!—глухо заговорила она, видимо собравшись съ силами,—телеграфируйте ему, чтобы сейчасъ-же ѣхалъ сюда.

Брагинъ нѣсколько секундъ не зналъ, что и отвѣтить.

— Родная вы моя! Я понимаю, какъ вы скучаете безъ него, но все-таки подумайте—отрывать человѣка отъ дѣла, за тысячи верстъ... Тяжело, грустно, но попривыкнете, легче будетъ,—заговорилъ онъ, думая успокоить молодую дѣвушку.

— Ахъ, не то вы говорите. Его присутствіе необходимо здѣсь... Понимаете—необходимо... на нѣсколько дней всего...

— Зачѣмъ? Что вы такое говорите? Я не понимаю.

— Онъ долженъ пріѣхать... Понимаете!—вырвалось у ней съ рыданіемъ.—Мы должны... скорѣе обвѣнчаться.

И, закрывъ лицо руками, Ольга зарыдала жгучими слезами.

Блѣдный, какъ мертвецъ, вскочилъ съ своего мѣста Брагинъ и бросился къ молодой дѣвушкѣ. Онъ понялъ все.

— Да, да!—говорилъ онъ, стараясь успокоить Ольгу,—я сейчасъ-же телеграфирую.. Онъ пріѣдетъ, успокойтесь! Бѣдная вы моя... Зачѣмъ-же вы не сказали ему?

— Я не знала... Теперь это несомнѣнно... Господи, какое страданіе!... Федоръ Ивановичъ, я знаю, вы перестанете меня уважать, но помогите мнѣ. Я одна.

— Я васъ перестану уважать!?.. И это вамъ не стыдно!

— Поймите,—не будь матери, я бы къ нему уѣхала.

— Родная, да что вы убиваетесь? Черезъ двѣ, три недѣли онъ пріѣдетъ... Я сейчасъ-же самъ отнесу телеграмму. Ради Бога, не волнуйтесь,—теперь вы не имѣете права рисковать своимъ здоровьемъ.

Долго говорилъ Федоръ Ивановичъ; въ тонѣ голоса, въ словахъ слышалось такое теплое чувство, такая безпредѣльная преданность, что черезъ часъ, успокоенная и ободренная, Ольга ушла къ себѣ.

— Вы—ангелъ!—вырвалось у ней въ порывѣ безпредѣльной признательности,—безъ васъ я бы погибла.

Въ ту-же ночь онъ послалъ телеграмму въ Самаркандъ. Черезъ два дня получилась телеграмма оттуда, но это былъ не отвѣтъ на телеграмму Брагина. Вороновъ извѣщалъ, что уѣзжаетъ на нѣсколько мѣсяцевъ въ Мервъ.

Наступили мѣсяцы мучительныхъ ожиданій. За все время получилось два письма къ Ольгѣ. Въ одномъ Вороновъ писалъ, что уѣзжаетъ и просилъ не ждать скоро отъ него писемъ. А въ другомъ только извѣщалъ о своемъ здоровьѣ, дѣлахъ и жаловался, что давно не получалъ отъ нея извѣстій.

Написали въ Мервъ и, спустя мѣсяцъ, получили извѣстіе, что Воронова тамъ нѣтъ.

— Онъ умеръ!—говорила Ольга съ безнадежнымъ отчаяніемъ.

Наконецъ, ровно черезъ полгода послѣ отъѣзда Воронова, Федоръ Ивановичъ получилъ длинную телеграмму, въ которой Вороновъ умолялъ его, въ случаѣ—если онъ опоздаетъ, увезти Ольгу въ другой городъ и сдѣлать все, чтобы спасти ея репутацію. „Не жалѣй расходовъ, деньги посланы“,—прибавлялъ онъ.

Телеграмма пришла во время... Федоръ Ивановичъ измучился, безпокоясь объ Ольгѣ; онъ боялся, что бѣдная дѣвушка не вынесетъ горя. Медлить было нельзя, послѣдствія беременности становились замѣтны день-ото-дня.

— Надо уѣзжать,—сказалъ онъ Ольгѣ въ тотъ-же вечеръ.

Извѣстіе, что любимый человѣкъ живъ и любитъ ее попрежнему, прогнало тоску Ольги.

— Голубчикъ! да какъ-же это сдѣлать? Не лучше ли сказать все матери?

— Нѣтъ, нѣтъ. Это можетъ убійственно повліять на ея здоровье. Я завтра-же уговорю ее отпустить васъ въ М—скъ; предлогъ—ваше здоровье... Тамъ у меня есть знакомая женщина-врачъ. Скажемъ, что вы ѣдете на двѣ, на три недѣли. Родная, не безпокойтесь ни о чемъ; даже если онъ не поспѣетъ, все устроимъ. Довѣрьтесь мнѣ вполнѣ.

На другой день онъ переговорилъ съ матерью. Александра Васильевна слишкомъ давно знала и уважала Брагина, чтобы не согласиться съ нимъ.

— Мнѣ надо ѣхать въ М—скъ,—говорилъ онъ,—я бы и проводилъ Ольгу Ивановну въ деревню къ Ладьинымъ. Ладьина зоветъ ее гостить къ себѣ, а Ольгѣ Ивановнѣ необходимо пожить на воздухѣ. Здѣсь она не хочетъ лѣчиться, а тамъ, въ М—скѣ, у меня есть знакомая женщина-врачъ. Я ихъ познакомлю и та съумѣетъ убѣдить Ольгу.

Старушка согласилась, хотя и очень жалѣла, что не можетъ сама ѣхать.

— Только недѣли на три, а то я измучусь безъ васъ.

Черезъ два дня Брагинъ уѣхалъ съ Ольгой, но не въ деревню къ Ладьинымъ, а въ М—скъ, гдѣ онъ и помѣстилъ ее къ своей знакомой женщинѣ-врачу. Черезъ полтора мѣсяца родился Вася. Александру Васильевну увѣрили, что состояніе здоровья Ольги требуетъ продолжительнаго лѣченія. Благодаря отличному уходу, она быстро поправилась и черезъ два мѣсяца была уже дома. Безпокойство матери прошло, когда она увидала свою Ольгу поздоровѣвшей и спокойной. Черезъ мѣсяцъ вернулся Федоръ Ивановичъ, привезя Васю, и поселился на другой квартирѣ. Устроили это для того, чтобъ избѣжать сплетней. Сначала Ольга мечтала взять ребенка, но боязнь, что мать, ставшая послѣ поѣздки, благодаря сплетнямъ, какъ-то недовѣрчиво смотрѣть на отношенія Федора Ивановича къ дочери,—узнаетъ правду, заставила Ольгу отказаться отъ этой мечты. Не смотря на перенесенныя страданія, Ольга была счастлива: ни любовь, ни вѣра въ любимаго человѣка не поколебались. Вороновъ писалъ часто, умоляя его простить и просилъ извѣщать его какъ можно чаще о здоровьи ребенка. Ольга написала ему, чтобы онъ не бросалъ дѣла, такъ какъ теперь она можетъ ждать терпѣливо, тѣмъ болѣе, что Вороновъ писалъ, что черезъ полгода онъ вернется. Время шло, дѣла затягивались и вмѣсто полгода Вороновъ прожилъ около двухъ лѣтъ; въ это время положеніе Ольги становилось невыносимѣе день-ото-дня. Здоровье матери ухудшалось; досужія кумушки, навѣщавшія старушку, довольно явно выражали свое недоумѣніе—

почему Федоръ Ивановичъ не женится на Ольгѣ. Въ обществѣ стали смотрѣть на нее нѣсколько косо и въ двухъ домахъ, неизвѣстно отчего, отказали отъ уроковъ. Ольга была настолько умна, чтобы придавать этому какое-нибудь значеніе; ее только безпокоило, что мать стала отзываться о Брагинѣ съ нескрываемымъ неудовольствіемъ. А время шло. Вася подросталъ; невозможность быть постоянно съ сыномъ доставляла Ольгѣ много горькихъ минутъ. Письма отъ Воронова приходили очень рѣдко и хотя въ нихъ всегда сказывалась и нѣжность, и заботливость, но они уже перестали дѣйствовать на нее успокоительно. Особенно были тяжелы послѣдніе полгода. Вороновъ замолчалъ, здоровье матери стало хуже, заболѣлъ Вася. Нечего и говорить, какъ мучилась бѣдная женщина, не имѣя возможности ухаживать за больнымъ ребенкомъ.

Болѣзнь Александры Васильевны сдѣлала ее несправедливой, она упрекала дочь въ безчувственности, говорила, что она губитъ себя и прямо дала ей понять, что она въ связи съ Брагинымъ. За нѣсколько дней до пріѣзда Воронова, Александра Васильевна въ отсутствіе дочери послала за Брагинымъ и категорически ему заявила, что если онъ честный человѣкъ, то долженъ или уѣхать изъ города, или жениться на Ольгѣ.

— Да это моя завѣтная мечта,—помимо воли вырвалось у Брагина.

— Зачѣмъ-же дѣло стало?

— Я не знаю.. Надо поговорить съ ней,—опомнившись, въ страшномъ смущеніи, говорилъ Фодоръ Ивановичъ.

— Я сама переговорю съ Ольгой,—рѣшила Александра Васильевна.

На другой день Ольга нѣсколько смущенно сообщила Брагину:

— Я сказала матери, что согласна выйти за васъ, только свадьбу придется отложить до зимы.

— Что-же она?

— Очень не довольна... Я, говоритъ, не могу умереть спокойно.

Въ это-то время воротился Вороновъ...

— Какое скверное, эгоистическое созданіе—человѣкъ!—вскричалъ Федоръ Ивановичъ, отрываясь отъ воспоминаній.—Я уже думалъ, что и въ самомъ дѣлѣ она сдѣлается моей женой... Я начиналъ вѣрить, что Вороновъ не вернется. Хорошо, что Ольга не подозрѣваетъ, какъ давно и сильно я люблю ее.

Долго, до самаго разсвѣта не могъ заснуть Федоръ Ивановичъ, упрекая себя въ безсердечіи и эгоизмѣ.

IV.

Плохо спалось въ эту ночь и Воронову. Только теперь, увидавъ Ольгу, онъ понялъ вполнѣ, какъ много пришлось вынести молодой женщинѣ. Въ сутолокѣ дѣловой жизни, въ разъѣздахъ, подъ вліяніемъ постоянно новыхъ впечатлѣній, онъ не замѣчалъ, какъ шло время. Въ развлеченіяхъ тоже не было недостатка; у него даже была легонькая, мимолетная интрижка, за которую онъ, впрочемъ, упрекалъ себя очень мало. Онъ могъ, положа руку на сердце, сказать, что мысль объ Ольгѣ почти никогда не покидала его и что любовь къ ней не только не уменьшилась, но даже выросла въ теченіе разлуки. Сегодня онъ это сознавалъ яснѣе, чѣмъ когда-нибудь. Въ его глазахъ Ольга стала красивѣе прежняго. Сознаніе говорило Воронову, что эта женщина не тотъ пылкій, беззавѣтно-любящій ребенокъ, для котораго каждое его слово было закономъ. Онъ инстинктивно понялъ, что надо много усилій, чтобъ снова овладѣть ея сердцемъ.

— Какъ она холодно встрѣтила меня,—шептало ему самолюбіе.

Часовъ въ десять утра онъ уже былъ у Брагина. Федоръ Ивановичъ былъ въ саду и разговаривалъ съ двумя мужиками.

— Пожалуйста, не стѣсняйся,—предупредилъ Вороновъ, здороваясь съ нимъ.

— Я сейчасъ кончу,—замѣтилъ Брагинъ и, обращаясь къ мужикамъ, спросилъ:

— Такъ вы что-же раньше-то не хлопотали?

— А все надѣялись миромъ кончить... Онъ, Амбаровъ-то, два года насъ такъ-то водитъ,—говорилъ пожилой крестьянинъ, одѣтый въ черный зипунъ, затянутый опояской.—Денегъ платить —не платитъ, а годъ отъ году все больше воду подымаетъ: нынче вовсе луга затопилъ... Такъ ты ужъ похлопочи, постарайся.

— Ладно. Сегодня-же напишу просьбу, завтра и подадимъ.

— Вотъ и спасибо. Ты не сумлѣвайся: ежели охлопочешь,— отъ насъ обиды не будетъ.

— Ладно, идите съ Богомъ. Завтра къ утру все приготовлю.

— Значитъ—мы въ надеждѣ?... Намъ на тебя поярковскіе мужики указали: прямо, говорятъ, къ нему идите, обиды не будетъ... Бумаги-то у тебя останутся?

— У меня... Идите, Богъ милостивъ, все устроимъ.

Мужики попрощались и ушли.

— А платятъ тебѣ что-нибудь твои кліенты?—спросилъ Вороновъ.

— Эти заплатятъ—мужики не бѣдные.

— А въ большинствѣ случаевъ за спасибо работаешь?

— Бѣднота вѣдь, все...

Въ это время подошелъ худощавый человѣкъ, одѣтый въ какую-то куцавейку, рваные брюки и башмаки и, вертя въ рукахъ засаленный картузъ, заговорилъ:

— Помогите, Федоръ Ивановичъ! Вотъ тебѣ Богъ свидѣтель, въ послѣдній разъ!

— Пьянствовать-то тебѣ помочь?

— Ахъ, Господи! Да я два дня вина-то даже и не нюхалъ.

— Не на что, значитъ. Ты, чѣмъ шляться безъ дѣла, работалъ-бы.

— Ахъ, Боже мой! Да я ли не работникъ! Только чѣмъ-же я могу работать, когда я по малодушеству и подлости своей весь струментъ пропилъ? Помогите, отецъ! Лопни мои глаза, ежели когда еще... божился рабочій.

— Ну, слушай, Антиповъ: пошли жену, я дамъ ей денегъ —она выкупитъ твой инструментъ. Только съ уговоромъ: инструментъ будетъ у ней, а не у тебя. И знай, что если ты еще разъ посмѣешь драться, я тебя мѣсяца на три посажу въ подтюремокъ.

— Федоръ Ивановичъ! что-жъ это такое? Всегда я, значитъ, былъ мастеръ и вдругъ теперича мой струментъ у бабы будетъ находиться. Это довольно даже совѣстно: къ бабѣ подъ началъ.

— А не совѣстно этакимъ оборванцемъ ходить, пьянствовать и съ женой драться?.. Впрочемъ, какъ знаешь: иначе я тебѣ денегъ не дамъ.

— Федоръ Ивановичъ, отецъ!

— Сказано, и шабашъ! Иди.

Мастеръ помялся.

— Долженъ стерпѣть... Потому—измалодушествовался... Такъ я пошлю ее.

— Посылай.

— Ну, дай вамъ Богъ!—сказалъ мастеръ.

— Это что-же—филантропія?

— Нѣтъ... Онъ превосходный слесарь... Теперь вытрезвился и недѣли черезъ двѣ заработаетъ и принесетъ деньги.

— Сомнѣваюсь.

— Я ужъ его лѣтъ пять знаю и у меня за нимъ копейки не пропало.

— Да, кстати,—сказалъ, вставая, Брагинъ,—пойдемъ въ комнаты; я тебѣ вчера забылъ отдать счета и деньги.

— Какіе счета? какія деньги?—съ удивленіемъ спросилъ Вороновъ.

— Твои деньги, которыя ты высылалъ мнѣ и отчетъ въ тѣхъ, которыя мной израсходованы.

— Надѣюсь, что ты не заставишь меня заняться повѣркой счетовъ? Наконецъ, я не понимаю, какія могли у тебя остаться мои деньги?

— Больше двухъ тысячъ.

— Федоръ, это Богъ знаетъ что! я высылалъ съ цѣлью, чтобъ онѣ были издержаны и настойчиво всегда просилъ не стѣсняться въ расходахъ.

— Я такъ и дѣлалъ. Но ты высылалъ гораздо больше, чѣмъ было нужно, и деньги остались.

— Нѣтъ, ты невозможный человѣкъ! Вы тутъ какую-то экономію разводили.

— Да вовсе-же нѣтъ.

— Вы знали, что я въ средствахъ не нуждался и мнѣ очень обидно, что вы экономничали... Я просилъ Ольгу бросить свои уроки.

— Она не согласилась.

— Очень досадно! Надѣюсь, что она брала-же деньги?

— Да, все, что нужно было для мальчика, покуналось на твои деньги.

— А для себя ничего?

— Она ни въ чемъ не нуждалась.

— Не доставало только этого! Это ужъ такая излишняя щепетильность, что я и понять не могу. И какъ ты, Федоръ, не могъ ей этого объяснить... Наконецъ, мать больная,—хоть для нея бы.

— Да увѣряю тебя, что пенсіи, дохода съ дома и платы за уроки настолько достаточно, что онѣ не издерживаютъ всего. Ольга Ивановна даже рояль купила.

— Ну, надѣюсь, что хоть его-то купила на мои деньги?

Въ это время привели Васю. Ребенокъ подбѣжалъ и поцѣловалъ Брагина.

— Здоровайся съ дядей!—сказала няня.

Ребенокъ началъ взбираться на колѣни къ Брагину.

— Здоровайся-же, Вася! Не хорошо не здороваться.

Вася не охотно протянулъ свое личико для поцѣлуя отцу и ушелъ къ нянѣ. Воронову опять показалось, что ребенокъ недружелюбно относится къ нему.

— Пойдемъ, скоро одиннадцать часовъ,—сказалъ онъ, вставая.

— Не знаю, удобно-ли мнѣ идти съ тобой...

— Почему?

— Да вотъ видишь,—я вчера не успѣлъ тебѣ сообщить...

— Что такое?

И Федоръ Ивановичъ, нѣсколько запинаясь, разсказалъ, что Александра Васильевна считаетъ его женихомъ Ольги. Вороновъ

закусилъ губы, что всегда у него служило выраженіемъ неудовольствія и съ досадой сказалъ:

— Да, положеніе невозможное! Надо скорѣе кончить. Такъ ты не пойдешь?

— Нѣтъ, надо будетъ идти, иначе тебѣ не придется переговорить съ Ольгой.

Пріятели отправились и молча дошли до Смирновыхъ. Александра Васильевна жила съ Ольгой во флигелѣ, а въ домѣ, который когда-то занимали Вороновъ и Брагинъ, жили квартиранты.

Ольга сама отворила имъ.

— Я предупредила маму, что вы придете,—сказала она, здороваясь.

— А я разсказалъ Василью Николаевичу о томъ, въ какой новой роли являюсь я сюда.

Въ тонѣ голоса Брагина Ольга подслушала грустную ноту и крѣпко пожала ему руку.

— Какъ давно я не былъ здѣсь!—говорилъ, осматривая обстановку комнатъ, Вороновъ.—Дорогая моя..

— Тсъ...—произнесла Ольга, указывая на дверь.

— Оля!—послышался слабый голосъ изъ другой комнаты,—веди-же ко мнѣ гостей.

Александра Васильевна лежала въ большомъ, замѣняющемъ кровать, креслѣ. Съ перваго взгляда Вороновъ понялъ, что везти ее нѣтъ никакой возможности.

— Здравствуйте, Василій Николаевичъ,—привѣтливо поздоровалась она съ Вороновымъ.—Спасибо, что не забыли.

— Помилуйте, я всегда помнилъ... Ну, какъ же ваше здоровье?

— А вотъ видите—какъ. Все никакъ не могу умереть; и себѣ, и другимъ въ тягость.

— Мама!—съ упрекомъ сказала Ольга.

— Правда, Олюшка!... Теперь вотъ могу хоть умереть-то спокойно. Слышали: свадьба у насъ затѣвается.

— Да, слышалъ,—краснѣя, отвѣчалъ Вороновъ.

— Да все медлятъ. Гдѣ мнѣ до осени дотянуть? Хоть-бы посмотрѣть-то на васъ.

— Насмотритесь еще, мама,—перебила ее Ольга.

— Утѣшьте вы меня. Вотъ, кстати, и шаферъ пріѣхалъ... Вы поживете, вѣдь, здѣсь, Василій Николаевичъ?

— Да, конечно.

— Ну, такъ вотъ и вѣнчались-бы скорѣе... Разговоровъ-то и такъ не оберешься.

Всѣ молчали, чувствуя неловкость положенія.

— Господа! идите пить кофе! нашлась Ольга.—Мама, ты выпьешь?

— Выпью, чашечку. Федоръ Ивановичъ, ты зайди ко мнѣ —поговорить нужно.

— Я прійду съ вами пить кофе,—отвѣчалъ онъ, выходя изъ комнаты.

— Идите въ мою комнату,—приглашала Ольга.

Вороновъ вошелъ и видъ знакомой обстановки напомнилъ ему много свѣтлыхъ минутъ.

— Наконецъ-то я опять здѣсь, съ тобой, моя радость!—заговорилъ онъ, когда Брагинъ вышелъ изъ комнаты, плотно затворивъ за собой двери.—Какъ много напоминаетъ мнѣ эта комната!

— Да, здѣсь много погребено воспоминаній,—вырвалось у Ольги.

— Погребено? А я думаю, что они живутъ и будутъ жить. Милая моя! я сегодня только понялъ вполнѣ, какъ много ты выстрадала. Надо, какъ можно скорѣе, вытти изъ этого положенія. Чѣмъ-же и какъ мы рѣшимъ?

Ольга молчала.

— Милая, мы обвѣнчаемся на-дняхъ,—и онъ хотѣлъ обнять Ольгу.

— На-дняхъ?—переспросила она, вставая съ мѣста.

— Ну, да!... Вѣдь это твою предполагаемую свадьбу съ Федоромъ можно откладывать, а не нашу,—добавилъ онъ шутливо.

— А мнѣ кажется,—сказала она, смотря ему прямо въ глаза,—что ее придется отложить...

— Ольга, что ты говоришь! Зачѣмъ. съ какой стати? Я говорилъ тебѣ, что самое большее могу прожить здѣсь только мѣсяцъ!

— Отчасти даже и поэтому. Мать увезти не возможно, а я ни за что не оставлю ее въ такомъ положеніи.

— Оля, дорогая, подумай! Зачѣмъ мы будемъ еще мучиться?

— Я не могу ее бросить.

— Ну, хорошо! Обвѣнчаемся поскорѣе, я проживу съ тобой этотъ мѣсяцъ здѣсь. Потомъ уѣду; ты пріѣдешь ко мнѣ, потомъ я къ тебѣ пріѣду... Милая, дорогая! Пойдемъ-же и скажемъ все твоей мамѣ.

— Постойте! я же говорю, что я на день ее не оставлю.

— Оля, будь-же благоразумна. Въ ея положеніи люди живутъ два, три года. А я могу пріѣзжать черезъ мѣсяцъ или два всего на нѣсколько дней, Пойми-же, что я люблю тебя, что разлука съ тобой будетъ такъ мучительна.

— Это что-же—насмѣшка?—съ горечью перебила Ольга.

— Ольга! ты безжалостна ко мнѣ! Неужели ты не можешь

простить? Я здѣсь, съ тобой... Я люблю тебя, моя Ольга! Идемъ-же къ матери!

Ольга покачала головой и тихо отвѣтила:

— Нѣтъ, надо обдумать.

— Что обдумывать?—вскричалъ изумленный Вороновъ.

— Вѣнчаться-ли намъ... Мы такъ давно не видали другъ друга.

— Я не знаю—можетъ быть, ты разлюбила меня, но я тебя люблю больше, чѣмъ прежде.

— Сегодня я ничего не могу рѣшить.

— Но когда-же?

— Не знаю. Во всякомъ случаѣ раньше мѣсяца.

— Ольга, ты мучишь меня!

— Вотъ потому, чтобы вы не сказали этого потомъ, я и хочу сама, и васъ прошу—хорошенько подумать.

— Ольга! неужели ты говоришь со мной такимъ тономъ! Ты убійственно холодна со мной, ни ласки, ни теплаго слова!

Ольга молча сидѣла, смотря въ окно.

— Боже мой! да неужели я тебѣ чужой, неужели ты разлюбила меня?!

— Господи! Да какъ-же вы не понимаете, что вашъ пріѣздъ такъ неожиданъ, что я не могу прійти въ себя!... Дайте-же мнѣ опомниться.

— Хорошо, я подожду. Но, вѣдь, ты попрежнему будешь оторвана отъ нашего ребенка.

— Нѣтъ, теперь Васю могутъ приводить сюда и я могу оставаться съ нимъ дольше.

— Почему?

— Теперь маму не будутъ безпокоить никакіе разговоры и сплетни.

— Ахъ, да... Оля не позабудь, что и я мучусь, не смѣя назвать Васю своимъ сыномъ... Это очень тяжело.

— Еще бы,—грустно улыбнулась Ольга.—Я испытывала это больше двухъ лѣтъ.

Вороновъ не возражалъ. Наступило тяжелое молчаніе.

— Оля!—произнесъ онъ грустно,—я еще разъ обращаюсь къ твоему сердцу: прости мнѣ прошлое и вѣрь, что моя любовь заставитъ забыть все тяжелое горе...

При послѣднихъ словахъ онъ протянулъ ей руку. Въ глазахъ Ольги блеснула слеза; она крѣпко пожала ему руку и тихо отвѣтила:

— Я давно все простила. Дай мнѣ только собраться съ мыслями.

Вороновъ привлекъ ее къ себѣ и поцѣловалъ.

— Ольга Ивановна! Мама васъ зоветъ,—послышался изъ другой комнаты голосъ Брагина.

— Сейчасъ иду,—отвѣчала Ольга и быстро прошла въ комнату матери.

— Федоръ!—взволнованно сказалъ Вороновъ,—мнѣ еще разъ придется обратиться къ твоей дружбѣ: уговори ты Ольгу обвѣнчаться поскорѣе. Она откладываетъ.

Хорошо!—беззвучно произнесъ Брагинъ.

V.

Прошла недѣля. Ольга въ обычное время приходила повидаться съ ребенкомъ и не отпускала его ни на минуту отъ себя. Вороновъ понялъ, что она избѣгаетъ оставаться съ нимъ вдвоемъ. Внимательно наблюдая за ней, онъ понялъ, что въ ея душѣ происходитъ борьба и съ безпокойствомъ ожидалъ, чѣмъ она кончится. День-ото-дня портилось его расположеніе духа и главной причиной этому былъ Вася. Ребенокъ съ непонятнымъ упрямствомъ чуждался отца; даже заставить его поздороваться стоило огромныхъ усилій: никакіе подарки и игрушки не могли сблизить его съ Вороновымъ. Съ дѣтскимъ эгоизмомъ онъ бралъ подаренную игрушку и уходилъ къ нянѣ. Когда мать или Федоръ Ивановичъ спрашивали: кто ему сдѣлалъ подарокъ, ребенокъ обыкновенно отвѣчалъ: „чужой“, очень смѣшно выговаривая это слово. Назвавъ разъ отца этимъ именемъ, онъ ни за что не хотѣлъ звать его иначе. Явная враждебность ребенка и уклончивость Ольги болѣзненно дѣйствовали на Воронова. Дня черезъ два онъ снова попросилъ Брагина переговорить съ Ольгой.

— Сегодня-же переговори. Право, это становится невыносимо!

Вечеромъ въ саду, оставшись вдвоемъ съ Ольгой, Федоръ Ивановичъ сказалъ:

— Рѣшили вы что-нибудь?

— Нѣтъ еще.

— Зачѣмъ откладывать? и вы мучаетесь, и онъ... Александрѣ Васильевнѣ объяснить не трудно.

— Это онъ васъ просилъ поговорить съ мной?

— Да, но я и самъ...

— Федоръ Ивановичъ! Если я откладываю, значитъ, есть серьезныя причины...

— Да какія, другъ мой? Здоровье Александры Васильевны? Но оно вовсе не такъ безнадежно. Вы можете часто пріѣзжать, онъ тоже... Наконецъ, вы знаете, что я буду постоянно здѣсь. Словомъ, зачѣмъ откладывать такъ долго-жданное счастье?

— А вы увѣрены, что это будетъ счастье?

Федоръ Ивановичъ оторопѣлъ. То нервное волненіе, которое онъ чувствовалъ, начиная разговоръ, усилилось настолько, что онъ едва могъ сказать:

— Ну, да! конечно.

— А я начинаю сомнѣваться.

— Что-же ему сказать?..—спросилъ онъ послѣ продолжительной паузы.

— Скажите, что я еще не рѣшила.

Долго сидѣлъ Федоръ Ивановичъ, обдумывая слова Ольги... „Неужели она разлюбила?“—приходило ему въ голову, но онъ настойчиво отгонялъ эту мысль. На другой день онъ передалъ Воронову отвѣтъ Ольги; тотъ обозлился:

— Я рѣшительно ничего не понимаю! Ты лучше ее знаешь, чѣмъ я. Объясни, что все это значитъ?

— Что-же я могу сказать?

— Я самъ переговорю съ ней... Время идетъ.

— Подожди недѣлю.

— Хорошо тебѣ разговаривать: подожди, подожди!... Я люблю ее... Ты не можешь понять, что это за мука!

Брагинъ покраснѣлъ и съ живостью вскричалъ:

— Нѣтъ! я это понимаю не меньше твоего!

— Ты?—удивился его непривычному тону Вороновъ.—Да развѣ ты любилъ когда-нибудь?

Брагинъ ничего не отвѣтилъ.

Вороновъ подождалъ еще два дня, дальше у него не хватило терпѣнія, и сказалъ Ольгѣ:

— Оля, пожалѣй-же меня: я весь измучился, я не могу ждать дальше. Ты скрываешь что-то. Скажи-же, что тебя заставляетъ откладывать нашу свадьбу?

— Неувѣренность...—вырвалось у ней.

— Въ чемъ? Что такое? Я заранѣе согласенъ на все

— Я сомнѣваюсь, чтобъ мы могли быть счастливы.

— Ольга! И это ты мнѣ говоришь? Ты, вѣдь, любишь меня? да? любишь?... Ты молчишь? Неужели забыто все? Неужели ты не можешь простить мнѣ твоихъ страданій? Ольга, неужели я потерялъ твою любовь?

— Мнѣ не въ чемъ прощать тебя.

— Это не отвѣтъ; я спрашиваю: любишь ты меня? Иль, можетъ быть,

„Тотъ скажи любви: прощай,
„Кто на три года въ даль уѣдетъ?“

Въ послѣднихъ словахъ Воронова слышалась горькая иронія. Ольга посмотрѣла на него и спокойно отвѣтила:

— Три года много времени. Вотъ я и хочу провѣрить себя... Раньше мы не имѣли времени узнать другъ друга, такъ сдѣлаемъ это теперь.

— Поздно. Ты забываешь, что у насъ есть ребенокъ и нѣтъ времени, чтобъ заниматься изученіемъ нашихъ характеровъ. Я не измѣнился, я больше прежняго люблю тебя .. Положимъ, что я успѣлъ убѣдиться за эти дни, какъ мало ты меня любишь, но если въ тебѣ не все прежнее умерло, — я прошу тебя, во имя этой любви и любви къ нашему Васѣ, обвѣнчаться какъ можно скорѣе.

— При чемъ-же тутъ любовь къ ребенку?

— Какъ? Да развѣ это можетъ такъ продолжаться?

— Этого и не будетъ. Я возьму ребенка къ себѣ.

— Да развѣ это возможно? Что будутъ говорить?

— Небольше того, что говорили. Если я до сихъ поръ не сдѣлала этого, то изъ боязни за здоровье матери. Теперь она ничего не имѣетъ противъ того, чтобы ребенокъ жилъ у меня. Ей разсказали, что это сынъ Федора Ивановича и что я беру его къ себѣ...

— Я вовсе не желаю, чтобъ эта ложь продолжалась далѣе!

— Разъ вставъ въ ложное положеніе, приходится мириться съ ложью. Когда со мной будетъ Вася, — я успокоюсь.

— Все Вася и Вася! А я-то? Наконецъ, я не хочу, чтобъ мой ребенокъ называлъ меня чужимъ дядей. Во имя ребенка я требую отъ тебя исполненія твоего обѣщанія быть моей женой.

— Я была ей.

— Была! А теперь? Говори: я не хочу ждать дольше: любишь ты меня еще, или я и тебѣ чужой?

— Василій Николаевичъ! Я только и откладываю для того, чтобы дать себѣ отвѣтъ на этотъ вопросъ...

Нервное возбужденіе Воронова дошло до крайности.

— Довольно! Этимъ все сказано! Такъ я чужой вамъ! Ха, ха, ха!—захохоталъ онъ злымъ, нервнымъ смѣхомъ;—какъ скоро забываютъ все женщины! Какая вы безсердечная, эгоистка!

Ольга, блѣдная, какъ полотно, глядѣла на него.

— Да, эгоистка, сухая, безсердечная! Вы мучаете человѣка, который три года работалъ для вашего спокойствія и счастья! Я ѣхалъ сюда, думая встрѣтить жену, мать моего ребенка, я думалъ отдохнуть отъ долгаго, тяжелаго труда, дождаться завоеваннаго счастья... Что-же я встрѣтилъ?,.. Убійственную холодность и полное отчужденіе! Было-бы честнѣе написать, что мнѣ и пріѣзжать не зачѣмъ!

Слезы горькой обиды блеснули въ глазахъ Ольги.

— Василій Николаевичъ! Вы видите, какъ я права, откла-

дывая свадьбу. Вы скоро-бы раскаялись, связавъ свою жизнь съ холодной, безсердечной эгоисткой.

— Мы связаны давно... Надѣюсь, вы смотрите на меня, какъ на мужа!

— Если хотите—да, но въ нашемъ положеніи разойтись легче всего.

— А! такъ вы желаете покончить со мной! Ха, ха, ха! А ребенокъ?

— Ребенокъ мой!—вскричала Ольга,—и вы не смѣете предъявлять на него какія-нибудь права!

Никто-бы не узналъ въ эту минуту спокойную и сдержанную Ольгу. Передъ Вороновымъ стояла оскорбленная женщина съ румянцемъ негодованія на щекахъ и сверкающими глазами. Наступило молчаніе. Самолюбивый, съ сильной волей, привыкшій гнуть и ломать всѣ препятствія, какія встрѣчались на его пути, черезъ чуръ нервно настроенный за послѣдніе дни, раздраженный сопротивленіемъ и холодностью Ольги, Вороновъ не понялъ ея настроенія. Имъ овладѣло злобное, желчное чувство и онъ, саркастически улыбаясь, сказалъ:

— Я не смѣю предъявлять своихъ правъ на ребенка? Это могло быть только въ томъ случаѣ, еслибъ былъ кто-нибудь другой, имѣющій на него такія-же права. Но такъ какъ этого нѣтъ, то я и настаиваю на своихъ правахъ. Мы обвѣнчаемся, я усыновлю ребенка, а потомъ мы можемъ разойтись на всѣ четыре стороны.

Говоря это, онъ не обратилъ вниманія, что съ лица Ольги сбѣжалъ румянецъ и оно покрылось мертвенной блѣдностью; онъ не слыхалъ, какъ тихій стонъ вырвался изъ груди оскорбленной женщины и перешелъ въ беззвучное рыданіе.

— Право, не стоитъ лить слезъ изъ-за такихъ пустяковъ, —добавилъ онъ съ непонятной потомъ для него самого жестокостью.

— Вы правы,—сдѣлавъ надъ собой страшное усиліе, вскричала Ольга,—вы не стоите капли слезъ.

— Я ихъ меньше всего желаю. Такъ когда-же мы будемъ вѣнчаться?

— Никогда!... И это послѣднее слово, которое я говорю съ вами въ жизни!

Вороновъ хотѣлъ отвѣтить, но Ольги уже не было въ комнатѣ.

Возвратясь къ себѣ въ номеръ, онъ долго ходилъ изъ угла въ уголъ, переживая только что происшедшую сцену. Его душила злость, злость оскорбленнаго самолюбія. Съ первыхъ-же дней по пріѣздѣ у него появилось сомнѣніе, что Ольга охладѣла къ

нему,—этого онъ не ожидалъ и счелъ себя оскорбленнымъ. Съ каждымъ днемъ больнѣе и больнѣе дѣйствовало это сознаніе и сегодня вырвалось неожиданно для него въ очень рѣзкой формѣ. Онъ понялъ, что оскорбилъ ее, и злость на себя искала исхода. Исходъ этотъ онъ нашелъ въ ревнивомъ чувствѣ отвергнутой любви и вмѣсто того, чтобъ обвинить себя, онъ обвинялъ Ольгу. Въ такомъ настроеніи онъ пробылъ цѣлый день и на утро слѣдующаго послалъ за Брагинымъ.

— Ты, конечно, знаешь,—началъ онъ, торопливо здороваясь съ пріятелемъ,—что между мной и Ольгой вышло недоразумѣніе.

— Да, но я не знаю изъ-за чего?

— Развѣ она не говорила?

— Она просила даже не разспрашивать ее...

— Исторія простая,—Ольга меня бросаетъ...

— Что ты говоришь!

— Да, но не въ этомъ дѣло: прежде, чѣмъ уѣхать отсюда, —научи меня, какъ переусыновить ребенка?

— Я не знаю хорошенько. Кажется, хлопотъ будетъ много.

— Какіе-бы хлопоты и расходы ни предстояли, это нужно сдѣлать. Я предлагалъ Ольгѣ Ивановнѣ обвѣнчаться и разойтись, но она и этого не хочетъ. А я не хочу, чтобъ мой сынъ считался незаконнорожденнымъ и носилъ чью-нибудь фамилію, кромѣ моей. Надѣюсь, въ этомъ правѣ мнѣ никто не откажетъ.

Брагинъ молчалъ.

— Ольга Ивановна заявила мнѣ, что я не имѣю никакихъ правъ на сына, но, я думаю, она ошибается. Я отъ этихъ правъ никогда не откажусь и если прошу тебя помочь мнѣ, такъ потому, что мнѣ не хотѣлось-бы помимо тебя обращаться къ другимъ юристамъ. Да, наконецъ, это и тебя избавитъ отъ смѣшной роли фиктивнаго отца. Говорить съ Ольгой Ивановной мнѣ самому больше не придется. Она заявила вчера, что говорила со мной въ послѣдній разъ въ жизни...

— Не можетъ быть!

— Это были ея послѣднія слова. Но я тебя попрошу еще разъ переговорить съ ней. Мой ультиматумъ: обвѣнчаться, ребенку я дамъ свое имя, а ей отдѣльный видъ на жительство.

— Василій! и это ты говоришь? Что ты, наконецъ, думаешь дѣлать съ ребенкомъ?

— Полгода онъ будетъ жить съ ней, полгода со мной. Мнѣ кажется это справедливо... Наконецъ, кромѣ своихъ полгода, она можетъ видѣть его во всякое время. Во всемъ этомъ я дамъ формальное обязательство.

— И ты хочешь серьезно такъ поступить?

— Да, и не измѣню ни на іоту своего рѣшенія. Она раз-

любила меня,—это ея право, но уступить ей совсѣмъ ребенка я не хочу и не могу.

— Послушай,—это жестоко!

— А не жестоко за всю мою любовь бросить меня, какъ старую перчатку?

— Василій, я не узнаю тебя... Ты хочешь мстить.

— Да... Я не принадлежу къ кроткимъ овечкамъ, въ родѣ тебя, которые прощаютъ всякое оскорбленіе.

— Наконецъ, если даже ты и правъ, что она тебя разлюбила, чему мнѣ плохо вѣрится, такъ сердцу приказать нельзя.

— Я и не требую отъ нея любви; но то, что я рѣшилъ, непремѣнно будетъ.

— Если такъ, то я напомню, что юридически ты не имѣешь правъ на ребенка.

— Ну, это ужъ пусть рѣшитъ судъ. Я заявлю, что ребенокъ мой—положимъ, это, кажется, будетъ первый примѣръ въ судебной практикѣ. Даю тебѣ честное слово, что я это сдѣлаю.

— Ты, ты способенъ компрометировать женщину?

— У меня отнимаютъ сына, я только защищаюсь.

— Да развѣ это порядочно?

— Я не хуже тебя знаю, что это непорядочно. Я отецъ, а ребенка научили звать меня чужимъ. Ему не сказали, что у него есть настоящій отецъ.

— Василій! это, наконецъ, глупо! Вспомни, что ему еще только два года.

— Онъ умнѣе своихъ лѣтъ. Впрочемъ, довольно толковать. Передай все Ольгѣ Ивановнѣ и скажи, что я жду отвѣта сегодня-же.

— Василій! вѣдь, это безчеловѣчно!

— Федоръ Ивановичъ, я прошу тебя передать ей все. Если ты не хочешь, я напишу и потребую отвѣта сегодня-же.

— Василій, ты не сознаешь, что дѣлаешь. Это безполезное и безумное упрямство. Вѣдь, этимъ ты навсегда убьешь ея любовь къ себѣ.

— Въ наставленіяхъ я не нуждаюсь! Говори: скажешь ты ей, или я напишу.

— Хорошо. Я не скажу ей ни слова до вечера,—авось, въ тебѣ проснется человѣкъ. Если ты не одумаешься—я вечеромъ переговорю и прійду сказать ея рѣшеніе.

— Что-жъ? потяни, коли есть охота. Но знай, что, если я не получу согласія сегодня...

— Угрозы?

— Да!

— Хорошо, упрямый безумецъ!—вскричалъ, уходя, Федоръ Ивановичъ.

Безконечно долго тянулся этотъ день для Воронова. Ему казалось, что вечеръ не наступитъ никогда. „А что, если она не согласится?“—думалъ онъ; „не можетъ быть... Я люблю ее, она должна быть снова моей“.

Ровно въ десять часовъ ему подали записку.

„Вашъ ультиматумъ заставилъ меня принять рѣшеніе,—писала Ольга,—на-дняхъ я обвѣнчаюсь, но не съ вами, а съ Брагинымъ. Можете дѣлать все, что вамъ угодно“.

Ошеломленный, точно обухомъ по головѣ, сидѣлъ Вороновъ, нѣсколько разъ перечитывая письмо. Неожиданность была такъ велика, что пересилила злость, и онъ не сомкнулъ глазъ цѣлую ночь, не зная на что рѣшиться. Жгучее чувство никогда неиспытанной ревности будило въ немъ злые инстинкты. Онъ увѣрялъ себя, что онъ обманутъ, что Ольга давно любитъ Брагина, даже, можетъ быть, вовсе и не платонической любовью. Онъ не могъ рѣшить, кого онъ больше ненавидитъ: ее, или Брагина. Больнѣе всего было ему—сознаніе своего безсилія: онъ понялъ, что Ольга навсегда потеряна для него и его угрозы скандала не страшны ей. Онъ проклиналъ то себя, то Брагина, то Ольгу... Но, минуту спустя, передъ нимъ являлось блѣдное, съ слезами негодованія на глазахъ, прекрасное лицо Ольги. „Какъ она похорошѣла!“—вырвалось у него вслухъ и мысль, что эта женщина потеряна для него навсегда, доводила его до бѣшенства. Наступилъ день, а онъ все еще ничего не рѣшилъ. Одѣвшись, онъ только что хотѣлъ идти, не зная: къ Брагину или къ Ольгѣ, какъ ему подали телеграмму. Въ дѣлахъ той компаніи, у которой онъ служилъ, случалась неожиданная путаница и его просили немедленно пріѣхать. Дѣло было очень серьезное, грозилъ большой убытокъ,—откладывать выѣздъ было невозможно. Это извѣстіе сразу отрезвило Воронова: онъ былъ слишкомъ уменъ и самолюбивъ, чтобы быть смѣшнымъ и горько пожалѣлъ о вчерашней вспышкѣ. Ему стало стыдно за себя и въ концѣ концовъ онъ обрадовался, что можетъ съ честью выйти изъ своего глупаго положенія и съ готовымъ рѣшеніемъ отправился къ Брагину.

VI.

Мучительную ночь провела Ольга, услыхавъ отъ Федора Ивановича ультиматумъ Воронова. Ее удивило, что она не только не обрадовалась его пріѣзду, но что даже пугала мысль о близости развязки. Она припоминала до мельчайшихъ подробностей прошлое, начиная съ первой встрѣчи съ Вороновымъ до его отъ-

ѣзда. Весь романъ продолжался не больше полугода—потомъ наступили его отъѣздъ и года тяжелыхъ, мучительныхъ страданій. Она сознавала, что безъ Брагина она погибла-бы и только его теплое, дружеское участіе и вѣра въ любовь, и возвращеніе любимаго человѣка помогли ей вынести все. Она простила Воронову даже то, что онъ цѣлый годъ откладывалъ пріѣздъ, переносила спокойно сплетни и двусмысленные намеки, безропотно покорялась невозможности назваться матерью своего ребенка и видѣть его только на нѣсколько минутъ въ день. Все это она вынесла, а любимый человѣкъ былъ далеко, писалъ рѣдко, хотя и попрежнему увѣрялъ въ письмахъ въ своей любви, но возвращаться не торопился. Время шло, но покоя съ собой не приносило. Усиливалась болѣзнь матери, захворалъ Вася. Какіе это были мучительные дни... И тутъ, какъ всегда, являлся Федоръ Ивановичъ. Онъ дни и ночи почти не отходилъ отъ ребенка, и Ольга сознавала, что именно ему обязана спасеніемъ сына. Она знала, что подлѣ нея есть человѣкъ, съ которымъ можно дѣлить и радость, и горе. Въ послѣднее время, когда писемъ отъ Воронова не было болѣе полугода, а между тѣмъ надо было такъ или иначе успокоить мать, Ольга серьезно задумалась надъ сравненіемъ между Брагинымъ и Вороновымъ и все оказалось въ пользу перваго. Инстинктивно молодая женщина поняла, что Брагинъ любитъ ее и это сознаніе дало ей миръ и спокойствіе. „Если до осени онъ не вернется,—рѣшила Ольга,—я сама скажу Брагину, что люблю его больше, чѣмъ друга“. Съ этимъ рѣшеніемъ засталъ ее пріѣздъ Воронова и напрасно искала она отклика на его чувство въ своемъ сердцѣ. Послѣдній разговоръ и, наконецъ, требованіе Воронова вѣнчаться съ нимъ докончили остальное.

Когда Федоръ Ивановичъ передалъ ей слова Воронова, она долго сидѣла молча, собираясь съ мыслями и наконецъ, взявъ Брагина за руку, спросила его:

— Федоръ Ивановичъ! отвѣтьте мнѣ на одинъ вопросъ—прямо, просто.

Онъ, вопросительно взглянувъ на нее, встрѣтился съ ея глазами; въ нихъ было какое-то особенное выраженіе, отъ котораго ему стало тепло и легко на душѣ.

— На какой вопросъ?

— Любите вы меня?

Федоръ Ивановичъ покраснѣлъ и растерялся.

— Вы понимаете, о чемъ я спрашиваю?

— Да....

— Такъ скажите прямо: отъ вашихъ словъ зависитъ мой отвѣтъ Василью Николаевичу.

Брагинъ почувствовалъ, что у него закружилась голова и какъ-то радостно и хорошо забилось сердце.

— Неужели я ошиблась! Я думала...

— Я...

— Да говорите-же смѣлѣе.

— Люблю!...—вырвалось изъ груди Федора Ивановича годами рвавшееся слово.

— Милый, мнѣ только этого и надо!—вскричала Ольга и, присѣвъ къ письменному столу, быстро написала свой отвѣтъ Воронову.

— Прочтите и отправьте,—сказала она, подавая ему письмо.

Еще больше покраснѣлъ и растерялся Федоръ Ивановичъ.

— Ольга!... Это не возможно... Вѣдь, вы его любите!

— Я васъ люблю... Тамъ все кончено... Отправляйте-же скорѣе письмо.

И съ ласковой улыбкой она взяла его за плечи и вытолкнула изъ комнаты.

— Вѣрьте, что я съумѣю сдѣлать васъ счастливымъ,—прошептала она надъ его ухомъ.

Не смѣя вѣрить своему счастью, въ какомъ-то чаду вернулся домой Федоръ Ивановичъ, чувствуя, что съ нимъ совершилось что-то необыкновенное.

Вороновъ засталъ его сидѣвшимъ въ саду.

— Я никакъ не ожидалъ, Федоръ,—сразу заговорилъ онъ своимъ дѣловымъ, спокойнымъ тономъ,—что ты поставишь меня въ такое глупое положеніе. Если-бъ я зналъ, что ты и Ольга любите другъ другъ, я бы въ тотъ-же день уѣхалъ. Отчего ты не сказалъ мнѣ раньше?

— Василій! клянусь тебѣ,—я самъ узналъ только вчера.

Вороновъ слишкомъ хорошо зналъ Брагина, чтобы заподозрить его во лжи.

— Я лишній здѣсь—и сегодня-же уѣзжаю... Передай Ольгѣ Ивановнѣ,—добавилъ онъ грустнымъ тономъ,—что я такъ глубоко виноватъ передъ ней, что чувствую себя вполнѣ достойнымъ своей участи... Я потерялъ ея любовь, а ты... Ты и прежде ее любилъ?

— Да.

— Мнѣ приходило это иногда въ голову... Очень естественно, что она полюбила тебя. Я для нея дѣйствительно чужой. Ну, не въ этомъ дѣло... Вопросъ о ребенкѣ... Какъ это ни грустно, но я долженъ уступить тебѣ право считаться его отцомъ; но, надѣюсь, что вы оба предоставите мнѣ заботиться и обезпечить его будущность?...

— Конечно.

— Затѣмъ я хочу, чтобъ вы воспитали его не чужимъ для меня.

— Даю тебѣ честное слово,—перебилъ Брагинъ.

— Я, конечно, буду пріѣзжать и видаться съ нимъ. Просить, чтобъ она отдала его мнѣ, я не смѣю теперь, развѣ потомъ, когда у васъ будутъ свои дѣти Больше мнѣ ничего не нужно.

— Василій, ты благородный, великодушный человѣкъ! Иди къ Ольгѣ, скажи, что ты уѣзжаешь. Она проститъ тебѣ все. Я не хочу становиться между вами.

Федоръ Ивановичъ не договорилъ: къ нимъ подходила Ольга. Увидавъ Воронова, она поблѣднѣла и остановилась. Молча смотрѣли всѣ трое; первый заговорилъ Вороновъ:

— Ольга Ивановна! Я сегодня уѣзжаю. Я пришелъ проститься съ нимъ и передать вамъ—самъ я не посмѣлъ этого сдѣлать—просить у васъ прощенія.

— Слушайте, Ольга!—заговорилъ Брагинъ:—Василій раскаялся въ своей вспышкѣ, онъ ѣдетъ... Я понимаю, что вчера вы могли послать ему записку. Онъ уѣдетъ и потомъ вернется опять за вами.

— Федоръ!—перебилъ его Вороновъ.

— Нѣтъ, дай мнѣ кончить. Я не могу, я не хочу становиться между вами. Я отказываюсь. Онъ такой благородный, чудный...

— Федоръ!—перебилъ его снова Вороновъ.—Не тебѣ рѣшать этотъ вопросъ.

— Да, Федоръ Ивановичъ, это мое дѣло,—заговорила Ольга.—Мнѣ было-бы мучительно грустно, если-бы пришлось разочароваться въ Васильѣ Николаевичѣ!—и она протянула ему обѣ руки.

— Простите обезумѣвшему отъ горя человѣку!—вскричалъ онъ, цѣлуя ихъ.

— Нѣтъ, вы меня должны простить, что я полюбила другого... Сердцу не прикажешь.

— Я это понялъ и сегодня говорилъ Федору, что иначе не могло и быть.

— Если-бъ вы не пріѣхали, я осенью-же вышла-бы за Федора Ивановича... Простите меня, если можете, за все прошлое..

— Нѣтъ, Ольга! не мнѣ васъ прощать. Относительно Васи я уже говорилъ съ Федоромъ.

— Вы его хотите взять у меня?—дрогнувшимъ голосомъ спросила Ольга.

— Я сегодня не тотъ звѣрь, какимъ былъ вчера. Вася, конечно, останется съ вами.

— О, благодарю!... Клянусь, что онъ будетъ знать и любить васъ, какъ отца.

— Вѣрю... Мнѣ только это и нужно! Затѣмъ я хочу, чтобы Вася воспитывался на мой счетъ... Мнѣ было обидно, когда я узналъ, что вы экономничали.

— Право-же нѣтъ!—возразила Ольга.

— Конечно, я буду пріѣзжать.

— А я къ вамъ привозить вашего сына.

— Благодарю!... Если ужъ я потерялъ вашу любовь...

— То дружбу и глубокое уваженіе вы пріобрѣли сегодня.. Клянусь, что каждое ваше желаніе будетъ выполнено... Простите же меня, мой дорогой, мой хорошій, что я отказалась быть вашей женой... Я чувствую, что не дала-бы вамъ счастья.

— Простите и меня!... Федоръ, зачѣмъ ты ушелъ?—позвалъ его Вороновъ,—иди-же сюда!

Брагинъ вернулся изъ глубины лѣса.

— Зачѣмъ ты уходишь? Я скоро долженъ ѣхать.

— Но ты вернешься?

— Да, а теперь беру съ васъ слово обвѣнчаться скорѣе.

— Василій, ты убиваешь меня своимъ великодушіемъ: отказаться отъ любимой женщины!—говорилъ, волнуясь, Брагинъ.

— Ты же отказался!—возразилъ Вороновъ и, крѣпко пожимая руку Брагина, прибавилъ:—ты научилъ меня быть человѣкомъ. А теперь приведите ко мнѣ Васю, я боюсь опоздать къ поѣзду.

— Останься.

— Невозможно. Вотъ прочти телеграмму: меня вызываютъ, медлить нельзя... А вотъ и Вася,—сказалъ онъ, увидавъ няню съ ребенкомъ.

Ольга взяла его на руки и, подавая Воронову, сказала:

— Вася! это твой папа, милый, хорошій папа! Онъ тебя любитъ.

Ребенокъ послушно потянулся и поцѣловалъ Воронова. Новое, незнакомое, хорошее чувство шевельнулось въ душѣ Воронова. Онъ сознавалъ, что выростаетъ въ собственныхъ глазахъ, и это сознаніе дѣлало даже горе о потерѣ любимой женщины какъ-то легче, человѣчнѣй.

— Ты меня любишь?—спросилъ онъ, цѣлуя ребенка.

— Любу,—пролепеталъ на своемъ языкѣ ребенокъ.

— А теперь мнѣ пора.

— Мы всѣ поѣдемъ провожать васъ,—вскричала Ольга.— Няня, одѣнь скорѣе Васю!

Черезъ часъ всѣ были на вокзалѣ.

— Ну, прощайте, мои дорогіе друзья!—говорилъ Вороновъ.

—Какъ мнѣ ни тяжело, но я теперь знаю, что у меня есть семья друзей, въ которой живетъ мой сынишка.

— Нашъ,—поправила Ольга.

— Спасибо, дорогая моя! Простите и прощайте!

— Меня простите, но, право, я не могла поступить иначе... Дай Богъ, чтобы вы встрѣтили другую женщину, которая дастъ вамъ счастье. Вы въ моихъ глазахъ снова тотъ, котораго я любила...

Вороновъ молча поцѣловалъ ея руку и расцѣловался съ Васей и Брагинымъ.

— До свиданія, Федоръ! Заранѣе искренно, отъ души поздравляю тебя; ты вполнѣ заслужилъ свое счастье.

Послѣднія слова были сказаны изъ окна вагона.

Поѣздъ ушелъ.

— Поѣдемте,—сказала Ольга стоявшему въ задумчивости Брагину.

— О чемъ вы задумались?—слегка улыбаясь, спросила она дорогой.

— Какой онъ хорошій!

— Да, сегодня одинъ изъ лучшихъ дней моей жизни.

Извозчикъ подъѣхалъ къ воротамъ.

— Куда вы?—спросила Ольга, сходя съ экипажа.

— Домой.

— Нѣтъ, идите! - и, взявъ Васю на руки, ушла съ нимъ въ комнаты.

Брагинъ пошелъ слѣдомъ.

— Пойдемте и скажемъ мамѣ, что мы вѣнчаемся на будущей недѣлѣ. Да что вы на меня смотрите?—разсмѣялась она,— вы думали, что я позволю вамъ тянуть свадьбу?

— Но какъ-же онъ?

— Онъ остался моимъ другомъ, а вы давно вытѣснили его изъ моего сердца... Идемъ-же въ мамѣ!

БЕЗГРѢШНЫЙ.

(Очеркъ)

А. Туркина.

На заводѣ онъ такъ и слылъ подъ именемъ „Безгрѣшнаго". Настоящимъ именемъ его почти никто не интересовался. Когда онъ шелъ съ работы, то, обыкновенно, говорили:

— Вонъ, идетъ Безгрѣшный!

— Эй! безгрѣшная душа!

Замѣчательно, что при встрѣчѣ съ этимъ страннымъ парнемъ, всякій рабочій, даже тотъ, который въ жизни своей не убивалъ мухи—наровилъ или толкнуть, или ударить Безгрѣшнаго. Все это дѣлалось не для того, чтобы выместить досаду, или злость, а просто потому, что вошло въ привычку. Встрѣтиться съ Безгрѣшнымъ и не ударить, или не толкнуть его—это значило отступить отъ традицій, выработанныхъ временемъ.

Странный парень, который могъ-бы однимъ щелчкомъ сразить любого рабочаго, никогда не защищался. Онъ только удивленно вскидывалъ свои голубые глаза и безпомощно опускалъ руки.

Посторонній наблюдатель могъ-бы заподозрить въ немъ идіота, если-бы не глаза парня, полные скорбной вдумчивости и своеобразной мысли.

Заводскія дѣвки заигрывали съ нимъ, потому-что его полное, румяное лицо и геркулесовская фигура нравились имъ, но Безгрѣшный упрямо отворачивался отъ назойливыхъ ухаживаній, а когда которая-нибудь слишкомъ цинично приставала къ нему, онъ отводилъ ее рукой и лаконически говорилъ:

— Уйди!...

Дѣвки первыя прозвали его Безгрѣшнымъ.

Нѣкоторые сердобольные люди увѣряли, что парень несчастливъ въ семейной жизни. Пожалуй, это была правда, потому что у Безгрѣшнаго не было родной матери, а мачиха Катерина, здоровенная, мускулистая баба, помимо своихъ физическихъ достоинствъ, отличалась еще безсердечностью. Это было видно изъ того, что Безгрѣшный, приходя съ работы, никогда не входилъ въ избу, а садился подъ окномъ и ждалъ, когда Катерина выйдетъ за ворота и крикнетъ:

— Ну, иди жрать-то, што-ли!...

Парень покорно вставалъ, входилъ въ избу, снималъ у порога лапти и робко садился за столъ. Катерина, по обыкновенію, ворчала и небрежно бросала ему кусокъ хлѣба и остатки какого-нибудь варева. Въ большинствѣ случаевъ, Безгрѣшный вставалъ изъ-за стола полуголодный, но никогда не жаловался.

Иногда возмущенные сосѣди, жалѣя парня, пробовали жаловаться на Катерину ея мужу, но Иванъ, флегматично слушая, покуривалъ трубку и приговаривалъ, сплевывая въ сторону:

— Ну, што я съ ней, съ дьяволомъ, подѣлаю!...

Да, это былъ странный парень... Въ свободное время, особенно-лѣтнимъ вечеркомъ, онъ любилъ посидѣть у окна и, сложивъ огромныя мозолистыя руки на груди, наблюдалъ, какъ солнце медленно и плавно уходило за горы, какъ зеркальная поверхность пруда темнѣла, какъ самыя горы, окаймлявшія прудъ, сливались съ неясной далью, оттѣнивъ свои чистые контуры. Ему кто-то разсказывалъ, что звѣзды не что иное, какъ ангелы, и онъ съ благоговѣніемъ наблюдалъ, какъ на небѣ робко вспыхивали первыя звѣзды. А когда ночная душистая мгла окончательно окутывала грѣшную землю, когда милліоны Божьихъ ангеловъ сверкали въ бездонной синевѣ своими бѣлоснѣжными ризами, то Безгрѣшный приходилъ въ восторгъ. Онъ не отнималъ глазъ отъ сверкавшаго неба и ждалъ,—не раскроется-ли оно, не зазвенятъ-ли въ небесной лазури серебряные колокола и не ворвется-ли въ его измученную душу божественная пѣсня.

Больше всего онъ любилъ уходить въ лѣсъ. Онъ, конечно, не могъ сознательно наслаждаться великой гармоніей природы, но, во всякомъ случаѣ, восторгался ею гораздо искреннѣе, чѣмъ какой-нибудь поэтикъ, изливающій свои впечатлѣнія въ надутомъ лиризмѣ. Изъ звуковъ, несущихся ему на встрѣчу, изъ красокъ, лежащихъ на травѣ и деревьяхъ, онъ создавалъ себѣ прекрасный міръ, гдѣ зло, въ образѣ людей, отсутствовало и гдѣ онъ никого не боялся. Птицы порхали надъ его головой, довѣрчиво смотря на него своими выпуклыми глазками, бабочка садилась ему на

руку и Безгрѣшный замиралъ отъ восторга и страха, боясь нечаянно измять прозрачныя, покрытыя пылью, крылышки.

Когда-же, вечеромъ, туманъ поднимался надъ похолодѣвшей равниной, когда окрестности пріобрѣтали, свойственный вечеру, колоритъ мягкой и грустной поэзіи,—Безгрѣшный ложился ничкомъ на землю и плакалъ... Этотъ сильный парень боялся вернуться къ людямъ.

Однажды его на заводѣ чѣмъ-то придавило, и Безгрѣшнаго принесли домой съ переломленными ногами.

Онъ не издавалъ стоновъ и не кричалъ. Катерина невольно почувствовала жалость къ парню и заплакала, поправляя его изголовье. Безгрѣшный открылъ свои голубые глаза и пристально посмотрѣлъ на облитое слезами лицо мачихи. Потомъ онъ сдѣлалъ страшное усиліе, приподнялся на локтѣ и заговорилъ:

— Мама! помнишь, ты меня ругала и била? Помнишь, мама?

— Помню... рыдая, отвѣтила Катерина.

— Я, вѣдь, не сердился, мама... Ну, пусть, молъ, поругается... Такъ, молъ, видно и надо... Я не сердился...

Онъ еще что-то хотѣлъ сказать, но не могъ и упалъ на подушку.

Онъ не вынесъ операціи и умеръ. Катерина горько плакала, но странный парень не слыхалъ ея слезъ. Онъ улетѣлъ туда, куда, бывало, такъ жадно всматривался, гдѣ звенѣли серебряные колокола и плавали, сверкая бѣлоснѣжными ризами, небожители...

* * *

О, если, мой другъ, ты бороться не въ силахъ,
И пасть тебѣ въ трудной борьбѣ суждено:
Иди, отдохни ты на старыхъ могилахъ,
На старыхъ могилахъ, забытыхъ давно...

Въ нихъ жизнь не одна горемычная тлѣетъ,
Въ нихъ все уравнялось—любовь и вражда.
Я знаю—отъ мрачныхъ могилъ тѣхъ повѣетъ
Дыханіемъ смерти, и снова тогда

Придешь ты *сюда*, гдѣ безсильны молитвы,
Чтобъ бой укротить, этотъ сумрачный бой...
И снова поймешь ты смыслъ жизненной битвы,
Проклявши нирваны холодный покой.

Ф. Филимоновъ.

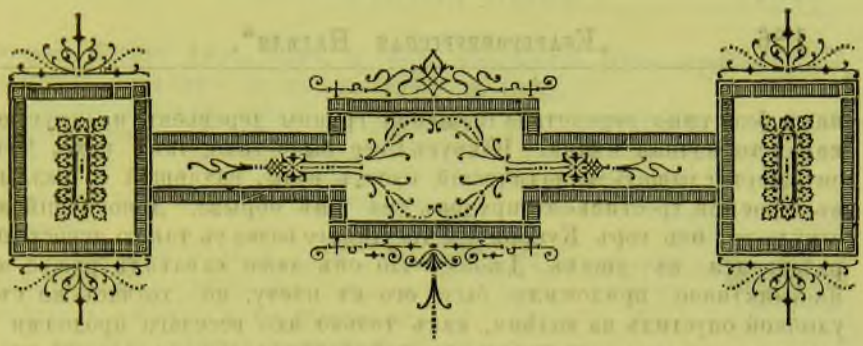
* * *

Въ грезахъ видѣлъ я, что будто
Улетѣлъ за край небесъ,
Въ заколдованныя страны,
Страны, полныя чудесъ.
Вижу—въ теремѣ хрустальномъ,
Вся цвѣтами убрана,
Спитъ царевна молодая—
Златокудрая весна.
Снится ей, похолодѣвшей,
Что въ странѣ ея родной
Бродитъ призракъ помертвѣлый,
Призракъ голода больной...
Онъ назойливой рукою
Въ окна мерзлыя стучитъ
И, дрожа, весь истощенный,
Умоляетъ и грозитъ.
А кругомъ ночь безъ просвѣта
Вѣетъ холодомъ и мглой,
Небеса роняютъ звѣзды
Надъ застывшею землей...

. . . . . .

Вдругъ проснулася царевна—
Златокудрая весна—
И пошла въ страну родную,
Вся цвѣтами убрана.
Съ блескомъ солнечнымъ и пѣсней,
Разгоняя мракъ и сонъ,
Привела она съ собою
Грезъ крылатыхъ легіонъ.
И блѣднѣетъ истощенный
Призракъ смерти роковой...
О, проснись, мой братъ убогій,
Братъ, измученный нуждой!...

А. Туркинъ.



ПѢСНЬ ОБЪ ОПАЛѢ.

(Разсказъ)

М. Е. М. Дэвисъ.

Перевела съ англійскаго Е. В.

Съ минуту Джонъ Динъ пріостановился на порогѣ своей хижины, высѣченной въ скалѣ, при чемъ его наклоненная голова касалась притолки, а широкія плечи почти упирались въ косяки грубо отесанной двери; затѣмъ онъ быстро взбѣжалъ по лѣсенкѣ, ведшей на плоскую крышу, и, усѣвшись тамъ на площадкѣ, выставилъ обнаженный лобъ на встрѣчу свѣжему октябрьскому вѣтерку. Онъ съ наслажденіемъ принялся вдыхать полною грудью ароматъ травы, желтые цвѣты которой, теперь еле виднѣвшіеся при звѣздномъ освѣщеніи, покрывали собою обрывистый склонъ и громадную степную площадь, широко раскинувшуюся по правую руку. Налѣво отъ него, приблизительно на разстояніи мили, подымались къ ясному небу горы, образуя подобіе полукруглаго вала изъ темныхъ нѣжныхъ облаковъ. Свѣтящіяся насѣкомыя мелькали тамъ и сямъ среди позднихъ осеннихъ цвѣтовъ, слабое благоуханіе которыхъ неслось къ нему изъ небольшого садика, раскинутаго передъ входомъ въ хижину. Въ обрывѣ, внизу, по време-

*

намъ безшумно перелетала съ одной группы деревьевъ на другую какая-то ночная птица. Вокругъ все было тихо, такъ тихо, что онъ могъ слышать мелодическій плескъ воды, падавшей со скалы въ заросшій тростникомъ прудокъ на днѣ обрыва. Доносившійся откуда-то изъ горъ Куарри вой прерійнаго волка съ такою ясностью раздавался въ ушахъ Джона, что онъ даже схватилъ ружье и инстинктивно приложилъ было его къ плечу, но тотчасъ-же съ улыбкой опустилъ на колѣни, какъ только эхо веселаго продолжительнаго и давно ему знакомаго смѣха пронеслось по долинѣ изъ лавки у Логэнскаго обрыва.

Тамъ разговоръ шелъ, дѣйствительно, о немъ или, вѣрнѣе сказать, говорилъ одинъ только старый дядя Дики Кроульсъ, развалившійся, съ коротенькою трубочкою въ беззубомъ рту, на обтянутомъ бычачьею шкурою креслѣ подлѣ камина, а „парни“ почтительно слушали.

Нѣсколько узловатыхъ корней съ трескомъ пылали въ громадномъ очагѣ, болѣе или менѣе освѣщая комнату, такъ какъ закоптѣлая керосиновая лампочка, помѣщавшаяся на одномъ изъ концовъ прилавка, бросала тусклый свѣтъ лишь на засаленые листы большой приходо-расходной книги, въ которую Джонъ Матьюсъ, хозяинъ лавки, небрежно записывалъ приходъ и расходъ. „Парни“—большею частью рослые, худощавые люди среднихъ лѣтъ съ серіозными лицами и живыми, полными юмора, глазами—сидѣли полукругомъ у очага. Двери лавки стояли настежь. Горы съ плоскими вершинами, поднимавшіяся по ту сторону обрыва, вырѣзывались громаднымъ массивнымъ четыреугольникомъ въ ночномъ полумракѣ. Проволочная загородь, извивавшаяся вдоль гладкой мощеной дороги, сверкала серебристою лентою въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ на нее падалъ, бросаемый каминомъ, свѣтъ. Десятокъ лошадей съ высокими разукрашенными сѣдлами были привязаны къ молоденькимъ деревцамъ за домомъ, на защищенной отъ вѣтра сторонѣ. Столько-же собакъ валялись на ступенькахъ крыльца или дремали подъ стульями своихъ хозяевъ.

— Когда я прошлымъ Рождествомъ увидѣлъ его въ первый разъ, говорилъ дядя Дики,—то я сразу-же смекнулъ, что онъ бѣглый. Нѣкоторые изъ васъ, парни, тогда утверждали, что онъ выглядываетъ очень подозрительно, и что это вотъ самое зданіе не укроетъ его болѣе, чѣмъ на недѣлю, безъ того, чтобы у него не случилось свиданія съ веревочною петлею. Но нашъ дядя Дики ошибается рѣдко и онъ тотчасъ-же взялъ его подъ свое покровительство, а теперь въ цѣломъ округѣ нѣтъ ни одного человѣка, котораго сограждане уважали-бы болѣе Джонъ Дина. Ну-съ, я, конечно, ни чуточки не сомнѣваюсь, что дома, господа, онъ все-таки да уложилъ кого-нибудь! И я такъ-же мало вѣрю, что его

зовутъ Джонъ Динъ, какъ и тому, что Билль Питъ чуть-чуть не поймалъ на-дняхъ за хвостъ леопарда.

Билль Питъ весело хлопнулъ дядюшку Дики своимъ неуклюжимъ, но никогда не промахивающимся, ружьемъ и присоединился къ добродушному смѣху на счетъ его-же личности. Эхо этого смѣха и донеслось до Джонъ Дина, мечтавшаго на крышѣ своей хижины.

— Да мнѣ и дѣла нѣтъ, какъ его тамъ зовутъ! продолжалъ дядя Дики, когда смѣхъ поулегся,—а что до него самого, то онъ молодецъ—нужно таки признаться!

— Это вѣрно! подтвердилъ Матьюсъ, отрывая глаза отъ своей приходо-расходной книги, но оставляя при этомъ перепачканный въ чернилахъ палецъ на графѣ, въ которую онъ какъ разъ заносилъ что-то.—И онъ, пожалуй, таки будетъ самый смышленый человѣкъ, какого мнѣ приходилось когда-либо встрѣчать на своемъ вѣку. Возьмите, къ примѣру, хоть-бы его домъ, который онъ самъ вырубилъ и устроилъ въ скалѣ. По моему, другого такого дома въ цѣломъ свѣтѣ днемъ съ огнемъ не сыщешь. Подумайте только—выдолбить самую эту скалу и все сдѣлать изъ камня—ну, какъ есть все: и трубу, и каминъ, и даже полку надъ каминомъ. И удивительно, право, какъ это можно тесать камень—вотъ поди-же!—заключилъ онъ задумчиво.

— А старую каменоломню онъ не тронулъ? спросилъ Редъ Наберзъ изъ своего угла за каминомъ.

— Господи, твоя воля! что придумалъ! воскликнулъ дядя Дики, переставая качаться на своемъ креслѣ, переднія ножки котораго съ трескомъ ударили объ полъ.—Эта старая каменоломня была уже старою, когда я пришелъ въ Команчское графство,—а пришелъ-то я еще прежде, чѣмъ убрались отсюда индѣйцы. Отъ ихняго вождя-то отъ самого я и слышалъ разныя разности объ этихъ Копателяхъ. И вотъ что я вамъ доложу: никто не посмѣетъ дотронуться до этой старой каменоломни, пока голова у меня на плечахъ—вотъ ни одного кусочка не дамъ выковырять изъ нея!

— Конечно, дядя Дики! конечно, никто и не посмѣетъ ее тронуть! сказалъ успокоительнымъ тономъ Матьюсъ, которому въ дѣйствительности принадлежала старая каменоломня.—Джонъ Динъ и не думалъ ее трогать! Вѣдь я самъ собственными руками помогалъ ему втаскивать всѣ плиты, изъ которыхъ онъ состряпалъ себѣ хижину. Оно только правда, что онъ таки усердно ищетъ эти самые камни, о которыхъ вотъ разсказывалъ дядя Дики... Да, можно сказать, онъ ищетъ ихъ съ самаго дня пріѣзда!

— Что-же, это въ порядкѣ, пусть себѣ ищетъ на здоровье! сказалъ старикъ успокоеннымъ тономъ, снова опрокидываясь на своемъ креслѣ и засовывая трубку въ ротъ.—Сдѣлай милость, ковыряй

землю, сколько душѣ угодно, пока сыщешь эти маленькія раковинки. Мнѣ наплевать! Очень было-бы даже пріятно, если-бы онъ могъ раскусить, что за камни искали эти самые Копатели...

— По вашему, дядя Дики, стало быть, выходитъ, что въ старой каменоломнѣ рылись по части алмазовъ? справился Гринъ Наберзъ, дюжій братъ-близнецъ Реда.

— Ну, что касается алмазовъ, отвѣтилъ дядя Дики съ разстановкою,—такъ я и не думалъ говорить о нихъ. Говорю вамъ только, что цѣлую прорву лѣтъ назадъ *кто-то* рылся *изъ за чего-то*. И ужъ, конечно, рылись не ради камней для постройки,—никоимъ манеромъ. Подите въ каменоломню и посмотрите: по всему краю ямы тамъ валяются кучи камней—кругловатыхъ такихъ, похожихъ на черепаху; и всякій такой камень расколотъ по серединѣ—всѣ какъ есть. И я собственными глазами видѣлъ, что въ серединѣ такихъ камней есть ямка или гнѣздышко. Конечно, въ такихъ ямкахъ теперь ничего не найдешь, но прежде что-нибудь да сидѣло и потомъ было выковырено этими самыми Копателями. Поняли? Я не говорю, что въ этихъ ямкахъ сидѣли непремѣнно алмазы, но полагаю такъ, что тамъ торчали какіе-нибудь камни—примѣрно, такіе-же драгоцѣнные, какъ и алмазы. Такъ-то... До сей поры я самъ не наткнулся еще ни на одну цѣльную, т. е. не расколотую черепаху, но ежели Джонъ Динъ найдетъ такую штуку, пока онъ тутъ прячется и отдыхаетъ, то я первый порадуюсь отъ души.

Джонъ Динъ, одиноко сидѣвшій на крышѣ своей маленькой чудной хижины, навѣрно, громко расхохотался-бы, если-бы ему сказали, что популярностью своею въ Лангъ-Гапъ-Пресинктѣ онъ обязанъ, главнымъ образомъ, легендѣ, сдѣлавшей изъ него бѣглеца-убійцу и, чего добраго, пожалуй, даже приговореннаго къ смертной казни. Впрочемъ, симпатія его сосѣдей врядъ-ли уменьшилась-бы, если-бы они узнали настоящую причину, заставившую Джона поселиться среди нихъ. Неугомонные, кочующіе, созданные изъ того матеріала, изъ котораго вырабатываются піонеры, они, по крайней мѣрѣ, поняли-бы то невыразимое и совершенно недоступное семейному консерватизму чувство, превратившее Джона Дина, владѣльца обширнаго помѣстья Динъ, въ Дина-странника, о которомъ даже самые сдержанные люди его общества не задумались-бы отозваться какъ о бродягѣ. Кто знаетъ, можетъ быть, въ немъ дѣйствительно таилась наклонность къ бродяжничеству, любовь къ ничѣмъ неограниченной свободѣ, переданная ему красавицею-дикаркою, которую одинъ изъ его дальнихъ предковъ привезъ умирать изъ-за моря въ свой знатный домъ въ Англію. Родственники, по крайней мѣрѣ, утверждали, всматриваясь въ ея портретъ, что онъ унаслѣдовалъ отъ нея темно-каш-

тановые волосы, нѣжные каріе глаза съ страннымъ, безпрестанно мѣнявшимся, блескомъ, изящныя, сильныя руки и гибкое, стройное тѣлосложеніе. Во всякомъ случаѣ, члены его степенной, чопорной семьи рѣшали, съ оттѣнкомъ презрѣнія, что это не кровь Диновъ гнала его еще мальчуганомъ кочевать по лѣсамъ да лугамъ и впослѣдствіи, когда помѣстье перешло въ его руки, неудержимо потянула его въ дикія, неизвѣстныя страны.

Джонъ слегка вздохнулъ, когда благоуханіе вывезенныхъ изъ Англіи и посаженныхъ въ садикѣ цвѣтовъ пробудило въ немъ воспоминаніе о далекомъ родномъ домѣ и дѣтствѣ, но въ это время его рука нечаянно упала на одну изъ громадныхъ плитъ, составлявшихъ кровлю его хижины, и отъ этого соприкосновенія по всему его существу, казалось, разлилось какое-то чувство довольства и душевнаго успокоенія.

— Они и безъ меня отлично обходятся,—произнесъ онъ, и на его губахъ, прятавшихся подъ длинными каштановыми усами, невольно появилась улыбка при мыслѣ о респектебельномъ, методическомъ Динѣ, управляющимъ его родовымъ помѣстьемъ, между тѣмъ какъ собственникъ убивалъ свои лучшіе годы гдѣ-то на границахъ Техаса.

Наконецъ онъ взялъ ружье подъ мышки и собрался было уже уходить, но по обыкновенію остановился, чтобы еще разъ полюбоваться ночнымъ пейзажемъ. Вдругъ у него вырвалось восклицаніе. На склонѣ Куарскихъ горъ свѣтился огонекъ, двигавшійся, какъ казалось, по верхнему краю старой каменоломни. По временамъ онъ опускался и исчезалъ изъ виду, затѣмъ снова загорался на подобіе звѣзды, точно несшій его человѣкъ высоко приподымалъ руку надъ своею головою.

Джонъ, оберегавшій неприкосновенность старой каменоломни почти съ такою же ревностью, какъ и самъ дядя Дики, нахмурился.

— Хотѣлъ-бы я знать, кто это можетъ тамъ шляться ночью? пробормоталъ онъ, продолжая слѣдить за мерцавшимъ факеломъ, пока тотъ не исчезъ внезапно за находившимся по сосѣдству лѣсомъ.—Должно быть, кто-нибудь изъ Кроульсовскихъ парней охотится за дикими кошками,—рѣшилъ онъ, наконецъ, и началъ спускаться по каменнымъ ступенькамъ.

Солнце не успѣло еще взойти, когда Джонъ, вышедшій по обыкновенію гулять, направился чрезъ долину въ горы.

На небѣ еще виднѣлся блѣдный осенній мѣсяцъ, подлѣ котораго медленно потухала послѣдняя звѣздочка, между тѣмъ какъ на востокѣ уже загоралась розовымъ свѣтомъ заря. Свѣжій западный вѣтерокъ разгонялъ туманъ, собравшійся въ ущельяхъ.

Наблюдатель, слѣдившій, какъ Динъ въ сопровожденіи своей косматой ищейки пробирался между кустами хлопчатника, навѣр-

но, согласился-бы, что Дины имѣли право быть недовольными этимъ членомъ ихъ семьи. Его высокая гибкая фигура, къ которой такъ шелъ простой костюмъ поселенца, его красивое мужественное лицо съ выраженіемъ беззаботной независимости и удовлетворенности,—какъ все это могло-бы помочь поднять значеніе всей ихъ семьи вообще, если-бы только Джонъ не уклонился отъ ея традицій!

Зачерпнувъ ведро воды въ прудкѣ, заросшемъ тростникомъ, онъ отнесъ его своей лошади, Роланду, помѣщавшейся подъ грубо сколоченнымъ навѣсомъ по другую сторону поля. Затѣмъ, насвистывая, онъ отправился дальше по тропинкѣ, проложенной имъ-же самимъ по крутому склону горы. Дойдя до вершины, Джонъ остановился и посмотрѣлъ внизъ. Долина была еще окутана нѣжнымъ сѣроватымъ туманомъ, но широко раскинувшаяся степь, одѣтая своимъ желтымъ покровомъ, уже сверкала подъ лучами восходящаго солнца. Дальше возвышались плоскія вершины пирамидальныхъ холмовъ, отдѣленныхъ другъ отъ друга проходами, черезъ которые виднѣлась розово-голубая даль. Тонкія струйки дыма поднимались изъ трубъ хижинъ, разбросанныхъ по степи; подлѣ нихъ на поляхъ, казавшихся совершенно бѣлыми отъ лопавшихся плодовъ хлопчато-бумажника, онъ могъ различить сновавшія туда и сюда фигуры женщинъ и дѣтей. Нѣсколько лошадей стояли уже привязанными около лавки въ Гапѣ, а по бѣлѣвшейся дорогѣ въ городъ медленно двигалась тяжелая фура съ темною покрышкою. Съ минуту смотрѣлъ онъ на раскинувшуюся передъ нимъ давно знакомую ему картину, потомъ, не торопясь, побрелъ по усыпанному камнями гребню. Дикій тминъ, раздавленный его ногами, наполнялъ воздухъ бодрящимъ благоуханіемъ; чаща дикихъ грушъ казалась золотисто-красною отъ массы спѣлыхъ плодовъ. Дубы-карлики, вѣтви которыхъ гнулись подъ темными блестящими желудями, были тамъ и сямъ покрыты тонкими сѣтями какого-то нѣжнаго вьющагося растенія, блиставшими отъ росы. Въ боярышникѣ у новой каменоломни свисталъ дроздъ-пересмѣшникъ. Бѣлка съ поднятымъ пушистымъ хвостомъ не спѣша перебѣжала по полянѣ отъ одного дерева къ другому, словно поддразнивая невооруженнаго охотника. Дойдя до той просѣки, которую можно было видѣть съ крыши его хижины, онъ вдругъ остановился; собака тихонько заворчала, но повелительный жестъ хозяина заставилъ ее тотчасъ-же замолчать. У входа въ старую каменоломню, повернувшись лицемъ въ другую сторону, сидѣла молодая, граціозная женщина, одѣтая въ плотно обхватывавшее ея стройную фигуру черное платье. Вокругъ ея полной бѣлой шеи былъ небрежно повязанъ платокъ. Густые, золотисто-каштановые волосы обвивали въ видѣ короны непокрытую хорошень-

кую головку; руки дѣвушки покоились на колѣняхъ. Подойдя ближе, онъ замѣтилъ, что въ одной изъ нихъ она держала курьезный коротенькій, толстый молотокъ, а около нея лежала небольшая кучка камней. Джонъ безшумно подвигался впередъ, примѣчая всѣ эти детали, и успѣлъ очутиться на выступѣ скалы близъ дѣвушки прежде, нежели она обратила вниманіе на присутствіе чужого человѣка. Когда она, наконецъ, обернулась въ его сторону съ легкимъ восклицаніемъ, онъ нисколько не удивился тому, что она оказалась молодою и поразительно красивою. Онъ почему-то ожидалъ увидать именно этотъ нѣжный овалъ, этотъ блѣдный цвѣтъ лица, напоминавшій бархатистый лепестокъ магноліи, глубокіе, фосфоресцирующіе каріе глаза, длинныя золотистыя рѣсницы, тонкія пурпуровыя губы и округленный подбородокъ. Въ первую минуту они молча смотрѣли другъ другу въ глаза. Тревожное недоумѣніе, сначала выразившееся въ ея взглядѣ, вдругъ перешло въ какое-то радостное волненіе. Джонъ не былъ въ состояніи выговорить ни слова: такъ сильно билось его сердце.

— Извините, я не хочу мѣшать вамъ, пробормоталъ онъ, наконецъ, въ смущеніи.—Я, я только хотѣлъ пройти здѣсь мимо...

— Вы издалека? неожиданно спросила дѣвушка. Голосъ ея былъ необыкновенно мелодиченъ, но въ говорѣ ясно слышался иностранный акцентъ, хотя слова она произносила правильно и съ какою-то странною отчетливостью. Онъ снялъ шляпу и указалъ ею по направленію къ своей хижинѣ, плоская крыша которой бѣлѣла внизу въ долинѣ.

— Я живу вонъ тамъ, отвѣтилъ онъ; но затѣмъ, уловивъ настоящій смыслъ ея словъ, поправился:—да, я изъ Англіи.

— Изъ Англіи? медленно повторила за нимъ дѣвушка. Какой-то новый вопросъ, казалось, вертѣлся у нея на губахъ, но она опустила рѣсницы и промолчала.

— А вы ищете драгоцѣнные камни? въ свою очередь спросилъ Джонъ, указывая глазами на молотокъ.

Лицо дѣвушки стало при этомъ еще блѣднѣе, руки ея еще крѣпче сжали неуклюжую рукоятку молотка.

— Да, глухо произнесла она послѣ небольшой паузы, но тотчасъ-же, вскочивъ на ноги и стряхнувъ съ подола осколки и мохъ, перемѣнила тонъ и прибавила почти весело:—конечно, это глупая старая легенда, но полагаю, что всѣ, кто только ее знаетъ, приходятъ сюда искать опалъ,—ну, и я тоже хочу попытать счастіе!

Послѣ этого дѣвушка набросила на голову черную шерстяную косынку и, придерживая рукою ея концы подъ подбородкомъ, слегка поклонилась Джону и начала быстро спускаться съ горы, съ граціозностью и легкостью перепрыгивая съ выступа на вы-

ступъ. Когда она, наконецъ, исчезла изъ виду, Динъ медленно подошелъ къ разщелинѣ въ скалѣ и, вытащивъ оттуда свой собственный молотокъ, съ любопытствомъ принялся разсматривать и вертѣть его въ рукѣ, потомъ быстрымъ движеніемъ локтя подбросилъ его въ воздухъ и сталъ внимательно слѣдить за его паденіемъ, пока тотъ, со звономъ ударяясь о камни, не шлепнулся грузно въ оврагъ, густо поросшій терновымъ кустарникомъ.

— Мнѣ онъ больше не нуженъ! пробормоталъ онъ со смѣхомъ.—Я уже нашелъ себѣ драгоцѣнный камень! И кто бы она могла быть и откуда? Ужъ, навѣрно, не изъ Лангъ-Гапъ-Пресинкта. Ну, да я спрошу у дяди Дики. И почему это она вздумала спросить меня: „Вы издалека?“... Гмъ... Опалы... Кажись, я еще не слыхалъ, что камни, которыхъ ищутъ здѣсь въ старой каменоломнѣ,—опалы...

Джонъ растянулся во всю свою длину на травѣ и вытащилъ изъ кармана своей блузы томикъ „Border Ballads“. Встрѣча съ незнакомкою однако никакъ не выходила у него изъ головы. Онъ уставился глазами въ книгу, но вскорѣ поймалъ себя на томъ, какъ его губы машинально повторяли: „вы издалека?“ „вы издалека?...“

— Нѣтъ, ужъ лучше пойду въ лавку да позавтракаю! порѣшилъ онъ вслухъ, громко захлопывая книгу, и вскочилъ на ноги.

Солнце лило свои теплые лучи на желтые цвѣты и пурпуровыя грозди чертополоха, ютившагося на отлогахъ холмовъ преріи. Среди густыхъ, разбросанныхъ тамъ и сямъ, кустовъ чирикали какія-то крохотныя нарядныя птички, и при всякомъ поворотѣ извилистой дорожки у ногъ его раздавался шорохъ крыльевъ, а вслѣдъ затѣмъ стая молодыхъ куропатокъ поднималась съ пронзительнымъ крикомъ и, пролетѣвъ немного, снова пряталась въ согрѣтую солнцемъ траву. Приближаясь къ лавкѣ, Динъ увидѣлъ всадника, быстро скакавшаго съ запада внизъ по обрыву. Серебряныя украшенія его узды блестѣли сквозь окружавшее его облако сѣрой пыли. Въ нѣсколькихъ шагахъ за нимъ бѣжала лошадь безъ сѣдла и узды. Онъ ловко осадилъ своего рослаго сѣраго коня, съ черною развѣвавшеюся гривою, передъ лавкою и изысканно-вѣжливо раскланялся съ Матьюсомъ какъ разъ въ тотъ моментъ, когда Динъ подошелъ къ крыльцу. Всадникъ разспрашивалъ насчетъ дороги къ Рэнджеръ-Спрингу, находившемуся въ разстояніи двухъ или трехъ миль отсюда. Сопровождавшая его, небольшая, чудно-сложенная гнѣдая кобыла остановилась теперь подъ тѣнью скалы и съ аппетитомъ пощипывала сочную траву. Неподдѣльное чувство восхищенія охватило Дина при видѣ этихъ двухъ красивыхъ животныхъ. Онъ хотѣлъ было уже обратиться

къ ихъ собственнику съ обычною похвалою поселенцевъ, но слова застряли у него въ горлѣ, и онъ невольно отступилъ шагъ назадъ—до такой степени непріятное впечатлѣніе произвелъ на него дикій, почти, звѣрскій видъ незнакомца, человѣка ужъ очень пожилаго, почти стараго по годамъ, но поражавшаго своею атлетическою крѣпостью. Его изборожденное морщинами и побурѣвшее, какъ старый пергаментъ, лицо на половину исчезало въ густой пушистой сѣдой бородѣ, спускавшейся почти до колѣнъ; темные, глубоко ввалившіеся, глаза сверкали на подобіе карбункуловъ изъ-подъ сѣдыхъ-же, нависшихъ, пушистыхъ бровей; тонкій носъ съ узкими ноздрями, куріозно сжимавшимися при каждомъ дыханіи, загибался книзу крючкомъ. Ноги его, когда онъ сидѣлъ выпрямившись на своей высокой лошади, казались слишкомъ короткими въ сравненіи съ широкимъ толстымъ туловищемъ; могучія-же руки, напротивъ, поражали несоразмѣрною длиною. Его загорѣвшія, громадныя, неуклюжія ручныя кисти были покрыты толстыми вздутыми жилами и были снабжены длинными, острыми, искривленными ногтями, сильно походившими на когти какого-нибудь хищнаго звѣря. Во всемъ этомъ человѣкѣ было что-то мрачное и зловѣщее, и Динъ почувствовалъ нѣчто въ родѣ облегченія, когда незнакомецъ снова надѣлъ свою широкополую шляпу и отъѣхалъ отъ лавки. Заслышавъ его легкій свистъ, гнѣдая кобыла подняла свою небольшую изящную голову и весело поскакала вслѣдъ за нимъ.

— И чего этотъ чертъ снова таскается здѣсь!—ворчалъ дядя Дики, стоявшій на порогѣ и смотрѣвшій вслѣдъ уѣзжавшему всаднику, при чемъ его морщинистое добродушное лицо, по мѣрѣ доступной ему возможности, выразило крайнее неудовольствіе и отвращеніе.—Не за добромъ онъ явился—голову даю на отсѣченіе! Что ему нужно, старому дьяволу?

— Веревка съ перекладиной, нужно полагать!—со смѣхомъ отвѣтилъ ему Динъ, употребляя его же любимое выраженіе.—А кто онъ такой, дядя Дики?

— А это вы, Джонъ!? Ну, здравствуйте. Вы спрашиваете: кто онъ? Да проклятый мексиканецъ—вотъ кто! Самъ онъ себя обыкновенно величаетъ донъ Хозэ. Я, впрочемъ, не знаю, какъ онъ тамъ еще можетъ называться. Я его не видалъ съ самаго 1867 года—значитъ, около двадцати лѣтъ. Встрѣтились мы съ нимъ впервые какъ разъ, когда я вернулся домой съ войны. Въ то время бѣлыхъ здѣсь почти не было. Я и Джимъ Кромпъ стояли лагеремъ около Рэнджеръ-Спринга, а самый этотъ донъ Хозэ уже околачивался около нашихъ мѣстъ—и Богъ его знаетъ, что онъ тутъ дѣлалъ. Съ нимъ была дѣвочка, которую онъ выдавалъ за свою дочку... И вы думаете, что я такъ и повѣрилъ, что она

была его ребенкомъ!—Дики остановился и обвелъ глазами слушателей.

— Конечно, нѣтъ, дядя Дики!—крикнулъ ему кто-то.

— Ну-съ, продолжалъ онъ, одобрительно усмѣхнувшись,—дѣвочка эта все время бѣгала здѣсь, а затѣмъ въ одинъ прекрасный день исчезла неизвѣстно куда. Конечно, если-бы я могъ тогда распорядиться по своему, то этому Хозэ не минуть-бы веревки съ перекладиною! Будь онъ проклятъ, желторожій дьяволъ! И для какого черта онъ вздумалъ прикидываться, что будто и не знаетъ, гдѣ Рэнджеръ-Спрингъ?

— А лошади у него знатныя!—замѣтилъ одинъ изъ парней.

— А я готовъ вамъ поклясться, что онъ ихъ укралъ гдѣ нибудь!—съ сердцемъ отвѣтилъ на это старикъ.

Динъ вошелъ вслѣдъ за Матьюсомъ въ лавку и спросилъ, нѣтъ-ли для него писемъ. Матьюсъ тотчасъ-же отправился за прилавокъ, вытащилъ коробку изъ-подъ свѣчей, служившую почтовою конторою, и принялся рыться въ наполнявшей ее всякой всячинѣ; затѣмъ подалъ Джону два пакета, связку газетъ и большой толстый конвертъ съ заграничною маркою.

— Эге! ужъ не вздумалъ-ли мой... началъ было Динъ, но сразу остановился.

Дядя Дики вернулся на свое мѣсто подлѣ камина, и Матьюсъ немедленно-же обратился къ нему съ вопросомъ:

— А что, дядя Дики, эта самая чужая дѣвушка устроила уже школу или еще нѣтъ?

— И въ какое дурацкое время вздумала открывать школу! —замѣтилъ Редъ Наберзъ, стоявшій у двери.—Вѣдь, теперь всѣ ребятишки заняты на хлопчатныхъ плантаціяхъ, и Богъ знаетъ, когда еще кончится жатва... Да и то сказать, умѣетъ-ли еще эта дѣвушка учить какъ слѣдуетъ?

— Придержите языкъ за зубами, Редъ!—рѣзко оборвалъ его дядя Дики.—Ее экзаменовали при школѣ въ городѣ Команче, и докторъ Гамильтонъ выдалъ ей бумаги, какія нужно. И мнѣ дѣла тамъ нѣтъ, на плантаціяхъ-ли теперь всѣ дѣти, или нѣтъ! Она не виновата въ этомъ. Я въ своей жизни еще не видѣлъ, чтобы моя старуха и дѣвочки Полли привязывались къ кому-нибудь такъ сильно, какъ къ ней. Она будетъ жить у насъ, и мы ужъ постараемся удержать ее у себя, какъ можно дольше,—все равно, будетъ-ли тамъ школа, или нѣтъ! Вотъ тебѣ и весь сказъ!

— Она, вѣдь, изъ иностранокъ?—робко справился Матьюсъ.

— Я не знаю, и мнѣ дѣла нѣтъ до этого. Она говоритъ по англійски, а дѣвочки Полли слушаются ее и не проказничаютъ. Я готовъ побиться объ закладъ, что она сможетъ поучить не то что ребятишекъ, а и всякаго взрослаго болвана здѣсь въ поселеніи.

— Конечно, дядя Дики, конечно!—поспѣшно согласился Матьюсъ.—Что-же, Джонъ, вы уже уходите? Куда-же вы такъ торопитесь? Школа то, кажется, еще не открылась!...

Джонъ не слыхалъ ни этой шутки, ни другихъ дружественныхъ насмѣшекъ, полетѣвшихъ ему вслѣдъ, когда онъ выходилъ изъ лавки. *Она* остается здѣсь—значитъ, *она* не менѣе его самого заинтересована романтическою легендою, сложившеюся насчетъ старой каменоломни и такъ сильно заинтриговавшею его самого съ перваго-же момента его прибытія въ эту, отрѣзанную отъ всего міра, долину. *Она*, безъ сомнѣнія, будетъ часто приходить туда. *Она*... Динъ оборвалъ свои размышленія, разсмѣялся и съ твердою рѣшимостью принялся за работу на своемъ маленькомъ полѣ.

— Нѣтъ, не могу я выкинуть этой дѣвушки изъ головы, да и шабашъ!—пробормоталъ онъ вечеромъ полураздосадованнымъ тономъ.—Да и не хочу! Вотъ тебѣ и весь сказъ! Непремѣнно поднесу ей завтра букетъ.

Онъ въ волненіи началъ шагать взадъ и впередъ по узенькой тропинкѣ своего благоухающаго, погруженнаго теперь въ мракъ, садика. На высокихъ разросшихся кустахъ тамъ и сямъ виднѣлись одинокія блѣдныя розы, но онѣ уже почти утратили свой запахъ. За то съ середины гряды, усаженной спаржею, неслось благоуханіе ярко-оранжевыхъ ноготковъ. Густые ряды бѣлыхъ и голубыхъ рыцарскихъ шпоръ все еще занимали цѣлый уголъ садика, а на темномъ фонѣ стѣны хижины обрисовывалась цѣлая масса коричневыхъ, покрытыхъ золотистою пылью, настурцій, рѐзеда, скучившаяся у крыльца, также все еще стояла въ полномъ цвѣту.

— Да, повторилъ онъ,—завтра я непремѣнно поднесу ей букетъ.

На слѣдующее утро онъ увидѣлъ ее уже издали, еще задолго до своего приближенія къ подошвѣ горы. Стройная фигура дѣвушки, двигавшаяся среди сѣрыхъ массъ скалы, рѣзко выдѣлялась на голубомъ прозрачномъ фонѣ неба. На одно мгновеніе она остановилась и нагнулась. Динъ тотчасъ-же рѣшилъ, что въ этотъ моментъ она прятала свой молотокъ въ какую-нибудь скрытую среди папоротника разщелину. Онъ обождалъ ее у покрытаго мхомъ валуна, выступавшаго надъ крутымъ склономъ горы. Дину показалось, что при видѣ его въ глазахъ дѣвушки промелькнуло выраженіе искренняго удовольствія. При ея приближеніи онъ молча поклонился и протянулъ ей громадный букетъ, покрытый росою и очевидно связанный неумѣлою рукою.

— Благодарю васъ, сеньоръ!—просто отвѣтила она, прини-

мая цвѣты и поднимая на него свои чудные, золотисто-каріе, сверкающіе глаза.

Джонъ хотѣлъ было безъ промедленія разсказать ей о своемъ садикѣ, раскинутомъ у входа въ его хижину, и о насаженныхъ тамъ, вывезенныхъ имъ изъ родины, цвѣтахъ, но, прежде нежели онъ успѣлъ оправиться отъ смущенія, она уже исчезла.

На слѣдующій день онъ всталъ очень рано. Шелъ дождь— монотонный, безпрерывный, зачастившій, очевидно, надолго и заставившій всѣ живыя существа въ преріи попрятаться, кто куда могъ. Джонъ все-таки отправился къ каменоломнѣ и, хотя онъ то и дѣло убѣждалъ себя, что въ такую погоду она не прійдетъ, все-таки былъ горько разочарованъ, когда ее въ дѣйствительности тамъ не оказалось. Черезъ сутки дождь однако пересталъ, и октябрьское солнце снова весело заиграло своими золотыми лучами на вымывшихся до-чиста валунахъ. Она была уже тамъ у каменоломни. Динъ еще на тропинкѣ заслышалъ легкое постукиваніе ея молотка. Дѣвушка и на этотъ разъ приняла его цвѣты съ тою-же особенною мягкою серіозностію. На этотъ разъ Дину удалось довольно легко сказать ей:

— Это все англійскіе цвѣты. Я посадилъ ихъ тамъ, около своей хижины, когда поселился здѣсь. И если-бы вы только знали, какъ они отлично принялись! Всякаго нашего садовника, или просто всякаго любителя, навѣрно, разобрала-бы зависть, если-бы онъ увидѣлъ ихъ...

— Зачѣмъ вы сюда пріѣхали?—вдругъ спросила она отрывисто.

Онъ снова отгадалъ настоящій смыслъ ея словъ.

— О! отвѣтилъ онъ, слегка запинаясь,—я и самъ врядъ-ли могу это сказать. Меня что-то тянуло удрать изъ дому, ну, я и отправился шляться по свѣту, пока не очутился здѣсь. Мѣсто это мнѣ понравилось, вотъ я и остался тутъ. Полагаю, впрочемъ, что рано или поздно мнѣ придется все-таки возвратиться домой.

— Послѣ того, какъ вы найдете опалъ?—проговорила дѣвушка безпечнымъ тономъ, но сдвигая при этомъ чуть замѣтно свои красивыя брови.

— Да, послѣ того, какъ найду опалъ,— отвѣтилъ онъ, вспыхивая при воспоминаніи о своемъ молоткѣ, описавшемъ дугу въ воздухѣ и затѣмъ полетѣвшемъ въ обрывъ.

— А вы знаете это преданіе?—спросила она, не отрывая глазъ отъ его маленькой хижины, виднѣвшейся въ долинѣ.

— Да, его я слыхалъ отъ дяди Дики,—отвѣтилъ онъ, улыбаясь.

— Здѣсь, въ старой каменоломнѣ, находятся чудесные, дра-

гоцѣнные камни—опалы,—начала дѣвушка нѣсколько монотоннымъ голосомъ.

— Да, я знаю—въ камняхъ, имѣющихъ форму черепахи, —перебилъ ее весело Джонъ.

— И это не простой опалъ,—продолжала дѣвушка, не обращая на него вниманія,—но вмѣстѣ съ тѣмъ и талисманъ, дающій его обладателю богатство, власть и—я право не знаю, что еще...—На ея прелестномъ лицѣ легла какая-то холодная тѣнь. —Эти камни рѣдки, очень рѣдки, и, говорятъ, что только женщина или мужчина, принадлежащіе къ племени рабовъ, могутъ находить ихъ.

— Къ племени рабовъ?—переспросилъ ее Джонъ въ недоумѣніи.

Дѣвушка задумчиво улыбнулась и подняла на него свои большіе глаза.—Я и забыла, вѣдь, вы не знаете еще этой исторіи. Давно, очень давно, сюда приходили люди изъ страшнаго темнолицаго племени искать этихъ самыхъ опаловъ. Но они не были въ состояніи отыскивать ихъ и привели съ собою поэтому бѣлолицыхъ красивыхъ людей, которыхъ они покорили и сдѣлали своими рабами. И было такъ, что, изъ всѣхъ людей на свѣтѣ, только эти рабы обладали даромъ находить эти опалы. И вотъ, пока бѣлые рабы отрывали камни, имѣющіе форму черепахъ, господа ихъ сидѣли и слѣдили за ними жадными, горѣвшими, какъ раскаленные уголья, глазами. И за все время здѣсь всего одинъ разъ нашли въ маленькомъ камнѣ такой опалъ. Изъ-за него вышла ссора между хозяевами, кончившаяся страшнымъ кровопролитіемъ. И изъ-за этого одного опала погибло много, много рабовъ. Мужчины этого племени были сильны, стройны и прекрасны,—и она подняла на него свои глаза, въ которыхъ онъ ясно прочелъ: „въ родѣ васъ“, но тотчасъ-же снова опустила свои длинныя шелковистыя рѣсницы.—Женщины-же—прибавила она,—граціозны и, вообще, очаровательно-милы...

— Въ родѣ васъ,—вырвалось у него невольно.

Слабая краска покрыла ея шею...

— Разсказываютъ,—продолжала она, внезапно открывая глаза и смотря уже прямо на него,—что нѣкоторые изъ этого племени рабовъ и до сихъ поръ живутъ гдѣ-то въ какой-то далекой странѣ и бродятъ по свѣту и что они до сихъ поръ не утратили своей таинственной силы, позволяющей имъ находить опалы для ихъ господъ.

— Ну, если они явятся сюда и найдутъ что-нибудь въ этомъ родѣ, то, по всему вѣроятію, оставятъ себѣ. Я бы, по крайней мѣрѣ, именно такъ и поступилъ!—объявилъ онъ, усмѣхаясь.

— О, нѣтъ! вы бы не посмѣли!—вскричала она; въ голосѣ

ея прозвучало что-то странное, нѣчто въ родѣ ужаса.—Впрочемъ, вѣдь, все это глупая сказка!—прибавила она уже болѣе спокойно и, поднявшись съ мѣста, двинулась по тропинкѣ.

Онъ быстро послѣдовалъ за нею по спуску. Дѣвушка заслышала его шаги за собою и, остановившись, повернула къ нему голову.

— А знаете—заговорилъ онъ неожиданно для самого себя,—вѣдь, вы мнѣ до сихъ поръ такъ и не сказали, какъ васъ зовутъ...

— Меня зовутъ Атла,—отвѣтила она послѣ минутнаго колебанія и затѣмъ снова быстро пошла своею дорогою.

Атла! Ему теперь стало казаться, что ему слѣдовало-бы знать это безъ всякихъ спрашиваній, и что она и не могла называться иначе, какъ именно Атлою—этимъ мягко звучащимъ, кроткимъ именемъ. Онъ ничуть не удивлялся тому, что она не сказала ему своей фамиліи. Какое ему было дѣло до того, какъ тамъ звали ея отца. Вѣдь, какова бы тамъ ни была эта фамилія, ему все равно оставалось только желать, чтобы она замѣнилась другою—чтобы дѣвушка стала называться Атлою Динъ. „Да и почему бы нѣтъ?“ разсуждалъ онъ самъ съ собою, словно отвѣчая мысленно на всѣ неминуемые аргументы всѣхъ отсутствующихъ Диновъ. „И почему бы ей въ самомъ дѣлѣ не стать моею женою? Кромѣ нея, я никогда не любилъ и никогда болѣе не полюблю никакой другой женщины. Я самъ себѣ господинъ, и если она согласится, то и дѣлу конецъ... А Дины пускай толкуютъ тамъ, что имъ угодно. Мнѣ все едино“.

За этою встрѣчею послѣдовали другія частыя свиданія на верхушкѣ горы по раннимъ утрамъ теплыхъ осеннихъ дней. Иногда она не приходила, и тогда скучный день тянулся для него безконечно, хотя онъ попрежнему работалъ и на полѣ, и около своей хижины, или же отправлялся охотиться по начинавшей уже желтѣть преріи, или же въ усыпанныя опавшими листьями горныя ущелья. Въ послѣднее время Динъ очень рѣдко встрѣчался съ гэпскими парнями, такъ какъ онъ нарочно избѣгалъ лавки, гдѣ теперь—обстоятельство, о которомъ онъ, впрочемъ, и не вѣдалъ—его ухаживаніе за новою учительницею стало главною темою для дружескихъ общихъ бесѣдъ.

— А я опять видѣлъ ихъ вмѣстѣ,—разсказывалъ дядя Дики парнямъ.—Сидѣли рядышкомъ около старой каменоломни. Я нечаянно наткнулся на нихъ, когда шлялся между утесовъ. Они, кажется, пришлись по сердцу другъ другу. Что-жъ, и чудесно. Отличная парочка будетъ. Пусть себѣ любятся. Молодымъ людямъ нельзя не любиться. И я тоже въ молодости...

Эти простодушные люди не находили ничего страннаго или неприличнаго въ подобныхъ раннихъ утреннихъ свиданіяхъ у

старой каменоломни. Динъ ухаживалъ за дѣвушкою, вотъ вамъ и все. Черезъ нѣкоторое время они, конечно, поженятся и устроятъ, вѣроятно, у дяди Дики пирушку, на которой всѣ гэпскіе парни и дѣвушки будутъ плясать до упаду. Это любовное дѣло между „бѣглымъ“ человѣкомъ и „заграничною“ молодою учительницею съ нѣжнымъ голосомъ, спускавшеюся ежедневно съ горы въ бревенчатую школу, гдѣ ее ожидали бѣлобрысые косматые ребятишки, а также и необъяснимое пребываніе дона Хозэ, появлявшагося, вообще, чрезвычайно рѣдко въ Гэпѣ, составляли неисчерпаемую тему для безпрестанныхъ обсужденій въ кружкѣ, засѣдавшемъ вокругъ Матьюсовскаго камина.

Динъ, не встрѣчавшійся съ дономъ Хозэ со дня прибытія послѣдняго, вскорѣ совершенно позабылъ о существованіи на свѣтѣ стараго мексиканца съ его зловѣщимъ лицемъ. Однажды утромъ, когда онъ по обыкновенію усѣлся около молодой дѣвушки на окраинѣ старой каменоломни, Динъ замѣтилъ какую-то перемѣну въ наружномъ видѣ своей собесѣдницы. Сначала онъ не могъ сообразить, въ чемъ именно она состояла, но затѣмъ онъ разобралъ, что Атла, которую онъ всегда видѣлъ въ мрачной, черной одеждѣ, въ этотъ день оказалась одѣтою въ бѣлое платье. И въ то время, когда онъ разсматривалъ эту стройную фигуру въ дѣвическомъ одѣяніи, его вдругъ охватило странное восхищеніе. Поддавшись его вліянію, онъ быстро нагнулся въ ея сторону и, почти касаясь губами ея душистыхъ волосъ,—началъ бормотать какія-то несвязныя слова. Но когда она, наконецъ, подняла свои глаза, Джонъ тотчасъ-же съ печальнымъ изумленіемъ откинулся назадъ, пораженный выраженіемъ ея лица. Дѣвушка, очевидно, недавно плакала. Ея, обыкновенно блѣдныя, щеки были теперь красны, вѣки опухли и отяжелѣли. Онъ отвернулся въ волненіи, и, стараясь скрыть свое смущеніе, принялся нервно выдергивать пучекъ тмина, росшій въ разщелинѣ около него. Слабые корни растенія внезапно подались и въ то же время изъ разщелины отдѣлился и полетѣлъ внизъ небольшой камень. Джонъ поймалъ его налету. Поворачивая его машинально въ рукѣ, Динъ вдругъ вздрогнулъ. Да, безъ сомнѣнія, это былъ одинъ изъ черепашьихъ камней, о которыхъ постоянно разсказывалъ дядя Дики. Онъ положилъ его подлѣ себя и быстро схватилъ молотокъ, покоившійся на колѣняхъ у Атлы. У нея вырвалось при этомъ громкое восклицаніе, но Динъ, не обращая ни на что никакого вниманія, съ силою ударилъ по камню и разомъ раскололъ его на двѣ половины. Изъ розовой, похожей на миндаль, ямки въ серединѣ что-то выпало на сѣрую каменную плиту и заиграло всевозможными трепещущими цвѣтами. Что-же это было? Раскаленный до-красна уголь или какая-нибудь огромная капля сверкающей прозрачной

росы, заключавшая въ серединѣ зеленоватое пламя? Или это былъ одинъ живой, подвижной прыгающій огонекъ, отороченный лазурнымъ цвѣтомъ, или это былъ пучекъ такъ или иначе застывшихъ пурпуровыхъ лучей?... Динъ поднялъ его и вскричалъ съ восторгомъ:

— Смотри, Атла! опалъ! вотъ онъ, нашъ опалъ!

Но Атла не смотрѣла, она сидѣла, закрывъ лицо руками и дрожа всѣмъ тѣломъ; отъ времени до времени изъ ея груди вырывался болѣзненный стонъ. Молодой человѣкъ съ удивленіемъ посмотрѣлъ на дѣвушку, затѣмъ бережно положилъ опалъ въ боковой карманъ своей блузы и, нагнувшись надъ Атлою, нѣжно взялъ ее за руку:

— Что случилось? что съ тобою, Атла?

— О,—простонала она,—я съ перваго взгляда поняла, что вы одинъ изъ нихъ! Да развѣ вы не видите,—вскричала она, взглядывая ему прямо въ лицо,—развѣ вы до сихъ поръ не догадались, что я принадлежу къ племени, обладающему силою находить опалы-талисманы? и развѣ вы не видите, что и вы одинъ изъ этихъ злосчастныхъ рабовъ? Моя мать умерла здѣсь, на краю этой самой проклятой каменоломни... и дѣвушка осмотрѣлась съ содроганіемъ.—Когда онъ привелъ ее сюда искать опалъ, она была совсѣмъ молодая—врядъ-ли старше, чѣмъ я теперь. Меня онъ сдалъ на руки моей старой кормилицѣ, когда уводилъ сюда матушку, и она никогда болѣе не возвращалась назадъ. Я одна только осталась изъ всѣхъ, кто можетъ находить для него опалы. Только изъ-за этого онъ и научилъ меня языку, на которомъ говорятъ здѣшніе добрые люди. Только изъ-за этого онъ и нанималъ для меня учителей музыки и пѣнія, и другихъ учителей, обучившихъ меня, какъ нужно обучать маленькихъ ребятишекъ читать по книгамъ съ картинками—и все это только для того, чтобы можно было привезти меня сюда подъ какимъ-нибудь предлогомъ, не возбуждая подозрѣнія. Однажды онъ самъ привелъ меня сюда въ каменоломню и объяснилъ своимъ холоднымъ, ужаснымъ тономъ, какъ я должна искать эти маленькіе круглые камни и разбивать ихъ молоткомъ. Онъ каждую ночь приходитъ смотрѣть, достаточно-ли прилежно я ищу талисманы. Да вотъ еще вчера вечеромъ онъ позвалъ меня сюда... Я сидѣла тогда съ дѣтьми, но сейчасъ же услыхала его и пришла сюда—не могла не придти... О, этотъ ужасный голосъ! О!—и у нея снова вырвался протяжный дрожащій стонъ, и она опять закрыла лицо руками.

Динъ почти не слыхалъ вырвавшагося у нея безумно-бурнаго потока словъ. Впрочемъ, онъ даже и не попытался вникать въ ихъ подлинный смыслъ, будучи весь охваченъ непреодолимымъ желаніемъ схватить дѣвушку въ свои объятія, утѣшить ее и вы-

вести изъ этого болѣзненнаго состоянія духа, въ которое она впала изъ-за какихъ-то куріозныхъ суевѣрныхъ вещей.

— Есть пѣснь объ опалѣ—продолжала она, поднявъ голову и глядя на него дикими глазами.—Печальною, печальною какъ смерть, казалась эта пѣсня даже моему дѣтскому уху, когда ее, бывало, пѣла моя мать; зловѣщею и странною, когда ее пѣла моя кормилица, укачивая меня тамъ далеко-далеко въ тѣни виноградниковъ; она ужасна, когда ее поетъ мой господинъ...

И Атла вдругъ начала декламировать нараспѣвъ, вполголоса: „О ты, лучезарный, чудотворный опалъ! ты, всемогущій повелитель надъ звѣздами и ихъ путями, надъ червоннымъ золотомъ, скрытымъ въ чертогахъ горныхъ утесовъ; ты, роковой побѣдитель дѣвы, бѣлогрудой дѣвы съ шелковистыми длинными рѣсницами надъ черными очами, дышащими страстью!

Увы! ты еще запечатанъ во чревѣ таинственной горы! Твое усладительное сіяніе еще скрыто отъ моего взора. Кто можетъ овладѣть твоею тайною? Кто можетъ побѣдить тебя?

Бѣлокожіе люди изъ рабскаго племени съ каштановыми кудрями и блѣдными ланитами—они, только они одни обладаютъ силою вызывать тебя изъ нѣдръ земли своими чарами и заклинаніями! И вотъ они по моему велѣнію спускаются туда за тобою—глубоко, глубоко!

Вотъ онъ розовый камень, тебя такъ долго укрывавшій! Вотъ и ты, красавецъ-опалъ! Бѣлый рабъ тебя добылъ изъ лона матери-земли. Мой врагъ! сердце твое теперь трепещетъ въ моей рукѣ! Червонное золото! ты теперь мое, и мнѣ же принадлежитъ отнынѣ дѣва, бѣлогрудая дѣва съ длинными шелковистыми рѣсницами надъ черными очами, дышащими страстью!“

Она остановилась.

— Затѣмъ слѣдуетъ еще строфа—сказала она,—но я... я... Голосъ Атлы внезапно оборвался и изъ-подъ ея опущенныхъ вѣкъ хлынулъ цѣлый потокъ слезъ.

Динъ теперь окончательно потерялъ голову отъ любви и состраданія къ дѣвушкѣ. Онъ быстро нагнулся къ ней, отнялъ ея руки отъ лица и, стараясь встрѣтиться съ нею глазами, забормоталъ шепотомъ:

— Атла, взгляни на меня! Я тебя люблю,—о, такъ люблю!...

Она бросилась къ нему на грудь съ протяжнымъ рыдающимъ вздохомъ. Какъ разъ въ этотъ моментъ молотокъ, валявшійся на поросшемъ мхомъ камнѣ, полетѣлъ внизъ въ каменоломню, скользя между вывѣтрившимися выступами скалъ и исчезъ изъ виду гдѣ-то на днѣ шахты...

Когда пришло время отправляться ей въ школу, они спустились съ горы вмѣстѣ; позволили они себѣ это въ первый разъ—

*

„для начала общаго жизненнаго пути“, какъ весело завѣрялъ ее Динъ, помогая ей со всею нѣжною заботливостью влюбленнаго спускаться по тропинкѣ, по которой она такъ часто ходила одна. Они остановились подлѣ большого валуна—около того самаго, у котораго онъ нѣкогда поджидалъ ее съ покрытымъ росою букетомъ.

— Какъ я ненавижу этихъ противныхъ ребятишекъ Полли!—сказалъ онъ шутливымъ тономъ, когда они уже разставались.

— Онѣ совсѣмъ не противныя!—отвѣтила она серіозно.—Это прелестныя дѣвочки, и я ихъ очень люблю.. Джонъ!

Ему показалось, что его довольно обыденное имя пріобрѣтало необыкновенную музыкальность, когда его произносила Атла.

— Въ самомъ дѣлѣ? Въ такомъ случаѣ, сегодня же вечеромъ зайду къ дядѣ Дики, чтобы взглянуть на нихъ, да кстати ужъ и на васъ.—Онъ засмѣялся, но потомъ вдругъ остановился, припомнивъ ея слова, поймалъ руку дѣвушки и снова привлекъ ее къ себѣ.—Постойте, Атла!—воскликнулъ онъ.—Вы сказали, что я рабъ! рабъ?! Нѣтъ, вы ошиблись—я царь!...

Онъ почувствовалъ, что при этихъ словахъ ея длинные пальцы внезапно похолодѣли и точно желѣзные кандалы сдавили кисти его рукъ. Ея глаза широко раскрылись, и лицо дѣвушки покрылось смертельною блѣдностью. Динъ невольно оглянулся въ сторону, куда она смотрѣла. По узкой тропинкѣ, огибавшей гору, медленно шелъ старый мексиканецъ Донъ Хозэ—шелъ съ низко опущенною косматою головою и мрачно сдвинутыми пушистыми бровями; его тонкія губы подергивались и длинныя руки покачивались словно плети. Проходя мимо парочки, онъ бросилъ холодный, безстрастный взглядъ на дѣвушку и затѣмъ на мгновеніе остановился своими глубоко-сидѣвшими глазами на ея спутникѣ. Въ нихъ внезапно вспыхнулъ, точно молнія, зловѣщій огонекъ. Джонъ Динъ почувствовалъ, что онъ цѣпенѣетъ.. Имъ овладѣло ощущеніе какого-то безпричиннаго, бесмысленнаго и безотчетнаго ужаса, никогда еще не испытаннаго имъ въ жизни. Оно, впрочемъ, исчезло прежде, чѣмъ онъ успѣлъ опомниться. Донъ Хозэ, теперь опустившій уже вѣки, также медленно продолжалъ свой путь и вскорѣ скрылся за густымъ дубовымъ кустарникомъ.

— О, онъ знаетъ *все*!—пробормотала Атла, блѣднѣя еще сильнѣе.

— Что такое знаетъ, и кто знаетъ?—спросилъ Динъ озадаченно, но тотчасъ же догадался, кого она подразумѣвала и прибавилъ:—Донъ Хозэ, неправда ли?

— Да, Донъ Хозэ—мой господинъ!—прошептала она хрипло и съ ужасомъ оглянулась назадъ.—О, онъ *все* знаетъ! повторила она, рыдая:—онъ *все* знаетъ!..

Динъ горячо прижалъ дѣвушку къ своей груди, пытаясь успокоить ее ласками и безсвязными нѣжными словами.

— Но послушай, Атла,—сказалъ онъ наконецъ,—неужели же ты въ самомъ дѣлѣ боишься этого Дона Хозэ? Не изъ-за этого ли глупаго опала? если такъ, то я готовъ сейчасъ же отдать его ему.

Дѣвушка еще крѣпче прижалась къ нему.

— Ни за что на свѣтѣ! ни за что!—почти вскричала она въ неописанномъ безумномъ ужасѣ,—обѣщай мнѣ, что ты спрячешь опалъ отъ Дона Хозэ! Обѣщай мнѣ это—умоляю, заклинаю тебя, Динъ!

— Я обѣщаю тебѣ напередъ все, чтобы ты только не пожелала, дорогая моя! отвѣтилъ онъ.—Но будемъ говорить серіозно —вѣдь ты знаешь, что въ этой странѣ не существуетъ никакихъ рабовъ, и что ты можешь отвязаться отъ этого проклятаго Дона Хозэ, будь онъ тамъ хоть сто разъ твоимъ опекуномъ или чѣмъ бы то ни было; ты можешь наплевать на него въ каждый данный моментъ. Я тебя самъ увезу, и когда мы поженимся, будь убѣждена, онъ не посмѣетъ даже приблизиться къ тебѣ.

Она быстро подняла голову и впилась въ него напряженно-вопросительнымъ взглядомъ.

— Ты хочешь увезти меня?—спросила она, затаивъ дыханіе.

— Да, Атла, увезу такъ далеко, что онъ никогда болѣе и не найдетъ тебя!—заявилъ Динъ, прижимая ее къ себѣ еще крѣпче.

— Когда?—спросила она отрывисто.

— Теперь же, сію же минуту!—отвѣтилъ онъ со смѣхомъ, увлекая ее на пару шаговъ впередъ.

Но она снова повторила свой вопросъ и притомъ еще болѣе серіознымъ тономъ:

— Когда? сегодня ночью?

Динъ съ удивленіемъ взглянулъ на нее, сомнѣваясь, хорошо ли онъ разслышалъ.

— Послушай,—продолжала дѣвушка поспѣшно, судорожно обнимая его,—если ты въ самомъ дѣлѣ хочешь увезти меня отсюда, то пусть это будетъ сегодня же ночью. Я такъ боюсь его—о, Матерь Божья! такъ ужасно боюсь! Да, Динъ, сегодня же ночью —неправда-ли? Я буду поджидать тебя за горою на краю Гэпа, тамъ, въ тѣни около большой скалы. Я возьму съ собою Гуари. О, это чудное животное предано мнѣ и душею, и тѣломъ! Мнѣ стоитъ только тихонько кликнуть „Гуари“, и милая лошадка сейчасъ же прибѣжитъ ко мнѣ. Я знаю, куда онъ прячетъ ее, когда является въ Гэпъ и выжидаетъ полночи, чтобы пробраться въ каменоломню. Да, я буду ждать тебя съ Гуари и когда стемнѣетъ, совсѣмъ стемнѣетъ, ты придешь за мною и увезешь меня отсюда!

Да, милый?!—Онъ покрылъ поцѣлуями ея лихорадочно горѣвшія губы. Придетъ ли онъ? Она спрашиваетъ придетъ-ли онъ! О, жизнь и любовь, придетъ-ли! Вся кровь закипѣла у него при этой мысли.

— Понимаешь-ли, Атла,—сказалъ онъ, прижимая ее къ себѣ въ страстномъ волненіи,—завтра въ это время ты будешь моею женою и мы будемъ находиться на дорогѣ въ Англію.

— Ты придешь?—повторила она, и нѣжная краска залила ея смоченныя слезами щеки.

— Да, я приду.

— Но ты не будешь заходить въ свою хижину? О, ты не долженъ возвращаться туда! Обѣщай мнѣ это!—умоляла она его, очевидно, опять охваченная какою-то новою ужасною мыслью.

Динъ снисходительно улыбнулся, онъ весь теперь былъ занятъ планомъ ихъ побѣга и пробормоталъ нѣчто въ родѣ согласія и на эту просьбу, цѣлуя губы дѣвушки. Наконецъ, они разстались. Динъ выждалъ, пока она не скрылась изъ виду. При послѣднемъ поворотѣ Атла обернулась еще разъ, улыбнулась и махнула ему на прощаніе своею бѣлою рукою.

Онъ направился было машинально къ своей хижинѣ, но вскорѣ остановился въ нерѣшительности, съ улыбкою припоминая на половину данное имъ обѣщаніе. „Я его во всякомъ случаѣ долженъ сдержать; это, вѣдь, первое обѣщаніе ей, моей милой дѣвочкѣ“, пробормоталъ онъ нѣжно. „Да, я непремѣнно сдержу, сдержу. Вѣдь я могу черкнуть пару словъ дядѣ Дики изъ города—этого будетъ вполнѣ достаточно“. И онъ снова побрелъ по тропинкѣ вверхъ по горѣ.

Вечеромъ онъ очутился на скалѣ, откуда открывался видъ на долину. Весь пейзажъ былъ залитъ умиротворяющими душу лучами заходящаго солнца. Небольшой разбросанный городокъ, виднѣвшійся на горизонтѣ, казался теперь какимъ-то волшебнымъ селеніемъ, шпицы церквей горѣли золотомъ, а окна домовъ переливали всѣми цвѣтами, словно какіе-нибудь драгоцѣнные камни. На западѣ выплывалъ нѣжно свѣтящійся серпъ молодаго мѣсяца, надъ которымъ укладывались грядками бѣлыя пушистыя облака; къ югу по небу тянулась большая стая сѣрыхъ гусей, нарушавшая своими рѣзкими покрикиваніями тишину медленно наступавшихъ сумерекъ.

Въ лавкѣ, и тамъ, и сямъ въ окнахъ хижинокъ, разсѣянныхъ внизу, замелькали огоньки. Въ долинѣ наступала ночь. Сердце Дина сильно забилось. Онъ еще разъ взглянулъ вокругъ себя и затѣмъ началъ спускаться внизъ.

Дойдя до подножія горы, онъ направился прямо къ конюшнѣ, гдѣ стоялъ Роландъ. Онъ вскинулъ на спину лошади сѣдло съ высокою лукою, быстро и ловко закрѣпилъ его, поставилъ бы-

ло уже ногу въ стремя и положилъ руку на согнутую дугою шею своей лошади, собираясь вскочить на сѣдло, какъ вдругъ вспомнилъ о портретѣ своей матери, оставшемся надъ каминомъ въ хижинѣ. Могъ-ли онъ бросить тамъ эту святыню—это изображеніе существа, такъ страстно и нѣжно любившаго его въ продолженіи всей жизни. Вѣдь онъ, собственно говоря, не давалъ Атлѣ формальнаго обѣщанія не возвращаться домой, да и она просила его объ этомъ только потому, что ее, бѣднаго ребенка, сводилъ съ ума какой-то куріозный суевѣрный страхъ.

Динъ улыбнулся, прикоснулся къ рукояткѣ своего ножа, нащупалъ пистолеты, засунутые за поясъ, и затѣмъ быстро побѣжалъ черезъ поле, едва сдерживая себя, чтобы не вскрикнуть отъ охватившаго его восторженнаго возбужденія. Войдя въ свой садикъ, онъ остановился на минуту. Давно знакомый нѣжный запахъ цвѣтовъ, благоухавшихъ въ темнотѣ, вызвалъ у него какое то странное волненіе. Онъ нагнулся и сорвалъ покрытую росою вѣточку лаванды, спряталъ ее къ себѣ за пазуху и вошелъ въ хижину. Собака, лежавшая у порога, бросилась къ нему на встрѣчу съ радостнымъ лаемъ. Портретъ ему удалось найти сейчасъ же, не зажигая спички, и онъ снова вышелъ, захлопнувъ за собою тяжелую дверь. Едва онъ очутился на дорожкѣ сада, какъ изъ-за перепутавшихся кустовъ фитолакки и кипариса выдѣлилась фигура какого-то человѣка въ плащѣ. Собака кинулась было впередъ съ сердитымъ ворчаніемъ, но тотчасъ же опустилась на землю. Длинный острый клинокъ сверкнулъ при мерцающемъ свѣтѣ звѣздъ одинъ—другой—третій разъ,—и, пронзенный въ самое сердце, Джонъ Динъ тяжело повалился на землю, раздавливая подъ собою резеду, незабудки и лаванду...

Донъ Хозэ не безъ труда вытащилъ ножъ, упираясь колѣномъ въ грудь своей жертвы. Затѣмъ безъ малѣйшаго колебанія онъ нырнулъ рукою въ нагрудный карманъ охотничьей блузы убитаго и вытащилъ оттуда опалъ. Драгоцѣнный камень сверкнулъ на подобіе метеора въ темнотѣ, когда убійца разжалъ руку и на одно мгновеніе впился въ добычу жадными глазами. И потомъ нагнувшись еще ниже, Донъ Хозэ нащупалъ рану, откуда лилась трепещущая струя крови, и погрузилъ одинъ—другой—третій разъ свою руку съ опаломъ въ теплую влагу, каждый разъ давая ей медленно стекать съ его костлявыхъ пальцевъ. Онъ поднялся на ноги съ ликующимъ возгласомъ и, не теряя болѣе ни минуты, проскользнулъ украдкою черезъ неровное поле къ тому мѣсту, гдѣ стоялъ Роландъ въ ожиданіи своего господина.

Тѣмъ временемъ, обращенное къ небу лицо Дина становилось все блѣднѣе и блѣднѣе; члены убитаго холодѣли и коченѣли; запахъ испарявшейся крови смѣшивался теперь съ благоуха-

ніемъ цвѣтовъ; сторожившая его тѣло собака дрожала, издавая изрѣдка жалобный стонъ и робко лизала раны хозяина... А у подножія горы, за выступомъ, Атла все поджидала своего возлюбленнаго. Она стояла подлѣ Гуари, держа въ рукахъ позолоченную узду. Дѣвушка то и дѣло прикладывала свою нѣжную щеку къ шелковистой шеѣ лошадки, обращаясь къ ней съ ласкательными словами на какомъ-то чужестранномъ музыкальномъ языкѣ, и радостно посмѣивалась; красивое и умное животное отзывалось на это тихимъ ржаніемъ.

— О, моя Гуари!—шептала она.—Онъ ѣдетъ, онъ ѣдетъ!

Она позабыла всѣ свои опасенія, даже старая бабушка Кролесъ, сидѣвшая на порогѣ, когда Атла выходила изъ хижины, замѣтила перемѣну, совершившуюся въ дѣвушкѣ, и сказала ей: —Богъ мой, дорогое дитя! вы сегодня такая свѣжая и розовая, что просто сердце радуется, глядя на васъ!

— О, моя Гуари!—прошептала она снова,—онъ ѣдетъ, онъ ѣдетъ!

Въ ночной тишинѣ раздался легкій осторожный топотъ лошади, ступавшей почти не слышно, какъ умѣлъ только ступать Роландъ, пріученный къ охотѣ. Все ближе и ближе раздавался этотъ топотъ. Еще секунда—другая, и лошадь съ всадникомъ обогнула скалу и остановилась.

Длинная, сильная рука обхватила стройную, легкую фигуру дѣвушки словно желѣзнымъ кольцомъ и однимъ движеніемъ подняла ее на сѣдло Роланда. Донъ Хозэ прошипѣлъ надъ ея ухомъ какую-то фразу. Голова Атлы упала на грудь. Мексиканецъ схватилъ поводья Гуари, и въ слѣдующее мгновеніе обѣ лошади понеслись стрѣлою по долинѣ по направленію куда-то на западъ...

Вотъ тѣ заключительныя строфы изъ пѣсни объ опалѣ, которыя Атла не посмѣла спѣть своему возлюбленному въ послѣднее утро, когда они сидѣли у каменоломни:

„Да, ты вышелъ на свѣтъ изъ лона твоей матери: вышелъ сіяющій, чарующій и горделивый, но ты еще не одѣлся своею силою, какъ ризою,—нѣтъ, ты еще не возложилъ на себя своего одѣянія! Лучезаренъ твой свѣтъ, но ты останешься безвластнымъ, пока не выйдешь изъ кровавой купели!

Трижды окуну я тебя въ крови того, кто тебя нашелъ; трижды омочу я тебя въ алой крови его сердца, о, мой опалъ, мой властелинъ, повелитель звѣздъ на ихъ путяхъ, повелитель червоннаго золота въ чертогахъ, скрытыхъ въ скалѣ, побѣдитель бѣлогрудой дѣвы съ длинными шелковистыми рѣсницами надъ очами, дышащими страстью!

Пей же кровь бѣлаго раба, мой красавецъ! Упивайся ею досыта и облачись своею дивною силою, словно ризою!“

ЧЕРЕЗЪ АНГАРСКІЕ ПОРОГИ СЪ КАРАВАНОМЪ ЧАЕВЪ.

(Изъ записной книжки туриста).

П. Карымскій.

I.

С. Братско-Острожное.

Едва-ли найдется на свѣтѣ рѣка красивѣе нашей Ангары. Если вы, читатель, никогда не видали ея, то неугодно ли будетъ вамъ прокатиться со мною на паузкѣ съ чаями отъ селенія Братско-Острожнаго до Устъ-Стрѣлки? Вы успѣете вдоволь налюбоваться красавицей рѣкой, ея чудными берегами, испытаете цѣлый рядъ сильныхъ ощущеній при спускѣ судна черезъ пороги, шиверы и быки, познакомитесь съ цѣлой арміей опытныхъ вожаковъ по опаснымъ мѣстамъ, наконецъ получите нѣкоторое представленіе о возможности устройства правильнаго судоходства по этой капризнѣйшей изъ нашихъ рѣкъ. Развѣ этого мало для васъ, читатель? Надѣюсь, что нѣтъ, а потому пожалуйте на мой паузокъ, присядьте на кучѣ рогожекъ, наваленной у основанія мачты, расположьтесь какъ можно поудобнѣе, и мы съ вами будемъ и любоваться всѣмъ окружающимъ насъ міромъ, и толковать о разныхъ интересныхъ предметахъ. Виноватъ, чуть не забылъ пре-

дупредить васъ: непремѣнно захватите съ собой сѣтку для предохраненія вашего лица отъ укушенія мошки. Не подумайте отнестись легкомысленно къ моему совѣту. Вамъ извѣстно, что комаръ одолѣлъ царя звѣрей—льва, точно также мошка одолѣла бы на Ангарѣ царя земли—человѣка, если бы этотъ послѣдній не придумалъ противъ этой поганой твари сѣтки въ формѣ чепца съ „личинкой“, сплетенной изъ конскаго волоса. Сквозь такую сѣтку видно прекрасно и стоитъ она сущіе пустяки, что для убогаго приангарскаго жителя тоже не послѣдняя статья .. А теперь смотрите и любуйтесь!

Жаркій лѣтній день подходитъ къ концу. Солнце склоняется къ западу; его золотистые лучи скользятъ по спокойной поверхности нашей красавицы-рѣки, кажущейся теперь мутно-опаловиднаго цвѣта, по верхушкамъ траурныхъ коронъ могучихъ елей, по слегка растрепаннымъ сѣроватымъ метелкамъ линейчатыхъ камышей, по нѣжно-зеленой листвѣ тальника и по высоко торчащимъ въ разныя стороны вѣтвямъ засохшихъ гигантскихъ сосенъ. Высящаяся на лѣвомъ берегу рѣки черная гора отбросила отъ себя длинную на нѣсколько верстъ густую тѣнь. Въ тѣни этой на плоской болотистой равнинѣ отдыхаетъ отъ жары добропорядочное по виду Братско-Острожное селеніе. Золоченые кресты сельской церкви спокойно и ровно сіяютъ въ косыхъ лучахъ уходящаго за лѣсъ солнца. Дома и избы утопаютъ въ полупрозрачной синей дымкѣ лѣсной гари и предвечернихъ испареній. Впереди русло рѣки загородили двухъэтажныя массивныя горы. Это, такъ называемыя, щеки Братскаго порога. Русло рѣки въ этомъ мѣстѣ съуживается почти на половину. Еслибы на всю эту мѣстность взглянуть съ высоты птичьяго полета, то вся Ангара на протяженіи нѣсколькихъ десятковъ верстъ представилась бы намъ въ видѣ цѣлаго ряда громадныхъ озеръ, соединенныхъ между собою сравнительно узкими проливами, пробуравленными въ кряжахъ горныхъ породъ. Не малыхъ усилій стоило рѣкѣ пробить себѣ дорогу сквозь каменныя преграды. Объ этихъ усиліяхъ свидѣтельствуютъ навороченныя у береговъ груды громадныхъ камней, да грозный ревъ стремительно низвергающейся черезъ пороги воды.

Солнце уходитъ все дальше и дальше, куда-то въ Европу, а нашъ паузокъ приближается все больше и больше къ селенію. На паузкѣ идутъ оживленныя приготовленія къ прибытію въ Братскъ. На палубѣ подметено, иркутскій лоцманъ Ясаковъ замѣнилъ свои „чирки“ *) франтовскими сапогами; команда паузка, состоящая изъ полутора десятка человѣкъ разнаго сброда, щеголявшая до

*) Обувь, дѣлаемая изъ грубой кожи мѣстной выдѣлки.

сихъ поръ въ однѣхъ рубахахъ, пріодѣлась съ ногъ до головы. Откуда-то изъ кучи хлама извлекли небольшую деревянную чурку, оказавшуюся по ближайшемъ разсмотрѣніи лафетомъ крошечной мѣдной пушечки. Пушечку эту зарядили горсточкой пороху и исправляющій у насъ должность фейерверкера, томскій ямщикъ Ониска, притащилъ изъ кухоннаго очага громадную головню, долженствующую изображать изъ себя фитиль.

— Пли!—раздалась команда начальника каравана, сѣдаго степеннаго мужика, одѣтаго въ сѣрую суконную тройку.

Ониска приложилъ горящій конецъ головни къ боковому отверстію пушки. Надъ палубой взвилась синенькая струйка дыма, грянулъ первый выстрѣлъ и громкимъ эхомъ разнесся между горъ.

Эффектъ отъ выстрѣла получился необычайный. Рабочій изъ жидковъ, Абрашка, вздрогнулъ и ухватился обѣими руками за голову; съ ближайшаго острова снялась цѣлая стая утокъ и съ громкимъ кряканьемъ потянулась къ сосѣднему, поросшему густымъ тальникомъ, берегу. Начальникъ каравана набожно перекрестился на церковную колокольню и, обратившись ко мнѣ, пояснилъ:

— Первый выстрѣлъ у насъ дѣлается, когды завидишь явственно, значитъ, кресты храма Господня. Таперича, однако, надо быть, придется стрѣлять въ другорядь. Эй, Ониска, заряжайка, паря, однако!

И Ониска съ какимъ-то ожесточеніемъ принялся забивать въ пушечку новую горсть пороху.

У зеленаго кочковатаго берега стояло нѣсколько паузковъ, прибывшихъ въ селеніе наканунѣ. Главной причиною ихъ столь продолжительной остановки было то обстоятельство, что паузковъ пригнали въ селеніе сразу цѣлыхъ полдюжины, а лоцмановъ, спускающихъ судна черезъ первые три порога, было всего двое. Приходилось ждать очереди.

При видѣ нашего каравана, на нѣкоторыхъ паузкахъ засуетились. Верхушки мачтъ разукрасились трехцвѣтными полосами матеріи. Раздался выстрѣлъ, за нимъ слѣдомъ другой.

Намъ никакъ невозможно было оставаться въ долгу. Наша пушченка важнецки ахнула въ отвѣтъ на привѣтственные салюты знакомыхъ каравановъ.

— Запускай-ка, ребятки, греби! Греби сильнѣе! Намъ нужно будетъ пристать повыше, однако!—раздалась зычная команда нашего иркутскаго лоцмана, гоголемъ расхаживающаго возлѣ „сопца“ (руля) въ своихъ новыхъ сапогахъ и въ канаусовой, расшитой шелками, рубахѣ.

Ребята запустили въ воду шестисаженныя греби и принялись

дружно работать ими; отъ саженныхъ лопастей забѣгали по водѣ громадные круги.

— Греби веселѣй, греби, говорятъ вамъ, ... !—не утерпѣлъ, чтобы не разразиться трехъэтажнымъ словомъ, лоцманъ.

Команда гребла изо всѣхъ силъ. Мимо насъ промелькнула дровяная пристань парохода „Сперанскій“, развѣшенные на кольяхъ для просушки невода и сѣти. Мы подплывали къ обычному мѣсту остановки паузковъ.

— Бей поносну влѣво, дѣлай оборотъ, приставать будемъ!— продолжалъ ревѣть лоцманъ.

Паузокъ заворотило къ берегу. Какой-то рабочій съ сосѣдняго каравана подбѣжалъ къ намъ на встрѣчу и мы перебросили ему на берегъ причалъ. Рабочій закрѣпилъ причалъ къ столбу и паузокъ, сдѣлавъ полный поворотъ кормой внизъ по теченію, остановился. Слѣдомъ за первымъ нашимъ паузкомъ пристали второй и третій и, такимъ образомъ, весь нашъ караванъ занялъ свое мѣсто у пристани. Тотчасъ-же на берегъ были переброшены мостки и мы не безъ удовольствія вступили на твердую землю.

На берегу насъ ждала цѣлая куча народу. Тутъ были начальники каравановъ, прибывшіе раньше насъ, рабочіе съ ихъ паузковъ, мѣстные крестьяне, торговцы, даже помощникъ волостнаго старшины, такъ называемый, „кандидатъ“ и тотъ появился откуда-то вмѣстѣ съ волостнымъ писаремъ—словно изъ земли выросли оба эти господина. Намъ пришлось прежде всего столкнуться именно съ ними.

— А насчетъ прописочки какъ будетъ-съ?—обратился къ намъ, строя плутоватую гримасу на своемъ выбритомъ, желтомъ какъ лимонъ, лицѣ, писарь.—У васъ, должно быть, много молодцовъ безъ билетовъ.

Дѣйствительно, у насъ молодцовъ этой категоріи было не мало, такъ какъ на сплавъ нанимается всякій сбродъ, но вѣдь всѣ эти „прописочки“ установлены для одной лишь проформы. Это послѣднее обстоятельство было намъ довольно хорошо таки извѣстно и потому караванный, вытащивъ изъ боковаго кармана пачку, отобранныхъ наканунѣ еще, „приличныхъ“ билетовъ, преподнесъ ее писарю вмѣстѣ съ зелененькой бумажкою.

— Какъ будто немножко маловато-съ, однако, господинъ!— замѣтилъ мягко писарь.

— А сколько-же вамъ нужно?

— Да, оно видите, слѣдовало-бы хоть еще троечку взять съ васъ...

— Тройки я вамъ не дамъ, однако, а вотъ если завтра утромъ „билеты“ будутъ готовы, такъ и быть, два рублика прибавлю.

— Хорошо-съ!—со вздохомъ согласился писарь и, толкнувъ „кандидата“ въ бокъ, оба направились прямо въ кабачный переулокъ.

Одно дѣло было сдѣлано. Но самое главное насъ ждало впереди. Надо было отыскать лоцмановъ и уломать ихъ, чтобы они не держали насъ долго здѣсь, а постарались, по возможности, скорѣе провести наши паузки черезъ пороги.

Лоцмановъ на все Братское селеніе, какъ я уже говорилъ выше, всего двое. Въ сущности это не вѣрно, такъ какъ добрая половина мужиковъ селенія съумѣла бы провести судно черезъ порогъ, но, во-первыхъ, хозяинъ паузковъ не довѣритъ судна неизвѣстному не патентованному вожаку, а, во-вторыхъ, если и довѣритъ, то господа „патентованные“ съѣдятъ совсѣмъ дерзкаго мужика, осмѣлившагося конкурировать съ ними и отбивать такимъ образомъ у нихъ ихъ законный доходъ. Поэтому на всемъ протяженіи порожистой части Ангары замѣчается тотъ безотрадный фактъ, что лучшіе вожаки—первые богатѣи среди своихъ односельчанъ—загребаютъ жирные куши, а голытьба питается лишь крохами, падающими съ ихъ столовъ.

Въ Братскѣ отношенія точно такія-же.

Богатая семья Серебряковыхъ держитъ въ своихъ рукахъ свободный пропускъ черезъ пороги. Глава этой семьи, сѣденькій подвижной старичокъ Сила Митричъ, получилъ отъ одного изъ членовъ послѣдней ангарской экспедиціи прозвище „суки“. Это прозвище уцѣлѣло за нимъ доднесь, и, дѣйствительно, трудно было придумать для него болѣе подходящее названіе. „Сука“ самъ даже не провожалъ судовъ, а только заключалъ съ владѣльцами ихъ условія; провожалъ-же его младшій братъ, въ совершенствѣ изучившій пороги на протяженіи тридцати верстъ. Горе неопытному сплавщику, попавшему въ сукины лапки! Мнѣ разсказывали, какъ Сука „разобулъ“ одного новичка на полъ-тысченки за спускъ двухъ паузковъ черезъ три порога. Бѣдняга заплакалъ даже, когда при разсчетѣ въ Енисейскѣ ему пришлось приплатить изъ собственнаго кармана по тысячѣ рублей съ паузка въ награду за цѣлый мѣсяцъ преисполненнаго всевозможныхъ опасностей и лишеній пути.

— Вотъ каковы онѣ, здѣшнія-то „суки!“—закончилъ мнѣ свои повѣствованія нашъ старичекъ караванный. Закончилъ и вздохнулъ бѣдняга. Хотя онъ былъ и не новичекъ въ дѣлѣ сплава, но его мучила неизвѣстность,—сколько слупитъ съ насъ теперь Сука, да сколько дней притомъ придется намъ потерять здѣсь, въ Братскѣ. А стоять у Братской пристани куда какъ не хорошо. Содержаніе рабочихъ обходится не дешево—это разъ, а во-вторыхъ—этихъ самыхъ рабочихъ не удержишь никакъ на паузкахъ

—повалятъ цѣлой гурьбой въ кабакъ, напьются тамъ, да еще наскандалятъ, потомъ иди-выручай ихъ изъ чижовки, да переплачивай разнымъ „кандидатамъ“, да писаришкамъ! А то еще хуже бываетъ: какой-нибудь отчаянный распоретъ цибикъ, да захватитъ чаю, сколько захочетъ, а потомъ ищи-свищи его!

— Повѣрите-ли, П. В—чъ, иногда ночей не спишь, все думаешь, какъ-бы Господь пронесъ благополучно,—продолжалъ добродушный старичекъ.

Солнце между тѣмъ закатилось. На западѣ горѣла пышнымъ полымемъ золотисто-оранжеваго цвѣта широкая полоса зари. Очертанія предметовъ становились необычайно рѣзкими. Мимо насъ то и дѣло проходили кучки рабочихъ во всевозможныхъ, даже просто въ невозможныхъ, костюмахъ. Нѣкоторые изъ этихъ представителей достопочтеннаго сословія „шпанки“ были сильно навеселѣ и даже нетвердо держались на ногахъ. Изъ одной кучки выдѣлился огромный верзила въ рваной рубахѣ, безъ пояса и еще болѣе рваныхъ портахъ, и, описывая на пыльной дорогѣ „мыслете“, направился прямо къ намъ.

— Позвольте, господа честные, позвольте попросить у васъ прикурить...

Я подставилъ верзилѣ свою дымящуюся папироску и онъ, взявъ ее въ свои громадные пальцы, принялся раскуривать ею толстѣйшую сигару, по всей вѣроятности, „капустнаго“ сорта, за которую ему пришлось отдать послѣдній гривенникъ.

— Ради стоянки, наши ребятки выпили маленечко... Выпить маленечко нашему брату можно, вѣдь, однако? а? Правду я гаварю, господа честные?

Мы постарались согласиться съ правильнымъ мнѣніемъ верзилы и поторопились отдѣлаться отъ него.

Въ другомъ мѣстѣ, у воротъ какого-то подозрительнаго дворика раздавались звуки гармоники и пьяный хриплый голосъ запѣвалъ:

„Жисть наша—копейка!“

А не менѣе пьяный хоръ подхватывалъ:

„Ей, ей, не робѣй!
Жисть наша—копейка!“

Мотивъ пѣсни былъ въ высшей степени заунывный—просто хотѣлось плакать, слушая его. Да и не правду-ли говорится въ пѣснѣ? Не за копейку-ли теряетъ эту „жисть“ вся сибирская летучка гдѣ-то на Ленѣ, на Витимѣ, на Ангарѣ? И знаютъ про эти затерянныя жизни развѣ быстрыя воды рѣкъ, да тайга-матушка. И правятъ тризну на могилахъ этихъ невѣдомыхъ міру бѣднягъ лѣсные звѣри, птицы небесныя, да водныя рыбы...

А мягкія сумерки все гуще и гуще ложились на землю. Шумъ и гамъ кабачной улицы постепенно стихалъ позади насъ.

Мы подходили къ болѣе тихой, болѣе солидной части селенія. Передъ нами зарисовались стѣны и куполы сельской церковки. Въ церковной оградѣ по угламъ торчали двѣ почернѣвшія деревянныя башни—вѣрнѣе, кубышки изъ бревенъ. Это были замѣчательныя острожныя башни, уцѣлѣвшія съ XVII-го столѣтія, когда былъ основанъ Братскій острогъ, въ 1631 году, сотникомъ Максимомъ Перфильевымъ для сбора ясака съ покоренныхъ нашей подвижной вольницей бурятскихъ племенъ. Но прошло три столѣтія и бурятскія племена отодвинулись далеко на югъ, къ границамъ Монголіи и кромѣ бурятскихъ названій мѣстностей, ничто болѣе не напоминаетъ о первоначальныхъ аборигенахъ страны.

Погруженные въ свои размышленія, и я, и мой спутникъ молчали. Я думалъ объ историческихъ судьбахъ аборигеновъ страны, о нашихъ цивилизаторскихъ задачахъ на востокѣ, мой спутникъ—объ уровнѣ воды въ Ангарѣ, „на сколько четвертей можно гнать паузки черезъ порогъ“, много-ли придется переплатить вожакамъ, донесетъ-ли Господь въ цѣлости нашъ караванъ до Енисейска.

А между тѣмъ толки насчетъ „воды“ въ Ангарѣ очень печальнаго свойства. Къ кому только мы не обращались съ вопросами по этому поводу, всѣ чуть не въ одинъ голосъ увѣряли, что „вода ужъ такъ мала, такъ мала, что меньше и не бывала никогда! На три съ половиною четверти еще можно гнать, а больше ужъ никакъ невозможно! Да и то еще, надо сказать, сильно идетъ на убыль; такъ идетъ, такъ идетъ, оборони Богъ!“

Несчастный караванный становился все задумчивѣе послѣ этихъ сообщеній. Всѣ три наши паузка, какъ на зло, сидѣли на пять слишкомъ четвертей. Значитъ, въ Падунскомъ порогѣ придется разгружать чуть не на половину всѣ три паузка, а это пахнетъ не дешево.

Мы подошли къ двухъэтажному домику зажиточнаго вида, и постучались въ окно. Окно отворилось и оттуда выглянула женская голова въ темномъ ситцевомъ платкѣ. При сумеречномъ освѣщеніи черты лица совершенно терялись для глаза.

— Чего нужно?—неособенно привѣтливо обратилась къ намъ голова съ вопросомъ.

— Сила Митричъ дома?—отвѣчалъ вопросомъ на вопросъ караванный.

— Нѣту, однако, на пашню уѣхалъ...

— Ну, ладно; когда вернется, скажите ему: приплыли, дескать, паузки съ чаемъ купца Мутовкина, пусть зайдетъ утречкомъ пораньше..

— Ладно, скажу, почто не сказать; купца Колотовкина, однако...

— Мутовкина, а не Колотовкина...

Но окно захлопнулось и намъ не оставалось ничего больше, какъ повернуть домой къ себѣ на паузокъ.

Чудная ночь стояла надъ Ангарой, когда мы добрались до берега. Мошка, столь сильно надоѣдавшая днемъ, исчезла совсѣмъ. Въ воздухѣ чувствовалась пріятная, бодрящая свѣжесть. Темное, усѣянное миріадами звѣздъ, небо утонуло въ глубинѣ водъ. Рядъ огоньковъ съ верхушекъ мачтъ золотистыми столбиками отразился въ рѣкѣ и слегка покачивается изъ стороны въ сторону. Нестройный гамъ пьяной толпы умолкъ повсюду и среди безмолвной тишины явственно раздается ревъ пороговъ. Грозно шумятъ могучіе великаны, призывая кучу бѣдствій на голову несчастнаго, жалкаго человѣчества,—„Злой наша бѣра, вотъ какой наша бѣра!“—вспоминаются мнѣ слова старика бурята, съ которымъ я толковалъ часто о разныхъ обрядахъ шаманскаго культа. Да, несомнѣнно, слѣдовало бы искать слѣдовъ возникновенія этого культа здѣсь—въ этой дикой глуши, передъ лицомъ этой величественной свирѣпой природы, которая совершенно покоряла своей власти робкій умъ наивнаго дикаря.

На другой день не успѣлъ я продрать глаза, какъ мнѣ доложили рабочіе, что у караваннаго „въ шакшѣ“ сидятъ вожаки и распиваютъ чаекъ. Я принялъ все это къ свѣдѣнію, тѣмъ не менѣе предварительно выкупался въ рѣкѣ, переодѣлся въ чистое бѣлье и платье, и только въ такомъ принаряженномъ видѣ рѣшился явиться къ гостямъ.

Гости чинно сидѣли за столомъ въ шакшѣ, выпивали по маленькой, закусывали омулькомъ и запивали фамильнымъ чайкомъ. Но виноватъ,—чуть не позабылъ познакомить васъ съ шакшей. Это небольшая часть трюма подъ кормой, отгороженная рогожками отъ наваленныхъ кучею цибиковъ чаю. Въ шакшѣ обыкновенно устраивается изъ досокъ кровать и столикъ для караваннаго, да небольшая полочка для конторскихъ книгъ, но главнымъ украшеніемъ этой шакши служитъ десятиведерный боченокъ съ водкой. Боченокъ этотъ придаетъ караванной шакшѣ особый характерный отпечатокъ. Къ боченку направлены всѣ мечты и стремленія не только нашей босой команды, но даже и господъ лоцмановъ патентованныхъ и непатентованныхъ.

Итакъ, наши гости сидѣли и пили, а также немного и ѣли. Ихъ было трое: сѣденькій юркій старичекъ, въ которомъ я тотчасъ узналъ „суку“; возлѣ него сидѣлъ его братъ помоложе и какъ будто помѣшковатѣе нѣсколько; по другую сторону стола сидѣлъ, уткнувшись совершенно въ свою чашку съ чаемъ, второй братскій вожакъ Волковъ. Этотъ послѣдній выглядѣлъ, таки и вправду, настоящимъ волкомъ. Его допустили только недавно гонять

судна и онъ теперь старался удержать за собою завоеванную позицію, угрожая въ противномъ разѣ оскалить свои громадные волчьи зубы.

— А вотъ и нашъ баринъ!—счелъ своимъ долгомъ представить меня почтенной компаніи начальникъ каравана.

Я поздоровался съ вожаками поочередно за руку. Въ Пріангарьи этотъ прекрасный обычай распространенъ повсемѣстно. Каждый послѣдній мужланъ станетъ совать свою корявую лапу самому начальнику края и будетъ несказанно изумленъ, если найдется человѣкъ, который ему не подастъ своей.

„Сука“ принялся лебезить передо мною, какъ бы обнюхивая меня всего и ластясь. Съ понятіемъ „баринъ“ въ его мозгахъ соединялось представленіе чего-то, имѣющаго нѣкоторое значеніе. Вообще, у здѣшняго народа понятія о „баринѣ“ довольно смутныя. Онъ не зналъ барина-помѣщика вовсе, за то онъ прекрасно знаетъ „барина-“засѣдателя; видѣлъ какихъ-то бариновъ-„анжинеровъ“, пріѣзжавшихъ мѣрить его родную рѣку, Богъ вѣсть для какой цѣли; теперь видитъ вотъ еще какого-то барина въ очкахъ, который все въ книжку „списыватъ“...

— Голубчикъ-баринъ, бесѣдуйте объ это мѣсто!—лебезилъ Сука, освобождая для меня на чайномъ цибикѣ мѣсто рядомъ съ собою.—Къ намъ пожалуйте! Милости просимъ—пирога съ осетриной кушать..

Я изъявилъ свое соизволеніе зайти въ Сукино жилье, если только найдется свободное время, а между тѣмъ сталъ задавать вожакамъ вопросы насчетъ воды въ Ангарѣ, насчетъ урожая хлѣба, насчетъ заработковъ.

— Насчетъ воды шибко плохо, голубчикъ-баринъ! Охъ какъ плохо,—совсѣмъ высохла наша Ангара. Камешки, что было лонись объ эту пору и не видать ихъ изъ воды, нонче совсѣмъ наголѣ сидятъ.

— А дорого-ли берете за спускъ судна нонче?

— А какъ придется, баринъ, не угадашь разъ въ разъ. Ну, ужъ меньче, однако, тридцати то рубликовъ нельзя взять по этакой-то водѣ. И то ужъ это такъ, изъ уваженію вотъ къ Мутовкинскимъ. Мы Евграфа Ѳомича шибко обожамъ, потому человѣкъ... А съ другихъ, вотъ хотя бы Мякининыхъ взять—по тридцати пяти брали, Христомъ Богомъ глянусь вамъ...

Наконецъ сдѣлка была заключена. Гости перекрестились на образа, распрощались съ нами и ушли, оставляя за собою цѣлыя кучи объѣдковъ омуля, лужи водки, запахъ табаку-самосадки и прѣлой кожи. Было рѣшено, что наши наузки отправятся завтра,

а сегодня вечеромъ я, вмѣстѣ съ караваннымъ, зайду къ Сукѣ покушать пирожка съ осетринкой.

II.

Похмѣльный порогъ. Пьяный порогъ. Быкъ.

Небо заволокло тучами. Моросить мелкій частый дождикъ. Черныя горы, одѣтыя хвойнымъ лѣсомъ, кажутся еще чернѣе на мутномъ фонѣ дождливаго дня. И ликъ нашей красавицы принахмурился. По немъ забѣгали въ разныхъ направленіяхъ морщинистыя рябинки. На нашемъ паузкѣ тѣмъ не менѣе идутъ дѣятельныя приготовленія къ отвалу.

Караванный, напяливъ на себя кожанъ, и засунувъ большіе сапоги въ еще большія калоши, суетливо бѣгаетъ по палубѣ, повторяя приказанія главнаго распорядителя всей этой церемоніи Луки Митрича Серебрякова. „Сука“ на паузокъ не явился. Онъ, какъ мнѣ передавали, отправился куда-то обтяпывать новыя дѣла.

— Греби тащи, тащи греби запасныя, да мостки ребята дергай попроворнѣе!—жиденькой фистулой пищалъ Лука.

Обыкновенной пары гребей въ порогахъ мало, поэтому употребляютъ еще вторую пару запасныхъ, для которой и прихватываютъ гребцовъ изъ мѣстныхъ крестьянъ.

Надо отдать справедливость этимъ послѣднимъ: гребутъ они тяжелыми шестисаженными гребями изъ рукъ вонъ плохо и съ нашей иркутской „шпанкой“ въ этомъ отношеніи не выдерживаютъ никакого сравненія.

— Пойдемте пока, помолимся Богу,—обратился ко мнѣ и къ караванному вожакъ.

Мы, молча, спустились въ шакшу. Отверстіе шакши сверху прикрыли рогожкой. Мы присѣли на минутку въ полутемной шакшѣ, слабо освѣщаемой блѣднымъ пламенемъ восковой свѣчи, затепленой передъ иконой. Тускло мигаетъ желтое пламя свѣчи, играя на золоченыхъ ризахъ святителя Иннокентія. Ликъ святаго угодника привѣтливо смотритъ на насъ черезъ стекло. Вожакъ Лука поднимается съ своего мѣста.

— Молись Богу!

И всѣ молятся—каждый по своему: караванный набожно крестится и еще набожнѣе бьетъ поклоны; жена его громко и тяжело вздыхаетъ; Лука точно совершаетъ какой то условный обрядъ.

— Благословляйте!

— Благословляемъ!

Мы обмѣнялись рукопожатіями и вышли на палубу.

Все готово къ отплытію. Ждали только насъ, чтобы тронуться.

— Отчаливай съ Богомъ! запускай, ребята, греби! —раздавалась фистула вожака Луки.

Причалъ отвязанъ. Паузокъ всколыхнулся и подался впередъ. Ребята въ двойномъ комплектѣ, т. е. въ количествѣ чуть не тридцати человѣкъ, съ энергіей хорошо отдохнувшихъ, принялись за греби и берегъ сталъ удаляться отъ насъ.

Раздался глухой трескъ выстрѣла въ переполненномъ густыми парами воздухѣ. Это перепрѣловскіе ребята сдѣлали намъ прощальный салютъ.

— Покорнѣйше благодаримъ!—раскланялся нашъ караванный.

— Заряжай, однако, нашу, поскорѣе!

Пушченку зарядили какъ можно поспѣшнѣе и ещё поспѣшнѣе выпалили изъ нея. Палубу всю заволокло дымомъ.

Берега рѣки мокрые-премокрые, хоть возьми да выжми ихъ. Жалко выглядятъ намокшія поля поспѣвшей яровой ржи, а еще жалче кажется вся присѣвшая къ землѣ низенькая, рѣденькая пшеница. Мы подплываемъ къ Братскому островку, какъ-бы запирающему входъ въ порогъ.

— Шабашъ греби, садись къ носу! —раздается тоненькій голосокъ вожака.

— Вставай, молись Богу! Господи, Іисусе Христе, спаси и помилуй насъ. Аминь!

— Аминь! —загудѣла толпа.

Вожакъ ударилъ три поклона на востокъ.

— Вставай, ребята, принимайся за греби!

Сѣдыя облака плывутъ по небу. Они проносятся почти надъ самой Братской горой, даже какъ будто задѣвая вершину ея своими выпуклыми днищами. Съ низу дуетъ небольшой вѣтерокъ, „низовикъ“, по мѣстному названію. Мы проплываемъ мимо громады утесовъ-великановъ. Они высятся цѣлыми стѣнами у самаго берега рѣки. Бока ихъ разукрасились узорами свѣтло-зеленыхъ мховъ да коричневыхъ лишайниковъ; на вершинахъ утесовъ торчатъ одиноко жалкіе стволы сосенъ и лиственницъ. Утесы состоятъ изъ множества вертикальныхъ столбиковъ, имѣющихъ сходство съ восковыми ячейками. Межъ разщелинъ каменныхъ ячеекъ успѣли народиться и вырости цѣлыя поколѣнія молодыхъ елокъ, пихточекъ и березъ.

Вѣтерокъ продолжаетъ дуть. По изумрудной поверхности воды разбѣгается мелкая зыбь. Нашъ паузокъ относитъ вѣтромъ въ правую сторону къ острову, за которымъ начинается порогъ.

— Ничего правежу нѣту, ударь-ко праву поносну!—какъ-бы жалуется высокій длиннобородый братскій крестьянинъ, главный помощникъ Луки.

На „помощникѣ“ такая-же синяя дабовая рубаха и такіе-

же порты, какъ и на остальныхъ здѣшнихъ крестьянахъ. На головѣ его красуется сѣтка, аккуратно сложенная кверху четырьмя углами „личинки“. На ногахъ чирки,—лаптей Сибирь не знаетъ, можетъ быть, оттого, что въ ней и липа-то не растетъ.

Ребята, какъ-бы нехотя, машутъ поносной гребью, паузокъ лѣниво поворачивается носомъ впередъ. Мы подплываемъ къ тремъ крошечнымъ островкамъ, именуемымъ Середышами. Отсюда къ порогу рукой подать. Шумъ его начинаетъ слышаться все явственнѣе и явственнѣе.

На сѣверо-западѣ облака нѣсколько разошлись, поверхность воды освѣтилась болѣе равномѣрнымъ количествомъ свѣта. Шумъ голосовъ команды не въ силахъ уже заглушить ревъ порога.

— Берись-ка, ребятушки, за греби! Дружнѣе греби, греби дружнѣе!

Ребята и все, что жило, бросилось къ гребямъ. Даже жена караваннаго, толстенькая дочь кафедральнаго протоіерея, принялась грести наравнѣ съ рабочими. Всеобщее воодушевленіе было настолько сильно, что и я чуть не выронилъ изъ рукъ своей записной книжки и не взялся за весло...

— Дави, молодцы, дави сильнѣе, дави всѣ въ разъ!—то и дѣло раздавалось изъ-подъ мачты.

Утесы сперли русло рѣки въ этомъ мѣстѣ. Межъ нихъ показалась линія буруновъ.

Вожакъ вскочилъ на опрокинутый кверху дномъ ящикъ изъ-подъ махорки и, держась одной рукой за мачту, зоркимъ взглядомъ всматривался впередъ. Это былъ уже не тотъ невзрачный, крошечный человѣчекъ, котораго мы видѣли наканунѣ. Сознаніе того, что онъ здѣсь хозяинъ положенія, заставляло его казаться выше на цѣлую голову. Даже жиденькій голосокъ его звучалъ теперь чуть не металлическимъ тембромъ.

— Дай ходу судну, ребята, дай ходу!

И ребята давали ходу, такъ что весла чуть не трещали въ уключинахъ.

Вотъ и первый порогъ!

Порогъ этотъ, именуемый Братскимъ, а иначе Похмѣльнымъ, расположился въ ширину всей рѣки. Ворота его, по которымъ судна могутъ проходить вполнѣ безопасно, настолько широки, что въ нихъ помѣстился бы чуть не цѣлый десятокъ такихъ паузковъ, какъ нашъ.

Красавица-рѣка гнѣвно бурлитъ и клокочетъ, встрѣтивъ каменную преграду въ своемъ теченіи. Паденіе воды на одну версту—три съ половиною сажени.

Сѣдые буруны бѣгутъ къ намъ на встрѣчу съ глухимъ рокотаньемъ.

— Вотъ такъ, доржи сопецъ, крѣпчѣй доржи!—раздается съ вышки.

— Шабашъ, ребята, греби,—уйди съ носу!

И ребята расходятся по сторонамъ, выдернувъ на палубу обѣ пары гребей.

Насъ покачиваетъ немного съ боку на бокъ. Но эта качка почти не чувствительна, да оно и не легко раскачать посудину въ тридцать саженъ длины, да въ восемь тысячъ пудовъ вѣсу!

Качка продолжалась не болѣе трехъ—четырехъ минутъ. Затѣмъ наше судно понесло ровно и спокойно на довольно близкомъ разстояніи отъ берега.

Признаться, я былъ сильно разочарованъ Похмѣльнымъ порогомъ. Порогъ, порогъ—и вдругъ никакихъ сильныхъ эмоцій! Мнѣ, грѣшнымъ дѣломъ, стало даже немного стыдно за свое недавнее увлеченіе...

Рѣка свернула направо и снова течетъ между утесами. Нѣкоторыя горы носятъ здѣсь мѣстныя названія, но большинство не имѣетъ никакихъ названій.

— Какія это горы?—спрашиваю я у вожака.

— А Господь ихъ знаетъ: горы да горы.

Вотъ вамъ и сибирская географія!

— Ну-ко, ребятки, запускай-ка греби! Ну-ка, дернемъ подружнѣе!—скомандовалъ Лука, снова вскакивая на свою вышку.

Новая каменная преграда показалась передъ нашимъ взоромъ.

— Вотъ вамъ и второй порогъ—Пьянымъ прозывается по нашему, не знаю, какъ по вашему будетъ.

— По нашему тоже Пьяный.

Первая часть каменной стѣны идетъ наискось и именуется Косымъ камнемъ. Конецъ этого косяка очень опасенъ для судовъ, ибо очень легко можетъ распороть брюхо судну

Лука снялъ съ головы свой картузъ и помахалъ имъ по воздуху. Глядя со стороны, можно было подумать, что онъ раскланивается съ порогомъ,—въ сущности-же, онъ дѣлалъ своему помощнику знаки, куда слѣдуетъ направлять судно.

— Дави сильнѣй, молодцы, дави всѣ разомъ!

Линія валовъ треугольной формы... Волненіе здѣсь значительно сильнѣе, чѣмъ въ предъидущемъ порогѣ. Насъ счастливо пронесло мимо острія Косаго камня.

— Шабашъ, ребята, греби!

Утесы въ этомъ мѣстѣ достигаютъ до шестидесяти саженъ высоты. На одномъ изъ нихъ виднѣется засѣчка, сдѣланная кѣмъ то изъ членовъ послѣдней ангарской экспедиціи. На засѣчкѣ явственно видна цифра: 1889—годъ окончанія работъ экспедиціи.

Ворота Пьянаго порога имѣютъ въ ширину чуть не болѣе

ста саженъ, но въ этомъ широчайшемъ проходѣ попадается не мало подводныхъ камней, довольно таки опасныхъ для судна. Правда, днище нашего паузка сдѣлано изъ бревенъ толщиною въ цѣлую четверть, но случалось, что и такое днище проламывалось на камнѣ и вода цѣлыми струями врывалась въ трюмъ.

А уловов-то сколько! Это не что иное, какъ водовороты въ нижней части порога: отъ нихъ стараются держать судно подальше, такъ какъ они въ силахъ завертѣть судно до одурѣнія.

Наконецъ и улова остались у насъ позади. Мы плыли теперь мимо красной песчаниковой горы, такъ называемой Тулумайской. Гора на верхушкѣ своей пріодѣлась молодымъ соснякомъ и любуется сама на себя въ изумрудномъ зеркалѣ водъ.

Темныя тучи снова нависли у насъ надъ головами. Лѣсъ почернѣлъ весь и угрюмо смотритъ на насъ; онъ какъ-бы ждетъ и не дождется, скоро-ли мы провалимся у него изъ глазъ. Скоро, голубчикъ родненькій, скоро! Вотъ только ужо погоди маленько, оплывемъ послѣдній утесъ — большую скалу Быкъ—и сгинемъ изъ твоихъ глазъ.

— Въ греби, ребятушки, въ греби, давните ужо посильнѣе! послѣдній разокъ сегодня давните. Порцію сейчасъ подавать станутъ.

Слово „порція“ магически дѣйствуетъ на нашихъ рабочихъ.

И „шпана“ и „не шпана“, порядочно намаявшіеся при спускѣ двухъ первыхъ пороговъ, съ какимъ-то ожесточеніемъ принимаются за греби: гребутъ чуть не цѣлые полчаса, пока наше судно не обогнуло каменистый мысъ Быка. Поворотъ этотъ подъ острымъ угломъ настолько труденъ, что требуетъ величайшихъ усилій гребцовъ. При плохой гребкѣ судно можетъ попасть Быку на рога.

— Шабашъ, однако, ребята!—слышится команда вожака, но ребята по инерціи продолжаютъ грести, пока караванный съ вожакомъ не выбиваютъ у нихъ гребей изъ рукъ.

— Говорятъ вамъ, шабашъ! подходите порцію пить! Братскіе перво-на-перво, свои послѣ успѣете!

Братскіе мужиченки, намаявшіеся до седьмаго поту, цѣлой гурьбой вваливаются въ шакшу, гдѣ жена караваннаго щедро одѣляетъ каждаго изъ нихъ шкаликомъ водки. Сухарей и солонины они поѣдятъ всласть и сами безъ всякаго потчиванія, да еще и унесутъ съ собою, сколько захватятъ въ свои широченные карманы. Чаю напьются на паузкѣ тоже всласть. Если только появится возможность, то и сопрутъ какой нибудь кирпичъ.

— Эка штука для Мутовкина одинъ кирпичъ чаю, когда онъ плавитъ ихъ этакую прорву въ Енисейскемъ!

И развѣ они не правы въ своей наивной несообразительности,—эти полудикіе аборигены приангарской глуши?

Братскіе мужики, хвативъ винца и закусивъ, собираются домой. Ихъ отвозятъ на берегъ на паузныхъ лодкахъ и они по лѣсной тропинкѣ черезъ гору пѣшкомъ идутъ въ свое селеніе. По прямому пути имъ надо пройти всего восемнадцать верстъ. За труды каждый изъ нихъ получилъ по кирпичу чаю. Всѣ они потеряютъ вмѣстѣ съ обратнымъ путемъ домой всего полдня времени. Кирпичъ-же чаю цѣнится въ здѣшнихъ мѣстахъ въ одинъ рубль. Да еще харчи и выпивка при этомъ, согласитесь—заработокъ не дурной!

Крестьянишки какъ-то всѣ захмѣлѣли очень скоро съ одного шкалика водки. Пьяныя шутки, хохотъ, брань повисли въ воздухѣ. Какой-то пьяный, рѣзкій голосъ запѣвалъ:

На горкѣ на крутой
Ма-а-ашенька гуляла!

Нестройный хоръ пьяныхъ голосовъ подхватывалъ припѣвъ этой ерундовской, занесенной, Богъ знаетъ, откуда, пѣсни:

Эй, эй, Машенька гуляла,
Платочкомъ она махала!

Глупѣе этой пѣсни трудно было придумать что-нибудь. Къ счастію, лодки пѣвцовъ все болѣе и болѣе удалялись отъ насъ, а вмѣстѣ съ ними постепенно стихала эта дикая какофонія пьяныхъ голосовъ.

Облака немного прояснились, гарь, висѣвшая вчера надъ лѣсомъ, разсѣялась. Фіолетовыя, розовыя, оранжевыя полосы завладѣли всей западной частью неба. Всѣ эти полосы отразились на поверхности успокоившихся водъ нашей красавицы. Межъ горъ показалось небольшое Падунское селеніе. Издали доносился гулъ порога-великана. И какъ мизерны казались всѣ человѣческіе звуки въ сравненіи съ этимъ гуломъ!

Еще немного усилій со стороны гребцовъ и мы у самаго селенія. Судно сдѣлало поворотъ и остановилось. На берегу насъ ждала цѣлая толпа падунскихъ крестьянъ. Межъ ними шли оживленные толки о водѣ.

— Ну и плоха вода, оборони Богъ, какъ плоха!—то и дѣло слышалось вокругъ.

На западѣ догарала заря, а порогъ гудѣлъ все сильнѣе и сильнѣе.

III.

С. Падунское. О-въ Гинтей. Спускъ черезъ Падунскій порогъ.

Толки о водѣ оказались не напрасными. Оба падунскіе вожака,—Лѣшаковъ и фартовитый Никонъ, къ которымъ мы обрати-

лись тотчасъ по прибытіи нашего перваго паузка въ с. Падунское,— заявили намъ, что больше чѣмъ на „трехъ съ половиною четвертяхъ“ они черезъ порогъ не погонятъ—вотъ и все тутъ.

„Три съ половиною четверти“ означаютъ высоту посадки судна въ водѣ. Наши паузки, нагруженные въ Иркутскѣ, какъ слѣдъ для весенней воды, сидѣли на пяти съ половиною четвертяхъ. Слѣдовательно, волей-неволей намъ приходилось одинъ паузокъ разгрузить въ с. Падунскомъ дочиста; сгруженный чай въ количествѣ тысячи двухсотъ цибиковъ весь перевезти на лошадяхъ подъ порогъ; опорожненный-же паузокъ нужно было затянуть вверхъ по рѣкѣ къ тому мѣсту острова Гинтея, гдѣ пріостанавливались караваны передъ спускомъ въ порогъ. Эта разгрузка и перегрузка должна была намъ обойтись не менѣе двухъ сотенъ рублей лишнихъ расходовъ, не считая потери лишнихъ двухъ дней времени. Но противъ рожна не попрешь! Приходилось мириться съ печальною необходимостью.

— Оно, положимъ, скажемъ, по весенней водѣ и съ этимъ грузомъ согнать возможно,—утѣшалъ насъ вожакъ Лѣшаковъ, у котораго мы сидѣли въ горницѣ за столомъ и распивали чай. —Однако, надо смышленіе имѣть, кабы чего этакого не случилось... Съ нашимъ порогомъ шутить тоже опасно. Наробишь бѣды такой, что и живота лишишься, положимъ, скажемъ...

Кряжистый мужиченко съ черной лохматой бородой, слезящимися глазами и дрожащими руками, поставилъ на столъ свою чашку съ чаемъ и тоже вмѣшался въ разговоръ.

— Оно, дѣшвительно, слуцитса слуцай, цаво-ли, кто въ отвѣтѣ будетъ? Съ вожака спросютъ, однако!

Это былъ второй падунскій вожакъ Никонъ.

Оба вожака представляли рѣзкую противоположность другъ другу. Первый, Лѣшаковъ, считался оффиціально признаннымъ вожакомъ черезъ Падунскій порогъ. Наружность онъ имѣлъ вполнѣ благообразную. Прекрасные каштановые волосы кольцами одѣвали его голову, синіе глаза смотрѣли въ высшей степени привѣтливо на каждаго, особенно-же на нужнаго человѣка. Одѣвался онъ чисто и не пилъ вина. За свои услуги, оказанныя послѣдней ангарской экспедиціи, онъ былъ представленъ къ медали, которую, однако, до сихъ поръ не получилъ.

Никонъ-же, при своей безобразной наружности, одѣвался крайне неряшливо и страшно пилъ.

Вожакомъ его признали, сравнительно, очень недавно. Случилось это благодаря непомѣрной жадности Лѣшаковыхъ, держащихъ монополію спуска черезъ порогъ крѣпко въ своихъ ежовыхъ лапахъ. Года два тому назадъ уровень воды въ Ангарѣ былъ значительно ниже обыкновеннаго. Одинъ изъ иркутскихъ

сплавщиковъ приплавилъ сразу въ Братскъ цѣлыхъ полдесятка паузковъ. Въ Братскѣ общипали его здорово „Сука“ со своимъ братцемъ, а въ с. Падунскомъ хотѣли точно также общипать Лѣшаковы. Сплавщикъ прибѣгнулъ къ отчаянному средству. Онъ довѣрилъ спустить черезъ порогъ судно непризнанному вожаку, замухрыжному Никону. Замухрыжка согналъ судно прекрасно и съ этой поры сдѣлался признаннымъ вожакомъ черезъ порогъ.

Отношенія между обоими вожаками въ высшей степени натянуты. Каждый изъ нихъ старается воспользоваться малѣйшей ошибкой другаго. На сторонѣ Лѣшакова его благообразіе, его прошлая дѣятельность, его трезвость. Никона-же губитъ совершенно его страшное пьянство.

Доходы, собираемые падунцами съ паузковъ, можно исчислить лишь приблизительно. Всѣхъ паузковъ въ лѣто проходитъ, среднимъ числомъ, десятка три съ половиной. За спускъ каждаго полагается уплатить около тридцати рублей, слѣдовательно, за всѣ—тысячу слишкомъ рублей. За перевозку третьей части груза на лошадяхъ или на карбазахъ падунскихъ крестьянъ, считая по десяти копеекъ съ каждаго цибика—получится полторы тысячи рублей. За разгрузку и перегрузку паузковъ падунцамъ перепадетъ не менѣе пятисотъ рублей. Итакъ, по нашимъ приблизительнымъ разсчетамъ, крошечное Падунское селеніе, состоящее изъ трехъ десятковъ дворовъ, всего зарабатываетъ въ лѣто больше трехъ тысячъ рублей. Неудивительно поэтому, что въ здѣшнемъ народѣ сложилась поговорка: „Падунь кормилица наша“. Жаль только, что почти двѣ трети этого заработка остается въ лапахъ падунскихъ вожаковъ.

Но возвращаюсь къ разсказу Мы сидѣли въ чистой половинѣ Лѣшаковской избы и, распивая чаи, растабарывали про свои дѣла. Трехъоконная горница съ перегородкой, размалеванной разными яркими цвѣтами и ягодами, умильно глядѣла на насъ своими чисто выбѣленными стѣнами, крашенными оконными рамами, присадистой мебелью, окрашенной въ яркій синій цвѣтъ, лубочными картинами никольскаго произведенія, горшками герани, бальзаминовъ и базилики, уставленными на окнахъ, матерьяльнымъ достаткомъ, бьющимъ отовсюду въ глаза. Гостей въ горницѣ набралось изрядное количество. Всѣ они были сильно навеселѣ, такъ какъ сегодня спустили два судна черезъ порогъ и по этому случаю изрядно выпили сперва на паузкахъ, потомъ у ссыльнаго жида, торгующаго безпошлинно виномъ въ Падуни.

Тонъ разговору придавалъ хозяинъ, первый падунскій вожакъ. Теперь онъ разсказывалъ намъ про свои работы съ членами ангарской экспедиціи.

— Положимъ, скажемъ, въ третьемъ году у насъ туто-ка

проживали анженеры; всяко маялись, однако, съ непривычки господа. Положимъ, глубину всяко мѣряли въ порогѣ: на веревкѣ это-то вверхъ затягивались, скажемъ; зимой въ пролубь это въ новомъ мѣстѣ черезъ десять саженъ, али какъ тамъ, лоту (лотъ) съ гирькой опускали. Таперича, положимъ, скажемъ, все говорятъ, будто Сибиряковъ будетъ разрушать каменья въ порогѣ, да вотъ два года ужо какъ ждемъ, а все ничего нѣту, однако...

— И не будетъ, дядя Нокентій, вѣрно слово, говорю тебѣ!— заплетающимся языкомъ заявляетъ какая-то скобленная рожа, сидящая нѣсколько поодаль.—Всѣ эти анженеры . . . . (слѣдуетъ нецензурный эпитетъ).

— Положимъ, скажемъ, срамныхъ словъ при баринѣ говорить не слѣдъ!—урезониваетъ рожу хозяинъ, но рожа, нисколько не смущаясь, разражается крупнѣйшей россійской бранью.

Хозяинъ, рѣшивъ въ умѣ своемъ, что съ рожей все равно ничего не подѣлаешь, продолжаетъ свои разсказы.

— Положимъ, скажемъ, въ порогѣ плавать тоже надо большое смышленіе имѣть. Поѣхали это мы лонись объ эту пору въ махочкой лодченкѣ съ братомъ съ Егоромъ. Такъ мы это-то, положимъ, скажемъ, взяли съ собою распорки, да веревочками привязали себя къ лодкѣ, да еще въ придачу топоръ взяли на веревку, положимъ, скажемъ,—случая какого чтобы не вышло. Какое сравненіе скажемъ, вѣдь тогды надо выходить наполнѣ. А то новой плаватъ, положимъ, скажемъ, прости Господи, весь задъ наружу, тоже пристаетъ: довѣрь ему судно! а какъ тутъ возможно довѣрить, когды онъ шибко мелко плаватъ: гребетъ впередъ, скажемъ, да табанитъ назадъ, а дороги и вовсе, скажемъ, не знатъ.

— Вѣрно, сватъ Нокентій, не знатъ . . . . . —снова разражается ругательствомъ неугомонная пьяная рожа, но хозяинъ досадливо отмахивается отъ нея, какъ отъ стаи мошекъ, обсѣвшихъ лицо, и продолжаетъ свою рѣчь:

— Положимъ, скажемъ, это-то въ третьемъ-то году было, какъ разъ передъ сѣнокосомъ: время порожне, мужики порожни, положимъ, къ намъ тогды изъ Иркутскаво пріѣхалъ грапъ Игнатовъ, али какъ тамъ, скажемъ, ловко тако, фамилью забылъ, однако. Пріѣхалъ онъ въ городскомъ тарантасѣ, однако, порогъ нашъ смотрѣть, тогды у насъ анженеры робили. Положимъ скажемъ, хучь-бы и то взяти: нашему брату завсегды лестно на барина поглядѣть; надо обхожденіе знать только что. Народу набѣжало видимо-невидимо, скажемъ. Полонъ Динарычъ, вродѣ полковника будто у анженеровъ служилъ, на махочкой лодченкѣ тогды объ ту пору въ самъ разъ черезъ порогъ проплылъ. А гребцами у него были мы, положимъ, скажемъ, я да мой братецъ младшой Егоръ. А погода разыгралась, скажемъ, оборони Богъ, кака; валы

въ порогѣ черезъ голову хлещутъ. Вышелъ, это скажемъ, Полонъ Динарычъ на берегъ, грапъ протянулъ ему руку ласково тако, да и говоритъ: „положимъ, скажемъ, не спасибо вамъ, Полонъ Динарычъ, не спасибо! Въ этакую погоду, да въ этакой лодченкѣ черезъ порогъ проплыть, ну, ну...“ Полонъ Динарычъ и отвѣчаетъ грапу: „я, вотъ, положимъ, скажемъ, на нихъ надѣюсь, на братьевъ Лѣшаковыхъ“. Грапъ тожно подошелъ къ намъ, руки всячески намъ, положимъ, скажемъ, не подалъ, а только по крыльцамъ похлопалъ ласково тако...

У меня отъ сна слипались глаза. Многіе изъ гостей безцеремонно разлеглись на полу—кто гдѣ и какъ попало и храпѣли во всю носовую завертку. Немалаго труда стоило хозяевамъ будить ихъ и выпроваживать на улицу. Меня пригласили идти спать въ амбаръ, и я съ готовностью отправился слѣдомъ за хозяиномъ, захватившимъ съ собою сальную свѣчу въ громадномъ мѣдномъ подсвѣчникѣ и еще большихъ размѣровъ тяжелый желѣзный ключъ.

Ночь была почти совершенно темная. Звѣздочки лишь изрѣдка выглядывали изъ-за тучъ, да разложенные надъ рѣкой костры рыбаковъ огненными точками прорѣзывали темноту. Отъ рѣки неслись холодная струя воздуха да страшное грохотанье переваливающейся черезъ каменную преграду массы воды.

Я вошелъ въ амбаръ. При тускломъ освѣщеніи сальнаго огарка я съ трудомъ могъ разглядѣть цѣлыя горы разнаго домашняго скарба. Однѣхъ шубъ можно было насчитать съ полсотни, а всѣхъ этихъ дохъ, мѣховыхъ одѣялъ, несшитыхъ овчинъ, войлоковъ, подушекъ, вальковъ сукна домашняго тканья, пеньковаго холста, ситцевъ, плису хватило-бы съ избыткомъ на всю падунскую деревушку. Я разлегся на какой-то горѣ чего-то мягкаго и быстро заснулъ послѣ сильной усталости, одолѣвшей меня за цѣлый день. Но ревообразные звуки порога, смѣшиваясь съ не менѣе ревообразными звуками пѣсни пьяныхъ братскихъ гребцовъ, не переставали преслѣдовать меня всю ночь вплоть до самаго утра.

Солнце уходило за чернѣющую кругомъ глухую сибирскую тайгу, когда нашъ первый паузокъ былъ готовъ къ отплытію. Расплавленнымъ золотомъ лились солнечные лучи сквозь густую хвою вѣковыхъ елей, сквозь неправильныя кроны прямолинейныхъ сосенъ, сквозь распущенныя косы бѣлогрудыхъ березъ. Слоистые утесы сѣраго известняка вышиною въ добрый петербургскій домъ, окаймленные гирляндою свѣжей сочной зелени тальника, черемухи, рябины и ольхи, погружались постепенно въ вечернюю тѣнь. У подножія этихъ утесовъ кипѣли теперь жизнь и движеніе. Гру-

ды цибиковъ, расположенные прямыми рядами, высились на пространствѣ нѣсколькихъ десятковъ саженъ. Наши иркутскіе рабочіе въ своихъ живописныхъ костюмахъ занимались тасканіемъ этихъ цибиковъ по шаткимъ мосткамъ съ паузковъ на берегъ. Лоцмана въ расшитыхъ канаусовыхъ рубахахъ и сапогахъ бутылью, важно раскуривая свои, оправленныя въ мѣдь съ насѣчкой, трубки, то и дѣло покрикивали на рабочихъ, заставляя ихъ торопиться съ разгрузкою. Рабочіе огрызались на лоцмановъ. Сегодня имъ немало довелось поработать на жарѣ, да еще эта мошка треклятая одолѣла,—совсѣмъ не даетъ вздохнуть бѣднягамъ. Только надежда на вечернюю порцію подкрѣпляетъ силы нашихъ тружениковъ.

Нашъ паузокъ, облегченный болѣе чѣмъ на половину отъ своего груза, подскочилъ кверху четверти на двѣ и, какъ будто, дрожитъ весь отъ нетерпѣнія тронуться въ путь. Запасная пара гребей вдѣта въ уключины, гребцы заняли свои мѣста, у „сонца" поставлены двое ловкихъ подручныхъ нашего вожака Лѣшакова. Самъ Лѣшаковъ въ плисовомъ одѣяніи и въ сѣткѣ, надѣтой личинкою кверху, важно расхаживаетъ по палубѣ и отдаетъ послѣднія приказанія.

Помолившись въ шакшѣ и простившись другъ съ другомъ, мы вышли на палубу.

— Благословляйте, баринъ!—обратился ко мнѣ Лѣшаковъ.

— Съ Богомъ!

— Чалку отвязывай, бей поносну вправо, обѣ греби впередъ!—степенно командовалъ Лѣшаковъ, становясь у мачты, гдѣ для него приготовлена была вышка.

Легкій паузокъ послушно подавался подъ дружными усиліями удвоенной команды. Черезъ минуту мы уже были въ нѣсколькихъ саженяхъ отъ берега и быстро направлялись на середину рѣки.

Солнце скрылось за чертою тайги. На перламутровомъ фонѣ вечерней зари силуэты деревъ казались почти совершенно черными. Цвѣтъ воды впереди насъ казался опаловиднымъ съ розовыми переливами. Не смотря на пятиверстное разстояніе, отдѣляющее насъ отъ порога, гулъ чудовища явственно доносился до нашего слуха.

— Шабашъ греби, садись, ребята, положимъ, скажемъ, къ носу!

Гребцы выдернули на палубу шестисаженныя греби и, уложивъ ихъ рядышкомъ одну возлѣ другой, усѣлись на нихъ, повернувшись лицомъ къ носу судна, гдѣ на гуськѣ торчалъ высокій прямой шестъ, помогающій лучше слѣдить за ходомъ судна.

— Вставай ребята, твори молитву:

„Господи, Іисусе Христе, спаси и помилуй насъ!“

— Аминь!—прожужжало хоромъ.

— Положимъ, скажемъ, берись, ребята, за греби! Дави сильнѣе, молодцы!

— Дружно всѣ заразъ давнемъ-ко!—пріохочиваетъ свою золотую роту иркутскій вожакъ Миша, гребущій теперь наравнѣ съ другими рабочими.

Но нашихъ золоторотцевъ не надо особенно пріохочивать. Они и безъ того налегаютъ на греби съ такой силой, что шестисаженныя лѣсины извиваются ровно змѣи въ ихъ здоровыхъ мускулистыхъ рукахъ; при каждомъ взмахѣ гребей весь паузокъ вздрагиваетъ всѣмъ своимъ туловищемъ, а по водѣ бѣгутъ громадные круги.

По срединѣ рѣки виднѣется крошечный островокъ Катедалъ, загораживающій собою входъ въ порогъ. Оплывъ его, мы явственно увидѣли сѣдую линію буруновъ.

— Пошевеливай, молодцы, положимъ, скажемъ, живѣе пошевеливай!

Лоцманъ вскочилъ на вышку и, придерживаясь одной рукою за мачту, другой потрясалъ по воздуху.

— Кручѣй давай, Егоръ!—отдавалъ онъ приказанія младшему своему брату остроглазому Егоркѣ, водящему сопцемъ слѣдомъ за указаніями старшаго брата съ вышки.

А группа елей кажется теперь чернѣе вороньяго крыла. Сѣдая полоска буруновъ все болѣе растетъ въ ширь и становится широченной скатертью, части которой движутся одна возлѣ другой.

— Что, молодцы, пріуныли, дави сильнѣй!—раздается съ вышки.

Лоцману нѣтъ времени даже употребить свою любимую прибаутку: „положимъ, скажемъ“, безъ которой онъ не можетъ произнести ни одной фразы.

Показались первые сторожевые камни у самаго входа въ порогъ.

— Пожалуйте, господинъ-баринъ, на эту сторону, туто-ка вамъ половчѣе будетъ видно.

Я безпрекословно исполняю приказаніе лоцмана и перехожу налѣво.

Буруны въ этомъ мѣстѣ рѣки хлещутъ таки довольно сильно.

Масса воды бурлитъ и клокочетъ. Громады волнъ съ яростнымъ гнѣвомъ набрасываются на наше жалкое суденышко и хотятъ его превратить въ щепы. Вотъ, вотъ и отъ всѣхъ насъ не останется ни слѣда. Всѣ притихли, какъ будто-бы замерли въ эту критическую минуту. Весла сложены на палубѣ, одинъ лоцманъ не теряетъ присутствія духа. Зоркимъ взглядомъ всматривается

онъ въ эту клокочущую массу, во власть которой мы попали теперь и продолжаетъ дѣлать своимъ подручнымъ условные знаки.

— Направо это-то черная скала Чернышъ зовется, налѣво длинный острый Языкъ!

Черныя громады величиною съ добрую гору несутся прямо на насъ и хотятъ насъ расколотить вдребезги. Многіе изъ команды зажмурили глаза, стряпка выпустила изъ рукъ сковороду съ яичницей, всплеснула руками и упала на тюкъ рогожекъ, служившій для нея постелью.

— Кручѣй давай къ Языку!—раздался спокойный, самоувѣренный голосъ съ вышки.

Этотъ голосъ заставилъ всѣхъ, даже самыхъ робкихъ, придти въ себя. Можно-ли бояться, когда съ нами Иннокентій Лѣшаковъ—записной лоцманъ, да еще къ тому похлопанный „по крыльцамъ“ графской рукою!

Одно ловкое движеніе руля и мы очутились внѣ власти этихъ грозныхъ чудовищъ. Волны продолжали еще бѣжать въ догонку за нами, но онѣ уже были безсильны сдѣлать намъ что-нибудь.

Паденіе воды въ главныхъ воротахъ порога на протяженіи полуторы версты около восьми саженъ. Это полутораверстное пространство мы пролетѣли въ одинъ мигъ, не успѣвъ оглянуться. Насколько сильно впечатлѣніе, производимое этимъ яростнымъ чудовищемъ, видно изъ того факта, что многіе робкіе люди падаютъ въ обморокъ, или-же стараются закутаться въ одѣяло и не выглядывать на свѣтъ Божій. Капитанъ Калистратовъ, извѣстный своими неоднократными плаваніями по Ангарѣ, разсказывалъ мнѣ, что при спускѣ на паровомъ катерѣ въ 1882 году ему оторвало рулевой цѣпью указательный палецъ правой руки и онъ не почувствовалъ совершенно боли въ этой рукѣ, пока катеръ не очутился подъ порогомъ...

Я оглянулся назадъ. Громады чудовищъ злобно смотрѣли намъ вслѣдъ. Волненіе стихало и нашъ паузокъ умѣрилъ свой ходъ.

— Съ порогомъ, господинъ-баринъ!—поздравилъ меня главный лоцманъ, сошедшій съ вышки.

Мы пожали другъ другу руку.

— Слава Богу, благополучно!—слышалось вокругъ насъ.

Шумъ порога стихалъ постепенно. Русло рѣки расходилось широко въ обѣ стороны. На поверхности воды плавали большіе куски розоваго перламутра. Мошка исчезла вмѣстѣ съ дневнымъ жаромъ и рабочимъ стало дышать посвободнѣе.

— Берись-ка, молодцы, за греби! Дави сильнѣй! Выше пристанемъ, положимъ, скажемъ.

Мы вплывали между пашковскихъ и карнауховскихъ паузковъ, нагружающихся свезеннымъ подъ порогъ на лошадяхъ чаемъ съ тѣмъ, чтобы завтра отплыть дальше.

Съ палубы грянулъ выстрѣлъ, но звукъ его былъ столь слабъ въ сравненіи съ грохотомъ порога, что произвелъ впечатлѣніе выстрѣла изъ дѣтскаго пистолетика.

Мы сдѣлали поворотъ и бросили кошку какъ разъ противъ того мѣста, гдѣ расположился нашъ таборъ съ чаями.

Когда я сошелъ на берегъ, у табора стоялъ рядъ двуколесныхъ телѣгъ падунскихъ крестьянъ; у многихъ телѣгъ возчиками были бабы и дѣвки. Эти послѣднія работали наравнѣ съ мужиками. Нужно было видѣть, съ какимъ проворствомъ и ловкостью онѣ скатывали съ телѣжки тяжелые шестипудовые цибики и подкидывали ихъ кверху. Цибики вертѣлись словно игрушки въ дюжихъ рукахъ падунскихъ красавицъ.

Пріемщикъ чаю, нашъ почтенный Ицко Абрамовичъ, гоголемъ расхаживалъ между дѣвками и съ важностью отмѣчалъ на клочкѣ бумажки количество подвезенныхъ цибиковъ. Проходя мимо какой-нибудь посмазливѣе, Ицко не могъ утерпѣть, чтобы не попытаться поиграть съ нею.

— Ишь, кака ядрена!—хвастнулъ онъ передо мной, ущипнувъ за жирный бокъ старшую дочь главнаго падунскаго лоцмана Лѣшакова.—Однако, настоящая аржанушечка...

Гордая красавица съ негодованіемъ оттолкнула дерзкаго смѣльчака и, нисколько не стѣсняясь моимъ присутствіемъ, разразилась страшной руганью.

— Ты, паря . . . . . не трожь, однако!—орала она во всю свою широченную глотку.—Не то вшѣ жубы тебѣ перешчитаю...

— Ай-да, Паранька, шбрила жида, ровно бритвой!—восхищались удалью своей дѣвки падунскіе лѣшаки.

Я прошелъ мимо таборовъ и направился къ утесамъ. Неподвижно и молчаливо стояли эти великаны и съ нѣмымъ изумленіемъ взирали на кучку чуждыхъ пришельцевъ, осмѣлившихся нарушать ихъ вѣковой покой. Вышиною эти великаны доходили до полусотни саженъ и болѣе. По ихъ отвѣснымъ стѣнамъ одни лишь мхи да лишаи въ силахъ были карабкаться къ верхамъ, разукрашивая эти стѣны своими причудливыми узорами. Верхи утесовъ утопали теперь въ волнахъ вечернихъ сумерекъ. Съ трудомъ лишь можно было разглядѣть неясныя очертанія сосенъ и лиственницъ, торчавшихъ на этихъ верхахъ. По дорогѣ въ Падунское селеньице потянулась вереница двухколесныхъ телѣгъ, а слѣдомъ за нею побрела кучка лѣшаковъ-гребцовъ, заработавшихъ сегодня по кирпичу чаю, да по шкалику водки на брата. Топотъ

и фырканье лошадей, шумъ и гамъ толпы постепенно стихали. На небѣ, на стѣнахъ таборовъ, на мачтахъ судовъ зажглись огоньки и стэрались своими огненными глазами прорѣзывать все болѣе сгущающуюся темноту. Чудовище-порогъ на ночь закутался въ бѣлую простыню густаго тумана, но и изъ подъ покрывала продолжалъ извергать свои грозныя проклятія.

На другой день, рано утромъ, были спущены черезъ порогъ наши оба остальные паузки. Одинъ спускали Лѣшаковы, другой фартовитый Никонъ. Паузки спустились вполнѣ благополучно, но съ табакеркой вышелъ маленькій случай, чуть не стоившій жизни полудесятку людей.

Табакерку нашъ караванный, въ надеждѣ съэкономить пару кирпичей чаю, довѣрилъ спустить черезъ порогъ малоизвѣстному падунскому мужиченкѣ, родственнику Лѣшаковыхъ. Нагрузили на табакерку сто пятьдесятъ цибиковъ, посадили вожака, гребцовъ, и пустили съ Богомъ.

Всѣхъ воротъ въ Падунскомъ порогѣ три. Боковыя ворота отличаются своею узкостью и черезъ нихъ проходятъ только небольшія судна.

Наша табакерка направилась черезъ лѣвые боковые ворота. Какъ разъ случилось такъ, что въ тотъ моментъ когда она подплывала къ порогу, поднялся вѣтерокъ. Въ верхнихъ частяхъ суденышка обнаружилась течь. Валы стали захлестывать ее все болѣе и болѣе. Растерявшіеся мужики бросили греби и, воздѣвъ руки къ небу, принялись вопить о помощи.

Мы сидѣли въ шакшѣ и распивали послѣобѣденные чаи, когда услыхали эти вопли.

Выскочивъ на палубу, мы увидѣли, что нашу табакерку уноситъ быстрымъ теченіемъ внизъ по рѣкѣ, и что она постепенно погружается въ воду.

Тотчасъ-же были посланы двѣ лодки съ народомъ и имъ удалось поймать тонувшую табакерку у громады высоченныхъ утесовъ, осѣняющихъ наши таборы съ чаями.

Когда мы съ караваннымъ прибыли на мѣсто приключенія, табакерка стояла у берега, чуть не до верху залитая водой, безуспѣшно откачиваемой изъ нея двумя ручными насосами; на берегу стояла кучка народу; изъ этой кучки выдѣлялась какая-то жалкая бабенка въ самодѣлишной поневѣ изъ грубаго холста и причитала своимъ надтреснувшимъ голоскомъ. Это была жена одного изъ гребцовъ, чуть не утонувшихъ съ табакеркой вмѣстѣ.

Главный виновникъ всей этой кутерьмы, непризнанный вожакъ Казаковъ, которому такъ „не пофартило“, выжималъ свои

мокрые порты и тупымъ, безучастнымъ взоромъ глядѣлъ на всю суетню вокругъ себя.

Среди шума и гама людскихъ голосовъ выдѣлялся рѣзкій баритонъ нашего иркутскаго лоцмана Ясакова и надтреснутое контральто бабенки.

Ясаковъ ругался, насколько ему хватало силъ:

— Ишь, утопили чай . . . . . Я-бы не далъ такимъ паршивымъ лоцманишкамъ ни одного мѣста спустить черезъ порогъ. Берется спускать, когда . . . . . не пониматъ. Знай, съ кѣмъ дѣло имѣшь, ...—и снова сыпались ругательства.

Бабенка-же голосила въ иномъ тонѣ:

— Ижъ-жа кирпича чаю шамъ шебя рѣшишь туто-ка! Не видали дерма экого... Нашей нужды до шамой шмерти не обрядишь!...

На нашего несчастнаго караваннаго напалъ столбнякъ. Онъ стоялъ у берега и, схвативъ себя за голову, безустанно повторялъ:

— Что вы надѣлали, что вы надѣлали!...

Вотъ и пошли прахомъ всѣ твои разсчеты на барышъ отъ сплава. Пусть забракуютъ при пріемкѣ въ Енисейскѣ сотню цибиковъ,—такъ это будетъ пахнуть шестью тысячами рублей!

Я подошелъ къ злосчастному Казакову и, дернувъ его за рукавъ мокрой рубахи, попросилъ разсказать мнѣ, какъ это съ ними стряслось такое неладное.

Онъ поднялъ на меня свои мутные глаза и, вѣроятно, выраженіе сочувствія на моемъ лицѣ заставило его нѣсколько придти въ себя.

— Какъ вплыли это мы, баринъ, въ порогъ,—прерывающимся отъ волненія голосомъ разсказывалъ онъ,—какъ поднялся вѣтерокъ, ну стало насъ хлестать и стало черезъ корму заливать... Скрѣпу сорвало, костыль, знать, плохой былъ, однако, всю табакерку, что ись, растянуло, чуть было не утонули всѣ. Потащило внизъ, отгрестись никакъ не могли, однако, чуть было не утонули всѣ до одного... Слава Богу, на камни не нанесло, тогды-бы на аминѣ порѣшило... Отливали это-то мы лейкой,—ничего не помогало, однако!... Только спасибо ваши лоцмана подплыли, да поймали насъ... Думали, совсѣмъ было смерть наша пришла!... Мѣстовъ сорокъ сухихъ осталось, остальны подмочены всѣ, однако... Чуть не рѣшили живота свово... Съ нашимъ порогомъ тоже шутить опасно!...

И бѣдняга съ суевѣрнымъ ужасомъ взглянулъ въ сторону чудовища. Передъ его глазами носился блѣдный призракъ смерти. А чудовище грѣло на солнцѣ свои крутые бока и яростно ревѣло на много верстъ въ окрестности.

Передъ вечеромъ мы покончили съ падунскими лоцманами наши разсчеты. Имъ приходилось получить съ насъ за три паузка триста восемь рублей, да считая утерю на подмоченномъ чаѣ минимумъ въ три тысячи рублей,—мы заплатили Падунскому порогу жестокую дань въ три тысячи триста слишкомъ рублей!

— Вотъ вамъ и заработки наши!—ухватившись за голову и бѣгая по шакшѣ, восклицалъ нашъ несчастный караванный. Ему не переставала мерещиться сотня цибиковъ подмоченнаго чаю.

А подмоченный чай былъ размѣщенъ на палубѣ всѣхъ трехъ паузковъ. Всѣ цибики были вскрыты и размокшіе кирпичи разложены для просушки на солнцѣ.

IV.

Долгій порогъ. Деревушка Закурдаева. Шаманскій порогъ.

Отвѣсные лучи солнца заливали наши паузки, когда мы пріостановились у деревни Дубининой, спрятавшейся между высокихъ горъ, поросшихъ густымъ соснякомъ. Съ палубы паузковъ еле виднѣлись крошечныя закопченныя стѣны деревянныхъ избушекъ глухой приангарской деревушки. Берега, утесы, лѣсъ и протока, надъ которой стояла деревушка, были погружены въ глубокій полуденный сонъ. Не спала только наша красавица-рѣка, быстро катившая свои сверкающія, какъ сталь, волны, да мошка, цѣлыми стаями увивающаяся надъ нашими головами.

Съ палубы перваго паузка грянулъ выстрѣлъ и протяжнымъ эхомъ раскатился за опушкой лѣса. Какъ-бы въ отвѣтъ на этотъ выстрѣлъ на сонной протокѣ зашевелились стружки и набойницы, замелькали синія рубахи и красныя сѣтки на головахъ дубининскихъ лѣшаковъ, заплескали по водѣ двуперыя легкія весельца, загалдѣли прицокивающіе голоса, посыпались къ намъ лоцмана, какъ изъ рога изобилія.

— Ишь, какъ жохомъ чешутъ, однако!—иронизировалъ нашъ Ясаковъ, указывая мнѣ на перегоняющіяся лодки.—Туто-ка, баринъ, всѣ въ деревнѣ лоцмана, а доведись до котораго, такъ у него въ порогѣ возлѣ сонца штаны трясутся, однако.

Очень ужъ не долюбливалъ нашъ Ясаковъ приангарскихъ лѣшаковъ. Много лѣтъ плавалъ онъ по этимъ мѣстамъ и зналъ ихъ прекрасно.

Первымъ къ намъ на паузокъ заявился почтенный патріархъ съ сѣдой бородою, съ апостольскимъ обликомъ, съ невиннымъ выраженіемъ большихъ голубыхъ глазъ. Это былъ глава здѣшнихъ вожаковъ—Василій Николаичъ Дубининъ. Съ семнадцати лѣтъ началъ онъ плавать черезъ порогъ и во всю свою долгую жизнь не

сдѣлалъ ни одного „повертыша“. Теперь ему уже восемьдесятъ лѣтъ. Руки слегка дрожатъ, да и глаза плохи стали. Самъ онъ уже не спускаетъ паузковъ, а направляетъ сынка своего,—здоровагo сорокалѣтняго мужика безъ бороды и усовъ.

Но кто бы могъ подумать, что подъ такою евангельскою наружностью можетъ скрываться столь черная душа. Теперь этотъ патріархъ состоитъ подъ судомъ за совершенное имъ нѣсколько лѣтъ тому назадъ страшное преступленіе. Онъ спустилъ черезъ порогъ двоихъ золотопромышленниковъ, довѣрившихъ ему свою жизнь и свои капиталы. Вещи этихъ несчастныхъ оказались у Василія Николаевича въ кладовыхъ, а денежки были пущены въ оборотъ. Нѣмая дочь старика, будучи жестоко избитой отцемъ за свой романъ съ работникомъ, выдала своего родителя сельскимъ властямъ. Началось дѣло, но дальше засѣдателя не пошло. Обошлось это дѣло нашему патріарху ровно въ десять тысчонокъ. По всей вѣроятности, эта сумма совсѣмъ не такъ громадна, если потеря ея не отразилась нисколько почти на благосостояніи этого дубынинскаго креза. Онъ и теперь, какъ и прежде, считается первымъ богатѣемъ въ здѣшней округѣ.

— Здраствуй-же, Максимъ Петровичъ; милости просимъ, батюшко!—привѣтствовалъ патріархъ нашего караваннаго, суя ему свою нѣсколько дрожавшую руку.

— Здраствуйте-съ,—поджимая губы, процѣдилъ нашъ караванный.

— Много-ли паузковъ приплавилъ нонѣ?

Хитрый старикашка зналъ прекрасно, что нашъ караванъ состоялъ всего изъ трехъ паузковъ, но ему нужно было соблюсти свою политику.

— Почто такъ мало? Нужно было хоть съ полдесятка приплавить... Тогды-бы намъ далъ, скажемъ, два паузка: одинъ для моего сына, другой для племяша, будто...

— Мало вамъ и такъ даютъ,—хмуро произнесъ какой-то здоровый дѣтина, глядящій изъ подлобья. —И безъ того амбары ломятся отъ всякаго добра Жадность, вишь ты, одолѣла! Гляди-ко, кабы не задавила она тебя, эта сама жадность!...

Говорившій эти слова дѣтина былъ однимъ изъ непризнанныхъ лоцмановъ черезъ Долгій порогъ. Понятна была ненависть его къ почтенному старцу.

— Ты, паря, не болтай зря, однако! Почто напрашно языкъ чешать!—остановилъ его патріархъ. Въ голубыхъ глазахъ вспыхнулъ на минуту недобрый огонекъ. Но огонекъ этотъ сверкнулъ и погасъ тотчасъ-же. Старецъ стыдливо какъ-то опустилъ вѣки, чтобы кто-нибудь не замѣтилъ этого огонька.

Но я замѣтилъ этотъ огонекъ и съ этого момента всякая

*

симпатія къ почтенному старцу для меня стала немыслимой. Такъ иногда маленькое пятнышко способно загрязнить въ нашемъ представленіи какой-нибудь цѣлый образъ.

— Я, баринъ, какъ изъ малолѣтства не вралъ, такъ теперь врать не стану. Я съ коженерами тоже плавалъ. Ну, а этотъ парень, даромъ, что на видъ здоровый такой, а понятіе малое имѣетъ... Въ порогѣ совсѣмъ не способенъ, оттого довѣрія нѣту, однако...

— Меня возьмите, Василій Николаичъ, ко гребямъ, меня возьмите!—раздались голоса ввалившихся въ шакшу лѣшаковъ со скобленными, плоскими лицами, изобличавшими ихъ тунгузское происхожденіе.

— Не надо мнѣ лишнихъ, не надо! Куды я вашъ дѣну!—обрушился на пристававшихъ патріархъ.

— Знамъ мы тебя! Ты берешь, однако, только тѣхъ, которы у тебя въ карманѣ сидятъ,—продолжалъ корить патріарха дѣтина съ хмурой физіономіей.—Они тебѣ дарма выгребутъ въ порогѣ, а ты имъ не заплотишь ни гроша.

Лѣшаки не только наполнили шакшу, но и все отверстіе шакши было прикрыто свѣсившимися съ палубы головами. Шумъ, споры, перебранка изъ-за паузковъ между признанными и непризнанными лоцманами, между родственниками, сосѣдями ближними и дальними, переполнялъ весь нашъ паузокъ.

На палубу навалила на подобіе саранчи цѣлая прорва дубынинскихъ бабъ и подростковъ. Всѣ они вывезли на продажу свои домашнія произведенія, въ родѣ: молока, творогу, яицъ, ягодъ, куръ и даже пѣтуховъ.

Всѣ почти бабы блѣдполицы и съ большими животами.

Все это теперь суетится, какъ угорѣлое. Бабы въ перебранку другъ съ другомъ суютъ нашимъ молодцамъ свой товаръ. Молодцы больше шутки шутятъ надъ толстобрюхими бабами, чѣмъ покупаютъ на самомъ дѣлѣ.

— Поцто не берешь, родимый, яблоцекъ-то (картофель)!—пристаетъ къ нашему Хассанкѣ какая-то шибко брюхатая бабенка.—Шибко добры яблоцки-то, шибко и сладки!

— У тебя брюхо шибко болшой, оттого твой яблочекъ брать нѣту,—подсмѣивается лукаво черноглазый Хассанка, оскаливая свои бѣлые ровные зубы.

— Не шпортешь понапрашну!—урезониваетъ въ другомъ мѣстѣ старуха двухъ спорщицъ.—Бежъ шпоры дѣло-то у вашъ ладнѣй пойдетъ!

— Ихъ цаво разберешь,—философски замѣчаетъ какой-то мозглявый мужиченко, стоявшій нѣсколько поодаль отъ своихъ односельчанъ,—когды онѣ сяводни такъ, завтра иначе.

Толсторожій, плосколицый мужикъ подходитъ ко мнѣ, суетъ

мнѣ руку и съ твердой рѣшимостью заявляетъ, что онъ и есть Григорій Николаевъ Тунгусовъ.

Въ первый моментъ его фамилія не производитъ на меня ровно никакого впечатлѣнія, но когда Тунгусовъ заявляетъ, что онъ шибко другъ Платонъ Дмитрычу, владѣльцу нашихъ паузковъ, что это онъ спасъ нашего хозяина отъ смерти въ порогѣ два года тому назадъ, я поспѣшно приглашаю его въ шакшу караваннаго.

Босоногія дѣвченки шмыгаютъ по палубѣ, заглядывая во всѣ уголки ея. Рои мошекъ облѣпили ихъ грязныя влажныя ноги и жадно сосутъ ихъ ясачную кровь.

А въ шакшѣ караваннаго между тѣмъ ведется оживленный торгъ изъ-за платы за спускъ судна.

— По нонѣшней водѣ, Макшимъ Петровичъ, двадчать пять не грѣшно вжяшти,—мягко и вкрадчиво заявляетъ сѣдовласый патріархъ.

— Дѣдушка Василій ладно знатъ, однако, гдѣ раки зимутъ —раздается голосъ изъ толпы.

Злобный огонекъ вторично сверкнулъ въ голубыхъ глазахъ старца, но также тотчасъ потухъ, какъ и въ первый разъ.

— Да, вѣдь, недавно же брали всего по пятнадцати рублей, —начинаетъ кипятиться нашъ караванный. Бѣднягѣ теперь и денно, и нощно мерещится подмоченный чай и онъ пытается выгадать хоть на грошахъ какую-нибудь экономію.

— Оно, дѣйствительно, твой капиталъ, а наша чешть, шамъ жнашь при томъ; тольки что по нонѣшней водѣ жа такую чѣну не погонитъ никто, чего мотать яжыкомъ-то напрашно,—мягко и ласково шепелявилъ Божій старичокъ, набивая обѣ ноздри нюхательнымъ табакомъ. Трубку курить Божьему старцу не подобаетъ.

— Вотъ хучь-бы и Ѳедора нашево вжяшти,—продолжалъ онъ —и Ѳедоръ жа пятнадчать не погонитъ. Правда, Ѳедоръ, не погонишь жа пятнадчать?

— Маловато будетъ, однако!—тряхнувъ своими масляными волосами, заявилъ кряжистый длиннобородый Ѳедоръ Дубининъ, заклятый врагъ въ душѣ почтеннаго старца, но въ глаза нельзя, вѣдь, говорить человѣку того, что чувствуешь къ нему на самомъ дѣлѣ.

Сторговались наконецъ на двадцати рубляхъ съ судна. Одинъ паузокъ остался за патріархомъ, другой достался длиннобородому Ѳедору, третій спасшему жизнь хозяина Тунгусову.

Самъ патріархъ, завершивъ сдѣлку и получивъ плату, отправился на своей набойницѣ въ деревню. На паузкѣ, оставленномъ за нимъ, лоцманилъ его племяшъ, малоговорливый, недальновидный мужиченко, шибко не поглянувшійся мнѣ сразу. Поэто-

му я выбралъ себѣ Ѳедора Дубынина, длиннобородаго мужика.

Черезъ четверть часа всѣ лоцмана и гребцы были распредѣлены по мѣстамъ, кошки выдернуты и паузки наши двинулись одинъ за другимъ на разстояніи полусотни саженъ.

По мѣрѣ приближенія къ порогу характеръ мѣстности становился все болѣе и болѣе дикимъ. Сосны и ели да утесы на каждомъ шагу—вотъ и все, что видитъ здѣсь глазъ. Даже шалаши рыбаковъ и промышленниковъ, смастеренные изъ еловой коры, и тѣ остались позади насъ.

Нашъ вожакъ, Ѳедоръ Дубынинъ, уставилъ у руля человѣкъ шесть подручныхъ, а самъ помѣстился у основанія мачты и, закуривъ трубку, вступилъ со мною въ бесѣду.

Ему уже сорокъ пять лѣтъ, а гоняетъ онъ судна черезъ порогъ болѣе десяти лѣтъ; раньше-же плавалъ въ качествѣ простаго гребца, пока ему не стали оказывать довѣрія сплавщики, потому глазъ у него шибко вострый, а въ ихнемъ порогѣ въ вешную воду нужно имѣть такой глазъ, не то какъ разъ наскочишь на камень, такъ какъ при большой водѣ всѣ камни подъ водою, а не наголѣ, какъ нынче...

— Надо-бы, однако, братанъ Ѳедоръ, молитву отдавать чего-ли?—прошамкалъ Ѳедору старичекъ съ сѣдой бородкой, лохмотьями повисшей вдоль шеи.

Ѳедоръ встрепенулся, поспѣшно выколотилъ о мачту горячую золу изъ своей трубки и оправилъ свою прическу.

— Шабашъ греби!—взревѣлъ онъ зычнымъ голосомъ, пряча трубку за голенище сапога и разглаживая на двѣ половины свою длинную бороду.

— Садись лицомъ къ носу! Вставай, твори молитву!

— Господи, Іисусе Христе, сыне Божій, помилуй насъ!

— Аминь!...

— Спасибо васъ, братія, на аминѣ.

— Ну, а таперича, молодцы, берись за греби, пошевеливай веселѣе!

Направо высится утесъ округленной формы. Русло рѣки въ этомъ мѣстѣ значительно съузилось, У лѣваго берега рядъ бѣлоголовыхъ волнъ. Это, такъ называемая, первая шиверка.

— На шиверку давай, отшатится само!

И вправду—не успѣло судно попасть въ шиверку, какъ его свернуло направо и понесло къ правому берегу.

Во всю ширь рѣки разлеглись улова.

— Шевели веселѣй, какъ можно веселѣй, не то въ улово затянетъ, тогды помотаешься!

Наши ребята надрываются изо всѣхъ силъ, а красные колпаки лишь для виду машутъ веслами.

За первой шиверкой тутъ-же вторая, а слѣдомъ за ней и третья. Путь судна идетъ зигзагами, поэтому приходится все время грести безъ передышки.

За третьей шиверкой начинается и самъ порогъ. Порогъ протянулся на цѣлую версту. Ворота порога, шириною въ пятьдесятъ саженъ, извилисты. По обѣимъ сторонамъ воротъ торчатъ теперь верхушки камней изрядной величины.

— Начинъ порогу!—докладываетъ Ѳедоръ, подтянувшись какъ-то и орлинымъ взоромъ оглядываясь вокругъ.

— Эй, въ добрый часъ съ Божьей помощью, ребятушки, дернемъ!

За веревку сопца (руля) ухватилось десятка два рукъ. Нашъ паузокъ начинаетъ прыгать по волнамъ, ровно маленькая лодченка. Пѣна бѣлковъ обдаетъ бока нашего судна своими брызгами. Ревъ порога заглушаетъ голоса на палубѣ.

— Шабашъ, ребятушки, греби! Шабашъ, Христовы дѣтки!— чуть слышно раздается громкій голосъ вожака.

— Разойдись по сторонамъ, глазу чтобы видно было.

Ребята послушно разступились къ бортамъ судна.

Утесы проносились мимо насъ съ страшной быстротою. Глазъ совершенно не въ силахъ былъ схватить всѣхъ подробностей быстро мелькающаго пейзажа.

Михайловскій Камень, величиною съ добрый домъ, показался на мигъ и исчезъ за громадою сѣдыхъ буруновъ, съ яростью хлещущихъ по немъ. Буруны стараются смыть позорное пятно съ этого камня, но напрасно. Много лѣтъ тому назадъ вожакъ Михайло наскочилъ на этотъ камень, сплавляя дощаникъ съ хлѣбомъ. Отъ дощаника остались однѣ лишь щепы, а отъ несчастнаго вожака—одно лишь воспоминаніе.

А вотъ и другая знаменитая глыба, носящая названіе Федотовой сливной плиты. На ней лоцманъ Федотъ посадилъ дощаникъ со свинцомъ. Это было еще въ то время, когда металлы съ Нерчинскихъ рудниковъ сплавлялись по Ангарѣ. Немало ихъ, этихъ самыхъ металловъ, перетаскала тогда на плечахъ своихъ наша быстротечная красавица. Неблагодарные потомки вычеркнули красавицу изъ списка судоходныхъ рѣкъ и, только порывшись въ архивной пыли, можно узнать, что въ недавнее еще время Ангара была единственнымъ путемъ, связующимъ западную часть Сибири съ восточной. Sic transit gloria mundi!

Но я слишкомъ отвлекся въ сторону. За Федотовской плитой порогу конецъ. Подручные лоцмана вздохнули посвободнѣе и разразились криками:

— Теперь ты нашъ ужо, батюшко-порогъ!

— Съ порожкомъ поздравляемъ васъ, баринъ!—посыпалось на меня со всѣхъ сторонъ.

— Спасибо, ребята, спасибо!

Подпорожникъ потянулся еще верстъ на пять. Утесы продолжаютъ пробѣгать мимо насъ. Теченіе рѣки очень быстро. Солнечные лучи играютъ на поверхности воды золотыми блестками.

Впереди нашего паузка улепетываетъ со всѣхъ ногъ наша злосчастная табакерка. Въ нее посадили самыхъ бросовыхъ гребцовъ: старыхъ татаръ, да хохла Семена въ придачу. Не Богъ вѣсть, сколь трудно спуститься по теченію, теченіе само снесетъ. Оно и снесло-бы, кабы шайтанъ не подвернулъ тутъ слѣдомъ нашего паузка.

— Берегись, хохолъ, расшибемъ!—орали наши ребята съ палубы.

Хохолъ въ отчаяніи принялся тормошить рулемъ направо и налѣво, но треклятая посудина совсѣмъ не хочетъ своротить на бокъ, а продолжаетъ вертѣться у насъ подъ носомъ.

— Бацъ есть, однако, поцѣловались!—загоготала орава.

Раздался трескъ. У табакерки отшибло руль и свернуло его на бокъ. Одну изъ гребей вырвало изъ уключинъ и понесло по теченію.

Дѣло ограничилось этими поломками, да испугомъ гребцовъ, находящихся въ табакеркѣ. Татары изъявляли свой испугъ какими-то малопонятными звуками на своемъ родномъ языкѣ, а хохолъ тотъ таки ругался довольно основательно.

— Хай вамъ бісъ, матери вашой чортъ, зъ вашею табакеркою! . . . . . —далѣе слѣдовалъ потокъ словъ нецензурнаго пошиба.

Я распорядился высадить на лодку пару лучшихъ гребцовъ и послать ихъ на табакерку для оказанія помощи пострадавшимъ.

Несчастная табакерка плелась теперь за нами на нѣкоторомъ разстояніи, какъ птица съ перешибленнымъ крыломъ. Разстояніе между нашимъ паузкомъ и ею становилось все больше и больше.

Еще въ подпорожникѣ дубининскіе гребцы, получивъ мзду въ видѣ полукирпича чаю и шкалика водки, выскакивали съ палубы паузка на свои набойницы и отплывали къ берегу. Послѣднимъ отплылъ нашъ вожакъ Ѳедоръ, проводивъ насъ до конца подпорожника, оставивъ вмѣсто себя своего братана Андрея, малоговорливаго угрюмаго мужиченку; этотъ послѣдній долженъ былъ проводить насъ до деревушки Сѣдановой на разстояніи слишкомъ тридцати верстъ.

А необъятная глушь полновластно воцарилась здѣсь и ея царствованію нѣтъ предѣловъ. На нѣсколько десятковъ верстъ

ни одной деревушки, ни одного клочка пашни. Одни утесы, да лѣсъ, да вода...

— Что-жъ тутъ у васъ нѣтъ деревушки неподалеку отъ порога?—обратился я къ вожаку.

— Нѣту, батюшко-баринъ, никакой деревушки. Гдѣ тутока шелитша, однако, когды тутъ гольный камень да сплошной лѣсъ...

Тихая августовская ночь. Чудно свѣтитъ луна, поднявшаяся изъ-за опушки черной густохвойной тайги. Серебристый столбъ отразившейся въ водѣ луны слегка колеблется и дрожитъ передъ наши глазами.

Жалкая, убогая карымская деревушка Закурдаева погрузилась вся въ спокойный, мирный сонъ. Спятъ, почернѣвшія отъ стужи и вѣтровъ, срубленныя изъ сосновыхъ бревенъ избушки въ три окна на улицу, спятъ и навѣсы, прикрытые драньемъ, и крошечные покосившіеся амбары, и раскинувшіеся на большомъ разстояніи, огороженные жердями, дворы и телятники; спятъ и всѣ закурдаевскіе жители,—эти потомки тунгусовъ, сохранившіе лишь отъ своихъ предковъ желтый цвѣтъ кожи, да плоскія лица, да отсутствіе растительности надъ верхнею губою. И высокія горы, окружающія ангарскую долину, одѣлись сплошнымъ дремучимъ лѣсомъ и погрузились въ вѣковую спячку. Изрѣдка лишь тявкнетъ собака, хрустнетъ и затрещитъ вѣтка дерева, да таинственный шумъ раздастся по лѣсу и волны его расходятся концентрическими кругами все дальше и дальше, пока не успокоятся и не улягутся совсѣмъ. И на нашихъ паузкахъ все погрузилось въ сонъ. Даже караульный, прислонившись къ кучѣ рогожекъ и поплотнѣе закутавшись въ свой овчинный тулупъ, уснулъ здоровымъ сномъ уставшаго труженика.

Но мнѣ не спится. Фосфорическіе лучи потоками льются на всѣ предметы и заставляютъ бордствовать мое и безъ того возбужденное воображеніе. Я, присѣвъ на палубѣ у входа въ шакшу, засматриваюсь то на блѣдное небо, усѣянное блѣдными свѣтящимися точками, то на таинственную темноту лѣсной чащи.

И припоминается мнѣ, слышанная когда-то отъ знакомаго старика-шамана, легенда о вѣковомъ снѣ, въ который погружена теперь Сибирь.

Когда-то, въ давнія времена, Сибирь была богатою и счастливою страною. Повсюду царила вѣчная весна, миръ и достатокъ. Рѣдкій монголъ владѣлъ сотнею головъ скота, были такіе, что владѣли многими сотнями и даже тысячами. Юрты выстилались дорогими мѣхами пушистыхъ звѣрей, рѣки кишѣли обиліемъ всякихъ рыбъ, а медвѣдь и волкъ сами подставляли свой бокъ подъ рога-

тину тунгуса. На каждомъ очагѣ пылалъ яркій огонь и обильныя жертвы кровавыя и безкровныя неслись къ плѣши *) Эсеге-Маланъ-Тенгери—верховнаго вождя добрыхъ монгольскихъ духовъ. Тенгери предохранялъ монгола отъ всякихъ бѣдъ и злоключеній. Богиня свѣта и правды, добрая Хормузда, держала вѣчно въ страхѣ злого духа Шайтана, старающагося вездѣ, гдѣ можно, вредить правовѣрнымъ монголамъ.

Но доброй Хормуздѣ показалось, что мало племенъ прославляютъ ея имя и приносятъ ей жертвы. Ей хотѣлось, чтобы вездѣ, гдѣ только раздается человѣческій говоръ, произносилось имя ея.

И вотъ богиня повелѣла оповѣстить черезъ своего Великаго Шамана всѣмъ правовѣрнымъ монголамъ, что она приказываетъ имъ собраться всѣмъ вмѣстѣ и подъ предводительствомъ Хана Чингиса двинуться на западъ и на югъ, и распространить между всѣми племенами культъ ея вѣры.

И двинулись на западъ и на югъ полчища Чингиса, и залили собою всѣ земли языческихъ народовъ, и имя Хормузды вмѣстѣ съ именемъ могучаго вождя Чингиса раздавалось по лицу всей земли.

Но вмѣстѣ со славой и побѣдой къ монголамъ проникли разныя чужія вѣрованія. Съ запада проникла религія беззавѣтной любви, съ юга проникли созерцательный Будда и сладострастный Магометъ.

И погасъ огонь на жертвенныхъ очагахъ доброй Хормузды, и смолкли ревообразныя заклинанія великихъ шамановъ, раздоры и вражда поселились среди монгольскихъ племенъ.

И затуманилась плѣшь Эсеге-Маланъ-Тенгери, и нахмурила ликъ свой добрая богиня Хормузда.

И велѣла богиня объявить черезъ своего шамана, что она отворачиваетъ свой ликъ отъ всѣхъ монгольскихъ племенъ.

И пусть предводитель злыхъ духовъ, жестокій Шайтанъ, сошлетъ на всѣ монгольскія племена непробудный сонъ.

И пусть заснутъ этимъ непробуднымъ сномъ всѣ монгольскія племена, и пусть спятъ до тѣхъ поръ, пока не явится на свѣтъ человѣкъ, который откроетъ имъ глаза и заставитъ ихъ вернуться къ прежнимъ вѣрованіямъ...

И жестокій Шайтанъ дунулъ своимъ холоднымъ ледянымъ дыханіемъ. И уснули всѣ монгольскія племена отъ моря до моря, и уснула вся великая Сибирь непробуднымъ ледянымъ сномъ.

И спитъ великая страна, проклятая доброй богиней Хормуздой, и ждетъ, не дождется человѣка, который-бы пробудилъ ее къ жизни.

---

*) Плѣшью Эсеге-Малана называется шаманистами небесный сводъ.

Но проходятъ вѣка, а великаго человѣка нѣтъ какъ нѣтъ...

. . . . . .

На зарѣ жители Закурдаевской деревушки были разбужены пушечнымъ выстрѣломъ изъ нашего пятидюймоваго орудія. Черезъ четверть часа палубы нашихъ паузковъ кишѣли народомъ. Вся мужская половина селенія, состоящаго изъ десятка дворовъ, была здѣсь. Женская же половина принуждена была въ это время топить печки, ставить самовары, доить коровъ.

Надъ трубами почернѣвшихъ избушекъ вьются струйки синяго дыма. По небу плывутъ розовыя утреннія облачка. Облачка эти растягиваются въ длину все болѣе и болѣе и превращаются наконецъ въ длинныя-предлинныя, тончайшія полоски, какъ будто наведенныя блѣднымъ растворомъ кармина. Рѣка разгладила свой ликъ и кокетливо заигрываетъ съ первыми лучами восходящаго солнца, пробивающимися сквозь слой облаковъ, собравшихся на восточной окраинѣ горизонта. Изъ тайги дуетъ теплый вѣтерокъ переполненный ароматомъ хвои и травы. Этотъ вѣтерокъ нѣжно щекочетъ лицо и шею и сладкая истома овладѣваетъ послѣ безсонной ночи.

Но спать некогда. Сейчасъ покончитъ нашъ почтенный караванный свои разсчеты съ лоцманами, сейчасъ грянетъ второй выстрѣлъ, сейчасъ раздастся команда лоцмановъ: „дергай кошку!“, сейчасъ наши паузки, подобравъ свои снасти и подавшись впередъ грудью, понесутся стройно и плавно по теченію.

На нашъ паузокъ попалъ вожакомъ Сергѣй Михайловъ Закурдаевъ. Коренастый, плосколицый, безъ всякой растительности надъ верхней губой, онъ сразу обнаруживалъ свое тунгузское происхожденіе.

— А говорить по-тунгузски умѣешь?—обратился я къ нему.

— Како тамъ умѣемъ!... И нашъ родитель покойный не умѣлъ, однако... Куды ужъ намъ умѣть...

Сергѣй гоняетъ паузки болѣе двадцати лѣтъ и „гоняетъ безоблыжно“, какъ о немъ выразился нашъ Ясаковъ. Съ „анженерами“ Сергѣй тоже плавалъ. За недѣлю ему заплатили двадцать одинъ рубль, поэтому у Сергѣя сохранилось самое теплое воспоминаніе объ этихъ „анженерахъ“.

— Вздумалъ это старшій баринъ, было,—разсказывалъ мнѣ Сергѣй,—подняться вверхъ въ порогъ—затянуться на канатѣ, будто; завезли это-то мы канатъ на Ушканій островъ, привязали концомъ за скалу и спустили черезъ порогъ. Тожно закрѣпили это-то мы конецъ этого самаго каната за воротъ на карбазѣ. Былъ у нихъ карбазъ изъ городу крѣпкій такой. Закрѣпили это-то мы и стали вертѣть за рукоятку. Екимъ Соломонычъ, старшой баринъ, будто, самъ приказалъ наворачивать канатъ посильнѣе. Попервоначалу

оно шло ничего себѣ, мало-мало ладно, а какъ стали подплывать это-то мы къ первому бою изъ-подъ Боярскихъ воротъ, какъ начало насъ хлестать, оборони Богъ,—канатъ натянуло какъ нитку, дарма что былъ вчетверо сплетенъ. Вижу это-то я, Екимъ Соломонычъ стоитъ у руля блѣдный такой.—„Не трусите ребята?—Почто намъ трусить, наше дѣло съизмалку свычное къ этому“. А Ясаковъ смотритъ, смотритъ это на канатъ да какъ крикнетъ: „берегись“! А канатъ-то лопнулъ сразу, а ребята, что стояли у ворота, такъ и попадали на дно лодки. Насъ поперло тако, что мы успѣли оглянуться это-то только подъ самымъ Краснымъ-Яромъ. Екимъ Соломонычъ говоритъ тожно: „куды-жъ мы теперъ дѣнемся“? А мы ему отвѣчаемъ. будто: „и слава Богу, что канатъ оборвало; въ порогѣ захлестнуло-бы нашъ карбазъ: тамъ валы черезъ голову хлещутъ“. Вотъ поплывемъ, Богъ дастъ, увидите тожно, баринъ,—завершилъ Сергѣй свой разсказъ, затягиваясь изъ трубки, Богъ вѣсть, который разъ.

Между тѣмъ наши судна подплывали къ первой шиверѣ. Шумъ ея явственно раздавался среди нѣмой тишины утра.

Солнце взошло изъ-за опушки лѣса и освѣтило своими матово-золотыми лучами, просѣивающимися сквозь облака, верхушки горъ, одѣтыхъ густымъ соснякомъ, скользнуло по колоскамъ низкорослой пшеницы, отвоевавшей себѣ у тайги крошечный клочекъ на склонѣ пади, и, пробѣжавъ по поверхности пестрыхъ глыбъ порфира, отразилось въ изумрудныхъ водахъ рѣки.

А утесы становятся все выше и выше и тянутся непрерывной стѣною по обѣимъ сторонамъ рѣки. Рѣка течетъ въ каменныхъ берегахъ. Русло ея шириною никакъ не болѣе сотни саженъ. Теченіе здѣсь замѣтно сильнѣе. На срединѣ рѣки высится груда черныхъ камней, носящая тунгузское названіе: Тарасы.

Сергѣй снялъ съ головы, надѣтую личинкою кверху, сѣтку и потрясъ ею по воздуху.

— Къ поноснѣ ставайте, ребята!—скомандовалъ онъ ровнымъ, спокойнымъ голосомъ.

Мы попали въ стремнину. Вода здѣсь мутно-зеленаго цвѣта. По поверхности рѣки, во всю ширину ея, замѣтно довольно сильное волненіе. Мы плывемъ возлѣ праваго берега. Камни встрѣчаются очень часто, и нужно хорошо изучить фарватеръ, чтобы не набѣжать на одинъ изъ нихъ. Но Сергѣй знаетъ этотъ фарватеръ, какъ свой полудесятинный клочекъ пашни. Всю жизнь изучалъ онъ его, стараясь запечатлѣть въ своей памяти мельчайшія подробности этого „фармахтера“. За то теперь не даромъ онъ пользуется довѣріемъ сплавщиковъ и зарабатываетъ немалую деньгу, сплавляя наузки съ чаемъ, съ фарфоровой посудой, съ мелкими

товарами, плоты съ жерновами, отправляемыми изъ Братской волости въ Кежемскую, т. е. за шестьсотъ верстъ слишкомъ.

Знаки по воздуху Сергѣй совершаетъ съ такимъ таинственнымъ видомъ, что невольно воображается, будто ты присутствуешь при совершеніи шаманскаго обряда и передъ тобою не лоцманъ судна, а самъ великій шаманъ.

— Ударь поносну еще, ударь!

Наше судно свернуло за завалокъ изъ камней и, перекатившись черезъ послѣднюю гряду, поплыло медленнѣе.

— Шиверка прикончилась туто-ка,—пояснилъ мнѣ Сергѣй, указывая на зарубку, сдѣланную на стволѣ громадной сосны, выросшей надъ скалистымъ обрывомъ.

Сошедши съ вышки, Сергѣй изъ шамана превратился въ обыкновеннаго ясачнаго инородца. Чары исчезли, осталась одна нагая дѣйствительность.

На палубѣ гребцы расположились группами пить чай изъ громадныхъ мѣдныхъ чайниковъ. Струйки ароматнаго кирпичнаго чаю взвивались надъ чашками ихъ и, разстилаясь надъ палубой, аппетитно щекотали обонятельные нервы. Я не могъ утерпѣть, чтобы не спуститься въ шакшу попить чайку вмѣстѣ съ караваннымъ. За чаемъ у насъ разговоръ не клеился совсѣмъ. Я всецѣло былъ поглощенъ мягкой прелестью утра, дикими красотами мѣстности, жаждою сильныхъ ощущеній... У караваннаго-же были свои думы и заботы. У него въ мозгу крѣпко засѣла мысль, что настоящая „плавежка“ одна изъ самыхъ неудачныхъ и что несомнѣнно въ Енисейскѣ придется выложить изъ кармана пару тысченокъ въ награду за свои труды и безпокойства.

Напившись чаю, я вышелъ на палубу. Тайга продолжала полновластно царить по обоимъ берегамъ рѣки. Остроконечныя сопки, одна красивѣе другой, верхушками своими уходили въ небо. А небо это казалось теперь матово-серебряннымъ. Серебро отражалось въ водѣ и наше судно плыло по этому серебру.

По срединѣ бѣлый каменный островокъ, носящій названіе Чайника. И вправду, эта группа камней кажется гигантскимъ чайникомъ съ отколоченными носомъ и ручкой. Глубина возлѣ этого острова страшная. Двадцати-пяти-саженный лотъ не могъ достать дна, когда „анженеры“ дѣлали тутъ свои промѣры.

Судна оплываютъ Чайникъ съ правой стороны. Тутъ-же начинается порогъ.

Ревъ этого чудовищнаго порога сталъ слышенъ задолго до того момента, когда наше судно приблизилось къ Чайнику. Теперь же онъ становился все сильнѣе и сильнѣе, по мѣрѣ того, какъ мы приближались къ самому порогу.

Точно такъ-же усиливалось и волненіе. Бѣляки, сначала чуть

чуть подергивающіе поверхность рѣки, сбивались въ сплошную бѣлую массу; волны, похожія на легкую зыбь, превращались постепенно въ водяныя горки, довольно таки ощутительныя для боковъ нашего судна.

— Шабашъ, ребята, греби!—скомандовалъ лоцманъ, стоявшій на своей вышкѣ и описывающій правою рукою свои кабалистическіе знаки по воздуху.

Мы очутились во власти бѣшеной стихіи. Насъ несло съ страшной силой въ узкій промежутокъ между двумя утесами серебристаго норфира, носящими названіе Боярскихъ воротъ. Бой волнъ здѣсь ужасающій. Громадная масса воды выливается изъ двухъ трубъ и, соединившись въ одну струю, съ необыкновенной силой свергается внизъ съ восьми-саженной вышины. Со всѣхъ сторонъ на наше судно подымались, лѣзли страшныя чудовища съ зелеными безобразными головами и тысячами безцвѣтныхъ глазъ: они старались заглянуть намъ въ глаза и затѣмъ съ яростнымъ ревомъ расплескивались о борта нашей палубы. Отъ ихъ взгляда становилось холодно и жутко на душѣ. Это былъ взглядъ смерти. Волненіе было настолько сильно, что въ трюмѣ перекатило нѣсколько цибиковъ чаю съ одного края судна на другой.

Но Сергѣй невозмутимо продолжаетъ творить свои знаки съ важнымъ, серьезнымъ лицомъ. Лицо это свѣтится теперь какимъ-то дикимъ вдохновеніемъ. Подручные лоцмана степенно и отчетливо стараются выполнить каждое приказаніе своего верховнаго жреца. Мы мчимся съ неудержимой силой, пробѣгая четырехверстное разстояніе въ десять минутъ.

Съ немалымъ трудомъ я пришелъ въ себя.

— Съ порогомъ проздравляемъ васъ, баринъ!—обращается ко мнѣ Сергѣй.—Ты ужъ меня запиши, если будетъ что. Тогды съ анженерами получилъ за шесть денъ двадцать одинъ рубль. Выдалъ самъ Екимъ Соломонычъ, какъ проплавалъ это-то я. Самъ Сибиряковъ полюбилъ меня, чего ужъ тутъ говорить напрасно. Такъ ты ужъ запиши меня безпремѣнно...

Я обѣщалъ шаманскому лоцману „безпремѣнно“ исполнить его просьбу.

Черезъ Шаманскій порогъ до сихъ поръ не рискнулъ проплыть ни одинъ пароходъ. Даже самъ неустрашимый капитанъ Калистратовъ спасовалъ передъ этимъ грознымъ чудовищемъ.

Пять лѣтъ тому назадъ для парохода была завезена, по распоряженію А. М. Сибирякова, туэрная цѣпь, которая и теперь чернѣетъ безобразной кучей среди зелени Ушканьяго острова.

Чуть не въ самой пасти этого чудовищнаго порога, на склонѣ Ушканьей пади прилѣпилась крохотная деревушка Ершова. Предпріимчивые ясачные мужички отвоевали себѣ мѣстечко у по-

рога, расчистили тайгу, срубили избы, развели огороды, распахали пашни и живутъ себѣ помаленьку да полегоньку.

Крохотная деревушка быстро промелькнула передъ нашими глазами и скрылась за утесами. Мы проплыли еще съ полверсты и бросили кошки у урочища, именуемаго Краснымъ-Яромъ. Небо покрылось толстою завѣсою темныхъ тучъ. Рѣка почернѣла отъ злости и казалась теперь полосою пролитыхъ чернилъ. Отъ берега несся гулъ ломаемыхъ поднявшимся вѣтромъ древесныхъ вѣтвей, а сзади доносилось гнѣвное рокотанье порога.

— Слава Богу, баринъ, поспѣли въ самъ разъ вотъ!—утѣшалъ насъ Сергѣй, опоражнивая стаканчикъ добраго иркутскаго вина.

V.

Устье р. Илима. Карапчанскія препятствія. Лоси. Тушамскія препятствія.

Въ пятидесяти верстахъ отъ грознаго чудовища, именуемаго Шаманскимъ порогомъ, въ Ангару впадаетъ съ правой стороны рѣчка Илимъ. Рѣчка эта, протекающая по каменистому грунту, образуетъ въ своемъ теченіи цѣлый рядъ переборовъ и шиверъ, дѣлающихъ возможнымъ судоходство по ней только лишь въ полую воду весной. Лѣтомъ-же, когда вода спадаетъ, по рѣкѣ Илиму въ состояніи плавать лишь большія крытыя лодки, такъ называемыя здѣсь—„илимки“. Рѣка Илимъ играетъ немаловажную роль въ жизни здѣшняго края, такъ какъ она составляетъ часть большого сибиряковскаго волока. Волокъ этотъ, устроенный благодаря неутомимой энергіи извѣстнаго сибирскаго креза-идеолога А. М. Сибирякова, заслуживаетъ того, чтобы о немъ сказать нѣсколько словъ.

Въ бассейнѣ рѣки Лены, какъ извѣстно, находятся богатѣйшія въ свѣтѣ золотоносныя розсыпи, издавна привлекавшія предпріимчивыхъ искателей легкихъ способовъ обогащенія. Не смотря на упадокъ сибирской золотопромышленности въ послѣдніе годы, витимскіе и олекминскіе пріиска кишатъ народомъ. Продовольствовать эти многочисленныя аравы пришлаго рабочаго люда посредствомъ мѣстнаго хлѣба—немыслимая вещь. Приходится волей-неволей доставлять хлѣбъ вмѣстѣ съ другими необходимыми припасами изъ другихъ мѣстностей. Доставлять хлѣбъ гужемъ по якутскому тракту изъ плодородныхъ южныхъ округовъ Иркутской губерніи обходится очень дорого—не менѣе двухъ рублей съ пуда. Между тѣмъ Минусинскому округу, Иркутской губерніи, ежегодно почти некуда дѣвать своего хлѣба, такъ что даже очень

часто приходится бросать неубраннымъ на поляхъ хлѣбъ съ болѣе плохимъ зерномъ. Стоимость уборки не оплачивается стоимостью хлѣба. Сибирякову пришла въ голову блестящая мысль перевезти дешевый минусинскій хлѣбъ въ пріисковыя мѣстности ленской системы. Хлѣбъ этотъ нагружается на барки въ Минусинскѣ и сплавляется по Енисею на протяженіи тысячи верстъ до г. Енисейска, съ платою по двадцати пяти копеекъ съ пуда. Въ Енисейскѣ этотъ хлѣбъ перегружается на „илимки“ и тянется бичевой по Ангарѣ до устья р. Илима, и по рѣкѣ Илиму до заштатнаго городка Илимска на протяженіи тысячи двухсотъ верстъ по пятидесяти копеекъ съ пуда. Отъ Илимска до приленскаго селенія Усть-Кута на протяженіи шестидесяти верстъ проложена прекрасная колесная дорога. Такимъ образомъ, доставка дешеваго минусинскаго хлѣба до перваго сплавнаго пункта на р. Ленѣ обходится вдвое дешевле, чѣмъ доставка болѣе дорогаго иркутскаго хлѣба гужемъ. Это не можетъ не вліять на значительное удешевленіе цѣнъ на хлѣбъ въ ленскомъ бассейнѣ. Въ честь Сибирякова этотъ енисейско-ангарско-илимскій водный путь названъ Сибиряковскимъ большимъ волокомъ.

Сибиряковъ не остановился на открытіи этого пути. Онъ сдѣлалъ цѣлый рядъ попытокъ устроить по волоку товаро буксирное пароходное движеніе. Прежде всего необходимо было ознакомиться съ характеромъ рѣкъ, по которымъ онъ хотѣлъ устраивать пароходные рейсы. Старикъ Енисей былъ извѣстенъ давно какъ многоводная рѣка, не имѣющая никакихъ серьезныхъ препятствій въ средней и нижней части своего теченія, кромѣ незначительнаго Казачинскаго порога. Совсѣмъ не то было съ быстротечной красавицей Ангарой. Не смотря на ея славное историческое прошлое, не смотря на милліонные грузы, сплавляемые по ней въ теченіе полутора столѣтій, она внушала къ себѣ чувство ужаса и страха и была признана чуть не всѣми изслѣдователями невозможной для судоходства рѣкою. Но это общепринятое мнѣніе, подтвержденное даже спеціалистами, не въ состояніи было заставить А. М. Сибирякова отказаться отъ своей попытки. Онъ принадлежалъ къ разряду тѣхъ благородныхъ мечтателей-утопистовъ, которые всегда поступаютъ вопреки общепринятому мнѣнію. Свѣтъ клеймитъ такихъ людей именемъ фантазеровъ или безумцевъ. Но безъ этихъ фантазеровъ было-бы въ нашемъ холодномъ мірѣ еще холоднѣе и неуютнѣе...

У А. М. Сибирякова оказался прекрасный помощникъ для осуществленія его замысловъ. Это былъ пароходный капитанъ В. В. Калистратовъ. Этотъ энергичный капитанъ оказался прекраснымъ исполнителемъ предпринятаго Сибиряковымъ дѣла изслѣдованія русла Ангары на всемъ ея протяженіи. Немало труда и

энергіи стоило ему совершить предпринятое дѣло и, надо ему отдать справедливость, свершилъ онъ его безукоризненно. Сооруженный въ 1882 году на средства Сибирякова паровой катеръ, съ капитаномъ Калистратовымъ во главѣ, проплылъ внизъ черезъ всѣ пороги, за исключеніемъ Шаманскаго, и въ принципѣ вопросъ о возможности пароходнаго сообщенія по Ангарѣ былъ рѣшенъ въ утвердительномъ смыслѣ.

Черезъ три года былъ сооруженъ на Ладожскомъ заводѣ буксирный пароходъ-туэръ въ шестьдесятъ силъ, окрещенный именемъ „Святителя Иннокентія“, перевезенъ по частямъ въ Красноярскъ и спущенъ на р. Енисей. Этотъ туэрный пароходъ былъ первымъ пароходомъ, появившимся лѣтомъ 1886 года на прозрачныхъ водахъ нашей зеленоокой красавицы и взволновавшимъ эти прозрачныя, какъ хрусталь, воды. Первый рейсъ парохода „Св. Иннокентій“ съ баржей „Ангара“ не оказался очень удачнымъ. Приходилось затрачивать цѣлую прорву времени на прокладку цѣпей въ порогахъ, на заготовку дровъ въ извѣстныхъ пунктахъ, на пріискиваніе мѣстъ, удобныхъ для пріостановки, на пріученіе пароходной команды къ мѣстнымъ условіямъ плаванія, на чинку постоянно ломающихся разныхъ пароходныхъ частей. Чтобы совершить одинъ рейсъ отъ Усть-Стрѣлки до Усть-Илима противъ теченія и вернуться обратно—потребовалось цѣлое лѣто.

На другое лѣто пароходу посчастливилось сдѣлать два рейса; наконецъ теперь онъ можетъ свободно сдѣлать три рейса въ лѣто; въ эти три рейса можно перевезти изъ Енисейска на р. Илимъ шестьдесятъ тысячъ пудовъ груза, что вполнѣ окупаетъ содержаніе парохода.

Попытка устроить пароходное сообщеніе по р. Илиму потерпѣла полнѣйшее фіаско. Двадцати-сильный пароходъ „Илимъ“ въ полую воду достигъ кой-какъ заштатнаго городка Илимска, но обратно вернуться къ устью рѣки Илима не могъ. Поломавъ свою машину, онъ принужденъ былъ проторчать у илимской пристани три года, чтобы потомъ быть отведеннымъ на буксирѣ въ городъ Красноярскъ.

Точно такъ-же неудачна была попытка большого сто-сильнаго парохода „Св. Николай“ по Ангарѣ. Пароходъ совершилъ два пробные рейса, въ одномъ изъ которыхъ пробилъ себѣ бокъ объ острый камень Аладьиной шиверы и, чудомъ спасшись отъ погибели, поторопился убраться на р. Енисей, гдѣ и понынѣ благополучно совершаетъ рейсы между Минусинскомъ и Красноярскомъ, въ пику своему конкурренту-толстосуму Гадалову, пытавшемуся захватить въ свои руки монополію пароходнаго сообщенія на р. Енисеѣ.

Попытки А. М. Сибирякова обошлись ему въ сумму болѣе

милліона рублей. До сихъ поръ это предпріятіе приноситъ ежегодно чистаго убытка на сумму пятидесяти тысячъ рублей (?).

Итакъ, мы попали теперь въ ту часть рѣки, по которой плаваютъ пароходы. Рѣка здѣсь носитъ уже названіе Тунгузки, что вовсе не къ лицу нашей красавицѣ, такъ какъ обликъ ея продолжаетъ сохранять всѣ признаки прежней красоты.

Берега Тунгузки столь-же пустынны, какъ и берега Ангары: сосна, лиственъ, пихта чередуются между собою. Утесовъ тутъ не оберешься совсѣмъ. Есть между этими послѣдними низкорослые, кряжистые, грязнаго зеленаго цвѣта, спирающіе своими боками рѣку съ обѣихъ сторонъ, есть и многоэтажные, высоченные утесы съ зубчатыми башнями, бойницами, баллюстрадами, балкончиками —настоящіе рыцарскіе замки. Таковъ знаменитый Илимскій Быкъ, вышиною въ добрую версту, представляющій собою сплошную массу сѣраго базальта и видимый на много верстъ по рѣкѣ.

На небольшой каменистой дельтѣ, образуемой устьемъ рѣки Илима, высятся длинные деревянные срубы амбаровъ и складовъ А. М. Сибирякова.

Когда мы поровнялись съ этими складами, оттуда послышался грозный голосъ:

— Чьи паузки?

— Руссаковски!—отвѣчалъ Ясаковъ.—А ты кто будешь?— обратился онъ въ свою очередь къ вопрошавшему.

— Мы Сибиряковы президенты,—(то-ли резиденты, намъ не удалось хорошенько разслышать, такъ какъ насъ понесло очень быстро отъ этого мѣста).

Русло рѣки здѣсь очень узко,—Ангара течетъ будто въ каменной трубѣ. Паузки несутся со скоростью пароходовъ. Струйки синенькаго дымка, взвивающагося надъ очагами ихъ, усиливаютъ иллюзію.

Мы съ караваннымъ и съ двумя гребцами сѣли въ большую лодку и понеслись по теченію. Намъ предстояло поспѣшить раньше паузковъ въ деревню Сизовую, гдѣ нужно было захватить лоцмановъ, для провода нашихъ судовъ черезъ Карапчанскія препятствія.

Паузки неслись такъ быстро, что нашимъ гребцамъ приходилось грести изо всѣхъ силъ, чтобы опередить ихъ. Какъ на грѣхъ, гребцы у насъ оказались не изъ важныхъ. Это были бухарскіе князья, пришедшіе въ Иркутскъ съ обозомъ и теперь возвращающіеся на родину обратно. Гребли они изъ рукъ вонъ плохо.

Мы подплывали къ утесу. Тутъ сильно бурлила и клокотала вода. Нашу лодку быстро понесло въ пучину и, заставивъ окунуться въ ней, выбросило изъ шиверки на гладкую поверхность

воды. Старый князь выпустилъ гребь изъ рукъ. Волной вышибло эту гребь изъ уключины и стало уносить теченіемъ. Благодаря присутствію духа караваннаго, гребь была поймана и водворена на мѣстѣ, а бѣдный князь получилъ отъ караваннаго наставленіе о томъ, какъ слѣдуетъ не зѣвать.

Показались клочки пашенъ. Золотилась яровая рожь, сѣрѣлъ овесъ, а мѣстами даже виднѣлась мелкорослая пшеница, чувствующая себя здѣсь не совсѣмъ хорошо среди этой дикой, угрюмой таежной обстановки.

Наконецъ, на крутомъ берегу длиннаго Сизаго острова, показались первыя избы и строенія небольшой деревушки.

Рѣзче всего бросался въ глаза домикъ съ балкончикомъ и съ громадной вывѣскою мутно-грязнаго цвѣта, на которой красовались столь знаменательныя для сердца русскаго слова: „распивочно и навыносъ“.

Домъ принадлежалъ мѣстному кулаку изъ казаковъ. Казакъ этотъ ведетъ небезвыгодный торгъ съ лѣшаками пушниной и рыбой, вымѣнивая эти товары за водку и разную дребедень, наполняющую его лавченку. Почти всѣ окрестные лѣшаки состоятъ у него въ неоплатномъ долгу, поэтому вся пушнина, „добытая“ за зиму и вся рыба, наловленная осенью, попадаютъ въ загребистыя лапы нашего кулака Сизыхъ. Этотъ-же Сизыхъ считается первымъ лоцманомъ при проходѣ судовъ черезъ Карапчанскія препятствія.

Къ этому-то лоцману-кулаку мы и направляли теперь свои стопы.

Приставъ и вскарабкавшись на крутой песчаниковый берегъ, мы взошли на крылечко казаковой лавки и я не могъ себѣ отказать въ удовольствіи полюбоваться въ теченіе нѣсколькихъ минутъ красивой панорамой илимскаго устья.

Сверкающая на солнцѣ, какъ сталь, полоска рѣки была окружена со всѣхъ сторонъ глухой непроходимой тайгою. Всюду, куда только могъ достичь нашъ взоръ, вздымались желто-зеленыя волны этого моря хвои. Крошечныя избушки промышленниковъ, раскинувшіяся кое-гдѣ на берегу рѣки, и даже громадные сибиряковскіе амбары казались отсюда не болѣе какъ жалкими крошечными пятнышками. Одинъ Илимскій Быкъ величественно и грозно глядѣлъ своими стрѣльчатыми башенками на разстилавшуюся у его ногъ тайгу и въ его надменномъ взорѣ можно было прочесть презрительную насмѣшку надъ всесильной царицей здѣшнихъ мѣстъ.—„Вотъ ужъ цѣлые вѣка стою я здѣсь незыблемо и непоколебимо, а ты, дикая, могущественная, принуждена пресмыкаться у моихъ ногъ и еще пройдутъ вѣка и все будетъ такъ-же“. Со стороны тайги загудѣлъ зловѣщій шумъ; въ шумѣ томъ слышались звуки долго сдерживаемой ярости.—„Не хвастай заранѣе,

*

могущественный Быкъ! Сколь ни высоко ты держишь свою голову, но придетъ чередъ и тебѣ склонить ее передъ нами. Солнце, снѣгъ, дождь и вѣтеръ—все это наши союзники. Дружными усиліями они стараются разрушать тебя и не много уже времени нужно для того, чтобы ты изъ грознаго прямостоящаго утеса превратился въ безформенную вывѣтрившуюся груду камней. Тогда не уйти тебѣ отъ насъ, надменный гордецъ! Мы опутаемъ тебя неразрывными узами нашихъ корней и скроемъ тебя навсегда отъ чьихъ-бы-то ни было взоровъ. И никому въ голову не придетъ искать тебя здѣсь, гдѣ ты красуешься теперь, и имя твое станетъ лишь пустымъ звукомъ, которымъ пугаютъ дѣтей при ученіи географіи“.

— Утрешъ, однако, пароходъ, шлышъ ты, прошвишталъ это-то жвонко тако!—раздалось возлѣ моего уха.

Я оглянулся въ ту сторону, откуда услышалъ лѣшаковскій голосъ. Къ крылечку подходила кучка, разодѣтыхъ въ синія одежды, лѣшаковъ.

— Давно прошелъ пароходъ?—обратился я съ вопросомъ къ толпѣ.

— Утрешъ это-то, на жарѣ ищо, однако!—отвѣчалъ тотъ-же голосъ.—Мы, однако, къ вашей милошти, лочманить, будто, пришли...

— Идите въ лавку, тамъ нашъ караванный договаривается насчетъ вожаковъ съ вашимъ Антономъ Потапычемъ,—направилъ я мужиковъ.

— Эхъ, охаитъ меня курицынъ сынъ ни за что, ни про что, не дадутъ мнѣ судна, однако!—со вздохомъ произнесъ молодой, стройный парень чистымъ верховымъ говоромъ.

Говоръ этотъ заставилъ меня обратить болѣе пристальное вниманіе на парня.

— Кто тебя будетъ хаить?—спросилъ я у парня.

— Кто-жъ какъ не Антошка, однако! Онъ всѣхъ хаитъ, кто у него въ лапахъ не сидить,—какъ-то неохотно отвѣчалъ парень, отставая отъ своихъ товарищей.

Я разспросилъ парня,—гонялъ-ли онъ судна и знакомъ-ли съ которымъ нибудь изъ нашихъ иркутскихъ вожаковъ.

Оказалось, что онъ гоняетъ судна ужъ третій годъ, т. е. съ того времени, какъ вернулся съ военной службы изъ Енисейска, что онъ прекрасно знаетъ тутъ всѣ мѣста, да вотъ только вся бѣда въ томъ, что казакъ-кабатчикъ взъѣлся на него за какой-то будто-бы старый, неуплаченный Егоровымъ родителемъ, долгъ. А между тѣмъ Егоръ навѣрно знаетъ, что долгъ уплаченъ съ лихвой давнымъ-давно кабатчику, но этотъ послѣдній представляетъ собою столь ненасытное существо, что готовъ вымотать изъ каждаго всю душу.

Я принялъ участіе въ дѣлѣ притѣсняемаго кабатчикомъ вожака Егора и, благодаря моимъ усиліямъ, одинъ изъ нашихъ паузковъ былъ довѣренъ ему.

Благодарность Егора ко мнѣ не имѣла границъ.

Паузки наши, поровнявшись съ деревушкой, сдѣлали поворотъ и бросили кошки.

Мы съ гребцами вошли въ крохотную лавченку казака.

Обстановка лавченки самая мизерная. Десятка два кусковъ ситца самыхъ яркихъ цвѣтовъ, пара головъ сахару, запыленные леденцы въ грязныхъ банкахъ, махорка, порохъ и свинецъ, да разныя побрякушки въ родѣ томпаковыхъ колецъ, пуговокъ и сережекъ—составляли главный товаръ лавченки. За прилавкомъ стоялъ широкоплечій усатый мужикъ въ сѣрой поддевкѣ и поярковой шляпѣ, надвинутой на лобъ, и всячески укорялъ какого-то замухрыжнаго мужиченку, одѣтаго въ истрепанный азямъ изъ грубаго домашняго сукна, въ ичиги безъ каблуковъ изъ невыдѣланной кожи. Мужиченко опирался на кремневую винтовку допотопной системы и ежеминутно тормошилъ висѣвшій на немъ какъ-то криво и неуклюже самодѣльный патронташъ изъ невыдѣланной оленьей кожи.

— Ты-жъ мнѣ обѣщался, огневая твоя душа!—отчитывалъ на чистомъ русскомъ нарѣчіи стоявшій за прилавкомъ въ сѣрой поддевкѣ мужикъ, въ которомъ читатель безъ труда узнаетъ казака-кабатчика Антона Потапыча Сизыхъ.—Ты-жъ мнѣ божился Христомъ Богомъ,—все, что промыслишь только, приносить мнѣ въ заведеніе, а таперича пару соболей почто на пароходъ снесъ, безстыжіе глаза твои!

— Пра... пицаво, однако, я не ношилъ..,—оправдывался злосчастный мужиченко, съ виноватымъ видомъ теребя съѣзжавшій поминутно ему на брюхо оленій патронташъ.

Появленіе меня въ лавкѣ прервало сведеніе счетовъ между кулакомъ и его жертвою.

— Добро пожаловать, господинъ-баринъ!—радушно привѣтствовалъ меня Антонъ Потапычъ.—Милости просимъ къ намъ въ горницы. Посмотрите, какъ мы живемъ тутъ въ дебряхъ.

Казакъ постоянно ѣздилъ въ Енисейскъ и въ Иркутскъ, бывалъ даже въ Томскѣ, потому пріобрѣлъ нѣкоторый лоскъ въ обращеніи съ цивилизованными людьми.

— Эй, Васютка, подь сюды!—прибавилъ хозяинъ, повернувшись въ полуоткрытую дверь за стойкой.—Подь, проводи барина въ горницы,—обратился онъ къ вошедшему въ лавченку двѣнадцати-лѣтнему подростку въ розовой рубахѣ безъ пояса.

Я отправился слѣдомъ за своимъ юнымъ проводникомъ черезъ грязный чуланъ, пропитанный сивушными испареніями, продымлен-

ный насквозь удушливымъ запахомъ махорки, съ проплеваннымъ поломъ и мутными, слабо пропускающими свѣтъ, старыми стеклами, черезъ черную громадную избу съ русской печью изъ кирпича, съ полатями, парою люлекъ, раскачивающихся на жердяхъ, съ цѣлою кучею ребятишекъ въ рубахахъ и безъ рубахъ, съ миловидною голубоглазою невѣсткою казака, съ сильнымъ запахомъ свѣжеиспеченнаго ржанаго хлѣба, пока не достигъ чистой, свѣтлой горницы въ три окна, съ видомъ на Тунгузку и на Илимскій Быкъ.

Въ горницѣ, на диванчикѣ у окна, сидѣлъ нашъ караванный и задумчиво пускалъ изо рта синеватыя кольца дыма.

Въ сосѣднемъ помѣщеніи слышался звонъ перебираемой фаянсовой посуды.

Стѣны горницы были чисто выбѣлены известкой. На нихъ красовались дешевыя олеографіи сытинскаго изданія, изображающія влюбленныхъ дѣвицъ и играющихъ дѣтей, а также цѣлая коллекція плохихъ фотографическихъ карточекъ, при чемъ каждая карточка висѣла въ двухъ или трехъ экземплярахъ, а карточка самого казака-кабатчика даже въ шести экземплярахъ. На окнахъ въ глиняныхъ горшкахъ произрастала свободно ипомея, обвивающая своими зелеными листочками выкрашенные въ бѣлый цвѣтъ подоконники и глазѣвшая на насъ своими голубыми круглыми глазами.

Полъ въ горницѣ былъ выстланъ цвѣтными полосатыми половиками. Мебель выкрашена въ синій цвѣтъ.

Я подсѣлъ къ окну и, закуривъ папироску, снова засмотрѣлся въ окно на знакомый читателю видъ. Мнѣ вспомнился подслушанный мною споръ между утесомъ и тайгою.

— „Пока разрушительныя стихіи превратятъ въ прахъ великана, стоящаго на стражѣ древнихъ завѣтовъ этой заколдованной страны, появится человѣкъ со своими машинами и не пройдетъ нѣсколькихъ десятковъ лѣтъ, какъ отъ глухой ангарской тайги не останется ни слѣда“...—Началъ снова грезить я.

— Милости просимъ чайку откушать!—раздался возлѣ меня грудной голосъ.

Я быстро оглянулся и увидѣлъ миловидную невѣстку хозяина въ синемъ полосатомъ сарафанѣ, съ подносомъ въ рукахъ.

Я взялъ съ подноса чашку чаю и поставилъ на столѣ возлѣ себя.

Въ эту минуту вошелъ въ горницу хозяинъ съ графинчикомъ и рюмочкой.

— Винцо потребляете, чай, баринъ?—обратился онъ ко мнѣ. —У насъ винцо первый сортъ, неразбавленное. Изъ Енисейскаго привозимъ.

Но я поторопился отказаться отъ этого неразбавленнаго

угощенія и, выпивъ чашку чаю, опрокинулъ ее вверхъ дномъ въ знакъ того, что больше пить не желаю.

Казакъ, выпивъ съ нашимъ караваннымъ по рюмочкѣ, пустился разводить рацеи о томъ, что теперь житье больно плохо стало у нихъ. Бѣлки и соболя промышляютъ не въ примѣръ меньше, чѣмъ въ прошлые годы, рыбы тоже. И народъ нынче шибко плохой сталъ,—каждый наровитъ обдуть тебя. Вотъ хоть-бы взять того невзрачнаго мужиченку, котораго я видѣлъ въ лавкѣ. Совсѣмъ плохой мужиченко! Набралъ въ долгъ столько, что страшно подумать, а когды и какъ получишь съ него! Правда и то—первый промышленникъ по здѣшнему мѣсту. Изъ своей перевязанной веревками винтовки попадаетъ бѣлкѣ въ глазъ. Соболя отыщетъ завсегда. Да что проку, когда нельзя углядѣть за нимъ никакъ. Вотъ и теперь, снесъ на пароходъ пару шкурокъ соболя и продалъ ихъ капитану. Говоритъ, обѣщался ему безпремѣнно доставить. Да, рази онъ могъ обѣщаться, когда онъ весь въ долгу у почтеннаго Антона Потапыча?... Рази могъ, скажите, пожалуйста!..

Намъ оставалось только кивать головою въ тактъ нашему гостепріимному хозяину. Но мнѣ это киванье не показалось очень пріятнымъ препровожденіемъ времени и я поторопился удрать на паузокъ, захвативъ съ собою вожаковъ: отставнаго солдата Егора и его стараго дядю Харлампія съ слезящимися голубыми глазами и сѣдой клочковатой бородой.

Дѣдушка Харлампій оказался изъ говорливыхъ. Понюхивая табачекъ изъ своей берестовой табакерки и поводя слегка „сопцомъ“ направо и налѣво, онъ принялся разсказывать мнѣ о своемъ лѣшаковскомъ житьишкѣ.

— Плохо житьишко у нашъ туто-ка, баринъ,—шамкалъ дѣдушка своимъ беззубымъ ртомъ.—Мѣшто како, шамъ пошуди: гольный камень, что ишь, да утешы вокругомъ. Не шибко ражгуляшша ждѣшь. Да хучъ-бы и то вжяшти: гдѣ хорошо, не вшемъже быть, гдѣ худо, не бежъ людей быть. Подговаривали это-то нашъ рашейшки люди: вы бы, говоритъ, въ друго мѣшту шли; рази, говоритъ, въ Сибири мѣштовъ не штало. А мы имя и отвѣчамъ: куда намъ шелитша, будто! Пошто швово мѣшта лишить шебя должны. Надо-же и туто-ка да кому-нибудь жить. До шамаго городу Енишейшкаго поѣжжай, хуже нашей Коропчанишкой волошти не отыщешь! Хлѣбушко ново лѣто и вовше не родитъ. Ново лѣто мало мало и ладный, будто, да вше не угадашь никакъ...

— А какъ, примѣрно, ладный хлѣбъ по скольку даетъ съ десятины?—прервалъ я дѣдушку.

— Да, кто его жнать, однако!—почесался въ затылкѣ дѣ-

душка, повидимому, усиленно соображая, чтобы не соврать барину.—Ражно приходитша. Жашѣешь полторы четверти ярычы (яровой ржи), шоберешь пять, шешь въ другой ражъ. Ячмень лучшей родитъ, чѣмъ ярича. Пшенича шовшѣмъ плохо. А ращищить дешатину щетки наймовать коли шъ полшотни обойдетша, не меньче, однако.

— А много земли у васъ расчищенной изъ подъ лѣса?— снова спросилъ я.

— Да, такъ, шередка на половину,—дешатины по три на душу придетша. Не ровно тоже. У кого шилы больше, тотъ и ращищатъ больше.

— А скота какъ много?

— Шкота держатъ по дешатку головъ и больше. Овечъ держатъ-же. Коней по дешатку, али по два держатъ. Бежлошадныхъ пока, шлава Богу, шередъ нашъ нѣтъ такого жванія.

— Ну, а рыбные промыслы у васъ каковы теперь?

— Плохи шовшѣмъ штали. Раньче на моей памяти куда лучшей бывали,—со вздохомъ произнесъ старикъ, переносясь мысленно въ лѣта своей молодости.

— Когда я парнемъ былъ, это-то, бѣда рыбы-то школьки промышляли это-то мы тожно. На выштавку въ шентябрѣ, какъ на пашняхъ уберутъ вешь хлѣбъ, приплывутъ двѣ-три волошти, жашѣдатель пріѣдетъ тожно, а шъ нимъ и наши шельшки влашти: штаршина, штарошты, пишарь. Рѣка кипитъ, какъ кипятокъ въ шамоварѣ: штольки лодокъ на ней. Выштроятша это вшѣ лодки въ рядъ въ ширину рѣки, шо шнаштями, какъ ешь, чтобы вше было готово, жашѣдатель пошмотритъ на чашы, да какъ махнетъ хлагой (флагомъ), вшѣ лодки тогды плывутъ внижъ и штановятъ швои шамоловы. Каждый наровитъ получшей мѣшто жахватить. На каждой лодкѣ по дватчати шамолововъ. Видалъ, чай, баринъ, наши шамоловы?

— Почто не видалъ!—отвѣчалъ я.

Самоловами называютъ пріангарскіе жители тотъ нехитрый снарядъ, который употребляется ими во всей порожистой части рѣки для ловли рыбы. Снарядъ этотъ состоитъ изъ бревна, играющаго роль поплавка, изъ якоря, смастереннаго изъ камня, привязаннаго веревкой, да изъ полусотни удочекъ, подвѣшанныхъ къ поплавку вмѣстѣ съ пластинками изъ пихтовой коры. Глупая рыба, въ родѣ осетра и стерляди, заигрываетъ съ пихтовыми пластинками до тѣхъ поръ, пока не наткнется на крючекъ. Случается во время большого хода рыбы, что на всѣ крючки попадаетъ рыба, какъ будто облѣпливаетъ весь самоловъ. Случается, что въ удачный ловъ на пай одного рыболова приходится по сотни, двѣ пудовъ рыбы, что, по два съ полтиною за пудъ, даетъ рублей

по пятьсотъ и болѣе. Но это было давно, очень давно. Теперь уловы значительно бѣднѣе, притомъ рыболовы сидятъ въ долгу у кулаковъ-скупщиковъ и получаютъ лишь жалкіе гроши.

Во время нашихъ бесѣдъ съ словоохотливымъ старичкомъ мы успѣли оплыть весь Сизый островъ, проплыть мимо Карапчанской деревушки, состоящей изъ десятка жалкихъ замухрыжныхъ избушекъ, въ одной изъ которыхъ помѣщается волость, и теперь приближались къ гребнистому здоровенному утесу.

Остріе утеса выдалось надъ рѣкой и судна чуть не задѣваютъ его, проплывая отъ него въ двухъ шагахъ, такъ какъ ворота черезъ Мирюндину шиверу расположены близъ самаго берега. Въ мелководье, въ шиверѣ воды совсѣмъ мало и почти каждое судно задѣваетъ своимъ днищемъ о камни, которыми усѣяна вся шивера.

— Ну-ка, молодцы, давните!—вскричалъ какимъ-то унтерскимъ голосомъ нашъ отставной солдатикъ Егоръ, поплевывая себѣ на руки и взявъ въ руки сопецъ.

— Не выдайте, братцы, товарища свово, лоцмана молодаго!

— Да, у насъ лоцманъ веселый, съ прибаутками такъ и чешетъ!

— Чуръ, золоторотцы, не выдавать. Пускай увидятъ баринъ, что мы можемъ, то ись, постоять за себя.

И золоторотцы, представляющіе собою совершенно бросовый народъ, налегли на греби съ такой силой, что греби затрещали въ ихъ могучихъ ручищахъ.

Шумитъ и волнуется злющая Мирюндина шивера. Вальчики ходятъ въ ней—любо-дорого взглянуть.

Паузокъ, разогнанный съ страшной силой, летитъ въ узкія ворота, спотыкаясь по камнямъ.

Трррръ! только зашатался бокомъ, чуть-чуть было не застрялъ на камешкѣ, величиною съ добрую печку, да ничего, сорвался и понесся дальше.

— Дави, молодцы, сильнѣе, не выдавай!

И молодцы не выдали. Только аршинныя щепки, отрубленныя отъ четырехвершковаго дна паузка всплыли на поверхность воды и медленно поплыли за нами по теченію.

— Вынесло, вынесло!—оретъ толпа рабочихъ.

— Почто не вынести,—одобряетъ молодой лоцманъ.—Завсегда вынесетъ, коли ежели въ народѣ сила есть.

— Ну, на нашихъ золоторотцевъ пожаловаться нельзя въ этомъ отношеніи,—улыбнулся я.

— Ребята не изъ послѣднихъ, спасибо имъ, выручили ладно,—не переставалъ благодарить молодой лоцманъ.

Между молодымъ лоцманомъ и нашей командой сразу завязались дружескія отношенія.

Даже вѣчно угрюмый и недовольный хохолъ Семенъ, который до сихъ поръ не „отчухался“ хорошенько „съ переляку“ послѣ исторіи въ Долгомъ порогѣ и тотъ не могъ нахвалиться молодымъ лоцманомъ.

— Отце лоцманець, такъ лоцманець, такого въ насъ ще не було!—чмокалъ онъ губами.

Небо слегка захмурилось и рѣка тотчасъ-же приняла хмурый и озабоченный видъ, ровно не зная, что ей дѣлать съ нами, дерзкими пришельцами: казнить или миловать.

— Помилуй, матушка, помилуй!—громко произнесъ нашъ „лоцманець“ и, продувъ свою трубочку, скомандовалъ: „въ греби!“

— Разъ давнули, братцы, Мирюнду сбѣжали, въ другой давнемъ, черезъ шиверку махнемъ, въ третій разъ давнемъ и Быкъ проплывемъ.

— Га-га-га!—загоготала золотая рота, принимаясь за работу.

— Дернемъ, золоторотцы, дернемъ дружнѣй!

Дергаютъ греби, дергаетъ паузокъ по мелкому дну рѣки, постукивая о камешки.

По небу разбѣжались фіолетовыя полосы. Въ воздухѣ пахнетъ гарью. Легкій вѣтерокъ поддуваетъ сбоку наше судно.

А судно бѣжитъ со всѣхъ ногъ, словно кто гонится за нимъ. Небольшой переборъ изъ камней, незначительный шумъ воды, легкое волненіе, чуть-чуть побѣлѣвшіе гребни волнъ—вотъ вамъ и большая Карапчанская шивера.

— Шабашъ, братцы, греби!—остановилъ увлекшуюся команду вожакъ.

— Поберегите еще силы на Быка.

— Да эта шиверка совсѣмъ пустячная!—высказалъ я солдату свое предположеніе.

— Она и въ правду, баринъ, что пустячна,—пояснилъ мнѣ лоцманъ,—да только шибко камениста. Оборони Богъ сясти тутъ на мель. Свимешься съ одного камешка, на другой приткнешься тутъ-же. Пашковскіе паузки проплывали это-то на прошлой недѣлѣ, такъ они двое сутокъ, какъ есть, промаялись туто-ка. Довелось разгружать паузки. Больно шибко ужъ нагрузили въ Иркуцкомъ... По таперешней водѣ совсѣмъ не способно...

— Ну, намъ сгружать, надѣюсь, не придется,—вставилъ я.

— Почто сгружать! Съ здѣшними молодцами,—золотой ротой, вы ихъ прозываете, баринъ, что-ли... съ такими молодцами мы и съ полнымъ грузомъ пройдемъ и нигдѣ не приткнемся,—завершилъ молодой вожакъ свою рѣчь, закуривая, Богъ вѣсть которую по счету, трубочку.

На червонно-золотомъ фонѣ неба рѣзко обозначился гигантскій силуэтъ конусообразной сопки, поросшей соснякомъ и ельникомъ въ перемежку. Кисти хвои купались въ расплавленномъ пурпурѣ вечернихъ отблесковъ солнца. Изъ-за мыса, выдавшагося въ рѣку, доносилось рокотаніе послѣдней преграды, которую намъ нужно было преодолѣть сегодня. Это Лось издавала свои ревообразные звуки.

— Дернемъ-ка, братцы, еще разикъ!— приглашалъ команду лоцманъ.

— Перегребемся лишь къ тому берегу, оплывемъ мысокъ вокругомъ, подберемся къ Лоси, да и перемахнемъ черезъ Сохатаго съ Божьей помощью.

А ревъ Лоси все явственнѣе доносится до нашего слуха. Реветъ Сохатый неумолчно, созывая своихъ, разбѣжавшихся по дремучей тайгѣ, дѣтенышей. Но дѣтеныши отбѣжали отъ него на слишкомъ большое разстояніе, чтобы могли откликнуться на призывной ревъ своего родителя.

Крѣпчаетъ вечерній вѣтерокъ. На мачту вздернули парусъ и нашъ паузокъ, словно лебедь съ распущенными крыльями, понесся еще быстрѣе, еще красивѣе, по быстрому теченію рѣки.

Утесъ Лоси высокій, стройный, съ двумя выдающимися узкими и пологими выступами сверху, кажется съ рѣки окаменѣвшею гигантскою головою полорогаго животнаго. Въ разщелинѣ между выступами разросся мелкій бархатистый пихтарникъ.

Судно сильно покачиваетъ, снасти скрипятъ, вѣтеръ подгоняетъ судно сзади, а стоящій у сопца молодой вожакъ, знай, водитъ сопцомъ въ обѣ стороны, да покрикиваетъ:

— Давните, молодцы, давните, братцы, посильнѣе давните!

Волненіе и шумъ постепенно затихаютъ. Рога Лоси сливаются съ очертаніями другихъ утесовъ и тайги въ какомъ-то сѣроватомъ тонѣ ангарскаго вечера. Вѣтерокъ перемѣняетъ свое направленіе, такъ что намъ приходится обронить парусъ.

Раздавшійся съ перваго паузка выстрѣлъ возвѣщаетъ всему каравану, что Каранчанскія препятствія пройдены и что нашъ караванъ подходитъ къ Невонскому селенію.

— Уррра! Наша взяла!—оретъ вся золотая рота.—Порцію должны выдать намъ сегодня безпремѣнно, баринъ?

— Выдадутъ, безъ сомнѣнія,—подтверждаю я, и радостное настроеніе команды становится еще радостнѣе.

Изъ Невона мы отплыли на другой день лишь въ восьмомъ часу утра. Раньше плыть не было никакой возможности по причинѣ густаго тумана, стоявшаго высокой стѣною надъ рѣкой. Да и теперь туманъ еще не разошелся совсѣмъ. Сѣрая завѣса изъ

тучъ облекаетъ небо и миріады капелекъ воды съ педантичной монотонностью ниспадаютъ на наши бѣдныя головы. За то мошки надъ паузкомъ сегодня нѣтъ совсѣмъ. Лоцмана облачились въ азямы изъ самодѣлишнаго сукна, мы съ караваннымъ въ кожаные плащи съ башлыками, а наши рабочіе—кто во что могъ. Были и такіе, у которыхъ, кромѣ дырявой рубахи на спинѣ, не было никакого другого одѣянія; этимъ послѣднимъ не оставалось ничего другого, какъ прикрываться сверху рогожками и затѣмъ, промокнувъ насквозь, убѣгать въ трюмъ сушиться и грѣться у очага.

Лоцманомъ на нашъ паузокъ попалъ Егоръ Егоровъ, по прозванію Портянкинъ. Это былъ высокій старикъ съ мутными глазами и съ бородой, повисшей клочьями у подбородка. Этотъ долгій Егоръ пріобрѣлъ на Ангарѣ печальную извѣстность—онъ кралъ и продавалъ чужой скотъ. Лоцманилъ онъ когда-то хорошо, но теперь старъ сталъ, слабъ сталъ, видѣть пересталъ.

— Былъ лоцманъ, однако, а таперя весь вышелъ!—выразился о немъ нашъ Ясаковъ.—Вотъ быка чужаго промыслить,—это онъ можетъ, баринъ.

Русло рѣки значительно расширилось. Сквозь сѣтку дождя мы не въ состояніи видѣть правый берегъ рѣки. Розсыпи камней встрѣчаются тутъ на всемъ протяженіи рѣки. Грести приходится непрерывно. Грести подъ холоднымъ душемъ дождя—не Богъ вѣсть, какая пріятная вещь и наша золотая рота пріуныла и примолкла. Между нею и быкокрадомъ-вожакомъ сразу появились натянутыя отношенія.

Чуетъ быкокрадъ, что дѣло у него съ гребцами не ладно и не радъ, быть можетъ, что и поплылъ съ нами, да, вишь вотъ, жадность одолѣла. Десятка кирпичей съ земли не подымешь, а тутъ еще сына надо-бы пріучить лоцманить.

Беззубый лоцманъ съ какой-то робостью словно шамкаетъ свою команду:

— Ну, давните, ребятушки, давните! Небошь, давните! Пуще давните!

— Только и умѣшь орать: давните!—огрызается кто-то изъ золоторотцевъ.

Наконецъ Кармагульникъ кое-какъ пройденъ. Остается Тушамскій Быкъ.

— Вонъ туто-ка Карла Сибиряковскій вырывалъ камешекъ, —докладываетъ мнѣ невонскій мужиченко, плывшій у насъ на паузкѣ за гребца.—Неладно тольки что вырвалъ. Ему такъ указали, онъ такъ и вырвалъ.

— Ну-ка ребятки хотни, хотни!—шамкаетъ дѣдушка быкокрадъ.

— Что ты дѣдушка сказалъ?—съ наглой усмѣшкой обращается къ дѣдушкѣ одинъ изъ рабочихъ.

— Давни гребью, давни, однако, пошкорѣй, нотому Быкъ туто-ка въ шамъ ражъ подошпѣтъ!

Какъ-то вяло и неохотно брались ребята за греби, еще неохотнѣе ворочали они этими тяжелыми намокшими гребями.

А тутъ и въ правду подоспѣлъ Быкъ. Рычитъ онъ довольно сердито и фыркаетъ сѣдою пѣною изъ своихъ ослизлыхъ ноздрей, да только мы ужъ видѣли на Ангарѣ разныя чудовища и какой то Быкъ Тушамскій, да къ тому-же съ широкимъ и глубокимъ проходомъ, совсѣмъ не можетъ запугать насъ.

— Шпашибо, ребятушки!—ухмыляется быкокрадъ, чтобы задобрить команду, но его ухмыляніе не производитъ на золоторотцевъ ровно никакого впечатлѣнія. Всѣ они продолжаютъ хранить свой угрюмый недовольный видъ.

Насъ тихо несетъ у лѣзаго берега. Сопки, одѣтыя лѣсомъ, утесы, сѣрое небо, хмурый ликъ рѣки—все это ужъ давно извѣстно вамъ, читатель. Команда ушла въ трюмъ пить чай. На палубѣ остался одинъ хохолъ Семенъ изъ „Житомірской губэрніи“. Хохолъ набожно молится на востокъ. Съ глубоко сосредоточеннымъ выраженіемъ своихъ голубыхъ глазъ онъ крестится и бьетъ поклоны, и молитъ у Бога, чтобы Богъ привелъ его „побачить“ родную сторону, гдѣ у него осталась „жинка зъ маленькими диточками“... И этотъ взрывъ глубокаго сердечнаго чувства былъ настолько силенъ, что тронулъ сердца нашихъ заскорузлыхъ золоторотцевъ. Ни одного срамнаго слова, ни одного звука глумленія не слышно было изъ шакши. И только мелкая барабанная дробь падающаго дождя, ударяющаго о крышку паузка, да тихій плескъ волны о бока судна, да удушливый кашель вожака-быкокрада нарушали глубокую тишину сѣраго дождливаго дня.

Проплывъ благополучно и Кармагульникъ, и Быкъ, мы были вполнѣ увѣрены, что миновали всѣ Сциллы и Харибды сегодняшняго плаванія и только то и дѣлали, что радовались въ душѣ, какъ вдругъ, не доѣзжая полуверсты до деревни Тушамы, нашъ паузокъ заерзалъ что-то по дну рѣки и остановился на виду деревни и двухъ лодокъ, шедшихъ съ товаромъ изъ Енисейска.

— Поди-жъ ты туто-ка!—всплеснулъ обѣими руками старый быкокрадъ.—Чешно мѣшто пронешло, а ждѣшь шяли!

— Лоцманъ! . . . . . ни черта не смыслитъ!... Не брался-бы . . . .—Градъ ругательствъ посыпался на голову злосчастнаго быкокрада.

— Ишь, лѣшій, каково жатянуло!—соболѣзновалъ нашему горю какой-то тушамскій мужиченко, подплывшій на стружкѣ къ нашему паузку.

— Подь ты къ . . . . . !—огорошилъ соболѣзнующаго мужиченку кто-то изъ золоторотцевъ.

Несчастный старый быкокрадъ, вначалѣ обидѣвшійся на ругающихъ его, на чемъ свѣтъ стоитъ, молодцевъ, теперь присѣлъ у борта и безучастно смотрѣлъ на все происходившее на палубѣ своими подслѣповатыми мутными глазами.

Нашъ третій паузокъ, плывшій позади насъ, поровнявшись съ нами, угощалъ насъ всякими шуточками и насмѣшками.

— Умаялись, видно, отдохнуть захотѣлось!—гоготалъ кто-то изъ рабочихъ.

— Лоцманить, видно, потруднѣй будетъ, чѣмъ быковъ воровать!—острилъ другой.

Быкокрадъ сидѣлъ ни живъ, ни мертвъ. Но еще худшее ждало его впереди. Первый паузокъ бросилъ кошку и остановился. Ясаковъ съ отборной командой валилъ теперь къ намъ на помощь.

Первымъ дѣломъ его, по появленіи на палубѣ, было разругать вожака-быкокрада на всѣ корки.

Не вытерпѣлъ таки старый вожакъ. Повидимому, Ясаковъ умѣлъ задѣть его слабое мѣсто. Съ страшной ненавистью взглянулъ быкокрадъ сперва на Ясакова, потомъ на насъ всѣхъ, вскочилъ въ привязанную къ кормѣ собственную набойницу, кликнулъ своего парня и только мы ихъ и видѣли.

Въ первый моментъ мы такъ были ошеломлены происшедшимъ у всѣхъ насъ на глазахъ, что забыли даже о томъ, что этотъ быкокрадъ получилъ уже всю плату до селенія Теулей; до этихъ Теулей намъ оставалось еще добрыхъ пятнадцать верстъ.

Когда я разсказалъ караванному о бѣгствѣ Егора, добродушный Максимъ Петровичъ махнулъ рукой.

— Пускай пропадаютъ мои кирпичи! Богъ съ нимъ!

И такъ, мы лишились вожака, а главное, намъ приходилось теперь сниматься съ мели, что представляло не мало труда.

Къ нашему счастью дождь почти пересталъ падать и на западной сторонѣ неба показалась свѣтлая полоса.

— Заряжай суковатку! Суковатку заряжай, ребята!—привычнымъ голосомъ принялся распоряжаться Ясаковъ.

Гораздъ былъ на языкъ нашъ главный иркутскій вожакъ, но за то никто лучше его не умѣлъ распоряжаться въ тѣхъ затруднительныхъ случаяхъ, которые частенько таки перепадали на долю намъ во время нашего плаванія по Ангарѣ.

Появились на сцену суковатки—толстыя, крѣпкія бревна съ накинутою петлей-веревкой на верхнемъ концѣ ихъ. Бревна были опущены нижними концами въ воду у самыхъ бортовъ судна, веревки съ петлями продѣты черезъ отверстія въ боковыхъ стѣнахъ

судна и петли накинуты на бревна, долженствующія изображать собою рычаги. Эти рычаги подвергались давленію всѣхъ рабочихъ силъ, какія только были у насъ въ наличности.

— Дави, ребятушки; дави дружнѣе!—раздавалось на палубѣ.

Но сила давленія тридцати человѣкъ, увеличенная четырехъаршиннымъ плечомъ рычага, не въ силахъ была сдвинуть ни на волосъ наше судно.

— Крѣпко сялъ, однако!...—ругался Ясаковъ.—Доведется сгружать чай въ табакерку.

Пришлось подвести нашу горемычную, столько вынесшую на своемъ короткомъ вѣку, табакерку, пришлось сгрузить на нее болѣе сотни мѣстъ, пришлось зарядить еще раза по три обѣ суковатки, чтобы сорвать нашъ паузокъ съ мѣста.

На всѣ эти операціи понадобилось цѣлыхъ три часа времени, такъ что, когда мы привели себя въ порядокъ и могли тронуться въ путь, дѣло клонилось къ вечеру.

Мѣсто Егора быкокрада занялъ смиренный голубоглазый старичекъ изъ Тушамы, согласившійся проводить насъ за пару кирпичей до самыхъ Теулей. Для него это было кстати, такъ какъ ему нужно было осмотрѣть свои самоловы, поставленные въ семи верстахъ ниже деревни.

Не успѣлъ нашъ караванъ отплыть двухъ-трехъ верстъ отъ деревни, какъ поднялся сильный противный вѣтеръ „низовикъ“. Плыть дальше оказалось невозможнымъ. Паузки то и дѣло заворачивало къ берегу. Приходилось волей-неволей бросать кошку и останавливаться на ночлегъ.

— Кошку бросай!—раздалась команда и наши паузки стали на якорѣ, описавъ красивую дугу и только плескъ волнъ нарушалъ ихъ, заслуженный вполнѣ въ сегодняшній день, отдыхъ.

VI.

Теульскіе переборы и шиверы. Медвѣжій уголъ, именуемый Едырмой. Селенгинскія косы. С. Кежма.

Теперь мы попали въ самую скверную часть русла нашей красавицы Ангары, переименованной здѣсь въ Тунгузку, Что ни шагъ, то либо мель, либо переборъ, либо розсыпь камней; того и гляди, приткнешься и засядешь на нѣсколько часовъ. Опасности большой для судовъ нѣтъ и не можетъ быть, но маяты одной тутъ не обереться, да и времени убивается цѣлая прорва; это послѣднее обстоятельство сильно затягиваетъ нашу плавежку. Мы и безъ того плывемъ безобразно долго. Скоро будетъ почти ужъ три недѣли, какъ мы отплыли изъ Иркутска, а проплыли до сихъ

поръ лишь первую половину всего двухтысячеверстнаго пути. Правда и то, что всѣ наши большіе ангарскіе пороги остались за нами позади, что мы плывемъ по значительно лучше изслѣдованной мѣстности, но это нисколько не гарантируетъ насъ отъ маяты. И долго еще придется намъ маяться тутъ до тошноты, до одурѣнія, тѣмъ болѣе, что время теперь самое неудобное для сплава. Уровень воды въ рѣкѣ сильно понизился, а кромѣ того, въ концѣ лѣта въ этой части Ангары дуютъ постоянные низовые вѣтры, такъ называемые, „низовики“. Какъ только подуетъ такой вѣтеръ, тотчасъ-же бросай кошку, не то уткнешься судномъ либо на мель, либо на камень.

Воскресный день—день отдыха, по писанію, и день маяты для нашихъ рабочихъ, по волѣ судьбы...

Поднялись мы сегодня вмѣстѣ съ солнышкомъ, выдернули кошки, сдѣлали поворотъ, проплыли саженей съ сотню, да и бросили кошки опять. Туманъ надъ рѣкой былъ такой густой, что въ нѣсколькихъ саженяхъ не было возможности разглядѣть что-либо.

Пришлось ждать, пока солнце не взберется повыше и не разгонитъ туманъ хоть сколько-нибудь. Солнце не заставило себя долго просить. Часа черезъ два туманъ началъ удирать во всѣ лопатки, преслѣдуемый повсюду быстроногими лучами. Но эти лучи, разогнавъ туманъ, прислали намъ сонмы мошекъ. Мошки съ ярымъ ожесточеніемъ напали на насъ и не прошло болѣе получаса времени, какъ наши тѣла горѣли отъ зуда, какъ огонь.

Пошли острова одинъ за другимъ. Еловые чередуются съ Сосновыми, а эти послѣдніе съ Песчаными. Изрѣдка лишь попадаются Каменные.

На одномъ изъ Песчаныхъ островов, неподалеку отъ Теульскаго селенія, весь берегъ былъ усѣянъ сѣрой массой дикихъ гусей, гусынь и гусятъ. Выстрѣлъ изъ револьвера поднялъ на воздухъ цѣлыя тучи ихъ. Тучи эти пронеслись надъ островомъ саженей съ полсотни и затѣмъ опустились на другомъ берегу того-же Песчанаго острова.

— Что-жъ у васъ промышляютъ этихъ гусей?—обратился я къ теульскому проводнику.

Голубоглазый, смирненькій старичекъ сначала ласково улыбнулся мнѣ, а потомъ ужъ только отвѣтилъ:

— Како тамъ промышляютъ! Ребятишки, рази, вотъ балуются. Старикамъ недосужно, однако...

Теули—крошечное селеньице съ жалкими избушками, съ убогой деревянной, почернѣвшей отъ времени, церковкой.

Въ селеніи есть кабакъ. Кабакъ, конечно, безпатентный. Торгуетъ жидъ-поселенецъ и торгуетъ, надо полагать, небезвы-

годно. За бутылку, разбавленной на половину водою, сорокаградусной водки этотъ іудей содралъ съ нашихъ рабочихъ шесть гривенъ.

Акцизнаго надзора на Ангарѣ не полагается. Поэтому торгуй всякій водкой, какъ тебѣ вздумается. Съ сельскимъ начальствомъ-же всегда можно войти въ соглашеніе, такъ какъ оно, грѣшнымъ дѣломъ, до винца очень падко.

Громады утесовъ базальта и погорѣвшій отъ лѣсныхъ пожаровъ лѣсъ придаютъ и безъ того унылой мѣстности еще болѣе унылый видъ. Торчащіе кверху обгорѣлые черные стволы гигантскихъ деревъ, какъ будто, взываютъ къ небу о возмездіи за нанесенное имъ огненной стихіей поруганіе. Но прикрытое кисейною завѣсою утреннихъ облаковъ надъангарское небо равнодушно внимаетъ этому воззванію.

Впереди нашего паузка на опаловидномъ фонѣ поверхности рѣки показалась черная точка. Точка эта постепенно расла, превращаясь въ щепку, въ доску и, наконецъ, превратившись въ четырехмѣстную набойницу съ сидѣвшими въ ней двумя лѣшаками, ткнулась о бортъ нашего паузка.

— Рыбы не купите-ль?—послышался съ набойницы бойкій вопросъ.

— А какая рыба?

— Разная есть, однако. Окуни, щуки, налимы...

— Ну, тащи сюда!...

За полтора кирпича караванный выторговалъ полтора пуда крупной и мелкой бѣлой рыбы.

Одинъ изъ продающихъ рыбу оказался поселенцемъ, сосланнымъ изъ Петербургской губерніи. Изъ него вышелъ рыболовъ на славу. Сидѣвшій съ нимъ въ набойницѣ другой лѣшакъ былъ братъ жены петербургскаго посельги.

Дешевизна бѣлой рыбы объясняется неимѣніемъ мѣстъ для сбыта. Самимъ-же съѣсть всю вылавливаемую въ лѣто рыбу нѣтъ возможности.

Мы съ караваннымъ отобрали себѣ съ полдесятка окуней на уху, а остальную рыбу отдали цѣликомъ въ распоряженіе нашихъ князей, которые не ѣли солонины, ибо коранъ запрещаетъ употребленіе въ пищу мяса скотины, убитой христіанскою рукою.

Татары сильно обрадовались рыбѣ. Питаться однимъ жиденькимъ чайкомъ съ сухарями совсѣмъ не пріятная вещь, а въ особенности тогда, когда приходится выполнять столь тяжелую работу, какъ у насъ на паузкѣ.

Работаютъ татары, надо отдать имъ справедливость, очень усердно и хорошо. Поэтому ихъ съ такой готовностью принимаютъ сплавщики на паузки.

Всѣ они родомъ изъ Тобольской и Томской губерній. Въ

Иркутскъ попадаютъ съ обозами; изъ Иркутска до Енисейска пробираются на паузкахъ; изъ Енисейска-же бредутъ по большей части пѣшкомъ до Томска, гдѣ, немного отдохнувъ, снова нанимаются ямщиками въ обозы.

Такимъ образомъ, эти потомки воинственныхъ нѣкогда племенъ нынѣ представляютъ мирный бродячій элементъ, работящій и смирный.

Но я зазѣвался съ татарами до такой степени, что не замѣтилъ, какъ нашъ смиренный старичекъ упрашивалъ команду погрести немного.

— Запустите ужо, ребятушки, греби, запустите!

Но ребята, умаявшись почти непрерывною гребней и отмахиваніемъ отъ мошки, не очень-то торопились выполнять приказаніе смиреннаго вожака.

Подвернувшійся на палубу Ясаковъ, увидя, что ребята ломаются, а вожакъ по своему смиренному характеру боится прикрикнуть на нихъ, накинулся прежде всего на вожака.

— Какой-же ты послѣ этого лоцманъ, ... !—съ обыкновенной присказкой на концѣ фразы взревѣлъ Ясаковъ,— когды ты не умѣшь крикнуть: въ греби, али какъ?!!... Вотъ послушай, какъ они станутъ работать у меня!

И онъ, принявъ грозный, вызывающій видъ, рявкнулъ командѣ:

— Въ греби, ребята, въ греби, ... !

Вся команда высыпала на палубу и дружно ухватилась за греби.

— Дави, ребята, сильнѣй дави!

Давить приходилось очень трудно, такъ какъ мы плыли между розсыпями камней. Лопасти гребей то и дѣло задѣвали за камни. Команда напирала съ такой силой, что одна изъ гребей не выдержала и треснула отъ чрезмѣрнаго напряженія.

— Ломай ее, ... ! —оралъ расходившійся Ясаковъ.

— Дергай ее къ лѣшему, однако, послышалась новая команда.

Переломанную гребь выдернули на палубу и замѣнили другою.

На рѣкѣ показался островъ, весь поросшій сплошнымъ березнякомъ. Бѣлые стволы березъ стройными столбиками отражаются въ водѣ.

— Шабашъ, ребята!

Ребята, бросивъ греби, машутъ долго сомлѣвшими руками и не могутъ отмахаться.

— Тѣсно мѣсто здѣся, баринъ!—толкуетъ мнѣ смирный старичекъ-вожакъ.—Чуть зазѣвался мало-мало и приткнешься тотчасъ! Гдѣ тольки мырится, тамъ и мель, либо камешекъ, однако!

А тутъ и само небо какъ будто противъ насъ. Нахмурилось,

насупилось и такъ сердито глядитъ на насъ сверху своими сѣрыми глазами. Рѣка тоже насупилась и наморщила свой ликъ. По потемнѣвшей поверхности ея забѣгали мелкія рябь и зыбь.

— Ну, того и гляди, что приткнешься теперь, однако!— безнадежно махнулъ рукой нашъ почтенный караванный, появляясь на палубѣ въ своемъ широкомъ, вонючемъ кожанѣ.

Не успѣлъ онъ выговорить эту фразу, какъ наши два паузка усѣлись на мель. Одинъ застрялъ въ переборѣ межъ камней, а другой приткнулся къ берегу.

Третьему паузку ничего другого не оставалось дѣлать, какъ бросить кошку и идти на помощь своимъ собратьямъ.

Команду нашего паузка подѣлили на два отряда по шести человѣкъ и на двухъ лодкахъ отправили на оба потерпѣвшіе паузка.

Я съ караульнымъ остался дома. Выкупавшись въ холодной водѣ, температура которой не превосходитъ семи градусовъ, я усѣлся на палубѣ и глазѣлъ то въ одну, то въ другую сторону, какъ копошились наши ребята, стаскивая судна съ мели.

Не прошло и часа, какъ одинъ изъ засѣвшихъ паузковъ сорвался съ камня, на которомъ сидѣлъ, и понесся по теченію прямо къ намъ.

— Клюква сорвался, Клюква сорвался!—хлопая въ ладоши и подпрыгивая на палубѣ, восклицалъ немного тронутый старичекъ, плѣшивый дѣдушка изъ-подъ Тобольска, по прозванію Второвъ.

Паузокъ назывался Клюквой въ честь иркутскаго вожака, носъ котораго, и вправду, изображалъ собою клюкву.

Снявшійся съ мели клюквинъ паузокъ оплылъ насъ и тутъже бросилъ кошку и остановился саженяхъ въ десяти возлѣ нашего паузка.

Караванный, бывшій на клюквиномъ паузкѣ, угостилъ всѣхъ ребятъ порціей, а затѣмъ отправилъ ихъ подъ предводительствомъ Клюквы на третій, уткнувшійся носомъ въ берегъ, паузокъ, а самъ со мною и двумя гребцами отправился въ крошечную деревушку Едырму, расположенную на небольшой прибрежной полянкѣ, составляющей границу между Иркутской и Енисейской губерніями.

Солнце уходило далеко на западъ, спускаясь за лѣсомъ и скользя своими золотыми лучами по верхушкамъ сосенъ и елей. Небо прояснилось почти совсѣмъ и только гирлянда матово-золотыхъ облаковъ окружила ослѣпительно сверкающій дискъ солнца. Вѣтеръ стихъ и поверхность рѣки выгладилась какъ зеркало. Мошка исчезла.

Передъ нами виденъ небольшой красавецъ-островокъ, прозываемый здѣшними жителями Селенгинскимъ. Изъ середины зе-

леной клумбы кустовъ и травъ торчитъ пирамида темнозеленыхъ елей и нѣсколько черныхъ, какъ уголь обгорѣлыхъ, колоннъ гигантскихъ сосенъ. Весь островокъ утонулъ въ зеленыхъ водахъ успокоившейся рѣки и съ наслажденіемъ купаетъ въ нихъ свое, опрокинутое внизъ головою, изображеніе.

Мигомъ мы доплыли до деревни и, приставъ къ берегу, тотчасъ попали на главную ея улицу.

Деревушка эта одна изъ самыхъ крошечныхъ и жалкихъ деревушекъ, какія только доводилось мнѣ видѣть въ жизни. Дворовъ въ ней разъ-два, да и обчелся. По табличкѣ, которую я разыскалъ у входа въ деревню, числилось въ ней въ 1876 году всего семь дворовъ. Теперь-же по разспросамъ оказалось, что всѣхъ дворовъ восемь. Итакъ, черезъ пятнадцать лѣтъ въ нашей деревушкѣ прибавился всего одинъ дворъ, не смотря на то, что въ нее было прислано болѣе десятка поселенцевъ, изъ которыхъ, впрочемъ, ни одинъ не остался жить тутъ, а всѣ они разошлись кто вверхъ, кто внизъ по рѣкѣ.

Изъ чужихъ людей, кромѣ поселенцевъ и бродягъ, наѣзжаетъ сюда изрѣдка лишь пропойца-попикъ изъ селенія Каты, расположеннаго на другомъ берегу рѣки верстахъ въ тридцати отъ Едырмы, да кто-нибудь изъ сельскаго начальства. Засѣдатель не показывается никогда въ этомъ медвѣжьемъ углу.

Мы были первыми туристами, топтавшими поросшую травою единственную улицу деревушки. Дворишки, избенки, изгороди— все это имѣло жалкій, убогій видъ. Казалось, что это уголокъ земли, обиженный Богомъ, осужденъ существовать за какія-то свои тяжкія прегрѣшенія.

— Плохо наше житьишко ждѣшь, батюшко,—объяснила намъ, попавшаяся у первой избенки, баба въ синей холщевой юбкѣ домашняго издѣлія.—Хриштово мѣштечко у нашъ, батюшко, шибко ужъ Хриштово. *) Хлѣбушко родитша шибко плохо. Живемъ вшѣ мы туто-ка поди что о Хриштѣ, однако.

— А конопля много сѣете?—спросилъ я, глядя на самодѣлишнее облаченіе бабы.

— Како много пошѣшъ тутъ, батюшко,—возразила баба.— Пашня у нашъ туто-ка шамъ видалъ, плылъ коды—шибко не башкая. Подь, походи-ко вожлѣ нея...

— А почемъ продаете коноплю?

— Како продаемъ, шами ходимъ, почти што наполовину нагишкомъ, родимый!

— А ткетъ у васъ кто?

— Вшака это-то баба ткетъ у нашъ, однако. Было-бы чего

*) Эпитетомъ „Христовый“ лѣшаки награждаютъ все дурное.

ткать-то, родимый,—вшака наткала-бы... Эй, ты, огнева, куда го нишь коровенку-то!

Послѣднія слова относились къ небольшой дѣвченкѣ-подростку, облаченной въ одну холщевую рубаху. Лицо у дѣвченки было блѣдно какъ оберточная бумага, грязныя босыя ноги искусаны до колѣнъ мошкою. Въ рукахъ у дѣвченки была предлинная хворостина, которою она стегала тощую, жалкую буренку, стараясь загнать эту послѣднюю въ загородку.

— А курочки у васъ есть?

— Цаво баишь, батюшко? Куроцки, цаво-ли. Ешь, родимый, ешь. Шбѣгай-ко, Кулька, тащи шюды курку и пятуха.

Блѣднолицая Кулька, бросивъ хворостину, стремглавъ пустилась бѣжать по направленію къ какому-то строенію, имѣющему видъ не то сарайчика для телятъ, не то свинаго хлѣва. Послѣ болѣе близкаго осмотра, постройка эта оказалась избушкой на куриныхъ ножкахъ безъ трубы и безъ стеколъ въ окнахъ.

Я настолько заинтересовался внѣшнимъ видомъ столь оригинальнаго человѣческаго жилья, что пожелалъ заглянуть во внутрь его.

Входъ въ жилье былъ сдѣланъ изъ крошечныхъ сѣнецъ. Дверь была настолько низка, что, входя въ жилье, нужно было низко нагибаться, чтобы не стукнуться лбомъ о косякъ.

Хозяйкой избы оказалась наша словоохотливая собесѣдница, блѣднолицая несчастная бабенка-бобылка. Всѣмъ хозяйствомъ правилъ единственный сынъ ея семнадцатилѣтній парень. Онъ пахалъ жалкую десятинку пашни, расчищенной изъ-подъ лѣса его покойнымъ отцемъ, онъ выѣзжалъ ежегодно въ сентябрѣ на ловлю рыбы, на своей жалкой лодченкѣ, онъ ходилъ каждую зиму промышлять бѣлку, а лѣтомъ выходилъ чинить таежную дорогу, вѣрнѣе тропинку, по которой можно лишь проѣхать верхомъ, онъ вносилъ подати—и въ результатѣ могъ существовать со своей мамкой въ курной, продымленной избѣ, безъ стеколъ въ окнахъ, могъ одѣваться въ самодѣлишную холщевую рубаху и таковые-же порты, могъ питаться, наполовину впроголодь, ржанымъ хлѣбомъ и черемхой.

Таково христовенькое житье приангарскаго лѣшака въ этомъ медвѣжьемъ углу.

Вмѣсто стеколъ въ окнахъ были натянуты куски холста, отчего свѣтъ проникалъ въ этотъ хлѣвъ въ незначительномъ количествѣ. При мутновато-грязномъ освѣщеніи, какое я засталъ въ этомъ курномъ хлѣву, мой глазъ съ трудомъ могъ различить почернѣвшія отъ копоти небѣленыя стѣны, битую изъ глины печку по срединѣ хлѣва, отверстіе въ крышѣ для выхода дыма, подполье съ дверью, палати, именуемые здѣсь „грядами“. Вдоль

стѣнъ протянулись скамьи, а въ переднемъ углу приткнулся, взявшійся откуда-то, некрашенный столъ. Надъ столомъ чернѣло четырехъугольное пятно, оказавшееся, по ближайшемъ разсмотрѣніи, какой-то иконой.

— Что-жъ стекла у васъ очень дороги, что-ли?—спросили мы бабу.

— А не знаю, родимый,—улыбнулась мнѣ въ отвѣтъ баба. Мы не покупамъ ихъ, однако, оттого не знамъ...

— Да, вѣдь, у васъ всегда темно?

— Пошто темно, родимый! Днемъ швѣтло живетъ, однако!

Мы вышли на улицу и почувствовали значительное облегченіе. Передъ избой стоялъ парень, держа въ рукахъ пѣтуха съ курицей, а на землѣ у его ногъ стояла кошолка изъ бересты съ яйцами. Караванный торговался съ парнемъ по всѣмъ правиламъ искусства.

— Почемъ просишь?

— Жа курочку шъ пятушкомъ шеша гривенъ, однако. Яйчь по копейкѣ штука, родимый...

— Ну, насчетъ яицъ я спорить не буду,—отвѣчалъ караванный,—а вотъ насчетъ курочки съ пѣтушкомъ, коли хошь, бери полтинникъ, а больше я не дамъ.

Блѣднолицый парень подумалъ, подумалъ, а затѣмъ и согласился.

Курочка и пѣтушекъ были связаны по ногамъ и вручены одному изъ сопровождавшихъ насъ нашихъ ребятъ, который долженъ былъ препроводить ихъ въ цѣлости и сохранности на палубу.

Пѣтухъ, словно чуя бѣду, заоралъ во всю глотку, курочка подхватила его крикъ и принялась причитать надъ своей горемычной куриной долюшкой. Повидимому, жалко было этимъ пернатымъ разставаться съ насиженнымъ теплымъ мѣстечкомъ въ шесткѣ подъ глинобитной печкой курной избы. Покидаемая ими родина казалась имъ теперь чуть не раемъ, а мы какими-то варварами, не признающими ничего святаго.

Покончивъ дѣло съ курами, мы отправились дальше по деревнѣ. Пройдя шаговъ десятка два, мы наткнулись на узенькую рѣчушку съ песчаными берегами, именуемую Едырмой и составляющую границу двухъ губерній.

По ту сторону рѣчушки раскинулась безпредѣльно матушка-тайга дремучая. Послѣдніе лучи заходящаго солнца скользили по верхушкамъ деревъ-гигантовъ, путаясь и теряясь между пучками хвои. Тайга смотрѣла на насъ теперь милліонами своихъ смѣющихся глазъ и, казалось, издѣвалась надъ безсильными лѣшаками, вздумавшими вступить съ нею въ борьбу. И что принесла имъ

эта борьба, кромѣ существованія впроголодь, да курныхъ избъ, да хожденія нагишкомъ?...

Вечерѣло, когда мы отплывали на своей байдарѣ къ себѣ домой. На раздавшемся широко сѣровато-синемъ сводѣ неба обозначились огненныя точки звѣздочекъ и на нашихъ паузкахъ очередные караульные вздернули на мачты фонари. Надъ лѣсомъ изъ за облаковъ показалась выщербленная луна и ея фосфорическій мягкій свѣтъ разливался постепенно по всей окрестности. Съ рѣки доносилось пѣніе нашей золотой роты, возвращающейся на свой паузокъ послѣ долгой и усиленной возни съ третьимъ паузкомъ.

Поровнявшись съ золоторотцами, караванный окликнулъ ихъ:

— Что, братцы, снялись съ мели?

— Лучше не надо быть, однако... послышался отвѣтъ.

— За порціей присылайте на мой паузокъ...

— Сичасъ отрядимъ нашего старика съ мужемъ!—пропищала фистула Вѣтрова, одного изъ вожаковъ и балагуровъ золотой роты.—Эй, братцы, на радостяхъ хватимъ: „Внизъ да по матушкѣ, внизъ да по Волгѣ“.

И нестройная орава осипшихъ и охрипшихъ голосовъ снова огласила поверхность рѣки.

Селенгинскія косы не дешево обошлись нашему каравану. Для того, чтобы оплыть эти злосчастныя косы, раскинувшіяся по рѣкѣ на протяженіи пятидесяти верстъ, намъ пришлось употребить около двухъ сутокъ.

Снялись мы съ якоря ни свѣтъ ни заря послѣ ночевки возлѣ Христовой деревушки Едырмы; проплыли верстъ десятокъ и наскочили на камень. Толчекъ былъ настолько силенъ, что я скатился съ своей постели и здорово ушибъ себѣ бокъ и руку. Паузокъ закачало въ обѣ стороны и затѣмъ вода съ плескомъ и шумомъ устремилась изъ-подъ него.

— Сяли на камень!—отрапортовалъ мнѣ кто-то изъ рабочихъ, просунувъ голову въ шакшу.

Я поспѣшилъ выскочить на палубу. Надъ рѣкой не успѣлъ еще разсѣяться туманъ, пронизывающій острымъ утреннимъ холодомъ насквозь нашихъ ребятъ, одѣтыхъ въ однѣ лишь ситцевыя рубахи.

— Куда прешь, однако!—взревѣлъ нашъ иркутскій вожакъ заднему паузку, плывшему слѣдомъ за нами въ нѣсколькихъ десяткахъ саженей.

— Сопецъ побереги, не то отвернемъ!—послышалось въ отвѣтъ.

Къ нашему счастію, задній паузокъ задѣлъ насъ только бо-

комъ. Раздался трескъ и въ результатѣ оказался вырванный клокъ мяса изъ задней части нашего паузка. Клокъ этотъ, состоящій изъ части обшивки и крошечной будочки, шлепнулся въ воду и поплылъ за нами.

— Лови рогожку, рогожку лови!—раздались крики рабочихъ.

Хохотъ, шутки въ перемежку съ крупною бранью потрясли утренній холодный воздухъ.

Двое татаръ садятся въ лодку и плывутъ къ рогожкѣ. Послѣ нѣкоторыхъ усилій имъ удается поймать ее весломъ и втащить въ лодку.

А паузокъ между тѣмъ ни съ мѣста. Обѣ суковатки заряжаютъ и разряжаютъ ежеминутно, но безъ всякаго результата. Когда начнутъ тормошить паузокъ, онъ покачается въ обѣ стороны, но сойти съ камня, на которомъ онъ такъ удобно усѣлся, ни за что не желаетъ.

— Одначе придется табакерку плавить сюды . . . . . —съ примѣсью крѣпкихъ словечекъ рѣшаетъ нашъ маэстро Ясаковъ, послѣ двухчасовыхъ безрезультатныхъ усилій.

Черезъ четверть часа была подана табакерка и въ нее стали выгружать изъ паузка цибики съ чаемъ. Выгрузивъ сотню съ небольшимъ цибиковъ, зарядили снова обѣ суковатки и при дружныхъ усиліяхъ соединенной команды съ двухъ паузковъ снялись съ мели.

— Уррра!—заорала орава.—Наша взяла, однако. Вечеромъ порція будетъ...

— До вечера далеко еще, братцы!—дипломатически замѣчаетъ караванный.

Ребята съ крикомъ и руганью выбрасываютъ изъ табакерки цибики обратно въ трюмъ паузка и грозятъ кулаками теульскому вожаку, который смиренно стоитъ себѣ въ сторонкѣ и покуриваетъ свою коротенькую трубочку. Ему боязно сердечному, какъ-бы его не отлупили наши ребята за то, что онъ доставилъ имъ столько маяты напрасной и онъ не знаетъ, какъ смягчить ихъ гнѣвъ.

— Въ худыхъ мѣстахъ Богъ проносилъ, а туто-ка, поди-жъ ты, куды лѣшій завелъ,—бормочетъ бѣдный смиренькій старичекъ, но никому нѣтъ большой охоты слушать его.

— Ужо въ Кежму приплывемъ, Богъ дастъ, вина куплю тожно, однако!—продолжаетъ бормотать онъ.

Послѣднія слова его возымѣли нѣкоторыя послѣдствія. Наши ребята чуть не всѣ до одного необыкновенно чутки, когда дѣло касается вина. Тотчасъ-же возлѣ старика-вожака стала собираться кучка самыхъ рьяныхъ питуховъ.

— А не надуешь, однако, и вправду купишь, дѣдушко?—

вопрошаетъ одинъ изъ золоторотцевъ, ражій дѣтина съ разбойничьей физіономіей въ полуизорванной красной рубахѣ на своихъ богатырскихъ плечахъ. Это былъ одинъ изъ бродягъ, принятыхъ на сплавъ съ фальшивымъ документомъ. Про него шла худая слава, будто не одну человѣческую душу загубилъ онъ на своемъ вѣку. На паузкѣ всѣ держались отъ него нѣсколько поодаль, за исключеніемъ одного лишь поселенца Вѣтрова, закадычнаго друга и пріятеля нашего разбойника-бродяги.

— Пошто надувать васъ стану!—робко лепеталъ смиренный дѣдушка-вожакъ, съ немалымъ чувствомъ страха вглядываясь въ скуластую рожу бродяги.

— То-то, дѣдушко!—пригрозилъ этотъ послѣдній и, отойдя въ сторону, принялся крутить сигарку изъ махорки.

Сгрузили обратно чай на паузокъ, выдернули кошку и поплыли дальше межъ каменистыми берегами рѣки.

Мы плыли теперь по Енисейской губерніи. Разница въ характерѣ мѣстности сказывалась громадная. Намъ чаще и чаще попадались тутъ расчищенныя изъ-подъ лѣса клочки пашенъ. Матово-золотые стебельки дозрѣвающей яровой пшеницы низко гнули къ землѣ свои тяжелыя головки. Мѣстами бѣлѣлъ сыплющій свои зерна переспѣлый овесъ, моргалъ своими длинными усиками толстотрубчатый ячмень, а слабоватая яровая рожь валилась отъ вѣтра и дождя на лоно своей матери-земли. Копенки сѣна то и дѣло торчали на небольшихъ лужайкахъ межъ деревьями.

По правую руку потянулись острова, поросшіе тальникомъ, елью и лиственницею.

— Это какой островъ?—обращаюсь я къ старичку проводнику.

— Этотъ-то?!—встрепенулся, задремавшій было у сопца, дѣдушка.—Это-то, а Господь его знаетъ, какъ онъ тутъ у нихъ прозывается. Однако, Листвяничный, будто...

— А тотъ?

— Тотъ-вока?... Сосновый будто, чего-ли...

На островахъ довольно часто встрѣчаются деревушки. Избушки укрываются межъ деревьями. По берегу рѣки бродитъ скотъ. Табуны коней стоятъ по горло въ водѣ, спасаясь отъ надоѣдающей имъ до смерти мошки. Но треклятая тварь и тутъ имъ не даетъ спокоя. Она цѣлыми тучами увивается надъ ихъ головами.

Вода грязно-зеленаго цвѣта. Водорослей въ этомъ плесѣ такая прорва, что постоянно приходится опасаться, какъ-бы судно не засѣло межъ ними, такъ какъ выдернуть его изъ вязкой массы этихъ перепутанныхъ водныхъ ліанъ вовсе нелегкая вещь.

— А это какой островъ?—спрашиваю я старика, когда мы подплываемъ къ небольшой деревушкѣ Соколовой.

— Этотъ-вока?.. Постой-же, какъ-то зовутъ его ловко тако. „Покошенный“, чего-ли, однако...

— Нѣтъ, не Покошенный,—добавилъ старичекъ послѣ нѣкотораго раздумья.—А, вспомнилъ, однако,—Сергушкинъ его зовутъ.

Широкое лицо съ голубыми глазами сдѣлалось еще шире отъ удовольствія, что удалось вспомнить столь мудреное названіе.

— Сергушка жилъ впервые, это-то, на острову, оттого Сергушкинымъ и прозвали, однако.

Небо продолжаетъ сердиться на насъ. Темныя тучи ходятъ по немъ и стараются запугать насъ однимъ своимъ видомъ. Мы не больно-то падки на чувство страха и видъ этихъ грозныхъ воздушныхъ чудовищъ намъ нипочемъ. Но они сулятъ намъ „погоду“. А погода, да еще низовая, въ нѣсколько минутъ скрутитъ насъ такъ, что намъ нельзя будетъ двинуться ни шагу.

И погода не заставила себя долго ждать. Не успѣли мы оплыть островъ съ мудренымъ названіемъ, какъ повстрѣчали ее, мчавшуюся изо всѣхъ силъ прямо намъ на встрѣчу. Влажныя полоски флаговъ затрепетали на своихъ вышкахъ, на поверхности рѣки забѣгала рябь сперва незначительная, а потомъ все гуще и чаще Рябь эта постепенно превращалась въ волны. Волны становились все выше и сильнѣе, и, наконецъ, бѣлая пѣна ихъ стала брызгать чуть не на обивку бортовъ нашей палубы. Со стороны лѣса доносился гулъ ломаемыхъ вѣтвей и нагибаемыхъ къ землѣ молодыхъ деревьевъ. Смѣшанный пискъ и карканье птичьихъ голосовъ вторили этому лѣсному гулу.

— Плыть дальше было очень опасно, такъ какъ, того и гляди, сядешь на мель.

— Кошку бросай!—раздался съ перваго паузка горластый крикъ нашего воротилы Ясакова. Крикъ этотъ шелъ въ разрѣзъ съ голосомъ бури и столько мощи и отваги чуялось въ немъ, что, будь на мѣстѣ бури другой какой противникъ, непремѣнно испугался бы онъ ясаковскаго крика и снасовалъ-бы, но ангарская буря не привыкла пасовать. Она продолжала воротить на бокъ нашъ паузокъ. Волны ея взбирались все выше и выше.

— Кошку бросай!—раздалось сзади насъ на третьемъ нашемъ паузкѣ.

— Ну, ужъ и плавежка, прости Господи!—сокрушенно вздыхалъ нашъ караванный, подойдя ко мнѣ.—Видно, за грѣхи наши караетъ насъ Господь...

— Видно, что такъ,—постарался поддержать разговоръ я.— Хоть-бы взять сегоднешній денекъ. Чуть отвалили съ утра, тотчасъ же угораздило насъ усѣсться на мель. На мели пришлось промаяться до полудня. Теперь еле проплыли какой-нибудь десятокъ верстъ, надо ставать на кошку. И такъ мы сегодня уплыли ров-

нымъ счетомъ двадцать верстъ. До Енисейска намъ остается еще восемьсотъ слишкомъ верстъ, слѣдовательно,—если мы будемъ и впредь подвигаться съ такою-же скоростью, то въ сорокъ дней можемъ быть въ Енисейскѣ...

— Если только не замерзнемъ гдѣ нибудь раньше!—прервалъ меня караванный.—Что вы, Богъ съ вами!—накинулся онъ на меня.—Это значитъ, мы къ Покрову только были-бы въ городѣ. Ни въ жисть этого не будетъ... Въ дней десять доплывемъ, Богъ дастъ. Только-бы погода не мѣшала. Эти Селенгинскія косы самое поганое мѣстечко по всей Ангарѣ. Тутъ всѣмъ почти приходится сидѣть по нѣскольку сутокъ.

Нашъ старичекъ-вожакъ, прислушивающійся къ нашему разговору, ввернулъ тутъ свою фразу:

— Пашковски, это-то, сидѣли тутъ на мели трое сутокъ, не могли, это-то, снястись.

— Ну, вотъ видите, не намъ однимъ не везетъ,—облегчительно вздохнулъ караванный; затѣмъ въ видѣ дополненія прибавилъ:

— Не пойти-ли намъ попить чайку?

Отчего не пойти и не попить! Въ переживаемыя нашимъ караваномъ тяжелыя годины испытаній, въ родѣ продолжительнаго сидѣнія на мели или еще болѣе продолжительной остановки по случаю погоды, когда съѣздить на берегъ въ деревню оказывалось невозможной вещью, мы съ караваннымъ старались утопить свое горе въ разливанномъ морѣ чаевъ. Тотчасъ-же на сцену являлась стряпка „Кистянтиновна“—жена одного изъ рабочихъ,—вся продымленая и прокопченая насквозь и прозванная нами въ шутку „пароходнымъ кочегаромъ“. Эта самая Кистянтиновна никогда не приходила одна. Нераздѣльнымъ аттрибутомъ ея званія стряпки являлся грязный, какъ она сама, никогда нечищенный самоваръ, предназначенный спеціально для караваннаго и для меня такъ какъ команда пила чай изъ котла. Самоваръ этотъ почти не сходилъ у насъ со стола съ самаго ранняго утра и до поздней ночи. Неизмѣннымъ членомъ нашихъ чаепитій былъ нашъ иркутскій вожакъ Ясаковъ, правая рука караваннаго и вообще фигура не изъ мелкихъ въ нашемъ караванѣ. Выпивъ предварительно водочки, нашъ Ясаковъ пускался въ безконечные разсказы о томъ, какъ онъ плавалъ съ „анженерами“. Разсказы его главнымъ образомъ вращались возлѣ... боченка со спиртомъ. Былъ гораздъ выпить нашъ Ясаковъ, но былъ гораздъ и дѣло дѣлать. Въ тяжкую минуту остановки на мели никто лучше его не умѣлъ заряжать суковатки, никто не умѣлъ такъ подбодрить рабочихъ, ну и выругать ихъ никто не умѣлъ, какъ нашъ иркутскій вожакъ.

Прочіе вожаки рѣдко удостоивались чести сидѣть за нашимъ

столомъ и чайничать съ нами. Мы чаще всего втроемъ коротали скучное время столнокъ. Питье чаю чередовалось съ куреніемъ папиросъ и съ бесѣдою лоцмана и караваннаго. Я же больше слушалъ, да отмѣчалъ кое-что въ свою записную книжку.

Наша стоянка межъ Селенгинскими косами затянулась до семи часовъ утра. Снявшись на другой день въ семь часовъ утра и присѣвъ слегка на песчаную отмель у деревни Аксеновой, мы какъ-то очень скоро (черезъ полчаса) снялись съ этой отмели и къ тремъ часамъ дня были въ селеніи Кежмѣ, отличающемся своимъ многолюдствомъ, сравнительною зажиточностью жителей, а также своими знаменитыми лоцманами, гонявшими паузки вплоть до самаго Енисейска.

Знаменитыя Селенгинскія косы были пройдены и мы съ гордымъ видомъ торжествующихъ побѣдителей подплывали къ селенію Кежмѣ, отъ котораго до Енисейска намъ оставалось всего семьсотъ пятьдесятъ верстъ.

Красиво разсыпалось на пологомъ холмѣ Кежемское селеніе. Ослѣпительно-рѣзко сверкаютъ полуденные лучи солнца, отражаясь отъ свѣжевызолоченныхъ крестовъ просторной бѣлой церкви, взобравшейся на самую высокую часть холма. Въ церковной оградѣ нашли себѣ пріютъ и молодыя стройныя пихточки, и нѣжнохвойныя лиственн, и бархатнозеленый кедръ. Кругомъ церковной ограды расположились въ надлежащемъ порядкѣ и домикъ священника съ бѣлыми ставнями, и двухъ-этажный домъ перваго водочнаго торговца и богатѣя Суздала, прозываемаго раньше Суздалкой, и низенькое, почернѣвшее отъ лѣтъ, волостное правленіе, на дверяхъ котораго теперь виситъ замокъ, и свѣжевыстроенное, привѣтливо выглядѣвшее, зданіе народнаго училища.

На улицахъ селенія теперь царитъ покой и тишина. Все, что было живое въ селеніи, заслышавъ пушечный выстрѣлъ съ нашихъ паузковъ, пустилось вплавь на встрѣчу нашему каравану, который остановился какъ разъ противъ церкви.

Намъ прежде всего предстояло побывать въ волостномъ правленіи. Наткнувшись на висѣвшій на дверяхъ замокъ, мы повернули вспять. Разбуженный нами, спавшій въ тѣни навѣса, старичекъ-сторожъ сообщилъ намъ, что волостной писарь прохлаждается теперь послѣ вчерашней попойки у себя на квартирѣ, а на квартиру къ нему попасть очень не мудрено. Пойдешь по улицѣ мимо церкви, дойдешь до небольшой избы съ лавочкой, съ зелеными ставнями, тутъ и спрашивай нашего писаря.

У меня не было особенной охоты таскаться по жарѣ и разыскивать пьянаго писаря. Поэтому я отрядилъ на эти поиски одного изъ своихъ рабочихъ, а самъ направился къ приткнувшей-

ся у церковной ограды скамеечкѣ, сидя на которой можно было обозрѣвать рѣку на большомъ протяженіи, а также острова, расчищенные изъ-подъ лѣса, съ копнами сѣна, уставленными въ ряды, квадратики пашенъ съ дозрѣвающимъ хлѣбомъ и синѣвшую вдали полосу тайги.

На скамеечкѣ сидѣлъ молодой человѣкъ въ фуражкѣ съ лиловымъ околышемъ и лѣниво глядѣлъ на разстилавшуюся у подножія холма рѣчную мѣстность.

— Вы здѣшній учитель?—обратился я къ сидѣвшему молодому человѣку.

— Да...

— Позвольте познакомиться.

Мы назвали другъ другу свои фамиліи.

Я тотчасъ приступилъ къ разспросамъ о Кежмѣ, о количествѣ жителей въ селеніи, о жаждѣ просвѣщенія, о кежемской жизни.

— Селеніе наше одно изъ лучшихъ по Ангарѣ,—отвѣчалъ учитель.—Теперь въ немъ насчитываютъ болѣе тысячи душъ жителей, а все-таки глушь страшная здѣсь. Пароходъ Сибирякова да вотъ паузки еще немного оживляютъ его, а то хоть волкомъ вой. Скука такая, что дѣваться некуда. Батюшка, писарь, купецъ тутъ еще одинъ есть—вотъ и тремся всѣ вмѣстѣ изо дня въ день. И приходится или пить до безчувствія, какъ это дѣлаетъ нашъ писарь, или играть въ карты...

Въ эту минуту мимо насъ проходилъ мужчина въ барашковой шапкѣ, надвинутой на уши, въ плисовыхъ шароварахъ, вдѣтыхъ въ высокіе сапоги, въ нанковомъ пиджакѣ съ костяными пуговицами, и въ очень веселомъ настроеніи.

— А ты, чортова кукла, куда забралась!—ткнулъ веселый мужчина кулакомъ въ брюхо учителя.—Почто вчера такъ скоро улепетнулъ отъ насъ? А?!...

— Отъ васъ улепетнешь... отъ этакихъ... какъ-же!—огрызнулся юноша.

— Здѣшній писарь Корякинъ,—отрекомендовался мнѣ пиджакъ съ костяными пуговицами.

Я назвалъ себя.

— Милости просимъ, очень радъ,—потрясая руку и играя своими плутовскими, хоть и пьяными, глазами, изливался передо мною писарь.

— Глушь у насъ, батюшка, такая тутъ, что мы заѣзжему человѣку очень рады. Такъ чѣмъ могу служить вамъ?

Я заикнулся о прописскѣ видовъ рабочихъ.

— Что это Русаковы вздумали прописывать пашпорта рабочихъ?—будто съ искреннимъ изумленіемъ воскликнулъ Корякинъ.

—Ну, ну!... А, развѣ вотъ для чего,—прибавилъ онъ, хлопнувъ себя по шапкѣ,—чтобы не вышло исторіи въ родѣ Пашковской... Вамъ, вѣроятно, извѣстна эта исторія: убійство рабочими своего лоцмана?.. А?

При послѣднихъ словахъ Корякинъ прехитро сощурилъ свой лѣвый глазъ.

Я скромно упомянулъ, что эту исторію слышалъ еще въ началѣ своего плаванія съ караваномъ; затѣмъ я заявилъ пьяному писарю, что у насъ никакой такой исторіи не случилось и не могло случиться...

— Ну, вы, батенька, впередъ не зарекайтесь, нерсвенъ часъ, со всякимъ бываетъ,—прервалъ мои объясненія веселый писарь. Вотъ хоть-бы и прописка эта самая. Вѣдь, это, извините меня, комедія одна! Я, вѣдь, не стану провѣрять у васъ на суднахъ всѣхъ рабочихъ, да и чортъ провѣритъ всѣхъ ихъ, а вотъ мы прописываемъ пашпорта и отмѣчаемъ, что на паузкахъ всѣ живы и сохранны... А, впрочемъ, это все пустое, пожалуйте ко мнѣ, батенька, въ правленіе: мы живо оборудуемъ ваше дѣльце...

Я послѣдовалъ за Корякинымъ въ правленіе, гдѣ былъ принятъ имъ самымъ радушнымъ образомъ... Онъ усадилъ меня въ присутствіи, послалъ старика-сторожа за печаткой кандидата, которая должна была изображать подпись этого послѣдняго, и съ необыкновенной любезностью раскрылъ мнѣ всѣ волостныя книги, изъ которыхъ мнѣ нужно было сдѣлать кое-какія выписки.

Самъ-же Корякинъ занялся просмотромъ и прописковю врученной ему довольно внушительной пачки пашпортовъ.

— Только насчетъ книгъ нашихъ долженъ васъ предупредить, батюшка, чтобы вы не больно довѣряли всѣмъ этимъ цифрамъ. Много тутъ для блезиру одного выведено въ графахъ, а поди-ка, сунься провѣрять: ничего не найдешь на мѣстѣ. Извѣстная сноровка необходима во всемъ...

Онъ на минуту углубился въ просматриваніе пашпортовъ, а я, воспользовавшись этой минутой, списалъ нѣсколько цифръ въ свою записную книжку.

— Вотъ васъ, батенька, какъ вижу, заинтересовало положеніе нашихъ тунгузскихъ родовъ... А? Въ этихъ книгахъ вы только найдете количество ясака, которое они должны внести намъ по количеству душъ, а больше въ нашихъ книгахъ ничего ровно не найдете про нихъ. Гдѣ и какъ они живутъ, чѣмъ питаются: падалью-ли, или ѣдятъ другъ друга, нашему правленію до этого нѣтъ ровно никакого дѣла... Намъ лишь, чтобы ясакъ былъ внесенъ полностью..,

— А торгаши не обижаютъ тунгусовъ?—освѣдомился я.

— Ну, безъ этого какъ можно, батенька; что вы, помилуйте!

Торгашъ, да чтобы не пользовался тѣмъ, что Богъ посылаетъ ему въ руки!... Съ другой стороны, дикарь развѣ въ состояніи понимать что-нибудь? Весь годъ бродитъ по тайгѣ, придетъ на недѣлю въ селеніе, ему нужны и мука, и порохъ, и свинецъ, и ситецъ, ну, грѣшнымъ дѣломъ, и винцо. Съ винца и начинаютъ обыкновенно. Сперва напоятъ хорошенько, а потомъ за фунтъ пороху шкурку соболя дерутъ, за мѣшокъ пшеничнаго запаса (муки) при мнѣ одинъ изъ нашихъ мужиковъ сдулъ пару соболей. За металлическую чарку, которой цѣна полтинникъ, тунгусъ платитъ полсотни бѣличьихъ шкурокъ. Для тунгуса серебро или мельхіоръ имѣютъ одну и ту-же цѣну... Благодѣтели—наши эти тунгусы, право, благодѣтели!

Благодаря явившемуся откуда-то полупьяному помощнику писаря, прописка видовъ была совершена очень скоро. На прощанье я сунулъ веселому писарю зеленую бумажку въ руку.

Онъ пытался было протестовать.

— Что вы, батюшка, это лишнее!

Но я настоялъ на своемъ.

— Впрочемъ, ладно, будетъ завтра на что опохмѣлиться!— тряхнулъ онъ своими длинными волосами, хитро сощуривъ лѣвый глазъ.

Мы простились съ веселымъ писаремъ и я вышелъ изъ правленія.

Познакомившись съ представителемъ мѣстной власти, мнѣ нужно было сдѣлать визиты къ главнымъ вожакамъ Кежемскаго селенія. Таковыхъ здѣсь было три. Первый изъ нихъ самый именитый и самый богатый водочный торговецъ Суздалъ. Его двухъэтажный домъ красуется на церковной площади не подалеку отъ волостнаго правленія. Къ этому-то самому Суздалу я и направился прежде всего. Кабатчикъ по здѣшнимъ мѣстамъ первая особа въ селеніи.

Въ просторной лавкѣ Суздала, полки которой были завалены галантерейными, бакалейными, желѣзными, скобяными, мѣховыми и всякими другими товарами, я засталъ цѣлое общество. Тутъ были нашъ караванный, сельскій староста съ бляхой на груди и чуть не всѣ кежемскіе лоцмана.

За прилавкомъ стоялъ плѣшивый мужикъ съ черной бородой и черными цыганскими глазами, одѣтый въ чечунчевый пиджакъ, плисовые шаровары и сапоги бутылками. Это и былъ самъ Суздалъ, происшедшій отъ смѣшенія поселенца-цыгана съ тунгузкою. Вожакъ онъ былъ не изъ важныхъ. Больше бралъ своей развязностью, да своимъ именитымъ положеніемъ въ селеніи. Онъ зналъ Ангару лишь на протяженіи сотни верстъ, хотя и брался гонять судна до самаго Енисейска. Неопытные сплавщики попа-

дались на удочку его развязности. Пожалѣвъ заплатить опытному вожаку подороже, они принуждены были брать повсюду въ опасныхъ мѣстахъ мѣстныхъ вожаковъ, что въ концѣ концовъ обходилось вдвое дороже.

Караванный счелъ своимъ долгомъ познакомить меня съ вожаками.

— Вотъ это Суздалъ Ефремычъ!—произнесъ онъ, указывая на плѣшиваго брюнета.

Суздалъ Ефремычъ поздоровался со мной за руку, при чемъ я могъ замѣтить, что толстые пальцы его правой длани были унизаны множествомъ массивныхъ золотыхъ колецъ.

— Очинно пріятно познакомиться съ вами, баринъ. Милости просимъ къ намъ въ горницы чайку покушать..

Въ эту минуту ко мнѣ подошелъ высокій, рослый мужикъ съ длинной бородой, въ сѣромъ нанковомъ казакинѣ, съ прекрасными темносиними глазами, слегка затуманенными теперь виномъ.

— Колимандруюсь вамъ, господинъ баринъ, потому слышалъ отъ Ясакова о васъ, а я, будто, здѣшній вожакъ Порфирей,—произнесъ длиннобородый мужикъ, суя мнѣ свою потную руку.

— А это вотъ, колимандрую вамъ, господинъ-баринъ,—продолжалъ онъ,—мой товарищъ, у котораго я учился, будто,—Коронатъ Егорычъ—тоже гонятъ судна наскрозь вплоть до Енисейскаго.

Порфирій и Коронатъ славились лучшими вожаками по здѣшнимъ мѣстамъ. Особенно-же Порфирій былъ мастеромъ своего дѣла. Необыкновенная удаль и сметка выдѣляли его изъ среды другихъ вожаковъ. Я раньше много слышалъ о немъ и, признаться, его личность въ достаточно сильной степени интересовала меня. При первой встрѣчѣ онъ произвелъ на меня пріятное впечатлѣніе, не смотря на то, что былъ здорово треснувши. Треснуть-же онъ успѣлъ у насъ на паузкѣ, гдѣ его напоилъ нашъ Ясаковъ, старый другъ и пріятель.

Заходить въ парадныя горницы кежемскаго кабатчика для меня теперь вовсе не казалось интереснымъ. Я выразилъ желаніе посѣтить косматаго Порфирія въ его собственномъ логовѣ.

Нужно было видѣть наивную радость этого послѣдняго, когда я выговаривалъ эти слова. Схвативъ меня обѣими своими ручищами за руку, Порфирій потрясалъ ее изо всѣхъ силъ, приговаривая:

— Спасибо вамъ, голубчикъ-баринъ, спасибо!...

Отъ волненія у него выступили слезы на синихъ глазахъ.

Нисколько не смущаясь этимъ обстоятельствомъ, косматый Порфирій высморкался въ кулакъ, вытеръ руку о полу своего казакина и, какъ ни въ чемъ не бывало, снова жалъ изо всѣхъ силъ мою бѣдную руку.

Я замѣтилъ, что такъ какъ времени въ нашемъ распоряженіи осталось не особенно много, то намъ мѣшкать нечего.

— Сичасъ, голубчикъ-баринъ!—встрепенулся Порфирій и, подойдя къ стоявшему у прилавка Суздалу, онъ сталъ что-то нашептывать ему.

Въ результатѣ этого нашептыванія на прилавкѣ появились: бутылочка съ водкой, кулекъ съ сахаромъ, вязанка сушекъ, запыленная восьмушка фамильнаго чаю и даже пакетикъ съ леденцами. Этотъ послѣдній преподнесла намъ, появившаяся за прилавкомъ, облаченная въ женскую чечунчевую кофту и въ зеленую шерстяную шаль, черноглазая смуглолицая красавица цыганскаго типа. Это была дочка Суздала. Она прекрасно умѣла играть бѣлками своихъ наглыхъ цыганскихъ глазъ и столь-же прекрасно вымѣнивать у тунгусовъ соболиныя шкурки на водку и на бусы.

Наполнивъ всѣми этими покупками свои необъятные шаровары, Порфирій двинулся въ путь, слѣдомъ за нимъ ковылялъ колченогій Коронатъ, а я замыкалъ шествіе.

Выйдя изъ лавки, мы пошли по главной улицѣ селенія. На пути намъ попадалось много вновь выстроенныхъ, чистенькихъ какъ съ иголочки, избъ. Кабаки и лавки сразу бросались въ глаза своими верхними этажами съ балконами и рѣзьбой подъ крышею. Зажиточность крестьянъ била въ глаза.

О Порфирьѣ я слышалъ, что онъ зашибалъ большую деньгу за проводы паузковъ. Какъ лучшему лоцману, ему платили за весь путь до Енисейска около сотни рублей, да еще гостинцевъ всякихъ, вродѣ чаю, сахару, ичиговъ (обувь), рукавицъ, дарили не на одинъ десятокъ рублей. Въ лѣто онъ могъ свободно сплавать въ Енисейскъ три раза, что въ итогѣ давало изрядную сумму въ триста рублей. Кромѣ того у него была прекрасная пашня и не менѣе прекрасная винтовка, изъ которой онъ убивалъ въ зиму не менѣе трехъ сотенъ бѣлокъ. Дѣтей у него не было и вся семья состояла изъ него, да изъ жены его, сухопарой бабенки. Кажись, чего лучше-бы! Живи, да поживай, да добра наживай! А на дѣлѣ выходитъ не такъ.

Я своимъ глазамъ не вѣрилъ, когда Порфирій привелъ меня въ какой-то убогій полуразрушенный дворикъ, заваленный навозомъ и всякими отбросами, и по шаткимъ ступенькамъ покосившагося крылечка я взобрался въ его продымленную, загрязненную хибарку. Настоящая хибарка на курьихъ ножкахъ, пришло мнѣ въ голову. И это жилье перваго кежемскаго лоцмана!

— Что-жъ это у васъ такая плохая избушка?—спросилъ я Порфирія.—Неужто тутъ такъ трудно выстроить получше?

— Оно видите, баринъ, не трудно, будто,—объяснялъ мнѣ

Порфирій,—не обезсужайте насъ темныхъ людей, голубчикъ-баринъ, мы это шибко хорошо понимамъ, не въ такой клѣтушкѣ намъ-бы жить, да лони только мы, видишь ты, раздѣлились съ братомъ, а таперича я должонъ нанимать жительство для себя у своего свата Митрія.

Внутренняя обстановка хибарки оказалась еще непригляднѣе. Уныло и непривѣтливо выглядѣли небѣленыя, потрескавшіяся стѣны, изъ щелей которыхъ высовывались волосики мха, на почернѣвшихъ доскахъ иконъ невозможно было разглядѣть никакихъ очертаній, а неуклюжая оцарапанная печь, расползшаяся по избѣ, зіяла своимъ чернымъ хайломъ на подобіе пасти какого-то чудовища.

И костистая баба-яга водилась въ этой хибаркѣ. Это была сухопарая жена Порфирья съ чернымъ табачнымъ пятномъ подъ носомъ, съ сильнымъ спиртовымъ запахомъ, который она носила съ собою повсюду.

— Эго моя баба, а это баринъ, колимандрую...

Баба-яга протянула мнѣ свою костлявую грязную руку.

— Самоваръ обряжай, баба, барина надо чаемъ напоить. Спасибо ему, голубчику, не погнушался нами...

Съ Порфиріемъ приключился снова припадокъ благодарности. Онъ снова схватилъ меня за руку и принялся потрясать ее изо всѣхъ силъ. Отъ сильнаго волненія у него оборвалась застежка на груди и плохо связанныя сушки, упавъ на полъ, покатились во всѣ стороны. Этотъ случай охладилъ нѣсколько волненіе Порфирія. Онъ торопливо опустился на четвереньки и принялся собирать разсыпанныя сушки. Баба-яга дѣятельно помогала ему въ этомъ и, благодаря соединеннымъ усиліямъ обоихъ супруговъ, сушки были собраны и водворены на грязномъ столѣ въ сосѣдствѣ съ чайникомъ безъ носка и съ парою надтреснувшихъ чашекъ.

Жалкое убожество сквозило во всей обстановкѣ перваго кежемскаго вожака и, только всмотрѣвшись тщательнѣе въ лица обоихъ супруговъ, становилась понятною причина этого убожества. Какъ мужъ, такъ и жена были горчайшими пьяницами. Весь лоцманскій заработокъ и весь крестьянскій достатокъ шелъ на винцо, а въ результатѣ выходило вышеописанное убожество.

Мнѣ невольно взгрустнулось, когда я пришелъ къ этому открытію. Я не дождался, пока поспѣетъ самоваръ, и поспѣшилъ удрать на паузокъ, условившись черезъ полчаса встрѣтиться тамъ съ Порфиріемъ. Порфирій за сотню рублей согласился проводить насъ до самаго Енисейска.

Черезъ два часа нашъ караванъ отвалилъ изъ Кежмы, простоявъ на якорѣ ровно три часа.

———

VII.

Аплинскій порогъ. Кашина шивера. Мурскій порогъ.

Какъ пріятно поспать утромъ въ теплой уютной постелькѣ на свѣжемъ утреннемъ воздухѣ, переполненномъ влажными испареніями! Какъ вы сердитесь, когда кому-нибудь изъ дерзкихъ смертныхъ взбредетъ на умъ разбудить васъ въ эту пору, вырвать васъ изъ міра грезъ и сновидѣній и перенести въ реальный міръ скорбей, маяты и всякихъ невзгодъ!... Признаться, я былъ страшно сердитъ на своихъ золоторотцевъ за то, что они устроили надъ моей головой состязаніе въ руготнѣ съ рабочими съ Клюквинаго паузка, а еще пуще я разсердился на своего любимца Порфирія, прозваннаго у насъ „Дьячкомъ“ за свои длинные волосы и бороду, когда этотъ Порфирій, просунувъ въ отверстіе шакши свою косматую голову, взревѣлъ зычнымъ голосомъ:

— Господинъ-баринъ, вставать пора, однако! Скоро въ Аплинскій порогъ спущаться будемъ!

Хотя наканунѣ вечеромъ я и выразилъ желаніе посмотрѣть, какъ мы будемъ спускаться черезъ порожекъ (порогомъ его назвать мудрено), но теперь желаніе поспать пересиливало во мнѣ всякія другія желанія и я попытался было поплотнѣе завернуться въ одѣяло и продолжать спать, какъ ни въ чемъ не бывало. Но Порфирій, прежде всего, отличался большой настойчивостью и потому, увидѣвъ, что я не встаю, онъ взревѣлъ вторично еще громче прежняго:

— Вставайте, однако, баринъ, не то нашъ порогъ проспите!...

Слова: „нашъ порогъ“—окончательно разбудили меня. Мнѣ тотчасъ пришло въ голову, что кежемскіе вожаки считаютъ Аплинскій порогъ своимъ порогомъ, хотя онъ отстоитъ отъ ихъ селенія въ полусотнѣ верстъ. Игнорировать этотъ порожекъ, значило-бы изобидѣть Порфирія, чего у меня и въ мысляхъ не было. Напротивъ, мнѣ сильно хотѣлось увидѣть нашего лоцмана въ дѣлѣ. Поэтому, крикнувъ ему въ отвѣтъ: „встаю“, я и въ самомъ дѣлѣ вскочилъ съ постели и принялся одѣваться.

Утро было сѣрое, дождливое, теплое. Моросилъ мелкій дождичекъ, какъ будто-бы воду просѣивалъ кто-то черезъ плотнѣйшее сито. Надъ верхушками мокрыхъ сосенъ и елей повисли разорванныя въ куски кисейныя завѣсы тумана. Небо, утесы, скалы, рѣка сливались въ какомъ-то неопредѣленномъ мутномъ тонѣ. Нигдѣ никакого просвѣта: ни впереди, ни позади насъ!

У сопца стоялъ нашъ „Дьячекъ“ въ своемъ сѣромъ казакинѣ, въ засаленномъ картузѣ съ разодраннымъ на двѣ половины козырькомъ и съ неразлучной трубкой въ зубахъ. „Дьячекъ“ по-

водилъ сопцомъ какъ будто нехотя, но вмѣстѣ съ тѣмъ столь увѣренно, что, казалось, ему можно завязать глаза и онъ все-таки съумѣетъ прекраснѣйшимъ образомъ провести судно среди безчисленныхъ уловов и камней, разсѣянныхъ въ изобиліи въ этой части рѣки.

Изрѣдка лишь раздавался спокойный, зычный голосъ вожака:

— Ударь-ко попосной вправо! Давни, ребята, разъ десятокъ!

Ребята „давили“ ровно десятокъ разъ и затѣмъ шабашили. „Дьячекъ“ пришелся имъ какъ нельзя болѣе по сердцу. На мель онъ не садилъ, да и такъ, безъ толку, не морилъ работой, держалъ себя съ ними въ высшей степени просто и всѣ интересы ихъ принималъ близко къ сердцу.

Шумъ паденія воды въ порогѣ слышенъ за версту, но этотъ шумъ въ сравненіи съ ревомъ большихъ пороговъ кажется скорѣе журчаніемъ ручейка. За то утесы здѣсь характернѣе, чѣмъ во всѣхъ предъидущихъ порогахъ. Почти симметричными громадами надвинулись они съ обѣихъ сторонъ и крѣпко стиснули бѣдняжку-рѣку въ своихъ мощныхъ каменныхъ объятіяхъ. На рѣкѣ стало еще темнѣе и мутно-зеленая поверхность воды казалась почти черною.

Ворота порога расположились по серединѣ рѣки. Попасть въ нихъ, не знающему хорошо мѣстность, больно мудрено, такъ какъ нѣтъ никакихъ особыхъ видимыхъ примѣтъ, которыми-бы можно было руководиться при этомъ. Того и гляди,—напорешься на камень и тогда чаи поминай какъ звали! Съ того времени, какъ черезъ этотъ порогъ сталъ ходить пароходъ, ворота порога обозначаютъ поплавками. Эти поплавки, называемые здѣсь „наплавами“, устанавливаются кежемскими лоцманами. Поплавокъ состоитъ изъ вѣтви тальника, величиною съ доброе дерево, прикрѣпленной къ якорю, при чемъ этотъ послѣдній изображаетъ изъ себя большой камень съ веревкой.

Благодаря этимъ поплавкамъ, путь черезъ порогъ теперь вполнѣ безопасенъ. Не всегда онъ былъ такимъ. У мѣстныхъ жителей, не смотря на ихъ полнѣйшее равнодушіе къ преданіямъ старины, сохранилось одно изъ такихъ преданій о громадной четырехъ-угольной плитѣ съ острыми ребрами, залегшей по лѣвой сторонѣ воротъ.

Плита эта носитъ названіе „Терентьевской“. На этой плитѣ лоцманъ Терентьевъ разбилъ дощаникъ съ хлѣбомъ. Это было очень давно. Третье колѣно вожаковъ взошло уже на сцену, а преданіе продолжаетъ сохраняться среди нихъ.

Писаные утесы! Красивѣе этого мнѣ, признаться, не доводилось ничего видѣть. Это стѣны, выложенныя всплошную мозаикой изъ цвѣтныхъ камней. Кварцы, сланцы, известняки, конгло-

мераты лишь общими усиліями могли создать нѣчто подобное. Правильность узоровъ во многихъ мѣстахъ просто изумительна. Кресты, стрѣлы, луки, звѣзды чередуются другъ съ другомъ. Все это перевито гирляндами зелени молодыхъ деревъ кустовъ и травъ.

На берегу высится цѣлая куча заржавленныхъ цѣпей. Это оковы, наложенныя на вольный порогъ рукою человѣка. Порогъ злобно рычитъ въ этомъ мѣстѣ и съ яростью брызгаетъ на эти груды желѣзныхъ звеньевъ. Но его ярость тутъ безсильна. Не вырваться ему изъ цѣпкихъ рукъ дерзкихъ пришельцевъ и со скрежетомъ зубовъ принужденъ онъ таскать на своей спинѣ ихъ грузныя суда.

Мы спустились черезъ порогъ почти незамѣтно. Словно съѣхали съ ледяной горки на салазкахъ, управляемыхъ опытною рукою. Нагребаться пришлось самую малость. Ударили десятка два разъ веслами по водѣ, да и попабашили. А тамъ „Дьячекъ“ поводилъ сопцомъ въ обѣ стороны, да и очутились мы подъ порогомъ.

— Кошку бросай!—раздался голосъ Порфирія, когда мы были отъ порога въ полуверстѣ. Всѣ три наши паузка приходилось спускать забѣгомъ. На всѣхъ трехъ орудовалъ „Дьячекъ“. Спуститъ одинъ паузокъ, поставитъ его на якорь, поднимется на лодочкѣ вверхъ по рѣкѣ и берется за другой. Надо отдать справедливость первому кежемскому лоцману—дѣйствовалъ онъ въ высшей степени расторопно и толково.

Подъ порогомъ на лѣвомъ берегу воздвигнуто исполинскими руками природы стрѣльчатое зданіе готическаго собора изъ чернаго, какъ вороново крыло, порфира. На самомъ высокомъ куполѣ готика на сѣромъ фонѣ дождливаго неба рисуется небольшой крестикъ. Крестикъ этотъ—въ дѣйствительности большой крестъ —водруженъ тамъ рукою смѣльчака Короната—кежемскаго вожака и учителя нашего Порфирія. Три рубля получилъ Коронатъ отъ сплавщика Толченова за свою смѣлость. Взобраться по отвѣсной стѣнѣ на такую высоту безъ всякихъ приспособленій—нелегкая таки вещь!

Спустивъ остальные паузки, Порфирій вернулся на нашъ паузокъ и скомандовалъ дергать кошки. Черезъ нѣсколько минутъ нашъ караванъ покатился внизъ по рѣкѣ. А тучи надвинулись еще плотнѣе надъ нашими головами, поднялся вѣтеръ и взбудоражилъ темную поверхность воды, испестривъ ее густыми штрихами. Нашъ паузокъ понесло бокомъ.

— Пущай несетъ полегоньку!—рѣшилъ Порфирій, закуривая трубочку.—Не фартитъ намъ что-то, баринъ. Опять погодка подымается, однако...

И вправду—порывы вѣтра становились чаще и сильнѣе. На верхушкахъ волнъ показались бѣлки. Прокравшійся сквозь густую завѣсу тучъ, одинокій солнечный лучъ переломился въ грязной глыбѣ изумруда и заигралъ всѣми цвѣтами спектра между брызгами водяной пыли.

На горы легли густыя тѣни отъ проходящихъ по небу одна за другою тучъ. На зеленомъ фонѣ этихъ горъ выдѣляются сѣровато-лиловыя пятна высохшихъ отъ губительной силы огня деревъ.

Камней между деревьями наворочено невѣроятное количество. Нога путника скользитъ и скатывается съ этихъ камней и нужно имѣть цѣпкость ногъ тунгуса или здѣшняго крестьянина, чтобы пробираться по этимъ хребтамъ.

Мимо насъ, вдоль берега проплываетъ крытая лодка съ товарами изъ Енисейска. Парусокъ надуло такъ сильно, что онъ чуть не лопнетъ отъ натуги. Бичеву тянутъ теперь всего двое людей и то не изо всѣхъ силъ.

— Это не то, баринъ, какъ приходилось вдругорядь нашему брату тянуть,—замѣтилъ мнѣ Порфирій, сплевывая въ сторону и переставляя чубукъ своей трубки изъ одного угла рта въ другой.

— А развѣ вамъ приходилось тянуть бичевой?—спросилъ я.

— Почто не доводилось! Нашему брату съизмалку доводится испытывать. Случатся, кровью харкашь, а тянешь!

Тутъ Порфирій обстоятельно разсказалъ мнѣ, что за разстояніе отъ Кежмы до Енисейска въ восемьсотъ верстъ платятъ по сорокъ копеекъ съ пуда. На крытую лодку, именуемую „илимкой“, грузятъ отъ четырехъ до шести сотенъ пудовъ. Для того, чтобы спуститься на такой лодкѣ внизъ до Енисейска, нужно отъ семи до четырнадцати дней. На обратный-же путь съ грузомъ требуется около мѣсяца. Въ тихихъ плесахъ лодку съ шестисотеннымъ грузомъ въ силахъ тянуть четыре человѣка, въ порогахъ и шиверахъ берутъ себѣ на подмогу изъ окрестныхъ деревень или-же спрягаются эти бурлаки съ двухъ-трехъ лодокъ и общими силами вытягиваютъ лодку. Попутный вѣтерокъ значительно облегчаетъ трудъ. Лодки эти принадлежатъ мѣстнымъ торговцамъ и всѣхъ ихъ разгуливаетъ между Енисейскомъ и устьемъ Илима около полусотни. Больше двухъ рейсовъ въ лѣто онѣ не успѣваютъ дѣлать.

Обо всемъ этомъ мнѣ обстоятельно успѣлъ разсказать Порфирій, да и о многомъ другомъ могъ-бы онъ разсказать мнѣ, такъ какъ нашъ караванъ, не проплывъ и пяти верстъ, остановился надъ Гороховой шиверой по причинѣ сильнаго вѣтра.

Вѣтеръ дулъ порывами. Какъ сорвавшійся съ цѣпи дикій

звѣрь, налеталъ онъ на наши паузки и принимался съ бѣшеной яростью раскачивать ихъ, такъ что всѣ снасти и связки скрипѣли, бѣдныя, до изнеможенія и намъ порой казалось, что наши утлыя суденышка не выдержатъ столь сильнаго напора и расползутся по всѣмъ швамъ и мы, вмѣстѣ съ нашими цибиками, очутимся на каменистомъ днѣ рѣки. Порою же онъ почти стихалъ совершенно и наши паузки приходили въ себя, а вмѣстѣ съ ними и мы оправлялись и чувствовали себя нѣсколько лучше.

Снова въ шакшѣ караваннаго собралась наша компанія; снова на столѣ появился грязный самоваръ; снова рѣчь наша полилась свободной рѣкой.

Порфирій разсказывалъ, какъ онъ тонулъ года три тому назадъ въ своемъ порогѣ, когда опрокинуло ихъ лодку.

— Плавалъ тогды я, баринъ, лоцманомъ на сибиряковскомъ пароходѣ. По десяткѣ въ день платили мнѣ за труды, потому мѣста знаю туто-ка безъ всякой прикламаціи.—(Порфирій любилъ мудреныя словечки).—Подавали, это, мы тросъ (буксиръ) съ парохода на баржу. Тросу этого самаго у насъ въ лодкѣ запасено больше ста саженъ, а надо, чтобы хватило не болѣе восьмидесяти... Помощникъ капитана сталъ на корму, это-то.—„Ты, говорю я ему, къ косой грядкѣ не подходи, насъ тутъ отброситъ такъ, что домой не попадешь!“—А онъ мнѣ отвѣчатъ: „знаю самъ не меньче твоего!“ „Ну, чортъ съ тобой! Плыви самъ, коли знашь!“—Поплыли мы, это, на ходу выматываемъ буксыръ, подошли къ косой грядкѣ, видимъ—буксыру не хвататъ. Туды, сюды да и чортъ куды!—„Видишь теперь, чортова шарманка!—кричу я ему—натворилъ дѣловъ, не раздѣлашься!“... Онъ далъ, это-то, напрямки, къ баржѣ; самъ бѣлый весь, борода трясется: „гребите, молодцы, гребите!“ А какое тутъ гребите! Буксыръ подвернуло подъ лодку и опрокинуло насъ. Всѣ мы полетѣли кто куда. Я ухватился за весло, меня и понесло по всему порогу, да по шиверѣ. Думалъ было, видно, смерть пришла! Не топтать мнѣ больше зеленой травушки! Нѣтъ, однако, помиловалъ Господь... Пронесло, это, меня версты двѣ, я все держусь за весло, да плыву. На ходу, это, скинулъ съ себя всю лишнюю лопотину, проплылъ такъ подъ Гороховую, тутъ-то меня поймали и вытащили на берегъ рабочіе съ анженерскаго паузка. Помощникъ этотъ тоже не утонулъ . . . . . .—выругался Порфирій.—А слѣдовало-бы ему, язвѣ такой, твари поганой, остаться тамъ, потому не топи другихъ людей,—а то четверо утонуло изъ-за глупости его. Ну, и выругалъ-же его тогды капитанъ, однако!—съ видомъ облегченія заключилъ свой разсказъ Порфирій и необыкновенно сильно затянулся изъ своей трубочки.

— Что-жъ было возбуждено дѣло?—спросилъ я.

— Како тамъ дѣло!—махнулъ пренебрежительно рукой Пор-

фирій.—Дали засѣдателю четвертную, да отписали все, какъ слѣдуетъ, и все тутъ...

— А утонленниковъ поймали?

— Куды тамъ поймашь ихъ, однако! Недоразумѣніе одно, баринъ! Шапку одного изъ ихъ поймали, тамо-ка крестъ поставленъ. Отсюда видно будетъ, однако.

Порфирій вывелъ меня на палубу и указалъ рукою на западъ. Сквозь густую сѣтку падающаго дождя на пустынномъ берегу рѣки изъ груды камней торчалъ небольшой деревянный крестъ.

— Миръ праху вашему, первыя жертвы ангарскаго пароходнаго дѣла!—мысленно произнесъ я, глядя на этотъ крестъ.

Новый порывъ вѣтра съ дождемъ загналъ насъ въ шакшу.

Пробившійся чрезъ завѣсу разорванныхъ тучъ, пучокъ золотистыхъ солнечныхъ лучей скользнулъ по лысинѣ громадной горы, именуемой почему-то Дворцовой. И деревушка зовется тоже Дворцовой, а состоитъ всего изъ двухъ десятковъ убогихъ избушекъ. Избушки эти отразились въ подвижныхъ водахъ рѣки и слегка колышутся въ нихъ. Со стороны деревушки къ намъ стремится изо всѣхъ силъ цѣлая флотилія стружковъ и набойницъ. Мы проплываемъ еще съ версту и останавливаемся не подалеку отъ берега, какъ разъ противъ крохотнаго селеньица, именуемаго Монастырскимъ или иначе Кашино-Шиверскимъ.

Селеньице это получило свое названіе отъ существовавшаго здѣсь нѣкогда монастыря во имя Святаго Преображенія Господня. Монастырь этотъ упраздненъ уже давно—еще въ началѣ нынѣшняго столѣтія—и только песчаная терраска, возвышающаяся надъ берегомъ рѣки съ разными углубленіями на ней, указываетъ мѣсто, гдѣ стоялъ когда-то монастырь. Селеньице расположено надъ небольшой рѣчушкой, названной мѣстными жителями Желѣзнухой, потому что вода въ ней ржавая, и въ ней находятъ множество бурой желѣзной руды. Цѣлыя залежи этой руды лежатъ себѣ совершенно спокойно въ теченіе вѣковъ и очень возможно, что пройдутъ еще вѣка, пока человѣчеству понадобится эксплоатировать эти богатства, разсѣянныя здѣсь въ такомъ изобиліи щедрой рукою природы.

На монастырской террасѣ приткнулась небольшая деревянная церковка, архитектурой своей напоминающая коробочку изъ подъ спичекъ. Настоятелемъ этой церковки оказался очень симпатичный, молодой еще попикъ изъ Красноярской семинаріи. Особымъ краснорѣчіемъ его рѣчь не блистала, мудреныя словечки онъ употреблялъ безъ нужды, тѣмъ не менѣе впечатлѣніе, получаемое отъ его рѣчи, было очень хорошее. Въ этомъ смирномъ

человѣчкѣ,съ угловатыми манерами и плоскимъ некрасивымъ лицомъ, виднѣлась какая-то искра Божія; „не о хлѣбѣ единомъ живетъ человѣкъ“, думалось при взглядѣ на него.

Попикъ этотъ, не смотря на то, что всего два года живетъ въ глухой таежной деревушкѣ, успѣлъ поставить на ноги совсѣмъ заброшенное приходское училище, успѣлъ выписать для своихъ прихожанъ лучшіе сорта хлѣбныхъ сѣмянъ изъ Красноярска, такъ какъ мѣстныя сѣмена выродились совсѣмъ. Теперь-же онъ былъ занятъ мыслью объ устройствѣ метеорологической станціи, о примѣненіи къ сельскому хозяйству нѣкоторыхъ земледѣльческихъ орудій, о разслѣдованіи остатковъ покинутыхъ тунгусами стойбищъ, о раскопкахъ на песчаной террасѣ надъ рѣкой, гдѣ онъ обрѣлъ до сихъ поръ громадную коллекцію каменныхъ топоровъ, молотковъ, обломковъ сосудовъ, наконечниковъ стрѣлъ и прочихъ остатковъ каменнаго вѣка.

Угостивъ меня завтракомъ и чаемъ, попикъ предложилъ мнѣ прогуляться съ нимъ по терраскѣ, авось, не найдется-ли какая-нибудь каменная бездѣлушка, которую-бы я могъ увезти съ собою на память о Кашино-Шиверскомъ селеніи. Батька вышелъ со мною въ томъ самомъ одѣяніи, въ которомъ принималъ меня, т. е. въ синей рубахѣ, плисовыхъ портахъ и длинныхъ сапогахъ. Я обратилъ вниманіе на его костюмъ.

— И, полноте!—съ легкой запинкой отвѣчалъ онъ.—Кто у насъ здѣсь станетъ обращать вниманіе на такія вещи, однако. Представьте себѣ только, что васъ съ требой просятъ въ какую нибудь таежную деревушку, куды только верховая тропа проложена. Въ рясѣ по тайгѣ не проѣдешь, это какъ вамъ угодно. Берешь тогда рясу въ узелъ, а самъ ѣдешь въ рубахѣ или въ азямѣ. А что про непочитаніе святительскаго сана изволили намекнуть вы, такъ это одна фикція, вѣдь... Ежели ты, къ примѣру будь сказано, человѣкъ хорошій, то и твой санъ, безъ сомнѣнія, будутъ почитать, а тамъ, какъ ты не наряжайся, коли ты дурной человѣкъ, все равно, тебя почитать не будутъ.

Наши поиски на террасѣ не увѣнчались успѣхомъ. Падавшій вчера дождь прибилъ верхніе слои подвижнаго песку. Приходилось снимать ихъ, чтобы добраться до болѣе подвижныхъ слоевъ, между которыми обыкновенно и находятъ разные каменные предметы. Рыться глубоко въ песку у меня не было времени, поэтому я принужденъ былъ довольствоваться парою наконечниковъ стрѣлъ и осколками какой-то старой миски.

Вернувшись на берегъ, мы застали тамъ цѣлую толпу народа. Груды печенаго хлѣба были навалены повсюду. Тутъ-же были установлены на треножникѣ изъ жердей вѣсы съ досками вмѣсто чашекъ. Торговля шла очень бойко. Хлѣбъ намъ на пузкахъ

былъ очень нуженъ, такъ какъ запасы сухарей истощились еще до Кежмы, а плавежка наша, благодаря постояннымъ остановкамъ, затягивалась на неопредѣленное время.

Въ селеньицѣ, не смотря на незначительное количество жителей, замѣтно было обиліе хлѣба. Одна матушка продала намъ болѣе десяти пудовъ, а всего мы купили здѣсь болѣе тридцати пудовъ; платили-же мы по полтора рубля за пудъ ржанаго печенаго хлѣба.

Покончивъ съ хлѣбомъ, намъ оставалось еще завершить сдѣлку съ лоцманами. Лоцмановъ въ селеніи Монастырскомъ и въ деревнѣ Дворцахъ наберется болѣе десятка. Есть между ними признанные и непризнанные. Между этими обѣими категоріями ведется борьба не на животъ, а на смерть.

Старые лоцмана, стакнувшись между собою, захотѣли содрать съ насъ лишнее. Имъ было больно не понутру, что у насъ взятъ проводникъ напроходъ, поэтому на одинъ изъ паузковъ намъ брать особаго лоцмана не нужно. На Порфирія посыпался градъ ругательствъ, что онъ лишаетъ заработка мѣстныхъ вожаковъ, загребаетъ большія деньги самъ, да и деньги-то не идутъ ему въ прокъ, все равно онъ спускаетъ ихъ чортъ знаетъ куда, а у самого ни кола, ни двора. Вспомнили и жену Порфирія—костлявую бабу-ягу, пьющую запоемъ и нюхающую табакъ, и брата его, глупаго длиннаго парня, и не знаю, кого еще не вспоминали они.

Порфирій съ честью вышелъ изъ этого испытанія. Храбро выдержавъ нападеніе цѣлой оравы озлобленныхъ противниковъ, онъ постепенно самъ перешелъ въ наступленіе и началъ отчитывать почти каждаго изъ нападающихъ. Одного онъ язвительно спросилъ, сколько разъ сажалъ паузки на мель, другому напомнилъ о томъ, какъ его прогнали съ парохода, третій, по мнѣнію Порфирія, годился скорѣе всего въ конокрады, но ни какъ ужъ не въ лоцмана, четвертый только и дѣлалъ то, что спускалъ въ рѣку довѣрившихся ему пріискателей, пятый, желая подставить ножку своему сопернику, младшему лоцману, выдернулъ ночью маякъ, благодаря чему молодой лоцманъ чуть не расшибъ судна о камень...

Непризнанные лоцмана поддержали нашего Порфирія. Шумъ и гамъ на берегу стояли невыносимые. Сама грозная шивера не могла своимъ ревомъ заглушить творившійся у насъ на берегу содомъ.

Но чего не могла сдѣлать грозная шивера, то сдѣлалъ нашъ скромный попикъ. Достаточно было ему обратиться съ нѣсколькими словами къ разбушевавшимся вожакамъ, чтобы эти послѣдніе тотчасъ-же присмирѣли и сбавили тону. Въ результатѣ получи-

лось согласіе старыхъ лоцмановъ проводить наши паузки черезъ Кашину шиверу и черезъ ея младшую сестру Глухую шиверку за два десятка кирпичей.

Поблагодаривъ попика за его любезность и простившись съ нимъ, мы отправились по мѣстамъ. Черезъ четверть часа наши паузки сдѣлали оборотъ и понеслись навстрѣчу грозной Кашиной шиверѣ.

Гнѣвно реветъ грозная шивера. Ревъ этотъ минутами смолкаетъ, будто, чтобы затѣмъ разразиться съ новой силой. Не даромъ про нее сложилась поговорка: „Кашина шивера—Падунева сестра“. По всѣмъ видимостямъ, оба эти чудовища одной и той-же породы.

— Хоть и шивера, однако любому порогу не уважитъ!— съ особеннымъ чувствомъ гордости заявилъ мнѣ рыжебородый ножилой лоцманъ, котораго навялили на нашъ паузокъ, якобы въ помощь Порфирію.

— А почему называютъ вашу шиверу Падуневой сестрой?

— Однако, этого мы не знаемъ, баринъ, почто такъ говорятъ...

— Ее считаютъ въ восьму долю Падунскаго порога, однако! —высказалъ свое замѣчаніе Порфирій. Ему, какъ человѣку бывалому, можно было судить съ нѣкоторой авторитетностью объ этихъ вещахъ.

— Давни, ребятушки, давни живѣе!—скомандовалъ лоцманъ.

Мы плыли самой серединой рѣки. Переборъ сходился подъ угломъ почти по серединѣ рѣки. Въ вершинѣ этого угла находились довольно узкія ворота. Чтобы легче было попасть въ эти ворота, при входѣ въ нихъ на одномъ изъ опаснѣйшихъ камней былъ уставленъ пароходнымъ начальствомъ маякъ въ видѣ плавающаго боченка, окрашеннаго въ зеленую краску. Боченокъ этотъ издали казался черной точкой.

— Помоги, сватъ Порфирей, намъ съ сопцомъ справиться!— обратился бородатый мужикъ къ Порфирію.—Давай прямо на поплавокъ, однако!

— Самъ знаю безъ тебя, однако. Куда буду держать, тамъ ворота, значитъ!

Порфирію шибко не нравилось, чтобы какой-то тамъ дрянной мѣстный лоцманишко смѣлъ командовать надъ нимъ, гонявшимъ судна на проходъ до самаго Енисейска.

— Наплывъ пойдетъ отъ боченка тольки что, а тутъ прѣсна вода, однако.

Ревъ отъ боченка становится невыносимымъ. Показались бѣлки. Бѣлки эти закрывали собой весь проходъ. Серебристая пѣна шиверы рѣзко выдѣлялась на темномъ фонѣ воды. Еловый

лѣсъ по обоимъ берегамъ рѣки чернѣлъ, какъ траурная парча на катафалкѣ умершаго богача.

— Давни, молодцы, давни, братцы!—дребезжалъ отъ волненія надтреснутый голосъ кашинскаго вожака.—Дави, братцы, дави! Мѣсто тѣсно туто-ка. Богъ вамъ на помочь, братцы!

На это дребезжанье почти никто изъ нашихъ ребятъ не обращалъ ровно никакого вниманія. Всѣ рабочіе прислушивались къ тому, что скажетъ Порфирій.

— Дави, братцы, сильнѣй давни!—раздается зычный голосъ этого послѣдняго и команда лѣзетъ изъ кожи, чтобы только не осрамиться передъ своимъ любимымъ лоцманомъ.

— Поддай, братцы, пару! Эй, наши золоторотцы!... Баринъ съ нами, „Дьячекъ“ съ нами! Вали дружнѣй, братцы!—раздаются шутки и возгласы среди рабочихъ.

— Сопецъ выводи за бортъ! Доржи правѣй!—слышится голосъ лоцмана.

Насъ несетъ по волнамъ. Паузокъ испытываетъ нѣкоторое толканье въ свое толстое днище. Брызги серебристой пѣны облѣпили бока его.

Бойцовъ не оберешься. Всѣ они острятъ зубы на насъ. Но, нѣтъ, братъ! Хоть и близокъ локоть, да не укусишь!

Направо камешекъ Тычэкъ, налѣво Толчекъ. Не дай Богъ, кого толкнетъ онъ. Навѣрно, костей не соберетъ!...

На траурномъ фонѣ хвои виднѣются свѣтлозеленыя пятна березы, краснѣетъ трепетнолистная осина.

— Проздравляемъ съ Кашиной шиверой, баринъ!—подошелъ ко мнѣ мѣстный длиннобородый вожакъ и протянулъ мнѣ свою заскорузлую руку.

— Ну, и молодцы-же ваши ребята грести!—добавилъ онъ, отирая со лба обильно струившійся потъ.

— Что и говорить про нашу золоту роту!—замѣтилъ Порфирій, набивая самосадкой свою кургузую трубку.—Не даромъ баринъ у насъ командеромъ пожелали быть.

— Веселехонько сбѣжали шиверку, слава Богу! Дарма, что сердита така!—не переставалъ восхищаться длиннобородый вожакъ, въ надеждѣ, что нашъ караванный прибавитъ ему лишній кирпичъ чаю при расплатѣ.

Позади насъ синѣетъ вдали въ формѣ лохматой медвѣжьей шапки громадная Ковинская гора, весь пейзажъ отороченъ черной опушкой изъ елей. Бѣлая монастырская церковка отразилась въ изумрудныхъ водахъ рѣки. Сѣдая полоса буруновъ нашей сердитой шиверы становится все уже и уже по мѣрѣ того, какъ мы удаляемся отъ нея.

Наши остальные паузки плывутъ за нами въ нѣкоторомъ

отдаленіи. Вотъ они поровнялись съ поплавкомъ. Одинъ проскочилъ и несется къ намъ, а другой... что это съ нимъ?.. зашатался весь и остановился, будто! Да онъ и на самомъ дѣлѣ остановился. Вонъ даже мачта накренена въ одну сторону. Значитъ, стоитъ бокомъ!—рѣшаемъ мы.

— А вѣдь дѣло не шибко славно!—замѣчаетъ Порфирій.— Наскочилъ, знать, на камни въ наплывѣ, не попалъ въ вороты! Вотъ они лоцманишки-то поганые!—не утерпѣлъ, чтобы не выругаться, завзятый лоцманъ.

Но ругней дѣлу не пособишь! Паузокъ продолжаетъ стоять, или, вѣрнѣе, лежать на камняхъ. Нужно отправляться выручать голубчиковъ.

Мы съ Порфиріемъ и Ясаковымъ сѣли въ лодку, захвативъ съ собою пятерыхъ отборныхъ гребцовъ. Подплывъ къ берегу, мы лодку бросили на произволъ судьбы, а сами пѣшкомъ пустились какъ можно поспѣшнѣе вверхъ по рѣкѣ. Идти намъ нужно было около трехъ верстъ. По берегу рѣки была проложена еле замѣтная тропинка. Груды камней, кочки и болота, ручейки съ желѣзистой водою приходилось намъ встрѣчать на каждомъ шагу. Рапункулы, огуречная трава, осока, дикая герань съ синими круглыми цвѣточками одѣвали берегъ своимъ яркозеленымъ ковромъ. Но идти по этому ковру было не легко, тѣмъ болѣе, что намъ навстрѣчу мчались миріады мошекъ и, ровно ошалѣлыя, эти твари съ ожесточеніемъ впивались въ наши открытыя части тѣла.

Поровнявшись съ мѣстомъ остановки злосчастнаго паузка, мы крикнули, чтобы намъ подали лодку. Шумъ шиверы до такой степени былъ сильнымъ, что заглушалъ совсѣмъ наши довольно таки не слабые голоса и мы принуждены были объяснить знаками, что намъ нужно. Первымъ дѣломъ по прибытіи на паузокъ, я потребовалъ объясненія причины остановки паузка. Иркутскій вожакъ Миша разсказалъ, какъ это произошло и по чьей винѣ.

Кашинскіе лоцмана ошиблись въ направленіи судна, тѣмъ болѣе, что съ рулемъ они хорошо не умѣютъ обращаться. Паузокъ наскочилъ на знаковой камень. Лоцмана шибко испугались, бросили руль, схватили поносну гребь, стали грести ею безъ всякаго толку и засадили паузокъ между двухъ камней...—Все они виноваты, однако, лоцманишки, это-то! Шибко плохой народъ!— заключилъ Миша свой докладъ.

Я позвалъ къ себѣ троихъ вожаковъ, засадившихъ наше судно межъ камней и, поблагодаривъ ихъ за услугу, оказанную нашему каравану, попросилъ оставить нашъ паузокъ, такъ какъ въ дальнѣйшихъ ихъ услугахъ надобности не предвидится.

Виновники происшедшаго фатальнаго случая хотѣли было

протестовать, но я прикрикнулъ на нихъ и они съ видимой неохотой покинули наше судно.

Золоторотцы съ честью проводили кашинскихъ вожаковъ. Сковороды, листы жести, желѣзныя лопатки играли при этихъ проводахъ роль литавровъ, а отборная брань почти двухъ десятковъ молодцовъ замѣняла собою трубные звуки.

Проводивъ лоцмановъ, мы принялись за дѣло. Зарядили двѣ суковатки, наперли на нихъ всей грудью, давили, давили и не выдавили ровно ничего. Паузокъ лишь переваливался съ боку на бокъ, да скрипѣлъ невыносимо.

— Ничего не подѣлашь, однако!—рѣшилъ Ясаковъ.—Приходится завозъ завозить, иначе ни черта не выйдетъ!

Завозъ, такъ завозъ! Но куда завезти этотъ самый завозъ? До береговъ далеко—шеймы не хватитъ, хоть и всю цѣликомъ вымотаешь ее. Впередъ въ шиверу не завезешь тоже. Показала-бы тебѣ Кашина завозъ,—навѣрно, зубы не остались-бы во рту цѣлы: прочистила-бы Падунева сестра ихъ!

Думали, рядили это мы, да и надумали завезти завозъ кверху саженъ на двадцать по крайности, бросить тамъ кошку и затѣмъ наматывать шейму на воротъ, чтобы сдернуть паузокъ съ камней.

Наматывать шейму на воротъ—это адски тяжелый трудъ. Употребленіе воротовъ при снятіи съ мели даже запрещено закономъ, такъ какъ, упаси Богъ, лопнетъ канатъ, жертвъ тогда не оберешься! Но на Ангарѣ повсемѣстно практикуется этотъ способъ снятія съ мели, такъ какъ онъ обладаетъ несомнѣннымъ качествомъ ускоренія снятія съ мели. Выгруживаніе части чая на табакерку очень мѣшкотная процедура и рабочіе относятся къ ней съ большой неохотой.

Завозъ, въ видѣ шеймы съ кошкой, завезли на лодкѣ вверхъ по рѣкѣ, бросили кошку, конецъ шеймы подали на палубу паузка и принялись наматывать эту шейму на воротъ. Чтобы толстый канатъ не скользилъ по деревянному цилиндру, этотъ послѣдній посыпали золой изъ очага.

— Ходи воротъ, ходи живѣй!—пріохочивалъ Ясаковъ.—Наддай, ребятушки, пуще наддай!

И ребята наддавали изо всѣхъ силъ. Подъ бокъ паузка подставили два столба, именуемые стрѣлами, канатъ завозни натянулся какъ струна, паузокъ понатужился и сорвался съ камней.

— Наша взяла, молодцы-золоторотцы! Всѣмъ будетъ порція!

Радости и ликованіямъ не было предѣловъ.

Но наши испытанія не кончились совсѣмъ. Оказалось, выдернуть завозню не было никакой возможности, не наткнувшись при этомъ на мель. Пришлось конецъ ея передать на табакерку, къ

счастію оказавшуюся у нашего паузка привязанную сбоку, затѣмъ находившіеся на табакеркѣ гребцы должны были отрубить конецъ каната и пустить насъ въ ворота, а сами должны были затянуться по канату вверхъ и выдернуть кошку, взять ее на табакерку и спуститься по шиверѣ къ нашимъ паузкамъ.

Сказано—сдѣлано. Изъ нашего испытанія мы вышли съ честью. Всѣ маневры нашего паузка были сдѣланы какъ по писанному. Мы пронеслись мимо поплавка кормой впизъ, сдѣлали оборотъ въ самой шиверѣ, не задѣвъ ничѣмъ о многочисленные камни, которыми усѣяна она, и съ гордымъ видомъ побѣдителей пронеслись черезъ главныя ворота, подплыли къ стоявшимъ въ полуверстѣ ниже шиверы нашимъ паузкамъ, взревѣли этимъ послѣднимъ, чтобы они убрали свои греби и приготовились ловить чалку. Чалка брошена и подхвачена однимъ изъ нашихъ ловкачей рабочихъ.

Паузокъ хотѣлъ было удирать отъ своихъ сотоварищей, но эти послѣдніе придержали его за хвостъ и онъ долженъ былъ смирить свои порывы.

Остановка на камняхъ надъ шиверой отняла у насъ ни болѣе ни менѣе какъ пять съ половиною часовъ.

Ночевали мы этого дня подъ Глухой шиверой, проплывъ за весь день только двадцать шестъ верстъ.

— И вправду, баринъ, кабы намъ да не пришлось съ шугой спознаться!—вкусно позѣвывая, замѣтилъ Порфирій, и черезъ минуту онъ храпѣлъ здоровымъ сномъ измаявшагося въ теченіе цѣлаго дня рабочаго человѣка.

Трудно отыскать на Ангарѣ болѣе живописное мѣстечко, чѣмъ Мурскій порогъ. Мы проплывали его въ полдень при яркомъ солнечномъ освѣщеніи. На берегу рѣки у самыхъ воротъ порога красовался дворецъ изъ порфира, отъ котораго въ обѣ стороны по широкимъ террасамъ раскинулся пышный сибирскій паркъ. Какихъ только деревъ и кустовъ не было въ этомъ паркѣ! Бархатно-зеленые кедры нашептывали любезности стройнымъ какъ стрѣла пихточкамъ, гигантскія сосны протягивали свои могучія длани старымъ, поросшимъ мохомъ, бабушкамъ-елямъ, плакучія вѣтви березы переплетались съ молодыми отпрысками осинъ, пунцоволистная рябинка пряталась въ свѣжей зелени тальниковыхъ кустовъ. Ангара казалась теперь полосою расплавленнаго серебра. Впадающая въ нее рѣка Мура имѣла цвѣтъ жидкаго висмута, сѣровато-синій съ розовымъ оттѣнкомъ. Она шумнымъ каскадомъ свергалась въ порогъ и усиливала эффектъ, производимый этимъ послѣднимъ.

Весь этотъ ландшафтъ быстро промелькнулъ передъ нашимъ

взоромъ и не успѣлъ я оглянуться, какъ онъ исчезъ изъ моихъ глазъ и одно воспоминаніе о немъ осталось въ моемъ мозгу и долго, долго преслѣдовало меня.

Громадный черный камень съ бѣлой грудью носитъ названіе Лебеди. Лебедь приходится оплывать съ правой стороны и затѣмъ снова сворачивать налѣво, такъ какъ ворота порога приходятся почти у самаго берега. Глубина въ воротахъ неимовѣрная. Важнѣе всего нужно попасть на главное теченіе, такъ какъ боковое, прибрежное теченіе сворачиваетъ къ берегу и съ страшной силой бьетъ на камни.

Нашъ паузокъ чуть не сталъ жертвою этого боковаго теченія. Къ счастью, молодой лоцманъ, взятый нами изъ Чадобскаго селенія, оказался не трусомъ. Смѣтивъ сразу грозившую судну опасность, онъ крикнулъ ребятамъ:

— Бей поносну на себя!

Минута была критическая. Все, что только жило, бросилось къ поносной греби, и съ необычайнымъ усердіемъ принялись грести и угреблись таки...

Увернувшись отъ Разбойника, громаднаго неуклюжаго камня, пользующагося дурной славой разбивать досчаники съ хлѣбомъ, мы очутились подъ порогомъ.

Безусый и безбородый лоцманъ снялъ суконный картузъ со своей четырехъугольной головы и, отеревъ потъ со лба, перекрестился на востокъ.

— Съ порогомъ проздравляемъ васъ, баринъ! Спасибо вамъ, братцы, баско выгреблись мы, это-то, въ порогѣ.

„Братцы“ только ворчатъ въ отвѣтъ какія-то непонятныя слова. Они крайне недовольны, что Порфирія взяли на другой паузокъ.

Порогъ продолжаетъ шумѣть намъ свой прощальный привѣтъ, вѣтерокъ играетъ съ листочками березъ и осинъ и треплетъ наши флаги, мрачныя ели провожаютъ насъ своимъ печальнымъ взглядомъ, а караванъ нашъ подвигается все болѣе и болѣе на западъ, и полумиѳическій городъ Енисейскъ все болѣе приближается къ намъ.

Еще два-три перехода и мы будемъ у цѣли нашего путешествія.

VIII.

Аладьина шивера. Стрѣлочный порогъ. Усть-Стрѣлка. Конецъ нашего путешествія.

Еще одинъ послѣдній очеркъ и наша злополучная эпопея будетъ приведена къ вожделѣнному концу. Сегодня спустимся черезъ знаменитую своими опасными камнями Аладьину шиверу, оплывемъ Выдумскій Быкъ, да кстати и Гребенскій прихватимъ, а завтра, какъ Богъ дастъ, пронесетъ насъ черезъ Мурожную шиверу, Татарскій Быкъ, войдемъ въ жерло Стрѣлочнаго порога, да и очутимся въ Енисеѣ!

Мы располагали такъ, а на дѣлѣ вышло совсѣмъ иначе. Эти сотни двѣ верстъ, которыя мы разсчитывали проплыть въ два дня, отняли у насъ почти цѣлую недѣлю времени.

Аладьину шиверу проплыли мы таки, какъ и предполагали, въ восьмомъ часу утра. Не испугала насъ эта злая хищная тварь, хайло которой усѣяно множествомъ острыхъ зубовъ; не испугало насъ темное, покрытое тучами, небо, ни поднявшійся намъ навстрѣчу свѣжій вѣтерокъ, ни отсутствіе мѣстныхъ вожаковъ на двухъ паузкахъ, ни полуголодное состояніе рабочей команды, такъ какъ со вчерашняго дня еще у насъ обнаружился совершенный недостатокъ въ хлѣбѣ и мясѣ. Ничто это не испугало насъ и мы просто прелесть, какъ хорошо, спустились черезъ шиверу.

Аладьина шивера состоитъ изъ трехъ каменныхъ грядъ, лежащихъ параллельно одна къ другой. Проходъ черезъ всѣ три гряды расположенъ около лѣваго берега, но не по одной линіи, такъ что приходится лавировать судномъ, чтобы попасть хорошенько въ узкія ворота, иначе можетъ случиться бѣда. Теченіе между грядами необыкновенно быстрое, камней сколько хочешь; только наскочи на который-нибудь и такъ проткнешь бокъ, что потомъ не зачинишь его ни толстою кошмою, ни пластыремъ изъ ржаной муки.

Ржаная мука! Да вѣдь у насъ на каждомъ изъ паузковъ хранится по мѣшку прекрасной ржаной муки на случай открытія течи въ паузкахъ. Въ трехъ мѣшкахъ заключается восемнадцать пудовъ муки. Для пластыря этого слишкомъ много, однако!

Можно-бы оставить одинъ мѣшокъ, а два употребить на печеніе хлѣба. Не то насъ и въ самомъ дѣлѣ наша шпанка истерзаетъ въ клочки, какъ угрожалъ караванному одинъ изъ разсвирѣпѣвшихъ бунтарей.

Я сообщилъ свою мысль въ формѣ предположенія караванному. Онъ съ радостью ухватился за мое предложеніе. Рѣшено было остановиться на ночевку у какой-нибудь деревушки и поручить мѣстнымъ бабамъ испечь намъ хлѣбъ изъ нашей муки, а

пока... пока намъ нужно было обратить все свое вниманіе на шиверу.

Проходятъ шиверу съ предосторожностями, т. е. не „валятъ гамазомъ“ всѣ вмѣстѣ, а пускаютъ одинъ паузокъ за другимъ съ промежутками, по крайней мѣрѣ, въ четверть часа, табакерку спускаютъ отдѣльно отъ всѣхъ паузковъ.

Мы исполнили только эту послѣднюю предосторожность. Спускались-же всѣ вмѣстѣ, почти держась за хвостъ другъ у дружки.

Первымъ, какъ и слѣдовало ожидать, плылъ нашъ почтенный „Дьячекъ“. Плылъ онъ съ развальцемъ, покуривая свою коротенькую трубочку и стараясь отогнать, сосавшій его подъ ложечкою, голодъ. Въ хвостѣ у него плылъ нашъ Ясаковъ, боясь какъ-бы не отстать отъ „Дьячка“ ни на шагъ. Хвастливый иркутскій лоцманъ трусилъ какъ самый робкій ушканъ. Послѣднимъ плылъ Клюква. Этотъ послѣдній, надо отдать ему справедливость, относился ко всему и ко всѣмъ съ величайшимъ хладнокровіемъ, а потому и теперь онъ совершенно равнодушно взиралъ на набѣгающія на паузокъ его волны, на кружащіеся въ бѣшеной пляскѣ улова, которыми кишитъ вся шивера.

— Давните, братцы, давните, сколь силъ хватитъ!—пріохочивалъ „Дьячекъ“, разглаживая свою лопатообразную бороду и плюя себѣ на руки, чтобы ловчѣе было давить сопецъ.

— Жрать не даютъ, а работать заставляютъ . . . . . —съ руганью огрызались рабочіе.

— Шиверу не спустимся, хлѣба не добудемъ!—урезонивалъ команду „Дьячекъ“.

— Выноси, матушка-шивера! Выноси, Аладушка!—прибавилъ „Дьячекъ“, давая сопцомъ ходъ судну направо.

— Давните, молодцы, сегодня только, давните, а завтра на боку лежать будете!

Шивера разверзла передъ нами свою пасть и оскалила зубы. Руль заскрипѣлъ, какъ мышенокъ въ когтяхъ у кота-мурлыки, волны налетѣли на насъ и обдали насъ своей серебристой пѣной. Мы понеслись по хребтамъ, разрѣзывая ихъ пополамъ и оставляя за собою глубокую борозду съ зелеными стѣнами.

— Еще немного давните, а тамъ и на отдыхъ пойдемъ! — раздавался голосъ „Дьячка“.

Вторыя ворота промахнули незамѣтно, только руль скрипнулъ громче лишній разъ, да снопы брызгъ посыпались чаще и обильнѣе.

Съ разбѣгу мы понеслись къ третьимъ воротамъ. Эти ворота самыя опасныя изъ всѣхъ трехъ. Каменистый мысъ Соловуха протянулъ свою мощную длань сердитому бойцу, чуть-чуть скрыв-

шему свое остріе подъ водою, но Ангара разорвала ихъ руки и бьетъ сильной струей между ними. Валы хлещутъ черезъ боецъ, пѣнясь, и клубясь, и распѣвая свою угрюмую, монотонную пѣсню.

— Пронесла, голубушка, ей-же-ей пронесла! — произнесъ „Дьячекъ", когда мы плыли уже подъ шиверой.—И въ саму пору, голубушка, вынесла!...

Дѣйствительно, „голубушка" вынесла насъ въ самую пору. Не успѣла наша табакерка, подъ управленіемъ неустрашимаго Ицки Абрамовича, выскочить слѣдомъ за паузками изъ жерла шиверы, какъ на насъ налетѣлъ шквалъ съ дождемъ и расшвырялъ нашу флотилію въ разныя стороны. Мы поспѣшили бросить кошки, чтобы насъ не расшибло о камни или не выбросило на берегъ.

Лишь только мы успѣли придти въ себя, тотчасъ же вспомнили о хлѣбѣ и о мясѣ, о томъ, что у насъ нѣтъ ни того, ни другаго, а жрать намъ всѣмъ необходимо, ибо иначе мы подохнемъ или, что еще хуже, перерѣжемъ другъ друга.

Мы съ караваннымъ и съ Порфиріемъ составили совѣтъ, на которомъ было рѣшено отправить муку на лодкѣ въ небольшую деревушку Погорюй, отстоящую отъ шиверы въ семи верстахъ слишкомъ. Такъ какъ буря и не думала стихать, и валы по рѣкѣ, разлившейся здѣсь версты на двѣ въ ширь, ходили высоченные, то рѣшено было выбрать самыхъ отважныхъ гребцовъ, а начальство надъ экспедиціей поручить мнѣ.

Спустивъ въ лодку, закутанные отъ дождя въ рогожки, кули съ мукой, мы, въ количествѣ четырехъ человѣкъ, вскочили одинъ за другимъ въ подкидываемую волнами кверху байдару, отвязали причалъ и пустились въ путь.

Я сидѣлъ на рулѣ и старался держать лодку въ разрѣзъ волнамъ. Лодка наша то взбиралась на высшую точку хребта волны и становилась почти отвѣсно, такъ что мы еле могли усидѣть въ ней, то съ высоты свергалась внизъ, разбивая волну и обдавая насъ брызгами холодной воды. Нѣсколько разъ насъ настигалъ могучій девятый валъ и хлесталъ намъ въ лодку цѣлыя пригоршни холодной ангарской воды. Приходилось схватывать поскорѣе въ руки ковшъ и отчерпывать воду съ дна лодки, иначе наша мука въ куляхъ могла размокнуть совсѣмъ.

Цѣлыхъ полтора часа мы ухлопали на то, чтобы добраться до деревушки Погорюевой, состоящей всего изъ четырехъ дворовъ.

Первымъ дѣломъ, добравшись до деревушки, мы принялись уговаривать бабъ: не могутъ-ли эти послѣднія тотчасъ приняться за печеніе хлѣба. Во всей деревушкѣ какъ на смѣхъ оказались всего двѣ правоспособныя бабы, умѣющія замѣсить квашню. Была еще пара подростковъ, но съ этими послѣдними мы предпочли не имѣть никакого дѣла. Разрѣшивъ вопросъ о бабахъ, мы приня-

*

лись за разрѣшеніе вопроса о квашняхъ. Оказалось, во всей деревнѣ можно найти лишь три квашни, такъ какъ четвертая разсохлась и ни къ чорту не годится. Во всѣхъ трехъ квашняхъ могло помѣститься лишь девять пудовъ муки, а мы привезли съ собою въ двухъ куляхъ двѣнадцать пудовъ, слѣдовательно, три пуда муки намъ приходилось увозить обратно.

Разрѣшивъ вопросъ о печеніи хлѣба, мы стали подумывать о томъ, какъ-бы намъ обсушиться, согрѣться, а также и поѣсть чего-нибудь.

Войдя въ лучшую избу деревушки, хозяйка которой должна была печь для насъ хлѣбъ въ двухъ квашняхъ, мы принялись разоблачаться. Вода лилась ручьями со всѣхъ частей нашего облаченія. Я промокъ до рубахи, не смотря на то, что былъ одѣтъ въ лобошакъ (азямъ изъ верблюжьей шерсти), въ кожанъ и въ шведскую куртку. Какъ хлестало насъ, можно видѣть изъ того факта, что сахаръ, баранки и чай, запрятанные мною въ карманы куртки, совершенно размокли.

Разоблачившись до рубашекъ передъ растопленнымъ камелькомъ, мы велѣли подать себѣ самоваръ, яицъ, молока, простокваши, хлѣба, масла, огурцовъ—словомъ всего, что только можно было найти въ убогой деревушкѣ Погорюевой.

Черезъ часъ мы были уже высушены, накормлены, напоены и, дымя, кто чѣмъ могъ—кто паниросой, а кто трубкой, вели благодушную бесѣду съ пріютившими насъ лѣшаками.

Хозяинъ нашъ, бѣлобрысый безбородый лѣшакъ, казался послушнымъ орудіемъ въ цѣпкихъ, крючковатыхъ рукахъ своей бабы. Эта послѣдняя отличалась сварливымъ характеромъ.

Я заговорилъ, было, съ хозяиномъ объ ихъ житьѣ-бытьѣ. Хозяинъ пыхтѣлъ лишь изъ своей корешковой съ насѣчкою трубочки, страшно мямлилъ съ отвѣтами и поминутно поглядывалъ на свою костлявую, красноносую бабу, которая и направляла, и руководила его отвѣтами, какъ направляла и руководила всѣми дѣяніями своего мужика во всѣ шестнадцать лѣтъ ихъ совмѣстной брачной жизни.

— Зивемъ помаленецку...—кивала краснымъ носомъ баба, заваривая чай.—Пасня у насъ далеце отсюда, плыли гдѣ-ка на мышу—верштовъ шешь будетъ, однако. Шѣютъ, батюшко, ожими, это-то, и яровые хлѣба шѣютъ. Родится хлѣбушко ладно-зе. Податей приходитша рублей по дешатку шъ души, да на попа по пуду али больше хлѣбушка въ годъ. Рыбу тоже промышлямъ по малошти. Бѣлку тоже промышлямъ по сотнѣ, али какъ тамъ, на ружье. Сотня шкурокъ у насъ стоитъ рублей пятнадчатъ.

За разговорами мы провели этакъ часа два. Небо нѣсколько прояснилось, дождь пересталъ и даже вѣтеръ сталъ слабѣе.

Я накинулъ на себя лобошакъ и вышелъ на дворъ. Дворъ избы, огороженный жердями со всѣхъ сторонъ, лѣпился по склону хребта. За заборомъ тотчасъ начиналась тайга. У таежной опушки вилась спиралью по хребту узенькая дорожка. Я вздумалъ прогуляться по тайгѣ и вмѣстѣ съ двумя изъ нашихъ ребятъ направился по дорожкѣ. По пути часто попадались обгорѣлые пни деревъ-великановъ. Цѣпкіе кустики широколистной костяники стлались повсюду межъ камней. Порой краснѣли пучки капорскаго чая, да синеглазая дикая герань вдумчиво глядѣла на насъ изъ подъ тѣни нѣжно-хвойныхъ лиственей. Вѣтеръ гналъ по небу разорванныя лохмотья облаковъ, ломалъ въ тайгѣ сухія вѣтки и шелестилъ багряными листочками отживающей свое лѣто осины. Стаи мошекъ налетали на насъ вмѣстѣ съ вѣтромъ и дѣлали дальнѣйшій путь невозможнымъ. Мы принуждены были повернуть вспять. Спускаясь по тропинкѣ внизъ, я замѣтилъ на берегу рѣки двоихъ изъ нашихъ рабочихъ. Рабочіе разспрашивали о чемъ-то стоящаго на берегу парня въ синей дабовой рубахѣ. Узнавъ все нужное, князья (это были они) направились прямо ко мнѣ. Въ принесенной ими запискѣ было начертано нѣсколько отчаянныхъ фразъ караваннаго о безнадежномъ положеніи всей команды и въ заключеніе была выражена покорнѣйшая просьба прислать съ подателями записки хоть сколько-нибудь хлѣба и мяса.

Прочитавъ столь отчаянное посланіе своего пріятеля, я живо принялся за дѣло. Вмигъ были созваны всѣ лѣшаки и всѣмъ имъ было предложено продать весь наличный хлѣбъ по хорошей цѣнѣ. Хорошая цѣна соблазнила этихъ обитателей тайги. Всѣ они принялись сносить свой хлѣбъ и черезъ четверть часа три съ половиною пуда хлѣба, заплаченнаго по два рубля за пудъ, было уложено въ татарскіе мѣшки.

Хозяинъ красноносой бабы предложилъ намъ купить у него телку. Послѣ недолгихъ пререканій телка была куплена мною за двѣнадцать рублей, зарѣзана татарами (большими мастерами по этой части), и два стегна телки отправились вмѣстѣ съ хлѣбомъ на наши паузки.

— Смотрите-жъ, братцы, не мѣшкайте!—провожалъ я, накормленныхъ молокомъ и хлѣбомъ, татаръ.—Вы, вѣдь, понимаете, что товарищи ваши сидятъ голодные на паузкѣ.

— Сами знаемъ, паринъ, почто говорить напрасно!

И двѣ согбенныя спины, навьюченныя мѣшками съ хлѣбомъ и мясомъ, направились по дорогѣ вдоль берега и вскорѣ исчезли межъ деревьями.

Мы вернулись на паузки лишь на другой день раннимъ

утромъ. Весь востокъ былъ окрашенъ въ алый цвѣтъ. Алая полоса зари расла все болѣе и болѣе: она какъ будто плыла по теченію. Деревья сливались съ низко стоявшими надъ хребтами облаками въ какую-то сѣрую массу. Надъ тайгою волновалось цѣлое море тумана.

Паузки наши, подошедшіе еще вчера вечеромъ къ Выдумскому Быку, теперь просыпались отъ сна и приготовлялись къ отплытію. Сквозь утреннюю дымку тумана видны были на палубѣ крошечныя фигурки рабочихъ.

Чтобы попасть къ паузкамъ, намъ пришлось перегребаться версты полторы. Гребцамъ досталось таки на орѣхи. Бѣдняги намаялись до седьмого поту. Но за то у насъ на лодкѣ запасъ провизіи по крайней мѣрѣ на три дня, а больше намъ въ данную минуту ничего и не надо.

Рабочіе на паузкахъ привѣтствовали насъ съ большою радостью, какъ своихъ избавителей отъ голодной смерти. Тотчасъ же по спускѣ паузковъ черезъ безопасный для судовъ переборъ, именуемый Выдумскимъ Быкомъ, было устроено чаепитіе съ свѣжеиспеченнымъ хлѣбомъ, а затѣмъ заказанъ обильный обѣдъ изъ мяса, картофеля и ангарской воды съ солью.

Третій день мы стоимъ на виду Стрѣлочнаго порога, а спуститься черезъ него не рѣшаемся. Снова въ нашемъ караванѣ истощились всѣ припасы, снова вся команда впала въ раздражительное, злобное настроеніе, такъ что достаточно было-бы одной искорки, чтобы на всѣхъ паузкахъ вспыхнуло грозное пламя бунта.

Вѣтеръ дуетъ съ праваго берега на лѣвый и волнуетъ изумрудную поверхность рѣки. Въ воздухѣ холодъ стоитъ страшный, въ шакшѣ термометръ не хочетъ подняться выше пяти градусовъ. Дождь то посыплется съ неба обильными пригоршнями, то перестанетъ совсѣмъ падать. По небу плывутъ грозныя флотиліи тучъ. Порою проглянетъ солнышко, но тусклый блескъ его содержитъ въ себѣ мало яркихъ согрѣвающихъ лучей и потому холодъ продолжаетъ держать насъ въ своихъ когтяхъ. Берега рѣки обставлены громадными бѣлыми скалами известняковъ. Впереди насъ цѣлый островъ въ формѣ небольшой крѣпостцы стоитъ у входа въ порогъ и караулитъ этотъ входъ, и не позволяетъ намъ войти въ него.

Но не одинъ Караульный островъ не пускаетъ насъ въ порогъ! Не пускаетъ насъ и боковой вѣтеръ, грозящій нанести наши судна на какой-нибудь камень, и нерѣшительность лоцмановъ, опасающихся рисковать своей шеей изъ-за десятка рублей. А лоцмановъ этихъ у насъ, кромѣ Порфирія, цѣлыхъ два. Взяли мы

ихъ для Стрѣлочнаго порога съ платою по десяти рублей. Одинъ изъ нихъ даже не простой лоцманъ, а лоцманъ, имѣющій знакъ отличія. Громадной величины фонарь украшаетъ мужественный ликъ сего храбраго мужа. Этотъ знакъ отличія полученъ лоцманомъ Кириллой за спускъ Пашковскаго судна. Посадилъ Кирилла судно на камень, да такъ ловко посадилъ, что цѣлыхъ трое сутокъ пришлось сниматься съ этого камня. А припасы на пашковскихъ паузкахъ истощились такъ-же, какъ и у насъ. Проголодавшіеся, обозленные рабочіе искали только предлога, чтобы на комъ-нибудь сорвать накипѣвшее у нихъ чувство злобы. И вдругъ такой прекрасный случай! Лоцманъ мало того, что посадилъ судно на мель, онъ обозвалъ еще одного изъ рабочихъ „безпортошной шпаной“. Это переполнило мѣру терпѣнія команды. Обруганный рабочій, не долго думая, посадилъ фонарь подъ глазомъ лоцмана, а прочіе чуть не растерзали этого лоцмана въ клочья. Къ счастью, онъ успѣлъ улизнуть въ селеніе, бросивъ паузокъ на произволъ судьбы. О пощечинѣ было возбуждено дѣло и караванный принужденъ былъ уплатить обиженному лоцману цѣлыхъ три рубля. Лоцманъ вполнѣ удовлетворился этимъ вознагражденіемъ и сдѣлался съ этого момента тихъ и робокъ какъ овечка. Теперь-то его робость главнымъ образомъ и тормозила спускъ нашего каравана черезъ Стрѣлочный порогъ.

— Получать по три рубля за фонарь подъ глазами—не дурная вещь, но благодаря этимъ фонарямъ можно и глаза лишиться, а тогда прости, прощай спускъ черезъ Стрѣлочный порогъ, а съ нимъ вмѣстѣ и вы, новенькія иркутскія десяточки!—такъ разсуждалъ лоцманъ Кириллъ и, надо отдать ему справедливость, разсуждалъ вполнѣ здраво, ибо онъ обладалъ сибирской сметкой.

Но не всѣ думали столь здраво, какъ кулаковскій лоцманъ. Наши золоторотцы разсуждали такимъ образомъ, что ежели ихъ взяли на сплавъ, то должны кормить, поить и всячески заботиться о нихъ. А тутъ ни пищи, ни питія не раздобудешь никакимъ образомъ, пока не пройдешь черезъ Стрѣлочный порогъ. Тамъ за Стрѣлочнымъ порогомъ раскинулось обширное многолюдное селеніе, именуемое Усть-Стрѣлкой. Въ селеніи этомъ однихъ кабаковъ полдесятка слишкомъ. „Ѣшь, пей, веселись: распивочно и навыносъ“!—гласятъ пестрыя вывѣски, „и никто тебѣ дурнаго слова не скажетъ, окромя что хорошаго“.

И близка, будто, эта обѣтованная страна, да вотъ порогъ мѣшаетъ достигнуть ея. Ахъ, этотъ порогъ, чтобъ его никогда не было здѣсь!

— Черезъ порогъ тольки чтобы спуститься намъ, однако!—заговариваетъ со мною „Дьячекъ“, съ ожесточеніемъ посасывая

удушливый дымъ изъ своей коротенькой трубочки.—Не то туто-ка околѣшь съ голоду...

— Всячески лучше въ самомъ порогѣ околѣвать, чѣмъ здѣся!—подступаетъ ко мнѣ рабочій Буяновъ,—одинъ изъ главныхъ крикуновъ нашей золотой роты.

— Одначе, баринъ, поплывемъ сами, когды Кирилла опасатся,—предлагаетъ мнѣ „Дьячекъ“.

Признаться, эта мысль приходила мнѣ самому въ голову. Наплевать намъ на Кирилла и на робость его,—спуститься самимъ черезъ порогъ, добраться до Стрѣлки и устроить тамъ для золотой роты пиръ на весь міръ! Ну, а случится неудача, сядемъ на камень въ порогѣ, такъ чортъ съ нимъ, снимемся сами, не станемъ просить у другихъ помощи.

Я собралъ вокругъ себя всѣхъ золоторотцевъ и изложилъ имъ вышеприведенныя соображенія. Затѣмъ въ заключеніе я обратился къ нимъ съ вопросомъ: согласны-ли они плыть черезъ порогъ?

— Согласны, баринъ, съ вами завсегда согласны!—загудѣла толпа.

— Ну, тогда съ Богомъ, ребятушки, въ добрый часъ!

На мачтѣ взвился трехцвѣтный флагъ и влажная полоса матеріи принялась хлопать по древку въ тактъ движенію вѣтра. „Дьячекъ“ вывелъ сопецъ на средину палубы и крикнулъ своимъ обычнымъ ровнымъ голосомъ:

— Дергай кошку, ребятушки! Бей поносным вправо!

Я вступилъ въ ряды рабочихъ и наравнѣ съ другими принялся тащить „байрешный“ канатъ, чтобы выдернуть кошку, плотно засѣвшую межъ камней. Четыре человѣка принялись ворочать тяжелую поносную гребь.

— Живѣе, братцы, пошевеливай!—раздалось отъ сопца.

— Дернемъ, братцы, посильнѣе!—гаркнулъ я.—Не посрамимъ чести своей золотой роты!

Молодцы дернули и кошка очутилась у бортовъ палубы.

— Рачи шейму, шейму рачи!—раздалась новая команда.

Кошка укрѣплена на своемъ мѣстѣ, паузокъ поставленъ носомъ по теченію.

— Въ греби, ребятушки, въ греби!

Мы принялись за греби. Нужно имѣть чертовски крѣпкіе мускулы и связки, чтобы не порвать ихъ при такой форсированной гребнѣ.

Не успѣли мы разгрестись, какъ слѣдуетъ, а насъ ужъ свернуло вѣтромъ на лѣвую сторону.

— Брось праву гребь! Поносной вправо! Лѣвая греби, не отставай!

При помощи поносной греби намъ удается дать судну требуемое направленіе.

— Совсѣмъ въ сонцѣ правежу нѣту, однако! — жалуется „Дьячекъ“.—Вы ужъ, голубчикъ баринъ, коль скоро я взреву на васъ, поможете мнѣ управиться съ сонцомъ. Одинъ на вѣтрѣ не управлюсь съ нимъ...

— Ладно!—кричу я, принимаясь снова за греби.

Грести приходится все время, иначе мы можемъ очутиться гдѣ-нибудь на берегу, вмѣсто того, чтобы попасть въ Усть-Стрѣлку.

Наши остальные два паузка все болѣе и болѣе удаляются отъ насъ. Мы подходимъ къ Бѣлому Караульному острову, огибаемъ его съ лѣвой стороны и вступаемъ въ порогъ.

Верхушка Караульнаго острова поросла густымъ соснякомъ. Яркая зелень хвои рѣзко выдѣляется на бѣломъ фонѣ известковыхъ глыбъ. Верхушки деревъ раскачиваются изъ стороны въ сторону и ведутъ между собою оживленный разговоръ. „Не пустимъ ихъ, не пустимъ!“ гудятъ лѣсные голоса.

Но мы не слушаемъ этихъ голосовъ. Потъ градомъ льется съ нашего чела, руки млѣютъ отъ страшной усталости, груди работаютъ какъ кузнечные мѣха, но мы, собравъ всѣ усилія, ворочаемъ тяжелыми гребями, взбивая брызги серебристой пѣны и оставляя за судномъ глубокую борозду.

— Поносной вправо, братцы!—раздается регулярно въ теченіе каждыхъ пяти минутъ и мы бросаемъ правую гребь и бѣгомъ направляемся къ поносной. Повернувъ судно въ требуемомъ направленіи, мы снова хватаемся за правую гребь и снова ворочаемъ ею изо всѣхъ силъ.

— Помогите, голубчикъ баринъ!—раздается просящій голосъ „Дьячка“.

Я стрѣлой мчусь къ нему и упираюсь какъ можно покрѣпче въ подвижную настилку палубы, давлю на рукоятку сонца изо всѣхъ силъ.

Помощь моя пришлась какъ нельзя кстати. Безъ нея, чего добраго, насъ нанесло бы силою вѣтра на громадный камень съ неровными боками, прозванный Бойцомъ за свой крутой нравъ. Намъ вдвоемъ удалось отвернуть отъ него судно и направить его въ ворота.

— Дави, братцы, сильнѣй! Сильнѣй дави!—нѣсколько осипшимъ голосомъ кричитъ „Дьячекъ“, а вѣтеръ развѣялъ его бороду и относитъ его слова въ сторону, и хлещетъ на насъ брызгами холодной порожной воды.

Но мы не боимся вѣтра. Сообщивъ судну требуемое направленіе, я становлюсь лишнимъ у руля и, путаясь въ рогожкахъ, торопливо спѣшу на помощь своимъ золоторотцамъ, силы которыхъ замѣтно ослабѣваютъ отъ чрезмѣрныхъ усилій.

— Стыдно, братцы!—ору я имъ и, схватившись за тяжелую, облитую потомъ гребь, сообщаю новый импульсъ размахамъ ея.

Камни одинъ за другимъ мелькаютъ передъ моими затуманенными потомъ глазами. Руки продолжаютъ машинально совершать качательное движеніе сверху внизъ.

Порогъ загроможденъ камнями. Одинъ, два, три! пробую считать я, но раздавшійся вторично призывъ „Дьячка“ путаетъ мои счеты.

— Голубчикъ баринъ, помогите сопецъ подвести! Самъ одинъ не справлюсь, однако.

И я снова покидаю свой постъ у правой греби и бѣгу на помощь лоцману. Мы напираемъ изо всѣхъ силъ на сопецъ. Сопецъ скрипитъ, но тѣмъ не менѣе дѣлаетъ свое дѣло. Онъ даетъ паузку направленіе вправо. Если только взять влѣво, то, навѣрное, очутимся на сливной плитѣ, а попробуй, присядь на ней, такъ и просидишь сутокъ трое.

— Дави, ребятки, дави изо всѣхъ силъ!—реветъ лоцманъ, стараясь заглушить завываніе вѣтра.—Пропадать такъ всѣмъ вмѣстѣ. А не пропадемъ, такъ всѣ пьяны будемъ въ Усть-Стрѣлкѣ!

Съ шумомъ свергается вода со сливной плиты. Насъ тащитъ какъ будто прямо на нее, но мы упираемся, упираемся, насколько въ силахъ еще упираться, и проскальзываемъ тутъ-же возлѣ этой плиты, почти задѣвая ее своими боками.

— Шабашъ, ребятушки, шабашъ, родимые!—реветъ радостно возбужденный голосъ „Дьячка“.

— Слава Богу, прошли таки порогъ!—прибавляетъ онъ черезъ нѣсколько минутъ.—А тѣ Кирилки да Егорки пускай сидятъ да пальцы сосутъ съ голодухи, когды боятся за нами плыть...

Въ этихъ послѣднихъ словахъ чуялась та хвастливая молодецкая удаль кежемскаго лоцмана, которую онъ проявлялъ при каждомъ столкновеніи съ мѣстными вожаками.

Команда побросала греби и отираетъ грязными рукавами потъ съ лица. Нѣкоторые изъ рабочихъ налаживаютъ туяса подъ водку.

Наше судно тихо несетъ серединою рѣки, разливающейся здѣсь на нѣсколько верстъ въ ширину. На лѣвомъ плоскомъ берегу размѣстилось большое селеніе Усть-Стрѣлка, которое пестритъ теперь передъ нами цвѣтными крышами своихъ домиковъ и бѣлыми стѣнами церкви.

Правый берегъ Ангары гористъ. На протяженіи нѣсколькихъ верстъ уставлены здѣсь гранитные столбы, въ промежуткахъ между которыми пышно разраслась свѣжая густая зелень

кустовъ и молодыхъ деревьевъ. За гранитными столбами на увалахъ виднѣются пашни, широкой полосою растянувшіяся до чернѣющей вдали опушки тайги. Тайга отодвинулась вглубь материка и глядитъ своими темными тусклыми глазами. Столбы заканчиваются высокою башнею изъ гранита, называемою Королевымъ мысомъ. За этой башней темно-зеленая полоса ангарской воды сливается со свѣтло-сѣрой полосой водъ старика Енисея. Раздѣльную линію сліянія этихъ двухъ большихъ рѣкъ можно замѣтить издали простымъ глазомъ.

— Енисей приперъ Ангару къ Королевому мысу!—говорятъ мѣстные жители про сліяніе двухъ рѣкъ, но, по моему, эта поговорка не вѣрна. Не Енисей приперъ Ангару, а наоборотъ Ангара приперла Енисей къ лѣвому песчаному берегу, и если поглядѣть съ устья Ангары на Енисей, то онъ покажется отсюда жалкой узенькой рѣчушкой въ сравненіи съ нашей могучей красавицей.

Насъ подносило теченіемъ къ Стрѣлкѣ. Почти все русло рѣки было загромождено самоловами. Жители селенія усиленно занимаются рыбной ловлей, благо есть кому сбывать пойманную рыбу.

Мы подплыли какъ можно ближе къ селенію и бросили кошку. Насъ отнесло вмѣстѣ съ кошкою почти къ водораздѣльной линіи двухъ рѣкъ, мы на ней и остановились.

Тотчасъ-же была отправлена на берегъ лодка за припасами и виномъ. Черезъ часъ на нашемъ паузкѣ шелъ дымъ коромысломъ. Вся команда съ „Дьячкомъ" во главѣ перепилась въ лоскъ.

Такъ закончился нашъ спускъ черезъ пороги.

Черезъ два часа вѣтеръ значительно стихъ, пришли и наши остальные два паузка подъ предводительствомъ мѣстныхъ вожаковъ. Одинъ изъ этихъ паузковъ чуть не нанесло на сливную плиту. Лоцманъ Кирилла струсилъ и, отвязавъ отъ паузка табакерку, пустилъ ее по водѣ. Табакерку пронесло вѣтромъ черезъ сливную плиту и завязило ее въ узкомъ проходѣ межъ камней. И осталась табакерка межъ этихъ камней въ Стрѣлочномъ порогѣ, чтобы умирать медленной мучительной смертью.

Не больно-то оплакивали мы смерть нашей злополучной спутницы, оставившей по себѣ столь недобрую память, да въ ней, въ этой самой табакеркѣ, хранился завозъ новенькій почти (канатъ толщиною въ кулакъ) да кошечка пуда два вѣсомъ, итого на сумму пятидесяти рублей слишкомъ.

Попытались, было, вернуть потерю, послали народъ въ лодкѣ, чтобы снять табакерку съ камней и пригнать ее къ паузкамъ,

но посланные не могли даже подобраться къ табакеркѣ. Натерпѣвшись страху, рабочіе вернулись ни съ чѣмъ обратно на паузки.

Караванный обругалъ рабочихъ трусами и поднесъ имъ по шкалику винца.

На другой день утромъ я распрощался съ нашимъ караваномъ. Небо было сѣрое, пасмурное, моросилъ мелкій дождикъ, и на душѣ у меня было такое-же угрюмое пасмурное настроеніе. Ангара чернѣла сплошной темной массой, а наша лодка плыла уже по свѣтло-сѣрымъ водамъ старика Енисея. Паузки наши, поднявъ кошки, сплылись всѣ вмѣстѣ и, связавшись рядомъ, медленно и плавно двинулись внизъ по Енисею, обогнувъ Королевый мысъ и придерживаясь болѣе праваго берега. Они становились все меньше и меньше и наконецъ, мигнувъ передъ моими глазами на подобіе трехъ сѣрыхъ утокъ, исчезли совсѣмъ изъ виду, слившись съ необъятной ширью водъ.

Съ стоявшаго у Стрѣлкинской пристани сибиряковскаго парохода „Николай“ раздался рѣзкій пронзительный свистъ. Я велѣлъ гребцамъ грести сильнѣе, чтобы не опоздать къ отходу парохода. Гребцы налегли на весла всей грудью и наша легкая набойница стрѣлой понеслась къ пристани. Я не утерпѣлъ, чтобы не оглянуться еще разъ на свою красавицу и не послать ей послѣднее „прости“. Воды Ангары продолжали чернѣть на громадномъ протяженіи нѣсколькихъ верстъ, а Королевый мысъ продолжалъ взирать на линію сліянія двухъ великихъ историческихъ рѣкъ.

Черезъ двѣ недѣли я былъ готовъ уѣзжать изъ Красноярска въ Россію. Усаживаясь въ тарантасъ во дворѣ почтовой станціи, я увидѣлъ, какъ изъ въѣхавшей во дворъ кибитки высаживался мѣшковатый мужчина, лѣтъ пятидесяти, завернутый весь въ осенній плащъ съ капюшономъ. Небольшаго труда стоило мнѣ узнать въ этой фигурѣ нашего стараго знакомаго караваннаго.

Я проворно соскочилъ съ тарантаса и подбѣжалъ къ нему.

— Ну, что, какъ сдали вашъ караванъ?—обратился я къ нему послѣ первыхъ привѣтствій.

— И не спрашивайте, батюшка, лучше,—махнулъ рукою старикъ.—Забраковали чуть не цѣлую сотню мѣстъ. Вотъ она наша ангарская путь!—чуть не съ плачемъ говорилъ онъ.—Вы сами изволили видѣть, сколь маялись мы, а въ благодарность заполучили тысячи три убытку-съ... Да-съ!

Онъ вторично махнулъ рукою и сталъ прощаться со мной.

— Такъ вотъ она какова эта ангарская „водяная путь“!— думалось мнѣ, когда я, сидя въ тарантасѣ, проносился по пыльнымъ улицамъ города.

ОСЕНЬ.

Точно думой удручены,
Дремлютъ сосны-исполины,—
Разукрасилися клены
Кружевами паутины...

Золотистою каймою
Листъ у дуба разрисованъ,—
Стволъ сосны Творца рукою
Словно въ золото окованъ...

По утрамъ не блещутъ слезы
На вѣтвяхъ зеленыхъ елокъ,
Не гремятъ былыя грозы,
Поблѣднѣлъ лазурный пологъ...

Отзвучали пѣсни лѣта...
Вдаль, на югъ умчались птицы,
И природа не согрѣта
Поцѣлуями денницы...

Василій Миляевъ.

Родимый сѣверъ.

Моя отчизна сѣверъ милый,
Покрытый пеленой снѣговъ,
И я люблю его всей силой
И за него на все готовъ!

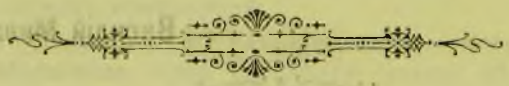
Привыкъ я съ самой колыбели
Смотрѣть на сѣрый сводъ небесъ;
Люблю—когда поютъ мятели,
„И глухо шепчетъ темный лѣсъ“!

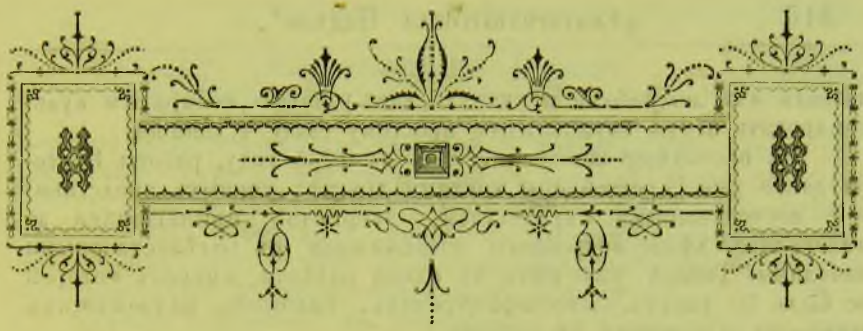
Люблю просторъ степи широкой,
Моря волнующихся нивъ
И Камы матушки глубокой
Весною теплою разливъ.

Люблю послушать бури грозной
Въ лѣсу дремучемъ ревъ и вой;
Люблю по полю ночью звѣздной
Ѣзду морозною зимой!...

Я ни на что не промѣняю
Роднаго сѣвера красу,—
Свою любовь къ родному краю
Съ собой въ могилу унесу!...

Ив. Бѣлоусовъ.





МИКРОБЪ ПРОФЕССОРА БАКЕРМАНА,

(*Разсказъ Шарля Эфейра, изъ будущихъ временъ*).

Съ французскаго. *)

Перев. Л. А. Мурахиной.

Послѣдніе дни декабря 1935 года. По тихимъ улицамъ мирнаго городка Брунвальда поспѣшно пробирается къ себѣ домой профессоръ Германъ Бакерманъ.

Толстый и румяный профессоръ весело улыбается, потирая свои пухлыя руки и бормоча себѣ что-то подъ носъ. Онъ только что открылъ возможность создать новаго микроба, который своей живучестью и зловредностью превосходилъ бы всѣхъ остальныхъ, уже извѣстныхъ микробовъ, и это-то открытіе вызываетъ въ немъ безграничный восторгъ.

Каждому извѣстно, что наука о микробахъ сдѣлала въ послѣднее полстолѣтіе громадные успѣхи. Знаменитый французъ, Луи Пастеръ, въ половинѣ прошлаго XIX вѣка первый открылъ существованіе микроорганизмовъ, входящихъ страшными массами въ тѣло человѣка и производящихъ всевозможныя болѣзни. Онъ

*) „La Lecture“, T. XV, mars. 1891.

назвалъ ихъ *микробами* и указалъ, какъ узнавать, собирать и культивировать этихъ неуловимыхъ простому глазу чудовищъ.

Въ настоящее же время, т. е. въ 1935 году, работы Пастера давно уже превзойдены трудами другихъ ученыхъ представителей всевозможныхъ народностей, энергично принявшихся за интересное дѣло подробнаго ознакомленія съ болѣзнетворными началами. Теперь уже нѣтъ ни одной болѣзни, микробъ которой не былъ бы узнанъ, классифицированъ, снабженъ надлежащимъ этикетомъ и занесенъ въ списокъ.

Мы знаемъ теперь не только наружный видъ, но даже нравы, привычки и вкусы всѣхъ микробовъ—земныхъ, водяныхъ и воздушныхъ, и наука о нихъ сдѣлалась главнымъ основаніемъ медицины.

Въ Германіи, какъ и во всемъ остальномъ мірѣ, произошла за послѣднія тридцать лѣтъ огромная перемѣна. Владычество каски и штыка прекратилось наконецъ. Профессора и мыслители снова, какъ и въ давно былыя времена, заняли надлежащее имъ мѣсто: они болѣе не дрожатъ предъ безусымъ унтеръ-офицеромъ и періодъ казарменнаго прозябанія смѣнился періодомъ процвѣтанія наукъ и искусствъ.

Поэтому и благородный городокъ Брунвальдъ заключаетъ въ своихъ чистенькихъ стѣнахъ университетъ, превосходныя лабораторіи и замѣчательно ученыхъ и дѣльныхъ профессоровъ. Знаменитѣйшій между мѣстными учеными мужами безспорно—Германъ Бакерманъ. Будучи еще студентомъ, онъ рѣшилъ посвятить свою жизнь всецѣло изученію микробовъ, и, какъ только сталъ профессоромъ, сейчасъ же устроилъ образцовую лабораторію.

Изъ этой лабораторіи онъ почти и не выходилъ. Отказавшись отъ всякой вольной практики, онъ проводилъ большую часть своего времени посреди флаконовъ и сосудовъ съ разными бульонами, въ которыхъ вскармливались микробы. Имѣя, такимъ образомъ, постоянно дѣло съ сильнѣйшими ядами, онъ разными предосторожностями застраховалъ себя отъ ихъ гибельнаго вліянія. Между прочимъ, онъ цѣлымъ рядомъ прививокъ различныхъ болѣзней, начиная съ менѣе опасныхъ и кончая самыми ужасными,—сдѣлалъ свой организмъ такимъ же невоспріимчивымъ какъ камень. Но такъ какъ другіе люди не были гарантированы отъ зараженій, то профессоръ Бакерманъ устроилъ въ концѣ своей лабораторіи особую комнату, которую онъ въ шутку назвалъ *адской комнатой*. Въ нее онъ никого не пускалъ и самъ онъ не выходилъ изъ нея, не подвергнувъ себя предварительно сильнѣйшей дезинфекціи.

Итакъ, въ описываемый нами день профессоръ Германъ Ба-

керманъ былъ веселъ и доволенъ, какъ никогда. Онъ удачно рѣшилъ интересную задачу, разрѣшеніемъ которой давно уже былъ занятъ. До сихъ поръ знали только способы какъ обезвреживать самыхъ злыхъ и опасныхъ микробовъ, но профессоръ Бакерманъ въ добавокъ еще нашелъ средство превращать безобиднѣйшій микроорганизмъ въ ультра-опасный и зловредный.

Говоря *зловредный*, мы выражаемся не точно: микробъ, такъ сказать, сотворенный профессоромъ Бакерманомъ, не только зловреденъ, но прямо страшенъ и не побѣдимъ. Всѣ извѣстные до сихъ поръ микробы убиваютъ въ день, самое большее, въ полдня, да кромѣ того они не очень живучи: какой-нибудь пустякъ можетъ обезсилить ихъ, а то и совсѣмъ лишить болѣзнетворной способности. Профессоръ же Бакерманъ поставилъ себѣ цѣлью добыть такого микроба, который могъ-бы убить человѣка въ теченіе одного часа, въ дозѣ сотой или даже тысячной части капли, такъ чтобы невозможно было и спасти пораженнаго имъ человѣка.

Бакерманъ пришелъ къ своему открытію лишь постепенно.

„Микробъ“, говорилъ онъ въ своихъ лекціяхъ, „подобенъ человѣческимъ существамъ. Намъ, людямъ, нужна пища обязательно разнообразная. Чѣмъ питательнѣе и чѣмъ вкуснѣе наша пища, тѣмъ мы здоровѣе и бодрѣе. Точно также и микробъ. Дайте имъ хорошей, разнообразной пищи и вы сдѣлаете ихъ все болѣе энергичными, увеличите все болѣе ихъ разрушительныя способности, въ чемъ именно и заключается намѣченная мною задача“.

Въ послѣдніе два мѣсяца всѣ заботы профессора Бакермана были направлены на усовершенствованіе его культурныхъ бульоновъ, и онъ въ этомъ отношеніи сдѣлалъ такіе громадные успѣхи, что превзошелъ самыхъ лучшихъ поваровъ. Свой послѣдній бульонъ онъ составилъ изъ восьмидесяти различныхъ пищевыхъ продуктовъ, и микробы развивались въ немъ съ поразительною быстротою и силою.

Мы не можемъ входить здѣсь въ подробности техническихъ пріемовъ знаменитаго профессора. Упомянемъ только, что благодаря усовершенствованнымъ бульонамъ Бакермана и нѣкоторымъ, содержимымъ имъ въ тайнѣ, примѣненіямъ электричества, былъ радикально измѣненъ и превращенъ совершенно простой микробъ, тотъ самый микробъ, который въ такомъ громадномъ количествѣ кишитъ въ испорченномъ сливочномъ маслѣ. Подвергнувъ его строго послѣдовательному ряду сложныхъ процедуръ, онъ сдѣлалъ изъ него настоящаго Аттилу микробнаго міра.

Сотая часть капли, насыщенной этимъ микробомъ, убивала большую собаку въ два часа съ половиною; цѣлая капля убивала въ теченіе двухъ часовъ три тысячи кроликовъ. Само собою

разумѣется, что Бакерманъ не дѣлалъ опытовъ надъ такою массою грызуновъ, но все-таки онъ уничтожалъ ихъ порядочное количество, чѣмъ всегда возбуждалъ сильное негодованіе madame Бакерманъ.

Madame Бакерманъ... Да, увы! нѣтъ человѣка, который не имѣлъ бы горя, какъ нѣтъ плода безъ, хотя бы даже и небольшой, частицы яда и нѣтъ розы безъ шиповъ. Горе знаменитаго профессора Бакермана заключается въ madame Жозефѣ Бакерманъ.

Madame Бакерманъ не смыслитъ ровно ничего въ наукѣ о микробахъ. Какъ только ея злополучный супругъ заговоритъ о своихъ ученыхъ трудахъ, она окидываетъ его презрительнымъ взглядомъ и разражается потокомъ словъ, въ родѣ, напримѣръ, слѣдующаго:

— Стоитъ разговаривать о глупостяхъ, которыми ты только смѣшишь себя въ глазахъ добрыхъ людей! Вмѣсто того, чтобы идти въ театръ или на гулянье, ты запираешься въ зараженной комнатѣ съ кроликами, жабами и чуть-ли еще не съ змѣями. Развѣ дѣлаютъ такъ люди, уважающіе себя и своихъ женъ? Хоть бы ты подражалъ доктору Ротбейну, который, вмѣсто того, чтобы сидѣть въ вонючей комнатѣ, дѣлаетъ въ день по десяти визитовъ. Ему платятъ по двадцати марокъ за визитъ, между тѣмъ какъ ты никогда не зарабатываешь ни одного пфеннига, кромѣ твоего дурацкаго профессорскаго жалованья. Ты, Бакерманъ, —нищій, въ сравненіи съ твоими товарищами, и почетъ тебѣ нищенскій. Удивляюсь, какъ это еще студенты посѣщаютъ твои лекціи и не понимаю, что они въ нихъ находятъ хорошаго, когда ты только и умѣешь говорить вѣчно объ одномъ и томъ же, чѣмъ никто не можетъ интересоваться...

Да, madame Бакерманъ отъ глубины души презираетъ и ненавидитъ микробовъ. Ненавидитъ она еще и биргалле, потому что посѣщеніе этого заведенія было слабостью ея супруга.

У самыхъ великихъ людей всегда найдется какая-нибудь слабость—какъ же было не имѣть ея и профессору Бакерману! Слабость къ биргалле была, впрочемъ, и очень извинительна у него. Вѣдь, само собою разумѣется, ему было гораздо пріятнѣе сидѣть въ компаніи друзей, тянуть съ ними пиво, играть въ карты или толковать объ открытіяхъ въ области любимой науки, чѣмъ весь вечеръ слушать визги супруги, высчитывавшей дороговизну кроликовъ и припасовъ, изъ которыхъ составлялись бульоны для микробовъ, ругавшей безполезность термометровъ, примѣняемыхъ профессоромъ къ измѣренію температуры крохотныхъ невидимокъ и стоющихъ по сту марокъ штука, и кричавшей о необходимости купить такую мѣховую пелерину, какая есть у

madame Ротбейнъ, или такіе восточные ковры, какими щеголяетъ гостиная madame Шейнбрюнъ, жены президента.

Уходить по вечерамъ изъ дому профессоръ можетъ только украдкой, съ помощью разныхъ хитростей. Возвращается онъ всегда поздно, весь пунцовый, съ отяжелѣвшей головой, но тихій и смирный. Подъ шумокъ супружеской брани онъ и засыпаетъ, точно подъ колыбельную пѣснь.

Въ этотъ день, съ котораго начинается нашъ разсказъ, профессоръ совсѣмъ забылъ о существованіи жены, думая только о своемъ удивительномъ микробѣ.

— Открылъ-таки, открылъ!—шепчетъ онъ на ходу.—Нѣтъ, не открылъ, но прямо создалъ этого разбойника... Да, ужъ и возни же съ нимъ было!... Но какъ же я его назову? Надо придумать какое-нибудь имя, а то что за микробъ безъ имени!... Ахъ, да и микробъ же это у меня: убиваетъ моментально!... Нашелъ, нашелъ! Назову его morti-fulgurans!... Bacillus morti fulgurans!... Это какъ разъ подходитъ...

— А! явился наконецъ!—визжитъ madame Бакерманъ, увидя супруга.—Вѣдь, ужъ восемь часовъ!... Ты, конечно, никогда не смотришь на часы: гдѣ-жъ тебѣ обращать вниманіе на такіе пустяки!... Я ужъ думала,— ты никогда не вернешься, и нисколько не жалѣла объ этомъ.

— Успокойся, madame Бакерманъ,—говоритъ профессоръ.— Приготовься выслушать пріятную новость.

— Ну?!

— Да, очень пріятную и очень важную новость... Знаешь, мой другъ, я создалъ наконецъ, послѣ столькихъ усилій, микроба, который одною тысячною долею капли убиваетъ въ теченіе двухъ часовъ кролика и...

Съ упорствомъ, достойнымъ лучшаго примѣненія, бѣдный Бакерманъ хотѣлъ подробно изложить женѣ сложную процедуру вскармливанія своего новаго микроба, но супруга гнѣвно перебила его:

— Напрасно ты думаешь, что я буду слушать твои глупости! Знаю впередъ, что разъ ты заговорилъ объ этихъ отвратительныхъ микробахъ, то умнаго слова не скажешь, потому что ты и безъ того ужъ сѣдой дуракъ и болѣе ничего.

— Но, madame Бакерманъ..

— Садись за столъ! Поѣшь да ложись скорѣе спать, а о своей „биргалле“ перестань и думать. Сегодня не попадешь въ нее, за это я ручаюсь... Знаю я этихъ твоихъ микробовъ! Каждый разъ, какъ ты откроешь новаго, сейчасъ же непремѣнно воспользуешься случаемъ, чтобы пьянствовать съ своими дураками-собутыльниками: Рудольфомъ Мюллеромъ и Цезаремъ Пюкомъ. Но

предупреждаю тебя, что сегодня я вовсе не расположена допускать этого. Слышишь?

Бѣдный профессоръ только вздохнулъ и молча принялся за ѣду.

Послѣ нѣсколькихъ глотковъ супа, онъ далъ себѣ слово, что все-таки улизнетъ въ „биргалле“, хотя-бы ради этого ему пришлось выпрыгнуть изъ окна втораго этажа, гдѣ находилась его спальня. Это рѣшеніе успокоило его, и онъ покушалъ съ большимъ аппетитомъ, не возражая ни слова на крики и угрозы Жозефы, которая божилась всѣми святыми, что если онъ сегодня уйдетъ изъ дому, то она сдѣлаетъ скандалъ, а главное—проникнетъ въ его дурацкую лабораторію и даже въ адскую комнату, чтобы произвести тамъ обыскъ и полное опустошеніе.

— Я убѣждена, что ты хранишь тамъ письма и портреты твоей развратной Лизеты!—визжала она между прочимъ.

Лизета была горничная, которую madame Бакерманъ подозрѣвала въ излишней нѣжности къ почтенному профессору. Справедливы-ли были ея подозрѣнія или нѣтъ, это намъ достовѣрно не извѣстно; можемъ только констатировать, что каждый разъ, при упоминаніи ея имени, господинъ Бакерманъ поникалъ головою и потихоньку вздыхалъ.

— Да, да, письма и изображенія идіотской морды твоей Лизеты!—продолжала профессорша.—Я знаю навѣрное, что она живетъ еще здѣсь, въ городѣ и ты продолжаешь видаться съ нею. Madame Шейнбрюнъ разсказывала мнѣ, что видѣла эту тварь въ шелковомъ платьѣ и въ жемчужныхъ серьгахъ. Кому же было подарить ей такія вещи, какъ не тебѣ?

Профессоръ не слушалъ ничего, твердя про себя: „Morti-fulgurans! Bacillus morti-fulgurans!“

— Отгадай-ка, Жозефа,—сказалъ онъ вдругъ громко,—отгадай, какое я ему далъ имя... Ни за что не отгадаешь! Bacillus morti fulgurans,—вотъ какъ я его прозвалъ!... Хорошо имя, а?... Мой коллега Кранквейнъ, навѣрное, заболѣетъ съ досады, когда услышитъ это имя.

— Я убѣждена,—продолжала съ своей стороны madame Бакерманъ, тоже не слушая его,—что ты переписываешься съ нею... Да ужъ и вкусъ же у тебя! Только тебѣ и могла понравиться такая особа, какъ она: растрепанная, неряшливая, лгунья, сластена, развратная...

— О комъ это ты все толкуешь, madame Бакерманъ?—спросилъ суиругъ, вслушавшійся наконецъ въ ея слова.

— Я непремѣнно пойду въ твою проклятую лабораторію, *непремѣнно*, слышишь? Пойду и все переверну кверху дномъ... Авось, отыщу, что мнѣ надо, и тогда-то тебѣ, старому безпутно-

му колпаку, не сдобровать! Выведу тебя на свѣжую воду и раздѣлаюсь съ тобою по своему!

— Да будетъ тебѣ, madame Бакерманъ! Чего ты тамъ будешь искать?—говорилъ профессоръ, стараясь успокоить не въ мѣру расходившуюся супругу.—Въ мою лабораторію ты не пойдешь, потому что тамъ опасно бывать непосвященному человѣку. Ты подумай только, что тамъ сидитъ мой morti-fulgurans! Еслибы ты знала, съ какими предосторожностями я самъ приближаюсь къ нему!... Нѣтъ, мой другъ, не ходи туда, умоляю тебя: побереги свою драгоцѣнную жизнь и забудь о моей лабораторіи, какъ ты совѣтуешь мнѣ забыть мою „биргалле“.

Почтенный ученый вовсе не считалъ жизнь madame Бакерманъ драгоцѣнною да и угрозы ея сдѣлать обыскъ въ лабораторіи находилъ пустыми, тѣмъ болѣе, что онѣ произносились далеко уже не первый разъ, но просто желалъ избавиться отъ крика, выражая заботу о безопасности жизни супруги.

Къ счастью, пришла служанка звать барыню въ прачечную, гдѣ случилось что-то экстраординарное, требовавшее присутствія хозяйки.

Madame Бакерманъ отъ ужаса всплеснула руками и побѣжала вслѣдъ за служанкою, совершенно забывъ о мужѣ, который, не долго думая, тотчасъ же юркнулъ въ переднюю, схватилъ пальто и шляпу, и—былъ таковъ.

Въ „биргалле“, куда онъ, разумѣется, направился, уже дожидались его трое изъ завсегдатаевъ: Цезарь Пюкъ, Валерьянъ Гросгельдъ и Рудольфъ Мюллеръ. Увидавъ своего знаменитаго друга, они крикнули радостное „ура“!

— Ты, навѣрное, пришелъ съ какою-нибудь особенною новостью,—замѣтилъ Пюкъ.—У тебя недаромъ такая сіяющая, торжественная улыбка.

— Угадалъ!—отвѣтилъ Бакерманъ.—Ну, друзья мои, у меня таки явился такой микробъ, какого именно мнѣ хотѣлось, и я назвалъ его morti-fulgurans'омъ.

— Браво!—сказалъ Мюллеръ.—Я такъ и зналъ, что ты добьешься своего. Но ты на этомъ не останавливайся, а продолжай идти далѣе по избранному тобою пути... Знаешь, какого еще микроба тебѣ слѣдуетъ открыть?

— Нѣтъ...

— Микроба хорошаго расположенія духа, дѣйствіе котораго надо бы испробовать прежде всего на твоей супругѣ.

— Да, это, дѣйствительно, было бы дѣломъ, достойнымъ самаго усидчиваго труда,—согласился Бакерманъ.—Однако, я ужасно хочу пить, а потомъ сыграемъ двѣ—три партіи,—заявилъ онъ, комфортабельно усаживаясь на своемъ обычномъ мѣстѣ.

Никогда еще пиво и табакъ не казались такими вкусными и игра такою интересною, какъ въ этотъ достопамятный вечеръ, и потому профессоръ засидѣлся дольше обыкновеннаго.

Наконецъ, далеко за полночь, выпивъ за благоденствіе своего morti-fulgurans'а, почтенный ученый вспомнилъ, что пора и домой.

Нѣжно расцѣловавшись на прощаньи съ друзьями, онъ поплелся съ тяжелою головою и колеблющимися шагами къ своему домашнему очагу.

Madame Бакерманъ, конечно, уже была въ постели. Супругъ не поинтересовался узнать, спитъ она или нѣтъ, а поскорѣе самъ раздѣлся и легъ. Черезъ минуту онъ заснулъ, какъ убитый.

Часовъ въ шесть утра онъ, однако, былъ разбуженъ супругой, которая толкала его изо всѣхъ силъ и кричала:

— Германъ! Германъ! да проснись же, наконецъ!

Долго онъ все только мычалъ что-то, не будучи въ состояніи очнуться, но въ концѣ концовъ все-таки пришелъ немного въ себя.

— Ну, что тебѣ надо?—спросилъ онъ далеко не любезно.— Пожаръ, что-ли, у насъ?

Оказалось, что madame Бакерманъ чувствуетъ во всемъ тѣлѣ невыносимую боль. Она сидѣла въ постели блѣдная, съ осунувшимся лицомъ и блуждающими глазами.

— Ну, это какіе-нибудь пустяки,—замѣтилъ профессоръ, взглянувъ на нее сонными глазами.—Позови Терезу и она дастъ, чего тебѣ тамъ нужно.

Проговоривъ это и нажавъ пуговку электрическаго звонка, проведеннаго въ людскую, онъ снова заснулъ.

Тереза испугалась, увидавъ страшную перемѣну, совершившуюся съ ея госпожей, страданія которой между тѣмъ все увеличивались.

Прошло полчаса. Утро едва начинало брезжить.

— Сударь! сударь!—кричала служанка надъ ухомъ профессора,—барынѣ очень худо!

На этотъ разъ Бакерманъ окончательно проснулся и самъ убѣдился, что съ женой его дѣйствительно очень худо.

— Ступай сейчасъ же за докторомъ Ротбейномъ и возьми въ аптекѣ морфія и хинина,—распорядился онъ.

Все тѣло madame Бакерманъ было холодно, какъ ледъ, лицо посинѣло, а зрачки глазъ страшно расширились.

— Жозефа! Жозефа! что съ тобой?—спрашивалъ профессоръ, нагнувшись надъ нею.

— Другъ мой, прости меня,—прошептала она.—Я чувствую, что умираю... Я сама виновата... я осмѣлилась...

— Что такое?—съ испугомъ проговорилъ Бакерманъ.

— Ты знаешь... адская комната... адская комната эта... я, вѣдь...

— Да говори же, говори!... При чемъ тутъ адская комната?

Сильныя спазмы сжали профессоршѣ горло, такъ что она не могла отвѣтить.

— Что съ адской комнатой, Жозефа?... Да скажешь ты наконецъ?!—приставалъ Бакерманъ.

Но супруга его уже была безъ сознанія и корчилась въ конвульсіяхъ предсмертной агоніи.

Явился профессоръ Ротбейнъ, тоже одинъ изъ друзей Бакермана, прославившійся своими безошибочными діагнозами.

Съ серьезною миною осмотрѣвъ больную, онъ покачалъ головою.

— Ну, что?—спросилъ Бакерманъ.

— Бодрись, бѣдный другъ. Дѣло очень плохо.

— Но что съ нею такое?

Ротбейнъ немного призадумался, потомъ еще разъ изслѣдовалъ паціентку и сказалъ:

— У нея очень рѣдкая болѣзнь, которая почти никогда еще не бывала въ Европѣ; это—дагомейскій кусми-кусми.

— Неужели?!

Бакерманъ вздохнулъ свободнѣе, избавившись отъ страшнаго подозрѣнія, закравшагося, было, ему въ голову.

— Да, это кусми-кусми,—продолжалъ Ротбейнъ, болѣе увѣренно.—Нечего и сомнѣваться, дорогой другъ. Всѣ симптомы на лицо: внезапность заболѣванія, блѣдность, расширеніе зрачковъ, спазмы, чрезвычайно низкая температура тѣла и наступившее вотъ сейчасъ состояніе каталепсіи...

Онъ бы продолжалъ еще долго распространяться на эту тему, если-бы тутъ же madame Бакерманъ не испустила духъ.

Было восемь часовъ утра. Вѣсть о страшной болѣзни и быстрой смерти профессорши Бакерманъ начала уже распространяться черезъ Терезу, и на улицѣ собирались кучки людей, оживленно обсуждавшихъ это экстраординарное событіе.

Самъ Бакерманъ предался глубокому унынію: хотя діагнозъ Ротбейна и разсѣялъ отчасти его опасенія, но слова Жозефы насчетъ посѣщенія ею лабораторіи продолжали сильно тревожить его.

„Ну, что если она, въ припадкѣ безумной ревности, дѣйствительно была въ лабораторіи и искала тамъ писемъ?!“

Не имѣя болѣе силъ выносить мучительной неизвѣстности, онъ побѣжалъ въ лабораторію.

Увы! Дверь адской комнаты была отворена, и профессоръ убѣдился съ перваго взгляда, что отворяли его шкапъ, въ кото-

ромъ стояли флаконы съ микробами; ясно было, что трогали, передвигали, переставляли и эти флаконы. Этого мало—святотатственная рука даже опрокинула тотъ самый сосудъ съ бульономъ, въ которомъ былъ заключенъ самъ morti-fulgurans!

Теперь нечего было болѣе сомнѣваться, что madame Бакерманъ заразилась страшнымъ микробомъ и умерла именно отъ его дѣйствія. Отъ ея трупа зараза могла распространиться на весь городъ и превратить его въ нѣсколько дней въ одно громадное кладбище. Одинъ Бакерманъ былъ застрахованъ отъ этой заразы, а всѣ остальные обитатели Брунвальда неминуемо должны были погибнуть, если не принять немедленно же какихъ-нибудь рѣшительныхъ мѣръ.

Профессора пробирала холодная дрожь при мысли, что Тереза, Ротбейнъ и всѣ ближайшіе сосѣди навѣрное уже готовятся быть жертвами morti-fulgurans'a.

Въ ужасѣ онъ поспѣшилъ возвратиться домой и распорядился дезинфецировать весь домъ сверху и до низу самыми сильными средствами, хотя сознавалъ, что это вовсе не поможетъ.

Дѣйствительно, около десяти часовъ утра, Тереза начала чувствовать жестокую головную боль. Немного погодя, появился ознобъ, а затѣмъ сдѣлались судороги. Въ теченіе двухъ часовъ болѣзнь такъ прогрессировала, что къ полудню Тереза уже умерла

Бакерманъ присутствовалъ при ея агоніи и окончательно убѣдился, что это загулялъ по бѣлому свѣту никакъ не кусмикусми, а прямо его новооткрытый микробъ morti-fulgurans. Сомнѣваться было невозможно: всѣ предвидѣнные профессоромъ симптомы были на лицо. Не смотря на свое отчаяніе, Бакерманъ не могъ не восторгаться энергіею и интензивностью этого микроба. Едва успѣлъ онъ выйти изъ своего заключенія, какъ ужъ торжествуетъ побѣду за побѣдой. Какіе-нибудь три часа—и всему конецъ. Сначала поражается нервная система, потомъ стѣсняется дыханіе, затѣмъ слѣдуетъ пониженіе температуры и спазмы сердца, которыми все и кончается.

Какъ это послѣдовательно, неуклонно и точно! О, да этотъ morti-fulgurans обладаетъ феноменальною разрушительною силою и положительно неодолимъ. Аптекарскія снадобья всего міра не могутъ не только уничтожить, но даже парализировать его.

Что-жъ теперь, однако, дѣлать? Нужно остановить распространеніе заразы, но это не возможно. Слѣдовательно, остается только смотрѣть, какъ morti-fulgurans будетъ продолжать свое тріумфальное шествіе? Нѣтъ и это немыслимо... Глядѣть на это, сложа руки—чудовищнѣе такого положенія и придумать нельзя!

Бакерманъ хорошо зналъ своего morti-fulgurans'a, зналъ, что ничто, рѣшительно ничто не въ состояніи унять его. Вѣдь, это

настоящій микробъ, а не какая-нибудь только плохонькая переходная форма его, это тоже самое, что электрическій свѣтъ въ сравненіи съ жалкою сальною свѣчею... Пусть же такъ! Жребій брошенъ: morti-fulgurans вырвался на волю, загулялъ по земному шару—пусть же его гуляетъ себѣ, пока самому не надоѣстъ. Дѣлать болѣе нечего!

Къ вечеру въ городѣ уже было еще 17 смертныхъ случаевъ отъ новой болѣзни. Аптекарскій ученикъ, который отпускалъ Терезѣ лѣкарство, умеръ въ три часа дня. Въ четыре часа умеръ Ротбейнъ, въ пять умерли два аптекарскихъ провизора, въ шесть часовъ не стало четырехъ кліентовъ Ротбейна, пяти посѣтителей аптеки и четырехъ сосѣдокъ Бакермана, говорившихъ по утру съ Терезою.

Наиболѣе читаемая мѣстная газета дала въ вечернемъ выпускѣ статью слѣдующаго содержанія:

,,Съ глубокимъ прискорбіемъ сообщаемъ нашимъ читателямъ, что въ нашемъ мирномъ городкѣ появилась болѣзнь, занесенная съ Востока. До настоящей минуты отъ нея уже умерло девятнадцать человѣкъ, и мы знаемъ изъ достовѣрныхъ источниковъ, что въ разныхъ частяхъ города находится большое число больныхъ. Болѣзнь начинается внезапно и непремѣнно кончается смертью въ теченіе двухъ-трехъ часовъ, не поддаваясь никакимъ средствамъ. Очень вѣроятно, что эта болѣзнь производится какимъ-нибудь еще неизвѣстнымъ намъ микробомъ, но компетентныя лица утверждаютъ, что это кусми-кусми, родъ заразительной чумы, давно уже наблюдаемой въ Дагомеѣ. Теряемся въ догадкахъ относительно способа проникновенія кусми-кусми въ Брунвальдъ. Положимъ, что достаточнымъ объясненіемъ могла бы служить легкость сношеній Германіи съ Африкою, но почему же остались неприкосновенными промежуточныя страны? Ждемъ рѣшенія этого вопроса отъ нашихъ гигіенистовъ.

,,Какъ бы то ни было, но болѣзнь, очевидно, страшная. Надѣемся, что знанія нашихъ медиковъ съумѣютъ быстро побороть ее, и что наши сограждане, славящіеся своимъ благоразуміемъ, не допустятъ себя сдѣлаться жертвами безразсудной паники“.

Между тѣмъ у профессора Бакермана становилось съ каждой минутой все мрачнѣе и мрачнѣе на душѣ. Собственно о смерти супруги онъ не особенно сокрушался: слишкомъ ужъ мало подавала она повода жалѣть о потерѣ ея! Угнетало его единственно страшно быстрое распространеніе эпидеміи.

Онъ старался придумать какое-нибудь средство остановить ее, но мысли безъ толку бродили въ его головѣ, не останавливаясь ни на чемъ существенномъ.

Что, въ самомъ дѣлѣ, предпринять, когда ему извѣстно, что

morti-fulgurans неуничтожимъ? Въ обыкновенную эпидемію умираютъ не всѣ пораженные болѣзнью, а многихъ она вовсе даже и не касается, да потомъ она, наконецъ, имѣетъ же предѣлъ: вслѣдствіе постепеннаго истощенія, микробы все болѣе и болѣе слабѣютъ и въ концѣ-концовъ сами погибаютъ. Но въ данномъ случаѣ ничего подобнаго нельзя ожидать. Morti-fulgurans не истощится; напротивъ, чѣмъ болѣе она будетъ распространяться, тѣмъ болѣе будетъ прибывать его сила,—таково ужъ его, исключительно *ему* присущее, свойство. Онъ заставитъ исчезнуть съ лица земли все человѣчество, а самъ будетъ продолжать царить на ней неограниченнымъ владыкою.

Въ душѣ Бакермана поднялась страшная борьба, безпримѣрная еще въ исторіи психическихъ ощущеній. Никогда еще ни одинъ смертный не чувствовалъ на себѣ такой подавляющей своею тяжестью отвѣтственности. Хорошо бы еще, еслибъ можно было прекратить зло торжественнымъ открытіемъ истины, но, вѣдь, это не поведетъ ровно ни къ чему. Скажетъ онъ или не скажетъ настоящую причину возникновенія эпидеміи,—все равно ея не остановить. Для чего же тогда и говорить? Онъ охотно сознался бы во всемъ публично, если бъ можно было спасти этимъ хоть одну жертву, а то, вѣдь, нѣтъ; онъ напрасно отдастъ имя Бакермана на вѣковѣчный позоръ, подвергнетъ его проклятію грядущихъ поколѣній... А можно развѣ надѣяться, что хоть часть человѣчества выдержитъ разрушительную силу morti-fulgurans'а? Можно еще ожидать будущихъ поколѣній?...

Профессоръ горько улыбнулся, когда дошелъ снова до заключенія, что благодаря ему „грядущихъ“ поколѣній вовсе и не будетъ.

Съ другой стороны, можетъ быть, это дѣйствуетъ вовсе и не morti-fulgurans. Вѣдь, Ротбейнъ сразу, не колеблясь, констатировалъ кусми-кусми. Почему бы не быть правымъ Ротбейну? Зачѣмъ же опровергать его, признанное въ добавокъ всѣмъ обществомъ, мнѣніе, и дѣлаться собственнымъ палачемъ?

Не хорошо имѣть претензію знать самому больше всѣхъ остальныхъ людей науки! Ротбейнъ сказалъ, что это кусми-кусми, другіе поддержали его мнѣніе,—ну, и пусть будетъ кусми-кусми! Да, вѣдь, и все-равно—говори-не-говори, а никого этимъ не спасешь; поэтому лучше не говорить!

Однако, голосъ совѣсти былъ сильнѣе всѣхъ этихъ соображеній изворотливаго ума.

„Бакерманъ!“—говорила совѣсть,—„ты лжешь самому себѣ. Ты хорошо знаешь, что твоя жена умерла отъ morti fulgurans'а, что никакого кусми-кусми тутъ нѣтъ и что одинъ ты причиною той страшной эпидеміи, которая истребитъ все человѣчество. Если

хочешь уменьшить вину своего проступка, ты долженъ открыто сознаться во всемъ, и если ты этого не сдѣлаешь, то будешь величайшимъ негодяемъ, когда-либо сбременявшимъ собою землю!“

Бакерманъ сдался этимъ доводамъ своего внутренняго судьи. Онъ вдругъ почувствовалъ въ себѣ геройство древнихъ мучениковъ и рѣшился немедленно-же искупить свою вину. Да, онъ хотѣлъ испить горькую чашу до дна!

У него былъ врагъ, смертельный врагъ, въ лицѣ профессора Гюго Кранквейна, его соперника въ наукѣ о микробахъ, маленькаго лысаго человѣчка съ лисьей мордочкой, очень ученаго, очень односторонняго и очень завистливаго. Этому Кранквейну онъ, Бакерманъ, и откроетъ свое преступленіе.

Бакерманъ одѣлся и вышелъ изъ дому.

Кранквейнъ жилъ въ отдаленномъ предмѣстьѣ, куда рѣдко кто къ нему забирался. На звонокъ Бакермана онъ самъ отперъ дверь, но отскочилъ въ испугѣ, увидавъ разстроенную физіономію своего коллеги.

— Это вы?! воскликнулъ онъ, тараща свои хитрые, круглые глаза.—Что съ вами?

— Да, это я, со вздохомъ отвѣтилъ Бакерманъ.—Жена моя умерла сегодня подъ утро.

— Слышалъ, сказалъ Кранквейнъ съ лицемѣрной печалью. —Она, бѣдная, была первою жертвою кусми-кусми.

— Вовсе не кусми-кусми! запальчиво крикнулъ Бакерманъ.— Пожалуйста, не поминайте этого миѳическаго кусми-кусми!... Его вовсе и не существуетъ; вы всѣ носитесь съ пустымъ звукомъ... Не фикція какая-нибудь тутъ дѣйствуетъ, а просто-напросто—мой bacillus morti-fulgurans!

— Эгэ, помѣшался, бѣдняжка! подумалъ не безъ чувства злорадства Кранквейнъ.—Я хорошо знаю эту исторію, сказалъ онъ вслухъ тономъ полуснисходительнаго презрѣнія, которымъ говорятъ съ дѣтьми да съ больными,—ваша уважаемая покойная супруга купила восточныхъ ковровъ, прибывшихъ прямо изъ Дагомеи, служащей очагомъ кусми-кусми. Послѣдствія ясны, какъ Божій день.

— А я вамъ говорю, что нѣтъ кусми-кусми и никогда его и не бывало! горячился Бакерманъ.—Да и развѣ можетъ какая-бы то ни была болѣзнь, при настоящемъ высокомъ положеніи медицины и обиліи всевозможныхъ цѣлебныхъ средствъ, убить въ теченіе трехъ часовъ совершенно здороваго человѣка? Развѣ можетъ поразить такъ внезапно, безъ всякихъ предшествующихъ симптомовъ? Нѣтъ, тысячу разъ нѣтъ! Ни одна изъ извѣстныхъ намъ до сихъ поръ болѣзней не выражается и не дѣйствуетъ такъ, да и противъ нихъ всѣхъ есть вѣрныя средства, поняли вы?...

Повторяю: это мой новооткрытый микробъ morti-fulgurans убилъ Жозефу и свирѣпствуетъ теперь по городу, а не кусми-кусми.

Кранквейнъ саркастически усмѣхнулся.

— Дорогой Бакерманъ, проговорилъ онъ по возможности мягко, чтобы не раздражать болѣе посѣтителя, начинавшаго казаться ему просто „опаснымъ субъектомъ“,—очевидно, горе совсѣмъ сбило васъ съ толку. Morti-fulgurans ничто иное, какъ плодъ вашего больного воображенія, а данное положеніе слишкомъ серьезно, чтобы останавливаться на невѣроятныхъ гипотезахъ.

— Гипотезахъ?! воскликнулъ Бакерманъ, багровѣя отъ негодованія.—Какія тутъ *гипотезы*!? Понимаете-ли вы то, что говорите?... Morti-fulgurans вовсе не плодъ воображенія, а существо реальное... слишкомъ даже реальное, какъ я теперь убѣждаюсь!.. Я... *я* самъ создалъ его, вырвалъ его изъ небытія. Я сдѣлалъ его неприкосновеннымъ, непобѣдимымъ, презирающимъ медиковъ всего міра со всѣми ихъ знаньями и снадобьями!.. Я держалъ его въ своей лабораторіи, я отравилъ имъ madame Бакерманъ, Ротбейна, Терезу и еще пятьсотъ человѣкъ, а вы толкуете мнѣ о плодахъ воображенія да о гипотезахъ!... Это *вы* ими всю жизнь пробавляетесь, а ужъ никакъ не я, основывающійся единственно на опытѣ и строго провѣренныхъ фактахъ!

— Успокойтесь, дорогой коллега, прошу васъ, успокойтесь. Завтра утромъ я возвращу вамъ вашъ визитъ, и вы сами согласитесь съ тѣмъ, что вы сегодня... по меньшей мѣрѣ, заблуждались.

— Однако, видите-же вы, что самого меня не трогаетъ эта болѣзнь,—значитъ, это дѣйствительно мой morti-fulgurans, отъ вліянія котораго я съумѣлъ оградить хоть самого себя, всесторонне изучивъ его свойства и...

Не договоривши, Бакерманъ вдругъ остановился, пораженный новой мыслью, сверкнувшей въ его мозгу, какъ молнія, и разсѣявшей сразу все то, что угнетало и мучило его.

— Нашелъ, нашелъ! крикнулъ онъ во все горло и, не простившись даже съ растерянно смотрѣвшимъ на него Кранквейномъ, бросился бѣжать.

— А, вѣдь, Бакерманъ и въ самомъ дѣлѣ сошелъ съ ума! подумалъ Кранквейнъ, покачивая своею безволосою головою.— Положимъ, и раньше-то его умственныя способности были не изъ блестящихъ, а въ настоящее время онъ совсѣмъ свихнулся.

На этомъ почтенный Кранквейнъ и успокоился. Онъ также былъ застрахованъ отъ вліянія всевозможныхъ эпидемій, и потому не боялся кусми-кусми. Участь-же его согражданъ очень мало интересовала его, а въ morti-fulgurans'а онъ положительно не вѣрилъ.

Бакерманъ шелъ домой гигантскими шагами, размахивая руками и разсуждая самъ съ собою вслухъ:

— Нашелъ, нашелъ! повторялъ онъ.—Вѣдь, мой morti-fulgurans былъ культивированъ съ помощью отрицательнаго электричества, такъ что положительное несомнѣнно должно немедленно убить его... Это вѣрно, абсолютно вѣрно и такъ-же мало можетъ быть подвергнуто сомнѣнію, какъ то, что дважды два—четыре. Посредствомъ положительнаго электричества онъ тотчасъ-же будетъ уничтоженъ, стертъ въ порошекъ; онъ сдѣлается такимъ же безвреднымъ, какимъ былъ, когда я извлекъ его изъ масла... Нѣтъ, онъ будетъ и еще безобиднѣе!... И люди будутъ продолжать свое существованіе и нечего имъ будетъ бояться!... Да, нужно только положительное электричество, чтобы спасти міръ, спасти человѣчество, обезпечить дальнѣйшую возможность появленія безчисленнаго множества будущихъ поколѣній и увѣковѣчить имя Бакермана!... Такъ принимайся же живѣе за дѣло, Бакерманъ! Ты накликалъ бѣду, но ты же, ты одинъ, можешь поправить ее... Да, уничтожить morti-fulgurans'а можетъ лишь тотъ, кто создалъ его!...

Между тѣмъ эпидемія шла тоже гигантскими шагами. Брунвальдомъ она завладѣла уже вполнѣ. Не было почти ни одного дома, въ которомъ-бы не имѣлось по крайней мѣрѣ хоть одного больного, и всѣ эти больные умирали съ поразительною быстротою. Ничѣмъ нельзя было ни остановить развитіе этой загадочной болѣзни, ни уберечься отъ нея.

Всѣ растерялись и впали въ уныніе. Заботливая администрація тщетно распорядилась безпрерывнымъ орошеніемъ всего города посредствомъ паровыхъ насосовъ самыми сильными дезинфецирующими жидкостями.

Телеграфъ принесъ тоже весьма неутѣшительныя извѣстія. Утромъ на другой день послѣ смерти первыхъ жертвъ morti-fulgurans'а въ Брунвальдѣ, въ Берлинѣ уже насчитали по разнымъ частямъ города десять случаевъ смерти отъ „новой" болѣзни, занесенной туда молодымъ человѣкомъ, пріѣхавшимъ изъ Брунвальда. Конечно, первыми въ Берлинѣ умеръ онъ со своими семью спутниками, сидѣвшими съ нимъ въ одномъ вагонѣ.

Быстрота и точность дѣятельности феноменальнаго микроба были изумительны. О принятіи какихъ-либо оградительныхъ мѣръ нечего было и думать. Устройство карантина прямо было немыслимо, тѣмъ болѣе, что всѣ пограничныя системы, стѣснявшія свободу передвиженія людей изъ одной страны въ другую, уничтожены. Затѣмъ, вѣдь, поѣздъ, движущійся силою сжатаго пара, идетъ, напр., изъ Кадикса въ Петербургъ всего *двѣнадцать часовъ*. Въ XIX вѣкѣ едва могли достигнуть быстроты движенія 60

километровъ въ часъ, и то дивились этому, какъ чуду, но теперь не то! Но за то и въ теченіе одной лишь ночи вся Европа уже была заражена страшнымъ микробомъ.

Къ вечеру того-же дня общее состояніе Европы представлялось въ слѣдующемъ видѣ: городъ Брунвальдъ въ половину вымеръ, Берлинъ, Вѣна и Мюнхенъ заражены во всѣхъ концахъ, Парижъ, Лондонъ и С.-Петербургъ насчитываютъ уже по нѣскольку смертныхъ случаевъ. Ясно, что черезъ 48 часовъ будетъ зараженъ весь земной шаръ, а еще черезъ нѣсколько времени не останется въ живыхъ уже *ни одного человѣка*!

Было отъ чего затрепетать даже самымъ неустрашимымъ людямъ.

Одинъ Бакерманъ ужъ не боялся болѣе, зная навѣрное, что есть средство побѣдить, казавшагося непобѣдимымъ, микроба. Онъ проработалъ всю ночь, а рано утромъ на рыночной площади уже красовалось громадныхъ размѣровъ объявленіе, гласившее слѣдующее:

„Профессоръ Бакерманъ излѣчиваетъ отъ кусми-кусми электричествомъ“.

Воспользовавшись названіемъ кусми-кусми, Бакерманъ трусливо уступалъ общему мнѣнію, такъ какъ и публика, и газеты, и ученые, и медики только и говорили, что о кусми-кусми, не допуская и возможности какой-либо другой болѣзни Конечно, Бакерманъ сдѣлалъ эту уступку далеко не безъ горечи и лишь съ трудомъ заставилъ себя умолчать о morti-fulgurans'ѣ—своемъ, такъ сказать, дѣтищѣ. Но, вѣдь, надо-же было принести хоть какую-нибудь жертву, разъ по его милости готовилась гибель всего человѣчества, и Бакерманъ добросовѣстно принесъ ее, отрекшись отъ придуманнаго имъ самимъ для своего новаго диковиннаго микроба имени. Не сдѣлай онъ этого, на его объявленіе не скоро бы обратили вниманіе, а если-бы и обратили, то не повѣрили бы ему: „люди, молъ, мрутъ отъ кусми-кусми, а онъ предлагаетъ лѣчить отъ какого-то morti-fulgurans'а—что же тутъ общаго?“

Въ своей пріемной Бакерманъ устроилъ большое возвышеніе, на которомъ стояло нѣсколько креселъ и постелей. Посрединѣ находился массивный столбъ, обернутый электрическими проводами. Отрицательное электричество, т. е., которое поддерживало жизнь morti-fulgurans'а, все уходило въ землю, а положительное, представлявшее собою смерть микроба—цѣликомъ проходило въ самую эстраду. Надо было только вступить на эту эстраду, чтобы моментально зарядиться положительнымъ электричествомъ и тѣмъ вполнѣ гарантироваться отъ ужасныхъ дѣйствій микроба.

Первый больной, взнесенный на эстраду профессора Бакермана, былъ Цезарь Пюкъ. Онъ ужасно страдалъ, корчась уже въ

предсмертныхъ судорогахъ. Не прошло и десяти секундъ, какъ судороги и сопряженная съ ними боль прекратились, температура почти уже застывшаго тѣла сразу сдѣлалась нормальной, какъ и дыханіе, и пульсъ. Подъ вліяніемъ этого чуда, на лицѣ Цезаря Пюка появилось опять обычное, веселое и довольное выраженіе.

Кранквейнъ, присутствовавшій при этомъ экспериментѣ, сначала иронически улыбался, а потомъ глубоко задумался, пораженный всѣмъ происходившимъ на его глазахъ.

Результатъ эксперимента, хотя и предвидѣнный, но все-же подлежавшій нѣкоторому сомнѣнію, обрадовалъ Бакермана до такой степени, что онъ лишился чувствъ.

Его отнесли въ спальню

Не прошло и полчаса послѣ исцѣленія Цезаря Пюка, какъ уже весь Брунвальдъ заговорилъ объ этомъ событіи. Узнавъ, въ чемъ именно состоялъ секретъ исцѣленія, брунвальдцы поспѣшили устроить нѣсколько публичныхъ эстрадъ по системѣ Бакермана. Къ полудню этихъ сооруженій въ городѣ уже насчитывалось четырнадцать; понятно, что онѣ осаждались громадными толпами народа.

Какъ только было пущено въ ходъ положительное электричество, смертность стала быстро уменьшаться. Съ девяти часовъ до десяти было 435 смертныхъ случаевъ. Это была самая большая цифра. Къ 11 часамъ она спустилась на 126, въ 12 ч. было всего 32, въ часъ—8, а отъ часу до двухъ умеръ только одинъ человѣкъ—старый, упрямый докторъ, который и слышать не хотѣлъ о лѣченіи кусми-кусми электричествомъ, говоря, что эта болѣзнь въ Дагомеѣ лѣчится безъ электричества, но такимъ средствомъ, которое только тамъ и существуетъ, и что онъ, Мейнфельдъ, слишкомъ долго пожилъ на свѣтѣ, чтобы позволить себѣ вѣрить всякимъ новомоднымъ глупостямъ.

Такимъ образомъ Брунвальдъ сразу совершенно успокоился. Но за то чудовищный микробъ производилъ страшныя опустошенія въ другихъ городахъ. Телеграфъ ежеминутно сообщалъ удручающія новости. Въ ту минуту, когда населеніе Брунвальда, благодаря положительному электричеству, было внѣ всякой опасности, въ Берлинѣ уже насчитывалось умершихъ 45, 329 человѣкъ, въ Вѣнѣ 7,542, въ Мюнхенѣ 4,673, въ Парижѣ 54,376 и въ Лондонѣ 684,539!

Подобной опустошительной эпидеміи никогда еще не бывало на землѣ, и было отчего придти въ отчаяніе всѣмъ и каждому.

Какъ только американцы узнали объ этой эпидеміи, они немедленно приняли самыя рѣшительныя мѣры, чтобы оградить отъ нея Новый Свѣтъ. Весь флотъ мигомъ былъ объявленъ на

военномъ положеніи и готовился встрѣтить пушечными выстрѣлами и взрывать торпедами, начиненными тетранитродинамитомъ, всякое судно, выказывавшее бы поползновеніе проникнуть за извѣстную черту.

Повсюду воцарилось полное уныніе. Всѣ ожидали конца всего живущаго. Многіе, желая избѣгнуть мучительной агоніи, предшествовавшей смерти отъ загадочной болѣзни, убивали себя сами. Всѣ дѣла пріостановились, весь существующій порядокъ разрушился внезапно самъ собою. Не было болѣе ни желѣзнодорожнаго, ни пароходнаго, ни какого-либо другаго сообщенія, исчезла полиція, исчезла администрація.

Было констатировано нѣсколько своеобразныхъ преступленій: люди, до того жившіе совершенно мирно, но тутъ вдругъ потерявшіе голову отъ паники, убили наповалъ изъ револьверовъ своихъ постоянныхъ поставщиковъ, пришедшихъ къ нимъ съ продуктами. Звѣрскіе инстинкты, дремлющіе во всѣхъ насъ до поры до времени, вдругъ проснулись и дали себя знать. Цивилизованный міръ, гордый своей культурностью и благообразностью, внезапно проявилъ такую-же дикость, какая была въ эпоху каменнаго оружія, если еще не большую.

Одинъ телеграфъ продолжалъ работать попрежнему, такъ что въ полдень описываемаго дня онъ уже оповѣстилъ весь готовившійся къ неминуемой смерти міръ, что средство противъ кусми-кусми найдено знаменитымъ брунвальдскимъ профессоромъ Бакерманомъ. Своимъ геніальнымъ умомъ Бакерманъ открылъ, что страшилище, называемое микробомъ кусми-кусми, моментально погибаетъ отъ положительнаго электричества. Чтобы избавиться отъ кусми-кусми, стоитъ только побыть нѣсколько секундъ на эстрадѣ, заряженной положительнымъ электричествомъ. Средство это уже спасло Брунвальдъ отъ окончательнаго вымиранія.

Эта новость быстро распространилась повсюду. Въ этотъ-же вечеръ по всей Европѣ была наставлена масса громадныхъ эстрадъ съ проводами, протянутыми отъ колоссальныхъ электрическихъ машинъ. Народъ валилъ къ нимъ несмѣтными толпами и смертность уменьшалась съ такою-же быстротою, съ какою раньше увеличивалась.

Кусми-кусми, видимо, побивался на каждомъ шагу. Эта эпидемія послужила въ концѣ концевъ къ тому, что для генія человѣка не существуетъ никакихъ преградъ и что стихійная сила всегда будетъ усмиряться силою разума и знаній людей.

Эта-же эпидемія принесла и свою пользу: раньше на каждую общественную должность было много претендентовъ, а тутъ сразу появилось нѣсколько вакансій и образовался нѣкоторый просторъ.

Профессоръ Германъ Бакерманъ вдругъ сдѣлался героемъ дня. Телеграммы приходили къ нему со всѣхъ сторонъ сотнями. Нѣкоторые изъ сувереновъ удостоили его личнымъ изъявленіемъ благодарности, такъ какъ и суверены дорожатъ жизнью не менѣе простыхъ смертныхъ. Такимъ образомъ профессоръ Бакерманъ получилъ слѣдующіе знаки отличія: орденъ Подвязки, орденъ Бани, Золотого Руна, Чернаго Орла, Краснаго Орла, Бѣлаго Слона, Зеленаго Дракона и многихъ другихъ второстепенныхъ. Имя Бакермана, раньше не выходившее за предѣлы отечества, въ одинъ день загремѣло по всему свѣту.

Онъ относился къ своему торжеству очень скромно и съ горячимъ радушіемъ принималъ являвшіяся къ нему съ поздравленіями депутаціи отъ различныхъ обществъ и корпорацій.

— Помилуйте, друзья мои, говорилъ онъ, пожимая всѣмъ руки;—вся моя заслуга состоитъ въ томъ, что мнѣ пришла въ голову хорошая мысль—вотъ и все, и я считаю лучшею наградою себѣ то, что смогъ спасти васъ всѣхъ и... вообще все человѣчество отъ неминуемой гибели.

Самъ Кранквейнъ поспѣшилъ къ Бакермару съ визитомъ.

— Вотъ вы и прославились, дорогой коллега! сказалъ онъ съ кисло-сладкой улыбкой.—А, вѣдь, сознайтесь,—всему виной слѣпой случай! Не вздумай madame Бакерманъ купить восточныхъ ковровъ, прибывшихъ изъ Дагомеи и не сиди въ этихъ коврахъ коварный кусми-кусми,—тогда-бы вы далеко не ушли.

Во всѣхъ странахъ Европы шла дѣятельная переписка для сбора пожертвованій на сооруженіе памятника Бакерману. Въ теченіе одного дня было собрано нѣсколько милліоновъ и распорядительный комитетъ постановилъ, чтобы прежде всего грандіозный памятникъ былъ воздвигнутъ на главной площади Брунвальда.

Несмотря на свою всемірную славу, Бакерманъ остался тѣмъ-же безпритязательнымъ труженикомъ, какимъ былъ раньше. Онъ попрежнему проводитъ цѣлые дни въ своей излюбленной лабораторіи и работаетъ съ прежнимъ увлеченіемъ.

Регулярно каждый вечеръ онъ идетъ—теперь уже вполнѣ безпрепятственно—въ любимую „биргалле“. За устраненіе бывшихъ препятствій онъ безпрестанно воздаетъ въ душѣ хвалу morti-fulgurans'у. Засиживается онъ тамъ съ Цезаремъ Пюкомъ и Рудольфомъ Мюллеромъ подолгу, радуясь, что некому больше встрѣчать его дома бранью и упреками за продолжительное отсутствіе.

Но такъ какъ на свѣтѣ не бываетъ полнаго, абсолютнаго счастья, то и у профессора Германа Бакермана есть новое горе: онъ все еще никакъ не можетъ примириться съ тѣмъ, что никто не призналъ его morti-fulgurans'а, а всѣ толкуютъ лишь о кус-

ми-кусми, котораго давнымъ-давно болѣе не существуетъ, и такимъ образомъ наносится оскорбленіе взлелѣянному его трудами микробу. Впрочемъ, въ послѣднее время онъ начинаетъ понемногу утѣшаться, задумавъ создать новаго morti-fulgurans'а—болѣе сильнаго и непобѣдимаго, чѣмъ былъ первый, т. е. такого, котораго нельзя было-бы убить ничѣмъ въ мірѣ—даже тѣмъ или другимъ электричествомъ.

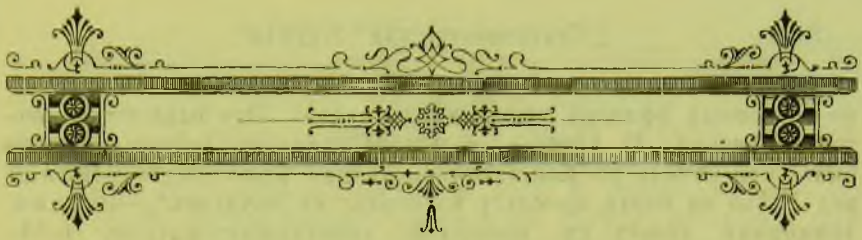
* * *

Чтобъ мириться съ ложью вѣчною,
Чтобы жизнь отрадой звать,
Чтобъ борьбу безчеловѣчную
Цѣлью жизни признавать;

Чтобъ за вѣчными туманами
Ждать разсвѣта, не путя,
Чтобы тѣшиться обманами,
Какъ наивное дитя;

Чтобъ въ любовь повѣрить жаркую,
Чтобъ не знать, что жизнь—тюрьма:—
Погаси лампаду яркую
Безпокойнаго ума.

Ф. Филимоновъ.



ПРИЗЪ. *)

Эпизодъ изъ крейсерства у восточныхъ береговъ Кавказа.

М. Би-р-ва.

Утро. Легкій туманъ лежитъ по всему пространству, которое глазъ окинуть можетъ. Все какъ-бы закутано въ полупрозрачную дымку; вѣтра почти нѣтъ. Справа, въ вышинѣ, чуть видны горы, покрытыя не то туманомъ, не то снѣгомъ; между ними, какъ колоссальная сахарная голова, высится одна, такъ называемая, Сеферъ-бея шапка. На военной шхунѣ, идущей малымъ ходомъ изъ Сухумъ-Кале въ Керчь, пробило 8 склянокъ (4 часа утра). Все тихо на суднѣ, только всплескъ винта за кормой да стукъ машины глухо раздаются въ туманѣ. По морскому счисленію, шхуна находилась въ $2^1/_2$ миляхъ отъ Сочи (бывшаго до восточной войны укрѣпленія Навагинскаго). Свѣтаетъ. Повинуясь легкому береговому вѣтерку, туманъ начинаетъ волноваться и уходить въ море. Песчаное побережье, окутанное зеленью и обставленное горами, выясняется все болѣе и болѣе; легкая рябь подернула море; солнце краснымъ шаромъ выглянуло изъ-за молочныхъ волнъ тумана. Вѣтеръ дохнулъ разъ, другой,—и туманъ исчезъ.—„Судно подъ носомъ"! раздался съ бака голосъ часового;

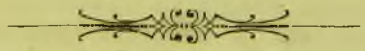
*) Призомъ по военно-морскимъ законамъ называется всякое судно, взятое въ военное время съ боя, или, какъ въ военное, такъ и въ мирное время, съ контрабандою или съ военными припасами. Пока не были покорены горцы, обитавшіе на восточномъ берегу Чернаго моря, т. е. до 1863 года, весь этотъ берегъ былъ объявленъ находящимся въ блокадѣ, съ воспрещеніемъ всякой по берегу моря торговли съ горцами. Для дѣйствительнаго-же выполненія этой задачи были назначаемы военныя суда Черноморскаго флота, которыя постоянно крейсировали или осматривали этотъ берегъ.

*

но вахтенный офицеръ уже увидѣлъ судно. Это была двухъ-мачтовая кочерма *), которая, пользуясь туманомъ, хотѣла, должно быть, проскочить въ Константинополь или Трапезундъ. „Полный ходъ! лѣво на бортъ, прислугу на верхъ, къ орудіямъ“,—раздался командный голосъ съ площадки; сигнальщикъ-матросъ побѣжалъ съ докладомъ къ командиру шхуны.—„Баковое орудіе зарядить холостымъ зарядомъ“, продолжалъ командовать вахтенный начальникъ. Раздалось торопливое пѣніе свистка, и въ моментъ на шхунѣ все, какъ возбужденное электричествомъ, проснулось и забѣгало. Вахтенный унтеръ-офицеръ, безпечно дремавшій до того у борта, оказалъ такую энергію, что одной рукой пристегивалъ лядунку, а другою собственноручно тащилъ ночникъ съ фитилемъ, совершенно забывъ, что это совсѣмъ не его обязанность. Чрезъ двѣ минуты было раскрѣплено орудіе, мелькнулъ за бортомъ прибойникъ и черномазая физіономія командора (наводчика) уставилась на площадку, ожидая приказанія выстрѣлить. Въ это время вышелъ на палубу командиръ шхуны, красивый мужчина высокаго роста, съ орденомъ Св. Георгія за храбрость. Поднявшись на площадку, онъ взялъ бинокль: кочерма была хорошо видна въ 120 саженяхъ съ лѣвой стороны. Увидя русское паровое судно, она хотѣла, по обыкновенію, поворотить къ берегу, но шхуна уже отрѣзала ей этотъ путь. Оставалось идти въ море, но вѣтеръ былъ тихъ, а на веслахъ уйти отъ парового судна, конечно, нечего было и думать. Но упрямые горцы, должно быть, думали иначе; они налегли на весла, разсчитывая все-таки убѣжать къ берегу, обогнавъ шхуну, или, какъ говорятъ моряки, „обрѣзать ей носъ“.—„Прикажите выстрѣлить изъ орудія“, сказалъ командиръ вахтенному офицеру. Раздалась команда, загремѣлъ выстрѣлъ и бѣлое кольцо дыма медленно направилось къ кочермѣ. Орудіе снова зарядили, на этотъ разъ ядромъ. На кочермѣ не переставали грести. Шхуна приближалась быстро. Всѣ взоры были обращены на маленькое суденышко, на которомъ восемь человѣкъ, закинувъ на затылокъ папахи, гребли изо всѣхъ силъ. Шхуна привела немного къ вѣтру, опять раздался выстрѣлъ и ядро вспѣнило фонтаномъ воду у самаго борта кочермы. Паруса лѣниво упали и гребцы убрали весла. Шхуна подходила все ближе и ближе, вотъ уже ясно видны загорѣлыя лица горцевъ; винтовки были уже вынуты изъ чехловъ и, какъ видно было, горцы готовились къ бою. Семь человѣкъ горцевъ прилегли на кормѣ съ видимымъ намѣреніемъ выстрѣлить, но потомъ, видно, одумались, выстрѣловъ не послѣдовало.—„Стопъ машина;

*) Небольшое судно, могущее ходить подъ веслами и подъ парусами; очень легкое на ходу, управляемое обыкновенно 4 или 5 человѣками.

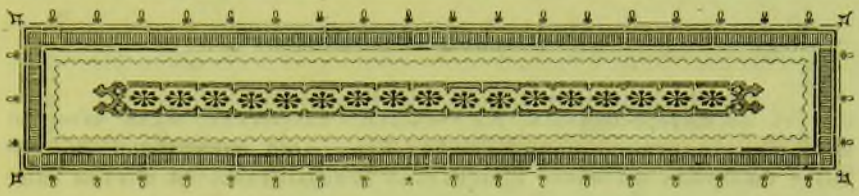
орудіе зарядить картечью“, раздалось съ площадки. Еще нѣсколько минутъ, и шхуна подошла къ кочермѣ на ближній пистолетный выстрѣлъ.—„Сдавайтесь!“ крикнули со шхуны; шестерка съ вооруженными гребцами слетѣла на воду и быстро направилась къ кочермѣ. Горцы сошлись въ кучу на кормѣ, посрединѣ стоялъ старикъ и что-то имъ говорилъ; затѣмъ онъ куда-то скрылся. Въ это время шестерка пристала къ кочермѣ и четверо вооруженныхъ гребцовъ съ офицеромъ вошли на палубу. Офицеръ отстегнулъ свою саблю и револьверъ и положилъ ихъ на палубу, показывая этимъ знакомъ, что слѣдуетъ и имъ положить оружіе. Одинъ изъ горцевъ, стоявшій впереди, какъ-то нерѣшительно посмотрѣлъ на офицера, и, указывая на шхуну, быстро заговорилъ на своемъ нарѣчіи. Видя, что его не понимаютъ, онъ сказалъ нѣсколько словъ своимъ, стоявшимъ сзади его, и первый подалъ свое оружіе матросу; остальные послѣдовали его примѣру, но съ такимъ видомъ, какъ будто они отдавали его на сохраненіе, а не сдавались въ силу необходимости. Оружіе было подано на шлюпку, и матросы знаками приглашали горцевъ садиться туда-же; они же нерѣшительно переминались и все поглядывали на носъ кочермы. Эти взгляды не ускользнули отъ офицера.—„Сидоренко“, обратился онъ къ одному матросу,—„поищи, не осталось-ли кого еще на кочермѣ.“ Коренастый матросъ медвѣжьимъ шагомъ отправился на бакъ исполнять приказаніе. Не успѣлъ онъ сдѣлать нѣсколькихъ шаговъ, какъ изъ-подъ спущеннаго паруса поднялся старикъ-горецъ и бросился въ воду. Черезъ полъ-минуты онъ вынырнулъ на поверхность; со шлюпки бросили ему весло, но онъ его оттолкнулъ; затѣмъ крикнулъ что-то своимъ, обернулъ голову башлыкомъ и пошелъ ко дну. Нѣсколько времени всѣ глаза были устремлены на то мѣсто, гдѣ скрылся подъ водою старикъ-горецъ,—но напрасно: онъ больше не показался на поверхности. „Отчаянный, видно“, проговорили матросы и начали торопить посадкой на шлюпку остальныхъ плѣнныхъ. Осмотрѣли кочерму: она была нагружена кожами и кукурузою: билета на вывозъ товаровъ, конечно, не оказалось, поэтому судно и грузъ составляли законный призъ. Серьезно, съ достоинствомъ взошли горцы на шхуну, и тотчасъ, усѣвшись въ кружекъ на бакѣ, закурили трубки. Тѣмъ временемъ на кочерму подали буксиръ, и, оставивъ на ней для управленія пятерыхъ матросовъ, шхуна съ призомъ повернула обратно въ Сухумъ. „Денегъ много было у того старика, что утонулъ“, такъ передалъ намъ потомъ переводчикъ со словъ горцевъ.



„НА ВОЛЮ!“

Меня зоветъ какой то тайный голосъ
Въ деревню мирную, подъ сѣнь родныхъ березъ,
Гдѣ съ василькомъ ведетъ бесѣду колосъ,
И по травѣ сверкаютъ искры слезъ...
Подъ сѣнь лѣсовъ,—подъ ихъ навѣсъ зеленый,
Къ могуче мчащейся кормилицѣ-рѣкѣ;
Туда, гдѣ шепчутся задумчивые клены,
Гдѣ мѣста нѣтъ сомнѣньямъ и тоскѣ...
И грезится порой, измученному шумомъ,
Мнѣ мирное село... зеленый косогоръ...
И лѣсъ таинственный въ раздуміи угрюмомъ
Рисуетъ мнѣ усталый, тусклый взоръ...
И слышу я напѣвы звучныхъ пѣсенъ,
Звучащіе печалью и тоской.
Мнѣ душно здѣсь!... Мнѣ этотъ городъ тѣсенъ
Съ своею сутолкой и вѣчной суетой...
Туда, туда!.. Гдѣ стелются туманы
Надъ золотистой нивою какъ флеръ,
И облака огнисты и румяны
Ведутъ въ выси неясный разговоръ.
Туда, туда!... Безплодные порывы!...
Мнѣ не уйти отъ жизни городской...
Мнѣ не видать родныя сердцу нивы,
И не дышать прохладою лѣсной...

Василій Миляевъ.



ПЕРВАЯ НЕВЗГОДА.

(Разсказъ).

А. Подосеновой.

Темнолиловая туча, сгущавшаяся на западѣ, разрасталась съ каждой минутой и бросала неровную тѣнь на зеленѣвшіе луга съ одной стороны рѣки и на высокія покрытыя густой зеленью горы— съ другой. Молнія зигзагами сверкала на горизонтѣ и громъ глухо рокоталъ гдѣ-то вдали.

Большой американскій пароходъ мѣрно двигался внизъ по теченію многоводной Камы. То попадалъ онъ въ темную полосу тѣни, образованной высокими громадами горъ, то тихо поворачивалъ на пространство, освѣщенное желтоватыми лучами, которые пробрызгивали изъ-за темнаго облачка.

Въ общей залѣ перваго класса собрались праздные, скучающіе пассажиры. Гроза на рѣкѣ являлась для нихъ развлеченіемъ. Одни банально восхищались ею, другіе смотрѣли на небо, на желтыя воды рѣки, на рельефное освѣщеніе горъ, на потемнѣвшій горизонтъ, потому что нужно-же было на что-нибудь смотрѣть, нужно было о чемъ-нибудь говорить, а во всей этой картинѣ были предметы для разговора, былъ предлогъ для короткаго пароходнаго знакомства.

Къ числу ухватившихся за этотъ предлогъ пассажировъ принадлежали и двѣ молодыя дѣвушки, сидѣвшія въ уютномъ уголкѣ пароходной гостиной, около піанино.

Хорошенькая брюнетка съ бойкими, красивыми глазками, съ живыми, но граціозными манерами и капризнымъ выраженіемъ енбольшаго рта перелистывала какую-то книжку, которою, очевидно,

ничуть не интересовалась. Ея сосѣдка, напротивъ, была всецѣло поглощена картиной начинавшейся бури. Она внимательно и подолгу смотрѣла въ окно, пристально вглядывалась въ детали каждаго новаго вида и отрывалась отъ него только тогда, когда пароходъ поворачивалъ и открывалъ новыя горы и новые, безконечные лѣса.

Вдругъ блеснула яркая молнія и черезъ нѣсколько секундъ гулкимъ раскатомъ грянулъ громъ надъ самыми головами пассажировъ.

Маленькая брюнетка вздрогнула и нервно оглянулась въ сторону своей сосѣдки.

— Боже, какъ вы спокойно встрѣтили этотъ ударъ! Я не боюсь грозы, но я чувствую какое-то нервное настроеніе, волнуюсь и хотѣла-бы куда-нибудь спрятаться, какъ прячется въ перины наша экономка при первомъ ударѣ грома.

Торопливая, неправильная, произнесенная бойкимъ, но отзывающимся мѣстнымъ произношеніемъ—съ растягиваніемъ на концѣ словъ—рѣчь барышни вполнѣ соотвѣтствовала всей ея фигуркѣ, ея плутовски-задорному личику.

Сосѣдка быстро подхватила брошенное къ ней обращеніе. Она соскучилась четырехдневнымъ путешествіемъ въ одиночку и, бросивъ застѣнчивый взглядъ на сидѣвшихъ противъ нея пожилыхъ дамъ, тихо заговорила.

— Я не боюсь грозы. Я, напротивъ, люблю ее.

— О, я тоже люблю. Но мнѣ не по себѣ во время грозы. Мнѣ жутко... Мой будущій вотчимъ увѣряетъ, что этими словами я прикрываю свою трусость. Но, право, онъ несправедливъ ко мнѣ, какъ всегда. За эту несправедливость его я называю себя „угнетенной падчерицей“. Но... шутки въ сторону... Я надѣюсь, что мы будемъ съ нимъ большими друзьями. Онъ только на словахъ золъ и несправедливъ. Онъ, въ сущности, очень милый и любезный человѣкъ, и я даже предполагаю, что онъ питаетъ ко мнѣ маленькую слабость. Я—въ его духѣ. Онъ держится того взгляда, что женщина должна быть бойка, но неразвязна, граціозна, но не жеманна, настойчива и умна, не подражая однако синимъ чулкамъ. И... представьте: всѣ эти достоинства мой будущій рара находитъ во мнѣ... Неправда-ли—онъ слишкомъ ко мнѣ пристрастенъ?...

Всю эту болтливую тираду дѣвушка заключила граціознымъ смѣхомъ и съ непринужденнымъ видомъ пересѣла на тотъ-же маленькій диванчикъ, гдѣ сидѣла ея спутница, съ очевиднымъ намѣреніемъ завладѣть ею на полчаса, часъ.

— Вѣдь, я не ошибаюсь, предполагая въ немъ маленькую

слабость ко мнѣ, не обладающей ни однимъ изъ этого множества достоинствъ.

Ея молоденькая сосѣдка смутилась прямому вопросу. Она еще не научилась говорить любезностей въ глаза и не привыкла давать уклончивыхъ отвѣтовъ. Но хорошенькая барышня такъ настойчиво заглядывала ей въ глаза и такъ кокетливо-самоувѣренно выжидала отвѣта, что его нельзя было не дать. Съ яркимъ румянцемъ на лицѣ и опустивъ свои прекрасные сѣрые глаза, наивная институтка проговорила почему-то по французски:

— Vous me faites vous faire compliment, mademoiselle.

— О, нѣтъ, моя прелесть!—И бойкая барышня съ фамильярной лаской пожала ей руку.—Я сама слишкомъ цѣню эти качества въ женщинѣ, а въ особенности въ дѣвушкѣ. А мы, говорятъ, всегда завидуемъ тому, чего нѣтъ въ насъ самихъ. Впрочемъ, говоря по правдѣ, я завидую всякой женщинѣ, стоящей выше заурядности, но, право, трудно опредѣлить, чѣмъ именно выдвигается та или другая. Сила женщины не въ красотѣ или въ талантахъ. Иная привлекаетъ неземной кротостью, хотя, надо прибавить, это не въ моемъ вкусѣ; другая беретъ смѣлостью и оригинальностью, почти граничащей съ нахальствомъ; третья безъ всякой красоты и безъ особеннаго ума покоряетъ всѣхъ и каждаго,—не умѣю объяснить—чѣмъ. Это называютъ симпатичностью. Но что такое эта симпатичность?... Мужчинамъ она нравится. И за примѣрами ходить не далеко. Cher papa... (Мы рѣшили, что своего вотчима я буду называть „cher papa“). Entre nous soit dit, моя милая,—славная мамочка не блещетъ никакими талантами. А онъ увлекся. Онъ, блестящій bon vivant, почти красавецъ, влюбился въ мамочку.

Эта оживленная, безпорядочная болтовня хорошенькой путницы ставила институтку въ неловкое положеніе. Она была сильно смущена рѣчью, которая показалась-бы ей двусмысленной, еслибъ она была болѣе опытна и менѣе наивна. А та, ничуть не смущаясь ея замѣшательствомъ и ея молчаніемъ, продолжала съ тѣми-же оживленными жестами и тѣми же перескакиваньями съ предмета на предметъ.

— А ужъ мамочка влюблена въ него... Ужасно... Cher papa уже очень немолодъ. Онъ—вдовецъ. У него даже дочь есть. Только она съ нимъ не жила и должна пріѣхать къ намъ мѣсяца черезъ два. И этотъ вопросъ меня страшно заботитъ. Вообразите, я—баловень. Я привыкла жить и распоряжаться собою, не отказывая себѣ ни въ чемъ. А тутъ я все-таки буду стѣснена постояннымъ присутствіемъ посторонняго лица. Papa пугаетъ меня ею. Она немножко черезчуръ серьезна и сантиментальна. Онъ даже торопится устроить свадьбу до ея пріѣзда. Онъ говоритъ,

что ей тяжело будетъ видѣть эту церемонію въ силу ея строгой натуры. Chèr papa говоритъ, что онъ любитъ ее какъ дочь, но ему тяжело съ нею, какъ съ женщиной... Впрочемъ, можетъ быть, она и измѣнилась за послѣдніе годы, когда онъ съ нею не видѣлся. Будемъ надѣяться!... Она, какъ говоритъ beau-père, полная противоположность мнѣ, и я утѣшаюсь только тѣмъ, что les extremités se touchent.

При послѣднихъ словахъ бойкой барышни институтку охватилъ какой-то неясный, но тяжелый испугъ. Бываютъ мгновенья, когда по одному случайному слову, по одному взгляду, намеку, человѣкъ угадываетъ свою будущую судьбу, начинаетъ понимать многое, что оставалось для него неразгаданнымъ; и обыкновенно онъ не останавливается на своей догадкѣ, старается отогнать ее отъ себя, потому что она является лишь предвѣстникомъ опасности, которую хочется отклонить. Молодая дѣвушка тоже старалась избавиться отъ внезапнаго, безотчетнаго чувства и мысленно ободряла себя: „мало-ли бываетъ сходныхъ положеній, а мой милый, хорошій папа вовсе не похожъ на этого „блестящаго bon vivant'a“—пробѣгала въ ея умѣ мысль съ быстротой молніи, не задерживаясь на непріятномъ предметѣ. И, пользуясь минутой роздыха своей спутницы, она прибавила вслухъ:

— Можетъ-быть, ваша будущая сестра успѣла измѣниться, и вы сойдетесь съ нею.

— О, едва-ли. По натурѣ я страшно властолюбива, и меня уже будетъ раздражать одно сознаніе, что на нашихъ вечерахъ и нашихъ folles journées, которые такъ умѣетъ разнообразить chèr papa, будетъ другая хозяйка... Вы любите вечера, танцы, petits jeux?

— Я никогда не бывала на большихъ вечерахъ У насъ въ институтѣ изрѣдка устраивались балы, но, я думаю, это совсѣмъ не то...

— О, конечно, не то. На институтскихъ балахъ танцуютъ дѣвочки, ухаживаютъ за ними кадетики и юнкера, а скучнѣйшія и злѣйшія классныя дамы все высматриваютъ и наблюдаютъ,—не съѣхала-ли у кого-нибудь изъ воспитанницъ пелериночка на бокъ, не растрепались-ли волосики, не слишкомъ-ли раскраснѣлись милыя дѣвочки.

— Нѣтъ, нѣтъ... Не всѣ классныя дамы таковы!—съ оживленіемъ возразила институтка, и легкая краска покрыла ея свѣжее личико.

— У насъ, напримѣръ, была хорошая, умная классная дама, Валентина Ивановна. Она много читала, слѣдила за литературой, намъ приносила книги. Почти подъ ея руководствомъ я прочитала Бѣлинскаго и Добролюбова; черезъ нее же я успѣла

познакомиться съ Салтыковымъ и Успенскимъ.

— Я не спорю—перебила ее брюнетка,—можетъ быть, ваша Валентина Ивановна и очень учена, но я и ее, какъ всѣхъ классныхъ дамъ, представляю себѣ высохшей старой дѣвой, которая никогда-бы не поняла вашихъ увлеченій, и съ которой вы, вѣроятно, не дѣлились вашими маленькими тайнами послѣ мазурки съ однимъ изъ хорошенькихъ кадетовъ.

Молодая дѣвушка густо покраснѣла. Все, что говорила эта развязная барышня, начинало ей сильно не нравиться; и она довольно сухо отвѣтила:

— Не дѣлилась, потому что такихъ тайнъ и не было; но она была моимъ другомъ, и если я когда-нибудь буду полезной въ жизни, я буду этимъ обязана только ей.

— Боже мой, даже отъ васъ, такой молоденькой, я слышу слово „польза“...

Барышня легкомысленно улыбнулась, но сейчасъ-же прибавила:

— Я вспомнила по этому поводу слова cher papa. „Lise—говоритъ онъ—слово „польза“—вещь хорошая; но въ устахъ хорошенькой дѣвушки оно похоже на слово „наука“ въ устахъ невѣжды“.

— А вашъ будущій papa, кажется, авторитетъ для васъ,— уже съ легкимъ оттѣнкомъ насмѣшки замѣтила институтка.

— Должна сознаться—да. И это понятно. Онъ такъ опытенъ, обладаетъ такимъ знаніемъ свѣта и людей, такъ остроуменъ и милъ, что было-бы странно, если-бъ это было иначе.

Lise говорила съ такою горячностью, что молодая дѣвушка нѣсколько успокоилась отъ своей инстинктивной тревоги. Ея отецъ, котораго она видѣла три года назадъ, не обладалъ такими достоинствами. Онъ былъ слишкомъ серьезенъ для этой болтливой Lise; онъ вовсе не былъ настолько изященъ и остроуменъ, что-бы восхищать такую дѣвушку, какъ ея спутница. А та между тѣмъ пересѣла подальше отъ окна и, оправляя складки своего щегольскаго дорожнаго костюма, продолжала:

— Онъ—удивительный человѣкъ. Онъ такъ умѣетъ занять каждаго, а это умѣнье, говорятъ,—первый признакъ истиннаго ума. Въ этомъ отношеніи у насъ въ Перми, онъ не имѣетъ соперниковъ. Въ нашей средѣ—онъ неподражаемый разсказщикъ, сыплетъ остротами, сравненіями, афоризмами. Онъ былъ-бы хорошимъ проповѣдникомъ. Ѣздили мы съ нимъ въ деревню и къ нему пришли по дѣлу крестьяне, и papa обратился въ солиднаго дѣльца, понимающаго все до капельки въ этихъ „тридцаткахъ“, „ометахъ“, „суслонахъ“... Говорилъ онъ такъ серьезно и послѣ

ухода крестьянъ такъ мило копировалъ себя и ихъ, что это было единственнымъ удовольствіемъ въ нашей деревенской скукѣ. Впрочемъ, cher papa и долженъ умѣть притворяться. Онъ—адвокатъ, и его практика—по его словамъ—научаетъ притворству.

Собесѣдница болтливой Lise страшно поблѣднѣла, но та, не замѣчая ничего, продолжала еще что-то говорить о своемъ желаніи cher papa и о своихъ неумѣлыхъ въ этомъ смыслѣ попыткахъ. Но институтка слышала ее словно сквозь сонъ. Сомнѣній больше не оставалось. Пермь не настолько большой городъ, чтобы такое сходство было случайностью. Этотъ „блестящій“ адвокатъ —ея отецъ. Онъ женится и она является лишней въ его семьѣ. А она такъ спѣшила къ нему... Она упросила бабушку сократить срокъ пребыванія у нея и отпустить ее къ отцу раньше условленнаго сентября. Она хотѣла сдѣлать сюрпризъ ему—вѣдь, онъ такъ настойчиво звалъ ее, выражалъ такое нетерпѣніе свиданія съ нею; вѣдь, онъ только ради любви къ матери, его прежней жены, отпустилъ къ ней „свою дѣвочку“... А теперь оказывается, что „его дѣвочка“ слишкомъ серьезна для него, онъ боится ея, ему нужна такая дочь, какъ эта ненавистная Lise... Такъ неужели-же всѣ его письма—притворство, всѣ его рѣчи съ нею о ихъ совмѣстной жизни послѣ окончанія курса—лицемѣріе? Не можетъ быть, не можетъ быть... А она столько думала объ этомъ, столько мечтала!... Она мечтала сдѣлаться хозяйкой въ его домѣ, успокоить его отъ цыганской жизни вдовца, мечтала проводить съ нимъ долгіе зимніе вечера за хорошей книгой, за умной бесѣдой и никогда не думала о вечерахъ и folles journeés, которые „онъ такъ хорошо умѣетъ разнообразить“... Значитъ, все напрасно, всѣ мечты разбиты, загублены: значитъ, теперь ей будетъ даже хуже, чѣмъ въ институтѣ. Она будетъ одна, а тамъ была Валентина Ивановна, подруги, занятія... Здѣсь, въ обществѣ этой новой „мамочки“ и новой сестры, она будетъ лишняя. На всѣхъ этихъ праздникахъ и развлеченіяхъ она будетъ помѣхой другимъ, не желая этого... Она не обладаетъ ни живостью, ни кокетливостью Lise, ни тѣмъ умомъ, который выражается въ умѣньи занимать всѣхъ и каждаго, она—не „въ его духѣ“, и, слѣдовательно, будетъ одинока въ его новой семьѣ. Сходится съ другими она очень туго. Ее даже въ институтѣ многіе не любили за то, что она говорила правду въ глаза, а что-же будетъ здѣсь, въ ихъ „свѣтѣ“, приличнымъ образцомъ котораго является эта разнаряженная, вульгарная Lise?...

Обидное разочарованіе, тоска, чувство невыносимаго одиночества охватили сердце дѣвушки... „Не во время, не во время“! —шептали ея поблѣднѣвшія губы, а желаніе, чтобъ эта догадка оказалась неправдой, глухо шевелилось въ мозгу. „Въ самомъ дѣ-

лѣ, вѣдь, Lise не назвала его, вѣдь, это только предположеніе“. И дѣвушка тихо, словно боясь отвѣта, выговорила:

— А гдѣ-же теперь ваша будущая сестра?

— Она у бабушки, въ деревнѣ. Cher papa нарочно просилъ старуху пригласить ее къ себѣ... Увидимъ, увидимъ, какая она, cette petite soeur...

А „petite soeur“ сидѣла передъ нею блѣдная, поникшая, словно только что срѣзанный цвѣтокъ подъ жгучими лучами солнца.

Въ это время изъ одной каюты перваго класса отворилась дверь въ залъ и оттуда выглянуло старое лицо, обрамленное сѣдыми локонами.

— Lise, идите сюда.

— Сейчасъ, m—me. До свиданія, до послѣ-обѣда, а то моя компаньонка ужъ вѣрно умираетъ съ голода. Но мы еще не познакомились,—это оригинально... Моя фамилія—Бартеньева, Lise Бартеньева... А ваша?...

— Lise, je vous attends.

Институтка что-то пробормотала, но Lise, надѣясь распросить у своей собесѣдницы всю ея подноготную вечеромъ, торопливо направилась къ другому концу залы, гдѣ уже былъ накрытъ столъ на два куверта.

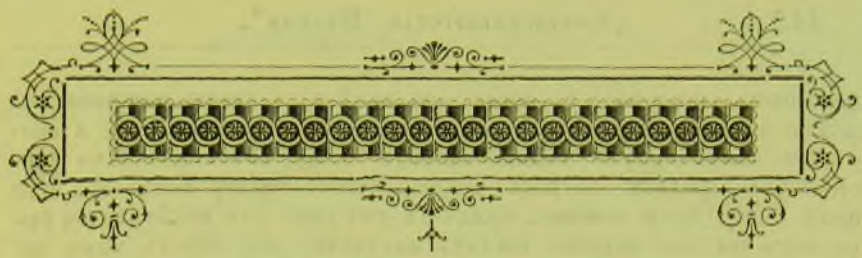
Институтка осталась одна и отвернулась къ окну, скрывая подступавшія къ глазамъ слезы.

Вѣтеръ порывисто вздымалъ желтоватыя воды рѣки и дробилъ ихъ въ бѣлую пѣну. Солнце давно уже спряталось, и темно-свинцовая туча облегла весь горизонтъ. Молнія прорѣзывала его въ разныхъ направленіяхъ и громъ раздавался все чаще и чаще. Дождя еще не было, но гроза надвигалась...

Призывъ.

Коль сила есть,—работа будетъ,
За честный трудъ смѣлѣй берись!
Пусть на рукахъ растутъ мозоли,
Пусть льется потъ съ лица,—трудись!
Работой нажитымъ мозолямъ
Не посмѣются никогда,
И на порогъ твой не посмѣетъ
Ступить суровая нужда!...
Богатство, роскошь, счастье, нѣга—
Все это въ жизни звукъ пустой,—
Тотъ счастливъ, кто съ душой спокойной
Съѣдаетъ хлѣбъ свой трудовой;
Въ трудѣ уставшій отдыхаетъ,
Людьми довольный и собой...
Коль сила есть,—работа будетъ,
Смѣлѣй берись за трудъ святой!...

Ив. Бѣлоусовъ.



НОВЫЙ СЕКРЕТАРЬ.

Разсказъ N. (изъ „Tit-Bits'a").

Перевелъ съ англійскаго Валерій Идельсонъ.

Дѣла м-ра Булльса, одного изъ весьма видныхъ нью-іоркскихъ маклеровъ, шли вообще всегда хорошо, но въ послѣднее время пошли еще лучше, вслѣдствіе чего ему потребовался новый секретарь, и при томъ не простой секретарь, способный орудовать лишь старомоднымъ перомъ, а умѣющій артистически обращаться съ печатно-письменною машиною. *)

На сдѣланное имъ объявленіе въ газетахъ откликнулось многое множество кандидатовъ на это мѣсто, и м-ру Булльсу осталось только поручить своему главному конторщику подвергнуть всѣхъ соискателей надлежащему испытанію и выбрать изъ нихъ наиболѣе искусное и вообще достойное лицо.

Выборъ главнаго конторщика палъ на высокую и стройную женщину, отличавшуюся не только головокружительною красотою, но и внушительно-величественнымъ видомъ и подавляюще-высокомѣрными манерами герцогини. Одѣвалась она роскошно и съ

*) Какъ извѣстно, въ С. А. Ш. и Великобританіи въ послѣдніе годы сильно распространилось писаніе съ помощью „Type-writer'a"—фортепіано-подобной машины, пишущей печатными буквами. Этимъ дѣломъ занимаются преимущественно женщины. Число такихъ спеціалистокъ въ названныхъ странахъ уже перевалило за десятокъ тысячъ. *Прим. переводчика.*

изящнымъ шикомъ, и, когда она сидѣла за своею машиною, ее можно было принять не за секретаря маклерской конторы, а скорѣе за какую-нибудь великосвѣтскую даму, снисходительно удостоившую публику сыграть на фортепіано сонату Бетховена или фугу Баха. Да и вообще, врядъ-ли кто-либо изъ посѣтителей бюро могъ бы съ перваго взгляда подумать, что передъ нимъ находится женщина, состоящая въ услуженіи у м-ра Булльса; судя по ея осанистому виду и надменному обращенію съ окружающими, всякому скорѣй могло бы придти въ голову, что онъ имѣетъ дѣло съ хозяйкою и повелительницею, распоряжающеюся своими слугами-наемниками и руководящею ихъ финансовыми операціями съ ея милліонами.

Съ перваго же мгновенія м-ръ Булльсъ началъ ощущать крайне жуткую неловкость въ ея присутствіи. Она, эта странная женщина, положительно подавляла и уничтожала его своимъ грандіознымъ достоинствомъ. Вынимая сигару, онъ всякій разъ колебался, не слѣдуетъ-ли ему предварительно испросить у своего новаго секретаря милостиваго позволенія закурить. Онъ почти трусилъ обращаться къ ней съ просьбою о составленіи того или другого дѣлового письма. И между тѣмъ, во всемъ остальномъ, онъ не могъ сказать ровнехонько ничего противу этой, такъ стѣсняющей его, особы: всякую работу, которую онъ осмѣливался ей поручить, она исполняла превосходно, безукоризненно. Словомъ, кромѣ гордости, другихъ недостатковъ въ ней не открывалось. Въ концѣ концовъ, м-ръ Булльсъ принялъ твердое рѣшеніе сломить эту проклятую гордость; рѣшилъ научить эту дѣвченку, какъ надлежитъ обращаться съ нимъ, ея хозяиномъ-нанимателемъ, рѣшилъ внушить ей должное уваженіе къ его особѣ.

Соотвѣтственно такому рѣшенію, на слѣдующее же утро онъ пригласилъ ее въ свой кабинетъ при конторѣ, продиктовалъ нѣсколько дѣловыхъ писемъ и затѣмъ, принявъ болѣе или менѣе импозантный видъ, сказалъ болѣе или менѣе повелительнымъ тономъ:

— Ну-съ, теперь потрудитесь взять бумагу для частныхъ писемъ—бѣлую атласную, знаете... Нашли? Все готово у васъ? Хорошо-съ. Итакъ, прошу быть внимательною. Гмъ...

И м-ръ Булльсъ, развалившись покомфортабельнѣе въ креслѣ, откусилъ кончикъ сигары, уставился взоромъ въ потолокъ и началъ диктовать съ явственнымъ оттѣнкомъ пренебреженія въ голосѣ:

„Его Высокопревосходительству, м-ру Джэмсу Дж. Блэну, министру иностранныхъ дѣлъ, въ Уошинкгтонѣ.

„Любезнѣйшій Джимъ! Большое спасибо Вамъ за Ваше дру-

жеское предложеніе, но принять его мнѣ абсолютно невозможно. Я уже давно разъ навсегда далъ себѣ клятву не выступать на политическую арену ни въ какой роли и, хотя предлагаемый Вами мнѣ постъ американскаго чрезвычайнаго посла въ такомъ всемірно-важномъ городѣ, какъ С.-Петербургъ, и представляется въ высшей степени заманчивымъ, я, повторяю, никакъ не могу покинуть Нью-Іоркъ и свои здѣшнія дѣла. Очень прошу Васъ поблагодарить нашего милѣйшаго президента за его доброту ко мнѣ и въ тоже время сказать ему—чтобы онъ подыскалъ кого-нибудь другого на смѣну Смита, разстающагося съ нашими русскими друзьями. Сердечные поцѣлуи и объятія Вамъ и Вашей безподобнѣйшей женкѣ отъ всегда искренно Вашего Булльса“.

Секретарша записывала все диктуемое съ ея обычнымъ невозмутимо-спокойнымъ выраженіемъ лица. Какого-либо смягченія суровой гордости рѣшительно не замѣчалось ни въ одной чертѣ или жестѣ.

— Это все?—справилась она съ ледянымъ равнодушіемъ, послѣ того, какъ ея хозяинъ остановился.

— Д-д-да—отозвался м-ръ Булльсъ нѣсколько упавшимъ робкимъ голосомъ.—Да, кажется, пока все.

Онъ былъ, однако, не изъ такихъ вахлаковъ, которые позволяютъ какой-нибудь дѣвченкѣ-гордячкѣ осаживать себя подобнымъ манеромъ, и потому въ тотъ же день послѣ завтрака онъ снова вытребовалъ ее къ себѣ въ кабинетъ и продиктовалъ ей слѣдующее посланіе:

М-ру Дельмонико. *)

„Прошу оставить для меня на сегодняшній вечеръ самую большую отдѣльную обѣденную залу и изготовить ужинъ на 100 персонъ. Мои комнаты оказались слишкомъ малыми для пріема и потому приходится направить моихъ гостей къ Вамъ. Надѣюсь, что ужинъ будетъ приготовленъ и сервированъ удовлетворительнымъ образомъ. Послѣ ужина будутъ танцы. Прошу озаботиться и въ этомъ отношеніи. Размѣры издержекъ по части украшенія залы предоставляю на Ваше усмотрѣніе; что же касается цвѣтовъ, то было бы желательно не переходить за 1000 долларовъ. Готовый къ услугамъ Булльсъ“.

Слѣдующее письмо гласило:

„Дорогой мистеръ Терешоферъ! Присланный Вами вчера рисунокъ яхты для меня дѣйствительно прелестенъ—просто неподражаемъ. Я не сомнѣваюсь, что яхта, построенная по Вашему плану, превзойдетъ все, доселѣ попадавшее на воду. Лишнее и прибавлять, что я послѣдую Вашему совѣту и немедленно же,

*) Первоклассный ресторанъ въ Нью-Іоркѣ. *Перев.*

по изготовленіи ея, приму участіе въ международномъ состязаніи владѣльцевъ яхтъ. Въ конскихъ скачкахъ хочу перестать участвовать и собираюсь распродать всѣхъ своихъ скакуновъ, хотя съ шестью или съ семью изъ нихъ разставаться очень жалко. Крѣпко жму руку. Вашъ Буллсъ“.

Окончивъ диктовку, м-ръ Буллсъ развязно запустилъ руки за жилетку, посвистѣлъ немного и затѣмъ прибавилъ:

— Ну, на сегодня, пожалуй, достаточно. Когда изготовите, потрудитесь тотчасъ же принести сюда.

Ему показалось теперь, что онъ подмѣтилъ нѣкоторое смягченіе высокомѣрности ея манеръ,—такъ себѣ, небольшое, но все-таки хоть какое-нибудь. Твердо увѣренъ въ этомъ, впрочемъ, онъ не былъ.

— Ну, если и это не проберетъ ее—сказалъ онъ себѣ, оставшись одинъ,—то я завтра-же заставлю ее написать письмо британской королевѣ, рекомендующее ея вниманію одного изъ пріятелей; потомъ письмо Гладстону съ извѣщеніемъ о томъ, что я, къ сожалѣнію, не могу пріѣхать къ нему въ имѣніе на побывку.

Планы м-ра Буллса вскорѣ были прерваны приходомъ дѣвушки съ уже изготовленными письмами, которыя осталось только подмахнуть. Онъ небрежно взялъ ихъ изъ ея рукъ, столь же небрежно подписалъ, сунулъ въ соотвѣтственные конверты и затѣмъ, бросая ихъ на столъ, прибавилъ:

— Можете идти—я отправлю ихъ на почту самъ.

По уходѣ дѣвушки, онъ поспѣшно прикрылъ письма другими бумагами, для того, чтобы они не попали на глаза его писцамъ —и снова погрузился въ обдумываніе дальнѣйшей корреспонденціи, способной производить импонирующее впечатлѣніе на секретаря. На слѣдующій день онъ отклонилъ—чрезъ ея посредство—три приглашенія къ обѣду отъ различныхъ знаменитыхъ и знатныхъ согражданъ, пригласилъ крупнаго архитектора къ себѣ для совмѣстнаго обсужденія постройки капитальнаго дома въ Ньюпортѣ, и, сверхъ того, заказалъ ювелиру богатѣйшее бриллiантовое ожерелье.

Послѣ изготовленія этихъ писемъ—особенно послѣдняго—дѣвушка начала уже обнаруживать нѣкоторый интересъ относительно поручаемой ей корреспонденціи. Она даже стала теперь говорить не просто „да“, какъ прежде, но „да, сэръ“. У м-ра Буллса появилось торжествующее сознаніе, что, благодаря его настойчивости и искусной тактикѣ, дѣло понемногу подвигается впередъ.

На четвертый день, однако, она вошла къ нему въ кабинетъ съ болѣе чѣмъ когда-либо ледянымъ и надменнымъ видомъ и положила на его конторку три распечатанныхъ письма. Въ

число обязанностей новаго секретаря входили принятіе хозяйской почты и сортировка дѣловыхъ писемъ отъ частныхъ.

— Пришли три письма,—сказала она сухо:—не знаю, кому мнѣ слѣдуетъ вручить ихъ—вамъ или главному конторщику.

М-ръ Буллсъ взглянулъ на подпись одного изъ писемъ; тамъ стояло: „Г. Террешоферъ“. Письмо содержало слѣдующія строки:

„М-ру Генри Буллсу.—М. Г., я только что получилъ записку, подписанную Вами и снабженную адресомъ Вашей конторы. Записка касается какой-то яхты и какой-то фантастической корреспонденціи, происходившей, будто-бы, между мною и Вами по поводу этой яхты. Такъ какъ я не знаю—не вѣдаю, кто Вы такой, и не имѣю рѣшительно никакого представленія о Вашихъ яхтахъ, то я могу только объяснить все это дѣло лишь предположеніемъ, что кто-нибудь пытается Васъ надуть. Возвращаю Вамъ Ваше письмо и имѣю честь быть Вашимъ покорнымъ слугою Г. Террешоферъ“.

М-ръ Буллсъ почувствовалъ, что по лицу его разстилается горячая краска. Онъ не посмѣлъ даже поднять глазъ на дѣвушку и задалъ лишь себѣ вопросъ,—„прочла-ли она все письмо, или нѣтъ?“

Вторая записка гласила:

„М. Г., отдѣльная обѣденная зала и ужинъ, заказанные Вами на вторникъ вечеромъ, были изготовлены согласно Вашимъ приказаніямъ, но къ намъ не являлось ни единой человѣческой души. Имѣемъ честь спросить Васъ, шло-ли дѣло о какомъ-нибудь недоразумѣніи съ Вашей или нашей стороны, или Ваше письмо, которое мы сочли нужнымъ удержать въ своихъ рукахъ для дальнѣйшихъ цѣлей, было простою шуткою надъ нами, или же надъ нами вздумалъ подшутить кто-нибудь другой, позволившій себѣ поддѣлать Вашу подпись? Въ ожиданіи скораго отвѣта и пр. и пр. Дельмонико“.

М-ръ Буллсъ утонулъ еще больше въ своемъ креслѣ. Третье письмо онъ схватилъ уже лихорадочно-дрожащею рукою. Дѣвушка стояла попрежнему около него, не шевелясь и не произнося ни слова—стояла какъ какая-нибудь античная статуя духа-мстителя.

Третье письмо было отъ одного друга и, между прочимъ, содержало вырѣзку изъ какой-то газеты.

„Дорогой мой Генъ!—писалъ другъ—прилагаю сообщеніе „Бюро Корреспонденцій“. Читали-ли Вы эту исторію, и что она можетъ означать, во имя всѣхъ чертей и діаволовъ на свѣтѣ?! Очевидно кто-то вздумалъ сыграть надъ Вами шутку, и при томъ препепріятнѣйшую, препакостнѣйшую шутку“.

Вырѣзка имѣла слѣдующее содержаніе:

„Не помѣшался-ли Генри Булльсъ? Хорошо извѣстный нью-іоркскій маклеръ внушаетъ своимъ друзьямъ самыя серьезныя опасенія“.

„Уошинктонъ, 14 іюля. Министръ Блэнъ только что получилъ самое изумительное письмо отъ Генри Булльса, нью-іоркскаго маклера, въ которомъ этотъ джельтмэнъ отклоняетъ отъ себя постъ американскаго посланника при русскомъ дворѣ—и при томъ отклоняетъ самымъ надменнымъ образомъ. Онъ абсолютно неизвѣстенъ ни президенту республики, ни м-ру Блэну, и потому здѣсь предполагаютъ, что онъ или лишился разсудка, или же сдѣлался жертвою какихъ-нибудь шутниковъ“.

М-ръ Булльсъ уронилъ вырѣзку на полъ и въ отчаяніи посмотрѣлъ на дѣвушку.

— Вы отправили мои письма на почту?—спросилъ онъ, совершенно уничтоженный.

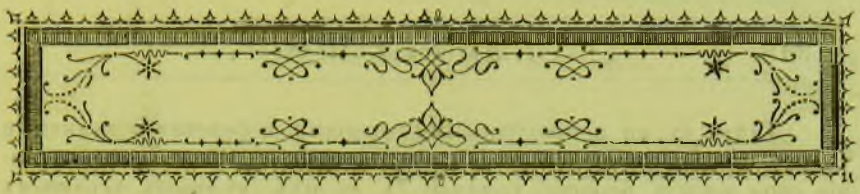
— Да,—сурово отвѣтила герцогиня.—Я нашла ихъ на столѣ у васъ послѣ вашего ухода; подумала, что вы позабыли отправить и потому отправила ихъ сама. Надѣюсь, что я только исполнила свой долгъ?

— Знаете что —произнесъ м-ръ Булльсъ растерянно—я не могу больше держать васъ у себя въ конторѣ. Вы слишкомъ умны для меня.

— По моему мнѣнію—сказала дѣвушка съ величественнымъ спокойствіемъ—именно поэтому вамъ и слѣдуетъ меня оставить у себя въ конторѣ. Не правда-ли? теперь вы можете всѣмъ говорить, что вы нечаянно сдѣлались жертвою шутниковъ, но если я потеряю свое мѣсто, я могу говорить всѣмъ и каждому, что дѣло было совершенно иначе. Не правда-ли, благоразумнѣе всего съ вашей стороны будетъ оставить меня у себя и прибавить не много жалованья?

М-ръ Булльсъ опустилъ мрачный взоръ на газетную вырѣзку, валявшуюся у его ногъ.

— Д-да,—процѣдилъ онъ уныло,—пожалуй, лучше, если вы останетесь у меня секретаремъ.



ЧАРЫ ШАМАНОВЪ.

(Изъ путевыхъ впечатлѣній въ странѣ вогуловъ) *)

Разсказъ

П. П. Инфантьева.

(Посвящается Л. В. Векетовой).

Путешествіе на маленькой лодкѣ едва-ли не самое утомительное изъ всѣхъ путешествій: сиди или лежи себѣ, не имѣя возможности расправить своихъ членовъ,—точно больной въ постели!

Уже больше двухъ недѣль мы плыли, спускаясь внизъ по теченію рѣки Конды—одного изъ самыхъ большихъ, но въ тоже время еще совершенно дикихъ, неизслѣдованныхъ притоковъ многоводнаго Иртыша. Болѣе 700 верстъ осталось за нами, а впереди предстояло проплыть еще верстъ 200 для того, чтобъ попасть на какой-либо пароходъ.

*) Въ № 20 „Екат. Недѣли" за этотъ годъ было напечатано письмо съ р Конды, посланное мной во время нашего путешествія по этой рѣкѣ вмѣстѣ съ г. Носиловымъ, при чемъ я обѣщалъ редакціи прислать еще нѣсколько писемъ оттуда же. Но путешествіе наше уже кончено, а я, къ сожалѣнію, не могъ исполнить своего обѣщанія за невозможностью найти „оказію", такъ какъ при отсутствіи правильныхъ путей сообщенія, письма съ мѣста и возможны только при „оказіи". Съ теченіемъ времени, за всю бытность нашу на этой рѣкѣ, у меня накопилось такъ много матеріала, что я рѣшилъ воспользоваться имъ для того, чтобы составить нѣчто цѣльное, т. е. сдѣлать подробное описаніе всего нашего путешествія по этой интересной и еще совершенно неизслѣдованной мѣстности. По этому, извиняясь передъ редакціей, я спѣшу заявить, что писемъ съ р. Конды больше не будетъ. *П. И.*

Тайга съ ея непроходимыми дебрями и болотами, залитыми только что вскрывшейся рѣкой, затопившей на громадное разстояніе свои низкіе берега; урманы *) съ ихъ вѣчнымъ угрюмымъ полумракомъ; паули **) съ ихъ лѣнивыми грязными обитателями; заунывные мотивы гребцовъ-вогуловъ съ ихъ импровизированными пѣснями,—все это давно уже страшно надоѣло и хотѣлось поскорѣе вырваться изъ этого дикаго края, куда еще долго-долго, вѣроятно, не проникнетъ лучъ цивилизаціи!

А въ довершеніе всего комары...

Комары!... Что можетъ быть ужаснѣе этого бича сибирской тайги? Они тучами носятся надъ вашей головой, жужжатъ, лезутъ въ ротъ, въ носъ, въ уши, слѣпятъ вамъ глаза, и нѣтъ отъ нихъ иного спасенія, какъ только уткнуть свое лицо въ клубы дыма, который и курился у насъ постоянно въ открытой лодкѣ.

Въ селѣ Нахрачахъ единовременно съ нами выѣхалъ на небольшой вогульской лодченкѣ къ одному больному мѣстный фельдшеръ. Этотъ фельдшеръ былъ единственный на всей Кондѣ. Всѣ свои медицинскіе инструменты и аптеку онъ всегда возилъ съ собой, тѣмъ болѣе, что все это совершенно свободно помѣщалось у него въ боковомъ карманѣ и, правду говоря, состояло чуть-ли не исключительно изъ одной кровопускательной машинки, благодаря которой онъ и пользовался нѣкоторой популярностью среди инородцевъ, большихъ охотниковъ до кровопусканій.

Такъ какъ въ лодкѣ у насъ съ собой былъ самоваръ, а съ фельдшеромъ намъ приходилось плыть по одному направленію верстъ тридцать, то мы пригласили его напиться съ нами дорогой чайку. Послѣ нѣсколькихъ мѣсяцевъ, проведенныхъ среди однихъ дикарей-вогуловъ, намъ, разумѣется, было очень пріятно встрѣтиться въ этой трущобѣ съ интеллигентнымъ человѣкомъ. Фельдшеръ былъ еще довольно молодой человѣкъ, лѣтъ 30 съ небольшимъ; онъ кончилъ курсъ въ Томскомъ фельдшерскомъ училищѣ и уже около десяти лѣтъ практиковалъ среди остяковъ и вогуловъ, зналъ очень хорошо и ихъ жизнь, и ихъ нравы. Звали его Иванъ Петровичъ.

Разговоръ, разумѣется, прежде всего зашелъ объ окружавшихъ насъ инородцахъ, объ ихъ образѣ жизни, объ ихъ болѣзняхъ, о причинахъ ихъ быстраго вымиранія, объ ихъ религіи, суевѣріяхъ и т. д. Во время нашего пребыванія среди вогуловъ намъ часто приходилось слышать баснословные разсказы о нѣкоторыхъ сверхъестественныхъ явленіяхъ, происходящихъ будто бы на

*) Урманами вогулы называютъ сопки и вообще возвышенныя мѣста, заросшія преимущественно сосновымъ лѣсомъ.

**) Поселки.

глазахъ суевѣрныхъ дикарей, явленіяхъ, которыя они приписывали дѣйствію своихъ боговъ-шайтановъ. Справедливость этихъ разсказовъ подтверждали и русскіе, жившіе среди вогуловъ и не только заразившіеся ихъ суевѣріями, но часто вмѣстѣ съ идолопоклонниками приносившіе жертвы шайтанамъ. Одинъ православный священникъ, жившій много лѣтъ среди вогуловъ, разсказывалъ намъ, между прочимъ, слѣдующее. Часто въ томъ селѣ, гдѣ онъ служитъ среди бѣлаго дня вдругъ начинаютъ лаять, визжать и за кѣмъ-то гоняться собаки, которыхъ у вогуловъ, какъ у охотниковъ, всегда множество.—„За кѣмъ они бѣгаютъ, кого ловятъ, никто изъ насъ не видитъ,—говорилъ онъ, —мы видимъ только, что собаки передъ нашими окнами, а чаще на церковной площади, съ остервенѣніемъ ловятъ какого-то невидимаго врага, при чемъ часто то та, то другая изъ нихъ съ визгомъ кидается, поджавъ хвостъ, въ сторону, какъ бы получивъ ударъ. Просто иногда ужасъ беретъ, глядя на все это"!

Этотъ разсказъ священника подтверждали всѣ его семейные, а равно и мѣстные вогулы.

— А что, вы ни чему этому не вѣрите?—спросилъ Иванъ Петровичъ, когда мы передали ему слышанное нами.

— Помилуйте, да неужели же тутъ есть хоть капля здраваго смысла?

Иванъ Петровичъ молча покачалъ головой.

— Какъ?—вы, естественникъ, вѣрите въ эти вымыслы праздной фантазіи?

Фельдшеръ отвѣтилъ не сразу. Онъ погрузился, повидимому, въ какія-то воспоминанія и точно позабылъ о всемъ окружающемъ. Наше любопытство было затронуто еще болѣе.

— Да,—началъ онъ наконецъ,—было время, и я когда-то всѣ эти разсказы называлъ вымыслами праздной фантазіи.

— А теперь?—изумились мы.

— А теперь я перемѣнилъ свое мнѣніе.

Онъ снова замолчалъ. Ему, казалось, тяжело было говорить объ этомъ. Вообще Иванъ Петровичъ былъ какой-то странный человѣкъ: у него иногда положительно клещами приходилось выжимать слова, но за то когда онъ воодушевлялся, то говорилъ уже безъ удержу.

— Вы правы,—продолжалъ онъ послѣ длинной паузы,—для того, чтобы повѣрить всему тому, что иногда происходитъ у этихъ „нищихъ духомъ" инородцевъ, нужно прожить среди нихъ по крайней мѣрѣ нѣсколько лѣтъ, нужно хорошо узнать ихъ жизнь, ихъ міросозерцаніе, нужно разрушить ту стѣну недовѣрія, какая создалась между ними по отношенію къ намъ, русскимъ, не смотря на всю видимую дѣтскую наивность и простодушіе, которыми

они отличаются,—и только тогда вы можете надѣяться проникнуть въ ихъ душу, въ душу этого дикаго племени. Вѣдь, не правда-ли, у каждаго племени, если оно живетъ самостоятельной жизнью, какъ и у каждаго отдѣльнаго человѣка, есть своя душа?—неожиданно спросилъ Иванъ Петровичъ.

Мы молчали.

— Почему они вымираютъ? Потому что у этого народа въ настоящее время больна его душа. Они, эти инородцы, потеряли свою самобытность и свою самостоятельность, а стало быть, потеряли и свою волю. А развѣ человѣкъ, живущій чужой волей, здоровый, нормальный человѣкъ?...

„Да и съ одними ли нашими инородцами повторяется эта исторія вымиранія племени? Посмотрите, что стало съ краснокожими индѣйцами, этими коренными обитателями Америки, съ тѣхъ поръ, какъ среди нихъ появился блѣднолицый? Не имѣя силы открыто бороться съ новымъ пришельцемъ, ни возможности приспособиться къ условіямъ внесенной имъ цивилизаціи, эти краснокожіе народы начали вымирать, какъ лягушки въ болотѣ, чрезъ которое провели свѣжую, проточную воду. А, вѣдь, индѣйцы когда-то стояли по своему развитію гораздо выше хотя бы нашихъ вогуловъ,—у нихъ были свои цвѣтущіе города, свои государства... И если они со своей цивилизаціей не устояли отъ наплыва требованій новой, болѣе высокой, жизни, то можно ли ожидать отъ остяка или вогула, которые находятся еще въ младенческомъ состояніи по своему развитію сравнительно съ цивилизованными народами,—можно ли, я говорю, ожидать, чтобы они выдержали совершенно безнаказанно этотъ, почти внезапный, наплывъ совершенно чуждыхъ имъ вліяній иной жизни, иныхъ требованій?“

Иванъ Петровичъ воодушевлялся все болѣе и болѣе. Мы съ любопытствомъ и удивленіемъ слушали этого страннаго философа, невѣдомо какими судьбами заброшеннаго въ такую трущобу.

— „Вамъ, разумѣется, извѣстно,— продолжалъ онъ,—что, переходя изъ дикаго состоянія въ образованное, человѣкъ переживаетъ три стадіи развитія, какъ бы соотвѣтствующія его младенчеству, юности и зрѣлому возрасту: сначала онъ охотникъ, потомъ пастухъ и наконецъ земледѣлецъ. Никто не можетъ произвольно перешагнуть изъ одной стадіи въ другую. Это дѣло времени, дѣло медленнаго, хотя и постояннаго, роста. И какъ ростъ отдѣльнаго человѣка, такъ и ростъ племени или народа повинуется извѣстнымъ законамъ физическихъ и нравственныхъ перемѣнъ, и мы можемъ только помогать этому росту, но ускорить его не въ нашей власти, какъ не въ нашей власти ускорить ростъ дерева.

Поэтому-то цивилизація такъ трудно и медленно прививается ко всѣмъ дикимъ и полудикимъ народамъ. Но разъ этотъ дикій народъ сталкивается въ борьбѣ за существованіе съ болѣе культурнымъ народомъ, онъ непремѣнно будетъ рано или поздно стертъ послѣднимъ съ лица земли. Для всѣхъ нашихъ инородцевъ остается одинъ только исходъ: слиться съ нами, русскими. Внѣ этого условія для нихъ нѣтъ спасенія“.

— Но помилуйте,—возразили мы:—вѣдь вогулы, живущіе здѣсь на Кондѣ, почти совершенно изолированы отъ всякихъ вліяній,—ихъ еще совершенно не тронула наша цивилизація?

— Изолированы отъ всякихъ вліяній?!—вскричалъ Иванъ Петровичъ.

— Однако, въ чемъ же вы видите это вліяніе? Укажите хоть на одинъ примѣръ.

— „Боже мой, да возмите хотя бы того же засѣдателя! Развѣ это не совершенно чуждый элементъ во всемъ складѣ ихъ общественной жизни? Они привыкли управляться своими собственными обычаями и, по своему міросозерцанію, они привыкли часто считать добродѣтелью то, что законъ, олицетворенный для нихъ въ образѣ засѣдателя, считаетъ преступленіемъ и наоборотъ; они съ молокомъ матери всасываютъ извѣстныя традиціи, извѣстные взгляды на свои семейныя и общественныя отношенія, передаваемыя имъ изъ поколѣнія въ поколѣніе, и вдругъ имъ заявляютъ: „стой! этого не смѣй, того не смѣй! Подай то, подай это!“—Какъ? Зачѣмъ? Почему?—Никто имъ не объясняетъ, но ихъ строго караютъ за ослушаніе. Развѣ одного этого не достаточно, чтобы потерять всякую твердую почву подъ ногами и ошалѣть? Вы, вѣроятно, сами убѣдились, какъ они жалки и безпомощны иногда въ самыхъ простыхъ вещахъ, разъ эти вещи выходятъ изъ сферы ихъ обыденной жизни. Пользуясь этой безпомощностью, всякій пройдоха изъ пріѣзжающихъ сюда русскихъ скупщиковъ считаетъ какъ бы своей обязанностью надуть, ограбить несчастнаго инородца, и это дѣлается безъ всякаго зазрѣнія совѣсти, въ силу поговорки: „на то и щука въ морѣ, чтобы карась не дремалъ“. Сплошь и рядомъ случаются такіе примѣры, что пріѣзжаетъ подобная акула къ какому нибудь вогулу и заявляетъ ему, что пріѣхалъ получить съ него должекъ, между тѣмъ какъ несчастный дикарь въ первый разъ въ жизни его и видитъ.—„Какъ? когда я тебѣ задолжалъ?“—„А этого я не помню, но вотъ твой долгъ у меня записанъ въ книгѣ. Можетъ быть еще твой отецъ задолжалъ. Плати“. И если мистифицируемый упрямится, акула угрожаетъ прибѣгнуть для взысканія долга къ помощи столь страшнаго для инородца закона.—И платятъ, чтобы только отвязаться и не впутаться въ воображаемую бѣду.

„Или религія... Уже около двухъ сотъ лѣтъ, какъ вогулы считаются христіанами. Но на самомъ дѣлѣ развѣ они христіане! У нихъ до сихъ поръ почти въ первобытной чистотѣ осталась ихъ прежняя, языческая религія: у нихъ свои шайтаны, которымъ они покланяются гораздо больше, чѣмъ истинному Богу; свои шаманы, которые для нихъ ближе и дороже, чѣмъ наши священники. Да и можно ли отъ вогуловъ требовать иного отношенія къ христіанской религіи, когда здѣсь одинъ священникъ на такое громадное разстояніе, что онъ имѣетъ возможность всего только разъ въ годъ, и то мимолетно, заглядывать въ дома своихъ прихожанъ? Когда же тутъ успѣть внушить имъ правила истинной религіи? Что касается церкви, то и говорить нечего, что за дальностію разстоянія они въ нее почти никогда не заглядываютъ. Да, кромѣ того, и на священниковъ нашихъ они смотрятъ, скорѣе, какъ на нѣчто для нихъ враждебное, такъ какъ послѣдніе жгутъ ихъ идоловъ и раззоряютъ имущества послѣднихъ, не убѣждая, а дѣйствуя только страхомъ, угрожая въ случаѣ сопротивленія предать идолопоклонниковъ суду за вѣроотступничество. Тутъ есть отчего упасть духомъ и начать жить, не заботясь о завтрашнемъ днѣ, какъ они всѣ и живутъ“.

Иванъ Петровичъ замолчалъ.

Уже давно была глубокая ночь, но мы ее совершенно не замѣчали. Она походила скорѣе на лѣтнія, раннія сумерки. Ни одной звѣзды не мерцало на совершенно ясномъ, безъоблачномъ небѣ. Сѣверъ ярко горѣлъ пурпурнымъ блескомъ, придавая всей природѣ какую-то чарующую прелесть. Невозмутимая тишина царила въ воздухѣ. Громадные кедры и лиственницы широко раскидывали надъ рѣкой свои косматыя вѣтви, и чудилось, что вотъ-вотъ гдѣ-нибудь, подъ ихъ таинственнымъ сводомъ, плеснется рѣзвая русалка и, сверкая своими бѣлоснѣжными формами, начнетъ скликать своихъ подругъ для шумнаго хоровода. Это была та блѣдно-розовая, прозрачная, полная очарованій и грезъ ночь, какія только и возможны подъ этимъ градусомъ. Только здѣсь, среди этой волшебной обстановки становится ясной и понятной религія дикихъ народовъ, олицетворяющихъ всю природу и наполняющихъ ее таинственными существами.

Наша лодка плавно скользила по быстрому руслу рѣки, сжатой съ обоихъ сторонъ дремучимъ лѣсомъ. Мѣрные удары гребцовъ-вогуловъ и ихъ тихое заунывное мурлыканье производили какое-то странное впечатлѣніе въ одно и то же время, и убаюкивая, и возбуждая фантазію къ дѣятельной работѣ.

— Иванъ Петровичъ,— сказалъ я,— у насъ начался разговоръ съ вогульскихъ суевѣрій, которыя вы, повидимому, раздѣляете. Скажите, пожалуйста, вамъ самому лично приходилось

наблюдать что-либо такое необъяснимое, сверхъестественное? Вѣдь, однимъ разсказамъ безъ свидѣтельства собственныхъ чувствъ вѣрить слишкомъ рискованно.

— О, само собой разумѣется! Неужели вы думаете, что, не будь я очевидцемъ кое-чего, совершенно для меня непонятнаго, я сталъ бы говорить серьезно объ этомъ? Въ томъ-то вотъ и вся бѣда, что для борьбы съ предразсудками и суевѣріемъ здѣшнихъ сибирскихъ инородцевъ и для искорененія идолопоклонства между ними наши духовные пастыри оказываются слишкомъ безсильны, такъ какъ шаманы, очевидно, владѣютъ какой-то тайной, совершенно неизвѣстной еще людямъ науки. Чудеса, продѣлываемыя ими, могутъ поставить втупикъ и просвѣщеннаго человѣка,—судите же сами, какъ они должны дѣйствовать на невѣжественнаго дикаря!

— Вы насъ такъ заинтересовали, что, навѣрное, не откажетесь сообщить намъ что-либо изъ того, что вамъ лично приходилось видѣть?

— Охотно. Впрочемъ, правду сказать, самъ лично я видѣлъ всего два-три случая, но и этого было совершенно достаточно для того, чтобы разсѣять мой скептицизмъ.

— „Тотчасъ по выходѣ изъ фельдшерской школы меня назначили фельдшеромъ въ остяцкія юрты на Обь, около Сургута. Въ то время я былъ ярымъ матеріалистомъ, какъ и слѣдовало ожидать отъ человѣка, готовившагося къ медицинской карьерѣ; (я мечталъ когда-то объ университетѣ, но обстоятельства сложились такъ, что моимъ мечтамъ не суждено было осуществиться). Фельдшерская школа не даетъ, разумѣется, большихъ знаній, тѣмъ болѣе общеобразовательныхъ; но при помощи добрыхъ людей я довольно таки поработалъ надъ собой. Я читалъ и Дарвина, и Фогта, былъ нѣсколько знакомъ и съ положительной философіей Огюста Конта, но въ особенности горячо увлекался Бюхнеромъ. Какъ видите, эти господа не особенно сильно располагаютъ къ чему-либо сверхъестественному. Итакъ, я былъ матеріалистъ съ головы до ногъ, а тутъ вдругъ мнѣ привелось очутиться въ самомъ очагѣ языческихъ суевѣрій. Еще раньше я много слыхалъ о фокусахъ шамановъ, но до тѣхъ поръ мнѣ ни разу не приводилось быть лично свидѣтелемъ ихъ ловкости. Поэтому, когда однажды, проѣзжая по своей обязанности, я остановился въ юртѣ одного остяцкаго старшины и узналъ, что ночью къ этому старшинѣ пріѣдетъ приглашенный имъ шаманъ, чтобы поворожить о потерянныхъ нѣсколько дней тому назадъ старшиной ключахъ, я рѣшилъ остаться у него ночевать, желая воочію убѣдиться, насколько были замысловаты фокусы этого шамана. Сдѣлавъ распоряженіе, чтобы пораньше утромъ мнѣ приготовили

оленей для дальнѣйшаго пути, я расположился въ юртѣ старшины. Эта юрта была самой обыкновенной. Она состояла всего изъ одной просторной, жилой комнаты, въ которой старшина помѣщался со всѣмъ своимъ семействомъ—женой и двумя небольшими дочерьми. Въ чувалѣ [1]) ярко пылалъ привѣтливый огонекъ, освѣщавшій всю незатѣйливую обстановку жилища остяка: нары по стѣнамъ, двѣ скамейки, единственный столъ, два-три сундука въ углу съ бѣльемъ и одеждой, кремневое ружье на гвоздѣ да куча сѣтей, висѣвшихъ на шестахъ, составляли все убранство юрты. Хотя было еще довольно рано, но если принять во вниманіе, что вмѣсто стеколъ въ окнахъ юрты была натянута брюшина, плохо пропускавшая даже лѣтомъ солнечный свѣтъ, то при тускломъ зимнемъ днѣ въ жилищѣ старшины была почти безпрерывная ночь. Ждать шамана привелось довольно таки долго. Онъ пріѣхалъ почти къ самой полуночи. Это былъ коренастый, сгорбленный старикъ съ сѣдой, всклокоченной бородой. Но его лицо не было ни отталкивающе, ни сурово, какъ я почему-то ожидалъ. Изъ-подъ густыхъ нависшихъ бровей кротко, но вмѣстѣ съ тѣмъ пытливо, глядѣли свѣтившіеся умомъ сѣрые глаза. Когда онъ говорилъ, по его блѣдному, изможденному лицу пробѣгали чуть замѣтныя конвульсіи, изобличавшія нервнаго человѣка. Въ общемъ онъ производилъ довольно пріятное впечатлѣніе. Одѣтъ онъ былъ въ верблюжій азямъ, [2]) поверхъ котораго была накинута малица. [3]) Мѣховая шапка съ ушами, рукавицы на рукахъ и саки [4]) на ногахъ доканчивали его нарядъ. Словомъ—по костюму онъ ничѣмъ не отличался отъ другихъ остяковъ. Только длинная ременная веревка, вмѣсто пояса обмотанная вокругъ его азяма, почему-то бросалась въ глаза. Въ рукахъ у шамана былъ семиструнный лебедь, [5]) который онъ бережно положилъ подлѣ чувала. Затѣмъ, поздоровавшись съ нами, онъ снялъ съ себя малицу, распоясалъ окутывавшую азямъ веревку, сѣлъ возлѣ чувала рядомъ съ лебедемъ и велѣлъ скрутить себя своей веревкой по рукамъ и ногамъ, *насколько возможно крѣпче;* въ этомъ онъ въ особенности настаивалъ, такъ какъ иначе и для него самого и для присутствующихъ, онъ говорилъ, можетъ быть скверно. Мы съ хозяиномъ и моимъ завтрашнимъ ямщикомъ, который ночевалъ тутъ же, въ точности исполнили желаніе шамана, скрутивъ его такъ, что у него жилы налились кровью. Послѣ этого онъ

[1]) Чувалъ—родъ камина, сдѣланный изъ переплетенныхъ вѣтвями жердей обмазанныхъ толстымъ слоемъ глины. Рядомъ съ чуваломъ обыкновенно помѣщается большой, чугунный котелъ, служащій для варки пищи.

[2]) Родъ халата.

[3]) Одежда изъ оленьей шкуры, безъ разрѣза, надѣваемая какъ рубаха.

[4]) Мѣховые веленки.

[5]) Музыкальный инструментъ, родъ гуслей.

приказалъ загасить въ чувалѣ огонь и ни подъ какимъ видомъ не зажигать его до тѣхъ поръ, пока онъ самъ объ этомъ не скажетъ, снова повторивъ свою прежнюю угрозу. Когда это было исполнено, мы всѣ сѣли на нарахъ и начали ждать, что будетъ. Въ юртѣ была абсолютная темнота; я нарочно помѣстился поближе къ шаману, чтобы легче было наблюдать за нимъ. Воцарилась мертвая тишина. Прошло минутъ десять.

„Я вамъ сказалъ, что я человѣкъ безъ предразсудковъ и кромѣ грубаго шарлатанства ничего не ожидалъ отъ шамана. Но всѣ эти приготовленія, а отчасти, можетъ быть, и утомительная дорога, которую я передъ этимъ только что сдѣлалъ, разстроили порядочно таки мои нервы, да къ тому же я и безъ того очень нервный человѣкъ,—словомъ, все это, вмѣстѣ взятое, заставило меня не безъ нѣкотораго волненія и безпокойства ожидать, что будетъ дальше.

„Вдругъ среди мертвой тишины, въ томъ мѣстѣ, гдѣ сидѣлъ связанный шаманъ, послышался легкій звукъ струны. Сначала я подумалъ, что ослышался, но вотъ звукъ снова повторился, затѣмъ аккордъ, тихій, едва уловимый, потомъ другой, третій, громче и громче; за нимъ пѣніе, сначала тоже тихое, потомъ все отчетливѣе и яснѣе. Это пѣлъ шаманъ. Его голосъ съ акомпаниментомъ лебедя постепенно все крѣпчалъ и крѣпчалъ, наконецъ превратился въ какой-то страшный, неистовый вопль. Звукъ лебедя и дикій голосъ шамана наполняли всю юрту и, вѣроятно, далеко разносились за околицей. Я съ изумленіемъ и, скажу правду, страхомъ наблюдалъ за всѣмъ этимъ. Шаманъ находился отъ меня всего въ трехъ шагахъ, и я положительно былъ убѣжденъ, что никто другой къ нему подойти не могъ. Кто же, спрашивается, игралъ на лебедѣ? Очевидно, онъ. Но какъ? Вотъ въ чемъ была загадка. Пока я терялся въ различныхъ предположеніяхъ, вдругъ случилось нѣчто, отчего у меня морозъ пробѣжалъ по кожѣ и волоса зашевелились на головѣ: мнѣ показалось, что шаманъ поднимается на воздухъ и поднимается именно по направленію широкой трубы въ чувалѣ. Я слышалъ, что тамъ, въ этой трубѣ что-то зашабарчало, зашумѣло; звуки лебедя и пѣсня шамана начали слышаться надъ кровлей, затѣмъ все удаляться, удаляться, затихать, и наконецъ замерли гдѣ-то вдали, за стѣнами юрты. Моему ужасу не было предѣла. Я схватился за карманъ, чтобы достать спичку и добыть огня, но увы!—въ моемъ карманѣ ихъ не оказалось, хотя я очень хорошо помнилъ, что только что передъ этимъ ощупывалъ ихъ, намѣреваясь уличить шамана въ шарлатанствѣ. Тогда я всталъ и ощупью побрелъ къ тому мѣсту, гдѣ сидѣлъ шаманъ. Его не было. Я хотѣлъ крикнуть, чтобы зажигали скорѣе огонь, но точно какая-то невидимая сила

сковала мой языкъ и онъ мнѣ не повиновался. Въ изнеможеніи, совершенно уничтоженный, я снова сѣлъ на свое прежнее мѣсто. Тишина въ юртѣ не прерывалась. Всѣ присутствующіе точно вымерли. Слышно было, какъ гдѣ-то подъ поломъ скреблась мышь. Такъ прошло съ полчаса. Наконецъ, гдѣ-то далеко, далеко, по направленію той дороги, куда мнѣ завтра нужно было ѣхать, опять послышалось, сначала едва слышное, потомъ все усиливающееся и приближающееся, пѣніе. Вотъ ясно сталъ слышенъ и звукъ лебедя, вотъ опять что-то зашумѣло надъ трубой и въ чувалѣ сначала звякнуло что-то металлическое, точно связка ключей, а вслѣдъ за этимъ дикая пѣсня съ акомпаниментомъ лебедя раздалась опять около меня на прежнемъ мѣстѣ, и тотчасъ же все смолкло.

„Прошло нѣсколько мгновеній.

— „Зажгите огонь!—послышался слабый голосъ шамана.— Спички тутъ, на столѣ.

„Я торопливо отыскалъ въ темнотѣ столъ и нащупалъ коробку спичекъ, мою коробку, какъ оказалось потомъ. Дрожащими руками я зажегъ лучину и взглянулъ на шамана. Онъ лежалъ въ той же самой позѣ, въ какой мы его оставили. Лебедь былъ тоже на прежнемъ мѣстѣ, какъ будто къ нему никто и не дотрогивался.

— „Развяжите меня,—снова тихо попросилъ шаманъ. Онъ былъ блѣднѣе обыкновеннаго, лицо казалось совершенно измученнымъ; глаза блуждали, какъ у помѣшаннаго.

„Когда мы его развязали, онъ медленно расправилъ свои члены и въ изнеможеніи опустился на нары.

— „А вѣдь, ты, старшина, напрасно думалъ, что твои ключи у тебя украли, ты самъ ихъ потерялъ,—сказалъ онъ наконецъ, обращаясь къ хозяину.—Да я ихъ нашелъ (онъ назвалъ юрты, отстоявшія въ 50 верстахъ отъ того мѣста, гдѣ мы находились) около угла юрты твоего кума въ снѣгу. Давно ты былъ у кума?

— „Да съ недѣлю тому назадъ.

— „И съ тѣхъ поръ у тебя не стало ключей?

— „Да.

— „Ну, вотъ, видишь .Вонъ они тамъ, въ чувалѣ,—возьми!

„Старшина подошелъ къ чувалу и изъ пепла вынулъ связку ключей.

„На слѣдующій день мнѣ привелось ѣхать какъ разъ черезъ тѣ самыя юрты, гдѣ, какъ увѣрялъ шаманъ, онъ нашелъ ключи, и я нарочно, изъ любопытства, разыскалъ указанное имъ мѣсто. Дѣйствительно, около угла одной юрты въ снѣгу я увидѣлъ совершенно свѣжіе слѣды двухъ ногъ и тутъ же неподалеку разры-

Изъ библіотеки Ивановъ-Разумника

тый снѣгъ: кто-то, очевидно, недавно рылся въ этомъ мѣстѣ, какъ бы что-то разыскивая.

„Это было мое первое знакомство съ колдовствомъ шамановъ. Я говорю колдовствомъ, потому что для объясненія этого страннаго явленія не могу пріискать болѣе подходящаго названія.“

Иванъ Петровичъ снова замолчалъ.

Мы съ товарищемъ недовѣрчиво переглянулись.

— Я вижу, господа, вы мнѣ не вѣрите,—сказалъ Иванъ Петровичъ, уловивъ нашъ взглядъ.—Но я, разумѣется, и не намѣренъ убѣждать васъ въ справедливости моего разсказа, такъ какъ очень хорошо знаю, что для того, чтобы повѣрить всему, только что мной разсказанному, необходимо самому лично своими собственными чувствами убѣдиться въ этомъ. Если я вамъ и разсказалъ эту исторію, то единственно только потому, что вы сами просили.

— Помилуйте, Иванъ Петровичъ! Пожалуйста, вы на насъ не обижайтесь за наше сомнѣніе,—сказалъ мой товарищъ.—Исторія, только что разсказанная вами, дѣйствительно, такого свойства, что заставитъ хоть кого призадуматься. Мы не сомнѣваемся въ искренности вашего разсказа, но, можетъ быть, вы и сами были введены въ заблужденіе. Можетъ быть, это былъ просто на просто обманъ чувствъ, галлюцинація?

— То есть, вы хотите сказать, что, можетъ быть, не былъ ли я въ это время пьянъ?—улыбнулся Иванъ Петровичъ.

— О, помилуйте, совсѣмъ не то! Но, можетъ быть, этотъ шаманъ васъ очаровалъ какимъ-нибудь другимъ образомъ? Онъ не курилъ въ юртѣ передъ своей ворожбой какимъ-нибудь веществомъ?

— Въ томъ то и дѣло, что ничего подобнаго не было. Я строго самъ наблюдалъ за нимъ.

— Странно, очень странно...

— „Вы говорите—странно. А вѣдь, въ сущности, тутъ ничего новаго даже нѣтъ. И въ цивилизованномъ мірѣ вы въ настоящее время встрѣтите много вѣрующихъ въ сверхъестественное даже среди людей образованныхъ. Возьмите хотя тѣхъ же спиритовъ. Если бы кто-нибудь изъ этихъ господъ побывалъ здѣсь, онъ, повѣрьте, нашелъ бы много кой-чего поучительнаго. Мнѣ случалось читать разсказы о спиритическихъ явленіяхъ; сравнивая эти разсказы съ разсказами здѣшнихъ инородцевъ, я замѣчалъ, что они имѣютъ между собой много общаго. Я даже лично знаю, напримѣръ, одинъ пауль здѣсь, на Кондѣ, жители котораго на моихъ глазахъ должны были переселиться на другое мѣсто, потому только, что по ночамъ на кровляхъ юртъ этого пауля очень часто раздавался какой-то стукъ, какъ будто кто кидалъ въ нихъ кирпичами и полѣньями, такъ что маленькія дѣти

и женщины сильно пугались этого. Или вотъ, напримѣръ, другое сравненіе, хотя и не изъ области сверхъестественнаго, но изъ области тоже совершенно неизслѣдованнаго. Въ прошломъ году въ Тобольскѣ мнѣ привелось прочесть въ одной газетѣ, что,—кажется, въ Берлинѣ,—появился какой-то не то фокусникъ, не то индійскій факиръ, который на глазахъ публики пронзалъ себѣ кинжаломъ животъ и распарывалъ его безъ всякихъ вредныхъ для себя послѣдствій; а между тѣмъ на Оби у остяковъ подобные субъекты вовсе не рѣдкость. Они буквально выпускаютъ себѣ внутренности и потомъ снова зашиваютъ и заживляютъ ихъ. Я не хочу лгать, самъ лично я не былъ свидѣтелемъ подобныхъ операцій, но слыхалъ это отъ очевидцевъ, людей, которымъ я не имѣю основанія не вѣрить.

„И замѣчательно то, что всѣ эти колдуны и шаманы вовсе не злоупотребляютъ своимъ искусствомъ для эксплоатаціи ближнихъ, какъ слѣдовало бы ожидать, напротивъ,—они всѣ или бѣдняки или, по крайней мѣрѣ, живутъ, ничѣмъ не отличаясь отъ другихъ, добывая себѣ средства къ существованію своимъ личнымъ трудомъ. За Сургутомъ, на рѣчкѣ Вахъ, одномъ изъ притоковъ Оби, пользуется большой популярностью, какъ между инородцами, такъ и между русскими, одинъ остякъ; зовутъ его Филькой. Этотъ Филька бѣденъ, какъ Іовъ, а между тѣмъ съ его искусствомъ онъ могъ бы нажить себѣ состояніе. Мнѣ случайно привелось довольно коротко познакомиться съ этимъ интереснымъ субъектомъ, и я вошелъ къ нему въ такое довѣріе, что онъ обѣщался даже сообщить мнѣ кое-что изъ своей науки, перешедшей къ нему по наслѣдству отъ отца. Къ сожалѣнію, вскорѣ я былъ переведенъ оттуда въ мое настоящее мѣстожительство, и съ тѣхъ поръ не имѣлъ случая съ нимъ встрѣчаться. Однажды въ моемъ присутствіи и въ присутствіи одного моего знакомаго, тоже интеллигентнаго человѣка, у этого Фильки произошелъ споръ съ другимъ остякомъ, выдававшимъ себя тоже за знахаря,—кто изъ нихъ больше знаетъ? Нужно замѣтить, что всѣ вообще шаманы и знахари увѣряютъ, что они совершенно безсильны сдѣлать какой-либо вредъ обыкновенному смертному, ничего не знающему изъ ихъ искусства; но если человѣкъ что-либо знаетъ, а другой знаетъ больше его, то послѣдній всегда имѣетъ возможность насмѣяться и одурачить перваго. Вотъ такой-то антагонизмъ возгорѣлся и въ настоящемъ случаѣ. Дѣло происходило днемъ въ юртѣ у одного остяка. Кромѣ насъ двоихъ, тутъ было еще много и другихъ присутствующихъ, и всѣ мы съ понятнымъ любопытствомъ ожидали, чѣмъ рѣшится споръ.

— „Такъ хорошо же,—сказалъ Филька,—я тебѣ сейчасъ покажу, что ты противъ меня щенокъ и ровно ничего не смыслишь.

„Онъ сѣлъ противъ своего соперника, и въ ту же минуту на лицо послѣдняго посыпались такія звонкія пощечины, наносимыя невидимой рукой, что мы всѣ въ ужасѣ выбѣжали вонъ изъ юрты, боясь, чтобъ и намъ не досталось. Повторяю, дѣло было яснымъ, лѣтнимъ днемъ и рядомъ съ соперникомъ Фильки рѣшительно никого не было, а между тѣмъ какая то невидимая рука награждала его такими звонкими оплеухами, что онъ скоро неистово завопилъ, умоляя о пощадѣ...“

— Иванъ Петровичъ!—закричалъ въ это время гребецъ съ его лодки,—намъ пора!

— Ахъ, да! Я такъ увлекся, что даже и не замѣтилъ, что намъ время уже разстаться. Сейчасъ вотъ здѣсь впадетъ въ Конду рѣчка, на которой живетъ мой паціентъ. Вамъ—прямо, мнѣ—направо. Прощайте.

Онъ пересѣлъ въ подплывшую лодченку, и мы разстались.

— А что, какого вы мнѣнія насчетъ всего слышаннаго?—спросилъ меня мой спутникъ.

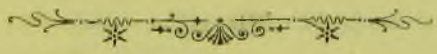
— Чортъ знаетъ что такое!—отвѣчалъ я.—Въ искренности его словъ, дѣйствительно, сомнѣваться невозможно: онъ производитъ впечатлѣніе совершенно правдиваго человѣка. Но, знаете, мнѣ кажется, что онъ немножко того... тронутъ. Вы замѣтили, какъ у него странно иногда блестятъ глаза? Да къ тому же эта разсѣянность...

Мой пріятель молчалъ.

— Мудренаго ничего нѣтъ,—продолжалъ я,—вотъ мы съ вами всего три мѣсяца пробыли въ этой дикой трущобѣ, а, право же, какъ-то уже начинаетъ чувствоваться не по себѣ. А онъ, вѣдь, десять лѣтъ постоянно одинъ, одинъ между этими дикарями. Тутъ есть, отчего свихнуться...

— Можетъ быть и такъ,—проговорилъ мой коллега.—Хотя знаете, „много есть, другъ Гораціо...“

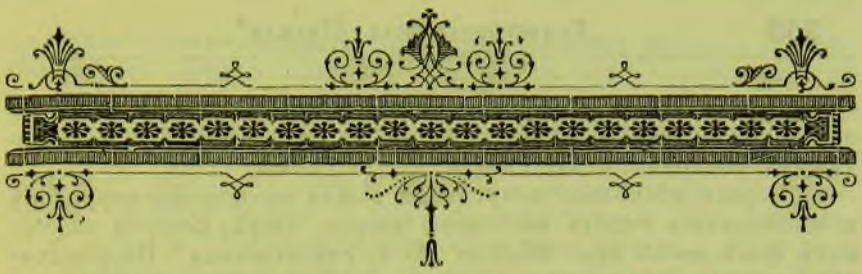
Я не дослышалъ послѣднихъ словъ, ибо мой спутникъ завернулся въ свое одѣяло и скоро заснулъ. Я не нашелъ ничего лучшаго, какъ тоже послѣдовать его примѣру, предварительно попросивъ гребцовъ прикрыть насъ сверху кошмой, такъ какъ къ восходу солнца погода испортилась, небо заволокло тучами и началъ накрапывать мелкій дождь.



Вьюга.

Намъ съ тобою, мой другъ, такъ уютно вдвоемъ...
Въ уголку предъ иконой лампадка мерцаетъ...
Намъ тепло и привѣтно, а тамъ за окномъ,
Какъ на грѣхъ, эта вьюга о чемъ-то рыдаетъ!
Мы прижались другъ къ другу и молча сидимъ,
Молча смотримъ въ окно, гдѣ бушуетъ ненастье;
Мы боимся нарушить дыханьемъ своимъ
Нашу тихую радость взаимнаго счастья...
Я боюся придвинуться ближе къ тебѣ,
Ты боишься обнять меня крѣпче рукою...
Мы страшимся и шороха даже въ окнѣ,—
Такъ хотѣлось бы быть намъ въ затишьѣ съ тобою!...
Мы боимся... А вьюга, какъ будто на зло,
Съ каждымъ разомъ сильнѣй и сильнѣе рыдаетъ
И, врываясь назойливо къ намъ за стекло,
Нашу тихую радость и счастье смущаетъ...
Я не знаю, задумалась вдругъ ты о чемъ,
Глядя въ тусклую даль, въ эту тьму безъ просвѣта?
Не о томъ-ли, мой другъ, что не всѣ за окномъ
Въ эту бурную ночь теплымъ счастьемъ согрѣты?...

О. И-нъ.



„РѢШЕНЬЕ ПРОЧИТАЛИ".

Разсказъ

А. Г. Туркина.

Смотритель тюрьмы раскрылъ лежавшую передъ нимъ толстую книгу, взялъ перо и съ видимымъ любопытствомъ посмотрѣлъ на арестанта.

Это былъ крайне невзрачный на видъ мужиченко. Разорванная мѣстами рубаха позволяла видѣть тощее, синеватое тѣло, съежившееся точно отъ холода. Худыя волосатыя руки нервно теребили фуражку. Узенькое, остроносое лицо было сплошь покрыто веснушками. Но на этомъ невзрачномъ лицѣ кротко горѣли великолѣпные, съ нѣжнымъ, какъ у женщины, выраженіемъ, голубые глаза.

— Твоя фамилія Дроздовъ, говоришь?—спросилъ смотритель.

— Ефимъ Ивановъ Дроздовъ,—надтреснутымъ голосомъ отвѣчалъ арестантъ.

— Сколько лѣтъ?

— Тридцать.

Смотритель записалъ.

— Отведи его въ слѣдственную,—приказалъ онъ, кладя перо, стоявшему недалеко надзирателю.

— Слушаю-съ, ваше б—е!

Ефимъ послушно повернулся и пошелъ за надзирателемъ.

*

Они прошли широкій тюремный дворъ. Арестанты уже были заперты. Ефимъ посмотрѣлъ на голубое небо, кротко сіявшее заходящимъ солнцемъ, и вздохнулъ.

Черезъ нѣсколько минутъ они вошли въ широкій корридоръ и остановились передъ массивною дверью, сверху которой на черномъ фонѣ доски ярко бѣлѣло: „№ 9, слѣдственная“. Погромыхивая ключами, надзиратель отворилъ дверь и почти втолкнулъ въ камеру Ефима.

Въ слѣдственной помѣщалось человѣкъ двадцать арестантовъ. Нѣкоторые лежали на нарахъ, одинъ чинилъ свою рубаху, а другіе сидѣли кучками и разговаривали. При входѣ Ефима всѣ съ любопытствомъ уставились на него. Ефимъ прошелъ въ уголъ камеры, никѣмъ не занятый, и тоскливо оглядѣлся, не зная, что дѣлать.

— Раздѣвайся, гость будешь... сказалъ кто-то.

Раздался смѣхъ.

— Ты, братъ, не робѣй... продолжалъ тотъ же голосъ,—здѣсь, вѣдь, харчи и тепло готовое.

— Клопы вотъ разѣ только радуются, робя...

— Ну, съ этого не больно много возьмешь: вишь, какой тараканъ замореный...

Всѣ покатились со смѣху.

Ефимъ опять вздохнулъ, сѣлъ на нары и началъ разуваться. Сидѣвшій около него жирный парень, съ глуповатымъ выраженіемъ лица, наклонился къ нему и тихо спросилъ:

— По какому дѣлу будешь?

Ефимъ посмотрѣлъ на него и потупился.

— По конокрадству, што-ли?—допытывался жирный парень.

— Нѣтъ... по убивству... глухо отвѣтилъ Ефимъ.

Жирный парень разинулъ ротъ и, помолчавъ немного, участливо проговорилъ:

— Ишь-ты... Влопался, значитъ... по сознанью?

— По сознанью...

— Ишь-ты... нѣтъ, вотъ я такъ по конокрадству... не хошь ли пирога?

Жирный парень почувствовалъ внезапную симпатію къ Ефиму, а этотъ, чувствуя себя совсѣмъ одинокимъ въ душной тюремной атмосферѣ, съ радостью уцѣпился за парня. Черезъ нѣсколько минутъ они пріятелями сидѣли на нарахъ, не смотря на градъ сарказмовъ, сыпавшихся на нихъ.

— Ишь-ты, братцы вы мои,—острилъ одинъ черноволосый арестантъ,—какъ-бы Афонька, къ примѣру сказать, не слопалъ этого замореннаго-то...

Но вскорѣ ихъ оставили въ покоѣ. Поболтавъ еще немного,

арестанты начали укладываться спать. Погасили ночники и мало-по-малу въ камерѣ затихло. Только въ одномъ углу долго не спали. Кто-то тихо и грустно разсказывалъ:

— ...Отворили мы это ставень и смотримъ: старуха сидитъ и чулокъ вяжетъ, а дѣвченка вслухъ книжку читаетъ... Какъ сичасъ вижу дѣвченку: сидитъ, читаетъ и волосенки на лобъ свѣсились... Я было бѣжать, а Архипко тащитъ меня: „что, говоритъ, ты за мужикъ... Не мужикъ, говоритъ, ты, а заяцъ“... Тутъ-то я и осатанѣлъ: хватилъ раму и въ избу... Архипко за мной... Старуха вся почернѣла и чулокъ изъ рукъ вывалился, а дѣвченка смотритъ во всѣ глаза... Охо-хо-хо...

— Ну?...

— Ну, Архипко къ старухѣ, и нырнулъ ее, да такъ ловко, што и не вскрикнула... а самъ къ сундуку... Дѣвченка-то закричала: „дяденька! дяденька!“ Ну, я вижу, што дѣло плохо: сбѣжится, пожалуй, народъ... Подскочилъ къ дѣвченкѣ и...

— И саданулъ?

— Охо-хо-хо... лучше не вспоминать... тяжело, братъ, послѣ было... Куда ни взгляну—вездѣ *она*... Сидитъ, книжку читаетъ и волосенки на лбу... о-о-о!...

— Ишь-ты...

— Плохо, все-таки, мы разсчитали съ Архипкой! Кто-то услыхалъ дѣвченкинъ-то ревъ и поднялъ сосѣдей. Архипко какъ-то улизнулъ, а я, какъ ошалѣлый, сижу на лавкѣ и смотрю на дѣвченку... Меня и накрыли... „Вяжите, говорю, православные... Обѣихъ я порѣшилъ“...

— Ты, вѣдь, только дѣвку...

— Все на себя взялъ... Можетъ, *Онъ* проститъ меня за это... Такъ и судебному сказалъ: „обѣихъ, молъ, ваше б—е, кончилъ...“

— Ишь-ты... Нѣтъ, вотъ я такъ только по конокрадству...

Разсказчикъ тяжело вздохнулъ, слѣзъ съ наръ и подошелъ къ окну. На дворѣ тускло горѣлъ фонарь. Изъ сосѣдняго номера доносилась пѣсня. Это пѣли бродяги. Безконечно тихая грусть безсознательно выливалась въ стройномъ напѣвѣ. Она разсказывала, эта пѣсня, про широкій, какъ море, просторъ степей, про необъятную глубь заколдованной тайги, про потерянную волю... Это пѣли люди, загубленные люди, которыхъ сковала по рукамъ и ногамъ кара закона... И казалось, что эта пѣсня, вырываясь сквозь рѣшетку въ благоуханную мглу ночи, плакала и разсказывала звѣздамъ про неволю... И плакали звѣзды, и сыпали на землю свои божественныя искры...

— Староста! позвать Ефима Дроздова въ контору!—разносится по тюремному двору рѣзкій голосъ надзирателя.

Староста опрометью бѣжитъ по камерамъ.

— Ефима Дроздова!—оретъ онъ во все горло.

Черезъ нѣсколько минутъ Ефимъ стоялъ въ конторѣ. Смотритель сидѣлъ у стола и задумчиво смотрѣлъ въ окно, барабаня по столу пальцами.

— Ну, Дроздовъ! Дѣло твое, братъ, кончено... Мнѣ предписано судомъ прочитать тебѣ рѣшеніе...

— Что-жъ... прочитайте, ваше б—е...

Арестантъ вдругъ поблѣднѣлъ и глубоко потянулъ въ себя воздухъ. Самъ не замѣчая того, онъ схватился за спинку стоявшаго недалеко стула и пальцы судорожно впились въ дерево.

— Все читать?—спросилъ смотритель.

— Коли милость будетъ...

Смотритель взялъ со стола листъ, исписанный кругомъ красивымъ канцелярскимъ почеркомъ, и кашлянулъ.

— По указу Его Императорскаго Величества... началъ онъ вибрирующимъ отъ внутренняго волненія голосомъ. Волненіе смотрителя происходило не отъ жалости къ арестанту. Такія сцены примелькались ему, да и „казенному“ человѣку стыдно снисходить до „нѣжностей“. Его волновала та мысль, что вотъ онъ сейчасъ *первый* прочтетъ роковыя слова, гдѣ для человѣка таилось то нѣчто ужасное, загадочное, которое оторветъ его отъ людей, или возвратитъ къ жизни...

Ефимъ упорно уставился на блестящую пуговицу смотрительскаго вицъ-мундира и слушалъ. Страшно напрягая мозгъ, онъ всѣми силами старался вникнуть въ каждое слово, но тяжелыя канцелярскія слова ничего не могли ему выяснить.

— Ваше благородіе!—вдругъ прервалъ онъ хриплымъ, задыхающимся голосомъ.—Мнѣ бы суть-то самую... рѣшенье-то самое...

Смотритель взглянулъ на него и, увидя напряженное, измученное лицо, перевернулъ листъ, взглянулъ пониже и отчетливо прочиталъ:

„*Лишить всѣхъ правъ состоянія и сослать въ каторжныя работы на пятнадцать лѣтъ*“.

Прочитавши эти слова, онъ бросилъ бумагу на столъ, не глядя на арестанта, хотя отлично слышалъ, какъ хрустнула спинка у стула. Когда, черезъ минуту, онъ снова взглянулъ на Ефима, то встрѣтилъ кроткій, просящій взглядъ большихъ голубыхъ глазъ... Точно человѣкъ просилъ пощады, или, по крайней мѣрѣ, участія. Все лицо каторжника какъ будто похудѣло и просвѣтлѣло.

— Каторга, значитъ, ваше б—е?

— Да... теперь тебя придется заковать...

— Что-же... дѣло заслуженое..... теперь какъ будто полегчало... Вотъ только когда вы вычитывали, такъ тяжеленько было, а теперь ничего...

Повидимому, онъ былъ спокоенъ и бодро вышелъ на тюремный дворъ. Вдругъ его пошатнуло и онъ тяжело опустился на землю. Съ минуту онъ туно смотрѣлъ вокругъ себя, потомъ лицо его исказилось и тихія всхлыванія вырвались изъ груди. Звѣрь-человѣкъ, зарѣзавшій „дѣвченку“, теперь самъ всхлипывалъ по-дѣтски, безпомощно... Окружавшіе его арестанты молчали. Нѣкоторые упорно смотрѣли на землю. Не слыхать было даже звяканья кандаловъ. Наконецъ, толпа заволновалась и въ плотно-сомкнутой массѣ глухо пронесся сдержанный говоръ:

— „Рѣшенье прочитали“...

* * *

Вѣткою увядшей пахнущей сирени,
Вложенной мнѣ въ книгу милою рукой,
Вызвалъ я сегодня образы и тѣни,
Образы и тѣни юности былой.
Точно властью дивной, властью чародѣя,
Какъ по мановенью сказочному фей,
Всталъ передо мною, весь зазеленѣя,
Садъ благоуханный, съ сумракомъ аллей.
Гдѣ-то прозвенѣла пѣсня, замирая;
Чуть затрепетали влажные кусты;
И я съ болью сладкой вижу, дорогая,
Какъ ко мнѣ приникла тихо ты...

Вѣтка-ли мой призракъ милаго участья,
Иль тому виною прошлая любовь—
Только мнѣ хотѣлось зарыдать отъ счастья
И повѣрить въ грезы прожитыя вновь...

А. Туркинъ.

* * *

Ты не пой мнѣ пѣсенъ нѣжныхъ,
О любви своей не ной!...
Сердце проситъ бурь мятежныхъ,
Сердце жаждетъ выйти въ бой...

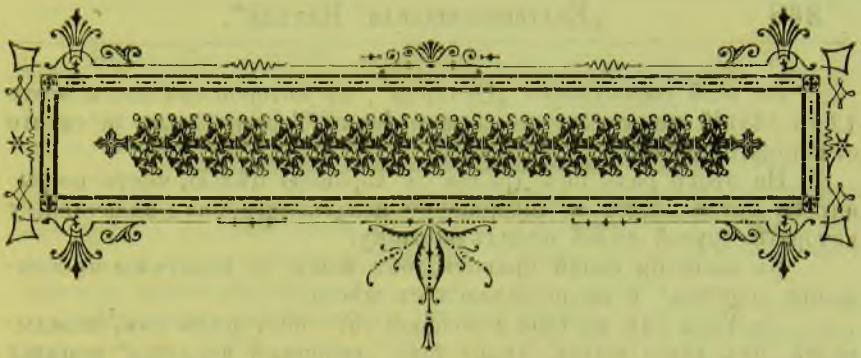
Спой мнѣ пѣсню о бездольныхъ,
Пѣсней душу пробуди,—
Кто несетъ свой крестъ невольный
Съ дѣтской кротостью въ груди.

Спой мнѣ пѣснь о тѣхъ, что твердо
Гибнутъ, съ зломъ вступивши въ бой,
Кто несетъ съ отвагой гордой
Свѣточъ истины святой...

Въ жизни пошлой и безплодной
Гаснутъ искры свѣтлыхъ думъ!
Только честной и свободной
Пѣсней ты пробудишь умъ...

Такъ не пой мнѣ пѣсенъ нѣжныхъ,
О любви своей не пой!...
Сердце проситъ бурь мятежныхъ,
Сердце жаждетъ выйти въ бой...

О. И—нъ.



КРАСНАЯ ГЕРАНЬ.

Перев. съ англійскаго Л. А. Мурахина.

Былъ холодный и сырой ноябрьскій день. Два маленькихъ уличныхъ мальчика дрались въ узкомъ, грязномъ переулкѣ одного изъ лондонскихъ захолустій. Третій мальчикъ тутъ же ревѣлъ вовсе горло, теръ себѣ красными кулаченками глаза и выкрикивалъ съ промежутками:

— Я ему... ничего не сдѣлалъ... Я скажу..скажу все папѣ!

Никто не обращалъ на него вниманія.

Наконецъ ему пришла въ голову прекрасная мысль.

— Синякъ идетъ!—закричалъ онъ, теребя одного изъ мальчиковъ, которому удалось наконецъ свалить своего противника и завладѣть маленькою корзинкою съ сломанной ручкой.

„Синяками“ называются въ Лондонѣ городовые.

— Синякъ идетъ!—повторилъ ревѣвшій мальчикъ.

Тотъ изъ мальчиковъ, который завладѣлъ было корзиной, бросилъ ее опять и принялся улепетывать безъ оглядки.

— Гдѣ онъ идетъ?—спросилъ другой, съ трудомъ переводя духъ.

Все лицо его было исцарапано и на лбу у него вскочила большая шишка, но такіе пустяки были ему ни почемъ.

Во всей окрестности „Овчарни“, въ которой онъ жилъ, этотъ 12-ти-лѣтній мальчикъ, по имени Іоркъ Терри, слылъ за самаго отчаяннаго драчуна.

На этотъ разъ онъ дрался съ хорошею цѣлью, чисто по-рыцарски вступившись за совершенно незнакомаго ему мальчика, у котораго другой силой отнялъ корзину.

Въ сознаніи своей правоты, онъ вовсе не испугался приближенія „синяка“ и не шевелился съ мѣста.

— Такъ гдѣ же твой городовой-то?—повторилъ онъ, оглядываясь, отъ души желая, чтобы тотъ „скверный воришка“ попался въ руки блюстителя общественнаго порядка.

Мѣстность, гдѣ находились мальчики, была отвратительная. По обѣимъ сторонамъ переулка стояли старые, полуразвалившіеся дома съ заткнутыми тряпьемъ разбитыми окнами. Въ лучшихъ изъ нихъ находились грязныя лавченки съ разною рухлядью и овощные погреба, распространявшіе противный, затхлый запахъ. Отовсюду неслись крики и грубая ругань полуодичавшихъ и обозленныхъ нуждою людей.

— Никакого городового и нѣтъ вовсе, —замѣтилъ Джэкъ Виберлей, тотъ, который прежде ревѣлъ и потомъ крикнулъ о приближеніи „синяка“.

Онъ былъ ровесникъ Іорку, но, очевидно, далеко не такъ храбръ и ловокъ, какъ тотъ. За то его лицо было чище, а платье и обувь были аккуратно зачинены; между тѣмъ какъ Іоркъ щеголялъ въ однихъ лохмотьяхъ и совершенно изношенныхъ башмакахъ, вовсе не защищавшихъ его отъ грязи.

— Зачѣмъ же ты кричалъ, что „синякъ“ идетъ?—спросилъ Іоркъ.

— Чтобы воришка убѣжалъ.

Іоркъ засунулъ руки въ тѣ дырья, въ которыхъ когда-то находились карманы, и началъ что-то насвистывать. Новый знакомецъ вдругъ показался ему достойнымъ уваженія.

— Хитрая ты голова, какъ я вижу!—сказалъ онъ немного погодя.—Какъ тебя звать?

— Джэкъ Виберлей,—отрекомендовался мальчуганъ.

— Такъ... Ну, теперь бѣги, что есть духу, къ своей матери, Джэкъ. Она, навѣрное, ждетъ тебя... Вообще, я совѣтую тебѣ больше сидѣть дома, а не бѣгать по улицамъ.

— Зачѣмъ же я пойду домой, когда у меня съ собой обѣдъ? —проговорилъ Джэкъ, таращa глаза.

— А! Тогда ѣшь скорѣе, пока цѣло,—замѣтилъ Іоркъ, намекая на возможность возвращенія „воришки“.

Онъ опять засвисталъ, повернулся и пошелъ.

— Слушай!—закричалъ ему вслѣдъ Джэкъ.

Іоркъ остановился.

— Вотъ что: отецъ послалъ меня съ порученіемъ. Мнѣ далеко идти, и потому мать дала мнѣ съ собой обѣдъ. Не хочешь-ли ты ѣсть? Я подѣлюсь съ тобой.

Глаза Іорка засіяли. Онъ сегодня еще ничего не ѣлъ, а наканунѣ очень мало. Теперь, когда Джэкъ предложилъ ему поѣсть, онъ вдругъ почувствовалъ страшный голодъ, почувствовалъ вмѣстѣ съ тѣмъ и холодъ, и сырость, и съ радостью принялъ предложеніе новаго пріятеля.

Мальчики усѣлись на покривившемся крыльцѣ одной изъ хибарокъ, поджали ноги, чтобы не текло на нихъ съ нависшаго жолоба и съ аппетитомъ принялись уплетать за обѣ щеки намазанные патокою ломти чернаго хлѣба, которыми снабдила Джэка заботливая мать.

Начало темнѣть. Густой сѣрый туманъ сползалъ все ниже и ниже, окутывая всѣ предметы непроницаемою пеленою. Становилось все холоднѣе и сырѣе.

Несмотря на это и на неудобство сидѣнья, мальчики чувствовали себя превосходно и весело болтали, послѣ того, какъ Іоркъ тщательно облизалъ всю бумагу, въ которой былъ завернутъ хлѣбъ.

Они тутъ же вполнѣ подружились. Іоркъ узналъ, что отецъ Джэка имѣетъ постоянную работу на какомъ-то заводѣ, что онъ очень строгъ, и что Джэкъ страшно боится разсердить его, хотя мать всегда заступается за него. Ни братьевъ, ни сестеръ нѣтъ у него, и потому ему очень хотѣлось бы имѣть товарища, съ которымъ онъ могъ бы водиться.

— А у тебя есть мать и отецъ?—освѣдомился Джэкъ, разсказавъ все о себѣ.

— Отца сейчасъ нѣтъ, мать есть,—отвѣтилъ Іоркъ.

— А гдѣ твоя мать?

Іоркъ помахалъ грязной рукой по воздуху.

— Не знаю, гдѣ она,—сказалъ онъ.—На работу ужъ не ходитъ вторую недѣлю, а дома тоже не сидитъ... Это отецъ виноватъ, знаешь-ли,—добавилъ онъ довѣрчивымъ тономъ.

— Въ чемъ онъ виноватъ?—спросилъ Джэкъ.

— Въ томъ, что она пьетъ,—спокойно произнесъ Іоркъ.—Я еще былъ совсѣмъ маленькій, когда онъ пропалъ... Ушелъ онъ и больше не приходилъ, и гдѣ онъ теперь—намъ неизвѣстно.

Джэкъ Виберлей уже насмотрѣлся кое-на-что, и потому сообщеніе Іорка ничуть его не удивило. Ему только пришло на умъ, что его отецъ, пожалуй, и не одобритъ знакомства съ мальчикомъ, у котораго такіе нехорошіе родители.

Но онъ этого не высказалъ, и разстался съ Іоркомъ самымъ

дружескимъ образомъ, давъ ему нѣсколько обѣщаній встрѣчаться съ нимъ какъ можно чаще.

Іоркъ еще походилъ одинъ по переулкамъ, а потомъ пошелъ въ „Овчарню“, гдѣ жила его мать.

„Овчарнею“ назывался громадный дворъ, весь застроенный мрачными, безобразными домами, въ которыхъ жило множество самаго бѣднаго люда, не имѣвшаго ничего, кромѣ зловонныхъ лохмотьевъ. Грязь и вонь тутъ царили до такой степени, что свѣжему человѣку страшно было даже подойти къ этимъ трущобамъ. Ни свѣта, ни струи чистаго воздуха не проникало туда, и люди жили тамъ хуже всякаго скота.

Іоркъ, завидя на дворѣ квартирную хозяйку, которой мать его была должна, старался незамѣтно юркнуть въ тотъ домъ, на чердакѣ котораго жилъ. Это ему удалось.

Ловко пробираясь по гнилымъ и скользкимъ ступенькамъ отвѣсной лѣстницы, онъ благополучно добрался до чердака, который сходился клиномъ и весь былъ въ громадныхъ щеляхъ.

Все убранство помѣщенія состояло въ плохомъ тюфякѣ, валявшемся въ углу на полу, въ одномъ хромоногомъ стулѣ и въ нѣсколькихъ разбитыхъ чашкахъ и тарелкѣ, помѣщавшихся за неимѣніемъ стола тоже на полу.

Іоркъ привыкъ довольствоваться малымъ, и потому онъ находилъ, что лучше этого помѣщенія не надо. Снявъ съ себя мокрые и наполненные грязью башмаки, онъ легъ на тюфякъ и черезъ нѣсколько минутъ крѣпко заснулъ, не смотря на шумъ и гамъ, никогда почти не умолкавшіе въ пресловутой „Овчарнѣ“ и особенно усиливавшіеся по вечерамъ.

Мать Іорка, Мэри Терри, работала на большой писчебумажной фабрикѣ. Она была дѣльная мастерица и ей бы ничего не стоило прилично содержать себя и единственнаго сына, но, къ несчастью, она предалась пьянству и пропивала большую часть своего заработка. Иногда же работа на фабрикѣ, по случаю плохого сбыта, временно пріостанавливалась. Тогда Мэри шла въ поденщицы на полевыя работы.

Въ то время, когда начинается нашъ разсказъ, не было никакой работы ни на фабрикѣ, ни въ полѣ, и она отправилась на неопредѣленное время съ однимъ знакомымъ горшечникомъ сбывать его товаръ въ подгородныя фермы.

Ея не было уже восемь дней. На прощанье она оставила Іорку полковриги хлѣба, которую онъ, всегда голодный, живо съѣлъ. Іорку было не въ диковинку оставаться такимъ образомъ безо всего, и онъ гдѣ зарабатывалъ себѣ на кусокъ хлѣба, оказывая мелкія услуги, гдѣ выпрашивалъ себѣ что-нибудь у торговцевъ съѣстными припасами, а въ крайнемъ случаѣ—собиралъ на

рынкѣ разные отбросы. Все это нисколько не смущало его, и онъ вовсе не обижался на мать, покидавшую его такимъ образомъ. Безъ нея ему было даже лучше въ томъ отношеніи, что онъ чувствовалъ себя вполнѣ свободнымъ. Онъ боялся только, что она принесетъ съ собою денегъ и тогда запьетъ на болѣе или менѣе продолжительное время, а слѣдовательно, и будетъ жестоко бить его, какъ она всегда дѣлала, когда была въ нетрезвомъ видѣ.

Въ сущности, Іоркъ велъ очень жалкую жизнь: кромѣ побоевъ и голода, онъ ничего не видалъ. Ему шелъ уже двѣнадцатый годъ и онъ ни разу еще не могъ наѣсться досыта, ни разу не было на немъ хоть мало-мальски крѣпкой одежды и обуви и, что еще ужаснѣе,—ни разу никто не приласкалъ его.

По временамъ онъ ходилъ въ народную школу, гдѣ кое-какъ выучился читать и писать. Тамъ же онъ слышалъ о томъ, что „всегда надо быть честнымъ и правдивымъ", но вокругъ себя онъ не видѣлъ никого, кто бы былъ честенъ и правдивъ, и это сначала очень удивляло его, а потомъ, со временемъ, онъ сталъ привыкать къ этому.

Мэри вернулась домой послѣ двухнедѣльнаго отсутствія и стала обращать на сына еще меньше вниманія, чѣмъ прежде. Вслѣдствіе этого онъ бывалъ дома очень мало, а все больше шлялся по переулкамъ; на улицы, гдѣ было просторно, свѣтло и чисто, гдѣ красовались такіе великолѣпные дома и двигались взадъ и впередъ нарядные люди,—туда онъ въ своихъ грязныхъ лохмотьяхъ боялся выходить.

Кое-какъ короталъ онъ день за днемъ и не жаловался на свою долю. Все было бы хорошо, по его мнѣнію, еслибы не сильный и упорный кашель, который не давалъ ему по временамъ спать, да острая боль въ груди.

Дружба его съ Джэкомъ все расла да расла, не смотря на всѣ препятствія. Мальчики сходились—гдѣ и когда только могли, и Джэкъ, разсказавшій своей матери о бѣдственномъ положеніи Іорка, то и дѣло приносилъ съ собою чего-нибудь съѣстного; приглашать же къ себѣ домой своего друга онъ не смѣлъ, пока тотъ былъ такой оборванный.

Своею ловкостью, проворствомъ и знаніемъ уличной и трущобной жизни Іоркъ внушалъ Джэку особое уваженіе, а отцу Джэка онъ, навѣрное, сильно не понравился бы этими качествами.

Когда миновала зима, мальчики иногда заходили въ ближайшій общественный садъ, растягивались тамъ во всю длину на травѣ и, глазѣя на синее небо, котораго они не видали изъ своихъ жилищъ, были вполнѣ счастливы.

Какъ-то разъ Іоркъ увидалъ, какъ садовникъ сажалъ цвѣты;

съ тѣхъ поръ мальчикъ очень полюбилъ цвѣты, и у него явилось сильное желаніе имѣть хоть одинъ горшокъ съ цвѣтами.

— Ахъ, говорилъ онъ,—какъ было бы хорошо, еслибъ я могъ достать хоть одинъ пестренькій цвѣточекъ! Какъ бы я ходилъ за нимъ и какъ любилъ бы его!

Это желаніе такъ овладѣло имъ, что онъ только о цвѣтахъ и думалъ, и говорилъ.

Однажды мимо него какой-то старичекъ съ добродушнымъ лицомъ везъ большую тачку съ горшками разныхъ цвѣтовъ. При видѣ этой роскоши, Іоркъ такъ и задрожалъ.

— А, это ты, Іорушка?—закричалъ ему старикъ, жившій возлѣ „Овчарни“ и знавшій въ лицо почти всѣхъ его обитателей. —Вотъ и отлично, что встрѣтились. Я пойду, выпью кружечку пива, а ты пока постой тутъ и покарауль мои цвѣты.

Іоркъ съ радостью согласился, и старикъ пошелъ въ пивную лавку.

Мальчикъ былъ внѣ себя отъ восторга, что можетъ безпрепятственно любоваться прекрасными, разнообразными цвѣтами, и даже не замѣтилъ, сколько времени онъ простоялъ предъ ними

— Ну, что за прелесть твои цвѣты, дѣдушка!—воскликнулъ онъ съ сіяющими глазами, когда старикъ вернулся.

— Ты, должно быть, большой любитель цвѣтовъ, Іорушка, —сказалъ старикъ.—На-же, вотъ, тебѣ,—добавилъ онъ, отдавая мальчику горшокъ съ маленькимъ росткомъ герани.—Это тебѣ за то, что ты никогда не обижаешь моей бѣдной горбатой внучки, которая иногда заходитъ къ вамъ, во дворъ „Овчарни“.

— О, спасибо, спасибо, милый дѣдушка!—сквозь слезы проговорилъ Іоркъ, жадно хватая своими худыми руками горшокъ.

— Ладно, ладно... Ставь цвѣтокъ на солнце, чаще поливай его, и тогда онъ у тебя разрастется и будетъ большимъ, больше тебя.

Іоркъ еще разъ поблагодарилъ старика и бросился со всѣхъ ногъ домой, прижимая къ груди драгоцѣнный для него подарокъ.

Матери его не было дома; поэтому онъ могъ вдоволь налюбоваться на свое сокровище, могъ спокойно перечесть по нѣскольку разъ всѣ его листочки, и даже перецѣловать ихъ.

По срединѣ ростка находилась маленькая почка. Рѣшивъ, что она раскроется дня черезъ два-три, Іоркъ сталъ придумывать, куда бы ему поставить цвѣтокъ, такъ, чтобы было много солнечнаго свѣта и воздуха.

Раскрывъ ветхую оконную раму, онъ выглянулъ на крышу. Подъ самымъ окномъ былъ жолобъ, весь наполненный грязью и соромъ, а за нимъ шелъ большой плоскій выступъ крыши. Іоркъ часто бывалъ на этомъ выступѣ, гоняясь за кошками, и вспом-

нилъ, что направо находятся двѣ печныя трубы, между которыми и можно поставить цвѣтокъ, такъ чтобы ему было хорошо и никто не могъ бы видѣть его.

Мальчикъ вылѣзъ изъ окна, осторожно доползъ до трубъ и поставилъ между ними горшокъ, который все время крѣпко держалъ прижатымъ къ груди.

Боясь, какъ бы не пришла мать и не увидала бы его тайны, Іоркъ поспѣшилъ влѣзть обратно на чердакъ.

Съ этого дня Іоркъ сталъ меньше уходить изъ дому. Какъ только мать удалялась, онъ тотчасъ же пробирался на крышу съ водою въ полуразбитомъ кувшинѣ, поливалъ и обчищалъ цвѣтокъ.

Благодаря его заботамъ, герань расла и вверхъ и въ ширь, такъ что любо было смотрѣть.

Тайну свою онъ довѣрилъ одному Джэку, которому разъ даже и показалъ цвѣтокъ. Вскорѣ послѣ этого Джэкъ сообщилъ ему, что отецъ, по его неотступнымъ просьбамъ, купилъ ему точь-въ-точь такую же герань, что онъ будетъ ходить за нею такъ же, какъ ходитъ за своею Іоркъ, и что надѣется получить за нее награду на будущей цвѣточной выставкѣ въ народной школѣ.

Выставка, о которой онъ говорилъ, устраивалась ежегодно и состояла въ томъ, что ученики приносили выращенные ими самими дома цвѣты. За лучшій изъ нихъ присуждалась учителями награда.

Іоркъ съ интересомъ слушалъ разсказъ Джэка объ этой выставкѣ, о которой раньше не зналъ, и подумалъ, что хорошо бы и ему участвовать въ ней.

Ему очень хотѣлось бы посмотрѣть герань Джэка, но этому, къ несчастью, мѣшали его лохмотья.

Глядя на свой роскошный цвѣтокъ, Іоркъ забывалъ и голодъ, и побои матери, и не горевалъ ни о чемъ.

Между тѣмъ кашель его становился все упорнѣе, не смотря на жаркое лѣто, такъ что даже мать обратила на мальчика вниманіе.

— Ахъ, Господи, только этого не доставало! — пожаловалась она хозяйкѣ.—Что я такая за несчастная женщина! Мало того, что я такъ измучена мужемъ, а тутъ еще и сынъ сталъ хворать!...

Хозяйка почувствовала жалость къ больному мальчику и стала приносить ему жиденькаго чая и разные хлѣбные объѣдки. Кромѣ того, она обѣщалась переговорить съ знакомымъ врачемъ относительно того, чтобы тотъ помѣстилъ мальчика въ хорошую

больницу, гдѣ лѣчили бы его, какъ слѣдуетъ, но, по недосугу, ей никакъ не удавалось выбрать времени сходить къ нему.

Послѣ долгихъ обдумываній, Іоркъ рѣшился тоже снести свой цвѣтокъ на выставку. Онъ былъ увѣренъ, что получитъ награду; это очень обрадовало бы его мать, да и тогда ему не надо было бы болѣе скрывать свое драгоцѣнное сокровище.

Надо было повидаться съ Джэкомъ и узнать отъ него подробности, тѣмъ болѣе, что выставка была назначена черезъ три дня.

Главный вопросъ состоялъ въ томъ: допустятъ-ли его принимать участіе въ выставкѣ,—вѣдь, онъ такъ рѣдко посѣщалъ школу,—и если допустятъ, то не прогонятъ-ли его за его лохмотья тѣ важные и нарядные господа, которые придутъ смотрѣть на выставку.

Джэкъ сказалъ, что выставка будетъ въ понедѣльникъ. Наступила суббота и Іоркъ весь день искалъ встрѣчи съ пріятелемъ, но тотъ нигдѣ не показывался, и мальчикъ такъ и легъ, не повидавшись съ нимъ.

Хотя кашель мучилъ его всю ночь, Іоркъ тѣмъ не менѣе всталъ очень рано и поспѣшилъ сходить за водой и полить цвѣтокъ

Крошечный отростокъ, который далъ ему старикъ, превратился въ цѣлый пышный кустъ, весь покрытый множествомъ ярко-красныхъ цвѣтовъ. Развѣ у кого другого могла быть такая прелестная герань? Едва-ли! Только въ самой срединѣ былъ большой бутонъ, который все не хотѣлъ раскрываться, но оставалось, вѣдь, еще два дня, а за это время и онъ могъ распуститься.

А Джэка надо было повидать во чтобы то ни стало. Распросить больше некого было. Изъ всѣхъ жильцовъ „Овчарни“ никто не интересовался такими, по ихъ мнѣнію, „глупостями“, въ родѣ цвѣтовъ, цвѣточныхъ выставокъ и т. п. Мать, въ виду болѣзненнаго состоянія мальчика, можетъ статься, приняла бы участіе въ его затѣѣ, но она ушла на полевыя работы, и Іоркъ даже не зналъ, гдѣ именно она находится въ настоящее время.

У мальчика опять второй день нечего было ѣсть. Поэтому онъ, кое-какъ втащивъ горшокъ съ цвѣткомъ на чердакъ, уже не почувствовалъ себя въ силахъ вынести его обратно на крышу. Оставивъ его такимъ образомъ на полу своей жалкой квартиры и нѣжно простившись съ цвѣтками, точно съ живыми существами, Іоркъ опять побѣжалъ искать Джэка.

Но всѣ старанія его были напрасны: сколько онъ не бѣгалъ по окрестнымъ переулкамъ и даже по общественному саду, но Джэкъ не показывался.

Было страшно жарко и пыльно, и Іоркъ такъ утомился, что едва держался на ногахъ.

Не зная, что еще предпринять, онъ пошелъ къ тому дому, гдѣ жили Виберлеи и сталъ тамъ высматривать Джэка. Но и это было напрасно—Джэка не видать было ни въ окнахъ, ни на дворѣ.

Изъ воротъ вышла какая-то женщина. Іоркъ спросилъ ее, не знаетъ-ли она, какъ бы увидать Джэка Виберлея. Женщина отвѣтила, что онъ пошелъ съ своимъ отцомъ въ народную школу на цвѣточную выставку.

„На цвѣточную выставку? Какъ же это Джэкъ говорилъ только объ *одной* выставкѣ, которая будетъ въ понедѣльникъ, а о сегодняшней не упомянулъ ни слова?“

Размышляя объ этой странности, Іоркъ, самъ не зная какъ, побрелъ въ школу.

Надъ входомъ ея была вывѣска съ надписью крупными буквами: „Цвѣточная выставка учениковъ. Входъ безплатный“.

Двери были широко открыты, и Іоркъ безпрепятственно вошелъ въ школу.

Въ большой залѣ, на возвышеніи, предназначенномъ для учителей, стоялъ большой столъ, весь уставленный цвѣтами, а вокругъ него сидѣло шесть господъ въ черныхъ фракахъ и бѣлыхъ галстукахъ.

Переднія скамейки были всѣ заняты и Іоркъ усѣлся въ самомъ послѣднемъ ряду, почти у входа.

Много было такихъ цвѣтовъ, какихъ Іоркъ никогда и не видалъ, и онъ не могъ отвести глазъ отъ всей находившейся предъ нимъ прелести.

Онъ былъ очень радъ, что случай помогъ ему попасть на эту выставку и только все недоумѣвалъ, отчего Джэкъ не сказалъ ему о ней.

Началась раздача наградъ. Одинъ за однимъ вызывались ученики. Они шли на возвышеніе и получали изъ рукъ сѣдого господина съ добрымъ лицомъ и мягкимъ голосомъ деньги—кто больше, кто меньше, смотря по достоинству выставленныхъ ими цвѣтовъ.

У Іорка начинался припадокъ кашля. Стараясь заглушить его, мальчикъ уткнулся головою въ колѣна и нѣсколько времени не смотрѣлъ на возвышеніе, и встрепенулся только тогда, когда сѣдой господинъ крикнулъ:

— Джэкъ Виберлей—вторая награда!

Іоркъ привсталъ и увидалъ Джэка, который, одѣтый въ хорошее новое платье и гладко причесанный, поднялся съ одной изъ переднихъ скамеекъ и пошелъ къ возвышенію.

„Ахъ, чудакъ какой!—подумалъ Іоркъ.—Что же это онъ мнѣ ничего не сказалъ?“

Но подумалъ онъ это безъ всякой горечи и даже искренно радовался удачѣ своего пріятеля.

Сѣдой господинъ—попечитель школы—взялъ со стола горшокъ съ геранью, поднялъ его предъ собою и сказалъ Джэку:

— Честь тебѣ и слава за этотъ цвѣтокъ. Поздравляю тебя съ такимъ прекраснымъ цвѣткомъ и съ наградою. Надѣюсь, что ты принесешь намъ въ слѣдующій разъ еще какіе-нибудь цвѣты, не хуже этихъ.

— Это мой цвѣтокъ, а не его!... Мой это!—послышался вдругъ изъ заднихъ рядовъ рѣзкій крикъ.

Джэкъ поблѣднѣлъ и страшно смутился. Попечитель съ изумленіемъ смотрѣлъ на маленькаго оборванца, пробиравшагося между скамейками впередъ.

— Что это значитъ?—спросилъ попечитель.—Джэкъ Вибер-лей, развѣ это не твоя герань?

Джэкъ заревѣлъ. Онъ увидалъ своего отца, близко подошедшаго къ нему и строго смотрѣвшаго на него.

— Моя, моя, сударь,—проговорилъ мальчикъ сквозь всхлипыванія.

— Какъ же ты тогда осмѣливаешься вмѣшиваться съ своимъ лганьемъ?—продолжалъ попечитель, гнѣвно сверкнувъ глазами на Іорка, который съ своими лохмотьями, нечесанными волосами и изможденнымъ, грязнымъ лицомъ казался до невозможности жалкимъ и нехорошимъ рядомъ съ здоровымъ, чистенькимъ и прилично одѣтымъ Джэкомъ.

— Я не лгу! Это *моя* герань, моя!—закричалъ внѣ себя Іоркъ, протягивая руки за цвѣткомъ.

Какъ же ему было не узнать своей герани, когда онъ не дальше, какъ часа три тому назадъ, пересчиталъ всѣ ея цвѣточки, вѣточки и листочки? Если она вдругъ очутилась здѣсь, на выставкѣ, и принесъ ее сюда Джэкъ, то ясно, что Джэкъ укралъ ее у него.

— Ну, это ужъ слишкомъ!—сказалъ попечитель, обращаясь къ своему сосѣду, пастору.

Джэкъ воспользовался тѣмъ, что господа разговаривали между собою, чтобы со слезами шепнуть Іорку:

— Милый Іоркъ, не говори ничего... Ради Бога, не говори!... Отецъ убьетъ меня, если узнаетъ въ чемъ дѣло!... Пожалуйста, пожалуйста, не выдавай меня! ..

Іоркъ сразу понялъ, какъ низко обманулъ его Джэкъ. Ему это было очень горько и обидно, но все-таки онъ не хотѣлъ выдать мальчика, который былъ его единственнымъ пріятелемъ.

— Ну, такъ ты все еще утверждаешь, что эта герань твоя? —обратился попечитель къ Іорку.

— Нѣтъ, сударь,—тихо отвѣтилъ тотъ.

Джэкъ пересталъ хныкать.

— Зачѣмъ же ты сказалъ, что она твоя?

Іоркъ низко опустилъ голову.

— Я солгалъ,—пробормоталъ онъ.

— Значитъ, ты больше не заявляешь претензій на этотъ цвѣтокъ?

Іоркъ не понялъ этого вопроса.

— То есть,—пояснилъ попечитель, нажимая рукою на герань такъ сильно, что отъ нея оторвался одинъ листокъ, который и упалъ на полъ,—то есть, ты признаешь, что эта самая герань принадлежитъ Джэку Виберлею, а не тебѣ?

— Да, сударь,—опять пробормоталъ Іоркъ.

Онъ точно нечаянно уронилъ свою грязную, ободранную шапку, поднялъ вмѣстѣ съ нею зелененькій, упавшій съ герани листочекъ и спряталъ его въ рукавъ.

— Да, сударь, я солгалъ,—повторилъ онъ.

— Въ такомъ случаѣ ты гадкій, отвратительный мальчишка!—съ негодованіемъ проговорилъ попечитель.—Я бы могъ отправить тебя въ полицію за твою скверную продѣлку, но не хочу связываться съ такою грязью, какъ ты. И хватило же у тебя, негодяя, духу ворваться сюда, чтобы наглымъ обманомъ воспользоваться правами другихъ?... Сторожъ, выведи этого мерзавца!

— Позвольте, позвольте,—прошепталъ пасторъ.—Посмотрите на него, какой у него больной и измученный видъ... Тутъ что-нибудь да не такъ.

— Ахъ, полноте! Ничего тутъ нѣтъ, кромѣ того, что это уличный негодяй самаго сквернаго разбора... Вы слишкомъ ужъ мягкосердечны и жалостливы... Сторожъ, выведи же его!

Сторожъ не *вывелъ*, а *вытолкалъ* бѣднаго Іорка и руками, и ногами.

— Не миновать тебѣ висѣлицы!—закричалъ онъ несчастному мальчику, давая ему послѣдній пинокъ въ спину.

У священника все не выходила изъ головы описанная сцена, и по дорогѣ домой онъ сообщилъ своему племяннику, молодому адвокату, мучившія его сомнѣнія.

— Успокойся, дядя,—сказалъ племянникъ.—Не мучь себя понапрасну. Я хорошо знаю этихъ мальчишекъ и могу увѣрить тебя, что тотъ, о которомъ мы говоримъ, самый испорченный изъ всѣхъ когда-либо видѣнныхъ мною... И придумалъ же онъ такую штуку... Захотѣлось вырвать у другого награду!... Ахъ, мерзкій

оборванецъ!... Удивляюсь, дядя, какъ это ты можешь симпатизировать подобнымъ развращеннымъ субъектамъ,—право, удивляюсь.

— Я не могу повѣрить, чтобы онъ затѣялъ эту исторію безъ всякаго справедливаго основанія,—возразилъ священникъ,—да при томъ же онъ совсѣмъ больной!

— Ничуть онъ не больной, дядя. *Такого* рода мальчики не бываютъ больными, смѣю тебя увѣрить, и нечего тебѣ болѣе о немъ безпокоиться.

Между тѣмъ Іоркъ Терри брелъ почти безсознательно домой, стараясь двигаться скорѣе, лишь бы уйти подальше отъ сѣдого господина и отъ сторожа, такъ обидѣвшихъ его

Пока онъ шелъ, началась сильная гроза, хлынулъ проливной дождь и поднялся страшный вѣтеръ. Въ нѣсколько минутъ онъ весь промокъ до костей и съежился въ комокъ, такъ что вѣтеръ гналъ его то въ одну сторону, то въ другую. Грудь невыносимо болѣла, кашель душилъ его, и онъ чувствовалъ себя очень-очень дурно.

Съ громаднымъ трудомъ добрался онъ до „Овчарни“, а на лѣстницу взбирался съ частыми передышками, чего съ нимъ прежде не бывало.

Наконецъ, онъ доползъ до чердака. Дверь была широко отворена, но въ жалкомъ, убогомъ помѣщеніи не было ни души. И цвѣтка тоже не было! Давеча онъ стоялъ вотъ тамъ, на полу, возлѣ окна, и оттуда стащилъ его Джэкъ въ то время, пока Іоркъ ходилъ разыскивать этого коварнаго пріятеля.

Мальчикъ досталъ изъ рукава маленькій листочекъ, поднятый имъ въ школѣ, и приложилъ его къ своей щекѣ. Какой онъ мягкій, точно бархатный, и какъ хорошо онъ пахнетъ!... Бѣдный, милый листочекъ! Будетъ-ли Джэкъ ухаживать за цвѣткомъ, какъ ухаживалъ онъ, Іоркъ, и распустится-ли теперь тотъ большой бутонъ?

До сихъ поръ Іоркъ мужественно удерживался отъ слезъ, но теперь онѣ вдругъ прорвались цѣлымъ потокомъ и жгли лицо точно огнемъ.

Крѣпко зажавъ въ рукѣ листокъ, мальчикъ добрелъ до тюфяка и легъ на немъ. Онъ вскорѣ началъ забываться и лишь изрѣдка приподнимался съ рѣзкимъ крикомъ, когда ему казалось, что Джэкъ прокрадывается къ нему, чтобы отнять у него и послѣдній листокъ, оставшійся отъ любимой герани...

Между тѣмъ вѣтеръ со свистомъ врывался въ щели чердака, лился безпрерывными струями дождь, ослѣпительно сверкала молнія и гнѣвно прокатывался надъ грѣшною землею громъ.....

На другой день, вечеромъ, священникъ сидѣлъ за ужиномъ вмѣстѣ съ своимъ племянникомъ и мѣстнымъ частнымъ врачемъ, и все думалъ о вчерашнемъ происшествіи на цвѣточной выставкѣ.

Не успѣли они еще окончить ужинъ, какъ пришли звать врача въ „Овчарню“, гдѣ умиралъ какой-то мальчикъ.

— Отвратительная трущоба!—проговорилъ врачъ, поднимаясь съ своего мѣста.—Недавно былъ тамъ такой случай, что и вспомнить страшно. Разскажу въ другой разъ, а теперь прошу извинить меня.

— Я иду съ вами,—сказалъ священникъ.

— Зачѣмъ вамъ еще идти?—возразилъ врачъ.—Васъ, вѣдь, и не зовутъ; авось, не при смерти мальчикъ, а такъ что-нибудь.

Но священникъ стоялъ на своемъ и пригласилъ съ собой, для безопасности, какъ онъ шутя выразился, и племянника.

Они и пошли втроемъ.

Взбираясь по полуразвалившимся лѣстницамъ въ „Овчарнѣ“, врачъ и адвокатъ во все горло ругали и „разбойниковъ-трущобовладѣльцевъ“, и полицію, дозволявшую людямъ жить въ такихъ безобразныхъ ямахъ, гдѣ каждый шагъ угрожаетъ смертью. Священникъ же только вздыхалъ и покачивалъ бѣлою головою.

У дверей чердака ихъ встрѣтила квартирная хозяйка Терри и сказала, что мальчикъ очень плохъ.

Прибывшіе вошли на чердакъ, слабо освѣщенный коптящею керосиновою лампою.

На тюфякѣ лежалъ тяжело дышащій мальчикъ. Возлѣ стояла бѣдно, но опрятно одѣтая женщина, къ которой прижимался другой мальчикъ съ испуганнымъ, блѣднымъ лицомъ и съ горшкомъ герани въ рукахъ.

Женщина давала врачу короткіе и толковые отвѣты на всѣ его вопросы.

— Нельзя-ли перевести его отсюда въ больницу или въ мой домъ?—спросилъ священникъ, озабоченно нагибаясь надъ мальчикомъ.

— Слишкомъ поздно; онъ не переживетъ и этой ночи,—отвѣтилъ врачъ.

— Это тотъ самый мальчикъ,—пробормоталъ священникъ.—Жаль его, очень жаль!

Онъ хотѣлъ пойти за кое-какими крѣпительными средствами, когда мальчикъ, до тѣхъ поръ бывшій въ забытьи, вдругъ пришелъ въ себя и открылъ глаза.

— Джэкъ!—прошепталъ онъ.—Джэкъ, это ты?

— Іоркъ!—закричалъ тотъ, дрожа всѣмъ тѣломъ.—Я принесъ назадъ цвѣтокъ... Мама и я принесли его... Я не думалъ, что ты такъ огорчишься... Вотъ тебѣ и цвѣтокъ, и деньги, которыя дали за него... Это все твое... Я себѣ не оставилъ ничего, все принесъ назадъ.

Джэкъ поставилъ горшокъ съ цвѣткомъ возлѣ умирающаго и заплакалъ.

Іоркъ съ усиліемъ приподнялся. Его страшно исхудалое лицо озарилось счастливою улыбкою.

— Я зналъ, что ты придешь,—шепталъ онъ.—Я ждалъ тебя... Ахъ, Джэкъ, смотри: вѣдь, большой-то бутонъ распустился! —добавилъ онъ, придвигая къ себѣ изсохшими руками герань.

Ему хотѣлось прижать къ груди цвѣтокъ, но тутъ же онъ опрокинулъ назадъ голову и протяжно вздохнулъ.

Черезъ минуту онъ умеръ...

— Да свершится воля Твоя, какъ на землѣ, такъ и на небеси!—молился съ низко склоненною головою священникъ.

Въ головахъ могилы бѣднаго Іорка Терри стоитъ небольшой мраморный крестъ, а подъ нимъ пышно раскинулась прелестная герань съ яркокрасными цвѣтами.

СИРОТА.

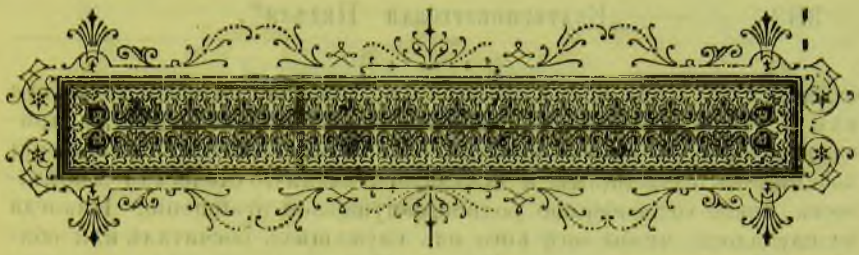
(Изъ Отрана).

Живъ отецъ у него, но забылъ онъ семью,—
Онъ на биржѣ играетъ,—тамъ много хлопотъ:
Чтобы въ роскоши жить въ высшемъ свѣта слою,
Нужно деньги и ловкость пускать въ оборотъ.

Есть и мать; но балы да нарядъ дорогой
Занимаютъ ее,—вѣдь, нельзя же безъ нихъ!
Да и кромѣ того, отъ бездѣлья, порой,
Она кормитъ еще двухъ собачекъ ручныхъ.

И покинутъ, забытъ, онъ безъ ласки растетъ,
Ходитъ въ платьяхъ худыхъ, одинокъ, какъ чужакъ,
„Херувимъ“, неудобный родителямъ такъ....
О, несчастный ребенокъ! Когда же придетъ
Материнская ласка къ тебѣ въ свой чередъ?
Знать, какъ дамская мода пройдетъ на собакъ...

Порфирій Павловичъ.



ЕФИМЪ ПЕТРОВИЧЪ и НИКАНОРЪ ТИТЫЧЪ.

(Очеркъ)

Степана Алексѣева.

I.

Жили Ефимъ Петровичъ и Никаноръ Титычъ въ одномъ изъ сѣверныхъ городковъ Сибири въ сороковыхъ годахъ нынѣшняго столѣтія. Первый изъ нихъ, Ефимъ Петровичъ, происходилъ отъ семьи Тульскаго казака, пришедшаго въ Сибирь еще при Екатеринѣ II въ числѣ казаковъ, командированныхъ для составленія мѣстной казачьей команды. Принеся съ собой немного денегъ, предокъ Ефима Петровича, отъ нечего дѣлать, началъ скупать пушнину у инородцевъ и перепродавать ее въ большой ближайшій городъ. Ефиму Петровичу отъ его отца достался капиталъ уже довольно большой, даже для Сибири, и еслибы только онъ захотѣлъ наживаться безчестнымъ путемъ, онъ могъ бы захватить всѣхъ жителей небольшого, промышленнаго городка въ свои руки. Но наживаться безчестнымъ путемъ, насколько онъ могъ понимать это, ему казалось грѣшно. Будучи крайне набожнымъ, онъ въ тоже время повиновался требованіямъ религіи не какъ фанатикъ, а какимъ-то внутреннимъ чутьемъ понималъ смыслъ святыхъ словъ Евангелія, и свято исполнялъ завѣты Великаго Учителя. Если, не получивъ достаточнаго развитія, онъ не могъ понять въ обширномъ, истинномъ значеніи слова „люди-братья“, то все-же при-

ближался къ настоящему пониманію довольно близко, чувствуя ихъ влеченіемъ своего добраго сердца. Въ его отношеніи къ приказчикамъ и рабочимъ никогда нельзя было замѣтить отношенія хозяина къ служащимъ, а замѣчалась какая-то отеческая заботливость, какое-то особенное родное, задушевное отношеніе. Никогда не случалось, чтобы онъ кого изъ служащихъ обсчиталъ или обидѣлъ. Если иногда выпившій рабочій-буянъ, не допросившись денегъ на выпивку у Ефима Петровича, начиналъ ругать его, то послѣдній, бывало, подойдетъ къ нему и, ласково улыбнувшись, потреплетъ по плечу, и скажетъ: „Поди-ка, спи лучше. Зачѣмъ напрасно ругаешь меня? Завтра, вѣдь, самъ каяться будешь!“ Назавтра бѣдный рабочій не знаетъ, куда дѣваться отъ стыда и раскаянія; но не успѣетъ онъ выйти на работу, какъ Ефимъ Петровичъ самъ идетъ къ нему навстрѣчу, и такъ же, какъ вчера, ласково улыбается.—„Ну, чего? Болитъ голова? Зачѣмъ ты пьешь чортово зелье? Не надо. Пойдемъ-ка, я тебѣ опохмѣлиться дамъ!“ И только. Ни одного упрека, ни обиднаго выговора... За то и любили же рабочіе и служащіе своего хозяина. Во все время самостоятельнаго завѣдыванія торговымъ дѣломъ, у Ефима Петровича не было почти ни одного случая, чтобы кто ушелъ отъ него послѣ какой-нибудь непріятности, изъ-за нежеланія остаться. Случалось—уходили, но уходили изъ-за другихъ, матеріальныхъ выгодъ, и при томъ всегда нехотя, прощаясь съ нимъ какъ съ добрымъ, хорошимъ человѣкомъ.

Теплое, родное, задушевное отношеніе проглядывало у него также къ лицамъ, съ которыми ему приходилось имѣть дѣло. Имѣя массу должниковъ, онъ никому никогда не пожаловался, что вотъ такой-то мнѣ долженъ и не отдаетъ. Случалось—изъ года въ годъ числящійся на комъ-нибудь долгъ переписывался изъ книги въ книгу, безъ всякаго намека должнику: „что-же, молъ, ты не отдаешь?“ Когда какой-нибудь изъ должниковъ умиралъ, мать или жена его являлась къ Ефиму Петровичу и со слезами начинала говорить: „Долженъ мой-то былъ вамъ, такъ вы весь-то долгъ не берите заразъ; заработаю помаленьку. Вотъ коровенку одну возьмите, лошадь...“—„Что ты, что ты!“—встрепенется старикъ: „что я грабитель, что-ли? Аль креста на мнѣ нѣтъ? У тебя дѣти малы, а я скотину отбирать буду! Не надо!... Ваня!“—обратится онъ къ сыну,—„ставь крестъ!“ И такъ по нѣскольку разъ въ годъ. Если при этомъ жена Ефима Петровича замѣчала ему, что онъ такъ можетъ раззориться, то Ефимъ Петровичъ обыкновенно съ неудовольствіемъ бормоталъ: „Ну, гдѣ раззориться.... Хватитъ намъ и дѣтямъ нашимъ. Гдѣ имъ-то взять? народъ бѣдный... надо-жъ подѣлиться! Можетъ быть, его-то часть еще къ намъ какъ-нибудь попала. Грѣшно, вѣдь...“

И народъ относился къ Ефиму Петровичу, если не искренно,

не ради чувства признательности и благодарности, то просто ради своей выгоды, предупредительно, съ должнымъ почтеніемъ. Большая часть жителей того городка занималась рыбными промыслами, сборомъ кедроваго орѣха и добычей разнаго звѣря: бѣлокъ, лисицъ, горностаевъ, соболей и проч. Осенью, когда надо было добытое сдавать скупщикамъ, всякій считалъ, какъ бы своимъ долгомъ, прежде обратиться съ предложеніемъ къ Ефиму Петровичу, и, когда тотъ уже посылалъ къ другимъ попытаться, не дастъ-ли кто больше его, только тогда продавецъ отправлялся къ другимъ скупщикамъ, и въ концѣ концовъ обыкновенно опять приходилъ къ Ефиму Петровичу и просилъ, чтобы онъ взялъ товаръ, такъ какъ почти всегда цѣны Ефима Петровича были выше цѣнъ другихъ скупщиковъ.

Инородцы,—остяки и другіе—изъ ближайшихъ и дальнихъ юртъ также знали „добраго Ефимку", и на вопросъ: „кому рыбу сдавать будешь?" обыкновенно отвѣчали: „конешна, Ефимкѣ... Кому больше"...

Если вы заподозрите, что Ефимъ Петровичъ относился ласково ко всѣмъ ради коммерческихъ разсчетовъ, обладая торговою пронырливостью, коммерческимъ чутьемъ, то вы глубоко ошибетесь. Если онъ пріобрѣталъ извѣстность и любовь, то пріобрѣталъ ихъ безъ всякаго желанія, безъ всякой обдуманной цѣли, просто по безотчетному влеченію доброй души.

Всегда стараясь помочь какъ можно большему числу лицъ, онъ бѣгалъ чуть не каждый день по маленькимъ домишкамъ городка, спрашивалъ: что ѣдятъ? какъ живутъ? Крестниковъ, крестницъ у него было огромное число. Съ какимъ радостнымъ лицомъ онъ, бывало, послѣ своихъ ежедневныхъ экскурсій сообщалъ женѣ о какомъ-нибудь славномъ парнишкѣ, здоровенькомъ, полненькомъ. Казалось, что онъ говоритъ о своихъ собственныхъ внукахъ или дѣтяхъ, а не о совершенно постороннихъ ему ребятахъ.

II.

Никаноръ Титычъ былъ человѣкъ совершенно другихъ понятій. Бывшій крѣпостной какого-то помѣщика, онъ, говорятъ, исполняя обязанность приказчика, укралъ довольно порядочную сумму, за что и былъ сосланъ въ Сибирь. Здѣсь онъ сошелся съ однимъ изъ тогдашнихъ винныхъ откупщиковъ и отъ его имени открылъ кабакъ. Народная молва говорила, что это былъ первый кабакъ въ томъ городкѣ. Не зная мѣстныхъ условій, открыть кабакъ для него представлялось дѣломъ менѣе всего рискованнымъ: за неимѣніемъ конкурренціи, онъ тутъ почти ничѣмъ не рисковалъ, а онъ всегда избѣгалъ риска. Онъ пускался въ коммерческія операціи только тогда, когда видѣлъ очевидную пользу. Такъ,

познакомившись съ выгодностью тайной торговли виномъ между остяками, онъ рѣшился начать торговлю лишь тогда, когда нашелъ для этого вполнѣ подходящаго человѣка изъ ссыльныхъ, молодого парня, конокрада, замѣтивъ въ немъ тонкую ловкость и пронырливость въ обращеніи съ народомъ. За нѣсколько лѣтъ до начала этого разсказа, онъ началъ торговать мукой, но торговалъ тоже своеобразно. Городокъ тотъ находился, какъ я уже сказалъ, на сѣверѣ Сибири, и потому хлѣбъ, даже овесъ, никогда не дозрѣвалъ. Поздняя весна, мерзлая почва, ранніе инеи, дѣлали всякую попытку заняться хлѣбопашествомъ невозможной. Хлѣбъ приплавлялся въ баркахъ съ верховьевъ рѣки изъ болѣе южныхъ мѣстъ. Никаноръ Титычъ чрезъ довѣреннаго откупщика, отъ имени котораго онъ велъ торговлю, скупалъ обыкновенно въ урожайный годъ хлѣбъ и, приплавивъ его на мѣсто, начиналъ торговать лишь тогда, когда запасъ хлѣба у другихъ хлѣботорговцевъ приходилъ къ концу. Онъ заразъ поднималъ цѣну чуть не вдвое противъ обыкновенныхъ тамошнихъ цѣнъ и самодовольно улыбался на просьбы покупателей сбавить хоть сколько-нибудь высокую цѣну. Онъ никогда не чувствовалъ никакой внутренней связи съ окружающимъ міромъ, а смотрѣлъ на каждаго отдѣльнаго человѣка, какъ на существо, отъ котораго онъ можетъ нажиться. Когда къ нему приходилъ бѣднякъ и просилъ дать въ долгъ вина или муки, то Никаноръ Титычъ, сомнѣваясь въ уплатѣ, нисколько не стѣснялся гнать его, считая разговаривать, пускаться въ объясненія съ такими людьми совершенно лишнимъ. Ему доставляло большое удовольствіе сознавать, что онъ богатый, обезпеченный человѣкъ. Часто Ефимъ Петровичъ задавалъ себѣ вопросъ: для чего этотъ холостой, безродный человѣкъ копитъ деньги?

Но Никаноръ Титычъ не копилъ ихъ. Имѣя до крайней степени развитые, страстные инстинкты животной натуры, онъ не любилъ ставить преградъ удовлетворенію этихъ инстинктовъ. Никаноръ Титычъ любилъ выпить, закусить, поразвратничать. Онъ ежегодно отправлялся, въ болѣе свободное время, въ губернскій городъ и тамъ предавался гульбѣ и разврату. Дома онъ постоянно слѣдилъ за положеніемъ бѣдныхъ дѣвушекъ, привлекавшихъ его вниманіе, и старался во-время воспользоваться безвыходностью ихъ положенія для удовлетворенія своего сластолюбія, прежде чѣмъ поспѣвалъ къ нимъ на помощь добрый Ефимъ Петровичъ.

Но какъ бы онъ ни гулялъ, какъ бы не предавался разврату, онъ всегда зналъ время, когда остановиться, такъ сказать, не выходить изъ бюджета. Онъ ясно сознавалъ, что, давъ волю своей широкой натурѣ, онъ могъ бы раззориться, и, такимъ образомъ, лишиться на будущее время возможности удовлетворять своему внутреннему „я“.

Совершенно отличаясь отъ Ефима Петровича по своимъ внутреннимъ качествамъ, онъ не походилъ на него и по наружнымъ. Насколько тотъ былъ скроменъ, малъ, настолько этотъ былъ безобразенъ. Жирный, толстый, съ совершенно заплывшей шеей, онъ представлялъ изъ себя огромный кусокъ мяса.

III.

Былъ конецъ іюля. День съ утра стоялъ теплый, безоблачный. По временамъ дулъ маленькій сѣверный вѣтеръ. День обѣщалъ быть самый пригодный для сѣнокоса—не жаркій. По примѣтамъ стариковъ, установившаяся хорошая погода должна продолжиться надолго. Съ ранняго утра жители гурьбой отправились на лодкахъ на сѣнокосъ. Конецъ лѣта, скоро начнутъ падать инеи; надо успѣть запасти сѣна на долгую зиму. Дома остались старый да малый. Къ полдню вѣтеръ началъ разыгрываться.

Вдругъ на крышѣ дома, гдѣ жилъ почтовый чиновникъ, показалось пламя и быстро обняло всю крышу. Вскорѣ новое пламя вырвалось съ другой стороны и подхваченное вѣтромъ перенеслось на ближайшія постройки сосѣдняго двора. Это произошло до того быстро, что оставшійся народъ былъ пораженъ, какъ неожиданнымъ громомъ, и не могъ сообразить, какъ начать тушить, за что сперва взяться. А огонь быстро овладѣвалъ всѣмъ зданіемъ и уничтожалъ его, все болѣе и болѣе усиливаясь. Разыгравшійся вѣтеръ съ силой подхватывалъ огненныя массы и переносилъ ихъ на новыя постройки. Послышалось паденіе потолковъ, трескъ лопнувшихъ стеколъ...

Разъѣхавшійся на покосы народъ, увидѣвъ зарево, не сразу сообразилъ, что дѣлается въ городѣ. Никогда не видавшій большого пожара, онъ смутно представлялъ разрушительную силу огня, Побросавъ работы, всѣ быстро направились въ городъ. Только приплывъ довольно близко, народъ началъ представлять себѣ ужасающую картину пожара. Чѣмъ ближе подвигались лодки, тѣмъ сильнѣе дѣйствовала на народъ огненная масса.

Затаивъ дыханіе, съ дикимъ лихорадочнымъ взглядомъ плывшіе дружно налегали на весла. Имъ казалось, что они гребутъ тихо, что лодки совсѣмъ не двигаются. Нетерпѣливое, жгучее чувство забиралось въ душу каждаго все глубже и глубже.

Но вотъ они добрались до мѣста. Побросавъ, какъ попало, лодки, всѣ кинулись въ городъ. Ихъ встрѣтила ужасная, неожиданная картина: ихъ дома, оставленные ими утромъ безъ всякой недоброй мысли, безъ всякаго дурно предчувствія, совершенно спокойно, теперь были неузнаваемы—тутъ догорали послѣднія бревна, тамъ весь домъ былъ окруженъ огнемъ, здѣсь загорались новыя постройки. Тамъ и тутъ слышались плачъ женщинъ, крики испуганныхъ дѣтей, вопли отчаянія, мычанье взбѣсившихся коровъ.

Народъ не могъ понять, какъ оказать сопротивленіе этой бѣшеной силѣ огня. Подъ руками никакихъ противупожарныхъ снарядовъ, и при томъ одна только лошадь Ефима Петровича. Всѣ жители имѣли обыкновеніе на лѣто угонять лошадей изъ города довольно далеко; оставалась еще лошадь у засѣдателя, но онъ былъ теперь на охотѣ. Приходилось воду таскать ведрами. Народъ сознавалъ свое безсиліе; имъ овладѣла паника. Всѣ потеряли способность мыслить, соображать. Даже вразумительныя слова Ефима Петровича плохо дѣйствовали на обезумѣвшую толпу.

Ефимъ Петровичъ былъ на ближайшемъ покосѣ и потому поспѣлъ въ городъ ранѣе другихъ. Онъ приплылъ въ то самое время, когда занялась крыша его дома. Онъ вошелъ торопливо во дворъ и, перекрестившись на церковь, поклонился до земли по направленію къ дому.—„Спасайте, если можете“—сказалъ онъ женѣ,—„а я пойду къ другимъ. Здѣсь Иванъ, рабочіе останутся, а тамъ никого нѣтъ.“ Онъ быстро вышелъ и побѣжалъ къ сосѣднимъ домамъ, уговаривая бросить страхъ, приняться тушить.—„Чего вы плачете? Полноте плакать!“—говорилъ онъ на ходу рыдающимъ бабамъ: „Богъ далъ, Богъ и взялъ. Постойте-ка, мы еще не такой домъ выстроимъ! Идите, тащите вотъ это въ кучу. Вонъ туда! Тамъ огонь не потрогаетъ“.—И онъ бѣжалъ дальше, повторяя: „Богъ далъ, Богъ и взялъ“; но тутъ-же мысленно произносилъ: „Господи! за что? Пусть бы ужъ мой домъ сгорѣлъ, я выстрою, а вотъ эта бѣдность.“ Онъ глубоко вздыхалъ: „На все Твоя воля!“

Совершенно другое испытывалъ Никаноръ Титычъ. Онъ стоялъ на крыльцѣ своего дома и, когда пламя пожара двигалось по направленію къ нему, онъ, сдвинувъ брови, тревожно мыслилъ: „Неужели до меня дойдетъ? Этакая пакость!“... Ему не было никакого дѣла до домовъ другихъ, онъ даже почувствовалъ нѣчто радостное, когда увидѣлъ горѣвшій амбаръ съ мукой, принадлежавшій Ефиму Петровичу, но онъ отъ всего сердца желалъ сохраненія своего дома, забывая, что, если пострадаетъ большая часть, то это должно невольно отразиться и на немъ. Мысль, что онъ можетъ вдругъ, неожиданно лишиться дома, и при томъ лишиться по винѣ другихъ людей, невольно приковала его на одномъ мѣстѣ. Его глаза были неподвижно устремлены въ огромную массу огня. Но вѣтеръ началъ стихать и измѣнять направленіе. Мало-по-малу онъ направился въ обратную сторону, обдувая бревна догоравшихъ построекъ.—„Слава Тебѣ, Господи! промычалъ Никаноръ Титычъ и направился во внутренность дома.—„Никитка! Самоваръ!“ произнесъ онъ, ложась на диванъ и замѣтно отдыхая послѣ нѣсколькихъ тревожныхъ часовъ. Вскорѣ онъ увидѣлъ проѣзжавшаго мимо оконъ засѣдателя, возвращавшагося съ охоты, и поспѣшилъ къ окну:

— Заѣзжайте!—прокричалъ онъ, благодушно улыбаясь.

— Постой ты! Дай узнать, что тамъ у нихъ. Бѣда съ этимъ народомъ. Черезъ часъ заѣду,—отвѣчалъ засѣдатель, не останавливаясь.

IV.

Прошло три дня. Народъ пришелъ въ себя, сталъ осмысленнѣе понимать свое положеніе. Узнали, что въ день пожара жена почтоваго чиновника была именинница. Супруги, подвыпивъ, послѣ обѣда легли спать. Служанка выгребла угли изъ печки и, покрывъ горячіе берестомъ, поставила въ казенку. Бересто, должно быть, загорѣлось и отъ этого произошелъ пожаръ. Ефимъ Петровичъ бѣгалъ по знакомымъ и незнакомымъ семьямъ и спрашивалъ, много-ли у кого сгорѣло. Онъ собралъ весь холстъ свой и приказалъ сдѣлать временныя палатки. Его домъ со всѣми службами сдѣлался жертвою огня. Остался только погребъ. Сгорѣлъ также и складъ съ мукой. Повинуясь своему безотчетному влеченію помочь другимъ, онъ забылъ объ этомъ складѣ, забылъ, что это послѣдній складъ въ городѣ, кромѣ муки Никанора Титыча. Это было то время, когда старая мука у всѣхъ приходила къ концу, а барокъ съ новой мукой еще не было. Въ прежніе годы въ это время уже открывалъ свою выгодную торговлю Никаноръ Титычъ нынче же была мука у Ефима Петровича. Познакомившись со способомъ торговли Никанора Титыча, онъ запасъ муки прошлый годъ лишнюю барку. Вотъ эта-то мука и сгорѣла. Ефимъ Петровичъ только теперь сознавалъ промахъ, который онъ невольно допустилъ подъ сильнымъ впечатлѣніемъ народнаго бѣдствія.

У кого какая мука осталась, въ продолженіе трехъ дней была съѣдена и теперь приходилось всѣмъ покупать у Никанора Титыча, который, не долго думая, безъ всякихъ колебаній, поднялъ цѣну чуть не втрое. Народъ ужаснулся и обратился къ Ефиму Петровичу за совѣтомъ и заступничествомъ. Ефимъ Петровичъ рѣшилъ пойти къ засѣдателю и попросить его уговорить Никанора Титыча продавать подешевле, а въ крайнемъ случаѣ отобрать муку. Засѣдатель былъ дальній родственникъ откупщика, довѣрителя Никанора Титыча и держался только благодаря ему. Онъ не рѣшился вмѣшиваться и сказалъ, что муки отобрать нельзя—это будетъ захватъ; мало того, онъ, кажется, одобрялъ подобный образъ дѣйствій Никанора Титыча.

Самая бѣднота начала употреблять перегорѣлую муку Ефима Петровича. Тогда Ефимъ Петровичъ рѣшился самъ пойти къ Никанору Титычу и упросить сбавить цѣну.

Нелегко ему было рѣшиться на такой шагъ. Единственный человѣкъ, кого онъ ненавидѣлъ, если только онъ могъ вообще нена-

видѣть,—это Никаноръ Титычъ. Они часто даже ссорились. Ефимъ Петровичъ никакъ не могъ сносить его звѣрскаго обращенія съ народомъ. Онъ съ глубокой горечью видѣлъ, какъ, случалось, напившагося казака Никитка гналъ чуть не въ шею съ крыльца питейнаго, а Никаноръ Титычъ повторялъ: „Гони его! Чего съ него теперь взять! Куда его намъ?!“ Сколько разъ Ефимъ Петровичъ жаловался на него засѣдателю и постоянно получалъ отвѣтъ: „Вѣдь, не васъ гонятъ, вѣдь, не васъ бьютъ! Если не хотятъ, чтобы ихъ били, пусть не пьютъ.“ Напрасно старался Ефимъ Петровичъ объяснять, какъ умѣлъ, что такъ поступать грѣшно, засѣдатель просилъ не мѣшать заниматься дѣломъ. Ефимъ Петровичъ уходилъ взволнованный и зачастую плакалъ. На другой день онъ призывалъ къ себѣ пострадавшаго и со слезами на глазахъ умолялъ бросить пить. Онъ сбирался въ послѣднее время ѣхать въ губернскій городъ и пожаловаться тамъ на безчестнаго Никанора Титыча. А теперь вотъ приходится идти къ нему просить, чтобы онъ сбавилъ цѣну, пожалѣлъ народъ. „Пожалѣть! Ему-ли, безчувственному, пожалѣть народъ?“ Ефимъ Петровичъ сознавалъ, что онъ шелъ напрасно. Хоть онъ и утѣшалъ себя мыслью, что „человѣкъ же, вѣдь, онъ. Неужели въ немъ нѣтъ ни одной искры души человѣческой?“— но сомнѣніе брало верхъ. Онъ шелъ къ нему, скрѣпя сердце, свято сознавая, что онъ идетъ не для себя просить, а для народа. „Я бы съ голоду умеръ, да не пошелъ бы къ нему, не поклонился“, шепталъ онъ: „пусть бы судилъ меня Господь за мою гордость!“ Онъ вошелъ къ Никанору Титычу. Никаноръ Титычъ хорошо зналъ, зачѣмъ идетъ этотъ старикъ. Онъ сперва было съ сердцемъ сдвинулъ брови и сердито подумалъ: „Чортъ несетъ!“—Но тотчасъ-же измѣнился и принялъ самодовольный видъ. Ему хотѣлось посмотрѣть, какъ этотъ ругатель будетъ его упрашивать, будетъ унижаться передъ нимъ. Онъ встрѣтилъ Ефима Петровича, съ трудомъ подавляя насмѣшливую улыбку. На его лицѣ ясно были написаны слова: „что, гусь, пришелъ?“.

Ефимъ Петровичъ нехотя поздоровался съ нимъ.

— Я къ тебѣ,—произнесъ онъ съ трудомъ.

— Что же, пожалуйте-съ.—Никаноръ Титычъ вперилъ въ него насмѣшливый, испытующій взглядъ.

— Продавай муку подешевле, да кабакъ на время закрой.

— Я никого указывать мнѣ не прошу,—отвѣтилъ Никаноръ Титычъ грубымъ, отчетливымъ тономъ.

— Да не указывать, а просить я къ тебѣ пришелъ за всѣхъ, —сказалъ Ефимъ Петровичъ.

— Вотъ придетъ твоя мука и продавай, почемъ знаешь, а мнѣ не указывай,—продолжалъ Никаноръ Титычъ тѣмъ же тономъ, не слушая словъ Ефима Петровича.

— Да, вѣдь, знаешь, что моя въ концѣ августа придетъ. Гдѣ же теперь-то взять? Вѣдь, мѣсяцъ еще. А извѣщеніе посылать—все равно мѣсяцъ пройдетъ.

— Ваша воля.

— Знаешь что. Продай ты мнѣ всю муку заразъ по цѣнѣ вдвое дешевле этой цѣны. Я даю тебѣ слово, что я дороже покупной цѣны продавать не буду.

— Ишь ты, что выдумалъ!

— А то продавай ты по такой цѣнѣ. А когда моя мука придетъ, я тебѣ ее всю по своей цѣнѣ отдамъ, и торгуй цѣлый годъ ты одинъ.

— Ну тебя! Нѣтъ братъ, лучше заразъ схватить, чѣмъ цѣлый годъ маяться!

— Не хорошо! Пожалѣй народъ, ты, вѣдь...—началъ Ефимъ Петровичъ, приподнявшись и, видимо, сбираясь еще что-то сказать, но Никанору Титычу надоѣлъ этотъ, по его понятію, пустой разговоръ и онъ перебилъ Ефима Петровича.

— Да скажи ты мнѣ, что народъ мретъ, какъ собаки, такъ и то я ни копейки не сбавлю!—чуть не прокричалъ онъ.

Послѣднія слова ужасно подѣйствовали на Ефима Петровича. Этотъ добрый, не желавшій никому никогда зла старикъ, какъ бы встрепенулся. Онъ какъ-то выпрямился, въ его глазахъ блеснуло что-то похожее на гнѣвъ.

— Такъ ладно же,—произнесъ онъ, весь трясясь.—Я съ тобой также поступлю. Я поѣду въ городъ и откуплю кабакъ, чтобъ выгнать тебя, грабителя?—Онъ выбѣжалъ вонъ.

Никаноръ Титычъ посмотрѣлъ ему вслѣдъ и презрительно улыбнулся: „Откупай! Знаемъ мы тебя? Врешь, вѣдь, ты. Завтра еще придешь кланяться! Да и откупить-то... того... не промѣняютъ!...

Въ прихожую вошелъ засѣдатель.

— Ты это что же народъ грабишь?—произнесъ онъ неестественно грубымъ голосомъ.

— Ха, ха, ха! Заступникъ выискался! Давно-ли? Никитка, самоваръ!—Никаноръ Титычъ пожалъ обѣими руками руку засѣдателя и они оба дружно захохотали.

Не успѣлъ выйти Ефимъ Петровичъ за порогъ дома, какъ его неожиданный гнѣвъ уже пропалъ и его начало грызть раскаяніе.

— Ну зачѣмъ я такъ сдѣлалъ? Можетъ быть, онъ еще сжалился бы надъ народомъ, сбавилъ бы цѣну.

Онъ чуть не въ первый разъ въ жизни обвинялъ себя, что не такъ поступилъ, какъ слѣдовало, поддался своему невольному гнѣву.

Придя домой, онъ тотчасъ же послалъ на свою пристань привезти муки оттуда. Это было все же скорѣе, чѣмъ посылать въ гу-

бернскій городъ, хотя онъ послалъ и туда. Его ужасала мысль, что придется брать хлѣбъ по такой высокой цѣнѣ.

Ночью Ефимъ Петровичъ долго не могъ заснуть. Только передъ самымъ утромъ онъ забылся слабымъ, тревожнымъ сномъ.

Его вскорѣ разбудили.

V.

Потягиваясь послѣ долгаго сна, стоялъ Никаноръ Титычъ у открытаго окна на дворъ и, противъ обыкновенія, терпѣливо дожидался самовара. Онъ думалъ о томъ, какъ къ нему сегодня придетъ Ефимъ Петровичъ и начнетъ опять упрашивать продавать хлѣбъ дешевле и какъ потомъ придется имъ покупать его по цѣнѣ, по какой захочется ему, Никанору Титычу.

— Пусть его платитъ, за кого хочетъ, а я не сбавлю. Есть, вѣдь, у него. Карманы-то не опустѣли еще. А пожалуй, и хорошо, что пожаръ-то случился. По крайней мѣрѣ нашъ братъ наживется. А то все убытки и убытки пошли. А теперь, пожалуй, можно будетъ и въ Россію возвратиться. —При послѣднихъ словахъ онъ нагло, самодовольно улыбнулся.

Вотъ Никитка внесъ самоваръ и, поставивъ на столъ, прислонился къ косяку двери. Никаноръ Титычъ началъ заваривать чай.

— А у Ефима Петровича, говорятъ, барка съ хлѣбомъ пришла,—сказалъ Никитка.

— Кто говоритъ?—чуть не вскричалъ Никаноръ Титычъ, быстро повернувшись къ Никиткѣ.

— Да бабы на кухнѣ.

— Врутъ!—круто рѣшилъ Никаноръ Титычъ, вспомнивъ, какъ Ефимъ Петровичъ увѣрялъ его наканунѣ, что барка его придетъ не скоро, и повернулся къ самовару; но у него вдругъ блеснула мысль, что, можетъ быть, Ефимъ Петровичъ задумалъ посмѣяться надъ нимъ, узнавъ, что барка скоро придетъ, и зналъ, какъ прежде еще упрашивали Никанора Титыча продавать муку подешевле.

— Эхъ, лживый старичишка,—сказалъ онъ;—самъ не умѣетъ нажить и другимъ не даетъ. Дай кафтанъ,—обратился онъ къ Никиткѣ.

Наскоро одѣвшись, онъ отправился на берегъ. Пришелъ и остановился, какъ вкопанный, не вѣря своимъ глазамъ. У берега стояла большая барка съ мукой. Близъ нея суетился народъ: насыпали муку въ мѣшки и клали на телѣги. На палубѣ барки стоялъ Ефимъ Петровичъ и что-то торопливо показывалъ рукой.

По благопріятно сложившимся обстоятельствамъ барка пришла не обыкновенно рано. Крестьянинъ, взявшійся сплавить эту барку на мѣсто, не могъ ѣхать позже и упросилъ младшаго сына Ефима Петровича, завѣдующаго отправкой муки дозволить не дожидаться второй барки, а сплавить ее раньше. Тотъ, конечно, согласился.

— П—фу! чортъ васъ!—произнесъ Никаноръ Титычъ и повернулъ обратно. Пока онъ шелъ по берегу, до него доносились слова:

— „А, вѣдь, Ефимъ Петровичъ вчера самъ къ Никаноркѣ ходилъ, просилъ, чтобъ муку подешевле продавалъ, такъ онъ ему что отвѣтилъ?— „Когда, говоритъ, народъ съ голоду мереть станетъ и тогда не сбавлю.

— Вишь, вѣдь!..

— Накажи его, Господи,—произнесъ чей-то старческій голосъ.

— А у Ефима Петровича черезъ мѣсяцъ другая барка придетъ,

— Не будемте, ребята, брать муку у Никанорки...

Дальше Никаноръ Титычъ уже ничего не слыхалъ. Склонивъ голову, сердито сдвинувъ брови, онъ шелъ домой торопливой, нетвердой походкой. Онъ никакъ не могъ понять, что съ нимъ будетъ. Ему казалось, что у него отнимаютъ что то дорогое ему и онъ никакъ не можетъ удержать его.

Всегда избѣгавшій риска, постоянно и во всемъ поступавшій по вѣрно намѣченному плану, онъ боялся допустить даже мысль, что у него можно отнять кусокъ, который онъ почти положилъ въ ротъ. Онъ поднималъ голову и сердито поводилъ глазами на проходившихъ мимо него.

— Смѣются теперь. Ишь, гадины!

Злоба, страшная, безсильная злоба все болѣе и болѣе овладѣвала имъ. Онъ торопился, чуть не бѣжалъ скрыться отъ этихъ смѣющихся надъ нимъ „гадинъ“, взвѣсить, обдумать свое положеніе чтобы жестоко отплатить за насмѣшки.

Вотъ онъ пришелъ домой и, не раздѣвшись, повалился на кровать.

— Что жъ я теперь со своей-то мукой буду дѣлать?—шепталъ онъ. -Куда я ее дѣну. Вѣдь, раззоренье мнѣ. Ужъ не въ самомъ ли дѣлѣ меня Богъ наказалъ? Да за что-же наказывать то? Что я? Только выгоду свою хотѣлъ соблюсти. Развѣ не надо наживать? Вѣдь, говорится же: „въ потѣ лица добывай хлѣбъ“. Вотъ я и добывалъ.—И чудится ему, что стоитъ возлѣ него Ефимъ Петровичъ и говоритъ своимъ простодушнымъ, тихимъ голосомъ: „Вотъ ты хотѣлъ, чтобъ народъ умиралъ, какъ собаки, а Богъ этого и не допустилъ“.

Никаноръ Титычъ вскинулъ глаза, повелъ ими кругомъ и, повернувшись на бокъ, опять закрылъ ихъ. А Ефимъ Петровичъ все также стоитъ передъ нимъ и качаетъ своей маленькой головой, но только не съ презрѣніемъ, не со злостью, а съ сожалѣніемъ, что до такой жадности, до такого скотскаго состоянія могъ дойти человѣкъ.

— „Не хорошо, братъ“,—говоритъ онъ,—„Отстаньты!“,—глухо промычалъ Никаноръ Титычъ и, повернувшись ничкомъ, пролежалъ

такъ до утра другого дня. Назавтра опять тоже, такое-же тяжелое, гнетущее настроеніе—сознаніе своего безсилія положить обратно въ ротъ намѣченный, но отнятый кусокъ.

— Докуда же я такъ-то мучиться буду?—произнесъ онъ. Пойду, скажу ему, пусть возьмутъ всю мою муку и раздадутъ, кому хотятъ. Не легче ли будетъ?.—И онъ всталъ, и взялся за шапку. Но, видно, что подобныя рѣшенія, успокаивающія угрызенія совѣсти, незнакомы были ему. Если у него когда-нибудь и была совѣсть, то давнымъ давно онъ забылъ о ней и привыкъ не чувствовать ея колебаній. Страсть къ наживѣ заглушила ее. Онъ пошелъ, но только не къ Ефиму Петровичу, а въ свой амбаръ съ мукой. Отперъ и ахнулъ. Ему показалось, что муки стало гораздо меньше. Мысль эта, какъ молнія, поразила его. Онъ нѣкоторое время стоялъ, какъ ошеломленный, потомъ вдругъ бросился къ дому и началъ звать: —Никитка! Иванъ! Матрена!—кричалъ онъ, поводя испуганными злыми глазами, весь трясясь, тяжело переводя духъ. Лицо его было красно отъ внезапно прихлынувшей крови, жилы напряжены. Тѣ збѣжались.

— Гдѣ мука? Мука гдѣ?—задыхался онъ.

— Какая мука?

— Какая!.. Вотъ тутъ была... Вишь, нѣту.. вишь, до потолка сколько не хватаетъ...

— Да, вѣдь, ужъ продавали изъ этого амбара,—произнесъ Никитка, но Никаноръ Титычъ не слушалъ его. Хриплымъ голосомъ онъ продолжалъ выкрикивать едва понятныя слова.

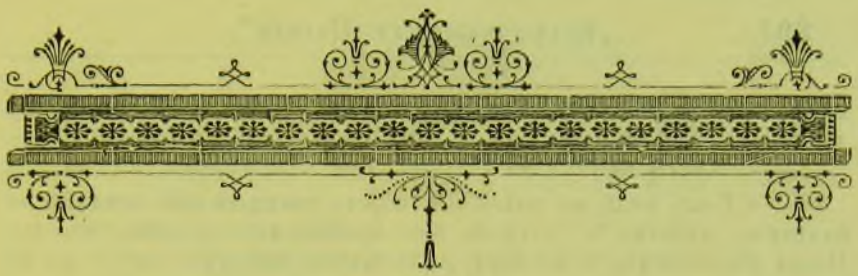
— Вчера еще была... Украли... Къ Ефиму увезли... Раззорить хотите...—кричалъ онъ, все болѣе и болѣе задыхаясь, и вдругъ зашатался, повелъ руками кверху и упалъ замертво.

VI.

Прошло нѣсколько мѣсяцевъ; настала зима. Всѣ жители поправили свои домишки, поднялись на ноги. Годъ удался такой, какого не запомнятъ старики: рыба, орѣхи, бѣлки—всего вдоволь досталось.

Ефимъ Петровичъ не можетъ нарадоваться. Онъ выстроилъ семи семьямъ (по числу дней въ недѣлѣ), самымъ бѣднѣйшимъ изъ погорѣвшихъ, домишки и завелъ весь скарбъ. Теперь бѣгаетъ чуть не каждый день узнавать, какъ они живутъ. Онъ сталъ, какъ будто, бодрѣй, веселѣе.

Одинъ только домъ Никанора Титыча смотритъ отшельникомъ. Онъ стоитъ заколоченный, впредь до отысканія наслѣдниковъ, нагоняя уныніе на проходящихъ. Говорятъ, что засѣдатель не нашелъ послѣ смерти владѣльца его наличныхъ денегъ почти ни копейки. Вскорѣ послѣ его смерти Никитка скрылся.



„ПРОЩАЙТЕ, ПЕТРЪ ИВАНОВИЧЪ!“

Рождественскій разсказъ

Н. В. Казанцева.

Свѣтлая, морозная, зимняя ночь. Бойкая, хорошо подобранная тройка весело бѣжитъ по извилистой лѣсной дорогѣ. Звонъ подобранныхъ въ тонъ колокольчиковъ далеко разносится кругомъ, нарушая тишину и покой заснувшаго бора. Высоко на свѣтло-синемъ небѣ, словно указывая путь бѣгущей тройкѣ, плыветъ полный мѣсяцъ, обливая своими фосфористыми лучами картину сѣвернаго лѣса. Стоятъ рядами старыя сосны съ бѣлыми шапками на головахъ, и, хмурясь, изъ подлобья глядятъ на молодую поросль. А лучи мѣсяца, точно играя, переливаются по вѣтвямъ деревьевъ тысячами разноцвѣтныхъ искръ: тутъ и серебро, и рубины, и изумруды и брилліанты. Не хочется оторвать глазъ отъ этого перелива цвѣтовъ и огней—это какое-то фантастическое, сказочное царство. Порой, когда деревья, разступаясь, отходили въ даль, и кибитка выѣзжала на прогалину, картина становилась еще красивѣе и ярче: каждая снѣжинка, каждый кусочекъ льда горѣли всѣми цвѣтами радуги. Дивно хорошъ былъ въ эту ночь хмурый сѣверный лѣсъ, закутанный сугробами и одѣтый въ иней. Гладкую пелену снѣга, точно арабески, украшали безчисленныя, перепутанныя тропки заячьихъ слѣдовъ и боровой птицы.

— Эхъ вы,—ударю!—подхватило эхо крикъ ямщика и деревья точно побѣжали навстрѣчу.

— А, вѣдь, мы раньше поѣзда-то въ городъ пріѣдемъ,—сказалъ ямщикъ, повертывая свою обледенѣлую бороду къ человѣку,

*

сидѣвшему въ кибиткѣ. Тотъ вздрогнулъ, точно выведенный изъ забытья и, плотнѣе закутываясь въ оленью доху, спросилъ:

— Много проѣхали?

— Какъ разъ на половинѣ, верстъ двадцать пять осталось,— отвѣтилъ ямщикъ и тотчасъ же прибавилъ:—хорошо, что ты, Петръ Ивановичъ, меня послушалъ ѣхать напрямки, а не на чугунку. Разъ--скорѣе доѣдешь, а второе—ѣзда. Смотри-ка, благодать какая: лѣсъ-то для праздника Христова какъ вырядился.

Сѣдокъ согласился, закурилъ сигару и, пуская тонкія струйки дыма, сталъ любоваться окружающей картиной. Да, онъ отлично сдѣлалъ, что поѣхалъ въ городъ прямо, а не по желѣзной дорогѣ. Теперь бы только доѣхали до станціи, а тамъ еще пятьдесятъ верстъ, и душные вагоны, спертый воздухъ, а здѣсь прелесть-то какая! Лѣсъ, дѣйствительно, принарядился,—вѣдь, завтра праздникъ, Рождество.... И ему какъ-то особенно весело стало при этой мысли. Сегодня онъ будетъ въ городѣ, дѣла къ празднику всѣ покончены, можно отдохнуть, повеселиться. „Ну, послѣднее, кажется, мнѣ уже и не по лѣтамъ“,—закончилъ онъ съ улыбкой и, плотнѣе закутавшись въ доху, улегся поудобнѣе въ кибиткѣ.

„Морозитъ—завтра Рождество“... пришелъ ему въ голову отрывокъ изъ стихотворенія Грота. Да, Рождество... И въ памяти его потянулись пестрой вереницей воспоминанія свѣтлаго, далекаго дѣтства, связанныя съ веселымъ праздникомъ. Припомнились длинные, зимніе вечера, слышанныя и прочитанныя сказки, и снова всталъ передъ нимъ міръ дѣтскихъ грезъ и фантастическихъ видѣній... Въ дѣтствѣ ему почему-то больше всего нравилась сказка „о дѣдкѣ морозѣ“, „о зимѣ“, и ему ужасно хотѣлось ихъ увидать. Раза два онъ въ свѣтлую морозную ночь пробирался въ большой старый садъ, надѣясь увидать своихъ любимыхъ героевъ, но результатомъ этихъ попытокъ были только ознобленныя уши и нѣсколько шлепанцевъ.

Отдавшись этимъ воспоминаніямъ, Петръ Ивановичъ потерялъ всякое сознаніе дѣйствительности. Настоящее, онъ самъ,—все исчезло; была только чудная декорація передъ глазами, да звонъ колокольчиковъ перешелъ въ тихую музыку. И вотъ, сквозь однообразную мелодію онъ услыхалъ голосъ, который, вибрируя и дрожа въ воздухѣ контральтовыми нотами, пѣлъ гдѣ-то близко:

„Я царица печальной страны,
„Я мороза сѣдого подруга.
„Безконечно здѣсь царство зимы,
„Мои слуги—метели и вьюга“

„Кто это поетъ? Вѣдь, это его стихи, написанные давно, давно, Богъ знаетъ сколько лѣтъ тому назадъ“,—мелькнуло въ его головѣ,

и повернувшись въ ту сторону, откуда неслись звуки, онъ взглянулъ и замеръ отъ восторга и удивленія. Не высоко надъ нимъ летѣла по воздуху женщина, точно изваянная изъ бѣлаго мрамора рѣзцомъ Кановы.

Отъ классически правильнаго лица, отъ всей величественной фигуры вѣяло холодной, мертвой красотой.

„Это зима! Такъ вотъ она какая“,—мелькнуло въ его головѣ...

„Все, что чувствуетъ, дышетъ, живетъ,
„Въ безпробудный я сонъ погружаю.
„Муки, горе, тоску и страданія гнетъ
„Этимъ сномъ я навѣкъ исцѣляю“...

Пѣлъ звучный и сильный контральто... И Петръ Ивановичъ чувствовалъ, что каждый звукъ этого металлическаго голоса холодомъ проникаетъ въ его сердце, а отъ созерцанія бѣлой фигуры, искрящейся подъ лучами мѣсяца, становится больно глазамъ, и онъ закрываетъ ихъ на минуту...

Взглянувъ, онъ увидѣлъ передъ собой уже не сказочный образъ зимы, а ярко освѣщенный залъ съ пестрой, разряженной толпой. Здѣсь ему все знакомо,—это балъ-маскарадъ въ губернскомъ городѣ. Большой залъ, убранный гирляндами хвои, былъ очень красивъ. Весело кружились танцующія пары; красивые, разнообразные костюмы, говоръ, смѣхъ, оживленныя молодыя лица,—все слилось въ пеструю оргинальную картину.... Вдругъ его назвали по имени, онъ обернулся и увидалъ передъ собой снова зиму.

— Идетъ костюмъ?—спросила маска, вскидывая на него свои лучистые глаза.

— Очень,—отвѣтилъ онъ, пожимая протянутую ему маленькую ручку въ бѣлой перчаткѣ,—холодомъ вѣетъ,—добавилъ онъ.

— Солнца, тепла нѣтъ, по неволѣ заледенѣешь,—отвѣчала маска, дрогнувшимъ отъ внутренняго волненія голосомъ.

„Кокетничаетъ или нѣтъ?“—думаетъ онъ, стараясь прочесть что-нибудь въ глазахъ маски; на кромѣ холоднаго, стального блеска, онъ ничего не увидѣлъ въ этихъ русалочныхъ зеленыхъ глазахъ.

— Стоитъ только захотѣть,—нервно заговорилъ онъ,—найдется и свѣтъ, и тепло.

— Не вѣрю,—отвѣчала зима пристально смотря на него; и какъ всегда, онъ ничего не прочелъ въ этомъ взглядѣ; въ этихъ глазахъ не было будущаго...

— Сядемъ,—сказала она, мѣняя тонъ,—я устала.—Они ушли въ дальній уголокъ зала. Имъ никто не мѣшалъ и онъ снова заговорилъ о своей любви. О, это была тяжелая мучительная любовь! Сегодня онъ рѣшилъ въ послѣдній разъ поговорить съ ней. То съ желчью и насмѣшкой, то съ нѣжностью и лаской онъ умолялъ ее повѣрить его любви.

— Это пытка! дольше я не могу ждать. Да, или нѣтъ?— закончилъ онъ.

— Вы говорите, что я одна изъ тѣхъ женщинъ, первый поцѣлуй которыхъ не даетъ права на второй; такъ чего же вы отъ меня хотите?

— Отвѣта: да, или нѣтъ?

— Ни да, ни нѣтъ,—отвѣтила она и, подозвавъ перваго проходившаго кавалера, встала и какъ мотылекъ закружилась съ нимъ по залѣ.

Только, черезъ полгода послѣ этого разговора онъ нашелъ въ себѣ силы сбросить съ себя цѣпи, наложенныя на него этой женщиной. Она уѣхалъ и не прошло года, какъ въ другомъ краю онъ получилъ отъ нея письмо.

„Ты поторопился и все испортилъ“...—писала она.—„Солнце уже всходило и его лучи начинали грѣть мое сердце Еще немного, и оно было-бы твоимъ... Когда ты получишь это —я буду на югѣ; но не думай, что южное солнце согрѣетъ зиму. Да и не нужно этого. У меня есть блескъ и добровольные рабы... Прощайте, Петръ Ивановичъ!“

Даже теперь сердце Петра Ивановича болѣзненно сжалось. О, какъ измучила его эта женщина.. Холодно, холодно было у него въ сердцѣ. Но это продолжалось съ секунду. Вдругъ повѣяло тепломъ.

На западѣ догораетъ весенняя заря и блѣдно-розовые лучи, скользя межъ молодой листвы деревьевъ, отражаются на струйкахъ рѣки. Воздухъ насыщенъ бальзамическимъ запахомъ тополей и только что распустившейся сирени. Сидитъ Петръ Ивановичъ въ бесѣдкѣ надъ рѣкой, лѣниво покуривая сигару, и чувствуетъ, что на него смотрятъ темно-каріе, задумчивые глаза.

Въ этихъ глазахъ все ясно. Хорошо Петру Ивановичу. Миромъ, тишиной и лаской вѣетъ отъ окружающей природы и отъ этого полнаго доброты, дружескаго участія и теплой ласки, взгляда. Это пристань. Счастье близко, рядомъ; стоитъ только протянуть за нимъ руку... Это простая, милая дѣвушка, съ крѣпкими, здоровыми нервами, съ ясными, добрыми, немного задумчивыми, глазами, выросшая среди приволья и тишины деревенской жизни, съ простымъ и яснымъ міросозерцаніемъ, съ первой встрѣчи показалась ему старой знакомой.

Да, „счастье было такъ возможно, такъ близко было“,—говорилъ онъ потомъ не разъ, вспоминая этотъ вечеръ. А что помѣшало? Анализъ.— „Весна дѣйствуетъ“,—думалъ тогда Петръ Ивановичъ, подавляя въ себѣ всякій порывъ чувства. Будущее казалось ужъ слишкомъ просто. Будничное, филистерское семейное счастье, добрая жена и куча ребятишекъ... Являлись и сомнѣнія.

Первый романъ оставилъ въ душѣ недовѣрчивость къ женщинѣ вообще, и какую-то брезгливую снисходительность. Словомъ, перспектива тихой семейной жизни представлялась слишкомъ сѣренькой и не поэтичной, и эгоизмъ боявшагося за свое спокойствіе холостяка взялъ свое и Петръ Ивановичъ уѣхалъ... Помнитъ онъ, какъ грустно смотрѣли на него въ минуту прощанья ясные глаза, и какъ дрожалъ ея голосъ, когда она произнесла: „Прощайте Петръ, Ивановичъ!“. . . . . .

Гудитъ и стонетъ за окномъ зимняя вьюга; жалобно и протяжно стонетъ она, раздражая еще больше приподнятые нервы. Въ комнатѣ топится каминъ; матовый свѣтъ лампы падаетъ на блѣдное, взволнованное лицо молодой женщины, сидящей, безсильно опустивъ свои маленькія ручки, въ покойномъ креслѣ. Тяжелое молчаніе давно царитъ въ комнатѣ; только съ улицы доносятся стоны метели.

— Ахъ, какъ она воетъ!—вырывается у молодой женщины,—точно отпѣваетъ кого-то...

— Погибшія иллюзіи!—желчно отвѣчаетъ Петръ Ивановичъ, прерывая свою безконечную прогулку по комнатѣ.—О, зачѣмъ я повѣрилъ вашей любви,—вскричалъ онъ и громко расхохотался нервнымъ и злымъ смѣхомъ.

Молодая женщина вздрогнула; мучительнѣе всего былъ этотъ дѣланный, злой смѣхъ.

— И вы смѣете говорить, что васъ не любили?—съ краской гнѣва на лицѣ вскричала она.

— Ахъ, опять слова! нужны факты... Въ послѣдній разъ спрашиваю: ѣдете вы завтра со мной, или нѣтъ?

Она молчитъ. Взглянувъ на ея измученное лицо, на эти непокорные глаза, полные слезъ въ эту минуту, онъ взялъ ея руку и дрожащимъ отъ волненія голосомъ, мягко и нѣжно заговорилъ о своей любви, о томъ, какъ они могутъ быть счастливы... Стоитъ только уѣхать...

Возвратъ къ прошлому для нея невозможенъ,—за что она губитъ себя и его, къ чему эти ненужныя жертвы?

— Ѣдемъ, Аня, ѣдемъ, моя дорогая!—закончилъ онъ.

— Да пойми ты, не могу я!—съ разрывающимъ душу рыданіемъ отвѣчала она.—Не могу,—Онъ не отдастъ мнѣ сына... Было-бы безчеловѣчно отнять ребенка у отца. Пойми, что онъ можетъ убить себя...

— Такъ, значитъ.... началъ онъ, но она перебила его и умоляюще произнесла:—Подожди, не уѣзжай, завтра я еще подумаю.

— Довольно! Съ вами или безъ васъ, завтра я ѣду!

Она тихо застонала, нѣсколько секундъ сидѣла неподвижно, потомъ встала, посмотрѣла ему въ глаза и проговорила:

— Какой вы эгоистъ!—и тихо пошла къ дверямъ.

— Больше вы мнѣ ничего не скажете?—спросилъ онъ.

— Прощайте, Петръ Ивановичъ!—донесся до него голосъ уходящей Ани. . . . . .

Онъ снова видитъ себя въ своей комнатѣ,—онъ одинъ. Странно, почему онъ всегда видитъ этотъ сонъ? А сонъ вѣчно тотъ-же: Петръ Ивановичъ одинъ въ своей комнатѣ. И предъ нимъ проходятъ двѣ тѣни. Одна,—которую онъ видитъ все чаще и чаще теперь,—съ неопредѣленными тусклыми, сѣрыми чертами лица. На этомъ лицѣ застыла апатія и мертвящая скука. Онъ видитъ только, что она вяжетъ чулокъ, и въ упоръ, безсмысленно смотритъ на него своими тусклыми глазами.

А гдѣ-то вдали рѣетъ въ воздухѣ свѣтлый, чудный образъ молодой дѣвушки. Она похожа на ту, женитьба на которой такъ испугала Петра Ивановича, но только безконечно прекраснѣе. Съ каждымъ разомъ онъ видитъ, какъ она все дальше и дальше уходитъ отъ него и чуть-чуть доносятся до его слуха слова: „Прощайте, Петръ Ивановичъ!“.

Долго не могъ рѣшить Петръ Ивановичъ, кто эти тѣни, и только сегодня ему стало ясно все. „Это молодость ушла и прощается со мной. А сѣрое скучное существо—мое одиночество“.

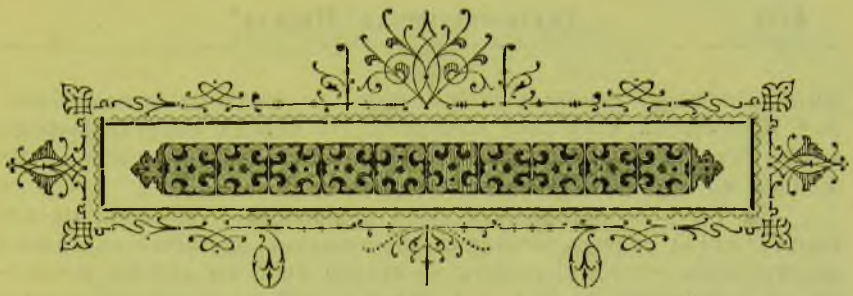
— Вотъ и городъ!—разбудилъ голосъ ямщика Петра Ивановича. Онъ пришелъ въ себя и осмотрѣлся. Передъ нимъ мелькали улицы, дома и черезъ полчаса онъ уже пилъ чай въ своей городской квартирѣ. Подойдя къ окну, онъ увидалъ ярко освѣщенныя окна дома на другой сторонѣ улицы.... „Елка“!—догадался онъ, и ему невольно представилась картина. Въ залѣ, освѣщенной свѣчками догорающей елки, сидитъ мужчина и смотритъ, какъ красивая, съ выраженіемъ довольства и счастья на лицѣ, молодая женщина раздаетъ своимъ дѣтишкамъ подарки съ елки. Маленькая дѣвочка, просунувъ головку подъ локоть матери, уже заснула.... Все кругомъ полно здоровымъ семейнымъ счастьемъ.

— И у меня могло быть то же,—подумалъ Петръ Ивановичъ, отбрасывая давно потухшую сигару.

— Прощайте, Петръ Ивановичъ!—вырвалось у него невольно. Обернувшись, ему показалось, что въ креслѣ сидитъ уже противная, сѣрая гостья, вяжетъ чулокъ и безсмысленно смотритъ на Петра Ивановича.....

— Глупость какая!—разсердился онъ и сталъ торопливо раздѣваться.

— А хорошо бы увидѣть снова такой же поэтическій сонъ,—думалъ онъ, засыпая. Но Петру Ивановичу снились всю ночь какія-то капустныя кочерыжки, которыя, танцуя экозессъ, проходили мимонего и, дѣлая книксенъ, говорили: „Прощайте, Петръ Ивановичъ!..



НАКАНУНѢ РОЖДЕСТВА.

Разсказъ

И. А — ва.

Метель, бушевавшая почти цѣлый день, понемногу стихла. Морозъ съ каждымъ часомъ дѣлался крѣпче и крѣпче. Покрытое недавно снѣговыми тучами небо мало-по-малу прояснилось и засверкало миріадами звѣздъ. Снѣгъ весело блестѣлъ, озаряемый блѣдными лучами величаво плывшей въ „пространствѣ вѣчнаго эфира“ луны.

Наступила святая Рождественская ночь!

Во всѣхъ избахъ небольшой деревушки Подгорной погасли огни; обитатели ея, покончивъ съ приготовленіями къ празднику, давно полегли спать, чтобы пораньше утромъ отправиться въ сосѣднее село къ заутрени. Лишь въ крошечныхъ окошкахъ одной покривившейся на бокъ избушки мерцалъ тусклый огонекъ.

Заглянемъ въ эту избушку.

Обстановка въ ней та же, какъ во всѣхъ бѣдныхъ крестьянскихъ избахъ въ нашихъ среднихъ губерніяхъ. Та же громадная, неуклюжая русская печь, занимающая почти половину горницы, тѣ же закоптѣлыя стѣны, оклеенныя лубочными картинками, засиженными мухами, тотъ же неровный, сколоченный изъ грубыхъ

досокъ, мѣстами провалившійся, полъ, на этотъ разъ выскобленный и вымытый, насколько возможно. Въ переднемъ углу, передъ почернѣвшими иконами, горитъ свѣчка изъ желтаго воска, зажженная по случаю наступающаго праздника.

За чисто вымытымъ, простымъ деревяннымъ столомъ, на которомъ слабо горитъ жестяная керосиновая лампочка съ сильно закоптѣлымъ стекломъ, сидитъ не старая еще, по лѣтамъ, женщина, съ изможденнымъ отъ непосильной работы и заботы лицомъ, дѣлавшимъ ее старѣе на цѣлыя десять лѣтъ. Рядомъ съ нею, сложивъ руки на столѣ и склонивъ на нихъ русую головку, сладко спитъ, сидя на лавкѣ, мальчикъ лѣтъ 7—8. Съ печи слышится еще легкій дѣтскій храпъ.

— Господи! что-жъ энто отецъ-то не ѣдетъ?—прошептала женщина, съ тоскою взглянувъ на иконы.—Митюшка, а Митюшка!—обратилась она къ мальчику, тряся его за плечо:—ляжь, поди, касатикъ, на печь къ Дашуткѣ... Чего маешься-то... Нешто такъ, сидя-то, способно спать.

— А тятька-то... нешь ужъ пріѣхалъ?—спросилъ мальчикъ, поднимая голову и протирая глаза.

— Охъ! нѣтути еще отца-то,—отвѣчала, вздохнувши, мать. —Шутка-ли, еще утромъ, почесть, поѣхалъ онъ на энту машину-то. „Авось, говоритъ, Богъ дастъ, кого и свезу съ вокзала. Все, говоритъ, что ни на есть да выручу“. Цѣльныхъ три дня ѣздилъ, все никого не было. Да и понѣ кого понесетъ нелегкая въ эвдакую погоду-то?... Теперя, поди, всѣ и дороги-то замело... Ужъ не замерзъ-ли онъ гдѣ?... Одежонка-то плохая, долго-ли до грѣха... Что мнѣ тогда съ вами дѣлать-то, Господи!... У всѣхъ-то праздникъ, а мы... Ни убоинки, ни тебѣ яичка, ни молочка, ничевосеньки у насъ нѣтути, окромя вонъ краюхи хлѣба.. Нечѣмъ будетъ завтра и робятъ побаловать.. Охъ, да хоть самъ-то бы воротился.—Митюшка, а Митюшка!—снова обратилась она къ сыну: —ляжь же, говорю тебѣ, мой птенчикъ.

— А тятьки-то... вѣдь, еще нѣтути?—проговорилъ, просыпаясь, ребенокъ.

— Да ты ляжь, а какъ онъ пріѣдетъ, я тебя разбужу.

— Ишь ты какая ловкая! Тятька-то, небось, гостинецъ обѣщалъ привезти... Спать-то не велѣлъ... Ежели я теперя засну, такъ онъ мнѣ гостинца-то, пожалуй, и не дастъ, а завтрева, чай, сама знаешь, какой праздникъ-то.

— Да онъ и Дашуткѣ обѣщалъ привезти гостинецъ, а она вонъ спитъ-же,—сказала мать.

— Дашутка-то махонькая, а я то ужъ большой... Я дождусь его,—возразилъ мальчикъ, кладя голову на столъ и сейчасъ же засыпая опять.

Мать оставила его въ покоѣ и глубоко задумалась. Быстро стали проноситься передъ нею картины ихъ теперешняго безотраднаго житья. Вспомнилась ей ихъ прежняя, относительно сносная, жизнь, когда у нихъ было и хозяйство пополнѣе, и дѣтей еще не было. А теперь, послѣ нѣсколькихъ неурожайныхъ годовъ, особенно же послѣ недавней продолжительной, въ теченіе всего почти лѣта, болѣзни мужа, во время которой ей приходилось все дѣлать одной, жизнь ихъ становилась все хуже и хуже, и не предвидѣлось ни малѣйшей надежды на что-либо лучшее.

Тяжело было на душѣ у бѣдной женщины и отъ этихъ думъ, но гораздо тяжелѣе дѣлалось при мысли о томъ, какъ она останется одна съ двумя дѣтьми, если мужъ, занимающійся зимою перевозкою рѣдкихъ пассажировъ съ ближайшей желѣзнодорожной станціи по окрестностямъ, дѣйствительно погибъ гдѣ-нибудь на пути во время бушевавшей цѣлый день метели.

Наконецъ, глубоко вздохнувъ, она встала съ мѣста и, накинувъ на плечи худую шубенку, въ двадцатый разъ вышла на улицу и тоскливо устремила взоръ въ ту сторону, откуда долженъ былъ пріѣхать мужъ. Но и теперь, какъ и весь вечеръ, ожиданія ея были тщетны.

Возвратившись въ избу, она упала на полъ передъ иконами и, сдерживая рыданія, чтобы не разбудить дѣтей, стала молиться. Она молилась такъ, какъ можетъ молиться простой, глубоко вѣрующій человѣкъ, находящійся въ ея положеніи. Когда, послѣ долгой, горячей молитвы, немного успокоенная, она встала и взглянула на образъ Спасителя, то большіе, кроткіе глаза Искупителя міра какъ-то особенно милостиво глядѣли на несчастную женщину и, казалось, говорили: „успокойся!... молитва твоя услышана“. И она, дѣйствительно, немного успокоенная, подошла къ мальчику и только что хотѣла разбудить его и уложить наконецъ на печку, какъ послышался стукъ въ окно.

— Тятька! тятька пріѣхалъ!—закричалъ проснувшійся мальчикъ.

Мать быстро направилась было къ двери, но вдругъ схватилась за грудь и со стономъ опустилась на лавку.

— Мамка! иди же, отпирай вороты, тятька пріѣхалъ! Что-жъ ты усѣлась?—кричалъ между тѣмъ ребенокъ, дергая ее за платье.

— Охъ!... не могу... касатикъ,—прошептала мать побѣлѣвшими губами.—Ужъ онъ-ли энто... можетъ... привезли его... мертваго... Охъ...

— Вѣстимо, онъ! Кому-жъ быть-то? Онъ завсегда такъ стучитъ, я знаю, -перебилъ ребенокъ.—Ну, да, ладно, я и самъ отопру, теперя достану...

И мальчикъ, накинувъ кое-какъ свою ветхую шубенку, выбѣжалъ вонъ. Черезъ нѣсколько минутъ онъ возвратился въ сопровожденіи мужика, лѣтъ подъ сорокъ, съ сильно заиндевѣвшей бородой, одѣтаго въ покрытый многочисленными заплатами полушубокъ, старые валенки и рваную шапку.

— Ну, здравствуй, Луша! Что-жъ сама-то не встрѣла?—весело проговорилъ вошедшій, снимая шапку и крестясь на образа.

— Ѳедюша... касатикъ... ужли это ты?—сказала обрадованная женщина, бросаясь къ нему на шею.

— Вѣстимо, я! Ай не признала?—отвѣчалъ онъ, стряхивая съ бороды и усовъ ледяныя сосульки.—Что, братъ, небось, и живого не чаяла меня видѣть?... Да, мать, натерпѣлся я муки-мученской—страсть!... Погоди, дай обогрѣться, все разскажу. А ты покеда вотъ что: поди-ка, принеси, что у меня тамъ въ саняхъ-то накладено... Будетъ и намъ чѣмъ праздникъ встрѣтить, слава те, Господи!.. Вонъ Митюшка пособитъ. Онъ, вѣдь, таперича у насъ, вишь, какой сталъ большой,—прибавилъ отецъ, любовно поглядѣвъ на покраснѣвшаго отъ удовольствія мальчика.

Мать и гордый похвалою отца сынъ вышли и вскорѣ возвратились, таща различную провизію, которой оказалось столько, что имъ пришлось сходить за нею еще нѣсколько разъ. Здѣсь были и гуси, и поросята, и куры и много такого, о чемъ бѣдняки и мечтать не смѣли.

Когда все было внесено въ избу и лошадь убрана, жена и сынъ, позабывъ о снѣ, усѣлись около крестьянина и онъ началъ разсказывать:

— Выѣхалъ, этто, я нонче утромъ, вьюжно таково было, а дорога-то ничего, ѣхать было можно... До машины-то, вѣдь, и десяти верстъ не наберется... Доѣхалъ, этто, я стало, быть, туды, дождался машины. Глядѣлъ, глядѣлъ, никого нѣтути сѣдоковъ-то. Ну, думаю, плохо дѣло, ни монетки не заработаешь... Обидно таково мнѣ стало. Господи, думаю, ничего-то у насъ нѣту, а на дворѣ праздникъ Христовъ. Нечѣмъ, думаю, и ребятишекъ побаловать.... Задалъ сѣнца лошадкѣ, выпросилъ и себѣ хлѣбца у знакомаго сторожа на машинѣ, а онъ, дай Богъ ему здоровья, и тюрьки далъ похлебать. Поѣлъ я, да и думаю: пора, молъ, и ко дворамъ... запоздаешь—хуже будетъ... а вьюга-то такъ и крутитъ. Поѣхалъ. Отъѣхалъ, этто, я верстъ пять... темно таково стало... а далѣ ни тпру, ни ну... занесло, значитъ, дорогу-то. Я туды, сюды—нѣту дороги и шабашъ! Куды не повернешь, все по самую по шею лошади. Что тутъ дѣлать?!... Бился, бился, этто, я... Вылѣзъ изъ саней—и поперли мы съ сѣрой цѣликомъ, прямо по сугробамъ... А вѣтеръ такой, что Боже упаси, такъ и вертитъ во всѣ стороны. Ну, думаю, пропала моя головушка!... Вдругъ слышу, словно какъ бы гдѣ-то лошадь заржала... вѣтромъ-то это

доноситъ... Вотъ, думаю, чудо-то... Пошелъ, этто, я въ тое сторону анъ, глядь, и впрямь лошадь стоитъ, почесть, по самую, какъ есть, по морду въ снѣгу, только голова и торчитъ... Сталъ пробираться къ лошади, да какъ наступлю на что-то мягкое,—анъ, глядь, подо мной человѣкъ лежитъ. Ну, думаю, замерзъ, знать, сердешный... Откопалъ я его, пощупалъ, а онъ теплый еще. Дай, думаю, душу-то хрисьянскую спасу. Бился, этто, бился я съ нимъ—страсть!... а метель-то стала, словно, стихать.. Морозно таково стало дѣлаться, посвѣтлѣло... Очухался онъ, сердешный. Гляжу я на яво, а это—гороховскій баринъ, что вонъ верстахъ въ двѣнадцати отъ насъ живетъ въ своемъ имѣніи. Баринъ-то страсть богатый, да только чудной такой: и зиму, и лѣто живетъ въ имѣніи, а добрѣющій баринъ.... Всѣ яво знаютъ. Какъ, значитъ, очухался онъ, и разсказалъ мнѣ, что ѣздилъ онъ, вишь ты, одинъ безъ кучера по какому-то дѣлу верстъ за двадцать. Поѣхалъ оттеда домой, да какъ началась вьюга-то, сбился съ дороги, а далѣ-то и не помнитъ... Разсказалъ, этто, онъ мнѣ, да и сталъ проситься домой: „отпусти ты, говоритъ, братъ, меня. Метель-то стихла. Я, говоритъ, таперича дорогу-то и одинъ найду“. Я вижу,—слабъ онъ еще, да и говорю ему: „Нѣтъ, говорю, Василь Митричъ, я тебя не пущу одного“. Откопали, этто, мы вмѣстѣ съ имъ яво лошадь... хорошая такая лошадь-то... и сани, да кой-какъ и выбрались на дорогу. Засѣли въ яво сани,—я, стало быть, замѣсто кучера, а свою-то лошадь сзади привязалъ, и поѣхали. Пріѣхали, этто, мы къ ему въ имѣніе, а тамъ по ёмъ такъ и воютъ: думали—и въ живыхъ нѣтути. А онъ имъ возьми и разскажи, какъ, значитъ, я яво изъ подъ снѣгу-то вызволилъ. Сейчасъ, стало быть, меня благодарить. Затащшили, этто, меня въ горницу, усадили съ собой за столъ, да и давай угошшать: чаю дали, вина въ чай-то все подливали... хорошее тако вино... духъ отъ яво больно хорошъ.. забылъ, какъ звать-то. „Погрѣйся, говорятъ, дядюшка, назябся, чай, и ты“. Когда я сталъ собираться домой, разспросили они меня, какъ я живу, да какъ узнали о нашихъ недостаткахъ-то, сейчасъ велѣли навалить мнѣ въ сани разной энтой вонъ снѣди-то. А сама-то, хозяйка стало быть, яво, выноситъ мнѣ вотъ эвту пачку, да и говоритъ: „возьми, говоритъ, дядя Ѳедоръ, на праздникъ“; а въ пачкѣ-то, вотъ, вишь, ровно сто рублевъ... Я было уперся: за что, молъ, помилуйте! Куды-те, и слушать не хотятъ! „Мы, говоритъ, на святкахъ сами къ тебѣ пріѣдемъ, еще поможемъ; ты, говорятъ, нашего хозяина спасъ“... Такъ-то, братъ, Лукерья,—заключилъ разсказчикъ:—таперича вотъ и мы съ праздникомъ; а тамъ, Богъ дастъ, и совсѣмъ поправимся. Господь-то Батюшка, вишь ты, не безъ милости,—прибавилъ онъ, благодарно взглянувъ на икону Спасителя.

Жена и сынъ тоже подняли глаза на образъ Христа, ликъ Котораго сіялъ какимъ-то неземнымъ свѣтомъ, а кроткіе глаза Его съ невыразимой любовью смотрѣли на счастливую семью.

Зимней ночью.

Буря мчится, буря стонетъ
И крутится подъ окномъ...
Я не сплю... въ душѣ усталой
Мысли бродятъ о быломъ.

Прихотливой вереницей,
Легкокрылы и ясны,
Предо мною мчатся тѣни
Золотой моей весны.

И несутъ мнѣ, точно въ сказкѣ,
Рой забытыхъ милыхъ сновъ,
Грезы жизни, радость жизни,
Горе прожитыхъ годовъ...

Но проходятъ тѣни мимо...
Буря стонетъ подъ окномъ,
Я не сплю... а сердце плачетъ,
Тихо плачетъ о быломъ...

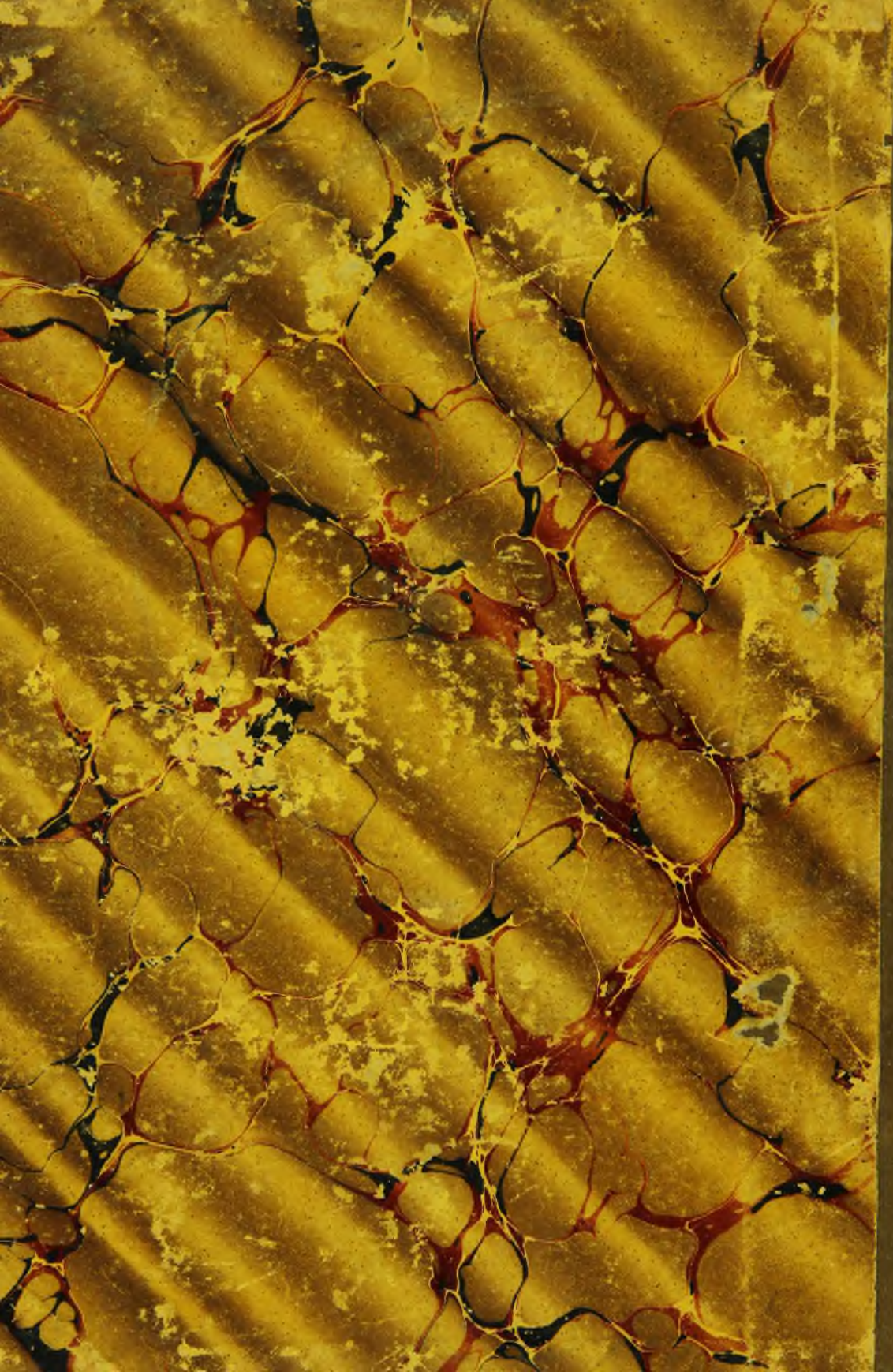
А. Туркинъ.

В. А. К.

Къ свѣту ближе, другъ мой милый,
Ближе, ближе ты стремися;
Знаньемъ, свѣтомъ противъ тьмы ты
Мощно, грозно ополчися.

Тучей черной надъ землею
Мракъ и тьма еще нависли,—
Ты на нихъ ударь грозою,
Образумь ихъ свѣтомъ мысли!

П. Сивковъ.

Ф.62225

№ 278
~~10~~
3р. 50к